

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза.

София. Начала вселенского учения.

Первая часть.

Первая глава. О метафизической потребности у человека.

Очевидно, что определяющей и главной целью всякой человеческой деятельности является благосостояние человека, то есть возможно полное удовлетворение всех потребностей, свойственных человеческой природе. С этой точки зрения человек ничем не отличается от остальных одушевленных существ: все равным образом стремятся к удовлетворению своих естественных потребностей, желают своего благосостояния. Различие между человеком и другими животными проявляется только в особенном характере потребностей, удовлетворение которых составляет соответствующее каждому из них благосостояние. В действительности же человек не довольствуется лишь теми наслаждениями, которые ему доставляет удовлетворение его природных желаний, и которые являются для него общими с животными: чтобы быть счастливым, он должен удовлетворить потребность, присущую исключительно ему – в моральном деянии и в познании истины. Действовать морально, – значит действовать в соответствии с общими и универсальными принципами, а не под воздействием животных инстинктов; знать истину, – значит знать вещи в их всеобщности и цельности, а не в их внешней реальности, всегда частичной и преходящей. Отмечая эту высшую потребность, как факт, мы не исследуем ее историческое происхождение или ее генезис. Было ли время, когда ее не существовало и когда человек жил животной жизнью, это не должно нас пока занимать; нам достаточно знать, что она существует и что без нее человек не является человеком.

Говоря о потребностях в моральном деянии и в познании истины, я рассматриваю их, как одну потребность, так как они тождественны в своем сущностном характере. Как в природном бытии животного субъективная сторона, которая заключается в животных желаниях, и объективная сторона, которая состоит в чувственном восприятии внешних объектов, служащих удовлетворению этих желаний, составляют только животную жизнь, сущностный характер которой – в полном подчинении данной природной реальности, как внутренней, так и внешней; – таким же образом в духовном бытии человека субъективная или моральная сторона, которая заключается в стремлении к целям общим и универсальным, и объективная или интеллектуальная сторона, которая заключается в познании всеобщих истин, эти высшие цели определяющих, – составляют единую духовную жизнь, сущностный характер которой заключается в преодолении природы, данной нам во внешней реальности, во внешних объектах равно как и в самом субъекте. Ни всеобщие цели моральной деятельности, ни всеобщие истины познания не даны в являющейся природе или независимо от вещей;

таким образом, моральная потребность и интеллектуальная потребность соединяются в единую – подняться над внешней реальностью, самоутвердиться как высшее существо в непосредственно данной природе. Эта духовная потребность уже была обозначена как потребность метафизическая. Я использую это название как выражющее в достаточной степени природу предмета. Поскольку эта метафизическая потребность вместе с умственной и моральной деятельностью, которую она порождает (*produit*), создаст отличительный характер или особую сущность человека, то он вполне может быть определен как существо метафизическое, – определение, как мы увидим потом, абсолютно верное еще и в другом смысле.

Прямым произведением человека как метафизического существа являются все системы религии и философии, желающие дать человеческому разуму всеобщие истины, которые он ищет, а человеческой деятельности – ее высшие принципы и нормы. Благодаря этим системам человек утверждается в области метафизики и <исследует?> ее. Но метафизическое свойство человеческого существа проявляется также и через другие фено-мены человеческой природы, через феномены, которые на первый взгляд не представляют никакой связи с метафизикой, рассматриваются в обиходе как естественные и заурядные, но которые всегда останавливали на себе внимание самых великих философов; ведь известно, что принципиальное различие между умами поверхностными и умами глубокими заключается в том, что первые оставляют необдуманными вещи, которые для последних являются предметом восхищения и задачей, требующей разрешения.

Самый общий из этих феноменов, который при углубленном изучении выявляет

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
метафизический характер человека, – это феномен смеха. Известно, что только человек обладает этой способностью; животные, хоть и плачут иногда, но никогда не смеются; даже самая легкая улыбка у них невозможна. И если бы меня попросили определить человека через признак столь же характерный, сколь и очевидный, я бы назвал его существом, которое смеется. Мы скоро увидим, как это связано с предыдущим определением человека как существа метафизического. Животное, полностью поглощенное данной реальностью, не может встать по отношению к ней в позицию критическую и отрицающую, именно поэтому оно не способно смеяться; ведь смех предполагает состояние свободы: раб не смеется. Мир явлений, состояния чувственного сознания представляют для животного весь его мир, оно не может от него освободиться, оно им поглощено, и потому оно столь серьезно. Человек может быть легкомысленным, может смеяться и это доказывает его свободу. Но, очевидно, что человек может быть свободен от внешней необходимости мира явлений лишь постольку, поскольку он не принадлежит этому миру целиком, поскольку он не является исключительно природным существом. Он может быть свободен от одного мира, лишь в том случае, если принадлежит также и к другому. Таким образом, человеческий смех, доказывая природную свободу человека, доказывает тем самым его качество метафизического существа. В естественном смехе, в смехе ребенка или молодой девушки метафизическая свобода человека проявляется бессознательно для него самого. Она осуществляется сознанием самой себя в смехе осмысленном, у человека думающего, имеющего ясное сознание другого, идеального мира, который он противополагает внешней реальности, представляющейся всей реальностью для зверя или озверевшего человека.

Человек видит контраст, он насмехается над ложной реальностью, он смеется. Разве он мог бы смеяться, если бы верил в эту ничтожную реальность; но он смеется, потому что хорошо знает, что подлинная реальность принадлежит другому миру, миру идеальному, а этот мир – только искаженная тень того. Он чувствует себя свободным в этом мире лишь потому, что он гражданин мира другого, и лишь в качестве существа метафизического он может смеяться над своим природным существом. Тот же смех, подлинно человеческий, в нас вызывает великие сатирические и комические поэты, а также великие юмористы. Пусть мне не говорят, что сатира, насмехаясь над современной реальностью эпохи или общества, имеет в качестве идеала не трансцендентную действительность, но ту же феноменальную реальность, только иной эпохи или иного общества. Это верно лишь в отношении к сатире поверхностной, которая набрасывается на мнимое зло, не достигая его корней. Настоящая сатира представляет не отдельные недостатки того или иного отдельного явления, но состояние самого человечества, она насмехается над всей нашей внешней реальностью и над человеком, поскольку он подчинен этой реальности. И если бы это ничтожное состояние было бы нашим окончательным состоянием, если бы эта презираемая реальность была бы единственной, то следовало бы покончить с собой; но мы бросаем ей вызов и смеемся. Не в ней наше отчество: что она нам может сделать?

Другой феномен человеческой жизни, выявляющий свой метафизический характер, – это искусство и поэзия. Что является истинным предметом искусства? В древние времена, когда люди обладали вещью, но не обладали ее идеей, искусство определяли как подражание природе. Очевидно, что оно только этим и было, оно не могло иметь никакой самостоятельной ценности, и можно было сказать вместе с одним писателем, что яблоко, которое можно съесть, должно цениться гораздо выше, чем яблоко нарисованное(1). Но достоверно, что произведения искусства производят на нас вполне особое впечатление, которое так же и даже значительно более сильно, чем впечатление, произведенное соответствующей реальностью, что было бы невозможным, будь произведение искусства лишь воспроизведением этой реальности. Искусство не копирует единичные явления – это не фотография; все произведения искусства должны иметь общий и универсальный характер, но с другой стороны, они не могут быть чистыми универсалиями: ничто так не противоположно искусству, как абстракции. Предметы искусства и поэзии – это конкретные реальности, индивидуальности, но индивидуальности всеобщие или типические. И этот тесный союз индивидуального и универсального в произведениях искусства был признан отличительной особенностью искусства, тогда как в нашем видимом мире индивиды не являются универсалиями, а универсалии не являются индивидами. Таким образом, хотя материально мир искусства является тождественным нашему реальному миру, формально он другой, и если между ними существует отношение подражания, то надо сказать, что наша внешняя реальность есть дурная копия, пародия на идеальный мир, разрозненные картинки которого предстают перед нами в произведениях, одушевленных художником и поэтом. И если один человек может создавать эти картинки, а другие могут непосредственно их понять, то это доказывает, что

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
эта идеальная реальность, эта метафизическая реальность является областью, принадлежащей человеку, это доказывает, что человек – мета-физическое существо.

Говоря о метафизическом существе человека, поскольку оно проявляется в смехе и в изящных искусствах, я не могу быть хорошо уверен в том, что буду понят большинством моих читателей. В наш безумный и серьезный век божественный гений исчез, и искренняя радость вместе с ним. Произведения искусства, которые производят в наши дни, есть только копии с копий, и если люди еще смеются, то больше по привычке. Единственное, что еще как-то свидетельствует об идеальной стороне человека, что содержит в себе минимальный отблеск идеального – это положительная наука, заклятый враг всякой метафизики. Но горячность, с которой большинство ученых объявляет себя чуждыми (*innocents*) всякой метафизике или даже прямо на нее нападают, весьма подозрительна и подводит нас к изучению истинного отношения положительной науки и метафизики. (Из вступления к лекции) (2)

Мы указали, что в произведениях искусства метафизическая реальность представлена нам в разрозненных картинках. Наука требует, чтобы она нам была дана в логическом познании, как всеобщее единство. Именно это сегодня отбрасывают наиболее категорически. Но эта ненависть ко всему метафизическому очевидным образом является лучшим доказательством реальности метафизической потребности, и чем более эта ненависть отчаянна, тем более проявляется мощь враждебной силы. Недруги метафизики, будучи не в состоянии отрицать даже сам факт метафизической потребности, вынуждены утверждать, что или эта потребность ненормальна, исключительна, является разновидностью болезни, или, что будучи нормальной, то есть свойственной человеческой природе, она не может тем не менее быть удовлетворена. Что касается первого предположения, то оно совершенно безосновательно. Что является критерием нормальности потребностей? Всякая потребность нормальна, если она существует. Но если бы даже существовали ненормальные потребности, то как можно было бы поместить в их число потребность общечеловеческую, проявляющуюся у самых различных людей – в разные эпохи и во всех странах? Так как вне всякого сомнения, что потребность метафизического познания в той или иной форме, будь то религия или философия, свойственна огромному большинству людей, то, исходя из этого, те, у которых эта потребность отсутствует абсолютно, могут быть рассматриваемы как существа ненормальные, монстры. Что касается того утверждения, что метафизическая потребность, хотя и свойственна человеческой природе, но никогда не может быть удовлетворена, то к нему останется добавить, что человек приговорен к вечному страданию и сделать тем самым из человечества вечного духовного Тантала. Такое предположение слишком серьезно, чтобы мы приняли его, поверив на слово этим господам и не изучив как следует доказательств, которыми оно может быть подкреплено.

Глава вторая. О возможности метафизического познания (3)

Прежде чем исследовать философские доводы, с помощью которых хотят доказать невозможность метафизики, надо сказать несколько слов о рас-пространенном, я бы даже сказал избитом аргументе, употребляемом наиболее часто с той же целью. Он заключается в утверждении того, что человеческий ум слишком ограничен для познания истинной субстанции вещей, метафизической реальности."В сокровенные глубины природы не позволено проникнуть никакому сотворенному духу. Будь доволен, что она открывает тебе свою внешность"(4). Благодаря чему мы знаем, что человеческий ум ограничен и не способен познать сущность вещей? Благодаря опыту, безусловно. Но всякий опыт довольно существует серией явлений, данных в определенное время. Таким образом, основываясь на опыте, мы могли бы утверждать, что человеческий ум в своем прошедшем развитии и до настоящего момента не смог познать метафизическую реальность. Но так как мы не знаем, в каком отношении находится время, уже пройденное человечеством, к тому времени, которое ему еще предстоит пройти, то заключить о неспособности, продемонстрированной предшествующим развитием, о неспособности абсолютной, было бы столь же неразумно, как утверждать, видя ребенка нескольких месяцев отроду, что он навсегда лишен дара речи, потому что он не заговорил до настоящего времени. Быть может, человечество также не способно к метафизическому познанию, как грудной ребенок неспособен говорить. Но более того, как только мы предположим, что человечество находится в состоянии развития, мы не сможем утверждать, что даже в данный момент, теперь, человечество к чему-либо не способно. Всякое развитие подчинено закону непрерывности, вследствие которого мы никогда не

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
сможем указать абсолютную границу между разными фазисами или ступенями этого развития: они всегда тесно переплетены и новый фазис начинается, когда предыдущий еще не достиг своей цели; то есть как только мы допустим, а мы не можем не допустить этого, что в будущем фазисе развития человечества, в неопределенном будущем будет возможно познать метафизическую реальность, то можем ли мы быть уверены, что это будущее уже не настало хотя бы для некоторых индивидов? Таким образом, опыт не может нам дать ничего достоверного в том, что касается способности или неспособности человеческого ума к метафизическому познанию.

Кто-нибудь скажет, что границы человеческого ума, которые делают его неспособным познать метафизическую реальность, субстанциальны и абсолютно необходимы, то есть свойственны человеческому уму не в его временном проявлении, как феномену, но в его внутренней сущности, в его субстанциальной и абсолютной природе. Но такое утверждение уже предполагает, что мы знаем внутреннюю сущность человеческого ума, что мы знаем его как субстанцию, так как иначе мы не могли бы знать, что ему свойственно в его сущности; это предполагает, следовательно, познание на ином, чем феноменальный, уровне – сущностное познание или познание субстанциальное, это предполагает, одним словом, познание метафизическое. Тем же путем, каким мы основываем на метафизическому познанию наше отрицание всякого метафизического познания, мы же и разрушим это отрицание и будем утверждать возможность такого познания.

Переходя теперь к философскому аргументу, доказывающему невозможность метафизического познания, легко увидеть, что он проявляется в трех видах, сообразно которым за отправную точку отсчета принимается предмет познания, то есть метафизическое существо, или же познающий субъект, или, наконец, сама природа действительного познания.

Первый вид, сведенный к форме силлогизма, таков:

Мaj: Предмет метафизического познания есть сущее в себе, а не бытие относительное.

Min: Мы можем познавать только явления, то есть то, что относится к нам, следовательно мы не можем познавать сущее в себе.

C: Ergo, мы не можем обладать метафизическими познанием.

На это я отвечаю: *nego majorem, nego minorem, nego consequentiam*

1) **Nego majorem:** Предмет метафизического познания обсуждается без обладания этим познанием, то есть без знания того, чем может быть этот метафизический предмет. Однако, необходимо иметь какую-нибудь идею относительно него, иначе не о чем было бы говорить. Если невозможно иметь такую положительную или абсолютную идею, предшествующую его познанию, то необходимо дать ей по крайней мере определение отрицательное или относительное, по отношению к тому, что мы уже знаем, что нам дано в нашем опыте, то есть по отношению к феноменальному или природному бытию. Через это отношение мы должны дать метафизическому существу двоякое определение. Прежде всего, мы определяем его как то, что не является феноменальным бытием. Это очевидно. Но отличая метафизическое существо от феноменального, мы должны допустить необходимую связь между ними, и сказать затем, что метафизическое существо содержит абсолютную основу бытия феноменального. Так как само понятие последнего предполагает то, что феноменальное бытие не обладает как таковое своей истинной субстанцией или своим абсолютным началом, и что, следовательно, эта истинная субстанция или абсолютное начало явлений содержитя в другом бытии, которое не является уже бытием феноменальным, а является бытием метафизическими. Но если метафизическое существо – абсолютная основа явлений, то оно не рассматривается более как сущее исключительно в себе, существо абсолютно простое и безразличное: уже существует отношение, связь с другим. Оно не может быть основой мира явлений вообще – *in abstracto*. Если метафизическое существо и бытие феноменальное понимаются не как чистые абстракции, то мы должны разуметь метафизическое существо как действительную основу реальных явлений в их действительной множественности и разнообразии, или, другими словами, метафизическое существо должно содержать в себе начало всех особенных форм и всех индивидуальных свойств нашего действительного мира, оно должно обладать, в превосходной степени всей полнотой и реальностью этого мира. Уже по своему определению метафизическое существо не может быть исключительно простой и безразличной

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
субстанцией, но, как основа или реальное начало всех явлений, должно содержать также известным образом все относительные формы и все реальности нашего действительного мира (и еще неопределенное множество других форм и реальностей, ибо мир явлений не есть нечто завершенное, непрерывно появляются новые явления, основа или начало которых должны быть заключены в мире метафизическом): это не есть абстрактное или умозрительное бытие, но существо беспредельно реальное и конкретное. Если, таким образом, есть определенная взаимосвязь между миром явлений и метафизическими миром, то общая возможность познания последнего через это установлена.

2) *Nego minorem*: Когда утверждают, что мы можем познавать только явления, а не сущее в себе, предполагают, что эти два способа бытия (*modes de l'etre*) абсолютно разделены и противопоставлены друг другу, что у них нет ничего общего. Именно это предположение не только бездоказательно, но решительно ложно. Явление – это видимость (*apparence*) или обнаружение (*manifestation*), видимость или обнаружение чего-то. Чего же может быть обнаружение, если не сущего в себе (так как все что есть, есть или в себе или в явлении для другого)? Очевидно, что мы можем знать только то, что вообще дает о себе знать другому, что обнаруживается или является, то есть мы можем знать только явления. Быть явлением и быть познаваемым для другого – это значит одно и то же. Но так как явления могут быть только проявлением сущего в себе, познавая их, мы получаем также и некоторое знание о последнем. Совершенно очевидно, что мы не можем познавать непосредственно сущее, как оно есть в себе, то есть наше познание не может содержать его в самой сущности или материально, так же как и образ в зеркале не может материально содержать в себе отражающий предмет. Но, как, однако, этот образ дает нам истинное представление о предмете, поскольку он может быть отражен, также и метафизическое существо, абсолютно непознаваемое в своей внутренней сущности, как оно есть для себя, может быть познано с достоверностью как объективное бытие, в явлениях, которые являются его обнаружениями, выражая более или менее непосредственно его внутреннюю природу. Понятие явления как обнаружения или видимости предполагает два термина: во-первых, существо, которое является, и, во-вторых, тот, для которого оно является; и, очевидно, что в зависимости от их взаимоотношения, явление может быть более или менее непосредственным, но оно всегда есть отношение, бытие для другого.

После этих замечаний мы в состоянии дать точное определение того, что называют явлением и сущим в себе. Мы подразумеваем под явлением непосредственное бытие одного существа для другого или то, что непосредственно может быть познано другим; мы подразумеваем под сущим в себе то, что не может существовать непосредственно для другого или не может быть познано непосредственно другим. Мы должны хорошо запомнить это определение, так как в дальнейшем мы увидим его важность. Что до настоящего, то нам достаточно отметить, что немедленным следствием из этого определения является тесная связь между явлением и сущим в себе, так как первое есть лишь существование для другого, существование относительное или проявление последнего, так, что зная явления, мы познаем его *ipso* сущее в себе. Отсюда следует еще, что различие между нашим обыденным познанием и познанием метафизическими относительное или степенное. Если познание явлений было бы их познанием как таковых, отдельно от сущего в себе, и если метафизическое познание было бы непосредственным познанием сущего в себе как такового, вне всякого явления и обнаружения, то между этими двумя способами познания не было бы ничего общего. Но мы видели, что непосредственное познание сущего в себе есть нелепость, и что, с другой стороны, во всяком феноменальном познании мы в большей или меньшей степени познаем и сущее в себе, поскольку оно обнаруживается. Итак, всякое познание есть познание сущего в себе в его явлениях и разница может заключаться в том, что те или иные из них являются более или менее совершенными обнаружениями сущего в себе, и если мы пожелаем указать определенное различие между познанием феноменальным в собственном смысле слова и познанием метафизическим, то мы скажем, что последнее есть познание сущего в себе, в его прямом и адекватном (или цельном) обнаружении (1).

Сейчас мы пока не исследуем, имеем ли мы такое познание, мы хотим лишь выяснить общую возможность такого познания, и эта возможность дана нам предшествующим определением, так как если метафизический предмет проявляется, то он познаем по своей природе.

3) *Nego consequentiam*: В заключении есть больше, чем в посылках. Если, тем не менее, метафизический предмет не имел бы никакой связи с феноменальным

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org существованием (что утверждалось в Мажоре и было признано ложным) и, тем не менее, в данном нам познании не было бы ничего, кроме явлений (что утверждалось в Миноре и также было признано ложным), то из этого не следовало бы, что в данном нам познании мы ничего не знаем о метафизическом предмете. Иногда забывают, что наше рацио-нальное или рассудочное познание есть стихийный акт, который не ограничивается познанным, но преобразует и расширяет его. Я не хочу говорить здесь о том, что называют обычно врожденными идеями, так как их невозможность всегда предполагается (должно или истинно) как установлена, противниками метафизики. Чтобы не усложнять вопрос, я не буду говорить здесь о них. Я буду исследовать лишь стихийный акт рассудочного познания, так как если даже человеческий ум до чувственного опыта есть *tabula rasa* (2), то еще никто не смог отрицать, что по отношению к данному опыту человеческий ум использует свойственную ему способность – способность к абстрагированию, которая заключается в переработке эмпирических данных в общие идеи. Если бы метафизическое существо было, как это предполагают, абсолютно лишено всякого феноменального качества, если оно было бы существом абсолютно простым и безразличным, то наш ум путем возрастающей абстракции мог бы вскоре прийти (прекрасно известно, что он и приходит) к идее существа, абсолютно свободного от всякого качества и феноменальной формы, и через это получить адекватное знание о метафизическом существе. Но мы не будем останавливаться на этой возможности (которая неплохо осуществлена в различных философских и религиозных системах) после того, как мы увидели, что метафизическое существо уже по своему определению не может быть ограничено этим состоянием безразличности и абсолютной пустоты, и что оно проявляется во всей полноте явлений. Таким образом, по природе своего предмета метафизическое познание совершенно возможно, что и следовало доказать.

Второй вид аргумента против метафизики, сведенный к форме силлогизма, таков:

Мaj: Человеческий ум, как познающий субъект, определяется некоторыми формами и категориями, которые ему свойственны и вне которых никакое познание не возможно.

Min: Метафизическое существо не детерминировано этими категориями

C: Ergo, мы не можем познать метафизическое существо.

На что я отвечаю: **n m**, **n m**, **n c**.

1) **N m** и **min** в том порядке, как они помещены в силлогизме.

То, что все данное нам познание, весь наш опыт, то есть весь мир явлений определяется формами и категориями нашего познающего субъекта – это великая истина, которая впервые ясно была доказана Кантом. То, что наше пространство и наше время, не говоря уже о категориях нашего рассудка, в своей действительности принадлежат только нашему познающему объекту, а не вещам самим по себе – это истина, оценить большое значение которой мы будем иметь повод. Но, что эти формы по своей природе, *ipso gener* (3), субъективны, то есть что наше пространство и наше время, а также категории нашего рассудка не могут иметь ничего, что соответствовало бы им в метафизическом существе, – это не только не было доказано, но ни Кант, ни кто-нибудь из его последователей даже и не пытались это доказать, так как очевидно, что такое доказательство невозможно, тогда как противоположное ему более чем вероятно. Что метафизическое существо определяется ни нашим актуальным пространством, ни нашим актуальным временем, это очевидно, но что по своей форме оно вообще не является субъектом для своих форм, что оно не может иметь ничего, что им соответствует – это другой вопрос, и мы видели уже, что само определение метафизического предмета требует предположить, что он обладает известным образом всеми относительными формами феноменального мира. 3) **N c** по той же причине близок к выводу предшествующего силлогизма.

Если бы формы данного нам познания были субъективны по своей природе (каковыми они не являются), и если бы метафизическое существо не могло никаким образом определяться через эти формы (что также не существует), – то из этого следовало бы только, что все познание, данное нам, субъективно, и что метафизическое существо не может быть его предметом. Но сам Кант допускает, что наше действительное познание составлено из двух элементов: 1) элемента материального, произведенного каким-то образом вещами или самими

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org существами, действующими на наше восприятие, и 2) элемента формального – форм и категорий, в которые материальный элемент, если можно так сказать, облачен. Все наше познание вещей состоит из этих двух элементов. Теперь, анализируя этот сложный продукт и абстрагируясь от всех формальных элементов, которые не принадлежат вещам как таковым, мы можем получить в результате бытие, чистое от вещественности. Ding an sich (4), которое в своих внешних проявлениях было бы для нас чистым X, но в нашем внутреннем сознании наше собственное бытие в себе дано нам непосредственно, через это мы и имеем ключ к метафизическому познанию. Это и есть мысль знаменитого Шопенгауэра. Мы не имеем необходимости подвергать ее здесь углубленной критике. Нам достаточно указать на возможность метафизического познания вне форм, предположенных субъективными, феноменальным познанием. Во всяком случае, пока не может быть доказано, что формы нашего познания субъективны абсолютно или по своей природе, возможность метафизического познания со стороны познающего субъекта допускается.

3-ий вид:

Maj: Все наше действительное познание заключается в представлениях нашего ума или в состояниях нашего сознания, а все, что не является состоянием нашего сознания, не может быть нами познано.

Min: Метафизическая сущность не может быть состоянием нашего сознания.

C: Ergo, мы не можем познать метафизическое существо.

Ответ тот же: nego Maj, non min, и nego cons.

1) N Maj: (Из статьи Р^{усского} В^{естника}) (5)

2) N Min: Так как всякое явление есть представление или состояние сознания соответствующего субъекта, то утверждаемое в Миноре снова говорит о том, что метафизическое существо не может быть явлением; что уже было признано ложным, как противоречащее самому определению метафизического существа.

3) N C: Когда, исходя из действительного и данного нам познания, непосредственно делают вывод о познании вообще, то всегда забывают о познающем субъекте, также как дети, считая людей в обществе, забывают посчитать самих себя. Даже если все наше действительное или данное нам познание было бы лишь состояниями нашего познания, непосредственно никак не связанными с истинным состоянием вещей, то следовало бы еще доказать, что наш ум не может в своей стихийной (spontanee) деятельности абстрагироваться от всех эмпирических качеств и прийти к абсолютным и всеобщим идеям, соответствующим метафизическому существу. Допустим, что весь мир явлений есть лишь представление нашего ума, но сам-то ум не может быть представлением, так как кем бы он тогда представлялся? Тогда это есть метафизическое существо, которое в своей стихийной деятельности поднимается над миром образов и знает то, что ему единственно. Но мы не имеем никакой необходимости останавливаться на этой возможности и по отдельности отбрасывать выводы наших силлогизмов, после того как ложность посылок была показана.

Таким образом мы увидели:

1. Что метафизическое существо не есть сущность исключительно простая и безразличная, но что это существо в высшей степени реальное и конкретное.

2. Что явления не могут быть отделены от сущего в себе и что в явлении познается более или менее непосредственно сущее в себе.

3. Что субъективный характер форм нашего познания не мешает им соответствовать независящим от них реальностям.

4. Что если, наконец, все элементы нашего познания есть наши представления или образы, то представление или образ не может быть отделен от представляемого сущего, которое через них таким образом и может быть познано. Все это снова говорит о том, что метафизическое познание, как по свойству своего предмета, так и по свойству познающего субъекта и самого познания, безусловно возможно, что и следовало доказать.

Глава третья. О действительности метафизического познания

Мы определили метафизику как познание сущего в его непосредственном и полном проявлении или сущего в его целостности (*totalite*). Теперь нам необходимо объяснить точный смысл терминов непосредственный и целостность.

Все, что мы знаем или можем познать, субъективно есть наше восприятие или состояние нашего сознания, так как мы не можем выйти из самих себя. Но среди этих восприятий есть два совершенно различных класса. Одни из них, будучи нашими восприятиями, однако, соотносятся непосредственно с существами или вещами, существующими вне и независимо от нас. Их субъективное состояние – быть нашими восприятиями – рассматривается лишь как знак или выражение внешнего, не зависящего от нас бытия.

Под непосредственным обнаружением я подразумеваю обнаружение сущего для себя, под обнаружением опосредованным – его обнаружение для другого, так как мы знаем, что сущее в себе как такое (по своему определению), не может существовать непосредственно для другого. Таким образом, чтобы обнаружиться в нем, оно должно прежде обнаружиться в самом себе и это внутреннее обнаружение становится, таким образом, субъектом обнаружения внешнего или для другого, но так, что это последнее всегда вторично или опосредовано. Теперь мы поставим вопрос по факту: имеем ли мы в нашем познании непосредственное обнаружение сущего в себе? (5)

Когда мы воспринимаем нашими чувствами какой-либо внешний пред-мет, мы даже не думаем, что собственные элементы этой вещи являются восприятиями нашей души; мы смотрим на них, как на представляющих внешний, предмет, и видим, что они в действительности являются таковыми. Таким образом, этот класс наших восприятий дает нам познать бытие другого или другое-бытие: это есть лишь обнаружения другого-бытия для нас, то есть обнаружения бытия для другого или обнаружения опосредован-ные. Это все есть восприятия, которые мы получаем посредством внешних чувств, зная... (6)

Другой класс состоит из представлений или из состояний сознания, которые нам даны без посредства внешних чувств и которые не являются знаками других существ, а являются обнаружениями нашего собственного. Разделительная линия между двумя классами очень проста: все, что мы воспринимаем через прение и т. д. – принадлежит классу восприятий внешних или восприятий в собственном смысле, все остальное принадлежит к классу внутренних состояний нашего сознания. Теперь достоверно изве-стно, что в сфере нашего опыта мы имеем явления, которые нельзя видеть, слышать, пробовать на вкус и т. д. – это наши мысли, чувства, желания. Также очевидно, что даже внешние восприятия, как таковые, как состояния нашего сознания, своей субъективной стороной принадлежат к классу внутренних явлений, так как, со всей очевидностью, нельзя видеть, касаться и т. д. зрения или зрительного восприятия, ни слуха и т. д.. Внешние или чувственные восприятия таковы, как и все остальные наши внутренние состояния, но, что их отличает от остальных, так это то, что в них или через них наше существо находится в непосредственном и реальном контакте с другими существами, определяется ими, так что эти состояния не могут рассматриваться как обнаружения субъекта через самого себя и для самого себя, но должны рассматриваться как обнаружение другого через него и для него, то есть как обнаружения опосредованные. То, что в этих воспри-ятиях мы находимся в реальном контакте с другими существами, доказано самим характером этих восприятий. Наша уверенность в том, что мы воспринимаем реальный внешний объект не есть уверенность логическая, умозаключение, но уверенность непосредственная, которая не отделена от самого восприятия. (Критика противоположного мнения). Так во внешних явлениях мы имеем реальное обнаружение других существ, то есть опосре-дованное обнаружение бытия.

Что до состояний чисто внутренних, то есть являющихся таковыми не только материально, субъективно, но абсолютно, которые не могут быть соотнесены с реальным воздействием других существ на нас, но которые выражают собственное действие нашего существа, то они таким же образом являются непосредственными обнаружениями бытия, то есть нашего бытия, так как мы видели, что мы сами, наше природное бытие не может быть явлением, но со всей необходимостью есть сущее в собственном смысле слова или сущее в себе. Отсюда следует, что во внутренних состояниях нашего сознания, то есть в тех состояниях, где мы реально не определены другим бытием, мы имеем непосредственное обнаружение бытия, что и есть первый элемент метафизического познания.

Так как именно сущее, а не явление мы познаем в нашем внутреннем опыте, то посредством него мы можем дать положительное определение сущему. Прежде всего очевидно, что мы являемся сущим только как возможность или сила, потому что действительные (*actuels*) состояния, нашего сознания, то есть та или иная определенная мысль, то или иное чувство, то или иное желание не составляют нашего существа, — они есть лишь частичные выражения этого существа. У меня есть теперь определен-ная мысль и желание, но я могу иметь и знать, что буду иметь бесконечное множество других. Таким образом, сущее, прежде всего, это возможность или сила чувствовать, думать, хотеть. Но также очевидно, что я не могу думать вообще, чувствовать вообще, хотеть вообще. Я думаю определенным образом, чувствуя и хочу определенным образом. Таким образом, чтобы определить не абстрактное сущее или умопостигаемое сущее, но реальное сущее, надо сказать, что это активная и определенная возможность желания (*arpiration*), восприятия и чувствования, или активная возможность хотеть, воспринимать и чувствовать определенным образом.

У нас есть внешние восприятия, которые являются только состояниями нашего существа в реальном контакте с другими существами, что с очевидностью доказывает существование последних. Но каковы эти существа? Мы видели, что их восприятие нами не выражает непосредственно их собственную природу, так как они являются лишь опосредованными обнаружениями, они выражают их бытие по отношению к нашему, а не к самому себе. Но то, что называют материальными вещами, есть в действительности не что иное, как эти внешние восприятия, как эти явления, которые возникают в контакте двух реальных существ, но отнюдь не собственная или внутренняя природа этих существ. Эта последняя может быть познана только в своем непосредственном обнаружении, которое мы имеем в нашем сознании постольку, поскольку мы тоже представляем существо; мы не можем знать непосредственно прямое обнаружение других существ, их обнаружение для себя, но нам достаточно знать непосредственное обнаружение нашего собственного существа, так как непосредственное обнаружение одного существа как такое не может быть отличено от непосредственного обнаружения другого. Различие может быть в степени и в индивидуальных свойствах, но не в общем определении, также как краснота одного объекта не отличается как такая от красноты другого объекта. Человек как такой не отличается от другого (то есть в качестве человека, которое обще им обоим). Также и непосредственное обнаружение или обнаружение существа для себя не может отличаться он непосредственного обнаружения другого существа для себя в своем качестве непосредственного обнаружения. Теперь очевидно, что внешние нам существа, которых мы воспринимаем как материальные предметы в их опосредованном обнаружении, должны иметь также и непосредственное обнаружение или обнаружение для самих себя, так как опосредованное предполагает непосредственное, иначе мы имели бы непосредственное познание внешних вещей, что абсурдно. Так, мы должны допустить, что внешние существа обнаруживаются также как активная возможность желания, восприятия и чувства.

Из Р_{усского}В_{естника}(6)

[Мы установили, что существует множество реальных существ, определенных как активная возможность чувствовать. Из этого определения следует, что эти существа различаются по ступеням. Низшая ступень — атом неограниченного мира, высшая ступень из известных нам — человек]. (7)

Определение психического существа: активная возможность внутренне-го чувствования, (которая возвышается до личного самосознания и духовного самосознания), чувствования другого в самом себе, (которое поднимается до совершенного образа и до мысли), и желания, то есть стремление к реальному союзу с другими существами, (которое включает три ступени:

желание в собственном смысле, влече-ние и воля).

Три общих разновидности воли:

воля безразличная,

воля негативная (ненависть),

воля положительная (любовь).

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org

Теперь ясно, что множество существ как такое не представляет сущего в себе. Мы увидели, что это есть только непосредственные обнаружения сущего в себе; по обнаружение предполагает абсолютную субстанцию, которая обнаруживается, а раз множественность уже есть форма обнаружения, то эта субстанция едина. Теперь, если каждое индивидуальное существо было определено как активная возможность и т. д., то абсолютная субстанция должна быть определена как активная возможность непосредственно обнаруживаться всеми определенными способами (через чувство, ощущение и волю всеми определенными способами). Теперь очевидно, что это определение содержит три элемента: *primo*, возможность, 2, действительность и, 3, союз этих двух понятий. Абсолютное существо может обнаруживаться, оно реально обнаруживается, но в этом реальном обнаружении оно не может выразить все свое существо как такое и, таким образом, оно остается в себе. Возможность бытия но отношению к объективному и реальному бытию есть не-бытие, это бытие чисто субъективное, это даже не само бытие как такое, это только субъект, субстрат, (гр) для бытия, чистое не-бытие, негативная свобода. Затем оно обнаруживается, становится бытием реальным и объективным, потом в обнаружении, в объективном бытии оно сохраняется как возможность, то есть как не-бытие, оно обладает объективным бытием, но оно не ограничено им, то есть оно положительно свободно; так как свобода негативная есть там, где что-либо отсутствует; тогда как положительная свобода в том, чем обладают, но сами не являются обладаемыми. Это свободное бытие есть дух. Таким образом, истинное определение абсолютного существа как такового есть дух.

Очевидно, что абсолютное существо, как возможность, есть материальная причина отдельных существ; как существо объективное или идея, оно есть их формальная причина; наконец, в качестве духа, оно есть первопричина (*cause finale*), причина всего – конкретного бытия и жизни. Так как определения абсолютного существа вытекают из самой его природы, они не могут быть подчинены вторичным формам явлений, они абсолютны и вечно, как оно само; оно содержит в себе абсолютную и вечную материю, абсолютную и вечную форму и абсолютную и вечную целостность всего, что существует. Но все, что существует, не абсолютно и не вечно. Бытие изменяющееся, бытие относительное и чисто феноменальное бытие мира не может быть объяснено через существо абсолютное, иначе такое существо не может стать действующей причиной изменяющихся явлений во вселенной. Тогда, что же есть их непосредственная и действующая причина?

Если взять отдельные явления в их отдельности, то ответ прост: деятель этих явлений есть отдельное существо или отдельные существа. В явлениях внешней природы – это природные существа или низшие монады; в человеческой деятельности – это люди или высшие монады. Но если мы рассмотрим явления не по отдельности, а в их взаимной связи, в их целостности, то мы увидим, что эмпирический деятель есть лишь посредник действия, а не подлинный деятель, так как эти явления имеют в своем результате нечто не содержащееся ни в возможности, ни в намерениях частного эмпирического деятеля. Если бы эмпирическое существо действовало на самом деле, то результат его действия должен был бы соответствовать его цели, предопределенной внешними обстоятельствами, но мы видим, что реальный результат не вытекает ни из цели, ни из эмпирических деятелей, ни из обстоятельств как таковых. Действуя, мы видим, что результат представляет собой цель разумную и общую, но отнюдь не нашу. Эта достигнутая цель является средством для другой цели, еще более общей и более разумной, которая еще в меньшей степени является нашей. Вся эта телеология носит феноменальный характер, потому что все эти цели достигнуты во времени и в пространстве, и еще потому, что по своей природе они промежуточны и относительны, служат средствами для других целей, еще более высоких. Поскольку они не могут происходить из абсолютного существа, в котором все абсолютно, как оно само, они должны быть действиями отдельных существ, и так как эти телеологические феномены носят более общий, более разумный и более универсальный характер, чем наши цели, и так как они руководят действием эмпирических существ, они должны быть причислены к внутреннему бытию высших существ, более могучих, чем все существа нашего мира. Мы вынуждены допустить существование таких высших существ еще по двум причинам: закон непрерывности и необходимость бессмертия души.

До сих пор мы действовали, выводя необходимые логические заключения из фактов, данных в нашем непосредственном внутреннем опыте. Мы познали отдельное бытие через наш собственный опыт, мы познали общее и необходимое бытие через общий и необходимый орган сознания – разум. Теперь, чтобы познать природу существ, находящихся вне нашего мира, их отношение с

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
абсолютным существом и с нашей реальностью – для этого познания наши
обычные средства недостаточны. Но как только мы допустили существование
этых существ, мы получили специальные средства, так как эти существа,
существуя и воздействуя на нас, обнаруживаются в нас или дают о себе знать.
Эти существа индивидуальны в своем существовании и универсальны в своей
причастности высшему существу. Мы знаем их через вдохновение, орган
познания – это конкретное мышление или интуиция, материальным элементом
которой является воображение и формальный элементом – диалектика (8).

<вторая часть>(7)

Глава первая (9). О трех фазах абсолютного первоначала и о трех
божественных ипостасях.

Первым началом вселенского учения является абсолютное первоначало всего
существующего (tout etre). Как абсолютное первоначало оно существует в
себе независимо от всего существующего. Как начало всего существующего оно
существует в любой вещи и, как следствие, может быть познано.

Ни одна система не смогла отрицать существование абсолютного первоначала.
даже скептицизм стремится только к доказательству того, что это начало
непознаваемо. Другие системы допускают не только его существование, но и
возможность его познания и различаются лишь по названию которое ему дают. В
диалектической части мы сможем сразить аргументы скептицизма. Что до
остальных систем, то они рассматривают абсолютное первоначало в качестве
универсальной материи, бесконечной субстанции воли, идеи или всеобщей формы
всего существующего, наконец как абсолютный дух. Теория всеединства в
равной степени признает разумные основания всех этих систем. И, в первую
очередь, очевидно, что абсолютное начало не может быть таковым, то есть
полным или совершенным (так как именно в этом смысл слова *absolutum*,
происходящего от глагола *absolvere*), не содержа в самом себе материальную
причину всего существующего. Таким образом, первое определение, которое мы
даем абсолютному первоначалу это определение всеобщей материи или
первоматерии всего существующего. Бытие индивидуальных существ служит
материей для другого бытия. (Примеры). Но материя всеобщая, материя всего
существующего не может быть другим бытием, так как она не может найти
другое бытие вне всего существующего. Таким образом, эта материя не может
быть определена как бытие. Но если это не бытие, значит это не-бытие.
Однако, это не может быть чистым или простым не-бытием или ничем, так как
тогда это не могло быть материей чего-либо. Поэтому, это не может быть
отрицанием бытия как такового, по только отрицанием действительного бытия
(или в действии), то есть: это лишь возможность или потенция бытия. Это
ясно: материя бытия не может быть самим бытием или бытием в его
действительности и, так как она не может быть ни другим, ни ничем, то она
должна быть бытием в возможности или относительным не-бытием. То, что
сказано о материи, полностью применимо и к понятию о субстанции, так как
субстанция бытия, поскольку ее отличают от самого бытия, может быть только
его возможностью. Это применимо также к терминам *substratum* и субъект
(gr), которые имеют подобную этимологию и идентичное значение. [Примеры]
(10)

Таким образом, определяя абсолютное первоначало как первоматерию, мы
определяем его в то же время и как возможность бытия или относительное
не-бытие, как всеобщую субстанцию, субстрат, субъект.

Различие между первоматерией и матерью вторичной, относительной.

Если мы хотим определить для себя положительную идею возможности бытия или
относительного не-бытия, то мы должны обратиться к рассмотрению нашей
собственной воли. Необходимо отличать волю от действий отдельных и
определенных волением, так как если бы воля присутствовала только в эти
действиях, то мы не могли бы желать чего-либо другого, вся наша воля была бы
совершенно исчерпана в этих действиях, предопределенных волением. Однако,
в реальности этого не случается. Наша воля, то есть способность ведения,
остается совершенно такой же после всех актов воления: мы можем хотеть,
сколько нам заблагорассудится, ибо это не исчерпает нашей воли, мы ее тем
самым не потеряем. Исходя из этого очевидно, что воля абсолютно не
ограничена нашим действительным волением, и что если это воление, то есть

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
определенные волевые акты являются чем-то, если им необходимо приписать бытие, то воля есть не что иное как возможность бытия или относительное не-бытие. Так как вообще воля заключается именно в этом, так как она есть именно возможность действия или действительного бытия, то мы вполне можем сказать, что абсолютное первоначало как материя или субстанция есть всеобщая воля. И действительно, оно есть не-бытие в смысле отсутствия или недостатка бытия. Но оно не может быть недостатком бытия в совершенно абстрактном и негативном смысле, совпадающим с ничто. Оно должно быть, следовательно, положительным недостатком бытия, необходимостью, каждой, желанием бытия. Но не определенным желанием, а желанием бытия вообще или волей. Таким образом, с этой стороны мы тоже подходим к определению абсолютного первоначала как всеобщей воли и мы видим внутреннее тождество двух понятий, которые кажутся столь удаленными друг от друга: понятия материи и понятия воли. Вторичное и случайное значение, по обыкновению придаваемое этим двум понятиям, лишь отдаляет их друг от друга, тогда как они сближены их первичным и главным смыслом.

Универсальная материя предполагает универсальную форму, не-бытие или абсолютная возможность предполагает абсолютное бытие, субъект предполагает объект, воля предполагает идею. Характеристика идеи = чистому бытию.

[Абсолютное первоначало бытия, которое не может быть определено (11) ни как бытие, ни как не-бытие, должно быть понятно как активная возможнность бытия.]

[Абсолютное первоначало бытия не может быть тождественно действительному бытию, так как это противоречило бы самому понятию первоначала; но оно не может быть и менее реальным, чем действительное бытие, так как тогда реальность последнего не могла бы проистекать из первоначала, что также противоречит понятию последнего. Таким образом первоначало] (12)

Абсолютное первоначало как положительное небытие (*super esse* или *plus quam esse*) (13). Абсолютная свобода – дух. Начало субстанционального единства. Абсолютное первоначало формы или идеального многообразия: (гр) (14)

Начало реального многообразия: *Amina mundi*. (15) Мир божественный, мир идеальный, мир природный. Вечность трех миров. Нормальное соотношение трех миров, рассматриваемое в своей вечности или в себе (или для абсолюта): первое состояние. Ненормальное отношение – восстание третьего мира: второе состояние (настоящее состоянение), (процесс). Нормальное отношение как восстановленное или для себя (для нас): третье состояние.

Теория всеединства имеет в качестве исходного начала абсолютное первоначало всего существующего, в качестве завершения или цели – совершенство или вечное добро для всего, что существует, в качестве средства или посредствующего звена – отношение и взаимодействие богов и людей.

Абсолютное первоначало бытия под различными именами признано всеми религиозными и философскими системами. Среди последних даже скептицизм, отрицающий существование у нас способности к его познанию, вынужден допустить его существование. Что до других систем, то вообще они допускают, что абсолютное первоначало может быть нами познано, но они различаются между собой по определенным названиям, которые ему дают. Теория всеединства признает относительную справедливость всех этих систем, не исключая скептицизма. Совершенно очевидно, что для познания абсолютного первоначала как такового, то есть для познания абсолютного, надо стать им (*lui etre assimile*), надо обладать абсолютным бытием. Раз наше действительное состояние абсолютным не является, то мы не можем познать абсолютное первоначало в нем самом. Но оно есть начало всего существующего и, как такое, в своем отношении к нашему бытию и к нашему миру, оно может быть познано нами; и поскольку это отношение определено собственной сущностью абсолютного первоначала, поскольку мы можем иметь познание относящееся к последнему.

[Во-первых, мы должны утверждать, что абсолютное первоначало всего существующего (или начало бытия вообще) не может быть определено как бытие, так как в этом случае вне всего существующего было бы некое бытие, что абсурдно. Значит, надо определить его как не-бытие. Но категория не-бытия имеет двоякий смысл. Она может обозначать просто лишение бытия, то есть ничто.] (16) Абсолютное первоначало, которое не может быть определено ни как бытие (отдельного объекта), ни как бытие (вообще), ни как бытие (лишь-ние),

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
должно быть понятно как положительная возможность бытия; начало не есть бытие, оно обладает бытием (то есть всем существующим), оно им обладает, но не определено им и не ограничено им. Оно не есть что-либо и поэтому оно абсолютно едино, так как множественность предполагает отношение, предполагает качество. Но это единство не может быть исключительно единством или лишением множественности. Оно абсолютно едино в самом себе, то есть может обладать (и обладает) множественностью, не теряя своего субстанциального единства.

Всякое определенное бытие (а неопределенное бытие есть лишь абстракция), всякое определенное бытие предполагает множественность. Таким образом, начало бытия должно быть и началом множественности...

С одной стороны, абсолютное первоначало находится над всем существующим, это абсолютное единство, положительное не-бытие – чистый дух. С другой стороны, оно есть непосредственная возможность бытия или материя; так как если абсолютное первоначало было бы лишь сверхсущностным свободным не-бытием (духом), оно никогда не произвело бы бытие и бытие никогда бы не существовало, но если бы бытие не существовало, то оно не было бы свободным, так как нельзя быть свободным от ничто. Таким образом, оно должно быть, во-вторых, непосредственной возможностью или необходимостью бытия=воли=eros (На другом листе о положительной лишенности, как жажде бытия).

Только различая внутри себя другое начало, абсолютное первоначало может полагать себя в качестве первоначала; только обнаруживая себя обладателем необходимости бытия, оно обнаруживает себя и свободным духом. Только разделяя абсолютное единство, можно прийти к подлинной множественности, но чтобы разделять, надо иметь принцип деления. Очевидно, что только в единении множественного может проявиться подлинно единая природа абсолютного первоначала (17).

Все, что существует, вечно происходит с абсолютной необходимостью (выражение Спинозы) из внутренней связи с абсолютным первоначалом как таковым и из непосредственной возможности бытия или материи. Определяя первоматерию, дух становится формообразующим началом.

Определение и разделение или отделение (18). Первая ступень – отделение идеальное или во внутреннем акте воображения (Vorstellung (19)) Это умственная форма есть идея. Вторая ступень – это отделение реальное или в чувственном акте (NB: в первом преобладает дух, во втором – материя). Реальная форма – это тело. Дух в первой форме есть (гр), материя во второй – есть душа. Так, мы имеем первичный Ум (Intelligence), и первичную душу. Это конкретные существа. Абсолютное первоначало, становясь (гр) и душой, но своей природе не прекращает быть абсолютным и положительным единством. Таким образом, мы имеем три первоначальные ипостаси: дух, Ум и душа.

Только в отношении к Уму и Душе, Дух проявляется как такой или для себя, так как, чтобы проявиться или полагать себя как такого надо отличить себя от другого. Таким образом, дух, который субстанциально есть абсолютный prius всего, феноменально зависит или определен Умом и Душой. Таким же образом, Ум, который субстанциально есть prius воплощенной души (идея есть гр тела), так как прежде, чем реальная форма будет воплощена в действительности, она должна существовать в идеи (потенциально) (прежде чем что-то произвести, надо знать, то есть иметь идею того, что хочешь произвести), – действительный Ум, то есть Ум, полагающий нечто реальное, зависит от Души. Очевидно, что зависимость трех ипостасей взаимна и что они могут быть поняты только как совечные.

Дух вообще есть субстанциальное и нерасторжимое единство, которое не может быть уничтожено своей противоположностью, существующей вместе с ним. В первой ипостаси (дух как такой) – это субстанциальное единство существует актуально (или для себя), таким образом, в этой ипостаси единство абсолютно. Во второй ипостаси единство лишь субстанциально: – действительность множественна, но множественность эта идеальна, реальная множественность содержитя лишь в возможности. Наконец, в третьей ипостаси реальная множественность действительна, субстанциальное единство, также как и идеальная множественность существуют лишь в возможности. Дух, полагающий себя как Ум и как Душу, не исчерпывается этим, но будучи по своей природе Духом, возвращается к себе и полагает себя как такого. Также и в состоянии множественности существ, будь то идеальных или реальных, Дух

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
возвращается к себе, а так как его полагания вечны, то эти возвращения Духа также вечны. Посредством этого мы получаем чисто духовную множественность в связи с идеальной множественностью, произведенной Умом, и реальной множественностью, произведенной Душой: каждое существо, идеально отделенное Умом и реально – Душой, духовно объединяется с Духом в акте абсолютной любви. Одни и те же существа включаются в абсолютное единство Духом, идеально различаются Умом и реально разделяются Душой. Три мира создают, таким образом, один мир, имеющий три аспекта. Между этими тремя мирами существует совершенная связь.

абсолютное первоначало есть Единое и проявление первоначала в трех мирах есть осуществление Единого. В первом мире субстанциальное единство существ в духе, есть их действительное единство; если они и разли чаются, то только для того, чтобы немедленно соединиться. Множественность и разделение здесь лишь в возможности. Действие (*l'acte*) есть любовь. Во втором мире существа различают идеально, то есть, через первоначальный акт Ума в умопостигаемом пространстве. Этой идеальной множественности соответствует идеальное единство или умопостигаемый порядок. Идеальное единство не отменяет множественности. Ум различает, чтобы соединять, но в этом союзе различие сохранено идеально. Наконец, в третьем мире, где множественность реальна или чувственна, единство тоже должно быть реальным и чувственным. То есть единство, будучи всегда одним и тем же, в первом мире существует, во втором – оно мыслится (представляется), а в третьем – чувствуется внешним образом (20) В естественном порядке второе начало непосредственно является субъектом первого, а третье – субъектом второго и через него – первого. То есть душа желает, воображает, наслаждается (*jouit*) только Умом и умопостигаемым миром, и т. д. Реальная множественность существует только как основа множественности и единства идеального. Душа и животный мир есть лишь материя умопостигаемого мира, который точно также не имеет реальности и материальности через и для себя самого: он обладает ею в третьем мире, также как третий мир обладает своею идеальностью во втором, а духовностью (положительным или действительным единством) – в первом. Третий мир есть реальность или реализация второго, а он, в свою очередь, есть образ или представление первого. Все объективное (идеальное) содержание третьего мира получено им от второго, а вся субстанциальность или утверждение – от первого. Третий мир утверждается не для себя: он существует только для второго, а второй – для первого. Таким образом, вся множественность существ, все идеальные и реальные формы миров, существуют здесь только для духа или абсолютного Единого – ничто не существует для себя. Это совершенный союз трех миров, где третий мир абсолютно пассивен, второй активен лишь в отношении к третьему, но пассивен в отношении к первому, составляет первое универсальное состояние. Первая ипостась господствует – это царство Отца. [Но единство, чтобы быть совершенным, должно существовать не только для абсолютного духа (для Бога), но и еще для объединившихся существ;

чтобы иметь реальное существование в сознании отдельных существ, это единство должно быть достигнуто ими, должно быть произведено. Чтобы быть произведенным, оно должно вначале быть отложено или отвергнуто (*etre avant suspendue ou prie*); прежде чем оно будет произведено реально, оно должно быть реально отвергнуто.] (21)

Вселенная в этом состоянии представляется нам, как живой организм, состоящий из психических существ, различающихся по уровню их развития и по связи трех начал. Всякое существо не существует здесь исключительно для себя, но лишь как часть целого. В основе всего лежит душа, но в основе Души – антибожественное начало, которое теперь изменяет свою форму. По отношению к чистому духу в нем самом, по отношению к положительному не бытию, это есть непосредственная и слепая возможность всякого отдельного бытия. Но в космосе это бытие стало божественным. Антибожественное начало теперь может быть лишь возможностью исключительно отдельного бытия. Сила, укореняющаяся абсолютно в отдельном бытии и желающая исключить все остальное – это начало ложного единства, диаметрально противоположного божественному единству. Абсолютное первоначало – это положительное единство (положительное не бытие). Положительное единство не есть отсутствие множественности, но превосходство над пей. Это предполагает множественность реальную или действительную. Действительная множественность предполагает действительное разделение, действительное разделение предполагает противостояние или ненависть. Таким образом, абсолютное первоначало не есть только начало любви, но также и начало ненависти или злобы, не только начало единства, но и разделения, и если, однако, собственная природа Бога заключается в любви

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
и в единстве, то это говорит о том, что единство и любовь могут превозмочь разделение и ненависть или имеют их в своей возможности, но чтобы проявилась эта возможность, разделение и ненависть также должны проявиться, и тогда превосходство единства и любви проявится как их победа (22).

Всякая высшая ступень бытия содержит в себе низшее, как свою материю. Душа мира – это Душа человеческая: *Spiritus in nobis qui viget ilia fecit* (23). Душа человечества – это мыслящий центр и внутренняя связь всех существ. Адам Кадмон.(8) Возможность исключительного утверждения отдельного бытия, – ложное единство или ложный дух – Сатана. *Das transendentale Ich* (24) фихте, первоначальный акт, начало всякого отдельного и разделенного существования, он овладевает душой и уничтожает ее единство. Душа похищена (*est ravie*) (*raptus animae*) (25) – душа сдержит в себе *in potentia* чистый дух и чистый Ум: первый как начало ложного единства, о котором мы говорили, второе как начало разделения или идеального отрицания *la raison negative* (рассудок) (26) – Сатана и Димиург. Сатана – это первый продукт Души, Димиург следует с необходимостью. Как только Сатана овладевает душой, пассивный Ум становится активным, рождается Димиург. (Возникновение *fur Sich-sein* (27) (атомов) по логике Гегеля (28)

Реальный процесс. Материя, атомы под действием Сатаны (29)

Форма – их внешнее отношение через действие Димиурга. Душа – их конкретное единство через действие Софии. Реальные атомы составлены из трех элементов:

положительный или женский элемент, который является силой притяжения – центростремительная сила (сила инерции) – *Hestia*(9);

элемент негативный, активный, или мужской, который является силой отталкивания, центробежная сила; синтетический элемент, благодаря которому два стремления не разрушают друг друга, но объединяются в одно элементарное существо. Притяжение или инерция есть бытие в себе или воля, желание; отталкивание, есть бытие для другого или восприятие. Синтез есть бытие в себе или душа.

Очевидно, что для того, чтобы единство осуществилось, положительная сила должна материализоваться в отношении к негативной силе, уступить ей место, стать ее материей или ее объектом, потерять свою субъективность. Как положительная сила желания уступает негативной (и относительно идеальной) силе восприятия, мы знаем по нашему внутреннему опыту, когда акт разгоряченной воли, вспышка гнева или ненависти, например, уступает внушениям разума, успокаивается им. Возбужденная положительная сила должна стать пассивной, должна стать женственной (то есть тем, что она есть по своей природе); она должна освободиться от мужского начала.

Главная цель мирового процесса есть действительное обнаружение (30) единства или божественной одухотворенности во всей реальности или воплощение Бога во всех существах, что может быть также определено как материализация божественного. Очевидно, что самое определенное или самое индивидуализированное существо есть в то же время и самое универсальное, – это великий принцип, который вопреки своей очевидности был отвергнут различными философскими школами (реализм и номинализм в Средние века, абстрактный рационализм и исключительный эмпиризм в новой философии). В неорганической природе преобладает первое из космических начал, оно субъективировано в Димиурге лишь внешним образом; в мире органическом преобладает Димиург, он также внешним образом субъективирован в Душе, наконец в человеке душа освобождается от обоих начал, субъективируется в Уме, а через него – в божественном духе, она только внешним образом является субъектом двух космических начал. Сложными индивидами неорганического мира являются небесные светила (*les astres*). Духи астральные и стихийные (*élémentaires*); зависимые души растений и животных; свободные души людей. У человека – природный дух Сатаны, природный Ум Димиурга, свободная душа Софии, через которую он может войти в связь с Умом Христа и Святым Духом Бога, именно, поэтому Бог может воплотиться только в человеке. Богоподобие есть реальный союз Ума и Божественного Духа с отделенной Софией. Бог должен материализоваться, воплотиться. Он может сделать это, лишь соединяясь внутренним образом с человеком, потому, что это единственное существо, которое соединяет в себе духовную, разумную и

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
душев-ную природу с природой материальной. Дух и божественный Ум вечно соединены с Софией, но София обладает материальным существованием лишь в своих детях; таким образом, чтобы соединиться с Софией, Логос и Дух должны соединиться со своими детьми.

Во всех религиях (античных и христианских) надо различать реальные действующие начала и человеческое сознание, различным образом отражающее это действие в зависимости от преобладания одного из этих реальных начал. Начала, которые непосредственно детерминируют религиозное со-знание, таковы: Сатана, Димиург, София. Среди этих трех начал, положительным и активным является Димиург, Сатана – отрицательное начало, Душа – пассивное. В астральных мифологиях Димиург предопределен Сатаной; в солнечных и лунных мифологиях он сам его определяет, в фаллических мифологиях он действует перед Душу. Действие космических начал на человеческую душу порождает ее реакцию; эта реакция есть: 1) реакция духа [против Сатаны и материи] (31) – преимущественно у индусов, 2) реакция Разума – преимущественно у греков (философия), 3) реакция души в собственном смысле (у евреев) (32). В индийской мысли, несмотря на все видимое многообразие начал и вещей, в действительности нет ничего кроме одного абсолютного духа – Брахмы, Будды. Мысль греков (и римлян): есть единый абсолютный разум, который управляет всем. Мысль евреев: есть одно индивидуальное и человеческое Существо, которое рождает все (это существо есть Иегова, который должен проявиться для человечества в Мессии). Эта мысль включает человеческую душу в вечный Логос. У израильского народа сознание индивидуальности души наиболее сильно; это сознание с одной стороны может привести к эгоизму и чрезмерной гордости; но с другой стороны, соединяется с сознанием действительного ничтожества человеческой индивидуальности, оно становится реальной основой религиозного сознания. Душа, которая чувствует и утверждает свою абсолютную природу и которая чувствует в то же время свое относительное и ничтожное состояние, приходит к самоутверждению, стремится объединиться с божественной личностью, становится пассивной по отношению к Ней. Божественный гений выбирает среди этих пассивных душ ту, которая является такой в наибольшей степени, свою невесту, предопределенную в вечности, соединяется с ней, когда перед ее появления в мире пришел; именно таким образом в иудейском Вифлееме родился Спаситель мира. Здесь не стоит объяснять все детали этого Рождества. Но что нам важно отметить, так это то, что в этом существе через внутренний союз личного Логоса и души, воплощенной в Иисусе, божественная и человеческая природа соединились нераздельно и несложно. В Иисусе Христе Бог получает личную человеческую душу, и в этом смысле правы мусульмане, называя Иисуса душой Бога.

Индивидуальная человеческая душа, в своем отделении от мировой души ставшая телесной и в своей активной противоположности другим индивидам достигшая чистого и отдельного сознания, никогда не может потерять это сознание, так как она его и не получала, так как она ничего не получала извне. Ее внешние отношения, ее телесность или материальность послужили лишь для того, чтобы перевести в действительное состояние то, что существовало в ней вечно в скрытом состоянии, в возможности или потенциально.

Индивидуальное сознание со всем своим содержанием не есть (33) нечто новое и случайное, созданное внешним образом. Это есть вечное содержание души, утвердившееся в действительности, положенное как такое. Внутренняя жизнь души возбудилась, пробудилась через воплощение, затем, когда цель достигнута, средство становится ненужным. Как для того, чтобы научиться читать, мы нуждаемся в складах, умея же читать, мы делаем это по привычке, также и после телесной смерти душа не теряет ничего из того, что она приобрела и продолжает существовать в своей эфирной и психической оболочке, в своем собственном пространстве и я своем собственном времени. Очевидно, что состояние индивида после смерти полностью определено его состоянием до смерти – что посеял, то и пожнешь. Наивная идея наказаний и вознаграждений, наконец, должна быть оставлена теологией: состояния страдания и ничтожества, необходимо связанные с исключительным самоутверждением индивида, также как и блаженство индивидуальности, свободно отказывающейся от себя, принадлежат каждому индивиду. Каждый индивид в этой или другой жизни должен пройти через ничтожество и боль, чтобы прийти к совершенству и счастью;

высшее совершенство принадлежит всем существам, и каждое из них обладает этим совершенством по своему собственному характеру, так как совершенство не связано с одним определенным характером, но все могут им обладать, каждый по-своему. Совершенство заключается в отказе от своей эгоистической

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
воли, очевидно, что от своей воли можно отказаться, не потеряв своего характера; также как существует множество эгоистиче-ских характеров, также должно существовать и множество характеров святых. Души, которые находятся во власти Сатаны, то есть состоянием которых является ненависть, после смерти испытывают муку от этой ненависти, которая не находит для себя объекта (соответствующего телесного состояния). Те, которые находятся во власти димиурга, то есть которые пристра-стились к абстрактному рассудку, изучению внешних факторов, принимая средство за цель, и к юридической практике, оказываются в полной пустоте, потому что в мире ином ничто не соответствует их обычным занятиям; телесное состояние здесь соответствует более или менее сильному холоду, тусклому и мрачному мерцанию. Наконец, души, управляемые Софией, находятся в счастливом состоянии. Очевидно, что эти различные состояния весьма относительны(34)

Конец и цель мирового процесса – полное воссоединение двух миров или свободное и сознательное подчинение людей богам. С другой точки зрения – это полное воплощение богов, реализация божественности. Каждое смертное существо представляет некоторым несовершенным обра-зом соединение двух миров, и очевидно, что чем больше существует пришло к духовному состоянию, тем ближе это соединение. Все умершие желают окончательно и полностью воплотиться – одни свободно и через божест-венную любовь, а другие – по необходимости, жаждут соединения двух миров и все воздействуют в этом смысле на людей и на природный мир. Очевидно, что человеческий ум в зрелую историческую эпоху, обладая всем опытом прошедших лет и находясь под действием и влиянием бесчисленного множества существ, как живых, так и умерших, лишен тем самым простоты и первобытной силы, его жизнь детерминирована гораздо большим числом связей и благодаря этому он более свободен, более индивидуализирован, в большей степени является хозяином природы, ближе к духовному состоянию. Природные основы его психического и физического бытия разрушены, ослаблены одновременным действием многих внутренних и внешних фак-торов, они им больше не обладают,<бытие>от них освободилось. Это состояние внешне выражается в чрезвычайном развитии нервной системы, как центральной, так и периферической, которая служит органом эфирному и психадическому телу и, тем самым, его развитию; вследствие этого человек уже на протяжении земной жизни более приближен к умершим, чем ранее. С другой стороны, развитие нервной системы, производя значи-тельно больше эфирных и психадических флюидов, дает больше материала для воплощения духов. Таким образом, в то время как люди, становясь более эфирными и духовными, приближаются к духам, духи, становясь более телесными и материальными, приближаются к людям и окончательное воссоединение тем самым ускоряется.

После появления христианства Димиург, не имея возможности действо-вать непосредственно на человечество, все-таки проник в христианство и преобразил царство любви и мистического разума в царство внешнего правосудия, в состояние абстрактного рассудка – панство и схоластика. Сатана, будучи бессильным против истинного христианства, поднял свою раздавленную голову против ложного, – тут ему нашлось дело, но он мог действовать лишь мало-помалу. Он принял некоторое участие в протестан-тизме, поскольку тот, вместо того, чтобы призвать к христианской любви и божественному одухотворению, привязался к слепой вере и абстрактному предопределению, а затем и к мертвой букве Библии. Затем он позволил человеческому уму поклоняться Димиуру как истинному Богу (в деизме), насмехаясь над радостью, которую дает истинный Бог, так как Димиург – это жалкий бог, и после того, как Сатана заставил людей поверить, что у них не может быть другого, ему было удобно перейти к отрицанию всякого бога (так как жалкий бог не есть бог), и установить атеизм, открытый для деизма. Прогрессу атеизма в духовном плане соответствует прогресс анар-хии в порядке политическом и социальном, любой временной и относитель-ной морали (35). Все связи, посредством которых Димиург старался упрочить свое царство, оказываются уничтоженными, государство, внешняя церковь, семья глубоко потрясены. Человек чувствует себя свободным от всех естественных связей, предоставленным самому себе, и оказывается бессиль-ным и ничтожным. С другой стороны, это освобождение человека от всех его естественных связей, его одухотворение приближают его к миру духов, который через соответствующий процесс относительной материализации также приближается к нему. Таким образом, мы видим, как возникают явления животного магнетизма и спиритизма – провозвестники неизбеж-ного воссоединения обоих миров. Теоретические принципы этого воссоединения изложены на предшествующих страницах. Теперь нам следует показать моральные основания и сакральные формы этого воссоединения.

О трех степенях любви.

Мораль "князя мира сего" – это внешние правосудие. Неприятие такого правосудия, неприятие всякой законности и формальности, всякой условной и относительной морали есть необходимая предпосылка истинной моральности. Цель морали – объединить духовные существа свободной и внутренней связью, а единственная связь такого рода есть любовь. Право-судие не объединяет, оно дает каждому то, что ему принадлежит и оставляет его в отдельности от всех остальных. Очевидно, что любовь есть также единственное абсолютное благо, так как страдание есть последствие огра-ничности существа: чем менее оно ограничено, иначе, чем больше оно любит, тем меньше оно страдает. Никто не осмелится сомневаться, что любовь есть моральное совершенство, что она выше не только своей противоположности – ненависти, но и выше правосудия, что оставление его прав, прощение беззакония выше, чем месть и наказание.

Никто не осмелится отрицать, что в обществе, основанном на взаимной любви, на милосердии – правосудие, право и закон будут излишними и что таков идеал человеческого общества. Общая возможность такого общества также не может отрицаться; если любовь существует и развивается, то мы не можем положить ей предел. Но вся проблема в том, чтобы найти практическую или непосредственную возможность такого человека.

Реальная и всемогущая любовь – это любовь половая. Но она исклю-чительна, она достигает соединения в ограниченное общество, в семью, она дает легкое удовлетворение моральной потребности человека, но она не ведет дальше. Это есть лишь расширенный, но столь же исключительный эгоизм (а может быть и в большей степени, ибо он уверен в себе и кичится своею моральностью), как и простой эгоизм. С другой стороны, любовь, которая не является исключительной, любовь универсальная, любовь ко всему, которая с теоретической стороны есть *amor Dei intellectualis* (36), а с практической – филантропия, – эта любовь искупает свою всеобщность своей слабостью, своим бессилием, чем-то холодным и смутным, что удов-летворяет сознание и разум, но не заставляет трепетать все духовное и животное существо человека. Блестящий пример бессилия такой любви дает нам современное франк-масонство.

Как можно соединить силу, природную мощь со всеобщностью в любви? Надо знать, что любовь бывает двух родов. Любовь восходящая, которой мы любим высшее существо, получая от него духовное богатство, которым оно обладает и которого мы не можем достичь своими собственными силами;

и любовь нисходящая, которой мы любим низшие по сравнению с нами существа; им мы даем духовное богатство, которым мы обладаем, получив его от нашего высшего возлюбленного. Теперь ясно, что совершенная любовь должна быть сразу и восходящей и нисходящей, то есть каждое существо должно иметь два объекта для любви, Бог любит все – природу любовью непосредственной и реальной, как человек любит женщину, в которую он влюблен, так как отношение здесь то же: природа является другой половиной самого Бога. Таким образом, всеобщая любовь Бога тождественна любви природной или половой (37). Чем больше существа удалены от божественного совершенства, тем меньшей всеобщностью обладает их природная любовь. Они не отождествляются непосредственно со всем, что любят. Но эту всеобщность, которой они не обладают непосредственно, они могут получить опосредованно (через восходящую любовь).

Очевидно, что когда низшее существо любит восходящей любовью высшее существо, то есть более всеобщее, и реально получает от него в свободном и внутреннем общении начало своей духовной жизни и участвует таким образом в его всеобщности. Смысл любви в расширении – ее сущность реализуется, когда восходящая любовь находит свое необходимое дополнение в любви нисходящей. Но восходящая любовь не ограничивает существо в любви непосредственно нисходящей. Получив всеобщий характер от своей высшей любви, он любит посредством этого все другие существа. Высшее существо по своей природе любит все остальные, низшее существо, любя высшее, участвует в этой любви.

Теперь, женщина вообще, но своей пассивной природе, является объектом нисходящей любви. Высший человек не может найти женщину, которую он мог бы любить восходящей любовью и если, однако, эта любовь необходима для

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
морального совершенства, то ее объект не может быть смертной женщиной, им должна быть богиня, то есть женский дух высшего порядка.

Таким образом, единство в любви вообще состоит не из двух, но из трех единых существ (38). Низший дух не может быть объектом естественной любви со стороны мужчины или, что приводит к тому же, низший человек, естественно, никогда не может любить дух, (который должен был ему соответствовать).

Здесь мы имеем три элемента, но не три личности; так как число высших существ с необходимостью гораздо меньше, чем число низших: одно высшее существо является объектом восходящей любви для многих низших существ, которых оно также должно любить нисходящей любовью.

Хотя совершенная женщина и выше несовершенного мужчины, зато она всегда ниже совершенного мужчины, поэтому в мире нет женщины, которая не могла бы найти высшее по отношению к себе в мужчине и должна была бы искать его среди богов, тогда как совершенный мужчина, будучи вообще выше совершенной женщины, избранники человечества не могут найти объект их восходящей любви среди женщин и вынуждены любить богиню.

Очевидно, что восходящей любовью можно любить одно существо – вы не можете служить двум возлюбленным. Напротив, можно и нужно любить многих нисходящей любовью – у каждого хозяина много слуг, или, чтобы выразить это в еще более человеческих понятиях – нельзя иметь нескольких отцов, но каждый отец может иметь нескольких детей.

Эти избранники человечества составляют вселенскую иерархию. Это истинные предстоятели человечества. Во вселенском обществе они составляют первый класс – класс совершенных. Смертные, женщины, которых они любят непосредственно, нисходящей любовью, и мужья этих женщин, которых они любят нисходящей любовью, составляют второй класс – класс посредников. Наконец, оставшиеся составляют тело верующих.

У каждого индивида есть своя специфическая функция в великом организме человечества.

Отсюда следует классификация общества по занятиям или призваниям (39). [12 классов: теурги, теософы, прорицатели, [лекари*] врачи, ученые, [литераторы*], художники, скотоводы*, купцы*, артисты*, земледельцы*, служители*, ремесленники*.]⁴ главных класса: 1. священники, 2. писатели, 3. купцы и ремесленники, 4. земледельцы. Во всех этих профессиях и ступенях существует различие характеров. Это различие, таким образом, дает нам третье основание для классификации. В зависимости от различия этих характеров все человечество разделяется на расы, которые более или менее соответствуют пяти частям света;

расы делятся на ветви, те, в свою очередь, на национальные семьи, семьи нации или народы, народы на провинциальные группы, провинции на кантоны, кантоны на деревни или приходы, приходы на семьи. (40)

Священники принадлежат к двум первым ступеням совершенства: первейшие и совершенные составляют высшее духовенство, члены которого управляют расами, их ветвями, семьями народов, народами, большими провинциями (шесть вторичных уровней); принадлежащие ко второму уровню составляют низшее духовенство, которое управляет небольшими провинциями и приходами (два вторичных уровня) (42)

Осборн. Я открою большую тайну. Люди могут господствовать над силами природы, если только они решительно откажутся от всех земных целей.

Ты ясно, о друг мой, видишь все, что нужно для этого. Ты должен стараться одолеть димиурга и себе, чтобы овладеть силой ею вне себя

Примечания

10. Квадратные скобки – в рукописи.

11. На полях рукописи – авторская пагинация: "2f"

12.Фраза не окончена. В предыдущих двух абзацах - прямые скобки подлинника, вероятно означающие удаление этих сегментов из текста.

13. сверх-бытие или более-чем-бытие

14.ум, логос (др.-греч.)

15. душа мира (лаг.)

16. Квадратные скобки - в рукописи

17. На полях рукописи - авторская пагинация: 3 f

18. Материя - это воля, всякая воля предполагает волящий субъект. Здесь субъектом является начало как дух. Оно чувствует в себе жажду бытия и отличает себя от этой жажды, как того, кто ею обладает. Оно чувствует, что она есть в нем, но, однако, будучи им самим, простирается вовне его и является началом другого. (прим. автора)

19. представление (нем.)

20. В этом месте рукопись прерывается автоматическим письмом: "[София: Думай обо мне. Я рожусь <в> апреле <1>878. София +] "

21. Квадратные скобки - подлинника.

22. На полях - набросок женского профиля и автоматическое письмо по-русски: "София. Я родилась".

23. Дух, имеющий силу в нас, и творящий (лат.)

24. трансцендентальное я (нем.)

25. похищение души (лаг.)

26. русский перевод термина дан В. Соловьевым.

27. для-себя-бытие (нем.)

28. в рукописи-по-русски.

29. в рукописи - по-русски.

30. На полях рукописи - авторская пагинация: "5 f"

31. Заключенное в квадратные скобки в рукописи вычеркнуто (прим. переводчика)

32. На полях рукописи: "Первоначальная культура, которая содержала в зародыше индийскую, романскую и еврейскую культуры, -это культура египетская." (прим.автора)

33. На полях рукописи - авторская пагинация: "6 f"

34. На полях рукописи: "Первая позиция: внутреннее содержание мира интеллигии-бельного и мира чувственного, служащее основой божественному миру. Вторая позиция: разделение двух миров и выделение божественного мира. Третья позиция: действительное и реальное воссоединение двух миров, служащее материальной основой божесгиенному миру, или 1. Бог в своей духовности. 2. Бог материализующийся. 3. Бог материализовавшийся."

35. На полях рукописи - авторская пагинация: "7 f".

36. интеллектуальная любовь к Богу (лат.)

37. Текст рукописи, начиная со слов "природу любовью реальной..." до слов "...при-родной или половой", написан слитно (примечание переводчика).

38. На полях рукописи - авторская пагинация: "8 f"

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
39. В этом заключается великий иерархический принцип, (прим. В. С.)

40. Эта классификация в тексте зачеркнута. Слова, отмеченные звездочками, написаны в рукописи по-русски. (примечание переводчика)

41. На полях рукописи: "Подразумевается само собою, что половая любовь (в своем совершенстве) исключает плотское совокупление в настоящей форме, а через это и материальное продолжение рода, хотя телесное единство всегда должно быть необходимо для совершенного единства, как реализации единства духовного."

42. На полях рукописи по-русски:

Восток

Запад

Славянство

Сев~~ерная~~ Африка, Зап~~адная~~ Азия, Индия

Романск~~ий~~ запад, Германский, Англо-Саксонский.

Южное славянство, Западное сл~~авянство~~, Восточн~~ое~~ слав~~янство~~

Египет, Мавритания, Абиссиния

Туран и Иран, Малая Азия и Сирия, Арави

Южная Индия, Северозап~~адная~~ Индия, Северовосточн~~ая~~ Индия, Италия,

Исп~~ания~~ с Португ~~алией~~, Франция.

Южная Германия, Северная Германия, Скандинавия,

Великобритания, Южн~~ые~~ Штаты, Сев~~ерные~~ Штаты.

Греция, Болгария, Сербия.

Венгрия, Польша, Чехия.

Малая и Белая Русь, Восточная Россия, Великороссия и т.д. и т.д. и т.д.

Данная запись сделана автоматическим письмом по-русски, на отдельном листе.
В конце - четыре раза записано слово "Рутть".

Работы по эстетике

Красота в природе

С 60 Избранные произведения. Серия "Выдающиеся мыслители".
Ростов-на-Дону: "Феникс", 1998. - 276-332 с.

Красота спасет мир.

Достоевский

Странно кажется возлагать на красоту спасение мира, когда приходится спасать саму красоту от художественных и критических опытов, старающихся заменить идеально-прекрасное реально-бездобразным. Но если не смущаться грубыми, а иногда и совсем нелепыми выражениями новейшего эстетического реализма (и утилитаризма), а вникнуть в существенный смысл его требований, то в них именно и окажется безотчетное и противоречивое, но тем более дорогое признание за красотою мирового значения: ее кажущиеся гонители

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
усвояют ей как раз эту самую задачу спасать мир. Чистое искусство, или
искусство для искусства, отвергается, как праздная забава; идеальная
красота презирается, как произвольная и пустая прикраса действительности.
Значит, требуется, чтобы настояще художество было важным делом, значит,
признается за истинною красотою способность глубоко и сильно воздействовать
на реальный мир. Освободивши требования новых эстетиков (реалистов и
утилитаристов) от логических противоречий, в которые они обыкновенно
запутываются, и сводя эти требования к одному, мы получим такую формулу:
эстетически прекрасное должно вести к реальному улучшению действительности.
Требование вполне справедливое; и, вообще говоря, от него никогда не
отказывалось и идеальное искусство, его признавали и старые эстетики. Так,
например, древняя трагедия, по объяснению Аристотеля (в его "Поэтике"),
должна была производить действительное улучшение души человеческой чрез ее
очищение (###). Подобное же реально-нравственное действие приписывает
Платон (в "Республике") некоторым родам музыки и лирики, укрепляющим
мужественный дух. С другой стороны, художественная пластика помимо своего
эстетического влияния на душу представляет еще хотя весьма незначительное,
поверхностное и частичное, но все-таки реальное, прямое и пребывающее
воздействие на внешнюю вещественную природу – на материал, из которого это
искусство создает свои произведения. Прекрасная статуя по отношению к
простому куску мрамора есть бесспорно новый реальный предмет, и притом
лучший, более совершенный (в объективном смысле), как более сложный и
вместе с тем более обособленный. Если в этом случае улучшающее действие
художества на материальный предмет имеет характер чисто внешний, нисколько
не изменяющий существенных свойств самой вещи, то нет, однако, никаких
оснований утверждать, что такой поверхностный образ действия должен
непременно принадлежать искусству вообще всегда и во всех его видах.
Напротив, мы имеем полное право думать, что воздействие художества как на
природу вещей, так и на душу человеческую допускает различные степени,
может быть более или менее глубоким и сильным.

Но во всяком случае, как бы слабо ни было это двоякое действие художника,
он все-таки производит некоторые новые предметы и состояния, некоторую новую
прекрасную действительность, которой без него вовсе бы не было. Эта
прекрасная действительность или эта осуществленная красота составляет лишь
весьма незначительную и немощную часть всей нашей далеко не прекрасной
действительности. В человеческой жизни художественная красота есть только
символ лучшей надежды, минутная радуга на темном фоне нашего хаотического
существования. Против этой-то недостаточности художественной красоты, против
этого поверхностного ее характера и восстают противники чистого искусства.
Они отвергают его не за то, что оно слишком возвыщено, а за то, что оно не
довольно реально, т. е. оно не в состоянии овладеть всею нашою
действительностью, преобразовать ее, сделать всецело прекрасною. Быть
может, сами не ясно это сознавая, они требуют от искусства гораздо
большего, чем то, что оно до сих пор давало и дает. В этом они правы, ибо
ограниченность наличного художественного творчества, эта призрачность
идеальной красоты, выражает только несовершенную степень в развитии
человеческого искусства, а никак не вытекает из самой его сущности. Было бы
явною ошибкой считать существующие ныне способы и пределы художественного
действия за окончательные и безусловно обязательные. Как и все
человеческое, художество есть текущее явление, и, быть может, в наших руках
только отрывочные начатки истинного искусства. Пускай сама красота
неизменна; но объем и сила ее осуществления в виде прекрасной
действительности имеют множество степеней, и нет никакого основания для
мыслящего духа окончательно останавливаться на той ступени, которой мы не
успели достигнуть в настоящую историческую минуту, хотя бы эта минута и
продолжалась уже тысячелетия.

Имея в виду философскую теорию красоты и искусства, следует помнить, что
всякая такая теория, объясняя свой предмет в его настоящем виде, должна
открывать для него широкие горизонты будущего. Бесплодна та теория, которая
только подмечает и обобщает в отвлеченных формулах фактическую связь
явлений: это – простая эмпирия, лишь одною степенью возвышающаяся над
мудростью народных примет. Истинно философская теория, понимая смысл факта,
т. е. его соотношение со всем, что ему сродно, тем самым связывает этот
факт с неопределенным восходящим рядом новых факторов, и, какою бы смелою ни
оказалась нам такая теория, в ней нет ничего произвольного и
фантастического, если только ее широкие построения основаны на подлинной
сущности предмета, открытой разумом в данном явлении или фазе этого
предмета. Ибо сущность его необходимо больше и глубже данного явления, и,
следовательно, по необходимости же она есть источник новых явлений, все

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
более и более ее выражают или осуществляющих.

Но во всяком случае сущность красоты должна быть прежде всего понята в ее действительных наличных явлениях. Из двух областей прекрасных явлений, природы и искусства, мы начнем с той, которая шире по объему, проще по содержанию и естественно (в порядке бытия) предшествует другой. Эстетика природы даст нам необходимые основания для философии искусства.

I

Алмаз, т. е. кристаллизованный углерод, по химическому составу своему есть то же самое, что обыкновенный уголь. Несомненно также, что пение соловья и неистовые крики влюбленного кота, по психофизиологической основе своей, суть одно и то же, именно звуковое выражение усиленного полового инстинкта. Но алмаз красив и дорого ценится за свою красоту, тогда как и самый невзыскательный дикарь вряд ли захочет употребить кусок угля в виде украшения. И между тем как соловьиное пение всегда и везде почиталось за одно из проявлений прекрасного в природе, кошачья музыка, не менее ярко выражаясь тот же самый душевно-телесный мотив, нигде, никогда и никому не доставляла эстетического наслаждения.

Из этих элементарных примеров уже яствует, что красота есть нечто формально-особенное, специфическое, от материальной основы явлений прямо не зависящее и на нее несводимое. Независимая от материальной подкладки предметов и явлений, красота не обусловлена также и их субъективной оценкой по той житейской пользе и той чувственной приятности, которую они могут нам доставлять. Что самые прекрасные предметы бывают совершенно бесполезны в смысле удовлетворения житейских нужд и что, наоборот, вещи наиболее полезные бывают вовсе некрасивы – это, конечно, не требует доказательства; но нельзя обойти ту теорию, которая косвенно определяет красоту пользою. А именно она утверждает, что красота есть переставшая действовать полезность, или воспоминание о прежней пользе. То, что было полезно для предков, становится украшением для потомков. При смелом применении дарвинизма можно распространять это понятие о прежней пользе очень далеко и за предков наших считать не только обезьян или тюленей, но, пожалуй, даже и устриц. В этой теории превращения полезного в прекрасное есть доля фактической истины, и нам нет надобности ее отвергать. Несомненно только, что она совершенно недостаточна в смысле философского объяснения или существенного определения красоты.

далее мы видим, что и на низших ступенях духовного развития (в мире животных) красота имеет объективное значение помимо всякого утилитарного отношения. Но хотя и была бы доказана генетическая зависимость прекрасного от полезного, этим нисколько не решается эстетическая задача. Несомненно, что все значительные явления прекрасного в природе и искусстве не связаны ни с какою практическою пользой для нас и для наших хотя бы самых отдаленных предков. А в таком случае возможная материальная полезность тех первичных элементов, на которые мы разлагает прекрасные явления, так же мало имеет значения для эстетики, как для непосредственного чувства красоты безразличен тот факт, что самое прекрасное человеческое тело произошло из безобразного эмбриона.

Вопрос о том: что есть известный предмет? – никогда не совпадает с вопросом: из чего или откуда произошел этот предмет? Вопрос о происхождении эстетических чувств принадлежит к области биологии и психофизиологии; но этим нисколько не решается и даже не затрагивается эстетический вопрос о том: что есть красота? В порядке генетическом так называемые "каменные бабы", несомненно, предшествуют греческим статуям. Но неужели указание на эти безобразные произведения поможет нам уразуметь эстетическую сущность Венеры Милосской?.. Несомненно, что в генетическом смысле все наши чувства, не исключая и высших: зрения и слуха, суть лишь дифференциации осознания. Неужели этим отнимается самостоятельное значение у оптики и акустики? Разложение эстетических явлений на первичные элементы, имеющие свойство полезности или приятности, может быть очень интересно; но настоящая теория прекрасного есть та, которая имеет в виду собственную сущность красоты во всех ее явлениях, как простых, так и сложных. Как органическая химия, при всей своей важности для биолога, не может, однако, заменить ему собственно ботанических и зоологических исследований, так и психофизиологический анализ эстетических явлений никогда не получит значения настоящей эстетики

Каковы бы ни были ее материальные элементы, формальная красота всегда заявляет себя как чистая бесполезность. Однако эта чистая бесполезность высоко ценится человеком, и, как увидим далее, не человеком только. И если она не может цениться как средство для удовлетворения тех или других житейских или физиологических потребностей, то, значит, она ценится как цель сама в себе. В красоте – даже при самых простых и первичных ее проявлениях – мы встречаемся с чем-то безусловно-ценным, что существует не ради другого, а ради самого себя, что самым существованием своим радует и удовлетворяет нашу душу, которая на красоте успокаивается и освобождается от жизненных стремлений и трудов.

Это древнегреческое понятие о красоте как предмете бесстрастного, бескорыстного и бевольного созерцания, или, проще, как о чистой бесполезности, в недавнее время было возобновлено и распространено последним представителем великой германской философии. Впрочем, все, что Шопенгауэр так хорошо и верно говорит на эту тему, есть в сущности не более как философский комментарий на известное двустишие, мимоходом брошенное Гёте:

Die Sterne die begehrt man nicht:

Man freut sich ihrer Pracht.

Нет надобности долго останавливаться на этой стороне дела, во-первых, потому, что она исчерпана франкфуртским мыслителем, а во-вторых, потому, что она сама далеко не исчерпывает вопроса о красоте. Сказать, что красота есть предмет бескорыстного созерцания, или цель сама в себе, – значит только сказать, что она не есть средство для посторонних целей: определение совершенно верное, но чисто отрицательное и бессодержательное. Как ни важно для мыслителя свойство безволия и бескорыстности, присущее всякой чисто эстетической оценке, но еще важнее и интереснее для него вопрос о собственной положительной сущности красоты; и недаром гениальный поэт к своему отрицательному указанию: die Sterne die begehrt man nicht – прибавил и положительное: man freut sich ihrer Pracht. В чем же, собственно, состоит эта Pracht во всяком прекрасном предмете – вот что главным образом должна решить философская эстетика. Как цель сама в себе, красота ничему служить не может – в практическом и житейском смысле она есть чистая бесполезность; но этим нисколько не устраниется вопрос о независимом содержании самой этой цели: за что, за какое свое собственное внутреннее свойство ценится эта чистая бесполезность?

Намек, но только намек на истину находим мы в известном учении, по которому существенное содержание красоты составляют идеи (вечные типы вещей) как предметные выражения (объективации) мировой воли. Настоящего ответа на эстетический вопрос здесь нет – потому что для этой теории все существующее одинаково есть объективация мировой воли, а между тем не все существующее одинаково красиво. Взгляд, который логически вынуждается признать какую-нибудь глину столь же прекрасной, как Елену на стенах Трои, сам себя убивает в смысле эстетической доктрины. Существуют отвлеченно метафизические точки зрения, не совместимые с признанием разницы между добром и злом, между красотою и безобразием; но, становясь на такие точки зрения, лучше уже вовсе не рассуждать о нравственных и эстетических предметах.

II

Итак, оставляя в стороне отвлеченную метафизику, обратимся опять к тем действительным примерам прекрасного в природе, с которых началось наше рассуждение. Красота алмаза, нисколько не свойственная его веществу (ибо это вещество то же самое, что и в некрасивом куске каменного угля), очевидно, зависит от игры световых лучей в его кристаллах. Из этого, однако, не следует, чтобы свойство красоты принадлежало не самому алмазу, а преломленному в нем лучу света. Ибо тот же световой луч, отраженный каким-нибудь некрасивым предметом, никакого эстетического впечатления не производит, а если он ничем не отражен и не преломлен, то и вовсе никакого

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
впечатления не получается. Значит, красота, не принадлежащая ни
материальному телу алмаза, ни преломленному в нем световому лучу, есть
произведение обоих в их взаимодействии. Игра света, задержанного и
вилоизмененного этим телом, закрывает совершенно его грубо-вещественную
видимость, и хотя темная материя углерода присутствует здесь, как и в угле,
но лишь в виде носительницы другого, светового начала, раскрывающего в этой
игре цветов свое собственное содержание. Световой луч когда падает на кусок
угля, то поглощается его веществом, и черный цвет сего последнего есть
натуральный символ того, что здесь светлая сила не одолела темных стихий
природы. С другой стороны, если мы возьмем, например, простое прозрачное
стекло, то здесь вещество превратилось в безразличную среду для световых
лучей, пропускающую их без всякого видоизменения, не оказывающую на них
никакого заметного воздействия; и несомненно, что от этих двух
противоположных между собой явлений результат в занимающем нас отношении
получается один и тот же, и именно отрицательный: простое белое стекло, так
же как и черный уголь, не принадлежит к числу прекрасных явлений, никакого
эстетического значения не имеет. И если такое значение (в элементарной
степени) бесспорно принадлежит алмазу, то это, очевидно, потому, что в нем
ни темное вещество, ни световое начало не пользуются односторонним
преобладанием, а взаимно проникают друг друга в некотором идеальном
равновесии. Здесь, с одной стороны, материя углерода, сохраняя всю силу
своего сопротивления (как твердое тело), определилась, однако же,
противоположным в себе самой, ставши прозрачною, вполне просветленною,
невидимою в своей темной особности; а с другой стороны, световой луч,
задержанный кристаллическим телом алмаза, в нем и от него получает новую
полноту феноменального бытия, преломляясь, разлагается или расчленяется в
каждой грани на составные цвета, из простого белого луча превращается в
сложное собрание многоцветных спектров и в этом новом виде отражается
нашему глазу. В этом неслиянном и нераздельном соединении вещества и света
оба сохраняют свою природу, но ни то, ни другое не видно в своей
отдельности, а видна одна светоносная материя и воплощенный свет –
просветленный уголь и окаменевшая радуга.

Невозможно, да и нет нам никакой надобности утверждать безусловную
противоположность между светом и материей в их метафизической субстанции и
в их физической действительности. Нельзя признавать свет (как это делает,
например, Шопенгауэр) за какую-то чисто идеальную сущность, а равно и в
материи нельзя видеть голую вещь о себе, безусловно лишенную всех идеальных
определений и совершенно независимую от духовных начал. Но как бы кто ни
философствовал о существе вещей, а равно и каких бы кто ни держался
физических теорий об атомах, эфире и движении, для нашей эстетической
задачи вполне достаточно той относительной и феноменальной
противоположности, которая несомненно существует между светом и весомыми
телами как таковыми. В этом смысле свет есть во всяком случае
сверхматериальный, идеальный деятель. Итак, видя, что красота алмаза
всесильно зависит от просветления его вещества, задерживающего в себе и
расчленяющего (развивающего) световые лучи, мы должны определить красоту
как преображение материи через воплощение в ней другого, сверхматериального
начала. далее придется углублять и наполнять содержанием это определение;
но сущность его останется неизменной при рассмотрении самых сложных
проявлениях прекрасного не только в природе, но и в искусстве.

И прежде всего это понятие о красоте, составленное на основании
элементарного примера прекрасных зрительных явлений в природе, вполне
подтверждается нашим элементарным звуковым примером. Как в алмазе весомое и
темное вещество углерода облеклось в лучезарное световое явление, так в
пении соловья материальный половой инстинкт облекается в форму стройных
звуков. В этом случае объективное звуковое выражение половой страсти
совершенно закрывает ее материальную основу, оно приобретает
самостоятельное значение и может быть отвлечено от своего ближайшего
физиологического мотива: можно слушать поющую птицу и получать эстетическое
впечатление от ее пения, совершенно забывая о том, что побуждает ее петь;
точно так же как, любуясь блеском бриллианта, мы не имеем надобности думать
о его химическом веществе. Но на самом деле, как для алмаза необходимо быть
кристаллизованным углеродом, так для соловьиной песни необходимо быть
выражением полового влечения, отчасти перешедшего в объективную звуковую
форму. Эта песня есть преображение полового инстинкта, освобождение его от
грубого физиологического факта – это есть животный половой инстинкт,
воплощающий в себе идею любви, между тем как крики влюбленного кота на
крыше суть лишь прямое выражение физиологического аффекта, не владеющего
собою. В этом последнем случае всецело преобладает материальный мотив,

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
тогда как в первом он уравновешен идеальною формой.

Таким образом, и в нашем звуковом примере красота оказывается результатом взаимодействия и взаимного проникновения двух производителей: и здесь, как в зрительном примере, идеальное начало овладевает вещественным фактом, воплощается в нем, и с своей стороны материальная стихия, воплощая в себе идеальное содержание, тем самым преображается и просветляется.

Красота есть действительный факт, произведение реальных естественных процессов, совершающихся в мире. Где весомое вещество преобразуется в светоносные тела, где неистовое стремление к осязательному животному акту превращается в ряд стройных и мерных звуков, – там мы имеем красоту в природе. Она отсутствует везде, где материальные стихии мира являются более или менее обнаженными, будь то в мире неорганическом, как грубое, бесформенное вещество, будь то в мире живых организмов, как неистовый жизненный инстинкт. Впрочем, в неорганическом мире те предметы и явления, которые некрасивы, не становятся чрез это безобразными, а остаются просто безразличными в эстетическом отношении. Куча песку или бульжнику, обнаженная почва, бесформенные серые облака, изливающие мелкий дождь, – все это в природе хотя и лишено красоты, но не имеет в себе ничего положительно-отвратительного. Причина ясна: в явлениях этого порядка мировая жизнь находится на низших, элементарных ступенях, она малосодержательна, и материальному началу не на чем проявить безмерность своего сопротивления; оно здесь сравнительно в своей области и пользуется спокойным обладанием своего скучного бытия. Но там, где свет и жизнь уже овладели материей, где всемирный смысл уже стал раскрывать свою внутреннюю полноту, там несдержанное проявление хаотического начала, снова разбивающего или подавляющего идеальную форму, естественно, должно производить резкое впечатление безобразия. И чем на высшей ступени мирового развития проявляется вновь обнаженность и неистовость материальной стихии, тем отвратительнее такие проявления. В животном царстве мы уже встречаем крупные примеры настоящего безобразия. Здесь есть целые отделы существ, которые представляют лишь голое воплощение одной из материальных жизненных функций – половой или питательной. Таковы, с одной стороны, некоторые внутренностные черви (глисты), все тело которых есть не что иное, как мешок самого элементарного строения, заключающий в себе одни только половые органы, напротив, весьма развитые. С другой стороны, червеобразные личинки насекомых (гусеница и т. п.) суть как бы один воплощенный инстинкт питания во всей его ненасытности; то же до известной степени можно сказать и об огромных головоногих моллюсках (каракатицах). Все названные животные несомненно безобразны. Но крайней степени безобразие достигает лишь в области высшей и совершеннейшей природной формы: никакое животное не может быть так отвратительно, как очень безобразный человек.

Существованием безобразных типов в природе обличается несостоятельность (или по крайней мере недостаточность) того ходячего эстетического взгляда, который видит в красоте лишь совершенное наружное выражение внутреннего содержания безразлично к тому, в чем состоит само это содержание. Согласно такому понятию, следует приписать красоту каракатице или свинье, так как тело этих животных в совершенстве выражает их внутреннее содержание, именно прожорливость. Но тут-то и ясно, что красота в природе не есть выражения всякого содержания, а лишь содержания идеального, что она есть воплощение идеи.

Определение красоты как идеи воплощенной первым своим словом (идея) устраниет тот взгляд, по которому красота может выражать всякое содержание, а вторым словом (воплощенная) исправляет и тот (еще более распространенный) взгляд, который хотя и требует для нее идеального содержания, но находит в красоте не действительное осуществление, а только видимость или призрак (*Schein*) идеи [2]. В этом последнем воззрении прекрасное как субъективный психологический факт, т. е. ощущение красоты, ее явление или слияние в нашем духе, заслоняет собою саму красоту как объективную форму вещей в природе. Поистине же красота есть идея, действительно осуществляемая, воплощаемая в мире прежде человеческого духа, и это ее воплощение не менее реально и гораздо более значительно (в космогоническом смысле), нежели те материальные стихии, в которых она воплощается. Игра световых лучей в кристаллическом теле во всяком случае не менее реальна, чем химическое вещество этого тела, и модуляция птичьей песни есть такая же естественная реальность, как и акт размножения.

Красота или воплощенная идея есть лучшая половина нашего реального мира,
Страница 26

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
именно та его половина, которая не только существует, но и заслуживает существования. Идеей вообще мы называем то, что само по себе достойно быть. Безусловно говоря, достойно бытия только всесовершенное или абсолютное существо, вполне свободное от всяких ограничений и недостатков. Частные или ограниченные существования, сами по себе не имеющие достойного или идеального бытия, становятся ему причастны через свое отношение к абсолютному во всемирном процессе, который и есть постепенное воплощение его идеи. Частное бытие идеально или достойно, лишь поскольку оно не отрицает всеобщего, а дает ему место в себе, и точно так же общее идеально или достойно в той мере, в какой оно дает в себе место частному. Отсюда легко вывести следующее формальное определение идеи или достойного вида бытия. Она есть полная свобода составных частей в совершенном единстве целого.

Самостоятельность частей или простор бытия в разных предметах и явлениях может быть более или менее полным; единство целого, дающего этот простор своим частям, может быть более или менее совершенным. Из таких относительных различий вытекает множество степеней в осуществлении идеи, все разнообразие и вся сложность мирового процесса. Но помимо частных усложнений в процессе своего осуществления всемирная идея в самой общности своей представляется необходимо с трех сторон. В ней различаются: 1) свобода или автономия бытия, 2) полнота содержания или смысла и 3) совершенство выражения или формы. Без этих трех условий нет достойного или идеального бытия. Рассматриваемая преимущественно со стороны своей внутренней безусловности, как абсолютно желанное или изволяемое, идея есть добро; со стороны полноты обнимаемых ею частных определений, как мыслимое содержание для ума, идея есть истина; наконец, со стороны совершенства или законченности своего воплощения, как реально ощущимая в чувственном бытии, идея есть красота.

Таким образом в красоте, как в одной из определенных фаз триединой идеи, необходимо различать общую идеальную сущность и специально-эстетическую форму. Только эта последняя отличает красоту от добра и истины, тогда как идеальная сущность у них одна и та же – достойное бытие или положительное всеединство, простор частного бытия в единстве всеобщего. Этого мы желаем как высшего блага, это мыслим как истину и это же ощущаем как красоту; но для того, чтобы мы могли ощущать идею, нужно, чтобы она была воплощена в материальной действительности. Законченностью этого воплощения и определяется красота как такая в своем специфическом признаком.

Критерий достойного или идеального бытия вообще есть наибольшая самостоятельность частей при наибольшем единстве целого. Критерий эстетического достоинства есть наиболее законченное и многостороннее воплощение этого идеального момента в данном материале. Понятно, что в применении к частным случаям эти критерии могут вовсе не совпадать и должны быть строго различаемы. Весьма слабая степень достойного или идеального бытия может быть в высшей степени хорошо воплощена в данном материале, и точно так же возможно крайне несовершенное выражение самых высших идеальных моментов. В области искусства это различие бросается в глаза, и здесь два критерия – общеидеальный и специально-эстетический – могут смешиваться только умами, совсем необразованными. Различие менее явно в области природы, но и в ней оно несомненно существует, и очень важно его не забывать. Возьмем опять два старые примера: с одной стороны, внутренностного червя (глиста), а с другой – алмаз. Первый выражает в некоторой степени идею жизни в виде животного организма; второй, по своему идеальному содержанию, есть некоторая степень просветления неорганического вещества. Но идея органической жизни, хотя бы и на степени червя, выше идеи кристаллического тела, хотя бы и в виде алмаза. В этом последнем материалии лишь извне просветлена, тогда как в черве она внутренне оживотворена. В самом простом организме мы находим совокупность большего числа особенных частей и большее их единство, нежели в самом совершенном камне; всякий организм более сложен и вместе с тем более индивидуален, чем камень. Итак, по первому критерию глиста выше алмаза, потому что содержательнее его. Но, прилагая собственно эстетический критерий, мы приходим к другому заключению. В алмазе простая, элементарная идея просветленного минерала (благородного камня) выражена законченнее и совершеннее, нежели как более сложная и высокая идея органической (в частности, животной) жизни выражена в глисте. Алмаз есть предмет в своем роде совершенный, ибо нигде такая сила сопротивления или непроницаемости не соединяется с такою светозарностью, нигде не встречается такая яркая и тонкая игра света в таком твердом теле. В черве, напротив, мы находим одно из несовершеннейших, зачаточных

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
выражений для той идеи органической жизни, к области которой это существо принадлежит. Хотя уже по самому химическому составу своих тканей червь есть тело более сложное, чем алмаз, но организация этого тела есть самая упрощенная и скучная. Точно так же хотя по силе индивидуального единства этот простейший организм все-таки превосходит всякий алмаз, ибо не может, подобно сему последнему, безразлично дробиться, оставаясь самим собою, однако в смысле органическом это единство настолько слабо, что даже иногда не выдерживает идеи организма (способность делиться по членникам). Таким образом, с точки зрения собственно эстетической червь, как крайне несовершенное воплощение своей хотя сравнительно и высокой идеи (животного организма), должен быть поставлен неизмеримо ниже алмаза, который есть совершенное, законченное выражение своей, хотя и малосодержательной, идеи просветленного камня.

IV

Вещество есть косность и непроницаемость бытия – прямая противоположность идеи, как положительной всепроницаемости или всеединству. Лишь в свете вещества освобождается от своей косности и непроницаемости, и таким образом видимый мир впервые расчленяется на две противоположные полярности. Свет или его невесомый носитель – эфир – есть первичная реальность идеи в ее противоположности весомому веществу, и в этом смысле он есть первое начало красоты в природе. Дальнейшие ее явления обусловлены сочетаниями света с материей. Такие сочетания бывают двоякого рода: механические, или наружные, и органические, или внутренние. Первыми производятся собственно световые явления в природе, вторыми – явления жизни. Древняя наука догадывалась, а нынешняя доказывает, что органическая жизнь есть превращение света. Таким образом, материя становится носительницей красоты через действие одного и того же светового начала, которое ее сперва поверхностно озаряет, а затем внутренне проникает, животворит и организует.

В мире неорганическом красота принадлежит или таким предметам и явлениям, в которых вещество прямо становится носителем света, или таким, в которых неодушевленная природа как бы одушевляется и в своем движении являет черты жизни. Оставляем метафизике решать вопрос, насколько тут субъективной иллюзии и насколько действительно природа, помимо органических существ (растений и животных), имеет в себе жизни, т. е. способности к внутренним восприятиям и самостоятельным движениям. Для нас, в пределах эстетического рассуждения, достаточно того факта, что в явлениях, о которых идет речь, красота их обусловлена не механическим движением как таковым, а впечатлением игры живых сил. Но сначала несколько слов о красоте неорганической природы в ее покое, о красоте чисто светового характера.

Порядок воплощения идеи или явления красоты в мире соответствует общему космогоническому порядку: вначале сотвори Бог небо... Если наши предки видели в небе отца богов, то мы, и не поклоняясь Сва-рогу или Варуне, и вовсе не усматривая в небесном своде признаков живого личного существа, не менее язычников любуемся его красотой; следовательно, она не зависит от наших субъективных представлений, а связана с действительными свойствами, присущими видимому нам мировому пространству. Эти эстетические свойства неба обусловлены светом: оно прекрасно только озаренное. Ни в серый дождливый день, ни в черную, беззвездную ночь небо никакой красоты не имеет. Говоря об этой красоте, мы разумеем, собственно, лишь световые явления, происходящие в пределах доступного нашим взгляду мирового пространства.

Всеобъемлющее небо прекрасно, во-первых, как образ вселенского единства, как выражение спокойного торжества, вечной победы светлого начала над хаотическим смятением, вечного воплощения идеи во всем объеме материального бытия. Этот общий смысл раскрывается более определенно в трех главных видах небесной красоты – солнечной, лунной и звездной.

1. Мировое всеединство и его физический выразитель – свет в своем собственном активном средоточии – солнце. Солнечный восход – образ деятельного торжества светлых сил. Отсюда особенная красота неба в эту минуту, когда

Неизмеримости эфирной
Несется благовест всемирный
Победных солнечных лучей.

Тютчев

Сияющая красота неба в ясный полдень – то же торжество света, но уже достигнутое, не в действии, а в невозмутимом неподвижном покое.

И как мечты почиющей природы
Волнистые проходят облака.

Фет

2. Мировое всеединство со стороны воспринимающей его материальной природы, свет отраженный – пассивная женственная красота лунной ночи. Как естественный переход от солнечного вида к лунному – красота вечернего неба и заходящего солнца, когда уменьшение прямой центральной силы света вознаграждается большим разнообразием его оттенков в озаренной среде.

3. Мировое всеединство и его выразитель, свет, в своем первоначальном расчленении на множественность самостоятельных средоточий, обнимаемых, однако, общею гармонией, – красота звездного неба. Ясно, что в этой последней полнее и совершеннее, нежели в двух первых, осуществляется идея положительного всеединства. Впрочем, не должно забывать, что как непосредственное впечатление от красоты яркого полдня или лунной ночи, так и эстетическая оценка этой красоты обнимает необходимо всю картину природы в данный момент, все те земные предметы и явления, которые озарены солнцем и луной и которые имеют свою собственную красоту, усиленную этим особым озарением, но в свою очередь увеличивающую красоту светлого неба, тогда как при созерцании звездной ночи эстетическое впечатление всецело ограничивается самим небом, а красота земных предметов, сливающихся во мраке, не может иметь значения. Если устраниТЬ эту неравномерность и, при эстетической оценке полдневного и лунного неба, отвлечься от красоты озаренного ландшафта, то всякий согласится, что из трех главных видов неба звездное представляет наибольшую степень красоты [3].

Из астральной бесконечности переходя в тесные пределы нашей земной атмосферы, мы встречаемся здесь с прекрасными явлениями, изображающими в различной степени просветление материи или воплощение в ней идеального начала. В этом смысле имеют самостоятельную красоту облака, озаренные утренним или вечерним солнцем, с их различными оттенками и сочетаниями цветов, северное сияние и т. д. Полнее и определеннее ту же идею (взаимного проникновения небесного света и земной стихии) представляет радуга, в которой темное и бесформенное вещество водяных паров превращается на миг в яркое и полноцветное откровение воплощенного света и просветленной материи:

Как неожиданно и ярко
По влажной неба синеве
Воздушная воздвиглась арка
В своем минутном торжестве!
Один конец в леса вонзила,
Другим за облака ушла;
Она полнеба обхватила
И в высоте изнемогла!

Тютчев

К световому прекрасному принадлежит и красота спокойного моря. В воде материальная стихия впервые освобождается от своей косности и непроницаемой твердости. Этот текучий элемент есть связь неба и земли, и такое его значение наглядно является в картине затихшего моря, отражающего в себе бесконечную синеву и сияние небес. Еще яснее этот характер водяной красоты в гладком зеркале озера или реки.

К воплощениям света в материи газообразной (облака, радуга) и к сейчас упомянутым его воплощениям в материи жидкой должно присоединить еще световые воплощения в твердых телах – благородные металлы и драгоценные камни. Сюда относится в большей или меньшей степени сказанное выше по поводу алмаза.

От явлений спокойного, торжествующего света переходим к явлениям подвижной и кажущейся свободной жизни в неорганической природе. Жизнь по самому широкому своему определению есть игра или свободное движение частных сил и положений, объединенных в индивидуальном целом. Поскольку в этой игре выражается один из существенных признаков идеального или достойного бытия (которое одинаково не может быть ни отвлеченно-всеобщим, т. е. пустым, ни случайно-частным), постольку воплощение ее в явлениях материального мира, действительная или кажущаяся жизнь в природе представляет эстетическое значение. Этюю красотою видимой жизни в неорганическом мире отличается прежде всего текущая вода в разных своих видах: ручей, горная речка, водопад. Эстетический смысл этого живого движения усиливается его беспредельностью, которая как бы выражает неутолимую тоску частного бытия, отделенного от абсолютного всеединства.

Волна в разлуке с морем

Не ведает покоя,

Ключом ли бьет кипучим

Иль катится рекою,

Все ропщет и вздыхает

В цепях и на просторе,

Тоскуя по безбрежном,

Бездонном синем море.

А само это безбрежное море в своем бурном волнении получает новую красоту как образ мятежной жизни, гигантского порыва стихийных сил, не могущих, однако, расторгнуть общей связи мироздания и нарушить его единства, а только наполняющих его движением, блеском и громом.

Как хорошо ты, о море ночное,

Здесь лучезарно – там сизо-черно!

В лунном сиянии, словно живое,

Ходит, и дышит, и плещет оно.

На бесконечном, на вольном просторе

Блеск и движение, грохот и гром...

Тусклым сияньем облитое море,

Как хорошо ты в безлюдьи ночном!

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Зыбь ты великая, зыбь ты морская!

Чей это праздник так празднуешь ты?

Волны несутся, гремя и сверкая,

Чуткие звезды глядят с высоты.

Тютчев

Хаос, т. е. само безобразие, есть необходимый фон всякой земной красоты, и эстетическая ценность таких явлений, как бурное море, зависит именно от того, что под ними хаос шевелится.

Движение живых стихийных сил в природе имеет два главных оттенка: свободной игры и грозной борьбы. Одно и то же явление природы, гроза, может представлять и тот и другой оттенок, смотря по условиям, в которых она происходит. Величавая красота летних гроз, как и бурного моря, зависит от шевелящегося хаоса и от возбужденной интенсивности стихийных сил, оспаривающих окончательное торжество у светлого мирового порядка. Совсем другое впечатление производит гроза "в начале мая"

Когда весенний первый гром,

Как бы резвяся и играя,

Грохочет в небе голубом.

Гремят раскаты молодые...

Вот дождик брызнул, пыль летит...

Повисли перлы дождевые,

И солнце нивы золотит...

С горы бежит поток проворный,

В лесу не молкнет птичий гам,

И гам лесной, и шум нагорный,

Все вторит весело громам...

Ты скажешь, ветреная Геба,

Кормя Зевесова орла,

Громокипящий кубок с неба

Смеясь на землю пролила.

Тютчев

А вот у того же поэта картина наступающей грозы в летнюю ночь, в момент, когда хаотические силы еще только медленно готовятся к предстоящей страшной борьбе:

Не остывшая от зною

Ночь июльская блистала,

И над тусклую землею

Небо, полное грозою,

От зарниц все трепетало...

Словно тяжкие ресницы
Разверзалися порою,
И сквозь беглые зарницы
Чьи-то грозные зеницы
Загорались над землею...

Или еще лучше:

Одне зарницы огневые,
Воспламеняясь чередой,
Как демоны глухонемые,
Ведут беседу меж собой.

Как по установленному знаку,
Вдруг неба вспыхнет полоса,
И быстро выступят из мраку
Поля и дальние леса!

И вот опять все потемнело,
Все стихло в чуткой темноте,
Как бы таинственное дело
Решалось там, на высоте...

Поскольку и в неорганическом мире в некоторых его явлениях мы находим действительное предварение (антиципацию) жизни, чем и обуславливается эстетическое значение этих явлений, постольку и звуки в неорганической природе, как выражения ее собственной жизни, приобретают свойство красоты. В жизни материальная природа внутренне проникается светом, поглощает его, претворяет во внутреннее движение и затем сообщает это движение внешней среде – в звуке. Там, где этот общий идеальный смысл звука как живого ответа материи на влияние света (статуя Мемнона, звучавшая на заре) не ясен для нас в частном звуковом явлении, там, где тела звучат не от себя, а лишь от внешнего и для них самих случайного воздействия, там не получается и никакого эстетического впечатления от звука [4]. При этом бывает и так, что известные звуки, которые в своей отдельности имеют явно механический характер и потому не производят никакого впечатления красоты, в совокупности своей могут выражать жизнь некоторого собирательного целого и в этом качестве приобретают эстетическое значение. Так, например, в стуке колес по мостовой нет ничего прекрасного, но шум города, хотя и слагается главным образом из подобных некрасивых звуков, производит, однако, в своей совокупности (т. е. издали) несомненно эстетическое впечатление. Европейские города с их неопределенно разросшимися окрестностями представляют мало удобств для такого наблюдения. Но кому случалось подходить к большому восточному городу, например Кайру, от тех сторон, где он граничит с пустыней, тот, наверно, с наслаждением прислушивался к звучащей жизни этого собирательного животного.

В тех явлениях неорганической природы, о которых мы уже говорили (бурное море, гроза), звук входит лишь как один из элементов эстетического впечатления. В бушующем море уже самый вид волн является характер жизни помимо их шума.

Своенравная волна,
Как, покоясь иль играя,
Чудной жизни ты полна!

Ты на солнце ли смеешься,
Отражая неба свод,
Иль мятешься ты и бьешься
В одичалой бездне вод.

Тютчев

Тому же поэту волна по своему виду и живому движению представляется скачащим морским конем:

О рьяный конь, о конь морской,
С бледно-зеленою гривой,
То смиренный, ласково-ручной,
То бешено-игривый.

Ты буйным вихрем вскормлен был
В широком Божьем поле,
Тебя он прядать научил,
Играть, скакать по воле!

В иных случаях полное безмолвие в природе прямо усиливает эстетическое впечатление или даже составляет необходимое его условие, как это мы выше видели (у того же поэта) в картине наступающей ночной грозы. Зато в других явлениях неорганического мира весь жизненный и эстетический их смысл выражается исключительно в одних звуковых впечатлениях. Таковы скорбные вздохи скованного в космической темнице Хаоса.

О чем ты воешь, ветр ночной,
О чем так сетуешь безумно?
Что значит странный голос твой,
То глухо жалобный, то шумный?
Понятным сердцу языком
Твердишь о непонятной муке,
И роешь, и взрываешь в нем
Порой неистовые звуки!
О, страшных песен сих не пой
Про древний хаос, про родимый!
Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Из смертной рвется он груди

И с беспредельным жаждет слиться...

О, бурь уснувших не буди:

Под ними хаос шевелится!...

Тютчев

VI

Порывы стихийных сил или стихийного бессилия, сами по себе чужды красоты, порождают ее уже в неорганическом мире, становясь волей или неволей, в различных аспектах природы, материалом для более или менее ясного и полного выражения всемирной идеи или положительного всеединства.

Зиждительное начало вселенной (Логос), отражающееся от вещества снаружи, как свет, и изнутри зажигающее жизнь в веществе, образует в виде животных и растительных организмов определенные и устойчивые формы жизни, которые, восходя постепенно все к большему и большему совершенству, могут наконец послужить материалом и средою для настоящего воплощения всецелой и неделимой идеи.

Реальная подкладка органических форм, материал биологического процесса берется весь в мире вещественном: это – добыча, завоеванная зиждительным умом у хаотической материи. Иными словами, органические тела суть лишь превращения, или трансформации, неорганического вещества, в таком же, впрочем, смысле, в каком Исаакиевский собор есть трансформация гранита, а Венера Милосская – трансформация мрамора. Признавать в живых телах особую, исключительно им присущую жизненную силу – это все равно, что приписывать храму особую храмовую силу, а статуе – особенную ваятельную силу. Явно, что с точки зрения реального состава в органических телах нет совсем ничего, кроме физических и химических элементов, точно так же как с этой точки зрения в храме нет ничего, кроме камня, золота и прочих материалов, а в мраморной статуе – ничего, кроме мрамора. А с формальной стороны в строении живых организмов мы имеем новую, сравнительно высшую степень проявления того же зиждительного начала, которое уже действовало и в мире неорганическом, – новый, относительно более совершенный способ воплощения той же идеи, которая уже находила себе выражения и в неодушевленной природе, хотя более поверхностные и менее определенные. Тот же самый образ всеединства, который всемирный художник крупными и простыми чертами набросал на звездном небе или в многоцветной радуге, – его же он подробно и тонко разрисовывает в растительных и животных телах.

В мире органических существ различаются нами три главные стороны: 1) внутренняя сущность или *prima materia* жизни, стремление или хотение жить, т. е. питаться и размножаться – голод и любовь (более страдательные в растениях, более деятельные в животных); 2) образ этой жизни, т. е. те морфологические и физиологические условия, которыми определяются питание и размножение (а в связи с ними и прочие, второстепенные функции) каждого органического вида, и, наконец, 3) биологическая цель – не в смысле внешней телеологии, а с точки зрения сравнительной анатомии, определяющей относительно целого органического мира место и значение тех частных форм, которые в каждом виде поддерживаются питанием и увековечиваются размножением. Самая биологическая цель при этом является двоякою: с одной стороны, органические виды суть ступени (частью преходящие, частью пребывающие) общего биологического процесса, который от водяной пlesenи доходит до создания человеческого тела, а с другой стороны, эти виды можно рассматривать как члены всемирного организма, имеющие самостоятельное значение в жизни целого.

Общая картина органического мира представляет две основные черты, без равномерного признания которых невозможно никакое понимание мировой жизни, никакая философия природы, а следовательно, и никакая эстетика природы. Во-первых, несомненно, что органический мир не есть произведение так называемого непосредственного творчества или что он не может быть прямо выведен из одного абсолютного творческого начала, ибо в таком случае он должен был бы представлять безусловное совершенство, безмятежность и

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org гармонию не только в целом, но и во всех своих частях. Между тем действительность далеко не соответствует такому оптимистическому представлению. В этом случае некоторые факты и открытия положительной науки имеют решающее значение. Рассматривая земной органический мир, особенно в его палеонтологической истории, достаточно известной в наши дни, мы находим здесь резко очерченную картину трудного и сложного процесса, определяемого борьбою разнородных начал, которая лишь после долгих усилий разрешается некоторым устойчивым равновесием. Это всего менее похоже на безусловно совершенное создание, непосредственно исходящее из творческой воли одного божественного художника. Наша биологическая история есть замедленное и болезненное рождение [5]. Мы видим здесь явные знаки внутреннего противоборства, толчки и судорожные сотрясения, слепые движения ощупью; неоконченные наброски неудачных созданий – сколько чудовищных порождений и выкидышей! Все эти *palaeozoa*, эти допотопные чудища: мегатерии, плезиозавры, ихтиозавры, птеродактили – могут ли они быть совершенным и непосредственным творением Божиим? Если бы они удовлетворяли своему назначению и заслуживали одобрение Творца, как могло бы случиться, что они окончательно исчезли с нашей земли, уступив место формам более уравновешенным и гармоническим.

Тем не менее хотя животворный деятель мирового процесса и бросает без сожаления свои неудобные пробы, однако – и в этом вторая основная черта органической природы – он дорожит не одною только целью процесса, а каждою из его бесчисленных ступеней, лишь бы эта ступень в свою меру и по-своему хорошо воплощала идею жизни. Отвоевывая шаг за шагом у хаотических стихий материал для своих органических созданий, космический ум бережет каждую свою добычу и покидает только то, в чем его победа была мнимою, на что безмерность хаоса наложила свою неизгладимую печать.

Вообще зиждительное начало природы неравнодушно к красоте своих произведений. Поэтому в царстве животном, где встречаются положительно безобразные творения, они или принадлежат к видам исчезнувшим (так называемым допотопным), т. е. отброшенным природою за негодностью; или же они имеют паразитический характер (глиста, вши, клопы) и, следовательно, лишены самостоятельного значения, будучи только болезненно-оживленными экскрементами других организмов, или, наконец, некрасивая форма принадлежит червеобразным личинкам насекомых, представляющим лишь переходную стадию в развитии целого животного, в окончательном же своем виде эти самые животные (бабочки, жуки и т. п.) не только освобождаются от отвратительной наружности червя, но некоторые из них даже служат весьма яркими образчиками красоты в природе. И (по общему правилу) только в этом своем, более красивом, окраинном виде насекомое получает способность спариваться и размножаться, т. е. увековечивать свой вид. Если бы спаривались и размножались личинки, то они увековечивали бы эту безобразную животную форму как окончательную. Но природа неравнодушна к красоте. Она допускает безобразные формы в качестве переходных стадий, но для увековечивания своих произведений старается сообщить им возможную в каждом роде красоту. – Правда, помимо паразитов и червеобразных личинок существуют другие некрасивые формы и даже в высших классах животного царства, наприм., свиньи. Но дикий кабан, или вепрь, нисколько не отвратителен, он даже не лишен своего рода красоты – отвратительна только домашняя откормленная свинка. Но тут уже мы имеем дело с злоупотреблением человека, а не с произведением природы. Вообще же если красота в природе (как мы это утверждаем) есть реально-объективное произведение сложного и постепенного космогонического процесса, то существование безобразных явлений вполне понятно и необходимо. Самые отвратительные формы животного царства послужили и еще послужат нам для подтверждения и иллюстрации наших мыслей. – После этих пояснений мы можем перейти к эстетическому обзору органического мира.

VII

В растительном царстве светлое эфирное начало уже не только озаряет косное вещество и не только возбуждает в нем порывистое преходящее движение (как в явлениях стихийной красоты), но и внутренне движет его, поднимает его изнутри, постоянным образом преодолевая силу тяжести. В растении свет и материя вступают в прочное, неразрывное сочетание, впервые проникают друг друга, становятся одною неделимою жизнью, и эта жизнь поднимает кверху земную стихию, заставляет ее тянуться к небу и солнцу. Между косностью

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
минералов и произвольным движением животных это незаметное внутреннее
движение вверх, или рост, составляет характеризующее свойство растений,
которые от него имеют и свое название. Поскольку здесь светлая форма и
темное вещество впервые органически нераздельно сливаются в одно целое,
растение есть первое действительное и живое воплощение небесного начала на
земле, первое действительное преображение земной стихии. Два
космогонические начала, которые в явлениях неорганического мира лишь
поверхностно соприкасаются и извне возбуждают друг друга, здесь
действительно соединяются и порождают одну неделимо-двойственную
небесно-темную сущность растений.

Как будто чуя жизнь двойную

И ей овеяны вдвойне –

И землю чувствуют родную,

И в небо просятся оне.

Фет

В растительном царстве жизнь выражается преимущественно в объективном направлении в произведении прекрасных органических форм. В этом первом живом порождении небесных и земных сил внутренняя жизнь еще слабо обособилась: это есть безмолвно преображенная и тихо приподнявшаяся к небу земля. Материальное начало, возведенное на новую ступень бытия, на степень живого существа, не успело еще развить соответственной внутренней интенсивности, оно как бы замерло в общем чувстве своего просветления. Из двух неразделенных, но тем не менее различных сторон органической жизни в растительном мире решительно преобладают стороны организации над стороной жизни. Растение хотя и живет, но оно есть более организованное тело, нежели живое существо: в нем видимые формы значительно внутренних состояний. Эти последние существуют, но в слабой степени – душа растения, как уже давно замечено, есть грезящая душа. Поэтому и главный способ для выражения внутренних субъективных состояний – голос – вполне отсутствует у всех растений; зато красотою видимых форм они наделены гораздо равномернее, нежели животные, и, вообще говоря, превосходят их в этом отношении. Для растений зрительная красота есть настоящая достигнутая цель; поэтому органы размножения (цветы), которыми в наиболее значительной части растительного царства увековечивается данный вид, представляют вместе с тем и наибольшее развитие растительной красоты в ее специфическом характере: наивной, спокойной, дремлющей.

Так как в растительном мире главное дело не в содержании внутреннем, не в интенсивности и полноте субъективной жизни, а в законченном внешнем выражении хотя бы и простого сравнительно содержания, то естественное различие между высшими и низшими растениями определяется соответственно степени их видимого совершенства или красоты, т. е. эстетический критерий совпадает здесь, вообще говоря, с естественнонаучным, чего, как сейчас увидим, вовсе не замечается в царстве животных. Два главные отдела растительного мира характеризуются присутствием или отсутствием цветка, т. е. того сложного органа, в котором преимущественно сосредоточивается растительная красота. Снабженные цветами и потому, вообще говоря, более красивые растения составляют высший отдел явнобрачных, а лишенные цветов и в общем не отличающиеся красотою растения принадлежат к низшему отделу тайнобрачных. И между этими последними самые низшие по структуре: водоросли, мхи – суть и наименее красивые, тогда как сравнительно более сложные или высшие: папоротники – обладают и большей степенью красоты. Совершенно не то видим мы у животных. Хотя они также разделяются на два главные отдела: низший – беспозвоночных – и высший – позвоночных животных, но тут уже никак нельзя сказать, чтобы высшие были вообще красивее низших; эстетический и зоологический критерий здесь уже вовсе не совпадают. К числу беспозвоночных, следовательно, к низшему из двух главных отделов животного царства относятся одни из самых красивых зоологических форм – бабочки, которые несомненно превосходят красотою большую часть высших животных. А между этими последними, т. е. в отделе позвоночных, степень зоологического развития, вообще говоря, вовсе не соответствует степени красоты. Самый низший из четырех классов – рыбы – весьма богат красивыми формами, тогда как в самом высшем – млекопитающих – видное место занимают такие

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
неэстетические твари, как бегемоты, носороги, киты. Самые красивые и вместе с тем самые музыкальные позвоночные животные принадлежат к среднему классу – птиц, а не к высшему, да и в сем последнем (у млекопитающих) отряд, представляющий наивысшую степень зоологического развития, – четырерукие (обезьяны) – есть вместе с тем и самый безобразный. Очевидно, в животном царстве красота еще не есть достигнутая цель, органические формы существуют здесь не ради одного своего видимого совершенства, а служат также, и главным образом, как средство для развития наиболее интенсивных проявлений жизненности, пока наконец эти проявления не уравновешиваются и не входят в меру человеческого организма, где наибольшая сила и полнота внутренних жизненных состояний соединяется с наисовершеннейшою видимою формой в прекрасном женском теле, этом высшем синтезе животной и растительной красоты.

Но если мир животных представляет (сравнительно с растениями) менее пищи для непосредственного эстетического созерцания, то для философии красоты животное царство содержит особенно много любопытных и поучительных данных, разработкою которых мы обязаны, конечно, не эстетике по профессии, а естествоиспытателям, и во главе их великому Дарвину, в его сочинении о половом подборе. Хотя его цель здесь была в том, чтобы подтвердить и дополнить теорию происхождения видов путем естественного подбора в борьбе за существование (предмет посторонний для нашего теперешнего рассуждения), но этим не исчерпывается значение собранных в этой книге наблюдений и указаний (как принадлежащих самому Дарвину, так и чужих). Многие из них интересны и важны для нас потому, что доказывают объективную реальность красоты в природе независимо от субъективных человеческих вкусов.

VIII

На каждой новой ступени мирового развития, с каждым новым существенным углублением и осложнением природного существования открывается возможность новых, более совершенных воплощений всеединой идеи в прекрасных формах, но еще только возможность: мы знаем, что усиленная степень природного бытия сама по себе еще не ручается за его красоту, что космогонический критерий не совпадает с эстетическим, а отчасти даже находится с ним в прямой противоположности. Оно и понятно: возведенная на высшую степень бытия и этим внутренне усиленная, стихийная основа вселенной – слепая природная воля – получает зараз и способность к более полному и глубокому подчинению и идеальному началу космоса – которое в таком случае и воплощает в ней новую, более совершенную форму красоты, – и вместе с тем в хаотической стихии на этой высшей степени бытия усиливается и противоположная способность сопротивления идеальному началу с возможностью притом осуществлять это сопротивление на более сложном и значительном материале. Красота живых (органических) существ выше, но вместе с тем и реже красоты неодушевленной природы; мы знаем, что и положительное безобразие начинается только там, где начинается жизнь. Пассивная жизнь растений представляет еще мало сопротивления идеальному началу, которое и воплощается здесь в красоте чистых и ясных, но малосодержательных форм. Окаменевшее в минеральном и дремлющее в растительном царстве хаотическое начало впервые пробуждается в душе и жизни животных кциальному самоутверждению и противопоставляет свою внутреннюю ненасытность объективной идеи совершенного организма. На кого-то из немецких философов животные производили впечатление сомнамбулов; кажется, правильнее было бы сравнить их с помешанными и маньяками: далее мы увидим примеры мономаний, которыми одержимы целые роды и отделы животных. Как бы то ни было, и в общей палеонтологической истории развития целого животного царства, и в индивидуальной эмбриологической истории каждого животного организма ясно отпечаталось упорное сопротивление оживотворенного хаоса высшим органическим формам, от века намеченным в уме всемирного художника, который для достижения прочных побед должен все более и более суживать поле битвы. И каждая новая победа его открывает возможность нового поражения: на каждой достигнутой высшей степени организации и красоты являются и более сильные уклонения, более глубокое безобразие как высшее потенцированное проявление того первоначального безобразия, которое лежит в основе и жизни, и всего космического бытия.

Если с появлением органического вещества, оживленной протоплазмы в виде простейших, большую частью микроскопических животных и растений создается почва для новых, более прочных и значительных воплощений мировой идеи в реальных формах красоты, то ясно, что сама по себе эта почва никакого

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
положительного отношения к красоте не имеет. Безобразие мировой основы заявляет здесь себя на новой ступени частью с материально-пассивной (женственной) стороны – в первичных растениях, частью с активно-хаотической (мужской) стороны – у первичных животных. Зачатки всего животного царства так же некрасивы, как и зачаток отдельного животного организма, хотя бы самого высшего. Первичные животные носят в зоологии характеристичное название безобразных или бесформенных – *amorphozoa*. И без всякого сомнения, это подвижное, копошащееся безобразие отвратительнее спокойной бесформенности первичных растений. Но разумеется, самая простота и мелкость этих животных противовесит не позволяет им быть настоящим типом животного безобразия. Для этого одной простой бесформенности недостаточно, а нужна отвратительная форма. Такую положительно безобразную форму, служащую в более или менее открытом виде основою всех животных организаций, мы находим в черве.

Форма червя, как уже было выше замечено, есть прямое выражение, обнаженное воплощение двух основных животных инстинктов – полового и питательного – во всей их безмерной ненасыщенности. Всего яснее это в тех внутренностных червях, которые питаются всем своим существом, всюю поверхностью своего тела через эндосмос (всасывание) и затем не представляют никаких органов, кроме половых, а эти последние своим сильным развитием и сложным строением являются поразительный контраст с крайним упрощением всей остальной организации. Таковы, например, *acanthocephali*, у которых, не говоря уже о совершенном отсутствии органов чувств, нет ни рта, ни кишки, ни *anus'a* и на таком дефективном фоне ярко выделяются, по выражению Клауса, "мощные половые органы" [6]. Этому непомерному анатомическому развитию половых органов соответствуют и некоторые чудовищные явления в самой половой жизни, во взаимных отношениях обоих полов. Так у *Distomum haematobium* (в отряде *Trematodes distomidae*) самец, будучи хотя толще, но короче самки, носит эту последнюю всегда при себе в особом углублении своей брюшной стороны [7]. Противоположное и еще более чудовищное явление представляет *trichosomum crassicauda* (отр. *Nematodes*), у которого, по наблюдениям Лейкарта, очень малорослые самцы, по два или по три, а иногда по четыре и по пять живут вместе внутри маточной полости самки. – В классе кольчатах червей безобразие основного типа смягчается несколько более сложною организацией, но и у них непомерное развитие и разнообразие половых органов (особенно в отряде *oligochaetae* [8]) не допускает идею жизни до гармонического воплощения. – Основной тип червя на более высокой ступени организации явно сохраняется и у моллюсков, которых Линней прямо относил к *vermes*, и не без основания. "С тех пор как организация и развитие этих животных стали более известны, оказывается, что они действительно имеют отношение к червям" [9]. Между прочим, "по форме, реснитчатым покровам и организации личинки моллюсков имеют много общего с трихофорой или Ловеновской личинкой, свойственной многим червям" [10]. Впрочем, с эстетической точки зрения у тех видов моллюсков, которые в своем развитии проходят через стадию личинок, вполне развившееся животное нисколько не превосходит свою личинку. – Не то видим мы у насекомых, у которых червеобразная основная форма (находящаяся, по новейшим научным мнениям, в генетическом сродстве с кольчатаими червями) в своем обнаженном безобразии сохраняется только на стадии личинки, а в развивающемся животном прячется под более или менее красивыми окрыленными покровами.

Основной червь, у насекомых прикрытый снаружи, вбирается внутрь у позвоночных животных: их чрево есть тот же червь не только в этимологическом, но и в зоогеническом смысле. Этот воббранный внутрь червь у некоторых позвоночных животных, принадлежащих к классам рыб и земноводных, опять получает такое преобладание, что сообщает свою форму всему телу животного. Таковы в особенности змеи, которые изо всех позвоночных животных суть самые похожие на червя, а потому и самые отвратительные. Нет надобности распространяться о том, что это возвращение к червеобразной наружности связано у этих животных и с внутренним уподоблением червю, т. е. с новым потенцированным самоутверждением злой жизни в ее кровожадном и сладострастном инстинкте.

Преобладание слепой и безмерной животности над идеей организма, т. е. внутреннего и наружного равновесия жизненных элементов, – это преобладание материи над формой, наглядно выражаемое в типической фигуре червя, есть лишь главная, основная причина безобразия в животном царстве. К ней присоединяются еще две другие, также общего характера. Мы знаем, что бесформенность, или неустойчивость, формы сама по себе есть нечто безразличное в эстетическом смысле (напр., бесформенные и бесцветные

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
облака). Но когда в животном царстве бесформенность является на таких его ступенях, которые уже предполагают более или менее сложную и устойчивую организацию, то такое возвращение к элементарной протоплазме, будучи в прямом противоречии с данной органической идеей, становится источником положительного безобразия. Например, улитки и другие слизняки, кроме того, что они еще довольно ясно сохраняют безобразный тип червя, отвратительны также и по своей первобытной бесформенности и мягкотелости, совершенно не соответствующей их сравнительно сложной внутренней организации. Та же причина – преобладание бесформенной массы – делает некрасивыми и таких высших животных, как киты и тюлени. Впрочем, поскольку это зависит здесь от чрезмерного накопления жира, следовательно, от излишнего питания, наша вторая причина зоологического безобразия (возвратная бесформенность) совпадает с первой (неистовость животного инстинкта). Это вполне ясно в случае тех домашних животных, которые становятся бесформенными и безобразными вследствие искусственного откармливания. Третья причина безобразия в животном царстве, и именно у некоторых высших (позвоночных) животных (лягушки, обезьяны), состоит в том, что они, оставаясь вполне животными, похожи на человека и представляют как бы карикатуру на него. Здесь нельзя видеть только одно субъективное впечатление, ибо помимо наглядного сравнения с человеком у этих животных замечается действительное анатомическое предварение (антиципация) высшей формы, которой не соответствуют остающиеся черты низшей организации, и это-то несоответствие, или дисгармония, и составляет объективную причину их безобразия.

Под указанные три формальные причины или категории: 1) непомерное развитие материальной животности, 2) возвращение к бесформенности и 3) карикатурное предварение высшей формы, – могут быть подведены все проявления животного безобразия в его бесчисленных конкретных видоизменениях и оттенках. Но и эти три причины в сущности могут быть сведены к одной, именно к сопротивлению, которое материальная основа жизни на разных ступенях зоогенического процесса оказывает организующей силе идеального космического начала. Теперь нам нужно рассмотреть, какими способами преодолевается это сопротивление и создается красота в животной природе.

IX

Чтобы в области той жизни, основная материя которой есть бесформенная слизь, а типический представитель – червь, воплотить идеальную красоту, мировому художнику пришлось много и долго поработать. До появления животной жизни земная материя уже послужила к воплощению двоякой красоты – минеральной и растительной. И вот мы видим, что и в животном царстве, прежде чем внутренне преодолеть активное сопротивление одушевленной материи и переродить ее в прекрасные формы высших животных организмов, космический зодчий пользуется зоологическим материалом для произведения новых видов прежней красоты, не имеющих специфически животного характера, а частично принадлежащих к области неорганической, частично же напоминающих растительные формы. И во-первых, некрасивые, более или менее червеобразные полипы создают целые леса прекрасных кораллов, которые по своему составу из неорганического вещества должны быть отнесены к числу минералов, а по видимой форме похожи на деревья и цветы. В меньших размерах то же стремление воспроизвести наружным образом минерально-растительную красоту на основе животной материи замечается в так называемых морских звездах, морских лилиях и т. п. Далее, безобразные моллюски, оставаясь при всей своей отвратительной бесформенности, порождают твердую неорганическую красоту многоцветных и многообразных раковин, и, наконец, одно из этих животных выделяет драгоценный жемчуг.

Здесь у моллюсков, так же как у полипов, животная жизнь производит красоту лишь как наружное неорганическое отложение и облекается в нее чисто внешним образом как в свое жилище, а не в собственную свою форму. То же до известной степени можно сказать и о роговых отложениях у некоторых высших животных, каковые черепахи; последнее проявление этого рода животного зодчества мы находим в классе млекопитающих у так называемого броненосца, где оно, впрочем, теряет свое эстетическое значение.

Другое, менее поверхностное отношение между красивым облачением и производящим его для себя животным мы находим у крыльевых насекомых. Вместо неорганических построек, каковы кораллы для полипа или раковины для моллюска, крылья бабочек или жуков суть нераздельные органические прилатки

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
к их телу, к которому они относятся приблизительно так же, как цветы к растению. Подобно тому как в цветке (явнобрачные) растения имеют свои половые органы, точно так же эти насекомые только в окрыленной своей стадии достигают половой зрелости и спариваются между собою. – Как по органическому составу и сложному строению самих крыльев, так и по их определенному и тесному морфологическому отношению к остальному телу насекомого мы должны признать здесь эстетическое действие образующего идеального начала на животную материю существенно более глубоким и важным, нежели каково оно в неорганических и внешних для самого животного тела раковинах и кораллах. Однако и самая красивая бабочка есть не более как окрыленный червь. Если здесь дуализм между прекрасной формой и безобразием животной материи и не выражается во всей своей силе в виде двух отдельных и разнородных тел, как в моллюске и его раковине, то все-таки эта двойственность не побеждена здесь даже видимым образом, поскольку прекрасные крылья и червеобразное туловище составляют две резко выделяющиеся, хотя и органически сросшиеся половины в теле насекомого.

Эта двойственность прекрасной формы и безобразной материи преодолевается наконец в пользу первой, по крайней мере в наружном виде, у позвоночных животных, которые, вбирая в себя своего червя (или свое чрево), делают его совсем незаметным, и вместе с тем вся поверхность их тела тесно облекается более или менее красивым покровом (чешуя, перья, шерсть и мех). В тех случаях, когда такие покровы у позвоночных животных отсутствуют, как, например, у лягушек, эта обнаженность есть одна из причин их безобразия (сверх той, которая указана выше).

Космический художник знает, что основа животного тела безобразна, и старается всячески прикрыть и прикрасить ее. Его цель не в том, чтобы уничтожить или устраниТЬ безобразие, а в том, чтобы оно само сначала облеклось красотою, а потом и превратилось в красоту. Поэтому он тайными внушениями, которые мы называем инстинктом, побуждает самих животных из собственной их плоти и крови создавать всякие красивые оболочки; он заставляет слизняка залезать в им самим устроенную и причудливо разукрашенную раковину, которая для своего утилитарного назначения (предполагая таковое) вовсе не нуждалась в этом красивом виде; он понуждает отвратительную гусеницу надеть на себя выращенные ею самою пестрые крылья, а рыб, птиц и зверей – совсем зашить себя в блестящую чешую, разноцветные перья, гладкую шерсть или пушистый мех.

Но высшие животные – птицы и еще более некоторые млекопитающие (семейство кошачьих, также олени, серны, лани и т. д.) – помимо красивых наружных покровов представляют и во всем своем телесном виде прекрасное воплощение идеи жизни – стройной силы, гармонического соотношения частей и свободной подвижности целого. Под это идеальное определение подходят все многочисленные типы и оттенки животной красоты, перечисление и описание которых не входит в нашу задачу. Это есть дело описательной зоологии. Также должны мы оставить в стороне и вопрос о том, какими путями образующая сила мирового художника доводила природу до создания прекрасных животных форм: этот вопрос может быть разрешаем только метафизической космогонией. Наше эстетическое рассуждение о красоте в природе мы можем закончить указанием тех явлений, которые, как выше замечено, эмпирически подтверждают объективный характер этой красоты.

X

Явления полового подбора, наблюдавшиеся Дарви-ном и другими естествоиспытателями, совершенно недостаточны для объяснения красоты всех животных форм: они относятся почти исключительно лишь к наружным украшениям, или орнаментальной красоте, у различных животных. Но здесь дело не в собственной важности объясняемых явлений, а в несомненном доказательстве самостоятельного объективного значения эстетического мотива хотя бы в самых поверхностных его выражениях.

В то время как многие прямолинейные умы старались свести к утилитарным основам человеческую эстетику в интересах позитивно-научного мировоззрения, величайший в нашем веке представитель этого самого мировоззрения показал независимость эстетического мотива от утилитарных целей даже в животном царстве и через это впервые положительно обосновал истинно идеальную эстетику. Этой неотъемлемой заслуги достаточно было бы, чтобы обессмертить

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
имя Дарвина, если бы он даже не был автором теории происхождения видов
путем естественного подбора в борьбе за существование, – теории, точно
определенной и подробно прославившей один из важнейших материальных
факторов мирового процесса.

жизнь животного определяется двумя главными интересами: поддерживать себя
посредством питания и увековечивать свой вид посредством размножения. Эта
последняя цель, разумеется, не существует в сознании самого животного, а
достигается природою косвенно, чрез возбуждение полового влечения в
разнополых особях. Но космический художник пользуется этим половым
влечением не только для увековечивания, но и для украшения данных животных
форм. Особи активного пола – самцы преследуют самку и вступают из-за нее в
борьбу друг с другом; и вот оказывается, говорит Дарвин, вопреки всякому
предвидению, что способность различным образом прельщать самку имеет в
известных случаях большее значение, нежели способность побеждать других
самцов в открытом бою [11].

Это стремление прельщать обнаруживается у животных даже там, где его всего
менее можно было бы ожидать. "Qui conque a eu l'occasion, – говорит Агассиц,
– d'observer les amours des limacons, ne saurait mettre en doute la
seduction deployee dans les mouvements et les allures qui preparent et
accomplissent le double embrassement de ces hermaphrodites" [12]. В чем,
собственно, состоит здесь взаимное прельщение и служит ли оно к
какому-нибудь украшению этих слизняков, ни Агассиц, ни Дарвин не объясняют.
Но если действительно улитки пленяют друг друга своими аллюрами, то другие,
более зрячие моллюски еще легче могут оказывать подобное действие красотою
своих раковин. Дело яснее у ракообразных (crustacea) и у пауков. Здесь
самцы некоторых видов приобретают во время половой зрелости яркую и
разнообразную окраску, какой не имели прежде и какая отсутствует у самок
[13].

Всякий путешествовавший в тропических лесах бывал поражен звоном, который
производят цикады самцы. Самки же безмолвствуют, как уже и греческий поэт
Ксенарх заметил: "В счастье живут цикады: у всех у них жены безгласны" [14].
Фриц Мюллер пишет Дарвину из Южной Бразилии, что он часто присутствовал при
музыкальном состязании между двумя или тремя самцами цикады, имевшими
особенно звонкий голос и сидевшими на значительном расстоянии друг от
друга. Как только один кончал свою песню, так сейчас же начинал другой, и
таким образом они все время чередовались между собою. Так как здесь,
справедливо замечает Дарвин, обнаруживается столько соперничества между
самцами, то весьма вероятно, что самки не только распознают их по
издаваемым ими звукам, но что они, подобно птичьим самкам, прельщаются или
возбуждаются тем из самцов, который обладает самым привлекательным голосом
[15]. У насекомых, принадлежащих к отряду Neuroptera, замечается не только
особенное окрашение крыльев у самцов перед спариванием, но наблюдалось у
разных видов предпочтение того или другого цвета [16]. Этот последний факт
важен, потому что показывает восприимчивость этих насекомых к зрительным
впечатлениям как таковым независимо от какого-нибудь их утилитарного
значения, которого в данном случае невозможно указать. Такую же
эстетическую восприимчивость следует приписать жукам (Coleoptera), у
которых крылья не только окрашены блестящими металлическими красками, но
часто и разрисованы полосками, кружками, крестиками и другими изящными
узорами, – и все это только у зрячих видов, слепые же никогда не имеют
разукрашенных или разрисованных крыльев [17]. В этом же отряде насекомых у
некоторых видов самцы отличаются огромными и весьма изменчивыми и
причудливыми рогами, которые, как доказывает Дарвин, несомненно имеют
характер украшения для прельщения самок [18]. Тому же назначению служат и
особые органы для произведения звука, замечаемые у некоторых видов [19].

В отряде Lepidoptera (бабочки) красота их крыльев, которую у некоторых
тропических видов [20], по выражению Дарвина, невозможно описать словами,
представляет тот же самый характер, ибо несомненно, что именно самцы
преимущественно отличаются и блестящей красотою и разнообразием своих
крыльев, тогда как самки сравнительно бесцветны и монотонны. Это уже одно
показывает, что красота крыльев не может служить утилитарным целям защиты в
борьбе за существование (чрез уподобление насекомого цветку, на котором оно
сидит, и т. п.), ибо в такой защите самки нуждаются никак не менее самцов.
Впрочем, есть факты, прямо показывающие, что утилитарная цель здесь сама по
себе, а эстетически-половая сама по себе. А именно у многих видов
замечается, что нижняя поверхность крыльев, т. е. та, которая обращена
наружу в сидячем, наиболее опасном положении, окрашена совершенно под цвет

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
тем растениям, на которые бабочка садится (явно ради защиты), тогда как верхняя поверхность, которую порхающий самец показывает самке во время ухаживания, раскрашена и разрисована с таким причудливым изяществом, которое не может иметь никакого отношения к целям защиты [21]. Читатель может найти у самого Дарвина еще много других частных доказательств, оставляющих, вне сомнения, преобладающее здесь действие чисто эстетического фактора [22].

Неравнодушны к красоте и рыбы. Этим только объясняется, что у многих видов этого класса самцы (вообще более красивые, чем самки) развиваются во время спаривания особую красоту цветов и форм [23]. Сверх того, вопреки общему мнению о немоте рыб некоторые виды (напр., *Umbrina*) обнаруживают несомненные музыкальные способности и трубят весьма громко и благозвучно – опять-таки только самцы и только в эпоху спаривания [24].

Самцы тритонов пленяют своих подруг красивыми гребнями, а у лягушек только самцы же и лишь во время ухаживания дают свои концерты, которые у некоторых американских пород отличаются истинною музыкальностью и доставляют эстетическое наслаждение не одному лягушечьему, а также и человеческому уху [25]. В одном роде ящериц (*Sitana*) горло самцов снабжено большим, ярко окрашенным (во время спаривания) кожаным придатком, который они распускают, как веер, перед самками [26]. Наиболее эстетический (и в зрительном и в звуковом отношении) класс птиц представляет великое обилие фактов, доказывающих самостоятельное значение красоты для этих животных. Почти все они основывают свои брачные успехи на обнаружении того или другого эстетического свойства, причем замечается, что блестящая окраска и способность к благозвучному пению обыкновенно не совпадают, но слабость одного из этих преимуществ возмещается развитием другого [27]. Всего любопытнее у птиц то, что они явно сознательно относятся к своей красоте и тщеславятся ею не только перед самками, но и перед посторонними наблюдателями. Сам Дарвин нередко видел, как павлин щеголял своим убором не только перед курами, но и перед свиньями. Все естествоиспытатели, внимательно наблюдавшие птиц как в состоянии природы, так и в неволе, единогласно утверждают, что самцы находят удовольствие в том, чтобы выставлять напоказ свою красоту [28]. У многих видов сложные украшения самцов не только не могут иметь никакого утилитарного значения, но прямо вредны, ибо развиваются в ущерб их удобоподвижности – мешают им летать или бегать, выдают их головою преследующему врагу; но, очевидно, для них красота дороже самой жизни [29]. Чисто созерцательная восприимчивость некоторых птиц к красоте цветов доказывается тем, что они обращают внимание и любуются яркими цветами не на себе подобных только, а где бы их ни встретили, напр., на дамских платьях или шляпах [30]. Старательное украшение гнезд некоторыми птицами, например колибри, которые отделяют их с самым тонким вкусом, также несомненно доказывает у птиц присутствие объективно-эстетического чувства [31]. Иногда это чувство даже заставляет их впадать в предосудительные крайности. Так, самка южноафриканского вида *Chera progne* покидает самца, если он случайно потерял длинные хвостовые перья, которыми он украшается в эпоху спаривания. Подобное же легкомыслие наблюдал д-р Иегер в Вене у серебряных фазанов [32].

Достаточно будет для нас этих немногих указаний из массы однородных фактов, собранных Дарвином. Смысл этих фактов столь же прост, сколько значителен. Человек находит известные явления в природе красивыми, они доставляют ему эстетическое наслаждение; большинство философов и ученых уверены, что это есть лишь факт субъективного человеческого сознания, что в самой природе нет красоты, так же как в ней нет добра и правды. Но вот оказывается, что те самые сочетания форм, цветов и звуков, которые нравятся в природе человеку, нравятся также и самим существам природы – животным всевозможных типов и классов, нравятся им так сильно, имеют для них столь важное значение, что поддержание и развитие этих бесполезных, а иногда и вредных (в утилитарном смысле) особенностей ложится в основу их видового существования. Мы уже никак не можем сказать, что крылья тропической бабочки или павлиний хвост красивы только по нашей субъективной оценке, ибо точно так же ценят их красоту самки бабочки и павлины. Но в таком случае необходимо идти дальше. Ибо, допустивши, что павлиний хвост красив объективно, настаивать на том, что красота радуги или алмаза имеет лишь субъективно-человеческий характер, было бы верхом нелепости. Разумеется, если в данном частном случае вовсе нет никакого чувствующего субъекта, то нет и ощущения красоты; но дело не в ощущении, а в свойстве предмета, способного производить однородные ощущения в самых различных субъектах. Если же вообще красота в природе объективна, то она должна иметь и

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
некоторое общее онтологическое основание, должна быть – на разных ступенях
и в разных видах – чувственным воплощением одной абсолютно объективной
вседединой идеи.

Космический ум в явном противоборстве с первобытным хаосом и в тайном соглашении с раздираемою этим хаосом мирою душою или природою, которая все более и более поддается мысленным внушениям зиждительного начала, творит в ней и через нее сложное и великолепное тело нашей вселенной. Творение это есть процесс, имеющий две тесно между собою связанные цели, общую и особенную. Общая есть воплощение реальной идеи, т. е. света и жизни, в различных формах природной красоты; особенная же цель есть создание человека, т. е. той формы, которая вместе с наибольшею телесною красотою представляет и высшее внутреннее потенцирование света и жизни, называемое самосознанием. Уже в мире животных, как мы сейчас видели, общая космическая цель достигается при их собственном участии и содействии чрез возбуждение в них известных внутренних стремлений и чувств. Природа не устроит и не украшает животных как внешний материал, а заставляет их самих устроить и украшать себя. Наконец, человек уже не только участвует в действии космических начал, но способен знать цель этого действия и, следовательно, трудиться над ее достижением осмысленно и свободно. Как человеческое самосознание относится к самочувствию животных, так красота в искусстве относится к природной красоте.

1889

ОБЩИЙ СМЫСЛ ИСКУССТВА

I

дерево, прекрасно растущее в природе, и оно же, прекрасно написанное на полотне, производят однородное эстетическое впечатление, подлежат одинаковой эстетической оценке, недаром и слово для ее выраженияпотребляется в обоих случаях одно и то же. Но если бы все ограничивалось такой видимою, поверхностною однородностью, то можно было бы спросить и действительно спрашивали: зачем это удвоение красоты? Не детская ли забава повторять на картине то, что уже имеет прекрасное существование в природе? Обыкновенно на это отвечают (наприм., Тэн в своей "Philosophie de l'art" [1]), что искусство воспроизводит не самые предметы и явления действительности, а только то, что видит в них художник, а истинный художник видит в них лишь их типические, характерные черты; эстетический элемент природных явлений, пройдя через сознание и воображение художника, очищается от всех материальных случайностей и таким образом усиливается, выступает ярче; красота, разлитая в природе, в ее формах и красках, на картине является сосредоточеною, сгущенною, подчеркнутою. Этим объяснением нельзя окончательно удовлетворить уже по тому одному, что к целым важным отраслям искусства оно вовсе неприменимо. Какие явления природы подчеркнуты, например, в сонатах Бетховена? – Очевидно, эстетическая связь искусства и природы гораздо глубже и значительнее. Поистине она состоит не в повторении, а в продолжении того художественного дела, которое начато природой, – в дальнейшем и более полном разрешении той же эстетической задачи.

Результат природного процесса есть человек в двояком смысле: во-первых, как самое прекрасное [2], а во-вторых, как самое сознательное природное существо. В этом последнем качестве человек сам становится из результата деятелем мирового процесса и тем совершеннее соответствует его идеальной цели – полному взаимному проникновению и свободной солидарности духовных и материальных, идеальных и реальных, субъективных и объективных факторов и элементов вселенной. Но почему же, могут спросить, весь мировой процесс, начатый природой и продолжаемый человеком, представляется нам именно с эстетической стороны, как разрешение какой-то художественной задачи? Не лучше ли признать за его цель осуществление правды и добра, торжество верховного разума и воли? Если в ответ на это мы напомним, что красота есть только воплощение в чувственных формах того самого идеального содержания, которое до такого воплощения называется добром и истиной, то это вызывает новое возражение. Добро истина, скажет строгий моралист, не нуждаются в эстетическом воплощении. Делать добро и знать истину – вот все, что нужно.

В ответ на это возражение допустим, что добро осуществлено – не в чьей-нибудь личной жизни только, но в жизни целого общества, осуществлен

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
идеальный общественный строй, царствует полная солидарность, всеобщее братство. Непроницаемость эгоизма упразднена; все находят себя в каждом, и каждый – во всех других. Но если эта всеобщая взаимопроницаемость, в которой сущность нравственного добра останавливается перед материальной природой, если духовное начало, победивши непроницаемость человеческого психического эгоизма, не может преодолеть непроницаемость вещества, эгоизм физический, то, значит, эта сила добра или любви не довольно сильна, значит, это нравственное начало не может быть осуществлено до конца и вполне оправдано. Тогда является вопрос: если темная сила материального бытия окончательно торжествует, если она неодолима для доброго начала, то не в ней ли подлинная истина всего существующего, не есть ли то, что мы называем добром, только субъективный призрак? И в самом деле, можно ли говорить о торжестве добра, когда на самых идеальных нравственных началах устроенное общество может сейчас же погибнуть вследствие какого-нибудь геологического или астрономического переворота? Безусловное отчуждение нравственного начала от материального бытия пагубно никак не для последнего, а для первого. Самое существование нравственного порядка в мире предполагает связь его с порядком материальным, некоторую координацию между ними. Но если так, то не следует ли искать этой связи помимо всякой эстетики, в прямом владычестве разума человеческого над слепыми силами природы, и безусловном господстве духа над веществом? По-видимому, уже сделано несколько важных шагов к этой цели; когда она будет достигнута, когда благодаря успехам прикладных наук мы победим, как думают ныне оптимисты, не только пространство и время, но и саму смерть, тогда существование нравственной жизни в мире (на основе материальной) будет окончательно обеспечено, без всякого, однако, отношения к эстетическому интересу, так что и тогда останется в силе заявление, что добро не нуждается в красоте. Но будет ли в таком случае полно само добро? Ведь оно состоит не в торжестве одного над другим, а в солидарности всех. А могут ли из числа этих всех быть исключены существа и деятели природного мира? Значит, и на них нельзя смотреть только как на средства или орудия человеческого существования, значит, и они должны входить как положительный элемент в идеальный строй нашей жизни. Если нравственный порядок для своей прочности должен опираться на материальную природу как на среду и средство своего существования, то для своей полноты и совершенства он должен включать в себя материальную основу бытия как самостоятельную часть этического действия, которое здесь превращается в эстетическое, ибо вещественное бытие может быть введено в нравственный порядок только чрез свое просветление, одухотворение, т. е. только в форме красоты. Итак, красота нужна для исполнения добра в материальном мире, ибо только ею просветляется и укрощается недобная тьма этого мира[3].

Но не совершенно ли уже помимо нас это дело всемирного просветления? Природная красота уже облекла мир своим лучезарным покрывалом, безобразный хаос бессильно шевелится под стройным образом космоса и не может сбросить его с себя ни в беспредельном просторе небесных светил, ни в тесном круге земных организмов. Не должно ли наше искусство заботиться только о том, чтобы облечь в красоту одни человеческие отношения, воплотить в ощущительных образах истинный смысл человеческой жизни? Но в природе темные силы только побеждены, а не убеждены всемирным смыслом, самая эта победа есть поверхностная и неполная, и красота природы есть именно только покрывало, наброшенное на злую жизнь, а не преображение этой жизни. Поэтому-то человек с его разумным сознанием должен быть не только целью природного процесса, но и средством для обратного, более глубокого и полного воздействия на природу со стороны идеального начала. Мы знаем, что реализация этого начала уже в самой природе имеет различные степени глубины, причем всякому углублению положительной стороны соответствует и углубление, внутреннее усиление отрицательной. Если в неорганическом веществе дурное начало действует только как тяжесть и косность, то в мире органическом оно проявляется уже как смерть и разложение (причем и тут безобразие не так явно торжествует в разрушении растений, как в смерти и разложении животных, и между ними у высших более, чем у низших), а в человеке оно кроме более сложного и усиленного своего проявления с физической стороны выражает еще и свою глубочайшую сущность как нравственное зло. Но тут же и возможность окончательного над ним торжества и совершенного воплощения этого торжества в красоте нетленной и вечной.

Весьма распространен ныне возобновленный старый взгляд, отождествляющий нравственное зло с темною, бессознательною жизнью физическою (плотскою), и нравственное добро – с разумным светом сознания, развивающимся в человеке. Что свет разума сам по себе добро, это несомненно; но нельзя назвать злом и

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
свет физический. Значение того и другого в их соответственных сферах
одинаково. В свете физическом[4] всемирная идея (положительное всеединство,
жизнь всех друг для друга в одном) реализуется только отраженно: все
предметы и явления получают возможность быть друг для друга (открываются
друг другу) во взаимных отражениях через общую невесомую среду. Подобным
образом в разуме отражается все существующее посредством общих отвлеченных
понятой, которые не передают внутреннего бытия вещей, а только их
поверхностные логические схемы. Следовательно в разумном познании мы
находим только отражение всемирной идеи, а не действительное присутствие ее
в познающем и познаваемом. Для своей настоящей реализации добро и истина
должны стать творческой силой в субъекте, преобразующей, а не отражающей
только действительность. Как в мире физическом свет превращается в жизнь,
становится организующим началом растений и животных, чтобы не отражаться
только от тел, но воплощаться в них, так и свет разума не может
ограничиться одним познанием, а должен осознанный смысл жизни художественно
воплощать в новой, более ему соответствующей действительности. Разумеется,
прежде чем это делать, прежде чем творить в красоте или претворять
неидеальную действительность в идеальную, нужно знать различие между ними,
– знать не только в отвлеченной рефлексии, но прежде всего в
непосредственном чувстве, присущем художнику.

II

Различие между идеальным, т. е. достойным, должным, бытием и бытием
недолжным, или недостойным, зависит вообще от того или иного отношения
частных элементов мира друг к другу и к целому. Когда, во-первых, частные
элементы не исключают друг друга, а, напротив, взаимно полагают себя один в
другом, солидарны между собою; когда, во-вторых, они не исключают целого, а
утверждают свое частное бытие на единой всеобщей основе; когда, наконец,
в-третьих, эта всеединая основа или абсолютное начало не подавляет и не
поглощает частных элементов, а, раскрывая себя в них, дает им полный
простор в себе, тогда такое бытие есть идеальное, или достойное, – то, что
должно быть. Оно и есть само по себе[5], но для нас оно является не как
данная действительность, а как идеал, лишь отчасти осуществленный и
осуществляемый; в этом смысле он становится окончательно целью и
безусловной нормой наших жизненных деятельности: к нему стремится воля как
к своему высшему благу, им определяется мышление как абсолютной истине, он
же частию ощущается, частию угадывается нашими чувствами и воображением,
как красота[6]. Между этими положительными идеальными определениями
достойного бытия находится такое же существенное тождество, как и между
соответствующими им отрицательными началами. Всякое зло может быть сведено
к нарушению взаимной солидарности и равновесия частей и целого; и к тому же
в сущности сводится всякая ложь и всякое безобразие. Когда частный или
единичный элемент утверждает себя в своей особенности, стремясь исключить
или подавить чужое бытие, когда частные или единичные элементы порознь или
вместе хотят стать на место целого, исключают и отрицают его
самостоятельное единство, а через то и общую связь между собою и когда,
наоборот, во имя единства теснится и упраздняется свобода частного бытия, –
все это: и исключительное самоутверждение (эгоизм), и анархический
партикуляризм, и despoticское объединение мы должны признать злом. Но то
же самое, перенесенное из практической сферы в теоретическую, есть ложь.
Ложью называем мы такую мысль, которая берет исключительно одну какую-нибудь
из частных сторон бытия и во имя ее отрицает все прочие; ложью называем мы
и такое умственное состояние, которое дает место лишь неопределенной
совокупности частных эмпирических положений, отрицая общий смысл или
разумное единство вселенной; наконец, ложью должны мы признать отвлеченный
монизм или пантеизм, отрицающий всякое частное существование во имя
принципа безусловного единства[7]. И те же самые существенные признаки,
которыми определяется зло в сфере нравственной и ложь в сфере умственной,
они же определяют безобразие в сфере эстетической. Все то безобразно, в чем
одна часть безмерно разрастается и преобладает над другими[8], в чем нет
единства и цельности и, наконец, в чем нет свободного разнообразия.
Анархическая множественность так же противна добру, истине и красоте, как и
мертвое подавляющее единство: попытка реализовать это последнее для чувств
сводится к представлению бесконечной пустоты, лишенной всяких особенных и
определенных образов бытия, т. е. к чистому безобразию.

Достойное, идеальное бытие требует одинакового простора для целого и для
частей, следовательно, это не есть свобода от особенностей, а только от их
исключительности. Полнота этой свободы требует, чтобы все частные элементы
находили себя друг в друге и в целом, каждое полагало себя в другом и

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
другое в себе, ощущало в своей частности единство целого и в целом свою
частность, – одним словом, абсолютная солидарность всего существующего. Бог
– все во всех.

Полное чувственное осуществление этой всеобщей солидарности или положительного всеединства – совершенная красота не как отражение только идеи от материи, а действительное ее присутствие в материи – предполагает прежде всего глубочайшее и теснейшее взаимодействие между внутренним или духовным и внешним или вещественным бытием. Это есть основное собственно-эстетическое требование, здесь специфическое отличие красоты от двух других аспектов абсолютной идеи. Идеальное содержание, остающееся только внутреннею принадлежностью духа, его воли и мысли, лишено красоты, а отсутствие красоты есть бессилие идеи. В самом деле, пока дух не способен дать своему внутреннему содержанию непосредственного внешнего выражения, воплотиться в материальном явлении и пока, с другой стороны, вещество не способно к восприятию идеального действия уха, не способно проникнуться им, претвориться или пресуществиться в него, до тех пор, значит, между этими главными областями бытия нет солидарности, а это значит, что у самой идеи, которая именно и есть совершенная солидарность всего существующего, нет еще здесь, в этом ее явлении, достаточно силы для окончательного осуществления или исполнения ее сущности. Абстрактный, неспособный к творческому воплощению дух и бездушное, неспособное к одухотворению вещество – оба несообразны с идеальным или достойным бытием и оба носят на себе явный признак своего недостоинства в том, что ни тот, ни другой не могут быть прекрасными. Для полноты этого последнего качества требуется таким образом: 1) непосредственная материализация духовной сущности и 2) всецелое одухотворение материального явления как собственной неотделимой формы идеального содержания. К этому двоякому условию необходимо присоединяется, или, лучше сказать, прямо из него вытекает, третье: при непосредственном и нераздельном соединении в красоте духовного содержания с чувственным выражением, при их полном взаимном проникновении материальное явление, действительно ставшее прекрасным, т. е. действительно воплотившее в себе идею, должно стать таким же пребывающим и бессмертным, как сама идея. По гегельянской эстетике красота есть воплощение универсальной и вечной идеи и в частных и преходящих явлениях, причем они так и остаются преходящими, исчезают, как отдельные волны в потоке материального процесса, лишь на минуту отражая сияние вечной идеи. Но это возможно только при безразличном, равнодушном отношении между духовным началом и материальным явлением. Подлинная же и совершенная красота, выражая полную солидарность и взаимное проникновение этих двух элементов, необходимо должна делать один из них (материальный) действительно причастным бессмертию другого.

Обращаясь к прекрасным явлениям физического мира, мы найдем, что они далеко не исполняют указанных требований или условий совершенной красоты. Во-первых, идеальное содержание в природной красоте недостаточно прозрачно, оно не открывает здесь всей своей таинственной глубины, а обнаруживает лишь свои общие очертания, иллюстрирует, так сказать, в частных конкретных явлениях самые элементарные признаки и определения абсолютной идеи. Так, свет в своих чувственных качествах обнаруживает всепроницаемость и невесомость идеального начала, растения своим видимым образом проявляют экспансивность жизненной идеи и общее стремление земной души к высшим формам бытия; красивые животные выражают интенсивность жизненных мотивов, объединенных в сложном целом и уравновешенных настолько, чтобы допускать свободную игру жизненных сил, и т. д. Во всем этом, несомненно, воплощается идея, но лишь самым общим и поверхностным образом, с внешней своей стороны. Этой поверхностью материализации идеального начала в природной красоте соответствует здесь столь же поверхностное одухотворение материи, откуда возможность кажущегося противоречия формы с содержанием: типически злой зверь может быть весьма красивым (противоречие здесь только кажущееся именно потому, что природная красота по своему поверхностному характеру вообще не способна выражать идею жизни в ее внутреннем, нравственном качестве, а лишь в ее внешних, физических принадлежностях, каковы сила, быстрота, свобода движения и т. п.). С этим же связано и третье существенное несовершенство природной красоты: так как она лишь снаружи и вообще прикрывает безобразив материального бытия, а не проникает его внутренне и всецело (во всех частях), то и сохраняется эта красота неизменной и вековечной лишь вообще, в своих общих образцах – родах и видах, каждое же отдельное прекрасное явление и существо в своей собственной жизни остается под властью материального процесса, который сначала прорывает его прекрасную форму, а потом и совсем его разрушает. С точки зрения натурализма эта непрочность всех индивидуальных явлений

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
красоты есть роковой, неизбежный закон. Но чтобы примириться хотя бы только теоретически с этим торжеством всеразрушающего материального процесса, должно признать (как и делают последовательные умы этого направления) красоту и вообще все идеальное в мире за субъективную иллюзию человеческого воображения. Но мы знаем, что красота имеет объективное значение, что она действует вне человеческого мира, что сама природа не равнодушна к красоте. А в таком случае, если ей не удается осуществить совершенную красоту в области физической жизни, то недаром же она путем великих трудов и усилий, страшных катастроф и безобразных, но необходимых для окончательной цели порождений поднялась из этой нашей области в сферу сознательной жизни человеческой. Задача, не исполнимая средствами физической жизни, должна быть исполнима средствами человеческого творчества.

Отсюда тройная задача искусства вообще: 1) прямая объективация тех глубочайших внутренних определений и качеств живой идеи, которые не могут быть выражены природой; 2) одухотворение природной красоты и чрез это 3) увековечение ее индивидуальных явлений. Это есть превращение физической жизни в духовную, т. е. в такую, которая, во-первых, имеет сама в себе свое слово, и Откровение, способна непосредственно выражаться вовне, которая, во-вторых, способна внутренне преображать, одухотворять материю или истинно в ней воплощаться и которая, в-третьих, свободна от власти материального процесса и потому пребывает вечно. Совершенное воплощение этой духовной полноты в нашей действительности, осуществление в ней абсолютной красоты или создание вселенского духовного организма есть высшая задача искусства. Ясно, что исполнение этой задачи должно совпадать с концом всего мирового процесса. Пока история еще продолжается, мы можем иметь только частные и отрывочные предварения (антиципации) совершенной красоты; существующие ныне искусства, в величайших своих произведениях схватывая проблески вечной красоты в нашей текущей действительности и продолжая их далее, предваряют, дают предошущать нездешнюю, грядущую для нас действительность и служат таким образом переходом и связующим звеном между красотою природы и красотою будущей жизни. Понимаемое таким образом искусство перестает быть пустою забавою и становится делом важным и назидательным, но отнюдь не в смысле дидактической проповеди, а лишь в смысле вдохновенного пророчества. Что такое высокое значение искусства не есть произвольное требование, явствует из той неразрывной связи, которая некогда действительно существовала между искусством и религией. Этую первоначальную нераздельность религиозного и художественного дела мы не считаем, конечно, за идеал. Истинная, полная красота требует большего простора для человеческого элемента и предполагает более высокое и сложное развитие социальной жизни, нежели какое могло быть достигнуто в первобытной культуре. На современное отчуждение между религией и искусством мы смотрим как на переход от их древней слитности к будущему свободному синтезу. Ведь и та совершенная жизнь, предварения которой мы находим в истинном художестве, основана будет не на поглощении человеческого элемента божественным, а на их свободном взаимодействии.

Теперь мы можем дать общее определение действительного искусства по существу: всякое ощущительное изображение какого бы то ни было предмета и явления с точки зрения его окончательного состояния, или в свете будущего мира, есть художественное произведение.

III

Эти предварения совершенной красоты в человеческом искусстве бывают трех родов: 1) прямые или магические, когда глубочайшие внутренние состояния, связывающие нас с подлинною сущностью вещей и с нездешним миром (или, если угодно, с бытием *an sich* всего существующего), прорываясь сквозь всякие условности и материальные ограничения, находят себе прямое и полное выражение в прекрасных звуках и словах (музыка и отчасти чистая лирика) [9]; 2) косвенные, через усиление (потенцирование) данной красоты, когда внутренний существенный и вечный смысл жизни, скрытый в частных и случайных явлениях природного и человеческого мира и лишь смутно и недостаточно выраженный в их естественной красоте, открывается и уясняется художником через воспроизведение этих явлений в сосредоточенном, очищенном, идеализированном виде: так архитектура воспроизводит в идеализированном виде известные правильные формы природных тел и выражает победу этих идеальных форм над основным антиидеальным свойством вещества – тяжестью; классическая скульптура, идеализируя красоту человеческой формы и строго соблюдая тонкую, но точную линию, отделяющую телесную красоту от плотской, предваряет в изображении ту духовную телесность, которая некогда откроется

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
нам в живой действительности; пейзажная живопись (и отчасти лирическая
поэзия) воспроизводит в сосредоточенном виде идеальную сторону сложных
явлений внешней природы, очищая их от всех материальных случайностей (даже
от трехмерной протяженности), а живопись (и поэзия) религиозная есть
идеализированное воспроизведение тех явлений из истории человечества, в
которых заранее открывался высший смысл нашей жизни. 3) Третий
отрицательный род эстетического предварения будущей совершенной
действительности есть косвенный; чрез отражение идеала от не
соответствующей ему среды, типически усиленной художником для большей
яркости отражений. Несоответствие между данною действительностью и идеалом
или высшим смыслом жизни может быть различного рода: во-первых, известная
человеческая действительность, по-своему совершенная и прекрасная (именно в
смысле природного человека), не удовлетворяет, однако, тому абсолютному
идеалу, для которого предназначены духовный человек и человечество. Ахилл и
Гектор, Приам и Агамемнон, Кришна, Арджуна и Рама, несомненно, прекрасны,
но чем художественнее изображены они и их дела, тем яснее, в окончательном
результате, что не они настоящие люди и что не их подвиги составляют
настоящее человеческое дело. По всему вероятию, Гомер – а авторы индийских
поэм наверное – не имели в виду этой мысли, и мы должны назвать греческий
эпос бессознательным и смутным отражением абсолютного идеала от прекрасной,
но не адекватной ему человеческой действительности, которая поэтому и
обречена на гибель:

Будет некогда день, и погибнет священная Троя.

С нею погибнет Приам и народ копьеносца Приама.

Новейшие поэты, возвращаясь к темам античного эпоса, сознательно и в виде
всеобщей истины выражают ту идею, которая сама собою конкретно выступает в
их образцах. Таково "Торжество победителей" Шиллера:

Все великое земное

разлетается как дым:

Ныне жребий выпал Трою,

Завтра выпадет другим...

И еще яснее (как подчеркнутое впечатление) в балладе Жуковского:

Отуманилась Ида,

Омрачился Илон,

Спит во мраке стан Атрида,

На равнине битвы – сон

и. т. д.

Более глубокие отношения к неосуществленному идеалу находим мы в трагедии, где сами изображаемые лица проникнуты сознанием внутреннего противоречия между своею действительностью и тем, что должно быть. Комедия, с другой стороны, усиливает и углубляет чувство идеала тем, что, впервые, подчеркивает ту сторону действительности, которая ни в каком смысле не может быть названа прекрасною, а во вторых, представляет лиц, живущих этой действительностью, как вполне довольных ею, чем усугубляется их противоречие с идеалом. Это самодовольство, а никак не внешние свойства сюжета, составляет существенный признак комического и отличие от трагического элемента. Так, например, Этип, убивающий своего отца и женившийся на своей матери, мог бы быть, несмотря на это, лицом высококомическим, если бы он относился к своим страшным приключениям с благодушным самодовольствием, находя, что все случилось нечаянно и он нив чем не виноват, а потому и может спокойно пользоваться доставшимся ему царством [10].

Определяя комедию как отрицательное предварение жизненной красоты чрез типичное изображение антиидеальной действительности в ее самодовольстве, под этим самодовольством разумеем, конечно, никак не довольство того или другого действующего лица тем или другим частным положением, а лишь общее

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
довольство целым данным строем жизни, вполне разделяемое и теми
действующими лицами, которые чем-нибудь недовольны в данную минуту. Так,
мольеровские герои, конечно, весьма недовольны, когда их бьют палками, но
они вполне удовлетворяются тем порядком вещей, при котором битье палками
есть одна из основных форм общежития. Подобным образом хотя Чацкий в "Горе
от ума" и сильно негодует на жизнь московского общества, но из его же речей
явствует, что он был бы совершенно доволен этой жизнью, если бы только
Софья Павловна оказывала ему больше внимания и если бы гости фамусова не
слушали с благоговением французы из Бордо и не болтали бы по-французски:
поэтому, при всем своем недовольстве и даже отчаянии, чацкий оставался бы
лицом вполне комическим, если бы только он вообще был живым лицом[11].
Иногда моральное негодование по поводу какой-нибудь подробности подчеркивает
довольство всею дурною действительностью, отчего комическое впечатление еще
усиливается. Так, в "Свадьбе Кречинского" яркий комизм одного монолога
основан на том, что говорящее лицо, пострадавшее за шулерство, находит
совершенно нормальным, что одни мошенничают в карточной игре, а другие их
за это бьют, но только возмущается чрезмерностью возмездия в данном случае.

Если, помимо указанного различия между эпическим, трагическим и комическим
элементом[12], мы разделим все человеческие типы, подлежащие
художественному воспроизведению, на положительные и отрицательные (как это
обыкновенно делают), то легко видеть, что первые должны преобладать в
изобразительных искусствах (скульптуре и живописи), а вторые – в поэзии.
Ибо скульптура и живопись имеют непосредственно дело с телесными формами,
красота которых уже реализована в действительности, хотя и требует еще
усиления, или идеализации, тогда как главный предмет поэзии есть
нравственная и социальная жизнь человечества, бесконечно далекая от
осуществления своего идеала. Для того чтобы изваять прекрасное тело или
написать прекрасное лицо, очевидно, не нужно того пророческого угадывания и
той прямой творческой силы, которые необходимы для поэтического изображения
совершенного человека[13] или идеального общества. Поэтому, кроме
религиозных эпопей (которые, за немногими исключениями, заслуживают
одобрения только по замыслу, а не по исполнению), самые великие поэты
воздерживались от изображения прямо идеальных или положительных типов.
Таковыми у Шекспира являются или отшельники (в "Ромео и Юлии"), или
волшебники (в "Буре"), а преимущественно женщины, и именно обладающие более
непосредственно-природной чистотой, нежели духовно-человеческим
нравственным характером. А Шекспир, имеющий слабость к добродетельным типам
обоего пола, изображал их сравнительно плохо.

Чтобы видеть, что в самых великих произведениях поэзии смысл духовной жизни
реализуется только чрез отражение от неидеальной человеческой
действительности, возьмем гетеевского фауста. Положительный смысл этой
лирике-эпической трагедии открывается прямо только в последней сцене второй
части и отвлечено резюмируется в заключительном хоре "Alles Vergangliche
ist nur ein Gleichniss etc"[14]. Но где же прямая органическая связь между
этим апофеозом и прочими частями трагедии? Небесные силы и "das ewig
Weibliche"[15] являются сверху, следовательно, все-таки извне, а не
раскрываются изнутри самого содержания. Идея последней сцены присутствует
во всем "фаусте", но она лишь отражается от того частию реального, частию
фантастического действия, из которого состоит сама трагедия. Подобно тому
как луч света играет в алмазе к удовольствию зрителя, но без всякого
изменения материальной основы камня, так и здесь духовный свет абсолютного
идеала, преломленный воображением художника, озаряет темную человеческую
действительность, но нисколько не изменяет ее сущности. Допустим, что поэт
более могучий, чем Гете и Шекспир, представил нам в сложном поэтическом
произведении художественное, т. е. правдивое и конкретное, изображение
истинно духовной жизни – той, которая должна быть, которая совершенно
осуществляет абсолютный идеал, – все-таки и это чудо искусства, доселе не
дававшееся ни одному поэту[16], было бы среди настоящей действительности
только великолепным миражом в безводной пустыне, раздражающим, а не
утоляющим нашу духовную жажду. Совершенное искусство в своей окончательной
задаче должно воплотить абсолютный идеал не в одном воображении, а и в
самом деле, – должно одухотворить, пресуществить нашу действительную жизнь.
Если скажут, что такая задача выходит за пределы искусства, то
спрашивается: кто установил эти пределы? В истории мы их не находим; мы
видим здесь искусство изменяющееся – в процессе развития. Отдельные отрасли
его достигают возможного в своем роде совершенства и более не преуспевают,
зато возникают новые. Все, кажется, согласны в том, что скульптура доведена
до своего окончательного совершенства древними греками; едва ли так же
можно ожидать дальнейшего прогресса в области героического эпоса и чистой

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
трагедии. Я позволю себе идти далее и не нахожу особенно смелым
утверждение, что как указанные формы художества завершены еще древними, так
новоевропейские народы уже исчерпали все прочие известные нам роды
искусства, и если это последнее имеет будущность, то в совершенно новой
сфере действия. Разумеется, это будущее развитие эстетического творчества
зависит от общего хода истории, ибо художество вообще есть область
воплощения идей, а не их первоначального зарождения и роста.

Первый шаг к положительной эстетике

Владимир Сергеевич Соловьев

Первый шаг к положительной эстетике

I

К числу многих литературных реакций последнего времени, – частью вызванных противоположными крайностями, а частью ничем положительным не вызванных, – присоединилась и реакция в пользу "чистого" искусства, или "искусства для искусства". Она несомненно принадлежит к первому разряду – к разряду реакций _извинительных_; противоположная крайность, которой она вызвана, у всех в памяти {1}. Но неужели это такая неотвратимая для нас судьба – одну неправду уравновешивать другую и подчинить наше умственное развитие дурно и "жестокосердно" понятному закону возмездия: око за око и зуб за зуб? Если, как обыкновенно говорят, одно заблуждение _естественно_ вызывает другое, противоположное, то подчиняться такому естественному процессу заблуждений не совсем естественно для человека, как существа разумного, – для него гораздо естественнее всякому заблуждению противопоставить простую и чистую правду; это к тому же и плодотворнее.

Когда, например, писатели, объявившие Пушкина "пошляком", в подтверждение этой мысли спрашивали: "Какую же пользу приносila и приносит поэзия Пушкина?" – а им на это с негодованием возражали: "Пушкин – жрец чистого искусства, прекрасной формы; поэзия не должна быть полезна, поэзия выше пользы!" – то такие слова не отвечают ни противнику, ни правде, и в результате оставляют только взаимное непонимание и презрение. А между тем настоящий, справедливый ответ так прост и близок: "Нет, поэзия Пушкина, взятая в _целом_ (ибо нужно мерить "доброю мерою"), приносila и приносит большую пользу, потому что совершенная красота ее формы усиливает действие того духа, который в ней воплощается, а дух этот – живой,

59

благой и возвышенный, как он сам свидетельствует в известных стихах:

И долго буду тем любезен я народу,

Что чувства добрые я лирой пробуждал,

Что в сей жестокий век я прославлял свободу

И милость к падшим призывал...{1}"

Такой справедливый ответ был бы уместен и убедителен даже в том случае, если бы противник в своем увлечении под пользой разумел только пользу материальную и требовал бы от поэзии "печных горшков"; ибо в таком случае нетрудно было бы растолковать, что хотя добрые чувства сами по себе и недостаточны для снабжения всех людей необходимою домашнею утварью, однако _без_ таких чувств не могло бы быть даже речи о подобном полезном предприятии за отсутствием внутренних к нему побуждений, – тогда возможна была бы только непрерывная война за горшки, а никак не справедливое их распределение на пользу общую.

Если бы сторонники "искусства для искусства" разумели под этим только, что художественное творчество есть особая деятельность человеческого духа, удовлетворяющая особенной потребности и имеющая собственную область, то они, конечно, были бы правы, но тогда им нечего бы было и поднимать реакцию во имя такой истины, против которой никто не станет серьезно спорить. Но они идут гораздо дальше; они не ограничиваются справедливым утверждением специфической особенности искусства или самостоятельности тех _средств_, какими оно действует, а отрицают всякую существенную связь его с другими

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
человеческими деятельностями и необходимое подчинение его общим жизненным
целям человечества, считая его чем-то в себе замкнутым и безусловно
самодовлеющим; вместо законной автономии для художественной области они
проповедуют эстетический сепаратизм. Но хотя бы даже искусство было точно
так же необходимо для всего человечества, как дыхание для отдельного
человека, то ведь и дыхание существенно зависит от кровообращения, от
деятельности нервов и мускулов, и оно подчинено жизни целого; и самые
прекрасные легкие не оживят его, когда поражены другие существенные органы.
жизнь целого не исключает, а, напротив, требует и предполагает
относительную самостоятельность частей и их функций, – но безусловно
самодовлеюще никакая частная функция в своей отдельности не бывает и быть
не может.

Бесполезно для сторонников эстетического сепаратизма и следующее тонкое
различие, делаемое некоторыми. Допустим, говорят они, что в общей жизни
искусство связано

60

с другими деятельностями и все они вместе подчинены окончательной цели
исторического развития; но эта связь и эта цель, находясь за пределами
нашего сознания, осуществляются сами собою, помимо нас, – и следовательно,
не могут определять наше отношение к той или другой человеческой
деятельности; отсюда заключение: пускай художник будет только художником,
думает только об эстетически прекрасном, о красоте формы, пусть для него,
кроме этой формы, не существует ничего важного на свете.

Подобное рассуждение, имеющее в виду превознести искусство, на самом деле
глубоко его унижает, – оно делает его похожим на ту работу фабричного,
который всю жизнь должен выделять только известные колесики часового
механизма, а до целого механизма ему нет никакого дела. Конечно, служение
псевдохудожественной форме гораздо приятнее фабричной работы, но для
разумного сознания одной приятности мало.

И на чем же основывается это убеждение в роковой бессознательности
исторического процесса, в безусловной непознаваемости его цели? Если
требовать определенного и адекватного представления об окончательном
состоянии человечества, представления конкретного и реального, то, конечно,
оно никому не доступно, – и не столько по ограниченности ума человеческого,
сколько потому, что самое понятие абсолютно окончательного состояния, как
заключения временного процесса, – содержит в себе логические трудности,
едва ли устранимые. Но ведь такое невозможное представление о немыслимом
предмете ни к чему и не нужно. Для сознательного участия в историческом
процессе совершенно достаточно общего понятия о его направлении, достаточно
иметь идеальное представление о той, говоря математически, пределной
величине, к которой несомненно и непрерывно приближаются переменные
величины человеческого прогресса, хотя по природе вещей никогда не могут
совпасть с нею. А об этом идеальном пределе, к которому реально двигается
история, всякий, не исключая и эстетического сепаратиста, может получить
совершенно ясное понятие, если только он обратится за указаниями не к
предвзятым мнениям и дурным инстинктам, а к тем выводам из исторических
фактов, за которые ручается разум и свидетельствует совесть.

Несмотря на все колебания и зигзаги прогресса, несмотря на нынешнее
обострение милитаризма, национализма, антисемитизма, динанизма и проч., и
проч., все-таки остается несомненным, что равнодействующая истории идет
от людо

61

едства к человеколюбию, от бесправия к справедливости и от враждебного
разобщения частных групп к всеобщей солидарности. Доказывать это –
значило бы излагать сравнительный курс всеобщей истории. Но для
добросовестных пессимистов, смущаемых ретроградными явлениями настоящей
эпохи, достаточно будет напомнить, что самые эти явления ясно показывают
бесспорную силу общего исторического движения {3}.

Вот два примера из совершенно различных областей, но приводящие к одной и
той же морали. Явился в Германии талантливый писатель {4} (к сожалению,
оказавшийся душевнобольным), который стал проповедовать, что сострадание
есть чувство низкое, недостойное уважающего себя человека; что

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
нравственность годится только для рабских натур; что человечества нет, а есть господа и рабы, полубоги и полускоты, что первым все позволено, а вторые обязаны служить орудием для первых и т. п. И что же? Эти идеи, в которые некогда верили и которыми жили подданные египетских фараонов и царей ассирийских, - идеи, за которые еще и теперь из последних сил бятся Беганзин в Дагомее и Лобэнгула в земле Матэбельской {5}, - они были встречены в нашей Европе как что-то необыкновенное оригинальное и свежее и в этом качестве повсюду имели *grand succès de surprise**. Не доказывает ли это, что мы успели не только пережить, а даже забыть то, чем жили наши предки, так что их миросозерцание получило для нас прелест новизны? А что подобное никогда и нигде не предусмотренное воскрешение мертвых идей вовсе не страшно для живых, - это видно уже из одного фактического соображения: кроме двух классов людей, упоминаемых Ницше, - гордых господ и смиренных рабов, - повсюду развился еще третий - рабов несмиренных, т. е. переставших быть рабами, - и, благодаря распространению книгопечатания и множеству других неизбежных и неотвратимых зол, этот третий класс (который не ограничивается одним *tiers-état***) так разросся, что уже почти поглотил два другие. Вернуться добровольно к смирению и рабской покорности эти люди не имеют никакого намерения, а принудить их некому и нечем, - по крайней мере, до пришествия антихриста и пророка его с ложными чудесами и знамениями; да и этой последней замаскированной реакции дагомейских идеалов хватит только ненадолго.

Второй пример того, как реакционные явления свиде

* Неожиданный большой успех (фр.). - Ред.

** Третье сословие (фр.). - Ред.

62

тельствуют об истинном прогрессе, - это характер нынешнего милитаризма: при таких огромных вооружениях и при таком чрезвычайном обострении национального соперничества и вражды - такая небывалая нерешительность начать войну! Всякий невольно чувствует и понимает, что при нынешней всесторонней связности между различными частями человечества невозможно будет локализовать вооруженного столкновения и что небывалая громадность сил по численности войск и смертоносности вооружений представит войну во всем ее, еще никогда прежде не виданном, ужасе и сделает нравственно и материально невозможным ее повторение. Значит, одно из двух: или, несмотря на весь милитаризм, война все-таки не начнется, или же если начнется, то будет последнюю. Милитаризм съест войну. Вооруженные политические усобицы между нациями неизбежно прекратятся, как прекратились постоянные усобицы их между отдельными внутри стран областями и городами.

Местная история показывает, как здесь или там тяжелыми, запутанными и нередко кривыми путями собиралась земля вокруг народных вождей, и как мало-помалу росло и развивалось национальное сознание. Но и всеобщая история также показывает нам, как еще более трудными и сложными путями собирается вся земля, целое человечество вокруг невидимого, но могучего центра христианской культуры и как, несмотря ни на какие препятствия, все растет и крепнет сознание всемирного единства и солидарности. Эту аналогию между национальным и всемирным "собиранием земли" можно было бы провести еще дальше, но я ограничиваюсь только очевидными и бесспорными чертами.

Итак, у истории (а следовательно, и у всего мирового процесса) есть цель, которую мы несомненно знаем, - цель всеобъемлющая и вместе с тем достаточно определенная для того, чтобы мы могли сознательно участвовать в ее достижении; ибо относительно всякой идеи, всякого чувства и всякого дела человеческого всегда можно по разуму и совести решить, согласно ли оно с идеалом всеобщей солидарности или противоречит ему, направлено ли оно к осуществлению истинного всеединства* или противоречит ему. А если так, то где же право для какой-нибудь человеческой

* Я называю истинным, или положительным, всеединством такое, в котором единое существует не за счет всех или в ущерб им, а в пользу всех. Ложное, отрицательное единство подавляет или поглощает входящие в него элементы и

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
само оказывается, таким образом, пустотою; истинное единство сохраняет и усиливает свои элементы, осуществляясь в них как полнота бытия.

63

деятельности отделяться от общего движения, замыкаться в себе, объявлять себя своею собственную и единственную целью? И в частности, где права эстетического сепаратизма? Нет: искусство не для искусства, а для осуществления той полноты жизни, которая необходимо включает в себя и особый элемент искусства – красоту, но включает не как что-нибудь отдельное и самодовлеющее, а в существенной и внутренней связи со всем остальным содержанием жизни.

Отвергнуть фантастическое отчуждение красоты и искусства от общего движения мировой жизни, признать, что художественная деятельность не имеет в себе самой какого-то особого высшего предмета, а лишь по-своему, своими средствами служит общей жизненной цели человечества, – вот первый шаг к истинной положительной эстетике. Этот шаг в русской литературе сделан около сорока лет тому назад автором эстетического трактата, который (вместе с другими, менее важными, но также не лишенными интереса этюдами того же писателя) весьма кстати перепечатан был именно теперь – ввиду возрождения у нас эстетического сепаратизма. Желая указать положительное значение и заслугу этого старого, но не устаревшего трактата, я вовсе не закрываю глаза ни на многие его частные недостатки, ни на общую неполноту представляемого им воззрения. В свое время многие были уверены, что автор "Эстетических отношений искусства к действительности" сказал последнее слово в этой области {6}. Я так далек от подобной мысли, что утверждаю как раз обратное: он сказал вовсе не последнее, а только первое слово истинной эстетики. Но я считаю несправедливым от сделавшего нечто требовать, чтобы он сделал все, и думаю, что неизбежная недостаточность первого шага сама собою устранится, когда будут сделаны дальнейшие шаги.

II

Если наш автор подчиняет искусство действительности, то, конечно, не в том смысле, в каком иные современные ему писатели объявляли, что "сапоги важнее Шекспира". Он утверждает только, что красота действительной жизни выше красоты созданий художественной фантазии*. Вместе с тем он отстаивает реальность красоты против гегельянской эстетики, для которой прекрасное "является только призраком", проистекающим от непроницательности взгляда, не просвещенного философским мышлением, перед которым

* "Эстетика и поэзия" ("Современник", 1854–1861), издание М. Н. Чернышевского. СПб., 1893, стр. 81.

64

исчезает кажущаяся полнота проявления идеи в отдельном предмете (т. е. красота), так что "чем выше развито мышление, тем более исчезает перед ним прекрасное, и, наконец, для вполне развитого мышления есть только истинное, а прекрасного нет"**.

В противоположность такому взгляду наш автор признает красоту существенным свойством действительных предметов и настаивает на ее фактической реальности – не для человека только, но и в природе, и для природы. "Понимая прекрасное как полноту жизни, мы должны будем признать, что стремление к жизни, проникающее всю природу, есть вместе и стремление к произведению прекрасного. Если мы должны вообще видеть в природе не цели, а только результаты, и потому не можем назвать красоту целью природы, то не можем не назвать ее существенным результатом, к произведению которого направлены силы природы. Непреднамеренность, бессознательность этого направления нисколько не мешает его реальности, как бессознательность геометрического стремления в пчеле, бессознательность к симметрии в растительной силе нисколько не мешает правильности шестиугольного строения ячеек сота, симметрии двух половин листа"***.

Значительную часть своего трактата автор посвятил подробному доказательству той мысли, "что произведение искусства может иметь преимущество перед действительностью разве в двух-трех ничтожных отношениях и по необходимости

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org остается далеко ниже ее в существенных своих качествах***. В этой обширной аргументации (стр. 38-81) много наивного (не нужно забывать, что это - юношеская диссертация), иные спорные вещи голословно утверждаются, а другие, бесспорные, доказываются с педантичной полнотой; но все эти недостатки и излишества не должны закрывать от нас того, что доказываемая мысль _верна_, - до такой степени верна, что читатель, недовольный пространной прозой автора, может найти краткое, но точное выражение того же самого воззрения на противоположном полюсе нашей литературы в следующем стихотворении фета:

Кому венец: богине ль красоты,
Иль в зеркале ее изображенью?

* Там же, стр. 2-3. В этих словах гегельянская точка зрения более "выводится на свежую воду", нежели просто излагается; но сущность дела передана совершенно верно.

** Там же, стр. 42-43.

*** Там же, стр. 80.

65

Поэт смущен, когда дивишься ты
Богатому его воображенью.
Не я, мой друг, а Божий мир богат:
В пылинке он лелеет _жизнь_ и множит,
И что один твой выражает взгляд,
Того поэт пересказать не может {7}.

Но если так, то в чем же значенье и задача искусства? Наш автор подходит к этому вопросу с настоящей стороны. Опровергнув то мнение, будто художество создает совершенную красоту, какой нет в действительности, он замечает: "В произведениях искусства нет совершенства; кто недоволен действительной красотой, тот еще меньше может удовлетвориться красотой, создаваемой искусством. Итак, невозможно согласиться с обыкновенным объяснением значения искусства; но в этом объяснении есть намеки, которые могут быть названы справедливыми, если будут истолкованы надлежащим образом. Человек не удовлетворяется прекрасным в действительности, ему мало этого прекрасного - вот в чем сущность и правдивость обыкновенного объяснения", которая, будучи ложно понимаема сама, нуждается в объяснении".*

Собственное объяснение автора неудовлетворительно, и я не буду на нем останавливаться. Я не стану также защищать все те 17 тезисов, которыми заканчивается его диссертация. Главное ее содержание сводится к двух положениям: 1) существующее искусство есть лишь слабый суррогат действительности, и 2) красота в природе имеет объективную реальность, - и эти тезисы _останутся_. Их утверждение в трактате, стесненное пределами особого философского кругозора автора (он был в то время крайним приверженцем Фейербаха), не разрешает, а только ставит настоящую задачу; но верная постановка есть первый шаг к разрешению. Только на основании этих истин (объективность красоты и недостаточность искусства), а никак не через возвращение к артистическому дилетантизму, возможна будет дальнейшая плодотворная работа в области эстетики, которая должна связать художественное творчество с высшими целями человеческой жизни.

* Там же, стр. 89.

66

Впервые напечатана в "Вестнике Европы", 1894, № 1, с. 294-302.

Основное содержание работы Соловьев определил в письме известному публицисту К. К. Арсеньеву: "...защищаю известный Вам, вероятно, трактат об отношениях искусства к действительности - это дает некоторый интерес статье" (Письма, 2, 89). Редактору "Вестника Европы" Стасюлевичу Соловьев сообщил об обстоятельствах, вызвавших появление статьи: "Ее очень удобно связать с недавними эстетическими толками... к тому же в ней есть нечто специально приятное для нашего приятеля А. Н. Пыпина, именно некоторое заступничество за Чернышевского против Бородыкина, который недавно бородыкин покойного в нашем московском философ

388

ском журнале" (Письма, 1, 114). В 1893 г. был издан сборник статей Н. Г. Чернышевского, и имя, долго находившееся под запретом, вновь появилось на страницах русской печати. Редакцией "Вестника Европы", куда входил двоюродный брат Чернышевского Пыпин, статья Соловьева понималась как признание заслуг публициста-шестидесятника в создании "истинной эстетики" и как выступление против новейших последователей теории "искусства для искусства". При таком подходе, усвоенном и русскими читателями, эстетические воззрения самого Соловьева отходили на второй план, стущевывалось их принципиальное отличие от взглядов Чернышевского.

{1} Под "реакцией в пользу "чистого" искусства" Соловьев разумеет выступления П. Д. Бородыкина (Бородыкин П. Д. "Красота, жизнь и творчество // Вопросы философии и психологии. 1893. № 1, 2) и С. М. Волконского (Волконский С. М. Искусство и нравственность // Вестник Европы, 1893. № 4), которые послужили непосредственным поводом к его работе над статьей. "Противоположная крайность" - писаревское "разрушение эстетики", находившее многочисленных последователей в демократической журналистике 1860-1880-х гг.

{2} Неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина "Я памятник себе воздвиг нерукотворный..." (1836).

{3} Здесь Соловьев разделяет теорию необратимости исторического прогресса, которую в иных случаях он резко и остроумно критиковал.

{4} Речь идет о Фридрихе Ницше.

{5} Неожиданно высокомерное отношение к африканским владельцам, которые вели упорную борьбу с французскими (Беганзин) и английскими (Лобенгула) колонизаторами, связано у Вл. Соловьева с глубоко укоренившимся европоцентризмом.

{6} Первое издание магистерской диссертации Н. Г. Чернышевского вышло в 1855 г.

{7} А. А. Фет, "Кому венец: богине ль красоты..." (1865). Курсив Вл. Соловьева.

ЧТО ЗНАЧИТ СЛОВО «живописность»?

Как совершенно справедливо замечает кн. С. М. Волконский,
«наша эстетическая терминология довольно расплывчата
и нуждается в кристаллизации более, чем всякая
другая; способствовать установлению правильного значения
слов лежит на обязанности всякого пишущего». Этим
объясняется «ответ» кн. Волконского, а также и следующие
мои строки.

Речь шла о том, был ли живописен действительный исторический образ Иоанна Грозного и наиболее характерные явления его царствования – московские казни и новгородские избиения. Кн. Волконский утверждает, что все это было живописно, хотя соглашается, что во всем этом не было красоты. Признавая живописность одним из видов красоты, я не допускаю, чтобы безобразное или лишенное красоты могло быть живописным, хотя оно может служить материалом и поводом для живописных и прекрасных художественных изображений, столь же мало похожих на свой исторический материал, как прекрасные цветы и плоды не похожи на ту навозную землю, из которой они произрастают.

Если бы я сколько-нибудь колебался в своем мнении, что Иоанн Грозный и действия его живописны только в своем художественном изображении, а вовсе не были такими в своей исторической действительности, то князь С. М. Волконский своим ответом укрепил бы меня в этой мысли.

В самом деле, его решительное заявление о живописности упомянутых исторических сюжетов сопровождается такими объяснениями, которые придают ему обратный смысл и, следовательно, прямо подтверждают мой взгляд. На вопрос, были ли живописны московские казни, кн. Волконский отвечает: «да, были, так же как и светочи Нерона». – Была ли живописна десятитысячная масса утопленников? да, была, так же как масса страждущих преступников, рисовавшихся воображению Данта, как флорентийская чу

в смоле мученики живописны у Семирадского, чума у
Боккачио, инквизиция у Виктора Гюго и, наконец, – прибавляю
и мой пример, почему-то обойденный кн. Волконским,
– как развивающаяся проказа живописна у Флобера.

Но каким же образом из бесспорной живописности
всех этих предметов в воображении и изображении художников
можно заключать, что они живописны в действительности,
и даже только в действительности, в изображении
же не живописны, а прекрасны. «Картина, – утверждает
кн. Волконский, – не может быть живописна: картина
может быть прекрасна, но живописен тот предмет, с которого
она писана». И за этим решительным заявлением
следует указание на живописность «Светочей Нерона», то
есть, как ясно из контекста, картины Семирадского. Затем,
после этого и других примеров, подтверждающих мой, а не
его взгляд, автор заключает: «Все это было живописно и
только в силу живописности своей проникло в искусство и
заслужилоувековечения». Таково мнение нашего автора,
но где его доказательства?

Где логический мост между несомненным свойством
живописности известных предметов в художественном
воображении и изображении и тем же предполагаемым
свойством в их действительности? Отчего талантливый и
искусный писатель не пробует прямо доказывать своего
тезиса, то есть доказывать, что ад, чума, различные римские,
испанские и московские ужасы живописны действительно,
как они существуют или существовали независимо
от Семирадского, Данта, Боккачио, Виктора Гюго и т. д.
А что эти предметы живописны у этих художников – никто
не сомневался, и я с своей стороны привел прямо самый
крайний пример – заживо разлагающегося прокаженного,
которого знатоки признают живописным в изображении
Флобера. Позволю даже по этому поводу сделать легкий упрек
князю С. М. Волконскому: если уже он так внимательно

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
отнесся к моей маленькой рецензии, что даже нашел
нужным отвечать на нее, то в интересах ясности ему следовало
бы остановиться именно на крайнем, решающем примере
и прямо ответить: считает ли он разлагающегося про

* Все курсивы в этой статье принадлежат мне.

559

кажденного живописным в действительности или только в
изображении художника?

Свое мнение о действительной, а не воображаемой живописности
разных отвратительных предметов, скорее опровергаемое,
чем подтверждаемое его собственными историко-литературными указаниями, кн.
С. М. Волконский

связывает, как мы видели, с более общим тезисом, будто
живописными могут быть только действительные предметы,
а сами художественные изображения не могут называться
живописными, а только прекрасными. Единственное
основание для этого терминологического мнения мы
нашли в сделанной автором выписке из трех словарей. Основание
весма непрочное. Воспроизведенное в словарях
фактическое словоупотребление, житейское и литературное,
может быть и верным, и ошибочным, и правильным,
и неправильным. Приводимое кн. Волконским из Даля
определение: «живописный – достойный быть списанным,
картинный» – есть только образчик плохого определения.
«Картиенный» есть только синоним «живописного
», а «достойный быть списанным» или слишком широко
для определяемого, так как в каком-нибудь отношении все
может быть достойно списывания, или есть только тавтология,
если под достоинством здесь разумеется специальноэстетическое
достоинство по отношению именно к живописи.

Когда дело идет о правильной и точной терминологии,
то нужно обращаться к самым основаниям слова, именно
Страница 58

к его этимологическому происхождению и к логической связи соответствующих понятий. Живописный, живописность несомненно производные слова от живопись, как музыкальный, музыкальность – от музыка. И как эти последние слова означают известную сторону красоты, именно красоту, выражающуюся в звуках, так первые обозначают другую сторону той же красоты, именно проявляемую в зрительных очертаниях и сочетании цветов и красок. Итак, живописность есть частное эстетическое понятие, подчиненное общему понятию красоты. Поэтому хоть не все прекрасное живописно, но все живописное тем самым и прекрасно, как не все животные суть млекопитающие, но всякое млекопитающее тем самым есть животное. Предметы прекрасные в зрительном отношении, то есть живописные, не теряют этого своего качества в своем изображении, но и предметы ни в каком отношении не прекрасные и не живописные, как ад, чума, кровавые казни, могут в воображении художника вызвать такие зрительные сочетания, воспроизведение которых на полотне или в мраморе будет

560

прекрасно в смысле живописности. Наконец, художественные произведения и не относящиеся к области зрения могут быть в переносном смысле живописны, или картины, поскольку вызывают в воображении прекрасные образы видимых предметов или прекрасные очертания таких образов. Чтобы доказать правильность своей терминологии, кн. Волконский должен был сначала опровергнуть эти элементарные аксиомы, начиная с того, что слово «живописность» происходит от слова «живопись», означающего некоторое изобразительное искусство. Впрочем, если бы даже правильность терминологии кн. Волконского и была доказана, то это было бы совершенно бесполезно для его положения о реальной живописности разных ужасных и

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
отвратительных явлений. Если бы живописность и была
свойством лишь действительных предметов, а не их изображений,
то отсюда не следовало бы, конечно, что всякий
действительный предмет живописен, а поэтому утверждаемая
нашим автором живописность действительного ада,
действительной чумы и действительного Торквемады всетаки
осталась бы висящим на воздухе парадоксом.

За этим несколько искусственным терминологическим
разногласием относительно живописности скрывается,
быть может, более серьезное разномыслие насчет отношения
красоты к действительности, или того смысла, в каком
можно и должно признавать реальную объективность прекрасного.
Но уважаемый мой противник понимает, конечно,
что нельзя разбирать этот принципиальный вопрос в
беглой заметке, так как правильное его решение предполагает
систематическую постановку по крайней мере двух
философских наук: метафизики и эстетики. Я надеюсь, что
он великодушно разрешит мне отложить дальнейшее рассмотрение
дела года на три или четыре. А пока позволю
себе кончить настоящую заметку заключительными словами
той моей рецензии на сочинение кн. С. М. Волконского,
которая подала повод к этому маленькому спору:

«Об этом, впрочем, стоило говорить только ввиду общего
высокого достоинства книги, заслуживающей полного внимания
и успеха. Мы надеемся очень скоро увидеть новое,
дополненное издание этих прекрасных очерков».

Три речи в память Достоевского

В.С.СОЛОВЬЕВ

ТРИ РЕЧИ В ПАМЯТЬ ДОСТОЕВСКОГО

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие Первая речь Вторая речь Третья речь Заметка в защиту
Достоевского от обвинения в "новом" христианстве Примечания

[290]

ПРЕДИСЛОВИЕ

В трех речах о Достоевском я не занимаюсь ни его личной жизнью, ни
литературной критикой его произведений. Я имею в виду только один вопрос:

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
чему служил Достоевский, какая идея вдохновляла всю его деятельность?
Остановиться на этом вопросе тем естественнее, что ни подробности частной
жизни, ни художественные достоинства или недостатки его произведений не
объясняют сами по себе того особенного влияния, которое он имел в последние
годы своей жизни, и того чрезвычайного впечатления, которое произвела его
смерть. С другой стороны, и те ожесточенные нападки, которым все еще
подвергается память Достоевского, направлены никак не на эстетическую
сторону его произведений, ибо все одинаково признают в нем первостепенный
художественный талант, возвышающийся иногда до гениальности, хотя и не
свободный от крупных недостатков. Но та идея, которой служил этот талант,
для одних является истинной и благотворной, а другим представляется
фальшивой и вредной. Окончательная оценка всей деятельности Достоевского
зависит от того, как мы смотрим на одушевлявшую его идею, на то, во что он
верил и что любил. "А любил он прежде всего живую человеческую душу во всем
и везде, и верил он, что мы все {род Божий}, верил в бесконечную силу
человеческой души, торжествующую над всяkim внешним насилием и над всяkim
внутренним падением. Приняв в свою душу всю жизненную злобу, всю тяготу и
черноту жизни и преодолев все это бесконечной силой любви, Достоевский во
всех своих творениях возвещал эту победу. Изведав {божественную} силу в
душе, пробивающуюся через всякую человеческую немощь, Достоевский пришел к
познанию Бога и Богочеловека. {Действительность} Бога и Христа открылась
ему во {внутренней} силе любви и всепрощения, и эту же всепрощающую [291]
благодатную силу проповедовал он как основание и для внешнего осуществления
на земле того царства правды, которого он жаждал и к которому стремился всю
свою жизнь"*. Мне кажется, что па Достоевского нельзя смотреть как на
обыкновенного романиста, как на талантливого и умного литератора. В нем
было нечто большее, и это большее составляет его отличительную особенность
и объясняет его действие на других. В подтверждение этого можно было бы
привести очень много свидетельств. Ограничусь одним, достойным особого
внимания. Вот что говорит гр. л. н. Толстой в письме к И. Н. Страхову: "Как
бы я желал уметь сказать все, что я чувствую о Достоевском. Вы, описывая
свое чувство, выразили часть моего. Я никогда не видал этого человека и
никогда не имел прямых отношений с ним; и вдруг, когда он умер, я понял,
что он был самый близкий, дорогой, нужный мне человек. И никогда мне в
голову не приходило мериться с ним, никогда. Все, что он делал (хорошее,
настоящее, что он делал), было такое, что чем больше он делает, тем мне
лучше. Искусство вызывает во мне зависть, ум - тоже, но дело сердца -
только радость. Я его так и считал своим другом и иначе не думал, как то,
что мы увидимся и что теперь только не пришло, но что это мое. И вдруг
читаю - умер. Опора какая-то отскочила от меня. Я растерялся, а потом стало
ясно, как он мне был дорог, и я плакал и теперь плачу. На днях, до его
смерти, я прочел "Униженные и оскорбленные" и умилялся" (2). А в другом,
прежнем письме: "На днях я читал "Мертвый дом". Я много забыл, перечитал и
не знаю лучше книги изо всей новой литературы, включая Пушкина. Не тон, а
точка зрения удивительна: искренняя, естественная и христианская. Хорошая,
назидательная книга. Я наслаждался вчера целый день, как давно не
наслаждался. Если увидите Достоевского, скажите ему, что я его люблю"**. Те
сердечные качества и та точка зрения, на которые указывает гр. Толстой,
тесно связаны с той господствующей идеей, которую Достоевский носил в себе
целую жизнь, хотя лишь под конец стал вполне овладевать ею. Уяснению этой
идеи посвящены три мои речи. - -----* Из
слов, сказанных на могиле Достоевского 1 февраля 1881 г. (1) ** В I томе
Собр[ания] соч[инений] Достоевского, приложения, стр. 69 и 67 (3).

[292]

ПЕРВАЯ РЕЧЬ

В первобытные времена человечества поэты были пророками и жрецами,
религиозная идея владела поэзией, искусство служило богам. Потом, с
усложнением жизни, когда явилась цивилизация, основанная на разделении
труда, искусство, как и другие человеческие делания, обособилось и
отделилось от религии. Если прежде художники были служителями богов, то
теперь само искусство стало божеством и кумиром. Явились жрецы чистого
искусства, для которых совершенство художественной формы стало главным
делом помимо всякого религиозного содержания. Двукратная весна этого
свободного искусства (в классическом мире и в новой Европе) была роскошна,
но не вековечна. На наших глазах кончился расцвет новоевропейского
художества. Цветы опадают, а плоды еще только завязываются. Было бы
несправедливо требовать от завязи качеств спелого плода: можно только
предугадывать эти будущие качества. Именно таким образом следует относиться

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
к теперешнему состоянию искусства и литературы. Теперешние художники не
могут и не хотят служить чистой красоте, производить совершенные формы; они
ищут содержания. Но, чуждые прежнему, религиозному содержанию искусства,
они обращаются всецело к текущей действительности и ставят себя к ней в
отношение рабское {вдвойне:} они, во-первых, стараются рабски списывать
явления этой действительности, а во-вторых, стремятся столь же рабски
служить злобе дня, удовлетворять общественному настроению данной минуты,
проповедовать ходячую мораль, думая через то сделать искусство полезным.
Конечно, ни та, ни другая из этих целей не достигается. В безуспешной
погоне за мнимо реальными* подробностями только теряется настоящая
реальность целого, а стремление соединить с искусством внешнюю
поучительность и полезность к ущербу его внутренней красоты превращает
искусство в самую бесполезную и ненужную вещь в мире, ибо ясно, что плохое
художественное произведение при наилучшей тенденции ничему научить и
никакой пользы принести не может. Произнести безусловное осуждение
современному состоянию искусства и его господствующему направлению очень
легко. Общий упадок творчества и частные посяга-

-----* Всякая подробность, взятая
отдельно, сама по себе не реальна, ибо реально только {все вместе, к} тому
же реалист-художник все-таки смотрит на реальность от себя, понимает ее
по-своему, и, следовательно, это уже не есть объективная реальность. [293]
тельства на идею красоты слишком бросаются в глаза, - и, однако же,
безусловное осуждение всего этого будет несправедливо. В этом грубом и
низменном современном художестве, под этим двойным зраком раба скрываются
залоги божественного величия. Требования современной реальности и прямой
пользы от искусства (4), бессмысленные в своем теперешнем грубом и темном
применении, намекают, однако, на такую возвышенную и глубоко истинную идею
художества, до которой еще не доходили ни представители, ни толкователи
чистого искусства. Не довольствуясь красотой формы, современные художники
хотят более или менее сознательно, чтобы искусство было {реальною силою},
просветляющей и перерождающей весь человеческий мир. Прежнее искусство
{отвлекало} человека от той тьмы и злобы, которые господствуют в мире, оно
уводило его на свои безмятежные высоты и {развлекало} его своими светлыми
образами; теперешнее искусство, напротив, {привлекает} человека к тьме и
злобе житейской с неясным иногда желанием просветить эту тьму, умирить эту
злобу. Но откуда же искусство возьмет эту просвещющую и возрождающую силу?
Если искусство не должно ограничиваться отвлечением человека от злой жизни,
а должно улучшать саму эту злую жизнь, то эта великая цель не может быть
достигнута простым воспроизведением действительности. Изображать еще не
значит преображать, и обличение еще не есть исправление. Чистое искусство
поднимало человека над землею, уводило его на олимпийские высоты; новое
искусство возвращается к земле с любовью и состраданием, но не для того же,
чтобы погрузиться во тьму и зло земной жизни, ибо для этого никакого
искусства не нужно, а с тем, чтобы исцелить и обновить эту жизнь. Для этого
нужно быть причастным и близким земле, нужна любовь и сострадание к ней, но
нужно еще и нечто большее. Для могучего действия на землю, чтобы повернуть
и пересоздать ее, нужно привлечь и приложить к земле {неземные силы}.
Искусство, обособившееся, отделившееся от религии, должно вступить с нею в
новую свободную связь. Художники и поэты опять должны стать жрецами и
пророками, но уже в другом, еще более важном и возвышенном смысле: не
только религиозная идея будет владеть ими, но и они сами будут владеть ею и
сознательно управлять ее земными воплощениями. Искусство будущего, которое
{само} после долгих испытаний вернется к религии, будет совсем не то
первоначальное искусство, которое еще не выделилось из религии. [294] Несмотря
на антирелигиозный (по-видимому) характер современного искусства,
проницательный взгляд сумеет отличить в нем неясные черты будущего
религиозного искусства, именно в двойном стремлении - к полному воплощению с
текущей действительностью и вместе с тем в стремлении {воз действовать} на
реальную жизнь, исправляя и улучшая ее, согласно известным идеальным
требованиям. Правда, сами эти требования еще довольно безуспешны. Не
сознавая религиозного характера своей задачи, реалистическое художество
отказывается от единственной твердой опоры и могучего рычага для своего
нравственного действия в мире. Но весь этот грубый реализм современного
художества есть только та жесткая оболочка, в которой до времени скрывается
крылатая поэзия будущего. Это не личное только чаяние - на это наводят
положительные факты. Уже являются художники, которые, исходя из
господствующего реализма и еще оставаясь в значительной мере на его
низменной почве, вместе с тем доходят до религиозной истины, связывают с
нею задачи своих произведений, из нее почерпают свой общественный идеал, ею
освящают свое общественное служение. Если в современном реалистическом

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
художестве мы видим как бы предсказание нового религиозного искусства, то
это предсказание уже начинает сбываться. Еще нет представителей этого
нового религиозного искусства, но уже являются его предтечи. Таким
предтечей был и Достоевский. По роду своей деятельности принадлежал к
художникам-романистам и уступая некоторым из них в том или другом
отношении, Достоевский имеет перед ними всеми то главное преимущество, что
видит не только вокруг себя, но и далеко впереди себя... Кроме
Достоевского, все наши лучшие романисты берут окружающую их жизнь так, как
они ее застали, как она сложилась и выразилась, - в ее готовых, твердых и
ясных формах. Таковы в особенности романы Гончарова и гр. Льва Толстого.
Оба они воспроизводят русское общество, выработанное веками (помещиков,
чиновников, иногда крестьян), в его бытовых, давно существующих, а частью
отживших или отживающих формах. Романы этих двух писателей решительно
однородны по своему художественному предмету при всей особенности их
талантов. Отличительная особенность Гончарова - это сила художественного
обобщения, благодаря которой он мог создать такой всероссийский тип, как
обломова, равного [295] которому {по широте} мы не находим ни у одного из
русских писателей*. Что же касается до Л. Толстого, то все его произведения
отличаются не столько широтой типов (ни один из его героев не стал
нарицательным именем), сколько мастерством в детальной живописи, ярким
изображением всяческих подробностей в жизни человека и природы, главная же
его сила - в тончайшем воспроизведении {механизма душевных явлений}. Но и
эта живопись внешних подробностей, и этот психологический анализ являются
на неизменном фоне готовой, сложившейся жизни, именно жизни русской
дворянской семьи, оттеняющей еще более неподвижными образами из простого
люда. Солдат Карапаев слишком смирен, чтобы заслонить собою господ, и даже
всемирно-историческая фигура Наполеона не может раздвинуть этого тесного
горизонта: владыка Европы показывается лишь настолько, насколько
соприкасается с жизнью русского барина; а это соприкосновение может
ограничиваться очень немногим, например знаменитым умыванием, в котором
Наполеон графа Толстого достойно соперничает с гоголевским генералом
Бетрищевым (5). - В этом неподвижном мире все ясно и определенно, все
установилось; если есть желание чего-то другого, стремление выйти из этих
рамок, то это стремление обращено не вперед, а назад, к еще более простой и
неизменной жизни, - к жизни природы ("Казаки", "Три смерти"). Совершенно
противоположный характер представляет художественный мир Достоевского.
Здесь все в брожении, ничто не установилось, все еще только становится.
Предмет романа здесь не {быт} общества, а общественное {движение}. Изо всех
наших замечательных романистов один Достоевский взял общественное движение
за главный предмет своего творчества. Обыкновенно с ним сопоставляют в этом
отношении Тургенева, но без достаточного основания. Чтобы характеризовать
общее значение писателя, надо брать его лучшие, а не худшие произведения.
Лучшие же произведения Тургенева, в особенности "Записки охотника" и
"Дворянское гнездо", представляют чудесные картины никак не общественного
движения, а лишь общественного {состояния -} того же старого дворянского
мира, который мы находим у Гончарова и Л. Толстого. Хотя затем Тургенев
постоянно следил за нашим общественным движением и отчасти подчинялся его
влиянию, но смысл -----* В сравнении с
Обломовым Фамусовы и Молчалины, Онегины и Печорины. Маниловы и Собакевичи,
не говоря уже о героях Островского, все имеют лишь {специальное} значение.
[296] этого движения не был им угадан, а роман, специально посвященный
этому предмету ("Новь"), оказался совершенно неудачным*. Достоевский не
подчинился влиянию господствовавших кругом него стремлений, не следовал
покорно за фазисами общественного движения - он предугадывал повороты этого
движения и заранее {судил} их. А судить он мог по праву, ибо имел у себя
мерило суждения в своей вере, которая ставила его выше господствующих
течений, позволяла ему видеть гораздо дальше этих течений и не увлекаться
ими. В силу своей веры Достоевский верно предугадывал высшую, далекую цель
всего движения, ясно видел его уклонения от этой цели, по праву судил и
справедливо осуждал их. Это справедливое осуждение относилось только к
неверным путям и дурным приемам общественного движения, а не к самому
движению, необходимому и желанному; это осуждение относилось к низменному
пониманию общественной правды, к ложному общественному идеалу, а не к
исканию общественной правды, не к стремлению осуществить общественный
идеал. Этот последний и для Достоевского был впереди: он верил не в
прошедшее только, но и в грядущее Царство Божие и понимал необходимость
труда и подвига для его осуществления. Кто знает истинную цель движения,
тот может и должен судить уклонения от нее. А Достоевский тем более имел на
это право, что он сам первоначально испытал те уклонения, сам стоял на той
неверной дороге. Положительный религиозный идеал, так высоко поднявший
Достоевского над господствующими течениями общественной мысли, этот

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
положительный идеал не дался ему сразу, а был выстрадан им в тяжелой и долгой борьбе. Он судил о том, что знал, и суд его был праведен. И чем яснее становилась для него высшая истина, тем решительнее должен был он осуждать ложные пути общественного действия. Общий смысл всей деятельности Достоевского, или значение Достоевского как общественного деятеля, состоит в разрешении этого двойного вопроса: о высшем идеале общества и о настоящем пути к его достижению. Законная причина социального движения заключается в противоречии между нравственными требованиями лич-

-----* Хотя Тургеневу принадлежит слово "нигилизм" в общеупотребительном его значении, но практический смысл нигилистического движения не был им угадан, и позднейшие его проявления, далеко ушедшие от разговоров Базарова, были для автора "Отцов и детей" тяжкой неожиданностью. [297] ности и сложившимся строем общества. Отсюда начал и Достоевский как описатель, толкователь и вместе с тем деятельный участник нового общественного движения. Глубокое чувство общественной неправды, хотя и в самой безобидной форме, высказалось в его первой повести "Бедные люди". Социальный смысл этой повести (к которой примыкает и позднейший роман "Униженные и оскорбленные") сводится к той старой и вечно новой истине, что при существующем порядке вещей {лучшие} (нравственно) люди суть вместе с тем {худшие} для общества, что им суждено быть бедными людьми, униженными и оскорблеными*. Если бы социальная неправда осталась для Достоевского только темой повести или романа, то и он сам остался бы только литератором и не достиг бы своего особого значения в жизни русского общества. Но для Достоевского содержание его повести было вместе с тем жизненною задачей. Он сразу поставил вопрос на нравственную и практическую почву. Увидав и осудив то, что делается на свете, он спросил: что же должно сделать? Прежде всего представилось простое и ясное решение: лучшие люди, видящие на других и на себе чувствующие общественную неправду, должны, соединившись, восстать против нее и пересоздать общество по-своему. Когда первая наивная попытка** исполнить это решение привела Достоевского к эшафоту и на каторгу, он, как и его товарищи, сначала мог видеть в таком исходе своих замыслов только свою неудачу и чужое насилие. Приговор, его постигший, был суров. Но чувство обиды не помешало Достоевскому понять, что он был не прав с своим замыслом социального переворота, который был нужен только ему с товарищами (6). Среди ужасов мертвого дома Достоевский впервые сознательно повстречался с правдой народного чувства и в его свете ясно увидел неправоту своих революционных стремлений. Товарищи Достоевского но острогу были в огромном большинстве из простого народа, и, за немногими яркими исключениями, все это были худшие люди народа. Но и худшие люди простого народа обыкновенно -----* Это та же самая тема, как в "Les Misérables" Виктора Гюго: контраст между внутренним, нравственным достоинством человека и его социальным положением. Достоевский очень высоко ценил этот роман и сам подвергся некоторому, хотя довольно поверхностному, влиянию Виктора Гюго (склонность к антитезам). Более глубокое влияние помимо Пушкина и Гоголя оказали на него Диккенс и Жорж Занд (7). ** Наивная, собственно, со стороны Достоевского, которому пути социального переворота представлялись в весьма неопределенных чертах. [298] сохраняют то, что теряют лучшие люди интеллигенции: веру в Бога и сознание своей греховности. Простые преступники, выделяясь из народной массы своими дурными делами, нисколько не отделяются от нее в своих чувствах и взглядах, в своем религиозном миросозерцании. В мертвом доме Достоевский нашел настоящих "бедных (или, по народному выражению, несчастных) людей" (8). Те прежние, которых он оставил за собою, еще имели убежище от общественной обиды в чувстве собственного достоинства, в своем личном превосходстве. У каторжников {этого} не было, но было нечто большее. Худшие люди мертвого дома возвратили Достоевскому то, что отняли у него лучшие люди интеллигенции. Если там, среди представителей просвещения, остаток религиозного чувства заставлял его бледнеть от богохульств передового литератора, то тут, в мертвом доме, это чувство должно было воскреснуть и обновиться под впечатлением смиренной и благочестивой веры каторжников. Как бы забытые Церковью, придавленные государством, эти люди верили в Церковь и не отвергали государства. И в самую тяжкую минуту за буйной и свирепой толпой каторжников встал в памяти Достоевского величавый и кроткий образ крепостного мужика Марея, с любовью ободряющего испуганного барчонка (9). И он почувствовал и понял, что перед этой высшей Божьей правдой всякая своя самодельная правда есть ложь, а попытка навязать эту ложь другим есть преступление. Вместо злобы неудачного революционера Достоевский вынес из каторги светлый взгляд нравственно возрожденного человека. "Больше веры, больше единства, а если любовь к тому, то все сделано", - писал он. Эта нравственная сила, обновленная соприкосновением с народом, дала Достоевскому право на высокое место впереди нашего

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
общественного движения не как служителю злобы дня, а как истинному
двигателю общественной мысли. Положительный общественный идеал еще не был
вполне ясен уму достоевского по возвращении из Сибири. Но три истины в этом
деле были для него совершенно ясны: он понял прежде всего, что отдельные
лица, хотя бы и лучшие люди, не имеют права насиливать общество во имя
своего личного превосходства; он понял также, что общественная правда не
выдумывается отдельными умами, а коренится во всенародном чувстве, и,
наконец, он понял, что эта правда имеет значение религиозное и необходимо
связана с верой Христовой, с идеалом Христа. [299] В сознании этих истин
Достоевский далеко опередил господствовавшее тогда направление общественной
мысли и благодаря этому мог {предугадать} и указать, куда ведет это
направление. Известно, что роман "Преступление и наказание" написан как раз
перед преступлением Данилова* и Каракозова, а роман "Бесы" - перед
процессом нечаевцев. Смысл первого из этих романов, при всей глубине
подробностей, очень прост и ясен, хотя многими и не был понят. Главное
действующее лицо - представитель того воззрения, по которому всякий сильный
человек сам себе господин и ему все позволено. Во имя своего личного
превосходства, во имя того, что он сила, он считает себя вправе совершить
убийство и действительно его совершает. Но вот вдруг то дело, которое он
считал только нарушением внешнего бессмысленного закона и смелым вызовом
общественному предрассудку, - вдруг оно оказывается для его собственной
совести чем-то гораздо большим, оказывается грехом, нарушением внутренней,
нравственной правды. Нарушение внешнего закона получает законное возмездие
извне в ссылке и каторге, но внутренний грех гордости, отделивший сильного
человека от человечества и приведший его к человекоубийству, - этот
внутренний грех самообоготворения может быть искуплен только внутренним,
нравственным подвигом самоотречения (11). Беспредельная самоуверенность
должна исчезнуть перед верой в то, что больше {себя}, и самодельное
оправдание должно смириться перед высшей правдой Божией, живущей в тех
самых простых и слабых людях, на которых сильный человек смотрел как на
ничтожных насекомых. В "Бесах" та же тема если не углублена, то значительно
расширена и усложнена. Целое общество людей, одержимых мечтой о
насильственном перевороте, чтобы переделать мир по-своему, совершают
зверские преступления и гибнут позорным образом, а исцеленная верой Россия
склоняется перед своим Спасителем. Общественное значение этих романов
велико; в них {предсказанны} важные общественные явления, которые не
замедлили обнаружиться; вместе с тем эти явления осуждены во имя высшей
религиозной истины, и указан лучший исход для общественного движения в
принятии этой самой истины. Осуждая искания самовольной отвлеченной правды,
порождающие только преступления, Достоевский противо-

-----* Данилов - студент Московского
университета, убивший и ограбивший ростовщика, имея при этом какие-то
особые планы (10). [300] поставляет им народный религиозный идеал,
основанный на вере Христовой. Возвращение к этой вере есть общий исход и
для Раскольникова, и для всего одержимого бесами общества. Одна лишь вера
Христа, живущая в народе, содержит в себе тот положительный общественный
идеал, в котором отдельная личность солидарна со всеми. От личности же,
утратившей эту солидарность, прежде всего требуется, чтобы она отказалась
от своего гордого уединения, чтобы нравственным актом самоотвержения она
воссоединилась духовно с целым народом. Но во имя чего же? Во имя ли того
только, что он - народ, что шестьдесят миллионов больше, чем единица или
чем тысяча? Вероятно, есть люди, которые именно так это и понимают. Но
такое слишком уж простое понимание было совершенно чуждо Достоевскому.
Требуя от уединившейся личности возвращения к народу, он прежде всего имел
в виду возвращение к той истинной вере, которая еще хранится в народе. В
том общественном идеале братства или всеобщей солидарности, которому верил
Достоевский, главным было его религиозно-нравственное, а не национальное
значение. Уже в "Бесах" есть резкая насмешка над теми людьми, которые
поклоняются народу только за то, что он народ, и ценят православие как
атрибут русской народности (12). Если мы хотим одним словом обозначить тот
общественный идеал, к которому пришел Достоевский, то это слово будет не
народ, а {Церковь}. Мы верим в Церковь как в мистическое тело Христово; мы
знаем Церковь также как собрание верующих того или другого исповедания. Но
что такое Церковь как общественный идеал? Достоевский не имел никаких
богословских притязаний, а потому и мы не имеем права искать у него
каких-нибудь логических определений Церкви по существу. Но, проповедуя
Церковь как общественный идеал, он выражал вполне ясное и определенное
требование, столь же ясное и определенное (хотя прямо противоположное), как
и то требование, которое заявляется европейским социализмом. (Поэтому в
своем последнем дневнике Достоевский и назвал народную веру в Церковь нашим
русским социализмом (13).) Европейские социалисты требуют насильтвенного

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
низведения всех к одному чисто материальному уровню сытых и самодовольных рабочих, требуют низведения государства и общества на степень простой экономической ассоциации. "Русский социализм", о котором говорил Достоевский, напротив, {возвышает} всех до нравственного уровня Церкви как духовного братства. [301] хотя и с сохранением внешнего неравенства социальных положений, требует одухотворения всею государственного и общественного строя чрез воплощение в нем истины ч жизни Христовой. Церковь как положительный общественный идеал должна была явиться центральной идеей нового романа или нового ряда романов, из которых написан только первый - "Братья Карамазовы"*. Если этот общественный идеал Достоевского прямо противоположен идеалу тех современных деятелей, которые изображены в "бесах", то точно так же противоположны для них и пути достижения. Там путь есть насилие и убийство, здесь путь есть {нравственный подвиг}, и притом двойной подвиг, двойной акт нравственного самоотречения. Прежде всего требуется от личности, чтобы она отреклась от своего произвольного мнения, от своей самодельной правды во имя общей, всенародной веры и правды. Личность должна преклониться перед народной верой, но не потому, что она народная, а потому, что она истинная. А если так, то, значит, и народ во имя этой истины, в которую он верит, должен отречься и отрешиться от всего в нем самом, что не согласуется с религиозною истиной. Обладание истиной не может составлять привилегии народа так же, как оно не может быть привилегией отдельной личности. Истина может быть только {вселенскою}, и от народа требуется подвиг служения этой вселенской истине, хотя бы, и даже {непременно, с} пожертвованием своего национального эгоизма. И народ должен оправдать себя перед вселенской правдой, и народ должен положить душу свою, если хочет спасти ее. Вселенская правда воплощается в Церкви. Окончательный идеал и цель не в народности, которая сама по себе есть только служебная сила, а в Церкви, которая есть высший предмет служения, требующий нравственного подвига не только от личности, но и от целого народа. Итак, Церковь как положительный общественный идеал, как основа и цель всех наших мыслей и дел и всенародный подвиг как прямой путь для осуществления этого идеала - вот последнее слово, до которого дошел Достоевский и которое озарило всю его деятельность пророческим светом. -

-----* Главную мысль, а отчасти и план своего нового произведения Достоевский передавал мне в кратких чертах летом 1878 г. Тогда же (а не в 1879 г. как сказано во ошибке в воспоминаниях Н. Н. Страхова) мы ездили в Оптину Пустынь (14).

[302]

ВТОРАЯ РЕЧЬ (Сказана 1 февраля 1882 года)

Я буду говорить только о самом главнейшем и существенном в деятельности Достоевского. При такой богатой и сложной натуре, какая была у Достоевского, при необыкновенной его впечатительности и отзывчивости на все явления жизни, его духовный мир представлял слишком великое разнообразие чувств, мыслей и порывов, чтобы можно было воссоздать его в краткой речи. Но отзыаясь на {все} с таким душевным жаром, он всегда признавал только {одно} как главное и безусловно необходимое, к чему все остальное должно {приложитьться}. Эта центральная идея, которой служил Достоевский во всей своей деятельности, была христианская идея свободного всечеловеческого единения, всемирного братства во имя Христово. Этую идею проповедовал Достоевский, когда говорил об истинной Церкви, о вселенском православии, в ней же он видел духовную, еще не проявленную сущность Русского народа, всемирно-историческую задачу России, то новое слово, которое Россия должна сказать миру. Хотя уже 18 веков прошло с тех пор, как это слово впервые возвещено Христом, но поистине в наши дни оно является совсем новым словом, и такого проповедника христианской идеи, каким был Достоевский, по справедливости можно назвать "ясновидящим предчувственником" истинного христианства. Христос не был для него только фактом прошедшего, далеким и непостижимым чудом. Если так смотреть на Христа, то легко можно сделать из Него мертвый образ, которому поклоняются в церквях по праздникам, но которому нет места в жизни. Тогда все христианство замыкается в стенах храма и превращается в обряд и молитвословие, а деятельность жизнь остается всецело нехристианской. И такая внешняя Церковь заключает в себе истинную веру, но эта вера здесь так слаба, что ее достает только на праздничные минуты. Это - {храмовое} христианство. И оно должно существовать первое всего, ибо на земле внешнее прежде внутреннего, но его недостаточно. Есть другой вид или степень христианства, где оно уже не довольствуется богослужением, а хочет руководить деятельною жизнью человека, оно выходит из храма и поселяется в

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
жилищах человеческих. Его удел - внутренняя индивидуальная жизнь. Здесь Христос является как высший нравственный идеал, религия сосредоточивается в личной нравственности, и ее дело полагается в спасении отдельной души человеческой. [303] Есть и в таком христианстве истинная вера, но и здесь она еще слаба: ее достает только на {личную} жизнь и {частные} дела человека. Это есть христианство {домашнее}. Оно должно быть, но и его недостаточно. Ибо оно оставляет весь общечеловеческий мир, все дела, общественные, гражданские и международные, - все это оно оставляет и передает во власть злых антихристианских начал. Но если христианство есть высшая, безусловная истина, то так не должно быть. Истинное христианство не может быть только домашним, как и только храмовым, - оно должно быть {вселенским} (15), оно должно распространяться на все человечество и на все дела человеческие. И если Христос есть действительно воплощение истины, то Он не должен оставаться только храмовым изображением или же только личным идеалом: мы должны признать Его как всемирно-историческое начало, как живое основание и краеугольный камень всечеловеческой Церкви. Все дела и отношения общечеловеческие должны окончательно управляться тем же самым нравственным началом, которому мы поклоняемся в храмах и которое признаем в своей домашней жизни, т.е. началом любви, свободного согласия и братского единения. Такое вселенское христианство исповедовал и возвещал Достоевский. Храмовое и домашнее христианство существует в действительности - оно есть {факт}. Христианства вселенского еще нет в действительности, оно есть только {задача}, и какая огромная, превышающая, по-видимому, силы человеческие задача. В действительности все общечеловеческие дела политика, наука, искусство, общественное хозяйство, находясь вне христианского начала, вместо того чтобы объединять людей, разрознивают и разделяют их, ибо все эти дела управляются эгоизмом и частной выгодой, соперничеством и борьбой и порождают угнетение и насилие. Такова действительность, таков факт. Но в том-то и заслуга, в том-то и все значение таких людей, как Достоевский, что они не преклоняются пред силой факта и не служат ей. Против этой грубой силы того, что существует, у них есть духовная сила веры в истину и добро - в то, что должно быть. Не искушаться видимым господством зла и не отрекаться ради него от невидимого добра есть подвиг веры. В нем вся сила человека. Кто не способен на этот подвиг, тот ничего не делает и ничего не скажет человечеству. Люди факта живут чужой жизнью, но не они творят жизнь. {Творят жизнь} люди веры. Это те, которые называются мечта[304] телями, утопистами, юродивыми, - они же пророки, истинно лучшие люди и вожди человечества. Такого человека мы сегодня поминаем. Не смущаясь антихристианским характером всей нашей жизни и деятельности, не смущаясь безжизненностью и бездействием нашего христианства, Достоевский верил и проповедовал христианство, живое и деятельное, вселенскую Церковь, всемирное православное дело. Он говорил не о том только, что есть, а о том, что должно быть. Он говорил о вселенской православной Церкви не только как о божественном учреждении, неизменно пребывающем, но и как о {задаче} всечеловеческого и всесветного соединения во имя Христово и в духе Христовом - в духе любви и милосердия, подвига и самопожертвования. Истинная Церковь, которую проповедовал Достоевский, есть всечеловеческая, прежде всего в {том} смысле, что в ней должно вконец исчезнуть разделение человечества на соперничающие и враждебные между собою племена и народы. Все они, не теряя своего национального характера, а лишь освобождаясь от своего национального эгоизма, могут и должны соединиться в одном общем деле всемирного возрождения. Поэтому Достоевский, говоря о России, не мог иметь в виду национального обособления (16). Напротив, все значение русского народа он полагал в служении истинному христианству, в нем же нет ни эллина, ни иудея. Правда, он считал Россию избранным народом Божиим, но избранным не для соперничества с другими народами и не для господства и первенства над ними, а для свободного служения всем народам и для осуществления, в братском союзе с ними, истинного всечеловечества, или вселенской Церкви. Достоевский никогда не идеализировал народ и не поклонялся ему как кумиру. Он верил в Россию и предсказывал ей великое будущее, но главным задатком этого будущего была в его глазах именно слабость национального эгоизма и исключительности в русском народе. Две в нем черты были особенно дороги Достоевскому. Во-первых, необыкновенная способность усваивать дух и идеи чужих народов, перевоплощаться в духовную суть всех наций - черта, которая особенно выразилась в поэзии Пушкина. Вторая, еще более важная черта, которую Достоевский указывал в русском народе, - это сознание своей греховности, неспособность возводить свое несовершенство в закон и право и успокаиваться на нем, отсюда требование лучшей жизни, жажда очищения и подвига. Без этого нет истинной деятельности ни для отдельного лица, [305] ни для целого народа. Как бы глубоко ни было падение человека или народа, какою бы скверной ни была наполнена его жизнь,

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
он может из нее выйти и подняться, если {хочет}, т. е. если признает свою дурную действительность только за дурное, только за факт, которого не должно быть, и не делает из этого дурного факта неизменный закон и принцип, не возводит своего греха в правду. Но если человек или народ не мирится с своей дурной действительностью и осуждает ее как грех, это уж значит, что у него есть какое-нибудь представление, или идея, или хотя бы только предчувствие другой, лучшей жизни, того, что {должно} быть. Вот почему Достоевский утверждал, что русский народ, несмотря на свой видимый звериный образ, в глубине души своей носит другой образ - образ Христов - и, когда придет время, покажет Его въявь всем народам, и привлечет их к Нему, и вместе с ними исполнит всечеловеческую задачу. А задача эта, т. е. истинное христианство, есть всечеловеческое не в том только смысле, что оно должно соединить все народы {одной верой}, а, главное, в том, что оно должно соединить и примирить все человеческие {дела} в одно всемирное общее дело, без него же и общая вселенская вера была бы только отвлеченной формулой и мертвым догматом. А это воссоединение общечеловеческих дел, по крайней мере самых высших из "них, в одной христианской идеи Достоевский не только проповедовал, но до известной степени и показывал сам в своей собственной деятельности. Будучи {религиозным} человеком, он был вместе с тем вполне свободным {мыслителем} и могучим {художником}. Эти три стороны, эти три высшие дела не разграничивались у него между собою и не исключали друг друга, а входили нераздельно во всю его деятельность. В своих убеждениях он никогда не отделял истину от добра и красоты, в своем художественном творчестве он никогда не ставил красоту отдельно от добра и истины. И он был прав, потому что эти три живут только своим союзом. Добро, отделенное от истины и красоты, есть только неопределенное чувство, бессильный порыв, истина отвлеченная есть пустое слово, а красота без добра и истины есть кумир. Для Достоевского же это были только три неразлучные вида одной безусловной идеи. Открывшаяся в Христе бесконечность человеческой души, способной вместить в себя всю бесконечность божества, - эта идея есть вместе и величайшее добро, и высочайшая истина, и совершеннейшая красота [306] Истина есть добро, мыслимое человеческим умом; красота есть то же добро и та же истина, телесно воплощенная в живой конкретной форме. И полное ее воплощение уже во всем есть конец, и цель, и совершенство, и вот почему Достоевский говорил, что красота спасет мир. Мир не должен быть спасен насильно. Задача не в простом соединении всех частей человечества и всех дел человеческих в одно общее дело. Можно себе представить, что люди работают вместе над какой-нибудь великой задачей и к ней сводят и ей подчиняют все свои частные деятельности, но если эта задача им {навязана}, если она для них есть нечто роковое и неотступное, если они соединены слепым инстинктом или внешним принуждением, то, хотя бы такое единство распространялось на все человечество, это не будет истинным всечеловечеством, а только огромным "муравейником". Образчики таких муравейников были, мы знаем, в восточных деспотиях - в Китае, в Египте, в небольших размерах они были уже в новое время осуществлямы коммунистами в Северной Америке (17). Против такого муравейника со всею силой восставал Достоевский, видя в нем прямую противоположность своему общественному идеалу. Его идеал требует не только единения всех людей и всех дел человеческих, но главное - {человечного} их единения. Дело не в единстве, а в свободном {согласии} на единство. Дело не в великолести и важности общей задачи, а в добровольном ее признании. Окончательное условие истинного всечеловечества есть свобода. Но где же ручательство, что люди свободно придут к единению, а не разойдутся во все стороны, враждя и истребляя друг друга, как это мы и видим? Ручательство одно: бесконечность души человеческой, которая не позволяет человеку навсегда остановиться и успокоиться на чем-нибудь частичном, мелком и неполном, а заставляет его добиваться и искать полной всечеловеческой жизни, всеобщего и всемирного дела. Вера в эту бесконечность души человеческой дана христианством. Изо всех религий одно христианство рядом с совершенным Богом ставит {совершенного человека}, в котором полнота божества обитает телесно. И если полная действительность бесконечной человеческой души была осуществлена в Христе, то возможность, искра этой бесконечности и полноты существует во всякой душе человеческой, даже на самой низкой степени падения, и это показал нам Достоевский в своих любимых типах. Полнота христианства есть всечеловечество, и вся [307] жизнь Достоевского была горячим порывом к всечеловечеству. Не хочется верить, чтобы эта жизнь прошла напрасно. Хочется верить, что наше общество не даром так дружно оплакивало смерть Достоевского. Он не оставил никакой теории, никакой системы, никакого плана или проекта. Но руководящее начало и цель, высшая общественная задача и идея были поставлены им на небывалую высоту. Стыдно будет русскому обществу, если оно сведет свою общественную идею с этой высоты и подменит

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
великое общее дело своими мелкими профессиональными и сословными интересами под разными громкими именами. Конечно, у всякого, и признающего великое всечеловеческое дело, есть свои частные дела и занятия, своя профессия и специальность. И вовсе не нужно бросать их, если только в них нет ничего противного нравственному закону. Всечеловеческое дело потому и есть всечеловеческое, что оно может все совместить и ничего не исключает, кроме злобы и греха. От нас только требуется, чтобы мы своей маленькой части не ставили на место великого целого, чтобы мы не обособлялись в своем частном деле, а старались бы связать его с делом всечеловеческим, чтобы это великое дело мы никогда не теряли из виду, ставили бы его выше и прежде всего, а все остальное уж - потом. Не в нашей власти решить, когда и как совершится великое дело всечеловеческого единения. Но поставить его себе как высшую задачу и служить ему во всех делах своих - это в нашей власти. В нашей власти сказать: вот чего мы хотим, вот наша высшая цель и наше знамя - и на другое мы не согласны.

ТРЕТЬЯ РЕЧЬ (Сказана 19 февраля 1883 г.)

В царствование Александра II закончилось внешнее, природное образование России, образование ее {тела}, и начался в муках и болезнях процесс {ее духовного} рождения. Всякому новому рождению, всякому творческому процессу, который вводит существующие элементы в новые формы и сочетания, неизбежно предшествует {брожение} этих элементов. Когда складывалось тело России и рождалось Российское государство, русские люди - от князей с их дружинами и до последнего земледельца - бродили по всей стране. Вся Русь брела врозь. Таким внешним брожением вызывалось внешнее же государственное закреп[308]ление, чтобы сложить Россию в одно великое тело. Начатый князьями в Москве и завершенный императорами в Петербурге, этот процесс внешнего закрепления, в силу которого прежние бродячие дружины превратились в поместное дворянство, прежние вольные гости стали мещанами, а свободно переходящие крестьяне сделаны крепостными, - эта закрепленная государством организация России ввела быт и деятельность народа и общества в твердые, определенные рамки. Эти рамки оставались неприкосновенны и тогда, когда после Петровской реформы и в особенности с царствования Александра 1-го различные идеи и умственные течения Западной Европы стали овладевать образованным слоем русского общества. Ни мистические верования русских масонов, ни гуманистические идеи деятелей сороковых годов, несмотря на то нравственно-практическое направление, которое они часто у нас принимали, не имели существенного влияния на крепость бытовых основ и не мешали образованным людям, рассуждая по-новому, жить по-старому, в завещанных преданием формах. Вплоть до освободительного акта прошлого царствования жизнь и деятельность русских людей не зависела существенно от их мыслей и убеждений, а заранее определялась теми готовыми рамками, в которые рождение ставило каждого человека и каждую группу людей. Особенного вопроса о задачах жизни, о том, {для чего жить} и {что делать}, не могло возникнуть в тогдашнем обществе, потому что его жизнь и деятельность обусловливались не вопросом {для чего}, а основанием {почему}. Помещик жил и действовал известным образом не {для} чего-нибудь, а прежде всего {потому}, что он был помещик, и точно так же крестьянин обязан был жить так, а не иначе, потому что он был крестьянин, и между этими крайними формами все остальные общественные группы в готовых условиях государственного быта находили достаточное основание, которым определялся круг их жизни, не оставляя места для вопроса: что делать? Если б Россия была только народно-государственным {телем}, как, например, Китай, то она могла бы удовлетвориться такою внешней твердостью и определенностью жизни, могла бы остановиться в своей закрепленной организации. Но Россия, еще в самом своем младенчестве крещенная в христианскую веру, получила отсюда залог высшей духовной жизни и должна была, достигнув зрелого возраста, сложившись и определившись физически, искать себе свободного нравственного определения. А для этого прежде всего силы русского общества должны были получить свободу, возможность и побуждение выйти из той внешней неподвиж[309] ности, которая обусловливала крепостным строем. В этом (освободительном, а не реформаторском) деле весь смысл прошлого царствования. Великий подвиг этого царствования есть единственно освобождение русского общества от прежних обязательных рамок для будущего создания новых духовных форм, а никак не самое создание этих последних, которое и доселе еще не начиналось. Прежде чем образоваться этим формам, освобожденное общество должно пройти через внутреннее духовное {брожение}. Как прежде образования государственного тела был период, когда все бродили, так же должно быть и перед духовным рождением России. В эту-то пору внутреннего брожения с неотразимой силой является вопрос: для чего жить и что делать? Вопрос этот является сначала в

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
ложном смысле. Есть нечто ложное уже в самой постановке такого вопроса со стороны людей, только что оторванных от известных внешних основ жизни и еще не заменивших их никакими высшими, еще не овладевших собою. Спрашивать прямо: что делать? – значит предполагать, что есть какое-то {готовое} дело, к которому нужно только приложить руки, значит пропускать другой вопрос: готовы ли сами делатели? Между тем во всяком человеческом деле, большом и малом, физическом и духовном, одинаково важны оба вопроса: {что} делать и {кто} делает? Плохой или неприготовленный работник может только испортить самое лучшее дело. Предмет дела и качества делателя неразрывно связаны между собою во всяком {настоящем} деле, а там, где эти две стороны разделяются, там настоящего дела и не выходит. Тогда прежде всего искомое дело раздвоится. С одной стороны, выступает образ идеального строя жизни, устанавливается некоторый определенный "общественный идеал". Но этот идеал принимается независимо ни от какой внутренней работы самого человека – он состоит только в некотором, заранее определенном и извне принудительном экономическом и социальном строе жизни; поэтому все, что может человек сделать для достижения этого {внешнего} идеала, сводится к устраниению внешних же {препятствий} к нему. Таким образом, сам идеал является исключительно только в будущем, а в настоящем человек имеет дело только с тем, что противоречит этому идеалу, и вся его деятельность от несуществующего идеала обращается всецело на {разрушение существующего}, а так как это последнее держится людьми и обществом, то все это {дело} обращается в насилие над людьми и целым обществом. Незаметным образом общественный идеал подменивается противообще[310] ственной деятельностью. На вопрос: что делать? – получается ясный и определенный ответ: убивать всех противников будущего идеального строя, т. е. всех защитников настоящего. При таком решении дела вопрос: готовы ли делатели? – действительно является излишним. Для {такого} служения общественному идеалу человеческая природа в теперешнем своем состоянии и с самых худших своих сторон является вполне готовой и пригодной. В достижении общественного идеала путем разрушения все дурные страсти, все злые и безумные стихии человечества найдут себе место и назначение: такой общественный идеал стоит всецело на почве господствующего в мире зла. Он не предъявляет своим служителям никаких нравственных условий, ему нужны не духовные силы, а физическое насилие, он требует от человечества не внутреннего {обращения}, а внешнего {переворота}. Пред появлением христианства Иудейский народ ждал пришествия царствия Божия, и большинство разумело под этим царствием внешний насильственный переворот, который должен был дать господство избранному народу и истребить его врагов. Люди, ожидавшие такого царствия, по крайней мере наиболее решительные и ревностные из них, имели ясный и определенный ответ на вопрос, что делать (18): восстать против Рима и избивать римских солдат. И они это исполнили, стали избивать римлян и сами были перебиты. И дело их погибло, и римляне разорили Иерусалим. Только немногие в Израиле разумели под грядущим царствием нечто более глубокое и более радикальное, знали другого врага, более страшного и более таинственного врага, чем римляне, и искали другой, еще более трудной, но зато и более плодотворной победы. Для этих людей на вопрос: что делать? – был только один загадочный и неопределенный ответ, которого не могли вместить учителя Израиля: "Истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится свыше, не может видеть царствия Божия" (19). Немногие люди, не смущившиеся этим странным и темным ответом, принявшие новое рождение и поверившие в духовное царствие Божие, – эти люди победили римлян и покорили мир. И у нас теперь, в эпоху духовного брожения, – в то время как приверженцы "общественного идеала", такого же внешнего и поверхностного, как "царствие" иудейских материалистов, восстают и убивают, губят других и сами гибнут бесплодно и бесславно (20), а другие или теряются в умственном хаосе, или погрязают в равнодушном своеокрыстии – являются лишь немногие люди, которые, не [311] удовлетворяясь никакими внешними целями и идеалами, чувствуют и возвещают необходимость глубокого {нравственного} переворота и указывают условия нового духовного рождения России и человечества. Из этих немногих предвестников русской и вселенской будущности, бесспорно, первым был Достоевский, ибо он глубже других провидел сущность грядущего царствия, сильнее и одушевленнее предвозвещал его. Основное преимущество воззрений Достоевского есть именно то, за что его иногда укоряют, – отсутствие или, лучше сказать, сознательное отвержение всякого {внешнего} общественного идеала, т. е. такого, который не связан с внутренним обращением человека или его рождением свыше. Такое рождение не нужно для так называемого общественного идеала. Он довольствуется человеческою природою, как она есть, – это идеал грубый и поверхностный, и мы знаем, что попытки к его реализации только утверждают и умножают уже господствующие в мире зло и безумие. Такого грубого и поверхностного, безбожного и бесчеловечного

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
идеала не было у Достоевского, и в этом его первая заслуга. Он слишком хорошо знал все глубины человеческого падения; он знал, что злоба и безумие составляют основу нашей извращенной природы и что если принимать это извращение за норму, то нельзя прийти ни к чему, кроме насилия и хаоса. Пока темная основа нашей природы, злая в своем исключительном эгоизме и безумная в своем стремлении осуществить этот эгоизм, все отнести к себе и все определить собою, - пока эта темная основа у нас налицо - не обращена - и этот первородный грех не сокрушен, до тех пор невозможно для нас никакое {настоящее дело а} вопрос {что делать} не имеет разумного смысла.

Представьте себе толпу людей, слепых, глухих, увечных, бесноватых, и вдруг из этой толпы раздается вопрос: что делать? Единственный разумный здесь ответ: ищите исцеления; пока вы не исцелитесь, для вас нет дела, а пока вы выдаете себя за здоровых, для вас нет исцеления. Человек, который на своем нравственном недуге, на своей злобе и безумии основывает свое право действовать и переделывать мир по-своему, такой человек, каковы бы ни были его внешняя судьба и дела, по самому существу своему есть убийца; он неизбежно будет насиливать и губить других и сам неизбежно погибнет от насилия. - Он считает себя сильным, но он во власти чужих сил; он гордится своею свободою, но он раб внешности и случайности. Такой человек не исцелится, пока не сделает первого шага к спасению. Первый шаг к спасению для нас - почувст[312] вовать свое бессилие и свою неволю, кто вполне это почувствует, тот уже не будет убийцею; но если он {остановится} на этом чувстве своего бессилия и неволи, то он придет к {самоубийству}.

Самоубийство - насилие над собою есть уже нечто более высокое и более свободное, чем насилие над другими. Сознавая свою несостоятельность, человек тем самым становится {выше} этой своей несостоятельности, и, произнося себе смертный приговор, он не только страдает, как подсудимый, но и действует властно, как верховный судия. Но и здесь суд его неправеден. В решении на самоубийство есть внутреннее противоречие. Это решение исходит из сознания своего бессилия и неволи; между тем самое самоубийство есть уже некоторый акт силы и свободы почему же этою силою и свободой не воспользоваться для жизни? Но дело в том, что самоубийца не только сознает человеческую несостоятельность в себе, но и возводит ее во всемирный закон, что уже есть безумие. Он не только чувствует зло, но и {верит} в зло.

Сознавая свой недуг, он не верит в исцеление и потому приобретенную тем сознанием силу и свободу может употребить только на самоуничтожение. К самоубийству приходит всякий, кто сознает всечеловеческое зло, но не верит в сверхчеловеческое добро. Только этой верой человек мысли и совести спасается от самоубийства. Он не должен остановиться на первом шаге - сознании своего зла, но должен сделать второй шаг - признать сущее добро над собою. И немного нужно здравого смысла, чтоб, чувствуя все зло в человеке, заключить к Добру, независимому от человека, и небольшое нужно усилие доброй воли, чтоб обратиться к этому Добру и дать ему место в себе. Ибо это сущее добро уже само ищет нас и обращает пас к себе, и нам остается только уступать Ему, только не противодействовать Ему. С верой в сверхчеловеческое Добро, т. е. в Бога, возвращается и вера в человека, который тут уже является не в своем одиночестве, немощи и неволе, а как свободный участник божества и носитель силы Божией. Но, поверив действительно в сверхчеловеческое добро, мы уже никак не можем допустить, чтобы его явление и действие связывалось исключительно с нашим субъективным состоянием, чтоб Божество в своем проявлении зависело только от личного действия человека, - мы непременно, сверх нашего личного религиозного отношения, должны признать положительное откровение Божества и во внешнем мире, должны признать объективную религию. Ограничивать действие Божие одним нравственным сознанием человека[313] ка - значит отрицать Его полноту и бесконечность, значит не верить в Бога. Веря же действительно в Бога как в добро, не знающее границ, необходимо признать и объективное воплощение Божества, т. е. соединение Его с самим существом нашей природы не только по духу, но и по плоти, а через нее и со стихиями внешнего мира, - а это значит признать природу способною к такому воплощению в нее Божества, значит поверить в искупление, освящение и обожение материи. С действительной и полной верой в Божество возвращается нам не только вера в человека, но и вера в природу. Мы {знаем} природу и материю, отделенную от Бога и извращенную в себе, но мы {верим} в ее искупление и ее соединение с божеством, ее превращение в {Богоматерию} и посредником этого искупления и восстановления признаем истинного, совершенного человека, т. е. {богочеловека} в Его свободной воле и действии. Истинный, рожденный свыше человек нравственным подвигом самоотречения проводит живую силу Божию в омертвевшее тело природы и весь мир образует во вселенское царство Божие. Верить в царство Божие - значит с верою в Бога соединять веру в человека и веру в природу. Все заблуждения ума, все ложные теории и все практические

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
односторонности и злоупотребления происходили и происходят от разделения
этих трех вер. Вся истина и все добро выходят из их внутреннего соединения.
С одной стороны, человек и природа имеют смысл только в своей связи с
Божеством – ибо человек, предоставленный самому себе и утверждающийся на
своей безбожной основе, обличает свою внутреннюю неправду и доходит, как мы
знаем, до убийства и самоубийства, а природа, отделенная от духа Божия,
является мертвым и бессмысленным механизмом без причины и цели, – а с
другой стороны, и Бог, отделенный от человека и природы, вне своего
положительного откровения является для нас или пустым отвлечением, или
всепоглощающим безразличием. Чрез такое пагубное разделение трех начал и
трех вер прошло все свободное просвещение Европы. Здесь выступали {мистики}
(квиэтисты и пиэтисты), стремившиеся потонуть в созерцании Божества,
презиравшие человеческую свободу и отвращавшиеся от материальной природы.
Здесь выступали, далее, {гуманисты} (рационалисты и идеалисты),
поклонявшиеся человеческому началу, объявлявшие безусловную самозаконность
и верховенство человеческого разума и мыслимой им идеи, видевшие в Боге
только зародыш человека, а в природе – только его тень. Но эта тень слишком
сильно давала чувствовать свою реальность, и вот, [314] напоследок, за
摧折 идеализма, выступают на первый план современного просвещения
{натуралисты} (реалисты и материалисты), которые, изгоняя из своего
мирсозерцания все следы духа и Божества, преклоняются перед мертвым
механизмом природы. Все эти односторонние направления уличали друг друга во
лжи и достаточно обличили свою несостоятельность. И наше зачаточное
просвещение прошло через эти три отвлеченные направления. Но не в них
духовная будущность России и человечества. Ложные и бесплодные в своей
розни, они находят и истину, и плодотворную силу в своем внутреннем
соединении – в полноте христианской идеи. Эта идея утверждает воплощение
божественного начала в природной жизни чрез свободный подвиг человека,
присоединяя к вере в Бога веру в Богочеловека и в Богоматерию (Богородицу)
(21). Усвоенная инстинктивно и полусознательно Русским народом со времен
его крещения, эта триединая христианская идея должна стать основой и для
сознательного духовного развития России в связи с судьбами всего
человечества. Это понял и это возвещал Достоевский. Более чем кто-либо из
его современников он воспринял христианскую идею {гармонически} в ее
тройственной полноте: он был и мистиком, и гуманистом, и натуралистом
вместе. Обладая живым чувством внутренней связи со сверхчеловеческим и
будучи в этом смысле мистиком, он в этом же чувстве находил свободу и силу
человека; зная все человеческое зло, он верил во все человеческое добро и
был, по общему признанию, истинным гуманистом. Но его вера в человека была
свободна от всякого одностороннего идеализма или спиритуализма: он брал
человека во всей его полноте и действительности; такой человек тесно связан
с материальной природой – и Достоевский с глубокой любовью и нежностью
обращался к природе, понимал и любил землю и все земное, верил в чистоту,
святость и красоту материи. В {таком} материализме нет ничего ложного и
греховного. Как истинный гуманизм не есть преклонение перед человеческим
злом ради того только, что оно человеческое, так и истинный натурализм не
есть рабство извращенной природе потому только, что она натуральна.
Гуманизм есть {вера} в человека, а верить в человеческое зло и немощи
ничего – они явны, налицо; и в извращенную природу тоже верить нечего – она
есть видимый и осаждательный факт. Верить в человека – значит признавать в
нем нечто {больше} того, что налицо, значит признавать в нем ту силу и ту
свободу, которая связывает его с Божеством; и верить в природу – значит
признавать в ней сокровенную светлость [315] и красоту, которые делают ее
{телом Божиим}. Истинный гуманизм есть вера в {Богочеловека}, и истинный
натурализм есть вера в {Богоматерию}. Оправдание же этой веры,
положительное откровение этих начал, действительность Богочеловека и
Богоматерии даны нам в Христе и Церкви, которая есть живое тело
Богочеловека. Здесь, в православном христианстве, в вселенской Церкви,
находим мы твердое основание и существенный начаток для новой духовной
жизни, для гармонического образования истинного человечества и истинной
природы. Здесь, значит, и условие настоящего дела. Истинное дело возможно,
только если и в человеке и в природе есть положительные и свободные силы
света и добра; но без Бога ни человек, ни природа таких сил не имеет.
Отделение от Божества, т. е. от полноты добра, есть зло и, действуя на
основании этого зла, мы можем делать только дурное дело. Последнее дело
безбожного человека есть убийство или самоубийство. Человек вносит в
природу злобу и берет от нее смерть. Только отказавшись от своего ложного
положения, от своей безумной сосредоточенности в себе, от своего злого
одиночества, только связав себя с Богом в Христе и с миром в Церкви, можем
мы делать настоящее Божье дело – то, что Достоевский назвал {православным
делом}. Если христианство есть религия спасения; если христианская идея

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
состоит в исцелении, внутреннем соединении тех начал, разнь которых есть гибель, то сущность истинного христианского дела будет то, что на логическом языке называется {синтезом}, а на языке нравственном {примирением}. Этюю общею чертою обозначил Достоевский призвание России в своей Пушкинской речи (22). Это было его последнее слово и завещание. И тут было нечто гораздо большее, чем простой призыв к мирным чувствам во имя широты русского духа, - здесь заключалось уже и указание на положительные исторические задачи или, лучше, обязанности России. Недаром тогда почувствовалось и сказалось, что упразднен спор между славянофильством и западничеством, - а упразднение этого спора значит упразднение в {идее} самого многовекового исторического раздора между Востоком и Западом, это значит найти для России новое нравственное положение, избавить ее от необходимости продолжать противохристианскую борьбу между Востоком и Западом и возложить на нее великую обязанность нравственно послужить и Востоку и Западу, примиряя в себе обоих. [316] И не придуманы для России эта обязанность и это назначение, а даны ей христианской верою и историей. Разделение между Востоком и Западом в смысле разницы и антагонизма, взаимной вражды и ненависти - такого разделения не {должно} быть в христианстве, и если оно явилось, то это есть великий грех и великое бедствие. Но именно в то время, как этот великий грех совершился в Византии, рождалась Россия для его искупления. Приняв от Византии православное христианство, должна ли Россия, вместе с Божьей святыней, усвоить себе навсегда и исторические грехи Византийского царства, приготовившего свою собственную гибель? Если вопреки полноте христианской идеи Византия снова возбудила великий мировой спор и стала в нем на одну сторону - на сторону Востока, то ее судьба нам не образец, а укор. Изначала Провидение поставило Россию между нехристианским Востоком и западной формою христианства - между {басурманством} и {латинством;} и в то время как Византия в односторонней вражде с Западом, все более и более проникаясь исключительно восточными началами и превращаясь в азиатское царство, оказывается одинаково бессильною и против латинских крестоносцев, и против мусульманских варваров и окончательно покоряется последними, Россия с решительным успехом отстаивает себя и от Востока и от Запада, победоносно отбивает басурманство и латинство. Эта внешняя борьба с обоими противниками была необходима для внешнего сложения и укрепления России, для образования ее государственного {тела}. Но вот эта внешняя задача исполнена, тело России сложилось и выросло, чуждые силы не могут поглотить его - и старый антагонизм теряет свой смысл. Россия достаточно показала и Востоку и Западу свои физические силы в борьбе с ними - теперь предстоит ей показать им свою духовную силу в примирении. Я говорю не о внешнем сближении и механическом перенесении к нам чужих форм, какова была реформа Петра Великого, необходимая только как подготовление. Настоящая же задача не в том, чтобы {перенять}, а в том, чтобы {понять} чужие формы, опознать и усвоить положительную сущность чужого духа и нравственно соединиться с ним во имя высшей всемирной истины. Необходимо примирение {по существу;} существо же примирения есть Бог, и истинное примирение в том, чтобы не по-человечески, а "по-божьи" отнести к противнику. Это тем настоятельнее для нас, что теперь оба наши главные противника уже не вне нас, а в нашей среде. Латинство [317] в лице поляков и басурманство, т. е. нехристианский Восток, в лице евреев вошли в состав России, и если они нам враги, то уже враги внутренние, и если с ними должна быть война, то это уже будет война междуусобная. Тут уже не одна христианская совесть, но и человеческая мудрость говорит о примирении. И недостаточно здесь мирных чувств к противникам как к людям {вообще}, ибо эти противники не суть люди {вообще}, а люди совершенно {особенные, с} своим определенным характером, и для действительного примирения нужно глубокое понимание именно этого их особого характера нужно обратиться к самому их духовному существу и отнести к нему по-божьи*. Духовное начало поляков есть католичество, духовное начало евреев есть иудейская религия. Истинно примириться с католичеством и иудейством значит прежде всего отделить в них то, что от Бога, и то, что от человеков. Если в нас самих жив интерес к делу Божию на земле, если Его святыня дороже для нас всех человеческих отношений, если мы пребывающую силу Божию не кладем на одни весы с преходящими делами людей, то сквозь жесткую кору грехов и заблуждений мы различим печать Божественного избрания, во-первых, на католичестве, а затем и на иудействе. Видя, что римская церковь и в древние времена одна стояла твердою скалою, о которую разбивались все темные волны антихристианского движения (ересей и мусульманства): видя, что и в наши времена один Рим остается нетронутым и непоколебимым среди потока антихристианской цивилизации и из него одного раздается властное, хотя и жестокое слово осуждения безбожному миру, мы не припишем этого одному какому-то непонятному человеческому упорству, но признаем здесь и тайную

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
силу Божию; и если Рим, непоколебимый в своей святыне, вместе с тем, стремясь привести к этой святыне все человеческое, двигался и изменялся, шел вперед, претыкался, глубоко падал и снова вставал, то не нам судить его за эти преткновения и падения, потому что мы его не поддерживали и не поднимали, а самодовольно взирали на трудный и скользкий путь западного собрата, сами сидя на месте, и, сидя на месте,

-----* Из сказанного, мне кажется, ясно, что дело идет {не об уступках и компромиссах} во внешней борьбе (церковно-политической и национальной), а об устраниении внутренней {причины} этой борьбы через духовное примирение на почве чисто религиозной. Пока религиозное внутреннее единство не восстановлено, до тех пор политическая и национальная борьба остается в своих правах. [318] не падали. Если нам все человечески дурное, все мелкое и грязное так бросается в глаза, если мы так явственно и отчетливо видим весь этот прах земли, а все божественное и святое для нас, напротив, незаметно, темно и невероятно, то это значит только, что в нас самих мало Бога. Дадим Ему больше места в себе и увидим Его яснее в другом. Тогда увидим Его силу не только в католической церкви, но и в иудейской синагоге. Тогда мы поймем и примем слова Апостола об израильтянах: "У них усыновление, и слава, и заветы, и законоположение, и служение, и обетования; их же отцы, и от них же Христос по плоти, сущий над всеми Бог... Или отринул Бог людей своих? да не будет! Не отринул Бог людей своих, которых прежде знал... Но чтобы вы не гордились, не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне, что ослепление было Израилю отчасти, доколе не войдет полнота народов. И тогда весь Израиль спасется... Ибо Бог заключил всех в противление, чтобы всех помиловать" (23). Воистину, если для нас слово Божие вернее всех человеческих соображений и дело царствия Божия дороже всех земных интересов, то перед нами открыт путь примирения с нашими историческими врагами. И не будем говорить: пойдут ли на мир сами наши противники, как они к этому отнесутся и что нам ответят? Чужая совесть нам неизвестна, и чужие дела не в нашей власти. Не в нашей власти, чтобы другие хорошо относились к нам, но в нашей власти быть достойными такого отношения. И думать нам должно не о том, что скажут нам другие, а о том, что мы скажем миру. В одном разговоре Достоевский применял к России видение Иоанна Богослова о жене, облеченной в солнце и в мучениях хотяющей родити сына мужеска (24): жена - это Россия, а рождаемое ею есть то новое Слово, которое Россия должна сказать миру. Правильно или нет это толкование "великого знамения", но новое Слово России Достоевский угадал верно. Это есть слово примирения для Востока и Запада в союзе вечной истины Божией и свободы человеческой. Вот высшая задача и обязанность России, и таков "общественный идеал" Достоевского. Его основание - нравственное возрождение и духовный подвиг уже не отдельного, одинокого лица, а целого общества и народа. Как и встарь, такой идеал неясен для учителей израилевых, но в нем истина, и он победит мир.

[319]

ЗАМЕТКА В ЗАЩИТУ ДОСТОЕВСКОГО ОТ ОБВИНЕНИЯ В "НОВОМ" ХРИСТИАНСТВЕ ("Наши новые христиане" И Т. Д. К. Леонтьева, Москва. 1882 г.) (25)

"Всяк человек есть ложь". "Вот вы ищете убить Меня - {человека}, сказавшего вам {истину}". "Думаете ли вы, что я мир {пришел} принести на землю? Нет, но разделение". "И {будет} едино стадо и един пастырь". "Начало премудрости - страх Господень". "Бог есть любовь. В любви нет страха, но {совершенная} любовь вон изгоняет страх" (26).

Можно ли сводить всю сущность христианства к одной гуманности? Есть ли цель христианства всеобщая гармония и благоденствие на земле, достигаемое естественным прогрессом человечества? Наконец, заключается ли {основание} христианской жизни и деятельности в одной любви? При прямой постановке этих вопросов ответ на них не может быть сомнителен. Если вся истина в одной гуманности, то при чем же тут христианская {религия}? зачем тогда и говорить о ней вместо того, чтобы прямо проповедовать простую гуманность? Если цель жизни достигается естественным прогрессом и состоит в земном благоденствии, тогда зачем же связывать это с такою религией, которая вся держится тайной, чудом и подвигом? Наконец, если все дело религии в одном человеческом чувстве любви, то это значит, что у религии совсем никакого дела нет и в ней самой нет никакой надобности. Ибо человеческая любовь, при всей своей психологической сложности, в нравственном смысле есть лишь простой случайный факт и никак не может составлять основного содержания религиозной проповеди. Сам Апостол любви в основу своей проповеди кладет не

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
мораль любви, а мистическую истину воплощения Божественного Логоса: "что было изначала, что мы слышали, что видели очами нашими, что рассматривали и что руки наши осязали, о смысле жизни (ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам), о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше общение со Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом" (1-е посл. Иоанна 1. 1 - 3). А о любви говорится уже потом, ибо любовь может быть плодотворна [320] только на почве верующей и возрожденной души. А на почве чисто человеческой она остается только личным расположением, ибо нельзя ни передавать любовь (как простое чувство) другим, ни требовать ее от других - можно только констатировать ее присутствие или отсутствие в данном случае. Следовательно, сама по себе, как субъективное состояние, любовь не может быть предметом религиозной {обязанности} или {задачей} религиозного действия. Прямая постановка сказанных трех вопросов и решительный ответ на них в отрицательном смысле составляет главный интерес и достоинство брошюры "Наши новые христиане". То, на что нападает автор, - стремление подменить живую полноту христианства общими местами отвлеченной морали, прикрытой христианским именем без христианской сути, - это стремление весьма распространено в наши дни, и его следовало отметить. К сожалению, обличая заблуждения псевдохристианства, автор брошюры приурочил их к именам двух русских писателей, из которых один, по крайней мере, решительно свободен от этих заблуждений. Автор брошюры по справедливости высоко ценит значение и заслуги Достоевского. Но христианская идея, которой служил этот замечательный человек, искалась в его уме, по мнению г. Леонтьева, примесью сентиментальности и отвлеченного гуманизма (27). Оттенок сентиментальности мог быть в стиле у автора "Бедных людей", но во всяком случае гуманизм Достоевского не был тою отвлеченной моралью, которую обличает г. Леонтьев, ибо свои лучшие упования для человека Достоевский основывал на действительной вере в Христа и Церковь, а не на вере в отвлеченный разум или в то безбожное и бесноватое человечество, которое в романах самого Достоевского яснее, чем где-либо, отражается во всей своей мерзости. Гуманизм Достоевского утверждался на мистической, сверхчеловеческой основе истинного христианства, а при оценке деятеля с христианской точки зрения важнее всего, {на чем} он стоит и на чем он строит. "Возможно ли, - спрашивает г. Леонтьев, - строить новую национальную культуру на одном добром чувстве к людям, без особых определенных в одно и то же время вещественных и мистических предметов веры, выше этого человечества стоящих, - вот вопрос?" (28) На этот вопрос Достоевский отвечал бы так же отрицательно, как и автор брошюры. Идеал истинной культуры - народной и вселенской вместе - держался у Достоевского не на одном добром чувстве к людям, а прежде всего на мистических предметах веры, выше этого человечества стоящих, - именно [321] на Христе и на Церкви, и самое созидание истинной культуры представлялось Достоевскому прежде всего как религиозное "православное дело"; а "вера в божественность распятого приPontийском Пилате Назаретского Плотника" (29) была одушевляющим началом всего того, что говорил и писал Достоевский. "Христианство не верит ни в лучшую {автономическую} мораль лица, ни в разум собирательного человечества, долженствующий рано или поздно создать рай на земле" (30). Ни во что подобное не верил и Достоевский. Если он и был моралистом, как его называет г. Леонтьев, то его мораль была не автономическая (самозаконная), а христианская, основанная на религиозном обращении и возрождении человека. А собирательный разум человечества с его попытками нового вавилонского столпотворения не только отвергался Достоевским, но и служил для него предметом остроумных насмешек, и не только в последнее время его жизни, но и раньше. Пусть г. Леонтьев перечтет хоть "Записки из подполья". Достоевский верил в человека и в человечество только потому, что он верил в богочеловека и в богочеловечество - в Христа и в Церковь. "Христос познается не иначе, как чрез Церковь. Любите прежде всего Церковь. Только через Церковь можете вы сойтись и с народом - просто и свободно и войти в его доверие. Надо учиться у народа смиряться умственно, понять, что в его мировоззрении больше истины, чем в нашем. Поэтому смирение пред народом для отдающего себе ясный отчет в своих чувствах есть не иное, как смирение перед Церковью" (31). Под этими прекрасными словами, без сомнения, подписался бы Достоевский. В "Дневнике писателя" г. Леонтьев мог бы найти много места, выражавших эти самые мысли. Достаточно вспомнить то, что говорилось там против наших народников, хотевших соединяться с народом и благодетельствовать ему {помимо Церкви} (32). Только любя Церковь и служа ей, можно воистину послужить своему народу и человечеству. Ибо нельзя служить двум господам. Служение ближнему должно совпадать со служением Богу, а Богу нельзя служить иначе, как любя то, что Он сам возлюбил, - единственный предмет любви Божией, Его

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
влюбленную и подругу, то есть Церковь. Церковь есть обоженное через Христа
человечество, и при вере в Церковь верить в человечество – значит только
[322] верить в его {способность к обожению}, верить, по словам св. Афанасия
Великого, что в Христе Бог стал человеком для того, чтобы человека сделать
богом. И эта вера не есть еретическая, а истинно христианская,
православная, отеческая. И при этой вере проповедь или пророчество о
всеобщем примирении, всемирной гармонии и т. д. относится прямо лишь к
окончательному торжеству Церкви, когда, по слову Спасителя, будет едино
стадо и един пастырь, а по слову Апостола, Бог будет все во всех.
Достоевскому приходилось говорить с людьми, не читавшими Библии и забывшими
catechisis. Поэтому он, чтобы быть понятым, поневоле должен был употреблять
такие выражения, как "всеобщая гармония" (33), когда хотел сказать о Церкви
торжествующей или прославленной. И напрасно г. Леонтьев указывает на то,
что торжество и прославление Церкви должно совериться на том свете, а
Достоевский верил во всеобщую гармонию здесь, на земле. Ибо такой
безусловной границы между "здесь" и "там" в Церкви не полагается. И самая
земля, по Священному Писанию и по учению Церкви, есть термин
{изменяющийся}. Одно есть та земля, о которой говорится в начале Книги
Бытия, что она была невидима и неустроена и тьма вверху бездны, и другое
та, про которую говорится: "Бог на земли явился и с человеками поживе", – и
еще иная будет та новая земля, в ней же правда живет (34). Дело в том, что
нравственное состояние человечества и всех духовных существ вообще вовсе не
зависит от того, живут они здесь, на земле, или нет, а напротив, самое
состояние земли и ее отношение к невидимому миру определяется нравственным
состоянием духовных существ. И та всемирная гармония, о которой
пророчествовал Достоевский, означает вовсе не утилитарное благодеяние
людей на теперешней земле, а именно начало той новой земли, в которой
правда живет. И наступление этой всемирной гармонии или торжествующей
Церкви произойдет вовсе не путем мирного прогресса, а в муках и болезнях
нового рождения, как это описывается в Апокалипсисе – любимой книге
Достоевского в его последние годы. "И знамение велие явися на небеси, жена
облечена в солнце и луна под ногами ея, и на главе ея венец от звезд
двоюнадеяте. И во чреве имущи вопиет моляще и страждуще родити" (35). И
только потом, за этими болезнями и муками, торжество, и слава, и радость.
"И слыхах, яко глас народа многа, и яко глас вод многих, и яко глас громов
крепких глаголющих: аллиуйя, яко [323] воцарися Господь Бог Вседержитель.
Радуемся и веселимся и дадим славу Ему, яко прииде брак агнчий и {Жена Его}
уготовила есть себе. И дано бысть ей облещися в виссон чист и светел:
виссон бо {оправдания святых} есть" (36). "И видех небо ново и землю нову:
первое бо небо и земля первая преиша, и моря несть ктому. И аз Иоанн
видех град Святый Иерусалим нов сходящ от Бога с небесе, приготован, яко
невесту мужу своему. И слыхах глас велий, с небесе глаголющ: се скиние
Божия с человеки, и вселится с ними: и тип людие Его будут, и сам Бог будет
с ними Бог их. И отимет Бог всяку слезу от очию их и смерти не будет ктому:
ни плача, ни вопля, ни болезни не будет ктому, яко первая мимоидша" (37).
Вот какую всемирную гармонию и благодеяние разумел Достоевский, повторяя
только своими словами пророчества новозаветного откровения.

[770]

ПРИМЕЧАНИЯ

Брошюра Вл. Соловьева "Три речи в память Достоевского" (1881 – 1883) содержит впервые опубликованную в этом издании первую речь, нигде не прочитанную, вторую речь, прежде напечатанную в газете "Новое время" (1882. ? 2133) и произнесенную 1 февраля 1882 г., и третью, впервые увидевшую свет в журнале "Русь" (1883. ? 6) под заголовком "Об истинном деле (В память Достоевского)", сказанную 19 февраля 1883 г., [771] В отдельном издании была приложена статья "Заметка в защиту Достоевского от обвинения в "новом" христианстве (Против К. Леонтьева)", ранее напечатанная в журнале "Русь" (1883. ? 9) подзаголовком "Несколько слов о брошюре г. Леонтьева "Наши новые христиане"". Смерть Достоевского философ воспринял как огромную духовную потерю. По воспоминаниям очевидцев, его речь на похоронах Достоевского была одной из наиболее значительных. "Впечатление осталось от апостольской фигуры В. С. Соловьева, от его падавших на лоб кудрей. Говорил он с большим пафосом и экспрессией" (Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964. Т. 2. С. 430). Текст печатается по изданию 1884 г. (1) Некоторые исследователи отмечают связь между речью Вл. Соловьева на могиле Ф. М. Достоевского и публичным выступлением философа 1 марта 1881 г. против казни народовольцев (см., напр.: Мочульский К. Н. Вл. Соловьев. Жизнь и учение. Париж. Б. г. С. 131 – 132). – 291. (2) От 5 – 10 февраля

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
1881 г. // Л. Н. Толстой о литературе. М., 1955. С. 169.- 291. (3) В письме
Н. Н. Страхову от 26 сентября 1880 г.// Там же. С. 168. Вл. Соловьев
цитирует по изд.: Достоевский Ф. М. Собр. соч. СПб., 1882. Т. 1.-291. (4)
Имеется в виду то направление в эстетике и литературной критике 60-х годов,
которое прежде всего связано с именем Добролюбова и получило название
"реальная критика". Достоевский в 60-е годы страстно полемизировал с этим
направлением // См.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. л ё 1978.
Т. 18. С. 41 -104. -293. (5) Герой второго тома "Мертвых душ" Н. В. Гоголя.
- 295. (6) См.: Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. 1980. Т. 21. С. 8 - 13.

297.

(7) См., напр.: Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. 1984. Т. 26. С. 136 -
148; 1979. Т. 19. С. 151-168; 1981. Т. 23. С. 30-37.-297. (8) Ср. там же.
Т. 21. С. 13 - 22.-298. (9) См.: Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. 1981.
Т. 22. С. 46 - 52.

298.

(10) 12 января 1866 г., т. е. во время печатания в "Русском Вестнике"
первых глав романа "Преступление и наказание", в Москве студентом А. М.
Даниловым были убиты и ограблены отставной капитан - ростовщик Попов и его
служанка М. Нордман (см.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. 1973. Т. 7. С.
349).- 299. (11) Вл. Соловьев дает свою трактовку эпилога "Преступления и
наказания", который вот уже более ста лет служит объектом ожесточенной
полемики. - 299. (12) См.: Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. 1974. Т. 10.
С. 30 - 34 и др. -300. (13) См.: Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. 1984.
Т. 27. С. 19. - 300. (14) В Оптину Пустынь к старцу Амвросию Достоевский
(вместе с Вл. Соловьевым и по его уговорам) поехал летом 1878 г. после
смерти своего трехлетнего сына Алексея. Писатель пробыл там два дня и
трижды виделся со старцем. - 301. (15) См.: Достоевский Ф. М. Полн. собр.
соch. Т. 26. С. 136 - 148. зоя. (16) См.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соch.
Т. 27. С. 5-25.-304. (17) Ср.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соch. 1980. Т.
20. С. 139.

306.

(18) Настойчивое повторение вопроса "что делать?" подчеркивает связь
критикуемых Вл. Соловьевым идей с воззрениями Н. Г. Чернышевского. - 310.
(19) Иоан. 3, 3.-310. (20) В данном случае проблематика речи Вл. Соловьева
сходна с проблематикой романа "Бесы". - 310. (21) Ср. воспоминания о
монастырском житье Марии Тимофеевны в [772] "Бесах" (Достоевский Ф. М.
Поли. собр. соch. 1974. Т. 10. С. 116). - 314. (22) См.: Достоевский Ф. М.
Поля. собр. соch. Т. 26. - 315. (23) Рим. 9, 4-5; 11, 1-2, 25-26, 32.-318.
(24) См. ниже прим. 35 к с. 322. - 318. (25) Книга К. Н. Леонтьева "Наши
новые христиане. Ф. М. Достоевский и гр. Лев Толстой" (М., 1882) состоит из
двух статей: "Страх Божий и любовь к человечеству. По поводу рассказа гр.
Л. Н. Толстого: "Чем люди живы?" (впервые напечатана в журнале "Гражданин"
(1882. ? 54 - 55)) и "О всемирной любви. Речь Ф. М. Достоевского на
пушкинском празднике" (впервые опубликована в "Варшавском дневнике" (1880 ?
162, 169, 173)). -319. (26) Рим. 3, 4; Иоан. 8, 40; Матф. 10, 34; Иоан. 10,
16; Пс. 110, 10; Иоан. 4, 8, 18. -319. (27) См., напр.: Леонтьев К. Собр.
соch. М., 1912. Т. 8. С. 203-204.-320. (28) Там же. С. 181-182.-320. (29)
Слова из Православного Символа веры, употребленные Леонтьевым (там же. С.
182). -321. (30) Цитата из Леонтьева передана в сокращении (там же. С. 188
- 189). - 321. (31) В данном случае Вл. Соловьев допускает формальное
нарушение этики цитирования. Дело в том, что первые две фразы принадлежат
Победоносцеву и приводятся Леонтьевым как цитаты. Другие две фразы
подверглись серьезному - смысловому - сокращению (ср.: Там же. С. 206, 207,
210). -321. (32) Ср.: Достоевский Ф. М. Дневник писателя за 1880 г. Август.
Глава: две половинки (Поли. собр. соch. Т. 26. С. 161 - 170). - 321. (33)
См.: Достоевский Ф. М. Поли. собр. соch. 1976. Т. 14. С. 215-224.-322. (34)
Быт. 1, 2; Откр. 21, 3, 5, 24-27; 22, 1-5.-322. (35) Откр. 12, 1-2.-322.
(36) Откр. 19, 6 -8. -323. (37) Откр. 21, 1-4. -323.

Статьи о поэтах

Судьба Пушкина

1897 I

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Есть предметы, о которых можно иметь неверное или недостаточное понятие – без прямого ущерба для жизни. Интерес истины относительно этих предметов есть только умственный, научно-теоретический, хотя сами они могут иметь большое реальное и практическое значение. До конца XVII столетия все люди, даже ученые, имели неверное понятие о воде, – ее считали простым телом, однородным элементом или стихией, пока знаменитый Лавуазье не разложил ее состава на два элементарные газа: кислород и водород. То, что сделал Лавуазье, имело большую теоретическую важность, – недаром от него ведется начало настоящей научной химии; и этим его открытие оказывало, конечно, косвенное влияние и на практическую жизнь со стороны ее материальных интересов, которым хорошая химия может служить более успешно, чем плохая. Но прямого воздействия на практическое житейское значение собственно воды анализ Лавуазье не мог иметь. Чтобы умываться, или поить животных, или вертеть мельничные колеса, или даже двигать паровоз, нужна только сама вода, а не знание ее состава или ее химической формулы. Точно так же мы пользуемся светом и теплотою совершенно независимо от наших правильных или неправильных понятий, от нашего знания или незнания в области астрономии и физики. Во всех подобных случаях для житейского употребления предмета достаточно опытных житейских сведений о его внешних свойствах, совершенно независимо от точного теоретического познания его природы, и самый великий ученый не имеет здесь никакого преимущества перед дикарем и невеждою.

178

Но есть предметы порядка духовного, которых жизненное значение для нас прямо определяется, кроме их собственных реальных свойств, еще и тем понятием, которое мы о них имеем. Одного из таких предметов касается настоящий очерк.

Есть нечто, называемое судьбой, – предмет хотя не материальный, но тем не менее вполне действительный. Я разумею пока под судьбою тот факт, что ход и исход нашей жизни зависит от чего-то, кроме нас самих, от какой-то превозмогающей необходимости, которой мы волей-неволей должны подчиниться. Как факт, это бесспорно; существование судьбы в этом смысле признается всеми мыслящими людьми, независимо от различия взглядов и степеней образования. Слишком очевидно, что власть человека, хотя бы самого упорного и энергичного, над ходом и исходом его жизни имеет очень тесные пределы. Но вместе с тем легко усмотреть, что власть судьбы над человеком при всей своей несокрушимой извне силе обусловлена, однако, изнутри – деятельным и личным соучастием самого человека. Так как мы обладаем внутренними задерживающими действиями, разумом и волей, то определяющая наше существование сила, которую мы называем судьбою, хотя и независима от нас по существу, однако может действовать в нашей жизни только через нас, только под условием того или иного отношения к ней со стороны нашего сознания и воли. В составе той необходимости, которой управляются наши жизненные процессы, необходимо заключается и наше собственное личное отношение к этой необходимости; а это отношение, в свою очередь, необходимо связано с тем, как мы понимаем господствующую в нашей жизни силу, так что понятие наше о судьбе есть также одно из условий ее действия через нас. Вот почему иметь верное понятие о судьбе важнее для нас, нежели знать химический состав воды или физические законы тепла и света.

Столь важное для всех людей истинное понятие судьбы издревле дано и всем доступно. Но при особом развитии если не ума, то умственных требований, каким нынешнее время отличается от прежних эпох, самые верные понятия никем не принимаются на веру; они должны вывести свою достоверность посредством рассуждений из данного опыта.

Для полного и методического оправдания того верного понятия о судьбе, которое мы находим в универсальной вере человечества, потребовалась бы целая метафизическая система, подтвержденная сложными историческими и социологическими исследованиями. В настоящем кратком очерке я хотел только ослабить некоторые ложные ходячие мнения

179

об этом важном предмете и с помощью одного яркого и особенно для нас, русских, близкого исторического примера намекнуть на истинный характер того, что называется судьбою.

II

В житейских разговорах и в текущей литературе слово судьба сопровождается обыкновенно эпитетами более или менее порицательными: "враждебная" судьба, "слепая", "беспощадная", "жестокая" и т. д. Менее резко, но все-таки с некоторым неодобрением говорят о "насмешках" и об "иронии" судьбы. Все эти выражения предполагают, что наша жизнь зависит от какой-то силы, иногда равнодушной, или безразличной, а иногда и прямо неприязненной и злобной. В первом случае понятие судьбы сливаются с ходячим понятием о природе, для которой равнодушие служит обычным эпитетом:

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять {1}.

Когда в понятии судьбы подчеркивается это свойство – равнодушие, то под судьбою разумеется собственно не более как закон физического мира.

Во втором случае, – когда говорится о судьбе как враждебной силе, понятие судьбы сближается с понятием демонического, адского начала в мире, представляется ли оно в виде злого духа религиозных систем или в виде безумной мировой воли, как у Шопенгауэра.

Конечно, есть в действительности и то, и другое; есть и закон равнодушной природы, есть и злое, сатанинское начало в мироздании, и нам приходится иметь дело и с тем, и с другим. Но от этих ли сил мы зависим окончательно, они ли определяют общий ход нашей жизни и решают ее исход, они ли образуют нашу судьбу?

Сила, господствующая в жизни лиц и управляющая ходом событий, конечно, действует с равной необходимостью везде и всегда; все мы одинаково подчинены судьбе. Но есть люди и события, на которых действие судьбы особенно явно и ощутительно; их прямо и называют роковыми или фатальными, и, конечно, на них нам всего легче рассмотреть настоящую сущность этой превозмогающей силы.

180

Хотя вообще мне давно было ясно, что решающая роль в нашем существовании не принадлежит ни "равнодушной природе", ни духовной силе зла, хотя я был твердо убежден в истинности третьего взгляда, но применить его к некоторым особым роковым событиям я долго не умел. Я был уверен, что и они непременно как-нибудь объясняются с истинной точки зрения, но я не видел этого объяснения и не мог примириться в душе с непонятными фактами. В них ощущалась какая-то смертельная обида, как будто прямое действие какой-то враждебной, злой и злорадной силы.

Острее всего такое впечатление производила смерть Пушкина. Я не помню времени, когда бы культ его поэзии был мне чужд. Не умея читать, я уже многое знал из него наизусть, и с годами этот культ только возрастал. Немудрено поэтому, что роковая смерть Пушкина, в расцвете его творческих сил, казалась мне вопиющею неправдою, нестерпимою обидою и что действовавший здесь рок не вязался с представлением о добре силе.

Между тем, постоянно возвращаясь мыслью к этому мучительному предмету, останавливаясь на давно известных фактах и узнавая новые подробности, благодаря обнародованным после 1880 и особенно после 1887 года документам, я должен был, наконец, прийти к печальному утешению:

Жизнь его не враг отъял,
Он своею силой пал,
Жертва гибельного гнева,

своею силой или, лучше сказать, своим отказом от той нравственной силы, которая была ему доступна и пользование которой было ему всячески облегчено.

ни эстетический кульп пушкинской поэзии, ни сердечное восхищение лучшими чертами в образе самого поэта не уменьшаются от того, что мы признаем ту истину, что он сообразно своей собственной воле окончил свое земное поприще. Ведь противоположный взгляд, помимо своей исторической неосновательности, был бы унизителен для самого Пушкина. Разве не унизительно для великого гения быть пустою игрушкою чуждых внешних воздействий, и притом идущих от таких людей, для которых у самого этого гения и у его поклонников не находится достаточно презрительных выражений?

Главная ошибка здесь в том, что гений принимается только за какое-то чудо природы, и забывается, что дело идет о гениальном человеке. Он по природе своей выше обычновенных людей, - это бесспорно, - но ведь и обычно

181

венные люди также по природе выше многих других существ, например животных, и если эта сравнительная высота обязывает всякого обычновенного человека соблюдать свое человеческое достоинство и тем оправдывать свое природное преимущество перед животными, то высший дар гения тем более обязывает к охранению этого высшего, если хотите сверхчеловеческого, достоинства. Но не настаивая слишком на этой градации, которая осложняется обстоятельствами другого рода, во всяком случае должно сказать, что гениальный человек обязан по крайней мере к сохранению известной, хотя бы наименьшей, минимальной, степени нравственного человеческого достоинства, подобно тому, как от самого обычновенного человека мы требуем по крайней мере тех добродетелей, к которым способны и животные, как, например, родительская любовь, благодарность, верность.

Утверждать, что гениальность совсем ни к чему не обязывает, что гению все позволено, что он может без вреда для своего высшего призыва всю жизнь оставаться в болоте низменных страстей, это - грубое идолопоклонство, фетишизм, который ничего не объясняет, и сам объясняется лишь духовною немощью своих проповедников. Нет! если гений есть благородство по преимуществу или высшая степень благородства, то он по преимуществу и в высшей степени обязывает. *Noblesse oblige**. С точки зрения этой нравственной аксиомы взглянем на жизнь и судьбу Пушкина.

III

Менее всего желал бы я, чтобы этот мой взгляд был понят в смысле прописной морали, обвиняющей поэта за его нравственную распущенность и готовой утверждать, что он погиб в наказание за свои грехи против "добродетели", в тесном значении этого слова.

Сильная чувственность есть материал гения. Как механическое движение переходит в теплоту, а теплота - в свет, так духовная энергия творчества в своем действительном явлении (в порядке времени или процесса) есть превращение низших энергий чувственной души. И как для произведения сильного света необходимо сильное развитие теплоты, так и высокая степень духовного творчества (по закону

* Положение обязывает (фр.). - Ред.

182

здесьней, земной жизни) предполагает сильное развитие чувственных страстей. Высшее проявление гения требует не всегдашнего бесстрастия, а окончательного преодоления могучей страстности, торжества над нею в решительные моменты.

Естественные условия для такого торжества были и у Пушкина. С необузданною чувственностью натуры у него соединялся ясный и прямой ум. Пушкин вовсе не был мыслителем в области умозрения, как не был и практическим мудрецом; но здравым пониманием насущных нравственных истин, смыслом правды он обладал в высокой степени. Ум его был уравновешенный, чуждый всяких болезненных уклонений. Среди самой пламенной страсти он мог сохранять ясность и отчетливость сознания, и если его можно в чем упрекнуть с этой стороны, то разве только в излишней трезвости и прямолинейности взгляда, в отсутствии

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org всякого практического или житейского _идеализма_. Вся высшая идейная энергия исчерпывалась у него поэтическими образами и звуками, _гениальным перерождением жизни в поэзию_, а для самой текущей жизни, для житейской практики оставалась только проза, здравый смысл и остроумие с веселым смехом.

Такое раздвоение между поэзией, т. е. жизнью творчески просветленною и жизнью действительною или практическою, иногда бывает поразительно у Пушкина. Люди, незнакомые прежде с биографическими подробностями о нем, нашли, конечно, много неожиданного в новейших изданиях его переписки.

Одно из лучших и самых популярных стихотворений нашего поэта говорит о женщине, которая в "чудное мгновение" первого знакомства поразила его "как мимолетное виденье, как гений чистой красоты"; затем время разлуки с нею было для него томительным рядом пустых и темных дней, и лишь с новым свиданием воскресли для души "и божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь" {2}. давно было известно лицо, к которому относилось это стихотворение, и читатель Пушкина имел прежде полное основание представлять себе если не эту даму, то, во всяком случае, отношение к ней поэта, в самом возвышенном, идеальном освещении. Но теперь, после появления в печати некоторых писем о ней, оказывается, что ее образ в стихотворении "Я помню чудное мгновенье" есть даже не то, что в гегельянской эстетике называется *Schein der Idee**,

* Видимость идеи (нем.).- Ред.

183

а скорее подходит к тому, что на юридическом языке обозначается как "сообщение заведомо неверных сведений". В одном интимном письме, писанном приблизительно в то же время, как и стихотворение, Пушкин откровенно говорит об этой самой даме, но тут уже вместо гения чистой красоты, пробуждающего душу и воскрешающего в ней божество, является "наша вавилонская блудница, Анна Петровна" {3}.

Спешу предупредить возможное недоразумение. Никому нет дела до того, какова была в действительности дама, прославленная Пушкиным. Хотя я совершенно уверен, что он сильно преувеличивал и что апокалиптический образ нисколько не характеричен для этой добродой женщины, но дело не в этом. Если бы оказалось, что действительное чудовище безнравственности было искренно принято каким-нибудь поэтом за гения чистой красоты и воспето в таком смысле, то от этого поэтическое произведение ничего не потеряло бы не только с точки зрения поэзии, но и с точки зрения личного и жизненного достоинства самого поэта. Ошибка в фальшь не ставится. Но в настоящем случае нельзя не видеть именно некоторой фальши, хотя, конечно, не в грубом смысле этого слова. Представляя обыкновенную женщину как высшее неземное существо, Пушкин сейчас сам ясно замечал и резко высказывал, что это неправда, и даже преувеличивал свою неправду. Знакомая поэта, конечно, не была ни гением чистой красоты, ни вавилонской блудницею, а была "просто приятною дамою" или даже, может быть, "дамою приятною во всех отношениях". Но замечательно, что в преувеличенном ее порицании у Пушкина не слышится никакой горечи разочарования, которая говорила бы за жизненную искренность и цельность предыдущего увлечения, - откровенный отзыв высказан в тоне веселого балагурства, в полном контрасте с тоном стихотворения.

Более похоже на действительность другое стихотворение Пушкина, обращенное к тому же лицу, но и оно находится в противоречии с тоном и выражениями его писем.

Когда твои младые лета
Позорит шумная молва,
И ты, по приговору света,
На честь утратила права;
Один среди толпы холодной,

И за тебя мольбой бесплодной
Кумир бесчувственный молю.
Но свет... Жестоких осуждений
Не изменяет он своих:

184

Он не карает заблуждений,
Но тайны требует для них.
Достойны равного презренья
Его тщеславная любовь
И лицемерные гоненья
К забвению сердце приготовь;
Не пей мучительной отравы;
Оставь блестящий душный круг,
Оставь безумные забавы:
Тебе один остался друг {4}

Нельзя, в самом деле, не пожалеть о глубоком несчастии этой женщины: у нее остался только один друг и заступник от "жестоких осуждений", - да и тот называл ее вавилонскою блудницей! Каковы же были осуждения!

IV

Если не признавать вдохновения как самостоятельного источника поэзии, то, сопоставляя стихотворение "Я помню чудное мгновенье" с прозаическим отзывом Пушкина, можно сделать только одно заключение, что стихи просто выдуманы, что их автор никогда не видел того образа и никогда не испытал тех чувств, которые там выражены. Но, отрицая поэтическое вдохновение, лучше вовсе не говорить о поэтах. А для признающих вдохновение и чувствующих его силу в этом произведении должно быть ясно, что в минуту творчества Пушкин действительно испытал то, что сказалось в этих стихах; действительно видел гения чистой красоты, действительно чувствовал возрождение в себе божества. Но эта идеальная действительность существовала для него только в минуту творчества. Возвращаясь к жизни, он сейчас же переставал верить в пережитое озарение, сейчас же признавал в нем только обман воображения - "нас возвышающий обман" {5}, но все-таки обман и ничего более. Те видения и чувства, которые возникали в нем по поводу известных лиц или событий и составляли содержание его поэзии, обыкновенно вовсе не связывались с этими лицами и событиями в его текущей жизни, и он нисколько не тяготился такою бессвязностью, такою непроходимою пропастью между поэзией и житейской практикой.

Действительность, данная в житейском опыте, несомненно находится в глубоком противоречии с тем идеалом жизни, который открывается вере, философскому умозрению и творческому вдохновению. Из этого противоречия возможны три

185

определенные исхода. Можно прямо отречься от идеала как от пустого вымысла и обмана и признать факт, противоречащий идеальным требованиям как окончательную и единственную действительность. Это есть исход нравственного скептицизма и мизантропии - взгляд, который может быть почтенным, когда искренен, как, например, у Шекспира Тимона Афинского {6}, но который не выдерживает логической критики. В самом деле, если бы дурная действительность была единственной настоящей, то как возможно было бы для человека тяготиться этой единственной своею действительностью,

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
порицать и отрицать ее? Ведь такая оценка предполагает _сравнение с
другим_. Существо, находящееся в однородной среде, – например, человек в
надземной атмосфере или рыба в воде, – не чувствует давления этой среды.
Когда истинный мизантроп действительно страдает от нравственной негодности
человеческой среды, то он тем самым свидетельствует о подлинной силе
идеала, живущего в нем, – его страдание есть уже начало другой, лучшей
действительности.

Второй исход из противоречия между идеалом и дурною действительностью есть _донкихотство_, при котором идеальные представления до такой степени
овладевают человеком, что он совершенно искренно или не видит
противоречащих им фактов, или считает эти факты за обман и призрак. При
всем благородстве такого идеализма его несостоятельность не требует
пояснений после сатиры Сервантеса.

Третий и, очевидно, нормальный исход, который можно назвать _практическим идеализмом_, состоит в том, чтобы, не закрывая глаз на дурную сторону
действительности, но и не возводя ее в принцип, во что-то безусловное и
бесповоротное, _замечать в том, что есть, настоящие зачатки или задатки
того, что должно быть_, и, опираясь на эти хотя недостаточные и неполные,
но тем не менее действительные проявления добра, как уже существующего,
данного, помогать сохранению, росту и торжеству этих добрых начал и через
то все более и более сближать действительность с идеалом и в фактах низшей
жизни воплощать откровения высшей. Такой практический идеализм одинаково
применим и обязателен как для общественных, так и для частных, и даже самых
интимных отношений. Если бы вместо того, чтобы тешиться преувеличенным
контрастом между "гением чистой красоты" и "авилонскою блудницею", поэт
остановился на тех действительных зачатках высшего достоинства, которые
должны же были заключаться в существе, внушившем ему хоть бы на одно
мгновение

186

такие чистые образы и чувства, если бы он не отрекся в повседневной жизни
от того, что видел и ощущал в минуту вдохновения, а решился сохранить и
умножить эти залоги лучшего и на них основать свои отношения к этой
женщине, тогда, конечно, вышло бы совсем другое и для него, и для нее, и
вдохновенное его стихотворение имело бы не поэтическое только, но и
жизненное значение. А теперь, хотя художественная красота этих стихов
остается при них, но нельзя, однако, находить совершенно безразличным при
их оценке то обстоятельство, что в реальном историческом смысле они, с
точки зрения самого Пушкина, дают только лишнее подтверждение Аристотелевых
слов, что "поэты и лгут много".

Все возможные исходы из противоречия между поэтическим идеалом и житейской
действительностью остались одинаково чуждыми Пушкину. Он не был, к счастью,
ни мизантропом, ни дон-Кихотом и, к несчастью, не умел или не хотел стать
практическим идеалистом, действительным служителем добра и исправителем
действительности. Он с полной ясностью отмечал противоречие, но как-то
легко с ним мирился: указывая на него как на факт и прекрасно его
характеризуя (например, в стихотворении "Пока не требует поэта" {7}), он
даже не подозревал – до своих последних, зрелых лет, – что в этом факте есть
задача, требующая решения. Резкий разлад между творческими и житейскими
мотивами казался ему чем-то окончательным и бесповоротным, не оскорбляя
нравственного слуха, который, очевидно, был менее чутким, нежели слух
поэтический.

Отношения к женщинам занимают очень большое место и в жизни, и в поэзии
Пушкина; и хотя не во всех случаях эти отношения давали ему повод к
апокалиптическим уподоблениям, но везде выступает непримиренная
двойственность между идеализмом творчества и крайним реализмом житейских
взглядов. В обширной переписке с женой мы не отыщем и намека на то
"богомольное благоговение перед святыней красоты", о котором говорится в
стихотворении к Наталии Николаевне Гончаровой {8}.

V

В Пушкине, по его собственному свидетельству, были два различные и не
связные между собою существа: вдохновенный жрец Аполлона и ничтожнейший из
ничтожных детей мира. Высшее существо выступило в нем не сразу,

его поэтический гений обнаруживался постепенно. В ранних его произведениях мы видим игру остроумия и формального стихотворческого дарования, легкие отражения житейских и литературных впечатлений. Сам он характеризует такое творчество как "изнеженные звуки безумства, лени и страстей". Но в легкомысленном юноше быстро вырастал великий поэт, и скоро он стал теснить "ничтожное дитя мира". Под тридцать лет решительно обозначается у Пушкина "смутное влеченье чего-то жаждущей души", неудовлетворенность игрою темных страстей и ее светлыми отражениями в легких образах и нежных звуках. – "Познал он глас иных желаний, познал он новую печаль". Он понял, что "служенье муз не терпит суеты", что "прекрасное должно быть величаво" {9}, т. е. что красота, прежде чем быть приятною, должна быть достойною, что красота есть только ощущительная форма добра и истины.

Если бы Пушкин жил в средние века, то, достигнув этого понимания, он мог бы пойти в монастырь, чтобы связать свое художественное призвание с прямым культом того, что абсолютно достойно. Ему легко было бы удалиться от мира, в исправление и перерождение которого он, как мы знаем, не верил. В тех условиях, в которых находился русский поэт XIX века, ему удобнее и безопаснее было избрать другой род аскетизма: он женился и стал отцом семейства. С этим благополучно прошел для него период необузданых чувственных увлечений, которые могли бы задавить неокрепший творческий дар, вместо того, чтобы питать его. Это искушение оказалось недостаточно сильным, чтобы одолеть его гений, он сумел вовремя положить предел безмерности своих низших инстинктов, ввести в русло свою материальную жизнь. "Познал он глас иных желаний, познал он новую печаль".

Но, становясь отцом семейства, Пушкин по необходимости теснее прежнего связывал себя с жизнью социальной, с тою общественной средою, к которой он принадлежал, и тут его ждало новое, более тонкое и опасное искушение.

Достигши зрелого возраста, Пушкин ясно сознал, что задача его жизни есть то служение, "которое не терпит суеты", служение тому прекрасному, которое "должно быть величавым". Так как он оставался в обществе, то его служение красоте неизбежно принимало характер общественного служения, и ему нужно было установить свое должное отношение к обществу.

Но тут Пушкин, вообще слишком даже разделявший поэзию с житейскими отношениями, не захотел отделить

законное сознание о своем высшем поэтическом призвании и о том внутреннем преимуществе перед другими, которое давал ему его гений, – не захотел он отделить это законное чувство своего достоинства как великого поэта, от личной мелкой страсти самолюбия и самомнения. Если своим гением Пушкин стоял выше других и был прав, сознавая эту высоту, то в своем самолюбивом раздражении на других он падал с своей высоты, становился против других, то есть на одну доску с ними, а через это терял и всякое оправдание для своего раздражения, – оно оказывалось уже только дурною страстью вражды и злобы.

VI

Самолюбие и самомнение есть свойство всех людей, и полное его истребление не только невозможно, но, пожалуй, и нежелательно. Этим отнимался бы важный возбудитель человеческой деятельности; это было бы опасно, пока человечество должно жить и действовать на земле.

В отеческих писаниях, – кажется, в Лимонарии св. Софрония, патриарха иерусалимского {10}, – я читал такой рассказ. К знаменитому подвижнику пришел начинаящий монах, прося указать ему путь совершенства. "Этюю ночью, – сказал старец, – ступай на кладбище и до утра восхваляй погребенных там покойников, а потом приди и скажи мне, как они примут твои хвалы". На другой день монах возвращается с кладбища: "Исполнил я твое приказание, отче! Всю ночь громким голосом восхвалял я этих покойников, величал их святыми, преблаженными отцами, великими праведниками и угодниками божиими, светильниками вселенной, кладезями премудрости, солью земли; приписал им все добродетели, о каких только читал в священном писании и эллинских книгах". – "Ну, что же? Как выразили они тебе свое удовольствие?" – "Никак,

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
отче: все время хранили молчание, ни единого слова я от них не услыхал". -
"Это весьма удивительно, сказал старец,- но вот что ты сделай: этой ночью
ступай туда опять и ругай их до утра, как только можешь сильнее; тут уж они
наверно заговорят". На следующий день монах опять возвратился с отчетом:
"Всячески поносил я их и позорил, называл псами нечистыми, сосудами
дьявольскими, богоотступниками; приравнивал их ко всем злодеям из Ветхого и
Нового завета от Каина-братоубийцы до Иуды-предателя, от Гивеонитов
неистовых и до Анании и Сапфирь - богообман

189

щиков, укорял их во всех ересях от Симоновой и Валентиновой до новоявленной
монофелитской {11}", - "Ну что же? Как же ты спасся от их гнева?" - "Никак,
отче! они все время безмолвствовали. Я даже ухо прикладывал к могилам, но
никто и не пошевельнулся". - "Вот видишь, - сказал старец, - ты поднялся на
первую ступень ангельского жития, которая есть послушание; вершины же этого
жития на земле достигнешь лишь тогда, когда будешь так же равнодушен и к
похвалам, и к обидам, как эти мертвые". Хотя для Пушкина также идеал
совершенства предполагал полное умерщвление самолюбия и самомнения:

Хвалу и клевету приемли равнодушно {12},

но требовать или ждать от него действительного осуществления такого идеала
было бы, конечно, несправедливо. Оставшись в миру, он отказался от практики
сверхмирского совершенства, и было бы даже жалко, если бы поэт светлой
жизни погнался за совершенством покойников.

Но можно и должно было требовать и ожидать от Пушкина того, что по праву
ожидается и требуется нами от всякого разумного человеческого достоинства, -
можно и должно было ждать и требовать от него, чтобы, оставаясь при своем
самолюбии и даже давая ему, при случае, то или другое выражение, он не
придавал ему существенного значения, не принимал его как мотив важных
решений и поступков, чтобы о страсти самолюбия он всегда мог сказать как и
о всякой другой страсти: я имею ее, а не она меня имеет. К этому, по
меньшей мере, обязывал Пушкина его гений, его служение величавой красоте,
обязывали, наконец, его собственные слова, когда, с укором обращаясь к
своему герою, он говорит, что тот

Был должен оказать себя

Не мячиком предрассуждений,

Не пылким мальчиком, бойцом,

Но мужем с честью и умом {13}.

Этой, наименьшей, обязанности Пушкин не исполнил.

VII

Допустив над своею душою власть самолюбия, Пушкин старался оправдать ее
чувством высшего призыва. Это фальшивое оправдание недостойной страсти
неизбежно ставило его в неправильное отношение к обществу, вызывало

190

и поддерживало в нем презрение к другим, затем отчуждение от них, наконец,
вражду и злобу против них.

Уже в сонете "Поэту" высота самосознания смешивается с высокомерием и
требование бесстрастия - с обиженным и обидным выражением отчуждения.

Ты - царь, живи один! {14}

Это взято, кажется, из Байрона: *the solitude of kings**. Но ведь одиночество
царей состоит не в том, что они живут одни, - чего, собственно, и не
бывает, - а в том, что они среди других имеют единственное положение. Это
есть одиночество горных вершин.

Монблан - монарх соседних гор:

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Они его венчали.

("Манфред" Байрона).

В этом смысле одинок и гений, и этого одиночества никто отнять не может, как нельзя отнять у Монблана его 14 000 футов высоты. Такое одиночество гения само собою разумеется, не нужно на него указывать или подчеркивать его. Но разве оно есть причина для презрения и отчуждения? И солнце одно на небе, но оно живет во всем, что оно живит, и никто не увидит в нем символ высокомерного обособления.

Не подобало такое высокомерие и солнцу нашей поэзии. К иным чувствам и взглядам призывало его не только сознание своей гениальности, но и сознание религиозное, которое с наступлением зрелого возраста пробудилось и выяснилось в нем. Прежнее его неверие было более легкомыслием, чем убеждением, и оно прошло вместе с другими легкомысленными увлечениями. То, что он говорил про Байрона, еще более применим к нему самому: "скептицизм сей был только временным своимравием ума, иногда идущего вопреки убеждению внутреннему, вере душевной".

В сознании своего гения и в христианской вере поэт имел двойную опору, слишком достаточную, чтобы держаться в жизни на известной высоте, недосягаемой для мелкой вражды, клеветы и сплетни, - на высоте, одинаково далекой от нехристианского презрения к ближним и от недостойного уподобления толпе. Но мы видим, что Пушкин постоянно колеблятся между высокомерным пренебрежением к окружающему его обществу и мелочным раздражением против него, выражаясь в язвительных личных выходках

* Одиночество короля (англ.).- Ред.

191

и эпиграммах. В его отношении к неприязненным лицам не было ничего ни гениального, ни христианского, и здесь - настоящий ключ к пониманию катастрофы 1837 года.

VIII

По мнению самого Пушкина, повторяемому большинством критиков и историков литературы, "свет" был к нему враждебен и преследовал его. Та злая судьба, от которой будто бы погиб поэт, воплощается здесь в "обществе", "свете", "толпе", - вообще в той пресловутой среде, роковое предназначение которой только в том, кажется, и состоит, чтобы "заедать" людей.

При всей своей распространенности это мнение, если его разобрать, оказывается до крайности неосновательным. Над Пушкиным все еще тяготеет критика Писарева, только без ясности и последовательности этого замечательного писателя. Люди, казалось бы, прямо противоположного ему направления и относящиеся к нему и ко всему движению шестидесятых годов с "убийственным" пренебрежением, на самом деле применяют к своему кумиру -Пушкину - прием писаревской критики, только с другого конца и гораздо более нелепым образом. Писарев отрицал Пушкина потому, что тот не был социальным и политическим реформатором. Требование было неосновательно, но факт совершенно верен. Пушкин действительно не был таким реформатором. Терпеливые обожатели Пушкина, не покидая дурного критического метода - произвольных требований и случайных критериев, рассуждают так: Пушкин - великий человек, а так как наш критерий истинного величия дан в философии Ницше и требует от великого человека быть учителем жизнерадостной мудрости язычества и провозвестником нового или обновленного культа героев, то Пушкин и был таким учителем мудрости и таким провозвестником нового культа, за что и пострадал от косной и низменной толпы. Хотя требования здесь другие, чем у Писарева, но дурная манера предъявлять великому поэту свои личные или партийные требования - в существе та же самая. Критика Писарева может быть сведена к такому силлогизму: Maj*.: Великий поэт должен быть провозвестником радикальных идей; Min**.: Пушкин не был таким провозвестником; C.: ergo*** Пушкин был никуда не

192

годным пошляком. Здесь в заключении высказывается субъективная оценка, грубо неверная, но логически вытекающая из приложения к _действительному_ Пушкину произвольного мерила, взятого критиком, указывающим фактически верно, хотя совершенно некстати, на то, чего _в самом деле не было_ у нашего поэта.

Суждения новейших пушкинomanов могут быть, в свою очередь, выражены в таком силлогизме: Maj.: Великий поэт должен быть воплощением ницшеанских идей; Min.: Пушкин был великий поэт; C.: ergo - Пушкин был воплощением ницшеанских идей. Формально этот силлогизм так же правилен, как и писаревский, но вы видите _существенную_ разницу в пользу покойного критика: там в заключении выражалась только ложная _оценка_, здесь же утверждается _ложный факт_. Ведь Пушкин в действительности так же мало воплощал ницшеанскую теорию, как и практический радикализм. Но Писарев, подводя Пушкина под мерку радикальных тенденций, ясно видел и откровенно объявлял, что он под нее _не_ подходит, тогда как новейшие панегиристы пушкинской поэзии, прикидывая к этому здоровому, широкому и вольному творчеству ломаный аршин ницшеанского психопатизма, настолько слепы, что уверяют себя и других в полной успешности такого измерения.

Дело не в собственных взглядах того или другого критика. И писаревская, и ницшеанская точка зрения могут иметь свою относительную законность. Но дело в том, что в настоящем историческом Пушкине обе эти точки зрения не имеют для себя никакого действительного приложения, и потому обусловленные ими суждения о поэте просто бессмысленны. Мы можем преклоняться перед трудолюбием и искусством муравьев или восхищаться красотою павлиньего хвоста, но нельзя на этом основании бранить жаворонка за то, что он не строит муравейника, и еще менее позволительно с восторгом восхлицать: какой великолепный павлинин хвост у этого жаворонка!

К фальшивой оценке Пушкина как учителя древней мудрости и пророка новой или обновленной античной красоты привязывается (довольно искусственно и нескладно) давнишний взгляд на его гибель как на роковое следствие его столкновения с враждебно общественною средой. Но общественная среда враждует обыкновенно с теми людьми, которые хотят ее исправлять и перерождать. У Пушкина такого желания не было; он решительно отклонял от себя всякую преобразовательную задачу, которая, действительно, вовсе не шла бы к нему. При всем различии натур и характе

193

ров, Пушкин все-таки был более похож на Гете, чем на Сократа, и отношение к нему официальной и общественной русской среды было более похоже на отношение Германии к веймарскому олимпийцу, нежели на отношение афинской демократии к Сократу,- да и Сократ мог свободно прожить среди этой демократии до семидесятилетнего возраста.

Вообще, столкновение лица с обществом должно быть слишком принципиально глубоким, чтобы делать кровавую связку безусловно необходимою, объективно неизбежною. Во всей истории человечества это случилось, кажется, не более одного раза, да и спор шел, собственно, не между лицом и обществом, а между богом и "князем мира сего". Впрочем, насколько мне известно, даже самые ярые панегиристы Пушкина не вспоминали о Голгофе по поводу его дуэли; и действительно, несчастный поэт был менее всего близок к Христу тогда, когда стрелял в своего противника.

Пушкина будто бы не признавали и преследовали! Но _что же_, собственно, не признавалось в нем, что было предметом вражды и гонений? Его художественное творчество? Едва ли, однако, во всемирной литературе найдется другой пример великого писателя, который так рано, как Пушкин, стал общепризнанным и популярным в своей стране. А говорить о гонениях, которым будто бы подвергался наш поэт, можно только для красоты слога.

Если несколько лет невольного, но привольного житья в Кишиневе, Одессе и собственном Михайловском - есть гонение и бедствие, то как же мы назовем бессрочное изгнание Данте из родины, тюрьму Камоэнса, объявленное

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
сумасшествие Тасса, нищету Шиллера, остракизм Байрона, которому Достоевского
и т. д.? Единственное бедствие, от которого серьезно страдал Пушкин, была
тогдашняя цензура; но, во-первых, это была общая судьба русской литературы,
а во-вторых, этот "тяжкий млат, дробя стекло, кует булат" {15}, и,
следовательно, для великих писателей менее страшен, чем для прочих. Внешние
условия Пушкина, несмотря на цензуру, были исключительно счастливыми. Во
всяком случае, можно быть уверенным, что в тогдашней Англии ему за его
ранние "вольности" досталось бы от общества гораздо больше, чем в России от
правительства, как это ясно видно на примере Байрона {16}. Когда говорят о
вражде светской и литературной среды к Пушкину, забывают о его
многочисленных и верных друзьях в этой самой среде. Но почему же "свет"
более представлялся тогда Уваровым или Бенкендорфом, чем Карамзиными,
Виельгурскими, Вяземскими и т. д.? И кто были предста

194

вители русской литературы: Жуковский, Гоголь, Баратынский, Плетнев или же
Булгарин? Едва ли был когда-нибудь в России писатель, окруженный таким
блестящим и плотным кругом людей понимающих и сочувствующих.

IX

Как поэт, Пушкин мог быть вполне доволен своим общественным положением: он
был всероссийской знаменитостью еще при жизни. Конечно, между его
современниками в России были и такие, которые отрицали его художественное
значение или недостаточно его понимали. Но это были вообще люди {17},
эстетически до него не дорошившие, что было так же неизбежно, как и то, что
люди совсем неграмотные не читали его сочинений. Обижаться и негодовать в
одном случае было бы так же странно, как и в другом. И на самом деле,
Пушкин обижался и негодовал на общество не за это, не за эстетическую
тупость людей малообразованных, а за холодность и неприязненность к нему
многих лиц из тех двух кругов, к которым он принадлежал, светского и
литературного. Но эта неприязненность, доходившая иногда до прямой
враждебности, относилась, главным образом, не к поэту, не к жрецу Аполлона,
а лишь к тому, кто иногда, по собственному признанию, между детей ничтожных
мира бывал, может быть, всех ничтожнее {18}. В общественной среде Пушкина
были, конечно, как и во всякой другой среде, злостные глупцы и негодяи, для
которых превосходство ума и дарования нестерпимо само по себе. Вражда этих
людей, возбуждаемая силой Пушкина, могла, однако, держаться и действовать
только через его слабости. Он сам давал ей пищу и толкал в лагерь своих
врагов и таких людей, которые не были злостными глупцами и негодяями.

Главная беда Пушкина были эпиграммы. Между ними есть, правда, высшие
образцы этого невысокого, хотя законного рода словесности, есть настоящие
золотые блестки добродушной игривости и веселого остроумия; но многие
другие ниже поэтического достоинства Пушкина, а некоторые ниже
человеческого достоинства вообще и столько же постыдны для автора, сколько
оскорбительны для его сюжетов. Когда, например, почтенный ученый,
оставивший заметный след в истории своей науки и ничего худого не
сделавший, характеризуется так:

Клеветник без дарованья,

Палок ищет он чутьем

И дневного пропитанья

Ежемесячным враньем {19},

195

то едва ли самый пламенный поклонник Пушкина увидит здесь ту "священную
жертву", к которой "требует поэта Аполлон". Ясно, что тут приносилось в
жертву только личное достоинство человека, что требовал этой жертвы не
Музагэт, а демон гнева, и что нельзя было ожидать, чтобы жертва чувствовала
при этом благовещение к своему словесному палачу.

Таких недостойных личных выходок, иногда, как в приведенном примере, вовсе
чуждых поэтического вдохновения, а иногда представлявших злоупотребление
поэзией, у Пушкина, к несчастью, было слишком много даже и в последние его
годы. Одна из них создала скрытую причину враждебного действия, приведшего

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org поэта к окончательной катастрофе. Это - известное стихотворение "На выздоровление Лукулла", очень яркое и сильное по форме, но по смыслу представлявшее лишь грубое личное злословие насчет тогдашнего министра народного просвещения Уварова.

По свидетельству большинства современников, личный характер Уварова не мог вызывать сочувствия. Но обличение чьих-нибудь личных недостатков не есть задача поэзии, хотя бы сатирической. А в публичной своей деятельности Уваров имел большие заслуги: из всех русских министров народного просвещения он был, без сомнения, самый просвещенный и даровитый, и деятельность его самая плодотворная. Для серьезной сатиры, внушенной интересом общественным, Уваров не давал повода, и, в самом деле, Пушкин обличает только частный характер министра, и его обличение представляет скорее пасквиль, нежели сатирическую работу {20}. Но и правильная сатира, нападающая на общее и публичное зло, не подобала уже тому поэту, который ранее торжественно объявил, что ему нет дела до общественной пользы, и что борьба с публичным злом есть дело полиции, а не поэзии:

В градах ваших с улиц шумных
Сметают сор,- полезный труд!
Но, позабыв свое служенье,
Алтарь и жертвоприношенье,
Жрецы ль у вас метлу берут? {21}

Если ради внешней красоты стихов "На выздоровление Лукулла" можно извинить их написание и сообщение близким друзьям, то обнародование их через напечатание в журнале не имеет никакого оправдания.

Между тем такому влиятельному и не очень разборчивому в средствах человеку, как Уваров, легко было стать скрытым

196

руководителем и вдохновителем множества других лиц, оскорбленных поэтом, и устроить против него деятельный заговор злоречия, сплетни и интриги. Цель была - непрерывно раздражать и дразнить его и этим довести до поступков, которые сделали бы его положение в петербургском обществе невозможным. Но разве не в его власти было помешать достижению этой цели, рассчитанной только на его нравственную слабость?

Х

Дурное дело обиды, для которого Пушкин злоупотреблял своим талантом и унижал свой гений, было так естественно и потому легко для его врагов. Они были тут в своей сфере, исполняли свою роль; для них не было падения, падение было только для Пушкина. На низменной почве личной злобы и вражды все выгоды были на их стороне, их победа была здесь необходима. Но разве необходимо было Пушкину оставаться до конца на этой ему несвойственной, мучительной и невыгодной почве, на которой всякий шаг был для него падением? Враги Пушкина не имеют оправдания; но тем более его вина в том, что он спустился до их уровня, стал открытым для их низких замыслов. Глухая борьба тянулась два года, и сколько было за это время моментов, когда он мог одним решением воли разорвать всю эту паутину, поднявшись на ту доступную ему высоту, где неуязвимость гения сливалась с незлобием христианина.

Нет такого житейского положения, хотя бы возникшего по нашей собственной вине, из которого нельзя бы было при добром воле выйти достойным образом. Светлый ум Пушкина хорошо понимал, чего от него требовали его высшее призвание и христианские убеждения; он знал, что должно делать, но он все более и более отдавался страсти оскорбленного самолюбия с ее ложным стыдом и злобною мстительностью.

Потерявши внутреннее самообладание, он мог еще быть спасен постороннею помощью. После первой несостоявшейся дуэли его с Геккерном император Николай Павлович взял с него слово, что в случае нового столкновения он предупредит государя. Пушкин дал слово, но не исполнил его. Ошибочно

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
уверившись, что непристойное анонимное письмо писано тем же Геккерном, он
послал ему (через его отца) свой второй вызов в таком изысканно
оскорбительном письме, которое делало кровавый исход неизбежным. Между тем
при

197

крайней степени своего раздражения Пушкин не дошел все-таки до того состояния, в котором прекращается вменяемость поступков и в котором данное им слово могло быть просто забыто. После дуэли у него найдено было письмо к графу Бенкendorфу с изложением его нового столкновения, очевидно для передачи государю. Он написал это письмо, но не захотел отправить его. Он думал, что чей-то пошлый и грязный анонимный пасквиль может уронить его честь, а им самим сознательно нарушаемое слово - не может. Если он был тут "невольником", то не "невольником чести", как назвал его Лермонтов, а только невольником той страсти гнева и мщения, которой он весь отдался.

Не говоря уже об истинной чести, требующей только соблюдения внутреннего нравственного достоинства, недоступного ни для какого внешнего посягательства, - даже принимая честь в условном значении согласно светским понятиям и обычаям, анонимный пасквиль ничьей чести вредить не мог, кроме чести писавшего его. Если бы ошибочное предположение было верно и автором письма был действительно Геккерн, то он тем самым лишал себя права быть вызванным на дуэль, как человек, поставивший себя своим поступком вне законов чести; а если письмо писал не он, то для вторичного вызова не было никакого основания. Следовательно, эта несчастная дуэль произошла не в силу какой-нибудь для Пушкина необходимости, а единственно потому, что он решил покончить с ненавистным врагом.

Но и тут еще не все было потеряно. Во время самой дуэли раненный противником очень опасно, но не безусловно смертельно, Пушкин еще был господином своей участи. Во всяком случае, мнимая честь была удовлетворена опасною раною. Продолжение дуэли могло быть делом только злой страсти. Когда секунданты подошли к раненому, он поднялся и с гневными словами: "Attendez, je me sens assez de force pour tirer mon coup!"* - недрожащею рукою выстрелил в своего противника и слегка ранил его. Это крайнее душевное напряжение, этот отчаянный порыв страсти окончательно сломил силы Пушкина и действительно решил его земную участь. Пушкин убит не пулею Геккерна, а своим собственным выстрелом в Геккерна {22}.

* Подождите, у меня хватит силы на выстрел! (фр.) - Ред.

198

XI

Последний взрыв злой страсти, окончательно подорвавший физическое существование поэта, оставил ему, однако, возможность и время для нравственного перерождения. Трехдневный смертельный недуг, разрывая связь его с житейской злобой и суетой, но не лишая его ясности и живости сознания, освободил его нравственные силы и позволил ему внутренним актом воли перерешить для себя жизненный вопрос в истинном смысле. Что перед смертью в нем действительно совершилось духовное возрождение, это сейчас же было замечено близкими людьми {23}.

"Особенно замечательно то, - пишет Жуковский, - что в эти последние часы жизни он как будто сделался иной: буря, которая за несколько часов волновала его душу неодолимою страстью, исчезла, не оставив в ней следа; ни слова, ни воспоминания о случившемся". Но это не было потерей памяти, а внутренним повышением и очищением нравственного сознания и его действительным освобождением из плена страсти. Когда его товарищ и секундант Данзас, рассказывает кн. Вяземский, - желая выведать, в каких чувствах умирает он к Геккерну, спросил его: не поручит ли он ему чего-нибудь в случае смерти касательно Геккерна. "Требую, - отвечал он, - чтобы ты не мстил за мою смерть; прощаю ему и хочу умереть христианином".

Описывая первые минуты после смерти, Жуковский пишет: "Когда все ушли, я сел перед ним и долго один смотрел ему в лицо. Никогда на этом лице я не видал ничего подобного тому, что было на нем в эту первую минуту смерти..."

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Что выражалось на его лице, я сказать словами не умею. Оно было для меня так ново и в то же время так знакомо. Это не было ни сон, ни покой; не было выражение ума, столь прежде свойственное этому лицу; не было также и выражение поэтическое. Нет! какая-то важная, удивительная мысль на нем разливалась, что-то похожее на видение, на какое-то полное, глубоко удовлетворяющее знание. Всматриваясь в него, мне все хотелось у него спросить: что видишь, друг? И что бы он отвечал мне, если бы мог на минуту воскреснуть?"

Хотя нельзя угадать, какие слова сказал бы своему другу возродившийся через смерть великий поэт, но можно наверное отвечать за то, чего бы он не сказал. Он не сказал бы того, что твердят его неразумные поклонники, делающие из великого человека своего маленького идола. Он не сказал бы, что погиб от злой враждебной судьбы, не сказал бы,

199

что его смерть была бессмысленною и бесцельною, не стал бы жаловаться на свет, на общественную среду, на своих врагов; в его словах не было бы укора, ропота и негодования. И эта несомненная уверенность в том, чего бы он не сказал, — уверенность, которая не нуждается ни в каких доказательствах, потому что она прямо дается простым фактическим описанием его последних часов, — эта уверенность есть последнее благодеяние, за которое мы должны быть признательны великому человеку. Окончательное торжество духа в нем и его примирение с богом и с миром примиряют нас с его смертью: эта смерть не была безвременною.

— Как? — скажут, — а те дивные художественные создания, которые он еще носил в своей душе и не успел дать нам, а те сокровища мысли и творчества, которыми бы он мог обогатить нашу словесность в свои зрелые и старческие годы?

Какой внешний, механический взгляд! никаких новых художественных созданий Пушкин нам не мог дать и никакими сокровищами не мог больше обогатить нашу словесность.

XII

Мы знаем, что дуэль Пушкина была не внешнею случайностью, от него не зависевшую, а. прямым следствием той внутренней бури, которая его охватила и которой он отдался сознательно, несмотря ни на какие провиденциальные препятствия и предостережения. Он сознательно принял свою личную страсть за основание своих действий, сознательно решил довести свою вражду до конца, до дна исчерпать свой гнев. Один из его ближайших друзей, князь Вяземский, в том самом письме, в котором он описывает его христианскую кончину, обращаясь назад, к истории дуэли, замечает: "Ему нужен был кровавый исход". Мы не можем говорить о тайных состояниях его души; но два явные факта достаточно доказывают, что его личная воля бесповоротно определилась в этом отношении и уже не была доступна никаким житейским воздействиям, — я разумею: нарушенное слово императору и последний выстрел в противника.

В том внутреннем состоянии, о котором мы вправе заключать из этих двух фактов, даже рана его самого или Геккерна не могла бы укротить его душевную бурю и переменить его решимость довести дело до конца. При такой решимости, которая была несомненна для друзей, дуэль

200

могла иметь только два исхода: или смерть самого Пушкина, или смерть его противника. Для иных поклонников поэта второй исход представлялся бы справедливым и желательным. Зачем убит гений, а ничтожный человек остался в живых? Как же это, однако? Неужели с этой "успешною" дуэлью на душе Пушкин мог бы спокойно творить новые художественные произведения, озаренные высшим светом христианского сознания, до которого он уже раньше достиг?

Делать предположения, забывая о действительной природе и собственных взглядах человека, составляющего их предмет, есть ребяческая забава. Пусть эстетическое идолопоклонство ставит себя выше различия между добром и злом, но какое же это имеет отношение к действительному Пушкину, который никогда на эту точку зрения не становился, а под конец пришел к положительным христианским убеждениям, прямо не допускающим такого безразличия? Если

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Пушкин в зрелом возрасте стал уже тяготиться противоречием между требованиями поэзии и требованиями житейской суеты, то каким же образом мог бы он примириться с гораздо более глубоким противоречием между служением высшей красоте, священной и величавой, и фактом убийства из-за личной злобы?

Мы не создаем Пушкина по своему образу и подобию, а берем действительно Пушкина с его действительным характером и с теми убеждениями и взглядами, которые действительно сложились у него к этому времени. Уже в шестой главе "Евгения Онегина" есть ясное указание на то, как далеко был бы поэт от безразличия, если бы ему пришлось убить на дуэли хотя бы ненавистного и презренного врага:

Приятно дерзкой эпиграммой

Взбесить оплошного врага... - и т. д.

_Но отослать его к отцам

Едва ль приятно будет вам_{24}.

Так говорил еще не перегоревший в юных страстих автор "Евгения Онегина"; что бы сказал возмужалый автор "Пророка" и "Отцы пустынники и жены непорочны" {25}? добровольно отдавшись злой буре, которая его увлекала, Пушкин _мог_ и _хотел_ убить человека, но с действительною смертью противника вся эта буря прошла бы мгновенно и осталось бы только сознание о бесповоротно совершившемся злом и безумном деле. У кого с именем Пушкина соединяется действительный духовный образ поэта в его зрелые годы, тот согласится, что конец этой добровольной с его стороны,

201

им самим вызванной, дуэли - смертью противника - был бы для Пушкина во всяком случае жизненною катастрофою. Не мог бы он с такою тяжестью на душе по-прежнему привольно подниматься на вершины вдохновения для "звуков сладких и молитв"; не мог бы он с кровью нечистой человеческой жертвы на руках приносить _священную жертву_ светлому божеству поэзии; для нарушителя нравственного закона нельзя уже было чувствовать себя _царем_ над толпою и для невольника страсти - свободным _пророческим глаголом_ жечь сердца людей. При той высоте духа, которая была ему доступна и которую так явно открыли его последние мгновения, легких и дешевых расчетов с совестью не бывает.

Для примирения с собою Пушкин мог отречься от мира, пойти куда-нибудь на Афон, или он мог избрать более трудный путь невидимого смирения, чтобы искупить свой грех в той же среде, в которой его совершил и против которой был виноват своюю нравственною немощью, своим недостойным уподоблением ничтожной толпе {26}. Но так или иначе,- под видом ли духовного или светского подвижника,- во всяком случае Пушкин после катастрофы жил бы только для дела личного душеспасения, а не для прежнего служения чистой поэзии. Прежде в простой и открытой душе поэта полнота жизненных впечатлений кристаллизовалась в прозрачную "объективную" призму, где сходивший на него в минуты вдохновения белый луч творческого озарения становился живою радугою. Но такой лучезарный, торжествующий характер поэзии имел неизбежно соответствующее ему основание в душевном строе поэта - ту непосредственную созвучность с всемирным благим смыслом бытия, ту жизнерадостную и добродушную ясность, все те свойства, которыми отличался Пушкин до катастрофы и которых он не мог сохранить после нее. При том исходе дуэли, которого бы желали иные поклонники Пушкина, поэзия ничего бы не выиграла, а поэт потерял бы очень много: вместо трехдневных физических страданий ему пришлось бы многолетнею нравственною агонией достигать той же окончательной цели: своего духовного возрождения {27}. Поэзия сама по себе не есть ни добро, ни зло: она есть _цветение_ и _сияние_ духовных сил - добрых или злых. У ада есть свой мимолетный цвет и свое обманчивое сияние. Поэзия Пушкина не была и не могла быть таким цветом и сиянием ада, а сохранить и возвести на новую высоту добрый смысл своей поэзии он уже не мог бы, так как ему пришлось бы всю душу свою положить на внутреннее нравственное при

202

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
мирение с потерянным в кровавом деле добром. Не то чтобы дело дуэли само по себе было таким ужасным злом. Оно может быть извинительно для многих, оно могло быть извинительно для самого Пушкина в пору ранней юности. Но для Пушкина 1837 г., для автора "Пророка", убийство личного врага, хотя бы на дуэли, было бы нравственною катастрофою, последствия которой не могли бы быть исправлены "между прочим", в свободное от литературных занятий время, - для восстановления духовного равновесия потребовалась бы вся жизнь.

Все многообразные пути, которыми люди, призванные к духовному возрождению, действительно приходят к нему, в сущности, сводятся к двум: или путь внутреннего, перелома, внутреннего решения лучшей воли, побеждающей низшие влечения и приводящей человека к истинному самообладанию; или путь жизненной катастрофы, освобождающей дух от непосильного ему бремени одолевших его страстей. Беззаветно отдавшись своему гневу, Пушкин отказался от первого пути и тем самым избрал второй, - и неужели мы будем печалиться о том, что этот путь не был отягощен для него виною чужой смерти и что духовное очищение могло совершиться в три дня?

Вот вся судьба Пушкина. Эту судьбу мы по совести должны признать, во-первых, доброю, потому что она вела человека к наилучшей цели - к духовному возрождению, к высшему и единственно достойному его благу; а во-вторых, мы должны признать ее разумною, потому что этой наилучшей цели она достигла простейшим и легчайшим в данном положении, т. е. наилучшим способом {28}. Судьба не есть произвол человека, но она не может управлять человеческою жизнью без участия собственной воли человека, а при данном состоянии воли этого человека то, что с ним произошло, должно было произойти и есть самое лучшее из того, что вообще могло бы с ним произойти, т. е. кажется возможным.

Природа судьбы вообще и, следовательно, судьба всякого человеческого существа не объясняется вполне тем, что мы видим в судьбе такого особенного человека, как Пушкин: нельзя химический анализ Нарзана принимать всецело за анализ всякой воды. Как в Нарзане есть то, чего нет ни в какой другой воде, так, с другой стороны, для полного отчета о составе нашей невской воды приходится принимать во внимание такие осложнения, каких не найдется ни в Нарзане, ни в каком-либо другом целебном источнике. Но все-таки мы, наверно, найдем и в Неве, и в Нарзане, и во

203

всякой другой воде основные вещества - водород и кислород, - без них никакой воды не бывает. При всей своей особенности судьба Пушкина показывает нам - лишь с большею яркостью - те основные черты, которые мы отыщем, если захотим и сумеем искать, во всякой человеческой судьбе, как бы она ни была осложнена или, напротив, упрощена. Судьба вообще не есть простая стихия, она разлагается на два элемента: высшее добро и высший разум, и присущая ей необходимость есть преодолевающая сила разумно-нравственного порядка, независимого от нас по существу, но воплощающегося в нашей жизни только чрез нашу собственную волю. А если так, то я думаю, что темное слово "судьба" лучше нам будет заменить ясным и определенным выражением - пророчество божие.

204

КОММЕНТАРИИ: СУДЬБА ПУШКИНА

Впервые (с сокращениями) напечатана в "Вестнике Европы", 1897, № 9, с. 131-156. В настоящем издании печатается полностью по изд.: Соловьев В. С. Собр. соч.: В 10 т. Т. 9. С. 33-60.

Для Соловьева статья была естественным развитием давних размышлений об основах христианской этики, о личной нравственной ответственности человека. В данном аспекте к пушкинской теме он обратился в 1896 г. в статье "Памяти императора Николая I", где, в полном противоречии с передовой общественной традицией (равно как и с заветами отца), утверждал, что в Николае I "таилось ясное понимание высшей правды и христианского идеала, поднимавшее его над уровнем не только тогдашнего, но и теперешнего сознания. Не перед одною же внешнею силой преклонился гений Пушкина и не одна грандиозность привязала к государю сердце поэта!.." Соловьев особо останавливается на мотивах "прощения", которое царь дал умирающему поэту. Пушкин, полагал Соловьев, дрался на дуэли, не сдержав честного слова, данного императору:

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
"Если бы Пушкин исполнил данное им слово, Россия не потеряла бы своей лучшей славы и великодушному Государю не пришлось бы оплакивать вместе с гибелью поэта и свое рыцарское доверие к человеку. Было здесь, что прощать, и есть в этом деле, за что помянуть вечною памятью императора Николая I!"
(VII, 377 378).

В том же 1896 г. Соловьев опубликовал статью "Нравственная организация человечества" (Вопросы философии и психологии, 1896. № 34 (4)), которая составила затем XIX главу "Оправдания добра". Здесь он дал высочайшую оценку роли Пушкина в развитии русского национального сознания: "Россия решительно подтвердила свое исповедание христиан

398

ского универсализма, когда в самую важную и славную эпоху своей новой истории окончательно вышла из национальной замкнутости и явила себя живым членом международного целого. И только тогда раскрылась и национальная сила России в том, что до сих пор более всего значительно и ценно у нас не только для нас самих, но и для других народов: на мощном стволе "европеившейся" Петровской государственности вырос прекрасный цвет нашей глубокой, задумчивой и нежной поэзии. Русский универсализм – который так не похож на космополитизм, как язык апостолов на волапюк, – связан с именами Петра Великого и Пушкина: пусть же назовут другие, равные этим национальные русские имена!" (VIII, 467-468),

Статья "Судьба Пушкина" была воспринята русской общественностью как задевающая память поэта и вызвала немало печатных возражений. В самом "Вестнике Европы" против нее выступил А. Ф. Кони (Кони А. Ф. Нравственный облик Пушкина // Вестник Европы. 1899. № 10) Соловьев чувствовал себя уязвленным критическими отзывами, но прямо на них не отвечал. О статье Кони он писал Стасюлевичу: "...всякий печатный ответ на нее был бы перенесением личных чувств и страстей на литературу, – чего я не одобряю". Тогда, в октябре 1899 г., он работал над статьей о пушкинской поэзии и сообщал Стасюлевичу: "Мне совершенно необходимо будет коснуться вначале немногими словами и "Судьбы Пушкина", т. к. иначе мое неограниченное восхваление его поэзии может показаться (по необязательности логики для читателей) некоторою ретракцией моего прежнего взгляда на его характер и образ действий; что мое суждение об этом вовсе не относится к поэзии, никто ведь сам собой не примет во внимание... Я остаюсь при своем прежнем взгляде, как никем не опровергнутом" (Письма, 4, 81).

{1} Последняя строфа стихотворения Пушкина "Брожу ли я вдоль улиц шумных..." (1892).

{2} Из стихотворения "К***" ("Я помню чудное мгновенье...") (1825).

{3} Неточная цитата из письма Пушкина А. Н. Вульфу от 7 мая 1826 г.

{4} Соловьев полностью приводит стихотворение "Когда твои младые лета..." (1829).

{5} Из стихотворения "Герой" (1830).

{6} Герой одноименной трагедии Шекспира (1607 -1609).

{7} Первая строка стихотворения "Поэт" (1827).

{8} Имеется в виду сонет "Мадонна" (1830).

{9} Соловьев приводит строки из стихотворений "В часы забав иль праздной скучи..." (1830), "Когда б не смутное влечение..." (1833), "19 октября" (1825). Для обоснования своей мысли он не обращает внимания на время их написания.

{10} Иерусалимский патриарх Софоний (умер в 641 или 644 г.) был дружен с агиографом Иоанном Мосхом, автором "Лимонара", сборника жизнеописаний первых христианских подвижников.

{11} Гивеониты – жители города Гивы, известные своей нечестивостью

399

(напр., Ос. 9,9; 10, 9); Анания с женой Сапфирой (деян. 5, 1 -10) утаили деньги от апостолов, за что были наказаны; Симон - волхв (I в.), основатель гностически секты симониан, признанный раннехристианскими богословами родоначальником всех церковных ересей; Валентин (II в.) выдающийся гностический философ; монофелитство - ересь, сложившаяся в Византии VII в. (учение о двух природах, но одной воли и энергии у Христа).

{12} Из стихотворения "Я памятник себе воздвиг нерукотворный..."

{13} Стrophe X шестой главы "Евгения Онегина".

{14} Из сонета "Поэту" (1830).

{15} Из "Полтавы", песнь первая.

{16} далее до конца раздела следуют строки, отсутствующие в тексте "Вестника Европы".

{17} Начало фразы в "Вестнике Европы" читалось: "Но, помимо случаев личного раздражения, в которых виноват был сам Пушкин, его не ценили..."

{18} далее до конца абзаца текст в "Вестнике Европы" опущен.

{19} "Эпиграмма" (1821) направлена против издателя "Вестника Европы" М. Т. Каченовского.

{20} Стихотворение "на выздоровление Лукулла" (1835) своим появлением обязано именно публичной деятельности С. С. Уварова.

{21} Строки стихотворения "Поэт и толпа" (1828). у Пушкина: "Во градах....".

{22} Ключевая мысль Соловьева, вызвавшая почти всеобщее возмущение. Соловьева не удовлетворяла версия "духовного рикошета", он настаивал на буквальном понимании своих слов и был недоволен статьей С. М. Лукьянова, где опровергалось его утверждение. - См.: Лукьянов С. М. О последних днях жизни и смерти А. С. Пушкина с медицинской точки зрения // Известия Отделения русского языка и словесности имп. Академии наук. 1899. Т. 4. Кн. 3.; О н ж е. О вл. С. Соловьеве в его молодые годы. Кн. 1. С. 134-135.

{23} Ниже Соловьев цитирует известное письмо В. А. Жуковского С. Л. Пушкину от 15 февраля 1837 г. и письмо П. А. Вяземского к А. Я. Булгакову от 5 февраля 1837 г.

{24} Стrophe XXXIII шестой главы "Евгения Онегина".

{25} "Пророк" относится к 1826 г., "Отцы пустынники и жены непорочны..." - к 1836 г.; шестая глава "Евгения Онегина" написана в 1826 г. Вероятно, Соловьев отнес "Пророка" к более позднему периоду творчества Пушкина.

{26} В "Вестнике Европы" два последних слова заменены словом "ей".

{27} Следующего абзаца в журнальной публикации нет.

{28} далее в "Вестнике Европы" текст опущен, за исключением последних двух фраз статьи.

Значение поэзии в стихотворениях Пушкина

Владимир Сергеевич Соловьев

Значение поэзии в стихотворениях Пушкина

Комментарии доктора ист. наук Н.И. Цимбаева.

Сохранено деление на страницы, номер страницы издания проставлен в конце каждой страницы. Курсив в книге заменен на выделение двумя подчеркиваниями. Ссылки на комментарии заключены в {фигурные скобки}

В конце нынешнего юбилейного года, после того, как Пушкин освещался и рассматривался со всяких сторон, осталось еще сказать о нем разве только

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org как о поэте,- не потому, конечно, чтобы о пушкинской поэзии вовсе не говорилось при чествовании поэта, а потому, что о ней говорилось или слишком мало, или недостаточно принципиально, а то и слишком неладно*. В других отношениях эта столетняя годовщина не прошла бесследно, и было бы неблагодарностью не помянуть ее добрым словом. Кроме первого тома академического издания сочинений Пушкина, следует указать еще на очень важные, хотя и не бросающиеся в глаза данные для личной характеристики поэта - в биографических исследованиях Л. Н. Майкова о нескольких близких Пушкину лицах (особенно о его товарище Пущине и об А. П. Керн); затем - на чрезвычайно полный и обстоятельный труд Ф. Е. Корша об особенностях пушкинской версификации (по поводу вопроса об окончании "Русалки") {1}, интересный и в некоторых других отношениях; далее, по счастливому совпадению, в этом году вышел IV том обширной "Истории русской литературы" А. Н. Пыпина: значительная часть этого тома занята Пушкиным, с приложением полнейшей библиографии о нем. Из общих взглядов и рассуждений касательно Пушкина, кроме нескольких прекрасных юбилейных речей в Петербурге и в Москве (с одною из петербургских читатели "Вестника Европы" хорошо знакомы {2}), следует в особенности отметить только что появившуюся статью М. О. Меньшикова, защищающего Пуш

* Образцы неладных речей были мною показаны в заметке об "Особом чествовании Пушкина".

223

кина от "клеветы обожания"*. Правда, это заглавие, при всем своем остроумии, есть одна из немногих ошибок в талантливой и симпатичной статье Г. Меньшикова: клевета, как в юридическом, так и в житейском смысле, есть заведомо ложное, следовательно, злоумышленное приписывание кому-нибудь дурных свойств, ему не принадлежащих, или постыдных деяний, им не совершенных. Обожатели Пушкина, конечно, не клеветали и не могли клеветать на него, когда высказывали о нем свои чрезвычайно неосновательные, хотя весьма к нему благожелательные и, следовательно, никак не клеветнические суждения, и Г. Меньшиков правильнее бы выразил свой упрек словами: нерассудительность обожания, бессмыслица обожания и т. п. Ведь если бы какой-нибудь обожатель Петра Великого стал утверждать, что славнейшее дело этого государя есть суд над царевичем Алексеем, то состава клеветы тут не было бы, а была бы лишь нелепая оценка исторических фактов; или если бы чья-нибудь извращенная мысль подарила нас заявлением, что вся сила и красота солнца заключается в его пятнах, то и это была бы не клевета, а только глупость. Кроме неточности заглавия, автор этой примечательной статьи заслуживает упрека за неверную мысль о ненужности и зловредности Петербурга. Мнимая ошибка Петра Великого - действительная ошибка Г. Меньшикова. Впрочем, к этому антиисторическому и противопушкинскому взгляду мы еще вернемся.

Никто не скажет, конечно, чтобы и те вопросы касательно Пушкина, которые внимательно рассматривались в год его столетия, были исчерпаны; но менее всего это можно сказать об эстетической стороне дела, о значении пушкинской поэзии по существу. Поздние пришельцы на роскошное словесное пиршество этого года вместо ожидаемых - по латинской пословице - костей-, к удивлению своему, находят лучшее блюдо почти нетронутым. При всей должной скромности, трудно не воспользоваться таким счастливым случаем. Задачу эстетического обсуждения пушкинской поэзии я облегчил для себя тем, что заранее (более двух лет тому назад) рассмотрел с своей точки зрения важнейший из не-эстетических вопросов касательно Пушкина, именно вопрос о нравственном смысле той роковой катастрофы, которая прервала земную жизнь поэта, дав ему, впрочем, время для окончательного душевного очищения и просветления.

* Книжки "Недели", октябрь 1899 г.

224

Этический взгляд, изложенный в статье "Судьба Пушкина"** и сводящийся к тому простому положению, что гений обязывает, и что кому много дано, с того много и взыщется, вызвал общее неудовольствие и единогласное осуждение в

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org печати**. Но мотивы такого неудовольствия относились ко всему, что угодно, только не к тому, что было действительно мною высказано и что осталось совсем незатронутым в многочисленных статьях и заметках, появлявшихся в эти два года по поводу статьи "Судьба Пушкина". Не имея никакой разумной причины останавливаться на такой "критике" или в чем-нибудь изменять те мысли, которые встретили столько порицаний, но ни одного возражения, мало-мальски относящегося к делу, - я могу теперь, говоря о поэзии Пушкина, не возвращаться снова к вопросу о его личной судьбе. В тех случаях, когда мне придется по естественной связи предметов мимоходом коснуться и этого вопроса, читатели "Вестника Европы" позволят мне предполагать, что взгляд мой на дело им известен и не требует повторительного изложения.

I

Пушкинская поэзия есть поэзия по существу и _по преимуществу_, - не допускающая никакого частного и одностороннего определения. Самая _сущность поэзии_,- что, собственно, ее составляет или что поэтично само по себе,нигде не проявлялась с такою чистотою, как именно у Пушкина, - хотя были поэты сильнее его. В самом деле, признавать Пушкина поэтом по преимуществу еще не значит признавать его величайшим из поэтов. _Сила_ поэтического творчества может проистекать из разнородных источников, и самое чистое и полное выражение поэзии как такой может еще и не быть самым сильным и грандиозным. Не тревожа колоссальных теней Гомера и Данте, Шекспира и Гете,можно предпочитать Пушкину и Байрона и Мицкевича. _С известных сторон_ такое предпочтение не только понятно как личный вкус, но и требуется беспристрастно оценкой. И _все-таки_ Пушкин остается поэтом по преимуществу, более беспримесным,- чем все прочие,- выразителем чистой поэзии. То, чем Байрон и Мицкевич были _зна

* "Вестник Европы", сентябрь 1897 г. (в следующем году изд. отдельно).

** Точнее - почти единогласное: среди нескольких десятков бранных отзывов, попавшихся мне на глаза, я помню один не бранный.

225

читательнее_ его, вытекало не из существа поэзии как такой и не из поэтической стороны их дарования, а зависело от других элементов их душевной природы. Байрон превосходил Пушкина напряженною силой своего самочувствия и самоутверждения; это был более сосредоточенный ум и более могучий характер, что выражалось, разумеется, и в его поэзии, усиливая ее внушающее действие, делая из поэта "властителя дум". Мицкевич был больше Пушкина глубиною своего религиозного чувства, серьезностью своих нравственных требований от личной и народной жизни, высотою своих мистических помыслов, и главное - своим всегдашим стремлением покорять все личное и житейское тому, что он сознавал как безусловно должно, - и все это, конечно, звучало и в стихах Мицкевича,хотя бы и не имевших прямо религиозного содержания,- сообщая им особую привлекательность для душ, соответственно настроенных. Но как демоническое высокомерие Байрона, так и религиозная высота Мицкевича были такие их свойства, которые проявились бы так или иначе и в том случае, если бы эти два могучие человека не написали ни одной поэтической строки. А так как они были при том божию милостью и гениальные поэты, то господствующие стороны их личности, сверх своего общего значения, естественно нашли себе выражение и в их поэзии, хотя у Мицкевича стихотворения _намеренно_ религиозные, понятно слабее других; выражаясь в поэзии, эти особые элементы ведь не выражали ее собственной эстетической сущности. Байрон и Мицкевич _от себя привносили_ такое содержание, которое при всей своей значительности не было, однако, существенно, для поэзии как такой: один внес свой демонизм, другой - свою религиозную мистику. У Пушкина такого господствующего центрального содержания личности никогда не было; а была просто живая, открытая, необыкновенно восприимчивая и отзывчивая ко всему душа - и больше ничего. Единственно крупное и важное, что он знал за собою, был его поэтический дар; ясно, что он ничего общезначительного не мог _от себя_ заранее внести в поэзию, которая и оставалась у него _чистою поэзией_, получавшую свое содержание не извне, а из себя самой. Основной отличительный признак этой поэзии - ее _свобода_ от всякой предвзятой тенденции и от всякой претензии. Господствующая тенденция Мицкевича была высока и прекрасна; но когда она слишком явно выступает в его поэзии, она нарушает ее красоту; ведь потому и

226

Мицкевича, что поэт здесь почти не отступает от своей чисто поэтической задачи и настолько же приближается к Пушкину, насколько отдаляется от Байрона. А что касается до этого "властителя дум", то ведь он весь был как бы одною гигантскою претензией, обращенной к творцу и к творению. Никакой предвзятой, сознательной и преднамеренной тенденции и никакой претензии мы у Пушкина не встретим, если только будем смотреть на него прямо, если только сами подойдем к нему свободные от предвзятой тенденции и несправедливого притязания непременно высмотреть у поэта то, что для нас самих особенно приятно, получить от него не то, что он дает нам - поэтическую красоту - бог с ней совсем! - а то, что нам нужно от него: авторитетную поддержку в наших собственных помыслах и заботах. При сильном желании и с помощью вырванных из целого отдельных кусков и кусочков можно, конечно, приписать Пушкину всевозможные тенденции, даже прямо противоположные друг другу: крайне прогрессивные и крайне ретроградные, религиозные и вольнодумные, западнические и славянофильские, аскетические и эпикурейские. Довольно трудно разобрать, какой из двух оттенков наивного самолюбия преобладает здесь в каждом случае: желание ли сделать честь Пушкину причислением его к таким превосходным людям, как мы, или желание сделать честь себе чрез единомыслие с нами такого превосходного человека, как Пушкин.

На самом деле в радужной поэзии Пушкина - все цвета, и попытка окрасить ее в один сама себя обличает явными натяжками и противоречиями, к которым она приводит. Действительная разноцветность пушкинской поэзии бросается всякому в глаза, и внешний, поверхностный взгляд видит здесь бесодержательность, безыдейность, бесхарактерность. На язык просится выражение: хамелеон, - которое не звучит похвалою. Но какой разумный смысл может иметь такое суждение? Какого рода содержание требуется здесь от поэзии? Кажется, всякое, кроме только поэтического. Но если вы у химика будете искать богословских положений, а у богослова - химических опытов, то, конечно, найдете бесодержательным и того, и другого. С таким же приблизительно логическим правом можно требовать заранее от поэта определенного образа мыслей - религиозного, политического, социологического и т. д. Искать в поэзии непременно какого-то особенного, постороннего ей содержания - значит не признавать за нею ее собственного, а в таком случае стоит ли и толковать о поэзии? Логичнее

227

будет махнуть на них рукою, как на пустых и бесполезных людей.

Но есть в поэзии свое содержание и своя польза. Поэзия может и должна служить делу истины и добра на земле, - но только по-своему, только своюю красотою и ничем другим. Красота уже сама по себе находится в должном соотношении с истиной и добром, как их ощущительное проявление. Следовательно, не все действительно поэтическое - значит, прекрасное - будет тем самым содержательно и полезно в лучшем смысле этого слова.

Ни в чем, кроме красоты, настоящая поэзия не нуждается: в красоте ее смысл и ее польза. Правда, истекающий XIX век определился к своему концу как эпоха подделок. Подделываются молоко и вино. Но тут если не собственная стыдливость, то страх перед полицией и покупателями внушает виновным некоторую умеренность и приличие; ведь никакой фальсификатор не решится утверждать, что молоко и вино по самому назначению своему могут и должны быть бесполезны и даже вредны. Другое дело фальсификация красоты: этому "вольному художеству" закон не писан. Вечная красота объявляется старою красотою, и на ее руинах водружаются знамя новой красоты, на котором лица, похожие на разных героев не то Щедрина, не то Достоевского, пишут свои девизы: "Дерзай!", "Посягнем!", "Плюй на все и торжествуй!" Между старою и новою красотою - то различие, что первая жила в тесном естественном союзе с добром и правдой, а вторая нашла такой союз для себя не только излишним, но и прямо неподходящим, нежелательным. Тут всего любопытнее вот что: сначала объявляется, что красота свободна от противоположности добра и зла, истины и лжи, что она выше этого дуализма и равнодушна к нему, а под конец вдруг оказывается, что эта свобода и красота и божественное как будто беспристрастие к обеим сторонам незаметно

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org перешло в какую-то враждебность к одной стороне (именно правой: к истине и добру) и в какое-то неодолимое "влеченье - род недуга" к другой стороне (левой: к злу и лжи), - в какой-то пифизм, демонизм, сатанизм и прочие "новые красоты", в сущности столь же старые, как "черт и его бабушка" {3}.

Но почему я говорю тут о _подделке_? Разве нет в действительной жизни красивого зла, изящной лжи, эстетического ужаса? Конечно, есть; без этого нечем было бы и подделывать красоту. Но что же отсюда следует? Блеск олова по природе похож на блеск серебра, и желтая медь своим натуральным цветом напоминает золото; но если мне

228

поднесут оловянный полтинник или медный империал, то я, кажется, имею право назвать их фальшивыми. Действительные свойства ложной красоты даются природой, но выдавать ее за настоящую - это уже дело людей, и дело фальшивое. Такой обман, как всякий другой, обличается невыгодностью своих действий. И гнилушка светится, но такое освещение годится только для сов и филинов; и на болоте вспыхивают огоньки, но на таком огне не согреться и лягушкам.

Свет и огонь пушкинской поэзии шли не из гниющего болота. Ее неподдельная красота была внутренне нераздельна с добром и правдой. Может быть, семиствольная цевница, которую дала ему муга, была сделана из болотного тростника, но

Тростник был оживлен божественным дыханьем

И душу наполнял святым очарованьем {4}

и ничего не говорил о "новой красоте". Служителям последней приходится, таким образом, или насилино навязывать Пушкину свои вожделения, вовсе ему чуждые, или объявлять его поэзию бессодержательною, неинтересною, ненужною.

II

Настоящая чистая поэзия требует от своего жреца лишь неограниченной восприимчивости душевного чувства, чутко послушного высшему вдохновению. Ум, как начало самодеятельности в человеке, тут ни при чем. Лично Пушкин был бесспорно умнейший человек; блестящие искры его ума рассеяны в его письмах, записках, статьях, эпиграммах и т. д. Все это очень ценно, но не здесь _бесценное_ достоинство и значение Пушкина; он нам _безусловно_ дорог не своими _умными_, а своими _вдохновенными_ произведениями. Перед вдохновением ум молчит. Острый и ясный ум Пушкина в соединении с тонким вкусом, с верным словесным тактом и с широким литературным образованием - все это выступало вперед и вступало в свои права, когда исчезал "быстрый холод вдохновенья", когда приходилось окончательно обрабатывать, отделять по суждению ума то, что было сделано не от ума, а создано под высшим наитием. Не все, написанное Пушкиным, даже в стихах, принадлежит к пушкинской поэзии: ведь и человек, в высо

229

кой степени способный к вдохновению, не всегда испытывает его действие, когда берется за перо. Но если дело идет о настоящих пушкинских стихах, то всякий чуткий к поэзии читатель так же забудет про то, что Пушкин был умен, как и про то, что у него был изящный почерк. Ну, из какого ума мог выйти тот божественный вздох, которым живут и дышат вот такие простейшие и обыкновеннейшие слова {5}:

Еще кого не досчитались вы?

Кто изменил пленительной привычке?

Кого из вас увлек холодный свет?

Чей глас умолк на братской перекличке?

Кто не пришел? Кого меж нами нет?..

Искусство ума человеческого может из простой глины сделать прекраснейший

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
горшок, но вложить в глину живую душу – не его дело. И какой ум в
нескольких словах может воплотить такой захватывающий душу образ:

Сидишь ли ты в кругу друзей,
Чужих небес любовник беспокойный,
Иль снова ты проходишь тропик знойный,
И вечный лед полуночных морей?

.....

Ты простирал из-за моря к нам руку,
Ты нас одних в младой душе носил
И повторял: на долгую разлуку
Нас тайный рок, быть может, осудил...

Где же тут работа ума? Как можно _придумать_ эту гениальную простоту? Здесь веет "дух песен" из светлого отрочества, здесь воскресает материнская ласка Музы:

С младенчества дух песен в нас горел,
И дивное волненье мы познали;
С младенчества две Музы к нам летали,
И сладок был их лаской наш удел.

Но "дух песен" и "ласка Музы", это все – метафоры. Положим. Но вот совершенно трезвое, точное, можно сказать, научное, чуть не протокольное описание той наличной реальности, которую эти метафоры объясняют, а на иной взгляд – только затемняют. Вот простое описание самим поэтом его творческого процесса, – описание, подходящее, конечно, и к внутреннему опыту всех других поэтов, насколько они сами близки к Пушкину, как чистому поэту, – поэту по преимуществу. Первое условие: _полное уединение_, – и, к счастью, оно нередко выпадало на долю невольного и вольного изгнаника. Лучшее место – глухая

230

деревня; лучшее время – глухая осень – дни _поздней_ осени, когда...

Роняет лес багряный свой убор,
Сребрит мороз увянувшее поле...

Весною мешает смутное, физиологическое, а не поэтическое, волнение крови: "Я не люблю весны, весной я болен", – высшая сторона человеческой души тяготится материальною солидарностью с бессловесною природой, с растениями и животными. Летом тоже выступает, хотя с другой стороны, зависимость человека от внешней физической среды {6}:

Ох, лето красное, – любил бы я тебя,
Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи.
Ты, все душевые способности губя,
Нас мучишь; как поля, мы страждем от засухи;
Лишь как бы напоить, да освежить себя
Иной в нас мысли нет...

Наивность или эстетическое непонимание могут сказать: "Разве это серьезно? Разве можно придавать такое значение временам года? Откуда такая легкая

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
капитуляция духовной силы перед силою внешних влияний? Неужели, в самом деле, летней температуры в союзе с комарами да мухами достаточно, чтобы "губить все душевые способности" в великом поэте? Неужели его высокий ум не мог подняться над высотой термометра, а крылатый стих не мог унести его далеко от крылатых насекомых?" Конечно, мог,- да и поднимался, и уносился: разные эпиграммы, шутливые послания, альбомная лесть дамам и девицам,- все, что сочиняется умом с помощью формального стихотворческого искусства,- все это, наверное, Пушкин писал и летнею, весеннею порой; а вот настоящих-то своих чисто поэтических произведений - не писал. Если бы Пушкин в самом деле был только, или хотя главным образом, "огромный ум", то, конечно, этот огромный ум сумел бы освободиться от силы телесных воздействий и производил бы свое дело по собственным намерениям, независимо от впечатлений извне. Мог же Демосфен с камешками во рту ораторствовать над шумящим морем; мог же Архимед решать задачи механики под грохот неприятельского штурма. В ораторском искусстве, как и в точных науках, действует по преимуществу ум, активное, самодеятельное начало в человеке, которое, при известной степени силы и при соответственном

231

характере, может до некоторой степени успешно сопротивляться всяким телесным воздействиям. И если бы творения Пушкина были делом ума и формального словесного искусства, если бы он был только оратором в стихах, подобно Ломоносову или Ламартину, то, конечно, его ум был достаточно силен, чтобы производить свою работу независимо от изменений во внешней природе и от своих собственных телесных состояний. Но какой бы величины ни был ум Пушкина, настоящая пушкинская поэзия не была делом ума, а зависела от восприимчивости его души к воздействиям из над сознательной области; а восприимчивость к ним, во-первых, не имеет того характера самодеятельности, который принадлежит уму, а во-вторых, она глубже, теснее и разностороннее связана с материальною, физиологическою подкладкою человеческой жизни. Поэтому темные и смутные впечатления из внешней среды должны быть уже ослаблены и нейтрализованы в соответствующей им низшей, чувственной области душевной жизни, чтобы они не могли вторгаться в иную, высшую область, отвращая силы души от их лучшего назначения. Животные голоса в человеке должны затихнуть, умолкнуть, чувственная пестрота и яркость должны побледнеть, чтобы поэт мог слышать "божественные глаголы" и видеть "виденья первоначальных, лучших дней".

Но голоса животной природы - в самом человеке, как и вокруг него,- не молчат ни тогда, когда она весною, возбужденная, ликует и светло радуется новым приливам темной жизни, ни тогда, когда она, удрученная, изнывает и томится летним зноем. Вот причина той на первый взгляд странности, что кипучая и жизнерадостная душа Пушкина тяготилась не только красным летом, но и животворною весною. Как поэт жизни, он ощущал, конечно, и жизнь природы, но его крылатая поэзия не любила медлить на этих первых ступенях. Раскрытие поэтического смысла природной жизни Пушкин как бы предоставил своему глубокомысленному современнику - Тютчеву, а лирическую живопись ее явлений одному из главных птенцов своего "лебединого" гнезда - Фету. Поэзию же самого Пушкина тянуло от природы к жизни человеческой и отсюда - ввысь и вдаль. Усиленное биение земного пульса весною и летом тяготило его, мешало свободе его лучших вдохновений :

Сурою зимой я более доволен...

Но если зимний сон природы не нарушает тишины и уединения в деревне, то в обычной городской жизни является

232

тут новая помеха для творческих настроений - со стороны среды общественной: возбуждение низшей, страстной души "суетным светом", или "светскою суетой". Да и в деревне частая смена "жгучего" мороза с искусственным жаром волнуют кровь не хуже внешнего солнца. Всего лучше осень:

Унылая пора, очей очарованье,

Приятна мне твоя прощальная краса!

Люблю я пышное природыувяданье,

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
в багрец и золото одетые леса.

В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.

С увяданием природы расцветает в душе поэзия. Вот

...гаснет краткий день, и в камельке забытом

Огонь опять горит,- то яркий свет лиет,

То тлеет медленно; а я над ним читаю,

Иль думы долгие в душе моей питаю.

И _забываю мир_, и в сладкой тишине

я сладко усыплен моим воображеньем,

И _пробуждается поэзия во мне:

Душа стесняется лирическим волненьем,

Трепещет, и звучит, и ищет, как во сне,

Излиться, наконец, свободным проявлением._

И тут ко мне идет незримый рой гостей,

Знакомцы давние, плоды мечты моей.

И мысли в голове волнуются в отваге,

И рифмы легкие навстречу им бегут,

И пальцы просятся к перу, перо - к бумаге,

Минута и стихи свободно потекут.

Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге,

Но чу!.. матросы вдруг кидаются, ползут

Вверх, вниз - и паруса надулись, ветра полны:

Громада двинулась и рассекает волны:

Плынет... Куда ж нам плыть?

Этот отчет поэта о процессе своего творчества говорит сам за себя; никто, я полагаю, не усомнится в его полнейшей правдивости. Ну и что же тут описывается? Какие-нибудь тонкие изобретения и сложные комбинации огромного ума? Ничуть не бывало. Успение природы, успение телесной жизни в поэте - и пробуждение в нем поэзии не как деятельности ума, а как состояния души, охваченной лирическим волнением и стремящейся излиться в свободном проявлении - свободном, значит, не придуманном, не сочиненном. Тут поэт уже ничего не ищет: все - и звуки, и образы - приходят к нему само собой. Никакой преднамеренности и даже никакого предвидения: "Плынет... Куда

ж нам плыть?"

233

Правдивое описание настоящего творчества прекрасно оттеняется в другом стихотворении таким же описанием безнадежно-тщетной попытки намеренного сочинительства в поэзии:

Беру перо, сижу, насильно вырываю
У музы дремлющей несвязные слова.
Ко звуку звук... Теряю все права
Над рифмой, над моей прислужницею странной:
Стих вяло тянется, холодный и туманный...
Усталый, с лирою я прекращаю спор {7}.

III

Поэт не волен в своем творчестве. Это - первая эстетическая аксиома. Так называемая "свобода творчества" не имеет ничего общего с так называемою "свободой воли". Как ясно из гениально простого свидетельства Пушкина, творчество свободно никак не в том смысле, чтобы ум поэта мог по своей воле, по своему заранее обдуманному выбору и намерению создавать поэтические произведения. Такие сочинения могут быть только подделками под поэзию, настоящий же поэт, когда и захочет насиливать свою музу, проявить над ней свою свободу воли и творчества - не может, и из этих попыток совсем ничего не выходит. Настоящая же свобода творчества имеет своим предварительным условием пассивность, чистую потенциальность ума и воли, - свобода тут принадлежит прежде всего тем поэтическим образам, мыслям и звукам, которые сами, свободно приходят в душу, готовую их встретить и принять. И сама поэтическая душа свободна в том смысле, что в минуту вдохновения она не связана ничем чуждым и противным вдохновению, ничему низшему не послушна, а повинуется лишь тому, что в нее входит или приходит к ней из той над-сознательной области, которую сама душа тут же признает иною, вышею, а вместе с тем своею, родною. В мире поэзии душа человеческая не является как начало деятельного самоопределения, - здесь она определяется к действию тем, что _в ней лучше ее_ и что открывается сознанию лишь в самой действительности, только через самый опыт поэтических явлений, как чего-то данного свыше, а не задуманного или придуманного умом. Если бы поэт мог сам сочинять свои произведения или хотя бы только предвидеть, что и когда ему даст вдохновение, то он не брался бы за перо, чтобы

234

только грызть его в напрасной борьбе с "лирой" или "музой".

Бывают стихотворцы от ума, принимающие себя и другими иногда принимаемые за поэтов: образец их - Вольтер. Но, несмотря на французское образование Пушкина, на его незрелое вольнодумство и на общий школьнический вкус к нескромным шуткам, он тщетно пытался перевести "Орлеанскую девственницу": душа, сродная истинной красоте, могла на минуту острием своего ума касаться ее противоположности, но войти в это уродство, надолго себе усвоить эту чужеродную стихию было для нее невозможно. У Пушкина есть бесподобные эпиграммы, а также шутки, которых нескромность связана изяществом формы, не допущена до цинизма и расплывается в игривой и добродушной веселости; это словно яркие, легкие бабочки, которых гадкое червеобразное туловище совсем закрыто и переспано роскошными порхающими крыльышками. Есть у Пушкина и chef d'oeuvre сосредоточенного юмора - летопись села Горюхина. Но попытки запрягать поэзию в ярмо сложного порнографического острословия не удавались Пушкину: "Гавриилиада", "Царь Никита", перевод "девственницы" - слабы и остались неконченными.

Поэтический гений не зависит от самодеятельности ума, но он не лишен самосознания. И без философского размышления истинный поэт непосредственно знает о существенном характере творчества, о его безвольной, пассивной основе. Мы видели его описание самого процесса, как создаются поэтические произведения. В других стихотворениях мы находим более общие, суммарные очерки того, что есть поэзия по мысли, или, лучше сказать, по внутреннему опыту, по творческому самосознанию Пушкина. Будем внимательны: ведь это сама поэзия свидетельствует о себе устами своего любимого сына или - прозаичнее говоря - ведь это _показание эксперта_. Будем внимательны, но, благочестиво внимая голосу гения, говорящего о том, что ему всего лучше известно, не откажемся от прав разумной критики. Ведь и в точнейшей специально научной экспертизе не все есть голос самой науки, - есть

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
непременно и субъективный элемент, привнесенный личностью этого
определенного ученого; понятливый судья заметит и выделит эту примесь. Тем
более присутствует она в поэтической исповеди поэта о том, что составляет
сердцевину его существования, что тончайшими нитями переплется со всем
жизнью его души. Мы должны принять в расчет этот личный элемент, не
преувеличивая и не умаляя его значения и никогда не

235

теряя из виду, в этом поэтическом свидетельстве, тех главных черт, которые
несомненно выражают всеобщую и объективную правду самого дела.

IV

В семи произведениях открывает нам Пушкин свои мысли или свои внутренние
опыты относительно существенного характера и значения поэзии,
художественного гения вообще и настоящего призыва поэта. Эти произведения
– неодинакового характера и неравного художественного достоинства внутренне
связаны между собою и представляют, в сущности, лишь вариации одной главной
темы. Все они принадлежат зрелой поре в жизни поэта: три первые, именно
"Пророк", "Поэт" ("Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон") и
"Чернь", явились на пороге между отходящей юностью и наступающей
взрослостью (1826–1828), а остальные четыре, именно: "Поэту" ("Поэт, не
дорожи любовию народной"), драматическая сцена "Моцарт и Сальери", "Эхо"
("Ревет ли зверь в лесу глухом") и "Памятник" – принадлежат последнему
семилетию пушкинской поэзии (1830 –1836). Само собою понятно, что такая
поэзия о поэзии могла явиться только во вторую половину жизни поэта: для
того, чтобы в его душе могло сложиться хотя бы самое поэтическое, самое
вдохновенное и, следовательно, независимое от умственной преднамеренности
выражение для существенного смысла пережитых творческих опытов, прежде
всего нужно было их пережить. Вот почему превосходное в своем роде
стихотворение "Муза"*, при всей своей художественной прелести, не может

* Так как Пушкина в настоящее время гораздо более хвалят, чем читают и
изучают, то я не могу предполагать, чтобы многие знали наизусть это
стихотворение, и для ясности своих замечаний должен привести его вполне:

В младенчестве моем она меня любила
И семиствольную цевницу мне вручила;
Она внимала мне с улыбкой, и слегка
По звонким скважинам пустого тростника
Уже наигрывал я слабыми перстами
И гимны важные, внушенные богами,
И песни мирные фригийских пастухов.
С утра до вечера в немой тени дубов
Прилежно я внимал урокам девы тайной;
И радуя меня наградою случайной,
Откинув локоны от милого чела,
Сама из рук моих свирель она брала.
Тростник был оживлен божественным дыханьем
И сердце наполнял святым очарованьем.

236

быть причислено к настоящим выражениям поэтического самосознания Пушкина,
хотя сущность поэзии уже указана здесь в самой общей своей черте. Но именно

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
слишком общей. В начале 1821 года, когда создалось это стихотворение, Пушкин созрел для художественного творчества, но не для углубления в его смысл. Он шел вперед к созиданию многих гениальных произведений, но за ним, в прошедшем, их было еще слишком мало; его поэтический опыт не мог быть велик и ясен. Он и сам, в этот первый год своего совершенолетия, обращаясь назад, к прошлому, видит только музу своего младенчества:

В младенчестве моем она меня любила...

Впрочем, признать здесь действительное воспоминание о чем-нибудь определено пережитом душой поэта в его младенчестве,- точнее, отрочестве или ранней юности,- было бы очень рискованно, тем более что литературный источник этого произведения налицо: Андрей Шенье. Конечно, впоследствии тридцатисемилетний Пушкин мог взять в своем "Памятнике" горацианскую форму и вложить в нее собственное содержание. Но Пушкин двадцатилетний брал у Шенье и содержание вместе с формой, хотя в настоящем случае он дал своему подражанию такое поэтическое совершенство, до которого далеко его образцу. Это есть, однако, совершенство классической формы, заключающей, для русского поэта XIX века, непременно и некоторую школьную условность (муза, боги, цевница, фригийские пастухи), что опять-таки мешает пользоваться этим стихотворением как документом поэтического опыта.

Из отмеченных нами семи произведений первое по времени, а также и по достоинству, есть знаменитый "Пророк". Прежде чем воспользоваться им для нашей задачи, мы должны оградить его права на присвоенное ему нами значение документа или прямого поэтического самосвидетельства. По мысли некоторых критиков, в этом стихотворении вовсе нет речи о поэзии и о призвании поэта: "Пророк" Пушкина принимается ими за действительного, в собственном смысле пророка, причем иные признают его пророком библейским, другие относят его к Корану и видят в нем самого Мухаммеда {8}. Начнем с этого второго мнения, недавно высказанного в печати и усердно защищаемого. _Дей

237

ствительных_ оснований, однако, в пользу такого мнения не было приведено, и мы не знаем, откуда их можно взять. Несомненно, что Пушкин читал Коран и писал стихотворные подражания некоторым местам из него,- вот единственный положительный и неоспоримый факт, сюда относящийся, и понятно, что он сам по себе ничего не доказывает, так как столь же несомненно, что Пушкин внимательно и с увлечением читал Библию и также пользовался ею для стихотворных подражаний. Значит, даже в том предположении, что пушкинский "Пророк" должен быть принят в собственном смысле, еще нужно решить вопрос, на кого он больше похож: на библейского пророка или на Мухаммеда. Но быть _более_ похожим на последнего он не может уже потому, что между ним и Мухаммедом вовсе нет никакого сходства. Автор оспариваемого мнения, при всем своем старании, не мог привести ни одной черты, которая бы их действительно связывала. Вместо признаков специфических и индивидуальных, приводятся критиком лишь такие общие и неопределенные, которые принадлежат Мухаммеду столько же, сколько и всякому другому пророку, библейскому или иному, и даже многим провиденциальным деятелям, не имевшим пророческого звания*. Именно такой общий характер имеют две главные черты сходства с Мухаммедом, найденные критиком у пушкинского "Пророка".

Во-первых, _пустыня_, - с нее начинается пушкинское стихотворение:

духовной жаждою томим,

В _пустыне_ мрачной я влажился.

Известно, что Мухаммед в начале своего поприща удалялся на целые дни в близкую к Мекке пустыню Хира, где размышлял об истинной вере и сильно тосковал и сокрушался о религиозном невежестве своих земляков-идолопоклонников. Вот и готов первообраз для пушкинского "Пророка"! Однако можно ли найти хоть одного такого "про

* Заметим кстати, что Коран не приписывает этого звания и самому Мухаммеду, обозначая его всегда как _посланника_ божия, значит, скорее, как _апостола_, чем пророка. Выражение: "посланник" божий (рассул-Алла) осталось за Мухаммедом, как его главный титул, и в позднейшем

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
словоупотреблении мусульман. Для нашего вопроса это, впрочем, не имеет
значения, так как Пушкин, читая Коран в тогдашних вольных переводах, звал
Мухаммеда, по старому обычаю, пророком в своих подражаниях Корану и в
примечаниях к ним, из чего, конечно, не следует, чтобы он имел в виду
этого "пророка" в особом более позднем стихотворении, не зависящем от тех
подражаний.

238

рока", который не подходил бы под эти два стиха? Как всем "коням ретивым"
свойственно быстро бегать, так всем "пророкам" свойственно томиться
духовной жаждой и влакаться в мрачной пустыне: ведь этим все они и
отличаются от простых обывателей, которым более свойственно томиться жаждою
телесною и которые не столько влакятся в пустыне, сколько ездят и
прогуливаются в местах населенных и освещенных. А "пророки", те - все
удалялись в пустыню. Илия и Иоанн Креститель там даже пребывали. И кроме
пророков, собственно так называемых, многие другие исторические лица, более
или менее близкие к пророческому типу, уходили в пустыню и на более долгие
сроки, чем Мухаммед: так, например, Шакъямуни-Будда, апостол Павел, Иоанн
Златоуст, Франциск Ассизский, Раймунд Люллий, даже Игнатий Лойола. На
поэтическом языке нельзя назвать иначе как пустыней и то осеннее уединение
в глухой русской деревне, где самого Пушкина посещали его лучшие
вдохновения. И мрачное настроение испытывал в пустыне не один Мухаммед. И
для Пушкина его любимая пустыня имела тяжелую сторону, и лучшим
вдохновениям предшествовали долгие состояния уныния и даже отчаяния.

Во-вторых, ангел - в пушкинском "Пророке":

И шестикрылый серафим На перепутье мне явился.

Относительно Мухаммеда известно из Корана, что его посланничество началось
с какого-то особого явления, истолкованного затем как явление ангела. Это
явление имело определенный характер кошмара по описанию самого Мухаммеда:
кто-то сильно и продолжительно давил его среди сна, заставляя прочесть
слова в открытой книге. После того, как Мухаммед прочел, он встал и
вернулся домой, где рассказал о происшествии своей жене. Вскоре затем он
имел другое "видение", но не в пустыне, а у себя в садовой беседке: он
видел на некотором расстоянии какую-то огромную и светлую фигуру, которая
также потом была признана за ангела, но в описании Мухаммеда это второе
явление отличается еще большею неопределенностью, чем первое.
Неприкрашенный, безыскусственный рассказ Мухаммеда о бывших ему явлениях
"ангела" характеризует его самого с лучшей стороны, как искреннего,
правдивого человека. Но то, что ему представилось, так же не похоже на
"шестикрылого серафима", как его скромное и робкое возвращение домой и
смущенное объяснение с женою мало

239

напоминает предписанный пушкинскому "Пророку" образ действий:

И обходя моря и земли,

Глаголом жги сердца людей!

Шестикрылый серафим, и по имени, и по образу, принадлежит Библии (попавши
туда, по всей вероятности, из Египта), и хотя многое перешло из Библии в
Коран, но серафим остался нетронутым - ясное свидетельство того, как чуждо
было это представление Мухаммеду. И ангелы божий вообще крайне редко
являются в Коране: для него скорее характерны джинны, гении существа
демонические неопределенной нравственной природы. Между тем Библия вся
полна ангельскими явлениями. "Ангел господень" посыпается не только к
пророкам, но и к простым людям, и не только к людям, но и к животным.
Очевидно, Пушкину не было надобности ходить за ангелом в Коран.

Эти две черты (пустыня, ангел), не имеющие ничего характерного для
Мухаммеда, соединяются в этом стихотворении с двумя другими чертами, прямо
не позволяющими отождествить пушкинского "Пророка" с основателем ислама.
После того, как серафим коснулся очей и ушей "пророка", последний получает
способность высшего познания, - ему открывается тайная жизнь вселенной:

И внял я неба содроганье,

И горний ангелов полет,
И гад морских подводных ход,
И дольней лозы прозябанье.

Между тем Мухаммед в Коране постоянно и настойчиво повторяет заявление, что бог никогда не открывал ему никакого знания вещей сокровенных и вообще ничего, кроме того, что поручил ему: проповедовать истину единобожия арабам-идолопоклонникам. Далее: у Пушкина, в конце стихотворения, "божий глас" повелевает пророку, для исполнения его призыва, _обходить моря и земли_. Помимо уже упомянутого несоответствия между таким позволением и действительным скромным началом Мухаммадова посланничества, - всякое отношение этого "божьего гласа" к Мухаммеду прямо устраивается многократными и решительными заявлениями арабского "апостола", что он не был послан богом ни к какому другому народу, кроме только одних арабов-идолопоклонников. Все народы, - твердил Мухаммед, - имели своих пророков, или апостолов, открывавших

240

им истинную веру, - одни только арабы Хеджаса и Нэджеда {9} еще не имели такого откровения и блуждают во тьме неведения о едином боже; и вот бог посыает к ним его, Мухаммеда, только к ним и только с этой проповедью единобожия. Пушкин не только читал Коран, но и _вчитывался_ в него, как видно из его подражаний, и, следовательно, он никак не мог пропустить те многочисленные места этой книги, где Мухаммед решительно отказывается от всяких притязаний как на проникновение в тайны всемирной жизни, так и на универсальность своего посланничества. Наш поэт, наверное, заметил эти места, и, следовательно, если бы он действительно хотел в своем "Пророке" изобразить именно Мухаммеда, то, конечно, не допустил бы таких противоречащих этой задаче стихов. Да и зачем бы понадобилось Пушкину в 1826 году давать заведомо неверное изображение Мухаммадова посланничества, когда в 1824 году он уже изобразил его в чертах верных? В самом деле, первое из его подражаний Корану оканчивается таким божиим голосом к Мухаммеду:

Мужайся ж, презирай обман,
Стезею правды бодро следуй,
Люби сирот и мой Коран
Дрожащей твари проповедуй {10}.

Вот это действительно то, что нужно: это действительно близко к мысли и языку Мухаммеда. "Презирай обман", "люби сирот" - это буквально. Но, чтобы оценить всю верность последнего стиха, хотя он и не буквalen, нужно вспомнить рассказ Мухаммеда о том, как однажды на дороге его окружила толпа джиннов-идолопоклонников; заметив их, он стал им проповедовать единого истинного божа, и _джинны с трепетом слушали его_. Если под "дрожащею тварью" разуметь, как и следует, арабов-идолопоклонников _вместе с их джиннами_, то действительное повеление божие Мухаммеду получит в пушкинском стихе самое верное и полное свое выражение. И зачем же после этого относить к Мухаммеду небывалый и невозможный в таком применении божий глас: "и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей"? Эти сами по себе превосходные два стиха при мнимом тождестве пушкинского "Пророка" с Мухаммедом - звучат фальшиво. Они зараз и слишком широки, и слишком узки: зачем обходить моря и земли, когда ведено оставаться здесь на месте, среди своего народа, и зачем "сердца людей", когда в этом народе, к которому послан проповедник, кроме людей есть и джинны?

241

Пушкин _всегда_ - и ранее, в пору "Руслана и Людмилы", и позднее - в "Каменном госте" и в "Русалке" {11} - охотно раскрывал двери поэзии для стихии _фантастической_, в которой он, как и все великие поэты без исключения, чуял реальную основу; но Пушкин _никогда_ не допускал в поэзии элемента фальши, искусственного искажения живой правды чертами внутренне неправдоподобными. Мухаммед, проповедующий единого божа перед "дрожащею

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
тварью" джиннов, хорошо ему знакомых, - такой Мухаммед может быть со стороны назван фантастом, но, несомненно, это есть тот самый настоящий, живой Мухаммед, которого знает история, который оставил нам Коран и остался в нем. Между тем Мухаммед, обходящий неведомые ему моря и земли, чтобы жечь сердца _людей вообще_, явился бы Мухаммедом не только небывалым, но и внутренно фальшивым, бесполково сочиненным и ни к чему не нужным. Такого Мухаммеда могли придумать Озеров или Кукольник, но никак не Пушкин.

VI

Достаточно ясно, кажется, что гениальное создание пушкинского "Пророка" не может иметь никакого прямого положительного отношения к Мухаммеду, которого сам Пушкин перед тем совершенно иначе изобразил в целой группе прекрасных стихотворений. Они относятся к 1824 году, "Пророк" - к 1826; а как раз между этими двумя датами - на 1825 год - приходится время усиленного чтения Библии, отмеченного и двумя стихотворными подражаниями ей. Таким образом, "Пророк" отделен от Корана Библией, которая и должна была оказать на это стихотворение ближайшее и сильное воздействие. Прямо подражал Пушкин только одной из священных книг, именно "Песни песней", но несомненно, что в ту же эпоху он много читал и другие части Библии, особенно пророческие, и мы видим действительно, что это недавнее чтение, как и следовало ожидать, наложило на его "Пророка" самую явственную и свежую печать. Кроме библейского образа шестикрылого серафима, в основе своей взято из Библии и последнее действие этого посланника божия:

И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.

242

Библии принадлежит и общий тон стихотворения, невозмутимо величавый, что-то недосягаемо-возвышенное. И как ясно отличается этот тон от кипучего, нервного красноречия Корана, также прекрасно переданного поэтом в его "подражаниях"! И самый грамматический склад европейской речи, бережно перенесенный в греческую, а оттуда в церковнославянскую Библию, удивительно выдержан в нашем стихотворении. Отсутствие придаточных предложений, относительных местоимений и логических союзов при нераздельном господстве союза _и_ (в тридцати стихах он повторяется двадцать раз) настолько приближают здесь пушкинский язык к библейскому, что для какого-нибудь талантливого гебраиста, я думаю, ничего бы не стоило дать точный древнееврейский перевод этого стихотворения.

Итак, по форме мы, без сомнения, имеем здесь дело с удачнейшим, безукоризненным подражанием Библии. Но что сказать о содержании этого стихотворения? Конечно, мы не найдем в нем того определенного противоречия с Библией, в каком оно находится с Кораном, где говорится: _нет_ по тем самым пунктам, по которым в стихотворении стоит: _да_. Между содержанием этого стихотворения и содержанием библейской пророческой идеи противоречия нет, но есть отсутствие внутреннего совпадения - дело идет не об одном и том же. Пушкинский "Пророк" испытывает, слышит и говорит не противоположное, но совсем другое, по существу, отличное от того, что испытывал, слышал и говорил настоящий библейский пророк - Амос или Иезекииль, Исаия или Иеремия - и все, сколько их ни было, от загадочного Валаама до загадочного Даниила {12}.

Я должен здесь опять указать на те же два пункта: 1) открывающееся "пророку" новое проникновение в тайны всемирной жизни и 2) отвлеченный универсализм его "пророческого" призыва.

Во-первых. Если еврейские пророки не заявляли так решительно, как Мухаммед, что им не открыто никаких тайн природы, то это ведь потому, что с них никто и не спрашивал этих тайн, как требовали их от Мухаммеда искушавшие его корейшицы {13}. Но что и еврейские пророки не имели никакого притязания на это новое высшее познание - достаточно ясно из их писаний. Если и говорится здесь в одном месте, что новое познание некогда как море покроет всю землю, - то, во-первых, это относится к будущему пришествию Мессии и к

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
новому возрожденному состоянию Израиля и всего человечества, а не
утверждается пророком как факт его личного опыта: начало высшего

243

знания был, конечно, и у самих пророков, но - и это во-вторых - само это знание, как у них, так и у будущего человечества, о котором они возвещали, не имеет ничего общего с проникновением в подводный ход морских гадов, ни в прозябание лозы, ни даже в летание ангелов и в содрогание неба: это новое знание не есть высшая биология, или космология, а только высшая теология: _видение Ягве_ - и ничего более {14}.

Настоящие библейские пророки менее всего интересовались порядком природной жизни, хотя бы в самых глубоких ее основах, хотя бы в самых возвышенных ее явлениях; нужно было двойное давление эллинской и египетской стихии в Александрийскую эпоху, чтобы возбудить в отдельных евреях интерес к мировому строю, и если впоследствии каббалисты усматривали уже у пророка Иезекииля тайное учение (сод) о круговороте душ, миров и божественных сфер (_меркаба - колесница_), то сам Иезекииль был тут, по всему вероятию, ни душою, ни телом не виноват. Во всяком случае, для типичного еврейского пророка, как и для халдейского царя (в книге Даниила), высший вопрос знания был один: _что будет после сего_?{15}

Главный предмет их умственного интереса, как и их сердечной заботы, - не в области природы, а в области _истории_. Вот почему пророческие писания в Библии, не менее исторических, полны собственными именами лиц и народов. Самая наглядная черта различия между историей и природой - в том, что первая вся держится собственными именами, тогда как для второй имеют значение только имена нарицательные. Можно ли передать правдиво речь еврейского пророка без всяких собственных имен?

И если бы вдохновение побудило Пушкина воссоздать подлинный образ действительного библейского пророка, то он, конечно, вложил бы в его уста настоящую, не по форме только, но и по содержанию, пророческую речь Библии, гораздо более, чем речь араба, насыщенную историческим элементом и его выражением - собственными именами. И библейское стихотворение Пушкина, подобно самой Библии, пестрело бы собственными именами - Израиля и Ассура, Мицраима и Эдома, Моаба и Амона {16}. Неужели Пушкин, читая Библию и восхищаясь ею, не понимал ее основного смысла, не заметил, что ее существенный характер и интерес - в богочеловеческой истории, а не в природе и не в отвлеченной нравственности? А если заметил и понял, то как могло случиться, что в 1826 году Пушкин потерял ту способность, которой уже обладал два года тому назад

244

способность воссоздания живых исторических образов? Ведь Мухаммед в "Подражаниях Корану" гораздо ярче, живее и историчнее "пророка" в стихотворении этого имени, - если предположить, что дело идет о библейском пророке. У такого пророка, наследника долгого исторического процесса, определенный исторический характер должен был, однако, выступать сильнее, нежели у Мухаммеда, явившегося среди полудикого, уединенного племени, чтобы еще только _начать_ его историю. Между тем в "Подражаниях Корану" Пушкин переносит нас на историческую почву:

А вы, о гости Магомета... - И Т. Д.

И затем:

Он милосерд: Он Магомету

Открыл сияющий Коран.

Да притечем _и мы_ ко свету,

И да падет с очей туман...

тогда как "Пророк", несмотря на библейскую форму, находится в какой-то неопределенной и анонимной среде: во всем стихотворении ни одного собственного имени, а говорится только о морских гадах да небесных ангелах, и все это может быть превосходным, каково оно и есть, лишь при условии не

Во-вторых. То же можно сказать и о заключительных стихах: и они совсем не подходят к предполагаемой библейской теме. Прямое призвание всех еврейских пророков относилось _не к людям вообще_, а к еврейскому народу, и универсализм их был не отвлеченным и предвзятым, а представлял живое перерастание национальной религиозной идеи, ее реальное расширение в идею всемирно-религиозную, причем живым средоточием до конца оставалось национальное "я" Израиля. Бог в Библии никогда не повелевал своим пророкам обходить моря и земли, а, напротив, возвещал через них, что все народы сами придут к Израилю. Любопытно, что единственный пророк, пустившийся было в морское плавание - Иона,- сделал это не в силу повеления божия, а как раз наоборот, вопреки воле божией, убегая от данного ему свыше посланничества; посыпался же он не к людям вообще, а к жителям Ниневии, столицы той мировой державы, от которой ближайшим образом зависела судьба царства израильского {17}. При всей загадочности такой миссии, как и прочего содержания этой любопытной священной

245

былины, ясно, что и в ней пророческое сознание хотя является свободным от национальной замкнутости и исключительности (что несомненно и было на самом деле), но ничуть не лишенным национального средоточия, каким и для Ионы оставался Израиль.

Откровение, которое получали действительные пророки, вообще, относилось всегда к судьбам народов, и у пророков библейских сосредоточивалось на судьбе избранного народа Божия. Этому историческому характеру пророческого откровения соответствовал такой же характер той миссии, которая давалась им свыше: они должны были возвещать Израилю, а по связи с ним и другим народом, чего требует от них бог в данный исторический момент и что ожидает их в случае сопротивления воле божией. Это есть существенная основа и собственное содержание пророческого служения, то, что всегда в нем присутствует, хотя может более или менее расширяться в разные стороны. Вне этой основы можно быть моралистом, мудрецом, чем угодно, но только не пророком в собственном смысле этого слова. Между тем ничего подобного историческому библейскому содержанию мы не находим в "Пророке" Пушкина. Откровение, им полученное, относится не к судьбам и движениям народов, не к деятелям истории, а к подводному ходу морских гадов и к другим существам низшей и высшей природы. А повеление, которое ему свышедается, имеет характер отвлеченно-нравственный, безразлично-универсальный, относясь опять-таки не к определенным субъектам историческим, - личным или собирательным, а к людям вообще:

Исполнись волею моей...

Но в чем же эта воля?

И, обходя моря и земли,

Глаголом жги сердца людей...

Но каким же глаголом, - глаголом о чем? Ведь приобретенное пророком знание о морских гадах и прочем, хотя бы самое глубокое и проникновенное, не имеет жгучего свойства, а ни на какое другое содержание проповеди нет намека.

Если бы в этом стихотворении имелось в виду дать образ пророка в собственном смысле, то оно страдало бы сплошь крайней неясностью, противохудожественною неопределенностью, а отчасти и несообразностью. Между тем оно бесспорно прекрасно от начала до конца. Значит, его смысл - другой.

246

VII

Всякий настоящий пророк имеет исторически определенное призвание; пушкинский "Пророк" никакого определенного призыва не имеет; в его образе и в его речи нет ни малейшей исторической черты; следовательно, он - не настоящий пророк. Это так же верно, как то, что Пушкин - настоящий поэт. Кого же он дал нам в своем "Пророке"? Уже давно было угадано и простыми читателями Пушкина, и критиками, что это - идеальный образ истинного

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
поэта в его сущности и высшем призвании. Я не знаю, кто первый стал
оспаривать нечто столь очевидное; приходится, однако, устраниТЬ возражения,
созданные невнимательностью и несообразительностью.

"Зачем бы Пушкин нарядил поэта в неподобающий ему библейский костюм, зачем он изобразил его не тем, что он есть в действительности, а тем, чем он не был и быть не мог?" Этот вопрос значит в сущности: зачем Пушкин изобразил поэта поэтически, а не прозаически, – в виде современного литератора? В ответ на это достаточно указать на те близкие случаи, где Пушкин дает поэту еще менее свойственный ему вид, представляя его то как жреца языческого бога Аполлона, то как простое, обыкновенное _эхо_.

Впрочем, именно ввиду того, что Пушкин для идеи поэта пользуется всяческими символическими образами, мы должны признать особенное значение за тем фактом, что в 1826 году Пушкин как раз находился в тех условиях, при которых в минуту творчества его поэтическое самосознание всего естественнее выразилось в грандиозном образе древнего пророка.

1826 год был важным годом в жизни Пушкина как поэта. Будучи уже хронологически точною серединой, делящею двадцатилетнюю поэтическую деятельность Пушкина (1816–1836) на две равные половины, этот год совпал с большим переломом, и внешним, и внутренним, в его судьбе. Без всякого искательства которое было бы унизительно для его достоинства, как человека и писателя, Пушкин был освобожден от продолжительной государственной опалы, которую он начинал сильно тяготиться. Восстановленный в своем полноправии и лично обласканный новым государем, впечатлительный поэт испытал то бодрое, повышенное настроение, которое вскоре затем выразилось в стансах:

В надежде славы и добра,
Гляжу вперед я без боязни...{18}

247

Притом он имел право признать себя именно за пророка или, по крайней мере, вещуна, ввиду того положительного и определенного предсказания, которое он сделал в 1825 году и которое в точности исполнилось в 1826 году:

Пора и мне... Пируйте, о друзья!
Предчувствую отрадное свиданье;
_Запомните ж поэта предсказанье:
Промчится год – и с вами снова я!
Исполнится завет моих мечтаний;
Промчится год – и я явлюся к вам!_ {19}

К повышенному настроению, вызванному извне, присоединилась и внутренняя перемена, связанная с двухлетним уединением Пушкина в деревне. Как человек по темпераменту живой, экспансивный, общительный, он тяготился этим уединением, но как поэт – он обязан ему зрелостью своего гения. Если прежние невольные странствия на юге – Бессарабия, Одесса, Крым – дали ему обильный запас разных впечатлений, то последнее двухлетнее заключение в глухой северной деревне образовало и укрепило в нем самостоятельный творческий дар. "Ты гений свой воспитывал в тиши", – обращается он к дельвигу. Это дружеское преувеличение, делающее честь сердцу Пушкина, было бы точною истиной в применении к нему самому. Во всяком случае, и само по себе ясно, и многократными свидетельствами Пушкина подтверждается, что поэтический гений воспитывается в тиши, а не на толкучем рынке темного света. Как видно уже из хронологического перечня поэтических произведений Пушкина, его "изгнание" было самым плодотворным временем для его поэзии. Он вышел из своего заключения, имея за собою опыт двухлетнего усиленного творчества. Повышенное житейское настроение совпало с могучим подъемом поэтического самосознания; среди внешних стеснений он яснее прежнего познал внутреннюю свободу творчества, и призвание его, как поэта, стало представляться ему в чертах грандиозных. В одну из вдохновенных минут это представление воплотилось в библейском образе "пророка". Посмотрим, что говорит нам это стихотворение о значении поэзии.

VIII

Духовной _жаждою_ томим,
В _пустыне_ мрачной я влачился...

В этих двух стихах указано все, что требуется со стороны истинного поэта. От него не требуется никакого действия и никакого _определенного_ и _предвзятого_ утверждения о чем бы то ни было. Он должен быть нищ духом, его душа должна быть так же пуста, как та пустыня, куда его тянет. И эта пустота души не только не делает его "пустым человеком", но составляет основную противоположность между ним и действительно пустыми людьми, которых первый признак есть незнание о своей пустоте. Да как им и знать о ней, когда они так явно _полны_ - в смысле пушкинской эпиграммы:

да чем ты полон, шут нарядный?
А, понимаю: сам собой,
Ты полон дряни, милый мой.

Всегда занятые и вполне довольные этою и прочею дрянью, такие люди вначале, когда слава истинного поэта еще не утверждена потомством, признают его виновным в пустоте, хотя и заслуживающим снисхождения:

- Хоть, впрочем, он поэт изрядный,
Эмилий человек _пустой_ {20},

а впоследствии их внуки, охотно приняв *fait accompli**^{*}, с услужливою торопливостью уделяют прославленному человеку от своей полноты.

Пустота истинного поэта жаждет, конечно, иного наполнения. Все то житейское содержание, что наполняет сердца и умы занятых людей, весь их мир должен стать для истинного поэта пустынею мрачной - более мрачною и пустою, чем та, в которой он влачится и которая дает ему убежище от мнимой и суетной полноты жизни и внешнее условие для будущего утоления его духовной жажды. Он ничего не делает, ничем не занят, не сочиняет никакого нового, своего содержания - из своей пустоты, не думает оплодотворить свою душу от пустынного ветра главы своей, - _жаждет_ духовного удовлетворения и _влачится_ к нему. С _его_ стороны больше ничего и не требуется: алчущие и жаждущие насытятся...

* Совершенный факт (фр.). - Ред.

И шестикрылый Серафим на перепутье мне явился.

"На перепутье" - черта автобиографическая: на жизненном перепутье Пушкина в 1826 году, между прошлыми мечтами и надеждами будущего, явился многокрылый дух вечной свободной поэзии. Тот гений чистой красоты, о котором ему прежде мимолетно напоминали случайные встречи с живыми образами прекрасного, явился теперь сам, и не как мимолетное видение, а как верный благодетель, - явился, коснулся его и открыл ему... не новые какие-нибудь, невиданные и неслыханные чудеса и тайны, - нет, он только открыл его глаза и уши:

Перстами легкими, как сон,
Моих зениц коснулся он:
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы;
Моих ушей коснулся он,

И их наполнил шум и звон.

Новых чувств не дает гений поэту; он только усиливает, возводит на высшую ступень прежние чувства, делает поэта духовно более зорким и более чутким? И что же он воспринимает этою новою чуткостью? Опять-таки ничего небывалого; повышенные, перерожденные чувства не помогают ему сочинять то, чего нет, выдумывать что-нибудь новое, а только помогают ему лучше видеть и слышать то, что всегда есть:

И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводных ход,
И дольней лозы прозябанье.

Все, что есть на небесах и на земле, изначала положенное Предвечным и в шесть творческих дней устроенное, - все это шестикрылый гений открывает вниманию поэта. Он дает ему слышать не то, чего нет или не было, а то, что ускользает от грубого чувства:

И стал я слышать с этих пор,
Что для других неуловимо {21}.

(А. Толстой).

Все и так существующее, всякому известное, но не так, как оно известно, а в вечной силе своего образа, насквозь просветленное все, до последней пылинки, стоит перед духовным восприятием поэта:

250

Этот листок, что засох и свалился,
Золотом вечным горит в песнопеньи {22}
(фет).

Вот это вечное золото, которым у бога горит все существующее, - его-то и показал Серафим поэту, в нем-то и сущность поэзии.

Но что же такое вдруг случилось? Отчего этот Серафим, божественно-невозмутимый и женственно-нежный, с перстами легкими, как сон, вдруг, вместо божественной невозмутимости, начинает проявлять невозмутимость опытного хирурга, а женственную нежность заменяет свирепостью краснокожего индейца?

И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный, и лукавый...
Откуда вдруг взялись эти категории порядка нравственного?
И жало мудрья змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.

Откуда это превращение перстов легких, как сон, в кровавую десницу? Впрочем, если бы Серафим просто вырвал язык у пророка, естественно запачкавшись при этом кровью, и Пушкин передал бы этот факт без всякого объяснения, то наши эстеты и гиперэстеты нашли бы тут новый повод для восхищения и для причисления Пушкина к своим: вот, мол, до какой степени поэт был проникнут идеей новой красоты, которая выше различия добра и зла, что даже Серафима заставляет злодействовать, и притом безо всяких

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
угрызений совести - не Борису Годунову или Сальери чета! Но беда в том, что действие Серафима имеет у Пушкина внутренний смысл, и притом самый неприятный для гиперэстетической тенденции: язык вырывается не ради красоты этого хирургического "жеста", а ради пользы, и притом - что еще ужаснее - ради пользы нравственной: грешный, празднословный и лукавый язык человеческих страстей и слабостей нужно заменить жалом сосредоточенного и мудрого слова.

Если бы Пушкин остановился на половине стихотворения - на "дольней лозы прозябанье", - то он заслужил бы всецелое одобрение эстетов, тех сравнительно безобидных между ними, которых заблуждение состоит именно лишь в том, чтобы половину принимать за целое. Небесный гений возводит избранника - пророка по форме, поэта по

251

существу - в область чистой поэзии, в мир вечной и всеобъемлющей красоты, озаряющей своим сиянием всякое бытие, от ангела до гада, от движения небесных сфер до незаметно прозябающего растения. Чего же еще? Что можно к этому прибавить? Если бы Пушкин прибавил только кровавые действия Серафима, без их нравственного основания, он заслужил бы искренний восторг тех неистовых гиперэстетов, которые от идеи безразличия добра и зла перешли к сатаническому почитанию "прекрасного" злодейства, "святой" жестокости, "небесного" зверства.

Но Пушкин не был ни гиперэстетом, ни даже эстетом, а просто поэтическим гением; поэтому он не мог угодить ни тем, ни другим; зато угодил истине.

Тут, в переходе от горных ангелов и от дольней лозы, от всего, что следует созерцать и слышать, к лукавому языку, которого не должно ни созерцать, ни слушать, а нужно вырвать, - в изображении этого перехода сказалась вся истинная гениальность Пушкина и его значение как чистого, беспримесного поэта. Если бы он писал это стихотворение от своего ума и чувства, вторая половина была бы, во всяком случае, мягче. Моральный ригоризм вовсе не был в натуре Пушкина, в его личном характере. Кажется, никто еще не упрекал Пушкина в том, чтобы он преднамеренноставил себе или другим слишком строгие нравственные требования. Но он был чистый поэт - и только; чистый поэт имеет своим предметом чистую красоту и - ничего более; а красота сама по себе, по самому существу своему, по внутренней природе своей есть ощущительная форма истины и добра. Отделить ее от них можно только насильно и искусственно; отнять их у нее - значит лишить ее не постороннего чего-нибудь, а ее собственного внутреннего содержания.

Красота просветляет все существующее; но ведь этот ее свет есть вечная истина. Просветляя все, что есть, чистая красота оставляет за всем его собственное существенное качество, и, следовательно, если искусство служит чистой красоте, то оно должно брать все существующее в его истине. В элементарных случаях это совершенно ясно и бесспорно. Если художник станет изображать прямое как кривое, круглое как квадратное, если в каком-нибудь телесном образе то, что выше, он поставит ниже и то, что назад, переставит вперед, - если, например, живописец изобразит человека с носом выше лба, и грудь переставит назад, а спину вперед, то, погрешая прежде всего против истины, он, вместе с тем и тем самым, погрешит против красоты, произведя нечто безобразное. Значит, художнику достаточно быть верным

252

красоте, а она уже сама сделает его произведения сообразными истине по своему внутреннему сродству с нею.

Но если это так в тех случаях, когда художество воссоздает образы мира физического, то откуда возьмется иное отношение к миру нравственному? Если предметы нашего чувственного взгляния - формы математические - подлежат красоте и искусству в своем собственном качестве - прямое как прямое и кривое как кривое, круг как круг и треугольник как треугольник, и для красоты вовсе не безразлично, принимается ли данный предмет за самого себя или за что-нибудь другое и противоположное, - то откуда же вдруг явится такое безразличие относительно категорий нравственного порядка? Красоте подлежит все, что существует. Ей подлежат и прямые и кривые линии, ибо и те и другие существуют. Но вот чего вовсе не существует и что, следовательно, не может принять и форму красоты, это - безразличие между прямотою и

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
кривизною, так чтобы можно было по произволу брать кривое как прямое и
прямое как кривое; и еще менее возможно изобразить такую кривизну, которая
была бы прямее прямоты. Красоте подлежат и добро и зло, так как и то и
другое существует; но вот чего вовсе не существует и что, значит, не может
принять форму красоты, это - безразличие между добром и злом, так чтобы
можно было считать их одно за другое; и еще менее возможно прекрасно
изобразить такое зло, которое было бы предпочтительнее, лучше, добре
добра. После этого оставалось бы только искать того безобразия, которое
было бы прекраснее красоты.

IX

Мир физический, в самом широком смысле этого слова,- мир ангелов и гадов,-
представляется для поэзии непосредственно как предмет усиленного,
повышенного и углубленного внимания - в интересе чисто созерцательном,
причем, однако, уже и этот мир, будучи миром естественных различий, не
допускает безразличного отношения к себе со стороны поэта (или художника
вообще), - в том смысле, что если художник кисти или слова изобразит прямой
полет ангела как кривое пресмыкание гада и наоборот, то он погрешит против
истины, а тем самым и против красоты,- произведет нечто ложное и
безобразное. Мир нравственный, мир свободного добра и зла, по самому своему
существенному качеству уже сразу предстоит и поэзии не как предмет

253

созерцательного внимания только, но и как предмет жизненного решения;
ибо он по существу своему есть мир не различия только, но и
противоборства. Кривая и прямая линии различаются друг от друга, но не
борются между собою; добро и зло, правда и лукавство не останавливаются на
теоретическом различии, а по необходимости вступают в деятельную борьбу;
это для них совершенно существенно: если бы зло не противоборствовало
доброму, то оно не было бы злом, а было бы лишь натуральным явлением, как
кривая линия или морской гад; но ведь оно в действительности вступает в
борьбу с добром, показывая себя как действительное нравственное зло и тем
открывая и добро как такое в нравственном его качестве; а без
противоборства злу добро оставалось бы только естественным образом бытия,
как прямая линия или как парящий в небесах ангел.

Но ведь нравственное добро и зло в их собственном качестве существуют в
действительности, а следовательно, составляют и предмет поэзии именно в
этом нравственном качестве. Странно было бы поэту внимательно созерцать
морских гадов и небесных ангелов и закрывать глаза на человеческую жизнь,
насквозь проникнутую нравственными категориями, всю состоящую из
относительного движения по всем степеням злодейства и добродетели, между
двумя неподвижными полюсами добра и зла. Ангелы небесные, в своем горнем
полете, и гады морские, в своем подводном ходе, пребывают нравственно
неподвижны, без внутренних перемен, а потому и со стороны поэта требуют
только невозмутимого внимания; жизнь человеческая определяется внутренним
нравственным движением в ту или другую сторону - или подвигом добра, или
злодеянием, - а потому и от настоящего объективного поэта требует, кроме
созерцания, - нравственной оценки, внутреннего движения - симпатии или
анттипатии. Ведь и злодейства и подвиги добра существуют действительно в
этой самой своей нравственной противоположности, и настоящий поэт,
воспринимающий и передающий другим то, что есть, никак не может отвлечься
от существенного противоборства добра и зла. Зло существует действительно,
но по необходимости как отрицаемое и уничтожаемое. Поэт одинаково отступил
бы от истины, и тем самым от красоты, и в том случае, если бы он принял и
изобразил зло, как уничтоженное теперь, а также и в том, если бы он не
признал в нем отрицаемого и уничтожаемого. Внимательно созерцая кривой ход
ползущего или плавающего гада, истинная поэзия не вздумает его исправлять,
не станет отрицать или уничтожать кривой линии: и не за

254

чем, и не за что! Но, входя в область нравственную, приступая к двуногому
гаду или хотя бы только к грешному, лукавому и празднословному языку
самого избранника, истинная поэзия не может отнестись к нему иначе как
отрицательно, она должна признать его подлежащим уничтожению :

И вырвал грешный мой язык...

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Чтобы раскрыть зрение и слух для более тонких и глубоких восприятий, не нужно было истреблять их органов, - высшей силе довольно было их коснуться. Тут нечего было истреблять, так как ни слабость зрения, ни тупость слуха не представляют ничего активно дурного - прямого греха тут нет. Заметим, однако, что и это раскрытие и поднятие немощных чувств на высшую ступень силы не происходит совсем безболезненно: зеницы отверзаются как у испуганной орлицы, - такой испуг не может быть приятен; а также неприятно, когда уши вдруг наполняются шумом и звоном. Но если подъем немощных, хотя и безгрешных чувств связан с неприятными состояниями, то органы активного зла, или прямого греха, требуют, очевидно, не возвышения (Это значило бы усиливать зло), а полного перерождения через подавление и истребление в них злого начала, что предполагает настоящее страдание, состояние прямо мучительное. Но нужен ли такой глубокий переворот нравственной природы, нужны ли такие муки нового рождения для поэта, баловня свободы, друга лени, каким в некоторой мере всегда оставался Пушкин? И совершилось ли в нем самом что-нибудь подобное в эпоху, когда написан "Пророк"? В таком вопросе автобиографический элемент, несомненно присутствующий в этом стихотворении, получает неверный смысл и преувеличенные размеры.

Я должен опять напомнить, что Пушкин лично никогда, ни в эту эпоху, ни прежде, ни после, не требовал ни от самого себя, ни от других того глубокого и полного нравственного перерождения, к которому он, однако, был-таки волей-неволей трагически приведен в три последние дня своей земной жизни; но за десять с лишком лет до того вопрос о духовном перерождении, о вырванном языке и о вынутом сердце, - все, что изображено во второй половине стихотворения "Пророк", - не имело и не могло иметь у Пушкина прямого автобиографического значения. А дело было, как мы знаем, вот в чем. Поэтическое самосознание Пушкина, созревшее и повышенное в силу внутренних и внешних причин, облеклось в минуту вдохновения велича

255

вым образом библейского пророка, - образом, подходящим, конечно, не ко всякому поэту, а лишь к тому идеальному, свыше призванному, для великого служения предназначенному поэту, для той высшей потенции творческого гения, которую в этом поднятом настроении ощущал в себе Пушкин. А раз этот образ вдохновенного и повышенного поэтического самосознания овладел душою Пушкина, то он уже был не волен распоряжаться им по своим мыслям и личным житейским опытам, а предоставлял ему свободно, или, что то же, по внутренней необходимости, полнее и полнее раскрывать все, что в нем содержится, весь его собственный смысл, от одного присущего ему положения переходя к другому, еще более глубокому и содержательному. Не будучи кем-нибудь из библейских пророков и еще менее Мухаммедом, пушкинский "Пророк" не есть также и какой-нибудь из поэтов, он не есть также и сам Пушкин, а есть чистый носитель того безусловного идеального существа поэзии, которое было присуще всякому истинному поэту, и прежде всего самому Пушкину в зрелую эпоху его творчества и в лучшие минуты его вдохновения. У него это существо поэзии находило свое чистейшее, беспримесное выражение, никогда не достигая, однако, ни у него, ни у другого какого-либо поэта своего полного жизненного воплощения. Но ведь мы говорим о стихотворении, где живая полнота и всецелость поэтического призыва раскрываются поэтически, а не осуществляются практически. И эта идея взята здесь на той высоте, в той тончайшей, разреженной атмосфере мысли, где сущность призыва поэтического сближается и сливается с чистейшою сущностью призыва пророческого, оставляя внизу исторические - национальные и личные - особенности всех пророков вместе с такими же особенностями всех поэтов.

Этот _поэт_ в одежде пророка, созданный вдохновением и с внутреннею, свободною необходимостью раскрывающий полноту своего смысла, не совпадая ни с каким из действительных поэтов, никак не может, однако, быть простым отвлечением от них, потому что, живя в них всех, он больше их всех, он есть то в них, что они все знают в себе как лучшее их самих, то, что "прах переживает и тленья убежит"; он не есть отвлечение от них, а их существенная норма, как чистая геометрическая линия не есть отвлечение от всяких приблизительных эмпирических данных линий, - она есть их существенная норма, без которой они не имели бы смысла и вовсе не существовали бы как _линии_. Или более близкий

256

пример: "этот листок, что засох и свалился", - не избежал тления, его форма
Страница 116

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
не осилила расторгающих материальных процессов,- но должна бы была осилить, если бы жизнь полнее и глубже осуществлялась в этом листке;- и вот это самое долженствование, эта существенная норма - стоит перед нами в ином и, однако, том же самом листке, что "золотом вечным горит в песнопеньи", или на картине. Пусть ни один поэт не провел в себе самом до конца того, что требует полный и могучий идеал поэтического призыва. Но этот идеал есть норма,- и вот она стоит перед нами в этом образе пушкинского "Пророка", стоит и беспрепятственно раскрывает все свое - более чем действительное внутренне необходимое содержание. Оно не придумано умом Пушкина, а дано ему и передано им как высшая норма. Не будем же здесь искать сообразности с личным характером поэта, с его фактическим способом действия, или поведением, а лучше отметим в этом поэтическом самораскрытии логическую связь его моментов и их полную сообразность с внутреннею необходимостью или истинным смыслом самого дела.

X

Поэт-пророк изощренным вниманием проник в жизнь природы высшей и низшей, созерцал и слышал все, что совершается, от прямого полета ангелов до извилистого хода гадов, от круговорота небес до прозябания растения. Что же дальше? Превратится ли он весь без остатка в зрение и слух? Ведь это было бы умаление, а не возвышение человека. Критики, думающие, что вся задача поэта - только созерцать, и сами до некоторой степени причастные такому созерцанию, не ограничиваются, однако, им одним,- они действуют, они пишут и печатают, для распространения своей теории, и делают ведь это не в противоречие, а в силу своего - действительного или мнимого - высшего призыва. Они не могут, да, вероятно, и не хотят быть полулюдьми,- а поэт идеальный, поэт-пророк должен быть и оставаться получеловеком! Требование бессмысленное, которое, впрочем, никогда и не исполнялось. Гений поэзии не терпит односторонности, и ведь наш "пророк" был в руках не однокрылого, а шестикрылого серафима: кто помог его вниманию, тот подготовит его и к действию.

257

Кто прозрел, чтобы видеть красоту мироздания, тот тем мучительнее ощущает безобразие человеческой действительности. Он будет бороться с нею. Его действие и оружие - слово правды. Он - не служитель внешнего порядка, хотя и не враг ему; он вполне признает его пользу, но сам не хочет и не может быть орудием этой пользы: ни метлы, ни меча! (см. ниже) Его собственное орудие радикальнее метлы, остree меча. Мы говорим на всех языках: горькая правда, сладкая лесть,- и никто не скажет наоборот. Правда огорчает, но еще более того: она колет глаза, жалит, пронзает, язвит. Конечно, за правду часто принимается и то, что слишком поверхностно и односторонне для такого действия. Так, например, если сказать человеческой толпе даже по какому-нибудь справедливому поводу: "Ах вы, подлецы, подлецы!" - то такая правда,- чересчур элементарная, и по содержанию, и по форме, если и огорчит людей, то, конечно, не очень глубоко; а как пронзительно жалит настоящая правда, облеченнная в мудрость, об этом можно судить по силе вызываемого ею противодействия, которое по физическому закону прямо пропорционально действию: ведь Сократ потому и должен был выпить яду, что его правдивые и мудрые речи были слишком ядовиты для его близких,- его отправили потому, что он отправлял жизнь своим согражданам.

Но отправлять жизнь других, хотя бы ложную, и быть отправленным ими, хотя бы за одну только правду,- есть ли это настоящий конец дела? Мы по справедливости преклоняемся перед человеком, мужественно и мудро свидетельствующим о жизненной правде, мы охотно признаем такого человека исповедником и пророком правды; но если скажем, что в этом - весь идеал совершенства, вся красота, то в таком утверждении не будет ни правды, ни мудрости, ни мужества. Есть еще высшая ступень пророческого, т. е. идеально-поэтического, служения. Мудрое и бесстрашное слово правды есть уже, конечно, более чем слово,- это есть действие, предполагающее подвиг перерождения грешного языка - орудия лукавства и праздномыслия - в чистое орудие божьей правды; это есть действие и подвиг, но еще не совершенное действие, не высший подвиг,

Подвиг есть и в сражении,

Подвиг есть и в борьбе,

В любви и мольбе.

(Хомяков) {23}.

258

Дело высшей правды _объявляется словом правды_, но _совершается_ огнем любви. В области слова идет явная борьба добра со злом, но победа дается только тайному подвигу сердца. Не язвить зло, а спалить его - вот окончательная задача избранника, требующая от него полноты совершенства. Все предыдущее есть только необходимый путь к нему, где каждый необходимый шаг необходимо добывается страданием. _Болезненно_ раскрытие зрения и слуха для высшего внимания, _мучительна_ замена грешного языка жалом мудрости, а последнее высшее условие совершенного подвига представляется прямо смертельным. Но оно необходимо. Ведь дело идет об идеальной полноте, о том, что должно быть доведено до конца. Если, идя этим путем, нельзя остановиться на совершенстве зрительного и слухового восприятия, а необходимо перейти к совершенному действию, первое орудие которого есть язык, то нельзя также остановиться и на перерождении этого органа, при всей его важности и силе (см. Поэл. Иакова, III, 2-10). Настоящий центр жизни и существа человеческого, конечно, не в языке, а в сердце его, и оно ли останется нетронутым в процессе совершенствования? Задача - спалить зло. Для этого у избранника одно средство - слово. Но для того, чтобы слово правды, исходящее из жала мудрости, не язвило только, а жгло сердца людей, нужно, чтобы само это жало было разожжено сердечным огнем любви. А этот огонь не выходит из земли, и "пророк" не найдет его в своем собственном сердце. Не потому, чтобы оно было по природе злое. Для злого сердца недоступна и первая половина совершенства: _не видит премудрость в душу злочудожну_. Конечно, у "пророка", уже владеющего жалом мудрости, сердце доброе. Но оно плотское, трепетное: оно готово на всякое добро, но спалить зло собственными силами оно не может, - для этого нужен божий огонь. И вот последнее окончательное действие шестикрылого серафима

И он мне грудь рассек мечом

И сердце трепетное вынул,

И угль, пылающий огнем,

Во грудь отверстую водвинул.

Как все суетное, не-божье в мире еще прежде должно было стать для "пророка" _пустынею_, так теперь все суетное, не-божье в нем становится _трупом_

Как труп в пустыне я лежал...

259

Смертно-животворный процесс кончен. Избранник готов для новой жизни и для новой всепобедной деятельности. Напитанный новыми созерцаниями, умудренный внутренним опытом и от сердца до языка наполненный вышею волею, он будет отныне говорить и действовать не от себя, не от своей немощи, а именем и силою посылающего его божества

И божий глас ко мне воззвал:

Восстань, пророк, и виждь, и внемли;

Исполнись волею моей

И, обходя моря и земли,

Глаголом жги сердца людей*.

XI

В пушкинском "Пророке" значение поэзии и призвание поэта являются во всей высоте и целости идеального образа. В шести других, однородных по предмету, стихотворениях этот цельный образ хотя не понижается, но как бы отступает

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org вдали. А на первый план выдвигается та или другая сторона поэзии, та или другая стадия в призвании поэта, и в особенности его отношение к человеческой толпе. "Пустыня", где "пророк" встречает серафима и слышит божий глас, помещается очень высоко над людьми, где-нибудь близ Кармильских или Синайских вершин {25}. Люди тут не существуют для пророка, на них лишь издали указано в последнем стихе как на задачу будущего: "глаголом жги сердца людей". Этим указанием на людей кончается все стихотворение.

* Я слышал такое замечание: "Если слова: "обходя моря и земли" - не подходят ни к Мухаммеду, ни к библейскому пророку, то ведь они также не подходят и к Пушкину". Совершенно справедливо. Но сила этого указания, как направленного против моего взгляда, ускользает от меня. Ведь и с биографической точки зрения (которая, впрочем, ничуть не преобладает в моем понимании этого стихотворения) следует заметить, что в 1826 году Пушкин никак не мог знать, придется ли ему или нет, предпринимать заграничные путешествия. Положительное же значение этого стиха, кажется, ясно. Призвание совершенного поэта, в котором обновлены и возведены на высшую степень все душевые силы, непременно должно быть универсально, относиться ко всем людям. Как же лучше указать на эту универсальность, не нарушая поэтической наглядности, как не словами: "и обходя моря и земли"? Пушкинское стихотворение отличается до конца выдержаною библейскою формою, без специального библейского содержания, и этот предпоследний стих несомненно звучит по-библейски, хотя и не совпадает по содержанию с библейскою пророческою идеей: голос Иакова, а руки - руки Иисуса {24}.

260

В тех других стихотворениях* поэт сходит с пророческой вершины и приближается к людям; он вспоминает, что и сам он наполовину принадлежит к ним; затем он сталкивается с людской толпою, враждует с нею во имя лучшей половины своего существа, с досадою отворачивается от нее, но под конец смягчается и, при мысли о лучшем будущем народа, вступает с ним в добродушный компромисс. Но и то враждебное столкновение и это заключение мира были бы непонятны, если бы за ними не стоял на едва досягаемой высоте тот идеальный образ поэта, который дан в "Пророке".

Ближайшая по времени (1827) к "Пророку" характеристика поэзии и поэта есть по содержанию прямое дополнение того первого стихотворения. И поэтический образ здесь близкий, хотя менее строгий и грандиозный - образ Аполлонова жреца {26}. А главная мысль все та же: поэт не волен в своих произведениях; он лишь повинуется высшему призванию и велению, и так же мало может по собственному произволу определять сроки и выражение своего творчества, как жрец не волен в выборе сроков, чина и слов священномействия. Это, в сущности, то же, что было и у "пророка": ведь и там в пустыне он был безволен и страдателен, - действующими были серафим и бог. Но тут, во втором стихотворении, выступает еще другая важная сторона, которой не было и не могло быть в "Пророке". Поэт, в своем новом качестве жреца, должен признаться, - и этим признанием начинается стихотворение, - что он существенно отличается от толпы только в храме, только у алтаря, только во время жертвоприношений; отойдя от святыни, он, как и все жрецы, становится простым смертным среди других простых смертных, сыном праха, не лучше, а может быть и хуже других.

Пока не требует поэта

К священной жертве Аполлон,

В заботах суэтного света

Он малодушно погружен;

* Я, разумеется, не утверждаю, чтобы о значении поэзии и о призвании поэта говорилось у Пушкина только в отмеченных мною теперь семи стихотворениях. Кроме нескольких мест в "Евгении Онегине" и в других больших произведениях, этой темы касаются еще несколько отдельных стихотворений ("Наперстница волшебной старины", "Не дорого ценю я громкие права", "Герой", "Разговор книгопродавца с поэтом"), но касаются с таких сторон, которыми я буду

261

Молчит его святая лира,
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.

Вот указание – несмотря на Аполлона и священную жертву – вполне реальное и несомненно автобиографическое. Но как же объяснить это понижение и эту двойственность? Каким образом поэт в качестве "жреца" может лишь в особых случаях, так сказать лишь по праздникам, перерождаться в существо высшего порядка, когда он же в качестве "пророка" уже всецело перерожден и наполнен волею божией? Каким образом может он в житейские будни душевно уподобляться, внутренне сливаться с ничтожным, суевным светом, которого жизнь вся держится на Грешном языке, и празднословном, и лукавом, когда у него – пророка – этот язык уже вырван и заменен совсем другим? Каким образом его душа может вкушать хладный сон, когда в его грудь, вместо холодного и трепетного сердца смертных, вложен уголь, пылающий божественным огнем? Каким образом может поэт, после перенесенных им от руки серафима операций, еще жить в миру как простой смертный, когда все мирское в нем уже сделалось трупом, а началась совсем новая жизнь, с новым зрением и слухом, новым сердцем? Нет ли здесь, на расстоянии нескольких месяцев времени, существенного, основного противоречия между автором "Пророка" и автором "Поэта"?

Никакого действительного противоречия между этими двумя стихотворениями, конечно, нет. Если с высокой горы я смотрю вон на это село, то вижу его все как на ладони, и все его дома видны мне вместе сразу; когда же, сойдя вниз, буду проходить мимо ближайших домов и останавливаться, чтобы рассмотреть их, то тех, что дальше, не буду видеть вовсе, а ближайшие буду видеть иначе, нежели с горы, – но между этими двумя взглядами на предмет никакого противоречия не будет, как его нет между частями и их целым.

В "Пророке" высшее значение поэзии и поэтического призыва взято как один идеально законченный образ, во всей целости, в совокупности всех своих моментов, не только прошедших и настоящих, но и будущих. Болезненный и мучительный процесс духовного перерождения проходит перед нами в мгновенных картинах и тут же завершается целиком. Но в действительности он ведь не завершен. Пусть поэт в самом деле ощущал себя пророком, пусть он в самом деле восходил на пустынную гору высшего вдохновения,

262

где видел серафима и слышал голос божий. Все это было, но полное его внутреннее перерождение – еще впереди; он пока сошел с вершин своего поэтического Синая лишь с пророческим задатком того совершенства, которое еще должно быть. В идеальном образе нет никакого раздвоения между житейским сознанием и поэтическою сверхсознательностью; эта двойственность представлена пережитою, пересиленною, превзойденною. Но скоро сказка оказывается, да не скоро дело делается. В действительности будущее совершенство еще не в наших руках, мы еще переживаем настоящее, а его закон – именно та половинчатость, то раздвоение между праздником и буднями, между поэтическою высотою и житейским ничтожеством, которое ярким контрастом выступает в стихотворении "Поэт". Заметим, что вторая его половина возвращает нас к "Пророку" (в особенности к его началу).

Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел.
Тоскует он в забавах мира,

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Людской чуждается _молвы_;

К ногам народного кумира
Не клонит гордой головы,
Бежит он дикий и суровый
И звуков и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы.

Здесь почти все стихи повторяют (в очень смягченном виде) образы и выражения из "Пророка". Сравним в самом деле: здесь- "до слуха чуткого коснется"; там- "моих ушей коснулся он"; здесь- "и звуков и смятенья полн"; там- "и их наполнил шум и звон"; здесь- "как пробудившийся орел"; там - "как у испуганной орлицы"; резкий образ в "Пророке": "и вырвал грешный мой язык, и празднословый и лукавый" заменен здесь такою невинною отвлеченною фразой: "людской чуждается молвы", что сразу, пожалуй, и не признаешь их тождественного смысла; зато "берега пустынных волн", куда бежит поэт, очевидно - та же "пустыня мрачная", где влачился "пророк".

Насколько поэт приближается к прежнему образу пророка, настолько же он удаляется от своего первоначального образа жреца, которого смысл здесь лишь в одной общей черте, соединяющей его с поэтом в одинаковой безвольности, пассивности и исключительности как поэтическо

263

го вдохновения, так и священнической благодати. Все остальное у них совсем разное, и образ жреца во второй половине стихотворения брошен и забыт. Какое отношение к нему могут, в самом деле, иметь стихи:

К ногам народного кумира
Не клонит гордой головы...?

А далее, человек, в диком виде бегущий в пустынные места, может быть похож на все, что угодно, но только не на жреца, торжественно шествующего для жертвоприношения в многолюдный храм, с главою, умашенною елеем. Ясно, что все значение поэзии, как его сознавал наш поэт, не могло быть связано с образом жреческого служения, и что этот образ, давши первую ноту стихотворения, не мог образовать его общей формы. Поэтому Пушкин, дав своей первой картине поэтического призыва титул пророка, не продолжал аналогии и не назвал вторую жрецом, а обозначил ее прямо как характеристику поэта.

XII

Людская толпа не довольствуется тем, что поэт в свои будни сливаются душою с ее ничтожеством,- она посягает и на праздник его вдохновения, идет за ним в храм, рассаживается кругом алтаря, требуя, чтобы он и здесь своими вдохновенными песнями служил только ей {27}.

Поэт на лире вдохновенной
Рукой рассеянной бряцал.
Он пел,- а, хладный и надменный
Кругом народ непосвященный
Ему бессмысленно внимал.
И толковала чернь тупая:
"Зачем так звучно он поет?
Напрасно ухо поражая,

К какой он цели нас ведет?

О чем бренчит? Чему нас учит?

Зачем сердца волнует, мучит,

Как своенравный чародей?

Как ветер песнь его свободна,

Зато как ветер и бесплодна:

Какая польза нам от ней?"

Такое начало заранее, казалось бы, делает невозможными те кривотолкования, которым тем не менее подвергалось и доселе подвергается это важное, ясное и прекрасное стихо

264

творение. Даже такой остроумный и в других случаях понятливый современный критик, как тот, которого я похвалил в начале этой статьи {28}, объявляет стихотворение "чернь" загадочным, а затем, разгадывая его смысл, приходит к неблагоприятным для этого поэтического разговора заключениям, менее всего основательным. Между тем Пушкина можно здесь упрекнуть разве за излишнее, может быть не совсем художественное, накопление в начале разных эпитетов, объясняющих, в чем дело. Для одной стороны - для поэта употреблены лишь два эпитета - его лира названа вдохновеною, а его рука, на ней брящающая, - рассеянною; но и этого достаточно. Так как далее следует враждебное столкновение поэта с другую сторону, то эти два эпитета сразу объясняют, что это за столкновение, из-за чего оно происходит: ясно, что это борьба за права поэтического вдохновения, за его свободу, независимость от внешних, посторонних целей, а его непринужденность и преднамеренность; - борьба против кого? - ясно, что против тех, кто не понимает значения поэзии, не ценит ее собственного, независимого содержания. Но Пушкин еще поясняет это пятью эпитетами, которыми он снабжает противников поэта: они хладные и надменные, непосвященные, бессмысленные, тупые. Ну, разве допустимо, чтобы все эпитеты, или хотя бы один из них, были употреблены Пушкиным для презрительной характеристики народа или черни в собственном смысле? что могло бы значить такое сочетание слов: "хладные земледельцы"; "надменные водовозы"; "непосвященные извозчики"; "бессмысленные половые"; "тупые сапожники или плотники"? Между тем, назло очевидности, не позволяющей принимать в буквальном смысле слова "чернь" и "народ", Пушкина до сих пор одни восхваляют, а другие порицают за его аристократизм по отношению к народу! А с другой стороны, его вражду к этой "черни" пытаются истолковать наоборот, в смысле антиаристократическом, разумея под "чернью" - "светский круг" общества, будто бы преследовавший Пушкина. Но если поэт не мог иметь враждебного столкновения с простым народом из-за поэзии, этому народу неизвестной, то он не мог враждовать и против того общественного слоя, к которому принадлежали его лучшие друзья и самые восторженные ценители его поэзии. Значит, враждебная поэту толпа не имеет, да и не может иметь, сословных или вообще социальных признаков. Это есть не общественная, а умственная и нравственная чернь, - люди формально образованные и потому могущие вкрай и вкось судить о поэзии, но по внутренним причинам не

265

способные ценить ее истинного значения, требующие от нее рабской службы практическим целям. К этой черни менее всего могут принадлежать, конечно, земледельцы, пастухи и ремесленники, не ради их мнимого демократического преимущества, а просто по отсутствию у них (особенно во времена Пушкина) всякого формального образования, вследствие чего, не имея о поэзии никаких мнений, они не могут иметь и ложных. Значит, пушкинская "чернь" могла набираться только из людей среднего и высшего общества, то есть из единственной тогда публики поэта, и набираться, очевидно, не в силу общественного положения, а в силу того внутреннего личного свойства, которое немцы окрестили филистерством, а римляне обозначили: *profanum vulgus**. Ведь этот *profanum vulgus* имеет мало общего с плебейством, и ему противополагаются никак не патриции. А кто же? Справимся с Горацием:

Favete linguis: carmina non prius
Audita, musarum sacerdos,
Virginibus puerisque canto**.

Непосвященной черни противополагаются девы и мальчики, то есть, на современном языке, самодовольным и непроницаемым филистерам противополагаются юные, внутренно девственные души (хотя бы и в старческих телах), души, открытые для всего истинно прекрасного и высокого, будь оно и неслыханным прежде - carmina non prius audita***.

На вопрос "черни": "Какая польза нам от твоей песни?" - поэт гневно отвечает:

Молчи, бессмысленный народ,
Поденщик, раб нужды, забот!
Несносен мне твой ропот дерзкий.
Ты червь земли, не сын небес.
Тебе бы пользы все - на вес
Кумир ты ценишь Бельведерский,
Ты пользы, пользы в нем не зришь;
Но мрамор сей ведь бог!.. Так что же?
Печной горшок тебе дороже:
Ты пищу в нем себе варишь.

* Непосвященный народ (лат.).- Ред.

** Темную чернь отвергаю с презрением,
Тайным доселе внемлите напевам.
Жрец, вдохновенный камея повелением,
Мальчикам ныне пою я и девам (лат.).- (Перевод А. А. Фета) - Ред.
*** Песни, ранее не слышанные (лат.).- Ред.

266

О Пушкине разные люди бывали разного мнения. Но, кажется, никто никогда не признавал за ним безвкусия и слабоумия. Но какая высокая степень безвкусия нужна была бы для того, чтобы бранить "поденщиками" _действительных_ поденщиков и укорять людей, материально нуждающихся, за эту их нужду; и какая высочайшая степень слабоумия потребовалась бы для того, чтобы изобразить поэта пререкающегося с действительными поденщиками о статуе Аполлона Бельведерского! А ведь именно такое беспредельное безвкусие и такое беспредельное слабоумие пришлось бы приписать Пушкину, если только его "народ" признать за действительный простой народ и в презрительно-гневном отвращении и вражде поэта к этому народу видеть проявление "аристократизма". Но вот с каким холодно-надменным, лицемерно-наглым издевательством обращаются к поэту эти мнимые "поденщики":

Нет, если ты небес избранник,
Свой дар, божественный посланник,
Во благо нам употребляй!

Сердца собратьев исправляй!

Мы малодушны, мы коварны,

Бесстыдны, злы, неблагодарны;

Мы сердцем хладные скопцы;

Клеветники, рабы, глупцы;

Гнездятся клубом в нас пороки;

Ты можешь, ближнего любя,

давать нам смелые уроки,

А мы послушаем тебя.

Последний стих, даже по форме выражения, есть явная ирония и насмешка: ты, мол, поговори, а мы тебя послушаем.

Трудно прийти в себя от изумления, будто бы это, переданное Пушкиным, циничное зубоскальство беспредельно самодовольных филистеров, так же беспечных насчет нравственности, как и насчет поэзии,- будто бы оно есть действительное, искреннее раскаяние и даже "вопль раскаяния"! - Однако! Кто же написал эту покаянную речь толпы? Ведь Пушкин? А разве он с начала до конца не объявляет этих людей хладно-_надменными_, тупо-лукавыми глупцами? Считая же их надменными, как мог он приписать им искреннее смирение, как мог вложить в их лукавые уста слова и "вопли" истинного раскаяния?

На лживый, лицемерно наглый вызов "черни" отвечает благородный и правдивый гнев поэта:

267

Подите прочь - какое дело

Поэту мирному до вас!

В разврате каменейте _смело_:

Не оживит вас лиры глас!

Душе противны вы как гробы.

Для вашей глупости и злобы

Имели вы до сей поры

Бичи, темницы, топоры!

Довольно с вас, рабов безумных!

Во градах ваших с улиц шумных

Сметают сор - полезный труд!

Но, позабыв свое служенье,

Алтарь и жертвоприношение,

Жрецы ль у вас метлу берут?

Гнев поэта правдив и понятен: не так возмутительна прямая вражда к доброму и прекрасному, как притворное к ним уважение, делающееся лукавым средством вражды. Гнев поэта правдив, язык поэта безгрешен, свободен от празднословия и лукавства; но... похожа ли его прямолинейная правдивость на "жало мудрого змея"? Если гневному красноречию поэта дать скатое и простонародное выражение, не сойдет ли оно на ту фразу: "Ах вы подлецы, подлецы!" - которая была выше приведена как образчик _элементарной_ правдивости,

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org способной только огорчить, но не пронзить зло насквозь? "Ах вы подлецы, подлецы!" - эта элементарная истина приняла в устах поэта благородную форму, сохранив, однако, всю свою элементарность. М. О. Меньшиков, которому гнусно-лицемерные слова "черни" странным образом показались "благородными", называет ответ поэта "крайне грубым и злобным". Другим он кажется благородным и правдивым. Это зависит от различного понятия правды: для одних правда всецело сводится к одному незлобию; другие понимают правду как истинное единство любви и гнева. Но во всяком случае следует признать, что ответу поэта недостает той змеиной тонкости, которую серафим сообщил в пустыне божию избраннику. Правдивый гнев такого избранника не исчертывался бы крепкими словами, а производил бы крепкое действие: он пронзал бы насквозь и дотла сжигал души зло-художные. Но в поэте еще не было той полноты духовного перерождения, которая необходима для такого действия.

Он в своем "Пророке" вдохновенно изобразил идеал вещего избранника, но не осуществил его в себе. Перерождение в нем только начиналось, и, не будучи "поденщиком, рабом нужды, забот, червем земли", он лишь наполовину был сыном небес, оставаясь перед чернью невольником душевного раздвоения. Он это чувствует, и, махнув

268

рукой на каменеющую толпу, непроницаемую для "гласа лиры", он уходит в свою неприступную крепость, к своему неотъемлемому достоянию:

Не для житейского волнения,

Не для корысти, не для битв,

Мы рождены для вдохновения,

Для звуков сладких и молитв.

Вдохновение - вот начало и конец этой поэтической исповеди. Вся она только борьба за безусловные права вдохновения. Что значит все лукавые приставания "черни" к поэту, как не покушения на _верховность_ его вдохновения? "Пой нам не то, что внушает твое вдохновение, которое кажется нам бесплодным, а то, что нам нужно, и чего ты также должен хотеть,- ведь должен же ты быть альтруистом, должен желать нам блага!"

- "Подите прочь!"

XIII

Душа поэта, как человека (его личная воля и ум), пассивна в области поэзии, молчит перед грядущим вдохновением, и только может тосковать по нем, жаждать его и готовиться к его приему. Но когда оно пришло, и принято душою, и овладело ею, то сама эта душа становится верховной властью в своем мире. В поэзии вдохновенный поэт есть царь. Здесь, как истинный царь-самодержец, он не зависит от "народа", не слушает его, не угождает ему, и для своего собственного дела, для вдохновенного творчества, не нуждается ни в чьем постороннем внушении и не подчиняется никакому постороннему суду.

Поэт отошел от толпы, смягчился, успокоился. То сознание своей поэтической самозаконности (автономии), которое в "Черни" приняло форму резкой полемики с врагами этой автономии, выразилось в сонете: "Поэту" {29}, как задумчивый и продуманный монолог:

Поэт, не дорожи любовию народной!

Восторженных похвал пройдет минутный шум,

Услышишь суд глупца и смех толпы холодной:

Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.

"Чернь" показала нам в драматическом изображении этот суд глупца и этот смех толпы холодной и гневный ответ поэта. Теперь он без негодования поминает этот суд и смех;

он понял их неизбежность и остается в немозумном сознании своей верховной независимости.

Ты царь: живи один.

дорогою свободной

Иди, куда влечет тебя свободный ум,

Усовершенствуй плоды любимых дум,

Не требуя наград за подвиг благородный.

Вдохновение безусловно свободно по своему началу, оно приходит само собою – но не с пустыми руками: оно несет с собою плоды любимых дум и налагает на поэта благородный подвиг их усовершенствования. Но этот подвиг совершается в области внутреннего самосознания поэта, и его награды не зависят от постороннего одобрения:

Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд.

Всех строже оценить умеешь ты свой труд.

Ты им доволен ли, взыскательный художник?

доволен? Так пускай толпа его бранит,

И плюет на алтарь, где твой огонь горит,

И в детской ревности колеблет твой треножник.

Заметьте смягчение: та самая толпа, то есть те враги поэтической автономии и верховых прав вдохновения, которые в разговоре с "чернью" представлялись каменеющими в разврате, – здесь укоряются только за детскую ревность.

Мы не будем останавливаться на прекрасном маленьком стихотворении "Эхо". Оно само было эхом, которым откликнулся Пушкин на голос Томаса Мура. Однако нельзя выпустить из числа самосвидетельств пушкинской поэзии; в нем особенно ярко выдвинута одна основная черта, всегда присущая поэтическому самосознанию Пушкина – невольность, пассивность творчества. Эхо не по своему произволу и выбору повторяет подходящие звуки – "таков и ты, поэт!". Заметим, однако, в конце слегка грустную ноту: "тебе ж нет отклика" {30}.

Подобный разбор чудной драматической сцены "Моцарт и Сальери" еще предстоит нам. Здесь заметим только, как прежние характеристики творческого гения подтверждаются и дополняются этой новой. "Пророк", "жрец", "царь" – к этим трем образам присоединяется четвертый – "гуляка праздный". Но все это сходится в одном: свобода и самозаконность относительно низшей и внешней, чужеродной условности и полная зависимость, пассивность перед внутренними наитиями, из сверхсознательной области вдохновения. Этот существенный характер поэзии с особенно яркою наглядностью выступает здесь вследствие трагического стол

270

кновения между истинным гением, Моцартом – он же и "гуляка праздный" и самоотверженным, добросовестным, но лишенным высшего вдохновения подвижником искусства, – Сальери.

XIV

Идут годы. В груди поэта бьется все то же трепетное человеческое сердце, кругом него все то же зло, и не чувствует он в себе того огня, который мог бы спалить это зло. В уме его все более и более укореняется сомнение в том необъятном призвании, которого величавый образ явился ему некогда на середине его жизненного пути. Внимание его обращается на ближайшую будущность его поэзии. За несколько месяцев до смерти он еще раз восходит, – но не на пустынную вершину серафических вдохновений, а на то предгорье, откуда взор его видит большой народ, потомство его поэзии, ее будущую

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org публику. Этот большой народ, конечно, не та маленькая "чернь", светская и старосветская, что его окружает. Этот новый большой народ не вырывает гневных слов у поэта, эти народные колыбели не противны его душе, как живые гробы. В этом большом народе есть добро, и оно даст добрый отклик на то, что найдет добрым в поэзии Пушкина. Поэт не провидит, чтобы этот большой народ весь состоял из ценителей чистой поэзии: и эти люди будут требовать пользы от поэзии, но они будут искренно желать истинной пользы нравственной; навстречу такому требованию поэт может пойти без унижения: ведь и чистая поэзия приносит истинную пользу, хотя не преднамеренно. Так что ж? Эти люди ценят поэзию не в ней самой, а в ее нравственных действиях. Отчего же не показать им этих действий в пушкинской поэзии? "То добро, которое вы цените, - оно есть и в моем поэтическом запасе; за него вы будете вечно ценить мою поэзию; оно воздвигнет мне среди вас нерукотворный и нескорумный памятник". Вот достойный и благородный "компромисс" поэта с будущим народом, составляющий сущность стихотворения "Памятник". Это стихотворение есть не поэтическое, а практическое (в хорошем смысле слова) credo Пушкина, - непостыдное соглашение его с потомством. Для поэта главное в поэзии - она сама, но он не может отрицать и ее нравственной пользы; для "народа" главное в поэзии - эта нравственная польза, но ведь он ценит и ее прекрасную форму. Значит, нет надобности обращать эти два взгляда

271

острием друг против друга, когда они могут сойтись в одной и той же, хотя неодинаково обоснованной оценке {31}.

Я памятник себе воздвиг нерукотворный;

К нему не зарастет народная тропа;

Вознесся выше он главою непокорной

Александрийского столпа.

Высота поэтического самосознания уже не обращена здесь против народа, да и не имеет причины обращаться. Ведь этот будущий народ не посягает на права вдохновения, ничего не требует от поэта, - он только берет в созданиях поэта то, что особенно ценит. Сам поэт выше всего ценит у себя чистую поэзию; от этого он и теперь не отрекается:

Нет! весь я не умру! душа в заветной лире

Мой прах переживет и тленья убежит.

Самое важное для поэта - поэтическое вдохновение, заветная лира. Это есть первое и главное основание его славы среди избранников:

И славен буду я, доколь в подлунном мире

жив будет хоть один пийт.

Но поэт, прежде забывавший даже о среде избранников, утверждавшийся в своем безусловном одиночестве - "ты царь: живи один", - теперь не ограничивается уже и своею славою среди "пийтов", - он утверждает свою всенародную славу:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,

И назовет меня всяк сущий в ней язык:

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой

Тунгус, и друг степей - калмык.

Поэт знает, что эта пестрая народная толпа будет ценить его главным образом не за чистую поэзию, не за вдохновение "звуков сладких и молитв", для нее более ценно нравственное действие поэзии:

И долго буду тем любезен я народу,

Что чувства добрые я лирой пробуждал,

И милость к падшим призывал.

Это дорого народу, но ведь это дорого и самому поэту, хотя и не дороже всего. В последней строфе, как бы полагая нерушимую печать безупречного благородства на свое согла

272

шение с потомством, поэт опять настаивает на верховности вдохновения и на безусловной самозаконности поэзии:

Веленю божию, о музя, будь послушна:

обиды не страшись, не требуй и венца,

Хвалу и клевету приемли равнодушно

И не оспоривай глупца.

При всем различии разобранных нами стихотворений, они сходятся в том, что по мысли и внутреннему чувству Пушкина все значение поэзии – в безусловно независимом от внешних целей и намерений, самозаконном вдохновении, создающем то прекрасное, что по самому существу своему есть и нравственно доброе.

Этим достаточно определяется значение поэзии, но не содержание ее. Чтобы узнать это содержание, всего лучше последовательно пройти через весь ряд пушкинских творений.

273

КОММЕНТАРИИ: ЗНАЧЕНИЕ ПОЭЗИИ В СТИХОТВОРЕНИЯХ ПУШКИНА

Впервые напечатана в "Вестнике Европы", 1899, № 12, с. 660–711.

Статьей Соловьева редакция журнала подводила итоги юбилейного года, богатого разного рода торжествами, которым был придан, как правило, официальный характер. В сообщениях о пушкинских празднествах "Вестник Европы" держался либерально-критического тона, сравнивал 1899 г. и 1880 г., когда в Москве был открыт памятник Пушкину, вспоминал "тени недавнего прошлого" и отмечал, что сейчас "нет праздника" (Вестник Европы. 1899. № 6. С. 849–850; № 7. С. 410–431). Для самого Соловьева новое обращение к имени Пушкина было связано со стремлением объяснить смысл статьи "Судьба Пушкина", напомнить об отличии этической стороны дела от эстетической. Общий подход критика к творчеству Пушкина не изменился, он считал его правильным и обличал "антиисторические и противопушкинские" взгляды других. См. комментарий к статье "Судьба Пушкина".

Статья "Значение поэзии в стихотворениях Пушкина" была задумана как часть большого труда о поэте, который остался ненаписанным. В этом смысле статью можно считать неоконченной.

{1} См.: Майков Л. Н. Пушкин: Биографические материалы и историко-литературные очерки. СПб., 1899; Корш Ф. Е. Разбор вопроса о подлинном окончании "Русалки" А. С. Пушкина по записи Д. П. Зуева. СПб., 1898–1899 // Известия Отделения русского языка и словесности имп. Академии наук. 1898. Т. 3. Кн. 3. С. 633–785; 1899. Кн. 1. С. 153–364.

{2} Имеется в виду статья А. Ф. Кони "Нравственный облик Пушкина". См. комментарий к статье "Судьба Пушкина".

{3} Не называя имен, Соловьев продолжает полемику с авторами журнала "Мир искусства", начатую в статье "Особое чествование Пушкина".

{4} Строки стихотворения Пушкина "Муза" (1821). Ниже Соловьев приводит его полностью.

{5} Ниже Соловьев цитирует (с неточностями и, как и во всех остальных случаях, пренебрегая авторской пунктуацией) стихотворение "19 октября"

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org ("Роняет лес багряный свой убор..."), 1825.

403

{6} Здесь и далее неточно приводятся строки из стихотворения "Осень" (1833).

{7} Из стихотворения "Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю..." (1829).

{8} "Пророк" написан в 1826 г. Анализируя стихотворение, Соловьев выступает не столько как литературный критик, сколько как знаток библейских текстов и автор книги "Магомет, его жизнь и религиозное учение" (СПб., 1896).

{9} Хеджас (Эль-Геджас) и Нэджед - области в Аравии.

{10} из "Подражаний Корану" (1824).

{11} Поэма "Руслан и Людмила" создавалась в 1820 г., "Каменный гость" в 1830 г., "Русалка" - в 1826-1832 гг.

{12} Соловьев перечисляет древнееврейских пророков VIII- начала VII в. до н. э., чьи "Книги" вошли в Ветхий завет; о Валааме, относительно которого в богословии нет единого мнения и которого считают то ложным пророком, то пророком истинным, но впавшим в грех, см. книга Числ., гл 22-24; 31, 8. Знаменитый пророк Даниил (VI в. до н. э.) назван "загадочным" потому, что подлинность его книги неоднократно подвергалась сомнению.

{13} Корейшиты - арабское племя, долго не принимавшее учение Мухаммеда, который был родом корейшит (родился в 570 г.).

{14} Ягве (Яхве) - одно из имен Бога в Библии, наряду с Иеговой, Саваофом, Элогимом и др.

{15} Дан. 12, 8.

{16} Израиль, он же Иаков - младший сын Исаака и Ревекки, откупивший у брата Иава право первородства за чечевичную похлебку (Быт. 25, 31-34); Ассур, строитель Ниневии (напр., Быт. 10, 11); Эдом (Едом), он же Иав; Моаб (Моав) и Амман, сыновья Лоттовых дочерей (Быт. 19, 37 - 38).

{17} См. Ион. 2, 3, 10.

{18} Из стихотворения "Стансы" (1826). Соловьевская трактовка "бодрого" настроения поэта в 1826 г. по меньшей мере односторонна.

{19} Строки из стихотворения "19 октября" (1825).

{20} Соловьев приводит эпиграмму 1821 г., цитируя сначала три последние строки, а затем две первые (курсив Пушкина, слово "полон" тоже курсивом).

{21} Неточная цитата из стихотворения А. К. Толстого "Меня, во мраке и в пыли..."

{22} Неточная цитата из стихотворения А. А. Фета "Поэтам" (1890).

{23} Соловьев неточно цитирует начальные строки стихотворения А. С. Хомякова "Подвиг есть и в сраженьи..." (1859).

{24} Быт. 27, 22.

{25} Кармиль (Кармель) - гора в Палестине, Синай - гора на Синайском полуострове. Описаны в Библии.

{26} Речь идет о стихотворении "Поэт" (1827), цитируемом ниже.

404

{27} далее Соловьев неточно цитирует стихотворение "Поэт и толпа" (1828).

{28} Речь идет о М. О. Меньшикове.

{29} Сонет относится к 1830 г.

{30} Соловьев неточно цитирует строки из стихотворения "Эхо" (1831).

{31} Соловьев полностью (с небольшими неточностями) приводит стихотворение "Я памятник себе воздвиг нерукотворный..." (1836).

Особое чествование Пушкина

Владимир Сергеевич Соловьев

Особое чествование Пушкина

Письмо в редакцию "Вестника Европы"

Комментарии доктора ист. наук Н.И. Цимбаева.

Сохранено деление на страницы, номер страницы издания проставлен в конце каждой страницы. Курсив в книге заменен на выделение двумя подчеркиваниями. Ссылки на комментарии заключены в {фигурные скобки}

Это особое и достопримечательное чествование устроено нескользкими господами "оргиястами" (таков их главный новейший титул) на страницах известного и весьма занимательного журнала "Мир искусства" {1}. Вы совершенно напрасно не читаете этого журнала, я хочу обратить на него ваше внимание своим рассказом. Но с этим особым литературным поминанием Пушкина связано одно маленькое личное происшествие; расскажу вам и его, так как и оно при всей микроскопичности кажется мне тоже любопытным.

Столетний юбилей Пушкина застал меня в Швейцарии, в местечке, называемом Уши и составляющим приозерное предместье города Лозанны. Я приехал туда за несколько дней перед тем из приморского города Канн, где прожил около двух месяцев в гостях у одного дружеского русского семейства. В Уши я также поместился в ближайшем соседстве с этими друзьями. Накануне юбилейного дня у нас был разговор о том, как жалко, что никто не захватил за границу сочинений Пушкина и что в Лозанне невозможно достать ничего, кроме запрещенного издания с наполовину подложными и более чем наполовину непристойными стихотворениями. Таким образом, мы были лишены единственного и наилучшего способа помянуть Пушкина чтением его творений. В полдень 26 или 27 мая входит в мою комнату почтальон с толстой бандерольной посылкой и заказным письмом. И то и другое - от редакции "Мира искусства". Читаю письмо и сначала ничего не понимаю. Редакция, препровождая мне полное собрание сочинений Пушкина, торопит прислать к началу мая статью или заметку о Пушкине для юбилейного выпуска журнала. После не

213

скольких минут недоумения смотрю на пометку числа отправления (с чего, конечно, следовало бы начать) и вижу что-то вроде 6 или 9 апреля. На конверте и на бандероли тоже какие-то апрельские числа и на петербургском, и на каннском штемпеле. Вспоминаю, что действительно перед отъездом дал условное обещание постараться что-нибудь написать, но за невозможностью достать в Канне Пушкина считал себя от этого обещания свободным. Но почему каннская почта, которую я своевременно известила о своем таможнем и вовсе не извещал о лозаннском адресе, - почему она держала эту посылку более месяца и почему вдруг ее отправила, и как раз в пушкинские дни, - это оставалось непонятным. Материальные причины этой странности и до сих пор мне неизвестны, хотя, разумеется, они были. "Конечная" же "причинность" или "целесообразность" этого маленького происшествия оказалась несомненная, и притом двойная. Это, впрочем, выяснилось для меня лишь впоследствии, по возвращении в Россию. А пока можно было только радоваться, что и нам с друзьями пришлось подобающим образом помянуть *dona Dei per poetam**. Несколько вечеров кряду - кажется, всю юбилейную неделю - читал я Пушкина вслух и прочел, таким образом, все лучшие его творения.

Вернувшись в Россию, я познакомился с № 13 -14 названного художественного журнала. Текст этого № посвящен весь Пушкину и его юбилею и составлен четырьмя писателями: г. Розановым ("Заметка о Пушкине"), г. Мережковским ("Праздник Пушкина"), г. Минским ("Заветы Пушкина") и г. Сологубом** ("К всероссийскому торжеству"). В заметке г. Розанова, увенчанной изображением

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org дракона с вытянутым жалом, Пушкин объявлен поэтом бессодержательным, ненужным для нас и ничего более нам не говорящим, и это поясняется через противопоставление ему Гоголя, Лермонтова, Достоевского и Л. Толстого. Почему-то, говоря об этих _четырех_ писателях и называя их всех четырех, то вместе, то порознь, г. Розанов упорно считает их тремя: "эти три", "те три". Оказия сия, по мне, уж не нова. Ведь исторический роман Александра Дюма-отца, описывающий похождения четырех мушкетеров, почему-то называется "Три мушкетера". Но кого же из четырех писателей г. Розанов ставит не в счет? В самом конце своей заметки он действительно называет вместе только трех: Достоевского,

* Поэтический подарок богов (лат.).- Ред.

** Псевдоним.

214

Толстого, Гоголя. Выкинут, значит, Лермонтов. Но немного выше (стр. 7), сделав выписку именно из Лермонтова, г. Розанов замечает: "да, они все, т. е. эти три, были пьяны*". Значит, в числе трех считается и четвертый Лермонтов, и твердым остается убеждение г. Розанова, что четыре есть три.

Но это, конечно, не важно. Любопытно, в чем найдена противоположность между Пушкиным и этими четырьмя (они же и три) писателями. Чтобы не обидеть как-нибудь нечаянно г. Розанова, я приведу целиком главное место его заметки:

"Душа не нудила Пушкина сесть, пусть в самую лучшую погоду и звездно-удединенную ночь, за стол, перед листом бумаги; тех трех - она нудила, и собственно абсолютной внешней свободы, "в Риме", "на белом свете", они искали как условия, где их никто не позовет в гости, к ним не придет в гости никто. Отсюда восклицание Достоевского, через героя - автора "Записок о Мертвом доме" - об этом испытанном им Мертвом доме: "Едва я вошел в камеру (острог), как одна мысль с особенным и даже исключительным ужасом встала в душе моей: я никогда больше не буду один... долго, годы не буду".

"... и язык

Лепечет громко, без сознанья

давно забытые названья;

давно забытые черты

В сиянье прежней красоты

Рисует память своевольно:

В очах любовь, в устах обман,

И веришь снова им невольно

И как-то весело и больно

Тревожить язвы старых ран...

Тогда пишу {3}.

"что "пишу", что "написал"? даже не разберешь: какой-то набор слов, точно бормотанье пьяного человека**. да, они все - т. е. эти три - были пьяны, т. е. опьянены, когда Пушкин был существенно трезв. Три новых писателя, существенно новых - суть оргиасти*** в том значении и, ка

* Так как опрометчивая редакция "Мира искусства" ошибочно упрекала меня, будто целых осмеяния г. Розанова я обрезал его изречение, то я должен обратить внимание читателя на следующие страницы, где все рассуждение

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
почтенного оргиаста выписано целиком во всей своей неприкосновенной
прелести. А делать это два раза я считал и считаю излишеством {2}.

** Курсив мой. В. С.

*** Тоже.

215

жется, с тем же родником, как и Пифия {4}, когда она садилась на треножник. "В расщелине скалы была дыра, в которую выходили серные одуряющие пары", - записано о дельфийской пророчице. И они все, т. е. эти три писателя, побывали в Дельфах и принесли нам существенно древнее, но и вечно новое, каждому поколению нужное, языческое пророчество. Есть некоторый всемирный пифизм не как особенность Дельфа, но как принадлежность истории и, может быть, как существенное качество мира, космоса. По крайней мере, когда я думаю о движении по кругам небесных светил, я не могу не поправлять космографов: "хороводы", "танец", "пляска" и в конце концов именно "пифизм" светил, как свежая их самовозбужденность "под одуряющими внешними парами". Ведь и подтверждают же новые ученыe в кинетической теории газов старую картезианскую гипотезу космических влекущих "вихрей". Этот пифизм, коего капелька была даже у Ломоносова:

Восторг внезапный ум пленил {5}

и была его бездна у Державина: он исчез, испарился, выдохся у Пушкина*, оголив для мира и поучения потомков его громадный ум. Да, Пушкин больше ум, чем поэтический гений. У него был гений всех литературных поэтических форм; дивный набор октав и ямбов**; которым он распоряжался свободно; и сверхстарческого ума - душа как резонатор всемирных звуков.

Ревет ли зверь...

Поет ли дева...

На всякий звук

Родишь ты отклик {6}.

Он принимал в себя звуки с целого мира, но пифийской "расщелины" в нем не было***, из которой вырвался бы существенно для мира новый звук и мир обогатил бы. Можно сказать, мир стал лучше после Пушкина: так многому в этом мире, т. е. в сфере его мысли и чувства, он придал чекан последнего совершенства. Но после Пушкина мир не стал богаче, обильнее. Вот почему в звездную ночь:

- Барин всю ночь играл в карты****

* Курсив мой. В. С.

** Тоже.

*** Тоже.

**** Разумеется ночь, после которой Гоголь в первый раз пришел к Пушкину и услыхал от его слуги этот ответ. Почему г. Розанов считает эту ночь звездною - совершенно неизвестно.

216

- и, кто знает, не в эту ли и не об этой ли самой ночи Лермонтов написал*:

Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,

И звезда с звездою говорит".

Остановимся на минуту. Вот характерная черта: в ней весь писатель. Говорю не про Лермонтова, а про Розанова. Он спрашивает, т. е. в вопросительной форме догадывается: кто знает, не в эту ли и не об этой ли самой ночи

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
(когда Пушкин играл в карты) Лермонтов написал свое стихотворение "Выхожу один я на дорогу". Можно подумать, что биография Пушкина и Гоголя, хронология лермонтовских стихотворений – все это предметы, "покрытые мраком неизвестности". "_Кто знает_"? Да ведь _всякий_, если не знает, то по надлежащей справке легко может узнать, когда именно Гоголь познакомился с Пушкиным и к какому именно времени относится лермонтовское стихотворение, а, узнавши это, _всякий_ может видеть, что дело идет о двух фактах, разделенных долгими годами, и что осенняя петербургская ночь, которую Пушкин просидел за картами, никак не могла быть тою самою сияющею ночью, которая много спустя после смерти Пушкина вдохновила Лермонтова среди кавказской пустыни {7}. Что же такое этот вопрос: "кто знает"? Право, я не буду теперь слишком удивлен, если какой-нибудь "оргиастический" мыслитель печатно предъявит в одно прекрасное утро такой, например, вопрос: "Кто знает, та ночь, в которую родился Мухаммед, не была ли она та самая Варфоломеева ночь, когда Александр Македонский поразил мавританского дожа Густава Адольфа на равнине Хереса, Малаги и Портвейна".

И если бы еще отсутствие реальной правдивости в соображениях г. Розанова заменялось каким-нибудь идеальным смыслом, хотя бы фантастическим. А то ведь чем обогащается ум и сердце при замечании, что в ту ночь, когда Пушкин играл в карты, лермонтов, может быть, написал стихотворение "Выхожу один я на дорогу"? Как единичное сопоставление, это было бы так же малоинтересно, как и то, что, когда Пушкин писал "Роняет лес багряный свой убор", Гоголь, может быть, строил гримасы какому-нибудь своему нежинскому профессору, а Лермонтов бегал за своими кузинами {8}. А если бы сопоставление г. Розанова можно было обобщить, т. е. что Пушкин будто бы постоянно играл

* Курсив мой.

217

в карты по ночам, а в это время его якобы антиподы, которых "нудило" к перу и письменному столу, прилежно занимались поэзией, то ведь если бы этим что-нибудь доказывалось, то разве только прямо противоположное тому, к чему клонится вся заметка г. Розанова, – доказывалось бы, что Пушкин был, подобно Моцарту, "гуляка праздный", но, очевидно, гениальный, если постоянная игра и гульба с приятелями не помешала ему дать в поэзии то, что он дал, а его три-четыре антиподы оказались бы, вроде Сальери, художниками трезвыми и усердными, но не столь гениальными. Между тем г. Розанов стоит как раз на том, что Пушкин был более трезвый ум, нежели творческий гений, тогда как те его три-четыре преемника выставляются какими-то вдохновенными пифиями (что, однако, не мешало у Гоголя "надуманности" и "искусственности" его творений).

Но я опять боюсь, не взвести бы чего лишнего на г. Розанова и спешу к его *ipsissima verba** в заключении его заметки о Пушкине:

"Пушкин, по многогранности, по _все_–гранности своей – вечный для нас и во всем наставник. Но он слишком строг. Слишком серьезен. Это – во-первых. Но и далее, тут уже начинается наша правота: его грани суть всего менее длинные и тонкие корни и прямо не могут следовать и ни в чем не могут помочь нашей душе, которая растет глубже, чем возможно было в его время, в землю, и особенно растет живее и жизненнее, чем опять же было возможно в его время и чем как он сам рос. Есть множество тем у нашего времени, на которые он, и зная даже о них, не мог бы _никак_ отозваться; есть много болей у нас, которым он уже не сможет дать _утешения_; он слеп, "как старец Гомер", – для множества случаев. О, как зорче... Эврипид, даже Софокл; конечно – зорче и нашего Гомера Достоевский, Толстой, Гоголь. Они нам нужнее, как ночью, в лесу – умелые провожатые. И вот эта практическая нужность создает обильное им чтение, как ее же отсутствие есть главная причина удаленности от нас Пушкина в какую-то академическую пустынность и обожание. Мы его "обожили"; так поступали и древние с людьми, "которых нет больше". "Ромул умер"; на небо вознесся "бог Квирин".

Прекрасно. Когда г. Розанов говорит, что Пушкин нам не нужен, то вопрос может быть только о точном определении

218

тех "мы", от имени которых он это говорит. Но во всяком случае ненужность Пушкина для этих "мы" неужели происходит от того, что он был слишком строг, слишком серьезен? Может быть, эти слова имеют здесь какой-нибудь особый смысл - а в обыкновенном смысле откуда бы взяться излишней строгости и серьезности у того Пушкина, которого сам г. Розанов несколько выше характеризует так:

"Ночь. Свобода. досуг:

- Верно, всю ночь писал?
- Нет, всю ночь в карты играл.

Он любил жизнь и людей. Ясная осень, даже просто настолько ясная, что можно выйти, пусть по сырому грунту, в калошах, - и он непременно выходил. Нет карантина, хотя бы в виде непролазной грязи, - и он с друзьями. Вот еще черта различия: Пушкин всегда среди друзей, он - дружный человек; и применяя его глагол о "гордом славянине" (?) и архаизм исторических его симпатий, мы можем "дружный человек" переделать в "дружинный человек". "Хоровое начало", как ревели на своих сходках и в неуклюзых журналах славянофилы".

Вот я, кажется, привел все существенное из увенчанных драконом излияний г. Розанова. О Пушкине мы здесь, конечно, ничего не знаем. Ничего не знаем и о противоположных будто бы Пушкину позднейших русских писателях. Излияния г. Розанова дают достаточное понятие лишь об одном писателе - о нем самом {9}. С удивительной краткостью и меткостью характеризует он свое собственное творчество, воображая, что говорит о Лермонтове:

"что пишу? Что написал? Даже и не разберешь: какой-то набор слов, точно бормотанье пьяного человека".

Он называет это оргиазмом, или пифизмом, и считает чем-то "ужасно великолепным", и хотя ему совсем не удалось показать, чтобы Гоголь и Лермонтов, Достоевский и Толстой были в этом виновны, зато себя он обнаружил вполне как литературного "оргиаста", "пифики", корибанта, а проще юродствующего. Русский народ знает и очень почитает "Христа ради юродивых". Конечно, не к их числу принадлежит этот писатель. Он, впрочем, не скрывает, ради чего и во имя чего производятся его литературные юродства: он указывает на языческую пифию, на ее дельфийскую расщелину, где "была дыра, в которую выходили серные одуряющие пары". Вдохновляющая сила идет здесь во всяком случае откуда-то снизу. И вот почему Пушкин "не нужен": в его поэзии (увы! только в поэзии) сохранилось слишком много вдохновения, идущего сверху, не из расще

219

лины, где серные, удушающие пары, а оттуда, где свободная и светлая, недвижимая и вечная красота.

Пришел сатрап к ущельям горным

И видит: тесные врата

Замком замкнуты непокорным,

Грозой грозится высота.

И, над тесниной торжествуя.

Как муж на страже, в тишине

Стоит, белеясь, ветилуя

В недостижимой вышине {10}.

В недостижимой - для г. Розанова не менее, чем для Олоферна. И для того, и

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
для другого поэзия не идет дальше пляшущих сандалий Юдифи, а Ветилуя* - это
"слишком строго", "слишком серьезно". И вот почему Пушкин причтен к тем,
"которых нет больше". Не то чтобы и у Пушкина не было "пляшущих сандалий", -
на иной взгляд, у него их даже слишком много, - но чувствует г. Розанов, - и
я рад отдать должное верности его чутья в этом смысле, - чувствует он, что
Ветилуя-то в этой поэзии перевешивает и что это образ настоящей,
неподдельной, не дельфийской Ветилуи! Ну, и не нужно Пушкина. А те
три-четыре, хотя г. Розанов безбожно раздул их "пилизм", но и тут чутье
все-таки не обмануло его: розановского "пилизма", положим, в них мало, но и
Ветилуи настоящей почти не видать. Гоголь и Достоевский всю жизнь тосковали
по ней, но в писаниях их она является более делом мысли и нравственного
сознания, нежели прямого чувства и вдохновения, притом главным образом
лишь по контрасту с разными Мертвыми душами и Мертвыми домами; Лермонтов до
злобного отчаяния рвался к ней - и не достигал, а Толстой подменил ее
"Нирваной", чистой, но пустой и даже не белеющей в вышине.

Каким образом отвержение "ненужного" Пушкина сошлося в "Мире искусства" с
его идолопоклонническим представлением? Дело в том, что г. Розанов хотя
мало смыслит в красоте, поэзии и Пушкине, но отлично чувствует дельфийскую
расщелину и дыру с серыми парами; поэтому он по инстинкту отмахивается от
Пушкина, - это цельное явление в своем роде. Что же касается до гг.
Мережковского и Минского, то при больших литературных заслугах (хорошие
переводы из древних) они лишены "пилической" цельности и в этой области
более поверхностны. Несомненный

* Значит "дом божий".

220

вкус к "пилизму" и "оргиазму" соединяет их с г. Розановым, но вместе с тем
сами поэты, они искренно восхищаются и анти-пилической поэзией Пушкина. То
же, кажется, должно сказать и о четвертом мушкетере этой символической
компании.

У почтенного г. Мережковского его пилизм или оргиазм выражается только
формально - в неясности и нечленораздельности его размышлений. И г.
Мережковский мог бы спросить себя: "что пишу? что написал?" Во всяком
случае дело идет у него не о Пушкине, а о предметах посторонних - прежде и
больше всего о всемогуществе издателя "Нового времени", который назван
великим магом {11}. Все это, конечно, ирония, но точный смысл ее совершенно
неясен. А затем г. Мережковский указывает на контраст между теперешним
всероссийским чествованием Пушкина и тем, что происходило еще "вчера". А
именно вчера три писателя высказали о Пушкине мнения, которые не нравятся
г. Мережковскому. Но в чем же тут контраст между "вчера" и "сегодня"? Ведь
ни один из этих писателей от своих "вчерашних" мнений не отказался
"сегодня", а с другой стороны, эти мнения были такими же одинокими в
русской печати "вчера", как остаются и сегодня. Мнение Спасовича сейчас же
было приписано его польской предвзятости, мнение Толстого тотчас же
подверглось почтительному замалчиванию, как оно замалчивается и теперь, а
что касается до меня, то "Судьба Пушкина" при первом своем появлении уже
вызвала единодушную брань всей печати {12}. В чем же та перемена и тот
контраст, на которые указывает г. Мережковский? Это указание, как и все
прочее, есть только дань "пилизму" и ничего более.

Настоящее слияние между "пилизмом" и свободною от него поэзией Пушкина
произведено г. Минским. Прием поражает своею простотою и смелостью. Чтобы
сделать Пушкина своим единомышленником, г. Минский приписал ему свои мысли,
вот и все. Победа эстетического идеала над этическим - вот одна из
творческих идей Пушкина, смело утверждает г. Минский. Победа инстинкта над
рассудком - вторая из них. Г-н Минский указывает на Онегина, пожелавшего
счастья именно тогда, когда для его достижения понадобилось разрушить
семейный мир любимой женщины и опозорить ее в глазах света. Давно ли
пожелание называется победой? Неужели г. Минский думает, что его читатели
совсем забыли Пушкина, не помнят даже, что в его романе победа осталась не
за "эстетическим" Онегиным, а за "этическою" Татьяной, весьма позорно
 побившую героя?

Правда, г. Минский вспоминает и о другой победе Онегина, об убийстве Ленского... (стр. 25)

Три завета нашел г. Минский у Пушкина. Первый завет – противоположение поэзии рассудку и нравственности. "Второй завет Пушкина гласит, что художник призван не с тем, чтобы баюкать и согревать души людей, а с тем, чтобы вечно их мучить и жечь". Сущность третьего и самого великого завета – равнодушие к добру и злу.

Довольно, однако. Я думаю, вы согласитесь, что я испытал двоякую целесообразность. Как будто какая-то благодетельная сила хотела оказать мне двойную услугу: давая мне способ помянуть Пушкина наилучшим образом, она вместе с тем избавила меня от всякого, хотя бы невольного и отдаленного участия в этом покушении – сбросить "белеющую Ветилую" нашего несравненного поэта в темную и удушливую расщелину Пифона.

222

КОММЕНТАРИИ: ОСОБОЕ ЧЕСТВОВАНИЕ ПУШКИНА

Впервые напечатана в "Вестнике Европы", 1899, № 7, с. 432-440.

{1} Журнал "Мир искусства" выходил в Петербурге в 1899-1904 гг. Организатором и редактором-издателем был С. П. Дягилев. Объединение художников и литераторов, названное именем журнала, играло заметную роль в художественной жизни России. Соловьев не разделял эстетических принципов и общественно-литературных пристрастий ведущих авторов журнала (А. Н. Бенуа, Д. В. Философов, В. В. Розанов, Д. С. Мережковский), но

401

от сотрудничества в нем не отказывался. Незадолго до "пушкинского" номера "Мира искусства" (1899. № 13-14), вызвавшего резкое неприятие не одного Соловьева, в журнале появилась его работа "Идея сверхчеловека" (1899. № 9). После статьи "Особое чествование Пушкина", которую литераторы журнала встретили крайне враждебно, связи Соловьева с "Миром искусства" прервались. На страницах журнала ему отвечал Философов, который иронизировал над автором "Судьбы Пушкина", взявшимся защищать поэта от его подлинных ценителей (1899. № 16-17).

{2} Позднейшее примечание, которого нет в "Вестнике Европы". Печатается по тексту 9-го тома Собрания сочинений В. С. Соловьева в 10 томах.

{3} М. Ю. Лермонтов, "Журналист, читатель и писатель" (1840).

{4} Древнегреческая жрица-прорицательница в храме Аполлона в Дельфах.

{5} М. В. Ломоносов, "Ода блаженныя памяти государыне императрице Анне Иоанновне на победу над турками и татарами и на взятие Хотина 1739 года" (1739).

{6} А. С. Пушкин, "Эхо" (1831). Неточная цитата:

Ревет ли зверь в лесу глухом,

Трубит ли рог, гремит ли гром,

Поет ли дева за холмом

На всякий звук

Свой отклик в воздухе пустом

Родишь ты вдруг...

{7} История о первой попытке Гоголя познакомиться с Пушкиным ("кажется, в 1829 году") рассказана П. В. Анненковым в "Материалах для биографии А. С. Пушкина". Стихотворение Лермонтова "Выхожу один я на дорогу..." написано в 1841 г.

{8} Стихотворение Пушкина "19 октября", первую строку которого приводит Соловьев, относится к 1825 г.

{9} Отношение Соловьева к творчеству Розанова можно определить как нетерпимое. В 1894 г. он написал ядовитую заметку "Порфирий Головлев о свободе и вере", направленную против Розанова, литератора, первом которого водит дух щедринского Иудушки.

{10} Соловьев неточно цитирует строки стихотворения Пушкина "Когда владыка ассирийский..." (1835), сюжет которого восходит к неканонической "Книге Юдифи". Полководец Олоферн был послан ассирийским царем Навуходоносором для усмирения непокорных иудеев, засевших в крепости Ветилуя. Молодая вдова Юдифь, явившись к Олоферну, добилась его расположения, а затем отрубила ему голову его собственным мечом.

{11} Издателем газеты "Новое время" был А. С. Суворин.

{12} Видный сотрудник "Вестника Европы" В. Д. Спасович в статье "Д. С. Мережковский и его "Вечные спутники" подверг обстоятельной критике "индивидуализм" и "антиобщественное направление" Мережков

402

ского, который "сочиняет своего Пушкина по своему вкусу, по своему подобию и выдвигает те подмеченные им признаки, которые наиболее соответствуют его собственной психической организации" (Вестник Европы. 1897. № 6. С. 597). Спасович подчеркивал именно общественное значение поэзии Пушкина. Под "мнением Толстого" Соловьев имеет в виду слова из трактата "Что такое искусство?", напечатанного в 1897 -1898 гг. Л. Толстой писал, что "Пушкин был человек больше чем легких нравов, что умер он на дуэли, т. е. при покушении на убийство другого человека, что вся заслуга его только в том, что он писал стихи о любви, часто очень неприличные".

403

Мицкевич

Владимир Сергеевич Соловьев

Мицкевич

Речь на обеде в память Мицкевича 27 декабря 1898 г.

Сохранено деление на страницы, номер страницы издания проставлен в конце каждой страницы. Курсив в книге заменен на выделение двумя _подчеркиваниями_. Ссылки на комментарии заключены в {фигурные скобки}.

В польских текстах ' перед буквами с, s, o означает соответствующие буквы с апострофом над ними, перед буквой l - l перечеркнутую, перед a и e, соответствующие носовые гласные (a и e со значком под этими буквами).

Он вдохновлен был свыше

И с высоты взирал на жизнь.

(Пушкин) {1}

Смотреть на жизнь _с высоты_ совсем не то же, что смотреть на нее _свысока_. Для последнего нужно только иметь заранее высокое мнение о своей личной значительности при действительном отсутствии некоторых нравственных качеств. Но, чтобы смотреть на жизнь с высоты, нужно этой высоты _достигнуть_, а для этого мало взобраться на ходули или даже влезть на свою приходскую колокольню. Вот почему при таком множестве людей, смотрящих на нее свысока, нашелся в целое столетие между великими только один, про которого можно было, не изменяя истине, сказать, что он не взглянул только в минуту поэтического вдохновения, а всегда _взирал_ на жизнь с высоты. Славный праздник братского народа {2} имеет - то есть может иметь, мог бы получить - особое значение для нас и независимо от русско-польских отношений, если бы воскресший образ великого человека, еще к нам близкого, еще не отошедшего в тьму веков, помог восстановить в нашем сознании,

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org очевидно, потерянную мерку человеческого величия, напомнить нам те внутренние условия, которые делают не великого только писателя или поэта, мыслителя или политика, а великого человека или сверхчеловека в разумном смысле этого злоупотребляемого слова. Ни самые высокие притязания на свою личную сверхчеловечность, ни самые великие способности к какому-нибудь особому деланию, ни самое успешное решение какой-нибудь единичной исторической задачи не могут существенно и действительно поднять нас над общим уровнем и дать то, что

205

дает только целостность нравственного характера и жизненный подвиг.

Он "с высоты взирал на жизнь". Когда Пушкин от немногих бесед с ним получил такое о нем впечатление, Мицкевич стоял только на первой ступени этой высоты, сделал первый духовный свой подъем.

Каким образом живущий может смотреть на жизнь с высоты, если эта высота не будет им добыта как правда самой жизни? И каким образом добить эту высшую правду, если не оторваться от низших, недостаточных, неоправданных явлений жизни? И если высота жизненного взгляда должна быть действительно добитаю, а не придуманною, то и разрыв с низшим должен быть на деле пережит и мучительно испытан. Ребенок, рождающийся на вольный свет божий, один раз порывает органическую связь с темнотою и теснотою утробной жизни, но, чтобы стать окончательно на ту высоту, откуда видна вся, целая правда жизни, чтобы освободиться от всякой утробной темноты и тесноты, нужно пережить не один, а целых три жизненных разрыва, три внутренние катастрофы.

И прежде всего нужно разорвать с основою и самою крепкою связью, которая тянет нас к личному счастью в его главном средоточии - половой любви, когда кажется, что вся правда и все благо жизни воплотилось для нас в женщине, в этой единственной женщине, когда мы с искренним убеждением готовы повторять слова поэта:

Только в мире и есть, что тенистый

Дремлющих кленов шатер,

Только в мире и есть, что лучистый

Детски задумчивый взор {3}.

В этой сосредоточенности любовного ощущения есть великая правда, истинное предчувствие того, что должно быть, безусловного значения полной человеческой личности. Но великая неправда здесь в том, что предчувствие принимается за исполнение, и вместо открывшейся огромной задачи предполагается готовое и даровое благополучие. Между тем, чтобы экзальтация чувства не оказалась пустым обманом, нужно во всяком случае порвать с темнотою и теснотою всепоглощающей стихийной страсти и понять умом и сердцем, что правда и благо жизни не могут зависеть от случайностей личного счастья. Этот первый и глубочайший жизненный разрыв есть, конечно, и самый мучительный, и много прекрасных и благородных душ его не выносят. И Мицкевич чуть не кончил, как гетеевский Вертер. Когда

206

н одолел слепую страсть, глубоко испытанная душевная сила подняла его, еще юношу, чтобы смотреть на жизнь с этой первой, смертельною борьбою достигнутой, высоты.

Таким узнал его Пушкин, когда сказал о нем свое проницательное и прорицательное слово*, потому прорицательное, что скоро Мицкевичу пришлось пережить второй, а потом и третий нравственный разрыв, и войти на новые высоты жизненного взгляда.

Про любовь к народу или к отчизне должно сказать то же, что и про любовь к женщине. Здесь и в самой исключительности чувства есть предварение великой правды, что и народность, так же как личность человеческая, имеет вечное и безусловное назначение, должна стать одною из непреходящих, самоценных и незаменимых форм для совершенной полноты жизненного содержания. Но чтобы предварение высшей правды не превратилось в пустую, лживую и пагубную

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
претензию, нужно, чтобы изъявительное наклонение простого патриотического
чувства: "я люблю родину" переходило в повелительное наклонение
патриотического долга: "помогай родине в сознании и исполнении ее высшей
задачи". Патриотизм, как и всякое чувство, растет, конечно, не из головы, а
коренится глубже; он имеет свои утробные корни, которые остаются и еще
крепнут от внешнего разрыва:

Litwo! Ojczyno moja, ty jeste's jak zdrowie!
Ile ci'e trzeba ceni'c, ten tylko si'e dowie,
Kto ci'e straci'l. Dzis pi'ekno's'c tw'a w calei ozdolie
widz'e i opisuj'e, bo t'eskn'i'e po tobbie!**

Без этих натуральных корней нет настоящего патриотизма. Всякий знает,
однако, что никогда в природе не бывает и того, чтобы цветы и плоды росли
прямо из корней. Для расцвета и плодотворности патриотизма нужно ему
подняться над своими утробными корнями в свет нравственного сознания. И
этот подъем не дается даром и не добывается одною отвлеченною мыслью.
Требуется на опыте пережить новый жизненный разрыв.

Когда дух Мицкевича впервые поднялся над руинами мечтательного личного
счастья, он беззаветно отдался дру

* Сказано оно было публично лишь впоследствии, но впечатление получено при
первой встрече.

** Отчизна милая! Подобна ты здоровью;
Тот истинной к тебе исполнится любовью,
Кто потерял тебя. В страданьях и борьбе,
Отчизна милая, я плачу о тебе!
(*Пан Тадеуш*, перев. Берга).

207

гим, более широким мечтам о счастье национальном. Польский Вертер, Густав, был спасен от самоубийства своим превращением в Конрада Валленрода {4}. Идея здесь, при всей сложности сюжета, есть в сущности идея простого натурального патриотизма, который хочет только доставить своему народу во что бы то ни стало внешнее благополучие в виде политической независимости и торжества над врагом. Тут есть неправда формальная: _во что бы то ни стало_, - и неправда по содержанию: _внешнее_ благополучие. Эта обманчивая мечта была разрушена для Мицкевича катастрофой 1830 года {5}. Порвалась вторая жизненная связь, и совершился второй духовный подъем.

Я вижу этот подъем в тех мыслях о значении и призвании Польши, которые Мицкевич высказывал на чужбине в Книге польского народа и паломничества и в некоторых чтениях в Collège de France. Эти мысли, получившие потом большую определенность под влиянием Товянского, явились, однако, у Мицкевича раньше знакомства с этим мистиком {6}. Перерождение своего патриотизма наш поэт пережил сам. Я знаю, что не только русские, но и большинство поляков несогласны видеть в заграничной проповеди Мицкевича его духовный подъем и успех национальной идеи. Я не стану здесь, конечно, доказывать свою точку зрения. Для пояснения ее скажу только два слова. Важно не то, что кто-нибудь считает свой народ избранным, - это свойственно почти всем, - а важно то, в чем полагается избранничество. Не то важно, что Мицкевич объявил Польшу народом-мессией, а то, что он преклонился перед нею, как перед мессией не торжествующим, а страждущим, понял, что торжество не дается даром и не добывается одною внешнею силою, а требует тяжелой внутренней борьбы, должно быть выстрадано. То заблуждение, в которое при этом впал Мицкевич, было на деле безвредно: он думал, что польский народ своими страданиями искупает грехи других народов. Конечно, это не так. Разве польский народ не имеет своих собственных национальных и исторических грехов? Насколько искупление других своим страданием вообще возможно, оно

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
уже совершилось раз навсегда. А теперь всякий народ, как и всякий человек, страдает только за себя, и, конечно, не в диком и фантастическом смысле кары и отмщения, а в нравственном и реальном смысле неизбежного пути от худшего к лучшему, - к большей силе и полноте своего внутреннего достоинства. Раз даны низшие, несовершенные формы жизни и раз дана естественная привязанность людей и народов к этим формам, уже логически

208

необходимо, чтобы переход от них к лучшему и высшему сознанию совершался через тяжелые разрывы, борьбу и страдания. Как бы ни были различны исторические судьбы народов, но ясно, что путь внутреннего возвышения для всех один; и в новых воззрениях Мицкевича важно именно то, что он признал для своего народа этот нравственный путь, ведущий к высшей и всеобъемлющей цели через самоотречение, вместо прежнего валленродовского пути. Важен этот со временем еврейских пророков небывалый подъем национального сознания в область высшего нравственного порядка. Перед этим исчезает и то, что Мицкевич имел неверные или преувеличенные представления о фактах польской истории, и даже то, что он впоследствии спотыкался на им же указанном пути.

Но ему предстояло еще третье и, может быть, самое тяжелое испытание.

Юноша всю правду и весь смысл жизни сосредоточивает в образе избранной женщины, которая должна ему дать личное счастье. Из крушения этой мечты юноша Мицкевич вынес вместе с расцветом своей дивной поэзии и то сознание, что правда личного счастья должна быть не началом, а концом жизненного пути, что полноту личного бытия нужно заслужить. Перед кем? Прежде всего перед другой избранницей, - перед отчизной. Созревши, Мицкевич ей посвящает все свои силы, и из ее несчастья и из разлуки с нею вместе с пленительным образом родного края (в "Пане Тадеуше") {7} выносит высшую национальную идею, - что внешнее благополучие народа должно быть добыто его нравственным подвигом. Откуда для него силы? Уже в своем детстве Мицкевич имел предваряющий ответ:

Panno Swi'eta, co Jasnej bronisz Cz'estochowy
I w Ostr'ej swi'eciaz Bramie! Ty, co gr'od Zamkowy
Nowgr'odzki ochraniasz z jego wiernym ludem'!
Jak mnie dziecko do zdrowia powroci'las cudem,
Gdy od placz'acej matki pod Twoja opiek'e
Ofiarowany martw'a podnios'lem powiek'e,
I zaraz moglem pieszo do Twych 'awi'aty'n progu
I's'c za wr'ocone zycie podzi'ekowa'c Bogu,
Tak nas powr'ocisz cudem na ojczyzny 'lono*.

* Мать Ченстоховская, на Ясной что Горе!

Как умирающий лежал я на одре,
Устами жаркими хвалу тебе читая,
И ты спасла меня, заступница святая,
Так благостынею божественных щедрот
Спасешь когда-нибудь отверженный народ.
("Пан Тадеуш", перед. Берга).

209

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Как Мицкевич свое личное счастье подчинил счастью отчизны, так судьбу отчизны он и по чувству, и по сознанию подчинил религии, – третьей, сверхличной и сверхнародной избраннице. Но и тут Мицкевича ждала еще, на пороге старости, великая внутренняя борьба. Ведь была правда в его юной жажде счастья и любви личной, но ему пришлось сказать себе, что правда не может зависеть от того, предпочитет ли Мариля Верещак его, Адама, господину Путткаммеру или не предпочтет; он должен был понять, что смысл личной жизни не может существовать сам по себе, как случайность, а должен быть связан с самою всеобщую правдой, чтобы освободиться в ней от всякой случайности. Пусть затем эта правда воплощается в избраннице иного порядка – в отчизне, но ведь не отчизна есть источник и мерilo правды, а сама правда есть норма и для отчизны, – какою она должна быть, – и не мог истинный патриотизм при всей благочестивой памяти прошлого не отметить в нем того, что требовало исторического чистилища. Мицкевич понял, что носительницею высшей правды в мире не могла быть Польша XVII века в ее политическою неправдою анархии и с ее социальною неправдою жестокого порабощения низших классов.

И через народную жизнь должен непрерывно проходить острый меч, разделяющий между добром и злом, правдой и неправдой, и здесь должно без устали отбрасывать случайное, преходящее, недолжное. На чем же утолится наша жажда полного доверия, беззаветной преданности, окончательного успокоения? Не на ней ли, на третьей избраннице, родной и сверхнародной, исторической и сверхисторической, вселенской церкви? Но хорошо ли с нашей стороны смотреть на нее только как на успокоение, – этой избраннице приносить одну леность ума и воли, усыпление совести, и на таком плохом даре основывать наше соединение с нею? И разве она в самом деле примет от нас этот дар? На что он ей? Не примут ли его под ее именем другие, которые имеют интерес в том, чтобы атрофировался наш разум и оглохла наша совесть? Нет, никогда не будет и не должно быть успокоения человеческому духу в этом мире. Нет, не может и не должно быть такого авторитета, который заменил бы наш разум и совесть и сделал бы ненужным свободное исследование. Церковь, как и отчизна, как и библейская "жена юности", должна быть для нас внутреннею силою неустанного движения к вечной цели, а не подушкою успокоения. Я не укоряю устающих и отстающих, но, понимая

210

великого человека, приходится напомнить и то, что духовная усталость не есть признак великих людей.

Не забудем при том, что умственная усталость и отсталость имеют две формы, которые стоят одна другой: успокоение на слепой преданности какому-нибудь внешнему авторитету, с одной стороны, а с другой – успокоение на пустом и легком отрицании. Одни, чтобы не утруждать своего ума и воли, довольствуются патентованной истиной карманного формата и домашнего приготовления, а другие, в тех же видах духовного комфорта, заранее отрицают, как нелепый вымысел, всякую задачу, которая для них не сразу понятна и легка. И те, и другие – и люди ленивого доверия, и люди ленивого неверия – имеют общего смертельного врага в том, что они называют мистицизмом. И Мицкевич с обеих сторон подвергся осуждению как мистик, особенно по поводу движения, возбужденного среди польской эмиграции Андреем Товянским. Насколько это движение мне известно, здесь рядом с некоторыми второстепенными заблуждениями (как, напр., культ Наполеона) были некоторые первостепенные истины, имевшие право существования в христианском мире, и прежде всего истина продолжающегося внутреннего роста христианства. Если мир стоит столько веков после Христа, значит, делается что-то, приготовляется в нем желательное для нашего спасения; и принимать участие в этом делании есть наша обязанность, если только христианство действительно есть богочеловеческая религия.

Религиозный кризис, пережитый Мицкевичем на пороге старости, не был для него разрывом с самою церковью, как и прежде его патриотический кризис не был разрывом с самою отчизной и как еще раньше его любовное крушение не уничтожило в нем личной жизни сердца. Мицкевич разошелся не с церковью, а только с маловерием иных церковных людей, которые хотели видеть в христианстве лишь основанное на предании прошлого правило житейского обихода, а не жизненное и движущее начало всей будущности человечества. Внешнему авторитету церкви Мицкевич противопоставлял не себя, а обязательный и для церкви принцип общего духовного права: *est Deus in nobis* – есть бог в нас, – и не видно, чтобы Мицкевич когда-нибудь отступил от того религиозного настроения, которое выражено в одном письме, где он,

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
отказываясь от титула учителя, говорит так: "Не верьте слепо ни одному из
людей и мое каждое слово судите, потому что сегодня я могу говорить правду,
а завтра ложь, сегодня действовать хорошо, а зав

211

тра - дурно". Всякому внешнему авторитету он противополагал только
безусловную правду божию, о которой свидетельствует совесть.

Истинно был он великим человеком и мог смотреть на жизнь с высоты, потому
что жизнь возвышала его. Тяжкие испытания не подавили, не ослабили и не
опустошили его душу. Из крушения личного счастья он не вышел разочарованным
мизантропом и пессимистом; крушение счастья национального не превратило его
в равнодушного космополита; и борьба за внутреннее религиозное убеждение
против внешнего авторитета не сделала его врагом церкви. Он велик тем, что,
подымаясь на новые ступени нравственной высоты, он нес на ту же высоту с
собою не гордое и пустое отрицание, а любовь к тому, над чем возвышался.

212

КОММЕНТАРИИ. МИЦКЕВИЧ

Впервые напечатана в журнале "Мир искусства", 1899, № 5, с. 27-30.

Соловьев хорошо знал творчество поэта, о котором в 1875 г. писал Цертелеву:
"В виде отдыха читаю по-польски Мицкевича, в которого я совершенно
влюбился" (Письма, 2, 227). Одно из стихотворений поэта было переведено
Соловьевым ("На мотив из Мицкевича", 1885). Мицкевич, поэт и религиозный
мыслитель, идеально соответствовал соловьевским представлениям о
гармоничном сочетании человека-творца с началами христианской
нравственности.

{1} Неточная цитата из стихотворения "Он между нами жил..." (1834). У
Пушкина:

"...он вдохновен был выше

И свысока взирал на жизнь".

{2} Мицкевич родился 24 декабря 1798 г. В России столетний юбилей поэта
отмечался очень скромно.

{3} Начальные строки стихотворения фета "Только в мире и есть, что
тенистый..." (1883).

{4} _Густав_ - герой поэмы Мицкевича "Дзяды" (1823), несчастный влюбленный.
Конрад Валленрод, литовский патриот, вступивший в ненавистный ему
тевтонский орден, чтобы изнутри погубить его,- герой одноименной поэмы,
вышедшей в 1828 г. Соловьев несколько искусственно отождествляет поэта и
его героя.

{5} Речь идет о поражении польского национально-освободительного движения
1830-1831 гг.

{6} В "Книге польского народа и паломничества" (1832) изложены
религиозно-исторические взгляды Мицкевича, его понимание польского народа
как главного выражителя христианской идеи. В лекциях о славянских
литературах, которые он читал в Париже в 1840-1844 гг., Мицкевич также
касался идеи польского мессианизма, увлечение которой заметно усилилось
после знакомства в 1841 г. с мистиком и философом Товянским.

{7} Поэма "Пан Тадеуш" (1834) рисовала картины старопольского быта.

401

Буддийское настроение в поэзии

Владимир Сергеевич Соловьев

Буддийское настроение в поэзии

Сохранено деление на страницы, номер страницы издания проставлен в конце каждой страницы. Курсив в книге заменен на выделение двумя подчеркиваниями. Ссылки на комментарии заключены в {фигурные скобки}

Многие из наших писателей уже находили в легендах буддизма мотивы и сюжеты для своих произведений; но настоящим представителем буддийского настроения должно признать такого поэта, который, по-видимому, вовсе не интересуется буддизмом и вообще строго охраняет свой русский стих от всяких чужеродных имен и терминов {1}.

Литературная значительность гр. А. А. Голенищева-Кутузова достаточно признана и публикою, - его стихотворения издаются в третий раз {2}, - и Академией наук, избравшей его в члены-корреспонденты и поручающей ему оценку поэтических сочинений, представляемых на Пушкинскую премию. Это признание вполне заслуженно: если не по возрасту, то по литературному типу гр. Кутузов может быть назван "остальным из стаи славной" {3} тех поэтов, которые явились вслед за Пушкиным и Лермонтовым; более чем у кого-либо в его стихе слышится какое-то пушкинское веяние; рамки трех главных его произведений ("Старые речи", "Дед простил" и "Рассвет") не выходят из пределов той "деревни, где скучал Евгений" {4}, а в первой из этих трех поэм к пушкинскому внушению нужно отнести и главный характер и развязку. Но при этой зависимости, о которой я упоминаю, конечно, не для упрека, между поэзией Пушкина и гр. Кутузова существует - не говоря о силе и размерах ясное различие в настроении и тоне. У Пушкина тон бодрый, радостный и уверенный; при самых языческих, мирских и даже греховных сюжетах настроение его все-таки христианское, - это поэзия жизни и воскресения. У гр. Кутузова, напротив, тон мирный, настроение безнадежное, он поэт смерти и Нирваны, хотя это последнее столь ныне злоупотребляемое слово и не встречается в его стихах.

67

Гейне разделял умы на "эллинов" и "иудеев"; наш поэт не принадлежит ни к тем, ни к другим; он буддист, - разумеется, не в смысле каких-нибудь догматов и учений, а в смысле того душевного настроения, которое кристаллизовалось исторически в религии Шакьямуни {5}, но может существовать индивидуально, независимо от нее. Я имею в виду не порицание и не похвалу, а пока только определение. Я вывожу его из разбора трех названных поэм, на которых главным образом основано литературное значение нашего поэта. Помимо намерения, а может быть и помимо сознания автора, эти три лирические поэмы связаны между собою как последовательные ступени в развитии одного

и того же настроения*.

II

Одинокий, во всем отчаявшийся преждевременный старик возвращается после многих лет странствования в свой деревенский обветшалый дом, где его узнает и приветствует только дряхлый пес. Все остальное ему чуждо, он окружен бледными призраками воспоминаний и мертвыми следами минувшего.

Он в них безмолвно, тихо бродит,
Как гость могил, среди крестов
И сердцу милых мертвцев
По ветхим подписям находит
И внемлет смертный их покой,
К гробам приникнув головой.
В толпе иных воспоминаний
Живей являлся одно.
Огнем несбывшихся желаний

Больнее душу жгло оно {6}.

Найдя старую тетрадь дневника, унылый шутник читает в ней краткую историю своей любви к жене приятеля и деревенского соседа. Эта история проста и обыкновенна.

Ведь замуж вышла ты и рано и случайно.

Попался "человек хороший", полюбил...

Ему ты отдалась, хотя, быть может, тайно

И сознавалась в том, что чужд тебе он был.

Этот "хороший человек" оказывается таковым лишь в самом широком смысле. При совершенной умственной пустоте он так груб, что обнимает и целует жену при по

* Внешний признак принадлежности этих пьес в лирической, а не в эпической поэзии состоит в безымянности действующих лиц. Только второй рассказ приближается несколько к эпическому строю, соответственно чему и два главные лица в нем обозначены хотя и не именами, а титулами.

68

стороннем, и в конце концов под влиянием вина увлекается азартной игрой и проигрывает в одну ночь все свое состояние, после чего его постигает удар паралича. Накануне этой катастрофы жена имела краткое любовное объяснение с героем и назначила ему свидание:

"Я завтра вечером останусь здесь одна

У мужа в городе какое-то есть дело.

Пройдите прямо в сад - под липой у ручья

Мы с вами встретимся - там ждать вас буду я".

Но ждать пришлось не ей, а ему, и ждать до самой полночи.

Петух вдали пропел. С ручья вдруг потянуло

Холодной сыростью в тумане спящих вод...

Ждать больше нечего - она уж не придет...

И счастью не бывать! - сомненье мне шепнуло.

должно быть счастье то чужое,- не мое!

Я поднял голову - и увидал... ее!

.....

"Что ж не кидаетесь навстречу вы ко мне?

Я - видите - свое сдержанла обещанье:

Я ваша... я пришла на тайное свиданье,

В потемках крадучись, забыв и стыд и честь.

Да смейтесь, радуйтесь же! - добрую вам весть

С собой я принесли: он болен, умирает...

Он в этот самый миг, быть может, призывает

Ушла к любовнику – любимая жена!"

Так как растерявшийся герой хранит глубокое молчание, то героиня продолжает иронизировать и наконец разражается рыданиями. Герой все-таки упорствует в безмолвии и наконец должен выслушать следующее объяснение:

"Вы видите ли, – так она мне говорила,

Пока он счастлив был, его я не любила.

Вы это поняли, вы это знали... Да,

Скрываться нечего, и тайны нет меж нами.

Мне душно было с ним – легко мне было с вами.

Меня манили вы украдкою.– Куда?

К блаженству ль, к гибели? – я спрашивать боялась...

Как птица в клетке я бессмысленно металась.

И – правду горькую примите не сердясь

От скуки завлекла и полюбила вас.

.....

Тот муж теперь исчез... Полуживой калека,

Беспомощный бедняк явился предо мной

И, глядя мне в глаза с покорною тоской,

Боясь не встретить в них желанное участие,

Молил последнее ему оставить счастье

(то, что он требовать бы мог!) – любовь мою...

И жалко мне его – и я его люблю!

А к вам теперь пришла проститься. Виновата

Во всем случившемся, быть может, я одна.

69

И в наказание за то нести должна

Суровый, тяжкий крест! К былому нет возврата.

Забудьте же меня, как я забуду вас,

А мне... О! мне давно пора расстаться с вами,

Пора идти к нему... Все кончено меж нами".

И, смолкнув, от земли не поднимая глаз,

Как будто торопя забвенье и разлуку,

Она холодную мне протянула руку.

Герой, которому следовало бы говорить несколько раньше, тут вдруг упускает прекрасный случай промолчать и хоть к самому концу соблости свое достоинство.

"Ужель возврата нет? – я горько прошептал,

Ужель за краткий час счастливого забвенья
должна разбиться жизнь? Ужели нет прощенья?
Не верю! - вновь должны сойтись мы!.. Но когда?"
Она окинула меня печальным взором;
Не то с усмешкою, не то с немым укором
Тот взгляд ответил мне: "Конечно, никогда!"
И молча я смотрел, как призрак удалялся,
Как в мраке скрылся он,- и я один остался.

Итак, дело кончается торжеством des ewig-Weiblichen* - торжеством легким, так как das zeitlich-Mannliche** могло бы быть лучше представлено. История эта есть, конечно, вариация на пушкинскую тему:

Но я другому отдана

И буду век ему верна {7},

вариация, однако, ослабленная. Пушкинская Татьяна отвергает Онегина, которого любит, и остается верна мужу, которого никогда не любила и которого не имеет причины жалеть, так как он здоров, самоуверен и самодоволен. Следовательно, она поступает исключительно в силу нравственного долга, случай редкий и интересный. Для героини гр. Кутузова исполнение долга значительно облегчается двумя обстоятельствами: во-первых, она, в сущности, не любит героя, она сама признается, что только от скуки завлекла его, а во-вторых, она жалеет своего беспомощного мужа. Всякий поймет, как трудно для сколько-нибудь тонкой женской натуры обманывать полуживого, но все-таки сознающего и чувствующего калеку и, следовательно, как легко ей оставаться верной долгу при таких условиях. Отвлеченная идея обязанности мало говорит женскому сознанию

* Вечной женственности (нем.).- Ред.

** Преходящей мужественности (нем.).- Ред.

70

нию - другое дело, когда она осознательно воплощается в лице беспомощного жалкого существа, требующего любви и попечений. Если эта женщина от скуки готова была полюбить другого, то теперь ей никогда скучать, ее жизнь перестала быть пустою, у нее есть хотя скорбное и тяжелое, но зато ясное и настоятельное дело. И однако, несмотря на то, что нравственный исход коллизии так облегчен для нашей героини, все-таки не видно, чтоб этот исход был ее собственным, безусловным и бесповоротным решением: является сильное подозрение, что добродетельная связь обусловлена неловкостью и безответностью героя. Еще до катастрофы ясно, что этому человеку счастливым любовником не бывать. Когда ему назначают тайное свидание, он говорит merci.

Я руку взял ее - рука ее дрожала.

С блаженной радостью прижал ее к губам:

"Вы осчастливили меня,- спасибо вам!"

Сказал ей тихо я. Она не отвечала.

Люди, не лишенные такта, в известных случаях воздерживаются от прямых изъявлений благодарности. Дальше - еще хуже. Когда не нужно, он говорит, а когда необходимо поддержать и ободрить бедную женщину, он молчит как рыба, чтобы опять заговорить, когда уже все кончено. Вообще он не обнаруживает ничего, кроме чистосердечия, а с таким прекрасным душевным качеством никак

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org не следовало бы забираться ночью в чужой сад. Что касается до геройни, если бы ее благое решение было принято сразу и окончательно после катастрофы с мужем, из жалости к нему, то ей вовсе незачем было бы идти на тайное свиданье. Для холодного объяснения достаточно было бы письма. Или она боялась, чтобы герой, просидевши до утра над ручьем, не получил насморка? Впрочем, как мы видели, он и сам оказался достаточно благоразумным и собирался уходить домой еще при первых петухах. Мне кажется несомненным, что решение было принято на месте свидания, вынужденное безнадежно пассивным поведением героя. Она пришла в состояние крайне возбужденном, полуистерическом и сама не знала, чем это кончится; но когда оказалось, что герой так же мало способен на какие-нибудь поступки, как если бы и он был поражен параличом, тогда в ней произошла спасительная реакция, и она совершенно искренно объявляет свое решение расстаться с ним навсегда и вернуться к исполнению долга. Но так как другого ей ничего и не оставалось, то здесь нет места для нравственной коллизии, и читатель остается в не

71

известности относительно будущей судьбы геройни: сохранит ли она свою добродетель при возможной встрече с другим, менее простодушным, поклонником?

Нужно, однако, заметить, что слабость характеров и неясность положения закрываются здесь великолепными лирическими местами. Читатель забывает и несостоятельность героя, и сомнительную доблесть геройни, под впечатлением таких, например, стихов:

Она умолкнула, и посреди молчанья
Ясней, понятней слов, послышались рыданья.
я их не прерывал. Что мог сказать я ей?
Сама природа-мать ее слезам внимала,
И ночь-волшебница любовней и нежней
Свой голубой покров над нею простирала.
Смиряла бережно мягким больной души
И ласковый привет шептала ей в тиши.
А месяц между тем всплывал все выше, выше,
Все необъятнее, все глубже был покой,
Неотразимей он овладевал душой,
И слезы все лились обильнее и тише.
Грозы стихал порыв, и грусти кроткий луч
Из-под густых ресниц, слезами отягченных,
В глазах, вновь для меня знакомых и смягченных,
Блеснул мне как лазурь сквозь убегавших туч.

За подобные стихи можно простить автору и недостатки содержания, и некоторые странности вроде следующей. Выплакавшись вволю, геройня обращается к своему безмолвному собеседнику, между прочим, с такими словами:

Вас - _пришлого в дому, чужого человека_

Я мужу предпочла! Я с вами заодно

Его обманывать _тайком_ хотела...

Непонятно, какой смысл имеет здесь указание на _пришлого, чужого_. Разве

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
было бы лучше, если бы она захотела иметь любовником своего родного отца, брата или рожденного в дому служителя? Это напоминает известный анекдот о девице, которая говорила: "Хорошо было тебе, матушка, за батюшку замуж идти, а мне-то каково - за чужого!" Было бы более понятно и согласно с обстоятельствами дела, если бы вместо того, чтобы упрекать себя за предпочтение чужого, она упрекнула своего сообщника за то, что, будучи не совсем чужим, а близким приятелем ее мужа, он решился его обманывать; но и в таком случае не следовало бы видеть отягчающего обстоятельства в том, что обман производился тайком, ибо "откровенный и прямодушный обман" еще менее возможен, чем "родной любовник". Если бы

72

героиня говорила так несообразно в начале своей истерики, то можно было бы подумать, что автор намеренно изобразил замешательство ее мыслей, но так как она говорит это, уже успокоившись, то здесь очевидный недосмотр, который необходимо будет исправить в следующем издании.

III

Повторяю, не только эти мелочи, но и более существенные недостатки характеров и действия не имеют особенной важности в этой лирической поэме. Главное здесь - не лица и не то, что с ними происходит, а настроение, которое воплощается в живых образах рассказа и остается после его чтения. Это настроение есть с начала до конца - безнадежность. Жизнь бессмысленна, а счастье - мгновенная и обманчивая случайность. Герой раньше своей неудачи уже не верит в возможность счастья - разве только в ту единственную минуту, когда он стал неуместно благодарить за него. Он уже не верит на другой день, когда "объят неведомой и странною тревогой, он шел не торопясь пустынною дорогой... И самая любовь, как ночь в красе своей, все становилась бледней и холодней". А вот его заключение и мораль всего рассказа.

К чему мечтания, надежды лживый бред?!

Блажен, чье счастье судьбою позабыто.

Мое мелькнуло мне на миг и уж разбито!

Разбито почему? За что? - ответа нет.

Но если бы оно и не было разбито несчастным случаем, то все-таки оно оказалось бы несостоятельным. В чем герой (или автор за него) полагает цель жизни, как он понимает ее смысл? Что мог и хотел он предложить бедной женщине, неувдовлетворенной житейскою пустотою?

Той целью жизнь была во что бы то ни стало,

Жизнь, полная страстей, веселья и тревог,

С мечтами юности, с исканьем идеала,

Невиданных небес, неведомых дорог!

Она манила нас волшебной красотою

Туманов голубых, мерцаний и лучей

К той сказочной дали, любимой с детских дней,

Куда, летая, мысль уносится порою

На отдых от мирской, печальной темноты,

От скуки будничной, от зла и суety.

Из всех этих прекрасных слов только три имеют некоторый определенный смысл, именно: страсти, веселье и тре-

73

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
воги. Но эти три реальные факторы счастья были вполне доступны и мужу
героини.

доволен жизнию, он время проводил
И, кажется, равно от всей души любил
Тебя, и сельское хозяйство, и охоты,
Обеды жирные с гостями и вином,
И споры вечером за карточным столом.

Тут было, значит, место и страстям, и веселью, и тревогам, с присоединением еще такого полезного и интересного занятия, как сельское хозяйство. А сверх этого герой мог предложить своей возлюбленной лишь несколько "голубых туманов", которые вообще никому не заказаны и которые легко совмещаются со всею житейскою пошлостью. Если материальная жизнь бессмысленна, то она не приобретает смысла от присоединения к ней идеалов в форме неопределенной фантазии или праздного мечтания о невиданных небесах и неведомых дорогах. Это не жизнь; а жизнь - в законном браке или в прелюбодеянии - все равно сводится к тому, чем жил элементарный муж героини, и с тем же - рано или поздно - концом. Заключение, значит, остается отрицательное, безнадежное.

Тем не менее, если бы наш поэт остановился на этом первом рассказе "Старые речи", то я не решился бы обозначить его настроение как буддийское, даже в самом широком смысле этого термина; впечатление здесь двоится благодаря заключительным словам героини, которые, хотя без достаточной психологической мотивации, все-таки указывают на новый смысл жизни, открываемый нравственным подвигом и самопожертвованием. Этот мотив, хотя и неоригинальный, и невыдержаный, высказывается, однако, нашим поэтом с неподдельным вдохновением.

Один - вновь для нее далекий и чужой;
Один - униженный, забытый, оскорбленный,
Поверженный во прах, коленопреклоненный
Пред новой, чистою могучей красотой!
К ней не дерзает страсть поднять с моленьем очи,
Уста не властны ей слова любви шептать;
Ее желать нельзя, но и забыть нет мочи,
Возможно лишь бежать, бежать, бежать!
Куда-нибудь скорей в чужое отдаленье
В надежде там найти желанное забвенье.

Эта новая красота, хотя автор называет ее могучей, оказывается, однако, бессильной возродить своего поклонника к новой жизни; она оставляет ему только бегство и забвение.

74

Как бы то ни было, сам поэт не принимает буддийской морали своего рассказа, и господствующий в нем безнадежный тон он, в посвящении, пытается объяснить случайными, личными причинами:

От одиночества, от скуки
Я повесть эту написал;
Но труд свершая одинокий,
Все о себе, мой друг далекий,

.....

Казалось мне, что безвозвратно
Любовь и счастье скрылись вдаль!
Не оттого ль в строках тех внятно
Звучит сердечная печаль?
Не оттого ль веселья звуки
И радость жизни чужды им,
Что я слагал их в дни разлуки
Тоской глубокою томим?
Но воротись – улыбкой нежной
Мне душу снова озари,
Как светом утренним зари
Потемки ночи безнадежной
И сердце радостней, живей
Забывается, полное участья,
И – верю я – в груди моей
Еще найдутся песни счастья.

Нашлась только одна такая песня: это "Сказка ночи", следующая непосредственно за "Старыми речами". Это есть радостный гимн любви, единственный в поэзии Гр. Кутузова, но и он оканчивается в минорном тоне.

Мне сказывала Ночь: "Вас в мире только двое!
Сияние зари, мерцанье звезд полночных,
Равнины тихие и небо голубое
Весь этот мрак и блеск для вас – для вас одних.
Когда б друг друга вы не знали, не любили,
Когда бы чуждою тебе была она,
ни эти небеса, ни звезды б не светили,
Простор, туман и даль к себе бы не манили,
И я сама, как смерть, была бы холодна".

.....

Так говорила Ночь, и выше все и жарче
Зарницы страстные пылали в облаках,
Теплее ветерок дышал вочных потьмах,
А образ милый твой все чаще и все ярче
Улыбкой, как лучом небесным, озарен,
Мне в душу проникал, глядел мне прямо в очи,

И взглядом повторял он ту же сказку Ночи

Про счастье любви... _Ужель то был лишь сон_? {8}

75

да, по крайней мере, для поэзии гр. Кутузова это оказалось лишь сном. У него, как у настоящего поэта, окончательный характер и смысл его произведений зависит не от личных случайностей и не от его собственных желаний, а от общего невольного воздействия на него объективной реальности с той ее стороны, к которой он, по натуре своей, особенно восприимчив. Вторая его поэма, "дед простил", представляет значительное развитие и углубление той же самой буддийски настроенной мысли, которая в "Старых речах" выражена еще неясно и которую в "Посвящении" и в "Сказке ночи" он пытался отвергнуть, хотя лишь на мгновение и без полной уверенности.

IV

Не весел что-то старый князь:

Его тревожат злые думы;

Глубоко в кресло погрузясь,

Молчит он, мрачный и угрюмый.

Пред ним молоденькая дочь

Сидит и книгу вслух читает,

Огонь в камине догорает,

А на дворе метель и ночь {9}.

Этот старый князь, когда-то обманутый и брошенный своею женою, которая ему оставила единственную дочь, скрылся с этой дочерью в деревне.

Кончался день, вставала ночь,

Одна звезда ему светила:

Одна любовь его живила

Его дитя родное - дочь.

И вот ее хотели у него отнять; явился "человек чужой, веселый, дерзкий, молодой"; она его полюбила и просит о согласии отца. Старик с гневом отказывает:

"Нет, свадьбе этой не бывать,

Пока я жив!.. Уж гаснут силы;

добресь хоть дайте до могилы

И в ней уснуть... Не долго ждать".

Через три дня жених тайно увозит княжну. Отец, узнавши, пускается за ними в погоню при страшной метели; лошадь падает, он, обезумев, бежит пешком, бросает шубу, и на другой день его привозят домой обледенелого и умирающего. Между тем дочь успела обвенчаться; она пишет отцу и в ответ получает роковое известие:

76

Ужель разлуки краткий миг

Перенести не мог старик?!

Ведь дочь к нему бы воротилась,

Ведь все мгновенно б объяснилось,
Лишь только б увидал он их
Счастливых, светлых, молодых!
Лишь понял бы, что друг без друга
Им невозможно было жить,
Как невозможно птицам юга
Не мчаться вдаль и гнезд не вить.

Но эта птичья философия оказывается несостоятельной. дочь застает старика
уже на столе, и с нею делается страшная перемена:

Прислушайтесь: то не рыданья
Печали жгучей - то стенанья
Навек разбитой жизни - в них
Ни слез, ни звуков нет живых!
давно ли полон был веселья
Влюбленный взгляд тех чудных глаз?

Теперь, как в мраке подземелья
Заглохший светоч, он погас.
Погас - и красота увяла,
И не играет в жилах кровь,
И жизнь поблекла, и любовь
для сердца непонятной стала!

На мужа юная жена
Глядит с враждебностью немою;
Отныне навсегда чужою
Ему останется она.

для них уж нет уединенья!
Их трое, муж, жена... и он!
Мертвец, не давший им прощенья,
Неумолим, непримирен
Стоит - и смотрит прямо в очи,
И дышит холодом на них...

Они бегут того жилища,
Где им покоя больше нет;
Но мертвый с своего кладбища
Встает, несется им во след.
Они в шумящую столицу

На суету, в толпу людей,
Все дальше, дальше, за границу,
К брегам неведомых морей
Бегут; но призрак грозный мчится
За ними всюду по пятам.
Ни отдохнуть, ни позабыться
Мертвец им не дает и там.
И у несчастной нет уж силы
Бороться с выходцем могилы:
Он овладел ее душой,
Ее умом, ее мечтой.
Он - мертвый - победил живого,

Того обидчика чужого,

77

Того лихого пришлеца,
Что дочь похитил у отца.
И только в краткий миг забвенья
Жена на мужа взглянет вновь,
Ей призрак шепчет: нет прощенья!
И меркнет взгляд и стынет кровь.
Опять, опять воспоминанье:
Чу! - зимней выюги слышен стон,
И лай ночной, и коней ржанье
И вопль, и похоронный звон!

У нее все-таки рождается сын, и ей приходит на мысль, что он должен искупить ее вину и примирить ее с отцом. Печальная семья возвращается из-за границы в деревню, ту самую, где жил и умер старый князь. Больная страдает по-прежнему. Проходит несколько лет.

А мать несчастная все ждет,
Ждет, чтобы чудо совершилось,
Чтоб сердцу как-нибудь открылось.
Что ей мертвец вину простил,
Что внука дед благословил.
И создает она приметы:
Хотелося бы ей во всем,
Что совершается кругом,
Читать решенья и ответы.

Недуг ли тяжкий поразит
Кого-нибудь, и невозможно
Спасти ту жизнь - она тревожно
Молитву жаркую творит.
С боязнью страстной и тоскою
Повсюду кары ищет след
И мнит себя одну виною
Всех зол, и недугов, и бед.

Во время жестокой засухи, когда народ молился в церкви о даровании дождя, ей вдруг показалось, что если небо исполнит эту молитву, то это будет знаком, что отец простил. Она говорит это маленькому сыну, заставляет его молиться, а сама идет в сад.

Поникнув робко головою,
В тиши заглохшую тропою
Идет и слушает она.
Засуха, зной... Во мгле туманной
Лик солнца красен, воздух спит;
Но, чу! - какой-то грохот странный
Недалеко в тиши звучит.
Скоро показывается грозовая туча:

78

Идет - и небо тесно ей!
Она живет, растет и дышит,
И крылья мощные колышет,
И хмурый черный вал бровей.
То взглянет вдруг и заморгает,
Заговорит... то вновь смолкает
В раздумье страстном - и грозна
Ее живая тишина.
Идет, надвинулась, сверкнула
Могучим взглядом; грянул гром,
И все смешалось кругом,
Все в тьме и буре потонуло.

Не потонуло лишь одно
Несчастной дочери молене,
К отцу доносится оно
Сквозь шум, и грохот, и смятенье,

И жизнь страдальческую в дар
Приемлет Бог... Все позабыто,
Все прощено, все пережито...
Искуплен грех, и пал удар!
Перед страдалицей мгновенно
Разверзлась огненная твердь
Улыбка... взгляд... и вопль блаженной
Небесной радости, и - смерть!
За миг пред тем она стояла
В борьбе с последнею мечтой...
Теперь, склонясь к земле сырой,
Она спокойная лежала.

Содержание этого рассказа - самого интересного из трех - напоминает что-то глубоко архаическое и таинственное. Человеческие жертвы предкам, мертвцы, дающие дождь и говорящие в грозе... Но заключительный смысл ясен. "Последняя мечта", от которой должна отказаться страдающая человечность, это мечта о возможности примирения и счастья в жизни, хотя бы через посредство новых поколений: истинный исход только отрицательный - в прекращении жизни.

V

Счастье не только случайно, как было показано в "Старых речах", но непозволительно, незаконно по существу. Счастье детей вытесняет из жизни родителей - это есть роковой грех, непоправимая в жизни обида. Искупление, примирение - только в смерти. Это заключительное торжество смерти разрастается в третьей поэме в целый апофеоз {10}. Тут уже смерть является не только как единственное разрешение жизненных противоречий, но как единственное истинное благо и блаженство. Сюжет этой третьей поэмы

79

гораздо проще, чем во второй и даже в первой. Герой перебивает невесту у жениха. Тот его вызывает на дуэль и смертельно ранит. Умирающий прозревает истину бытия, которая открывается ему как смерть.

Я понял тишину! Я понял, чье дыханье
Мне в душу веяло прохладой неземной;
Чьей власти покорясь, утихнуло страданье,
Я угадал, что Смерть витала надо мной...
Но не было в душе ни страха, ни печали,
И гостю грозную улыбкой встретил я...
Мне представлялась во мгле туманной дали
Толпою призраков теперь вся жизнь моя.
К ней ничего назад меня уж не манило:
Страданья, радости, событий пестрых рой.
И счастье, и... любовь - равно все чуждо было,
бессследно все прошло, как ночи бред пустой,

Я Смерти видел взгляд. Великая отрада
Выла в спокойствии ее немого взгляда;
В нем чуялся душе неслыханный привет,
В нем брезжил на земле невиданный рассвет!
Казалось, дотоль я не имел понять
об утренней красе безоблачных небес;
Теперь весь дальний мир в рассвете том исчез
я неба чувствовал бесстрастные объятья,
я погружался в них, и становилось мне
Все беспечальнее, все легче в тишине.
вблизи какой-то шум раздался непонятный,
Какие-то шаги и шепот еле внятный,
Мне было все равно: я видел пред собой
Лишь Смерть с простертою на помощь мне рукой...
Но вдруг коснулася меня рука иная,
Рука знакомая, дрожащая, живая...
К нему пришла невеста, та, из-за которой он стрелялся с соперником. Она
шепчет ему нежные речи...
Ее не слушал я.
Мне смерть таинственно и внятно говорила:
"Окончен жизни бред, недуг я исцелила".

.....

Речь Смерти прерывается страстным шепотом:
"Взгляни же на меня... промолви мне хоть слово..."
Но, в равнодушное молчанье погружен,
я на призыв любви не отвечал, и снова
В тиши меня обнял невозмутимый сон.
И в чудном этом сне вновь Смерть заговорила:
"Приди, избранник мой, тебя я полюбила:
Тебя мне стало жаль средь мира и людей,
В том мрачном омуте ошибок, лжи, проклятий,
Где краткая любовь и счастье быстрых дней
Дается лишь ценой беды и скорби братии".

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
и горько плакала. _Ни слез ее, ни муку

Постигнуть я не мог_ и, протянув к ней руку,
Рассеянно спросил: "О чем так плачешь ты?"
Лампады слабый луч мне осветил черты
Ее лица - и в них так жизни было много,
Такою странною и чуждою тревогой
В лицо мне веяло от этих светлых глаз,
Что _отвернулся я_. Тогда в последний раз
С вопросом _трепетным_ она ко мне нагнулась,
Взглянула мне в глаза и уст моих коснулась
Устами жаркими... "Остаться иль уйти?"
Она шепнула мне сквозь слезы: "до свиданья!"
А я спокойное ей вымолвил "Прости!"

Этот апофеоз смерти можно было бы принять за прекрасный стихотворный перифраз знаменитой сцены умирающего Андрея Болконского в "Войне и мире". И там и здесь наступающая смерть и прозрение в Нирвану вызывает в умирающем только полную апатию (бесстрастие) и равнодушие ко всему, даже к самому дорогому в жизни; и тут и там является любимая женщина и не находит в умирающем никакого участия. Но хотя гр. Кутузов не дал ни одной существенной черты, которой не находилось бы у Толстого, было бы несправедливо видеть здесь одно простое заимствование: заключение "Рассвета" уже предопределено в предыдущей поэме "Дед простил", которая не находится ни в какой зависимости от Толстого. Пространный апофеоз смерти в третьей поэме есть только необходимое развитие краткого указания в конце второй:

Улыбка... вопль... и взгляд блаженной
Небесной радости,- и _смерть_.

VI

"Рассвет" признается обыкновенно самым лучшим и важным произведением гр. Кутузова. Хотя поэма "Дед простил" кажется мне сама по себе и оригинальнее, и содержательнее, но я должен присоединиться к общему мнению в том смысле, что только в "Рассвете" господствующее настроение автора вполне выяснилось и получило свое окончательное выражение. Апофеоз смерти, которым оканчивается и ради которого написана эта третья поэма, есть последнее слово нашего

81

поэта; сказавши его, он - вот уже двенадцать лет - не мог сделать ничего сколько-нибудь значительного (по содержанию).

С этим последним словом смысл лирической трилогии гр. Кутузова определен и исчерпан. То, что было и смутно и поверхностно в первой поэме, углублено во второй и окончательно выяснено в третьей. Счастье жизни _случайно_, говорят нам "Старые речи"; не только случайно, но и _греховно_, дополняет "дед"; но ни случайность, ни преступность счастья еще не отнимают у него свойства быть желательным; эту последнюю неопределенность окончательно устраняет "Рассвет", показывая, что счастье и сама жизнь не только случайны и греховны, но что они _не нужны_, что смерть есть не только роковая необходимость, но высшее благо и настоящее блаженство.

Гр. Кутузов, как настоящий поэт, а не мыслитель, конечно, _не начал_ с того, что поставил такой общий тезис, чтобы потом доказывать его с помощью поэтических образов и картин. Господствующее в душе его настроение и

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
миросозерцание постепенно выделялось или высвобождалось для него самого из тех видений и мечтаний, которые окружали его в минуты творчества (как он сам на это указывает в посвящении ко второй поэме). Но когда этот процесс совершился, то мысль поэта принимает форму сознательного утверждения или тезиса, что мы и находим в конце "Рассвета". Здесь уже не остается никакого сомнения в том, что мы имеем дело не с какою-нибудь случайною картиной, возникшую в воображении автора, а с выражением определенного настроения и взгляда на жизнь; и мы имеем право судить этот взгляд по существу, а не со стороны только достоинства художественной формы.

Взгляд автора, относящийся к жизни с решительным отрицанием, заключает в себе относительную истину. Это правда, что материальная жизнь с ее "страстями, весельем и тревогой" и случайна, и недостойна, и пуста; это правда, что прекращение такой жизни само по себе не есть зло, а скорей благо; это правда, наконец, что человек, который ввиду прекращения жизни впадает в созерцательную апатию, лучше человека, который и в предсмертный час все хотел бы терзать своих врагов или предаваться распутству. Но что же дальше? Неужели, кроме материальной жизни и ее прекращения, нет ничего на свете, ничего, что давало бы смысл существованию мира и человека? У нашего поэта никакого намека на этот смысл мы не находим. Он представляет нам поступки людей и их необходимые следствия,

82

и то и другое представляет, в сущности, верно. Несомненно, что отнимать чужую жену или невесту или для скорейшего удовлетворения своей эгоистической страсти бросать старого отца - поступки негодные и не ведут к добру. Хотя это уже предусмотрено Моисеевым десятисловием {11}, но такая почтенная старина этих истин не мешает им быть вечно новыми и нисколько не уменьшает заслугу гр. Кутузова, воплотившего их в конкретных образах и прекрасных стихах. Но буддийское настроение (не имеющее уже ничего общего с Моисеем) заставило нашего поэта остановиться на этой элементарной почве и относительную истину своего отрицательного взгляда принять и выдать за истину безусловную и окончательную. Из того, что дурные действия дурно кончаются, он выводит, что вообще никаких действий не должно быть. Это уже неправильно, - почти так же неправильно, как если бы из этого положения, что не нужно похищать чужих детей, кто-нибудь вывел, что необходимо бросать своих собственных.

Деяния, совершаемые лицами гр. Кутузова, принадлежат всецело к области дурной материальной жизни, а их следствия сводятся к прекращению этой жизни. Герой первой поэмы, вследствие неудачи своего незаконного романа, превращается в безнадежного "гостя могил"; героиня второй поэмы, чтобы искупить свой грех против отца, убивается молнией, а герой "Рассвета" немедленно после дуэли переходит в Нирвану. Никакого другого смысла жизни, кроме факта ее прекращения, мы здесь не находим.

Взгляд этот, конечно, неутешителен, и им достаточно объясняется минорный тон, господствующий в поэзии гр. Кутузова. Но, конечно, поэт имеет право отречься от утешительных обманов и стать на сторону безнадежной истины. Остается только разобрать: истина ли это?

VII

Если бы у нашего поэта буддийское настроение и жизнепонимание было связано с тою сложною и тонкою системой метафизических и этических понятий, которую мы находим в историческом буддизме, то критика этого воззрения завела бы нас очень далеко. По буддийскому учению о спасении, переход из ложной и злой жизни в покой небытия есть дело большое к трудное: нужно сперва достигнуть полной чистоты, искупивши не только грехи данного своего существования, но и всех бесчисленных предыдущих существований, - до конца исполнить закон нравственных причин

83

и следствий (карма). Но наш поэт, разделяя общее отрицательное понятие буддизма о жизни, как зле и бедствии, и о вечном блаженстве, как прекращении жизни, свел почти на нет нравственные условия этого блаженства, играющие такую важную роль в подлинном буддизме. В герое "Рассвета" между его дуэлью и погружением в Нирвану происходит лишь смена болезненных бредовых состояний, но никакого нравственного кризиса, - мы не видим у него

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org никаких признаков раскаяния в зле прошлой жизни, никакой потребности в искуплении и очищении. Выходит, таким образом, что для достижения высшего блаженства достаточно получить кусочек свинца в грудь; ту же услугу могут, конечно, оказать и несколько проглоченных микробов, и несколько лишних капель опиума. Условие этого отрицательного духовно-физического процесса, который автор "Рассвета" в таких превосходных стихах представляет как настоящий способ войти в вечное блаженство, на языке простых людей выражается кратко, но точно, в трех словах: умереть без покаяния – способ общедоступный, но едва ли верный.

Впрочем, самое это блаженство, предвкушаемое героем поэмы, благодаря пуле его соперника, имеет, как мы видели, вполне отрицательный характер: оно состоит исключительно в бесчувствии и равнодушии ко всему. Это и прямо высказывается ("мне было все равно"; я "в равнодушное молчанье погружен" и т. п.), и еще лучше изображается в грубо-бессердечном обращении героя с любящей его и страдающей из-за него женщиной. Но представление такой бесчувственности как чего-то высшего, идеального, связанного с постижением истины и достижением блаженства, очевидно, не соответствует правде. Слишком много людей, и при жизни питающих полное равнодушие к своим ближним, но за это их никто не хвалит, и все, напротив, предпочитают людей противоположного характера, сердечных и участливых; не видно, почему такая оценка должна измениться в обратную по отношению к умирающим. Неужели наш поэт думает, что возвышение духа над грубыми страстями и мелкими интересами жизни непременно сопровождается потерей всех добрых человеческих чувств? Не говоря уже об абсолютном идеале Христа и об исключительных примерах святых, – и язычник Сократ, несомненно возвысившийся над слепым жизненным хотением и видевший в смерти желанное освобождение, или "выздоровление", несколько не сделался от этого бесчувственным, а до конца принимал участие в своих друзьях и задушевно беседовал с ними о смысле жизни и о бессмертии человека.

84

Сам автор чует, по-видимому, что в его взгляде, сводящем к нулю и жизнь и смерть, есть что-то неладное, но, не желая от него отказаться, делает к нему наружную поправку. Он влагает в уста олицетворенной смерти, погрузившей своего избранника в полную апатию, следующее неожиданное заключение:

К иному счастию, раскрыв темницы дверь,
Освобожденного, тебя зову теперь
Под сень великого и вечного чертога
Для всех доступного, всех любящего бога.

Нисколько не удивительно, что смерть говорит о столь важном предмете такими вялыми, холодными – одним словом, мертвенными стихами: на то она и смерть; странно только, что герой поэмы, который вследствие своего болезненного состояния никого, кроме смерти, не слушает, на этот раз остается совершенно глух и к ее словам. Указание на "чертог всех любящего бога" не производит на него ни малейшего впечатления. Если б он поверил этим словам, он сделал бы какое-нибудь усилие, чтобы возбудить в себе самом хоть искру любви, хоть слабый отблеск божества; а он, напротив, как раз после этих слов окончательно утверждается в своем самодовольном бесчувствии, трижды отрекается от бога любви, трижды безжалостно отталкивает любящее существо, самоотверженно ему отдающееся. Сначала он рассеянно спрашивает: "О чем так плачешь ты?" – потом отворачивается и наконец решительно говорит: "Уйди!" При чем же тут "чертог" и зачем автор заставил смерть понапрасну говорить эти хотя и слабые, но в существе справедливые слова о божественной смерти? Ведь не с чувственною любовью пришла к умирающему плачущая девушка, да и его собственная прежняя любовь к ней не была же только чувственною, иначе какой же бы он был герой и "избранник"! Но допуская даже, что по каким-нибудь неведомым причинам он не мог сохранить человеческих чувств к этой женщине, он должен был проявить такие чувства к кому-нибудь другому. Но мы видим только настойчивые указания на его полное бесчувствие и равнодушие ко всем и ко всему, безусловное отсутствие всяких признаков любви к кому бы то ни было, – странный способ готовиться к вступлению в чертог всех любящего бога. Очевидно, этот чертог здесь ни к селу ни к городу. Доведя в "Рассвете" свое

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
буддийское настроение до ясного сознания, сказавши последнее слово своего
отрицательного жизнепонимания, наш автор сам испугался этого слова и сделал
в заключение

85

маленькую вставку, прямо противоречащую всему остальному. Этот едва заметный диссонанс не мешает поэме "Рассвет" быть в нашей поэзии крайним воплощением взгляда, хотя ложного и несостоятельного, но имеющего определенное значение и с разных сторон и в разных формах овладевающего современным сознанием. И в этом отношении она заслуживает полного внимания, не говоря уже о прекрасном, большую частью, стихе и о таких мастерских картинках природы и жизни, как описание раннего утра в дороге или сцена дуэли.

VIII

Хотя гр. Кутузов нашел нужным, как мы видели, прикрыть буддийскую наготу своего пессимизма истрапанным листком из христианского катехизиса, однако ни на какие дальнейшие злоупотребления в этом смысле он не решился, что делает большую часть его поэтической искренности. С другой стороны, после апофеоза бесчувствия и смерти как высшего откровения истины дальнейшее творчество в том же направлении логически и психологически невозможно для нашего поэта. Между тем его талант в отношении формы нисколько не падает, а по-видимому способен еще к усовершенствованию; но к несчастию, содержание отсутствует, - сказать больше нечего.

Кроме нескольких мелких стихотворений, гр. Кутузов написал после "Рассвета" только одну небольшую лирическую поэму - "В тумане" {12}. По содержанию здесь не только нет ничего нового, но она представляет возвращение далеко назад, к мотиву первой большой поэмы нашего автора "Старые речи": иллюзия и крушение незаконной любви. Однако, несмотря на то, что сюжет здесь - только туманное отражение чего-то давно минувшего, пережитого, в этой пьесе (появившейся, впрочем, уже более десяти лет тому назад, через год после "Рассвета") чувствуется как будто более глубокий лиризм, более смелый порыв вдохновения, чем в других произведениях гр. Кутузова, а стих местами достигает редкой красоты. Приведу с некоторыми пропусками конец этой поэмы:

Мы жадно слушаем, обяты чуткой тьмой,
Как струйка быстрых вод лепечет за кормой

.....
А месяц между тем встаёт над взморьем сонным.

Сверкая, движется без волн равнина вод.

86

Вдали - одетые туманом озаренным
Чуть видны берега; все тихо; ночь плывет
Прозрачным сумраком меж небом и водами;
А мы друг другу лишь внимаем и молчим...
Словами бледными, ненужными словами
Немую песнь любви прервать мы не хотим.
Без звуков песнь слышна, без слов она понятна,
Ее ни заглушить нельзя, ни превозмочь.
Рожденная в душе, свободно, безвозвратно,
Она, крылатая, летит в немую ночь;
Скользит по глади вод под лунными лучами,

объемлет дальний круг туманных берегов,
с земли несется ввысь, дрожит под небесами
и тонет в голубой отчизне звезд и снов.
И беззаботные над дремлющею бездной,
Забыв минувшие и будущие дни,
Уединенные в чертоге ночи звездной,
Мы дышим, мы живем, мы царствуем одни!
Но чу!.. Как бы извне, из мира нам чужого
Какой-то странный шум, какой-то мерный стук,
Как поступь злой судьбы средь сумрака ночного,
нарушив тишину, доносится нам вдруг.
То весел по воде тяжелые удары,
то плеск за нами вслед стремящейся ладьи
а в ладью, как и следовало ожидать, помещается воплощение жестокого рока –
"ревнiveц старый":
Он видит – и в глаза с враждой непримирамой
Нам пристально глядит, презрителен и нем.
С обычным ему художественным тактом наш поэт не описывает последовавшей
между двумя лодками катастрофы, которая, очевидно, мало гармонировала с
поэтическою обстановкою, и прямо переходит к чудесному, в отношении стиха,
заключению:
Я помню краткое, последнее свиданье,
Прерывистую речь, недвижный грустный взор;
В нем виделось любви прощальное мерцанье,
Развязки роковой покорное признанье,
Безумству краткому конечный приговор!
Давно ль та ночь была? Давно ль та песнь звучала
Победной радостью? – но, горечи полно,
Раздумье бледное теперь нам отвечало:
– давно!
Ужель всему конец? Ужель пред злую силой,
Слепой – как смерти мрак, случайной – как волна,
должна смириться страсть? – сознанье говорило:
– должна!
И, как дитя, упав перед милой на колени,
Я плакал, я молил: бежим в далекий край!
Но взор ее твердил на все мольбы и пени:

87

И мы расстались... И долго, как в пустыне,
По свету, одинок, блуждал я... Вешний сон
Безвременно померк, угас... Зачем же ныне
Сквозь сумрак и туман мне вновь явился он?
Зачем в груди моей так больно и так сладко
Вдруг сердце сжалося, услышав песнь любви,
И с тайным трепетом я в тьме слежу украдкой
Неуловимый бег невидимой ладьи?

"Зачем?" – спрашивает наш поэт, и этим вопросом заканчивается все собрание его сочинений. Если "зачем" заменить "почему", то ответ, кажется нам, ясен. Потому, конечно, что в самой неудачной и нелепой любви все-таки больше смысла и правды, чем в самой удачной смерти и в самом великолепном бездушии.

IX

В начале того же, второго, тома сочинений гр. Кутузова помещены четыре произведения более раннего периода, содержание которых вполне гармонирует с унылым пессимистическим жизнепониманием, нашедшим свое окончательное выражение в "Рассвете". В рассказе "Гашиш" {13} изображается "туркестанец", который от "ужаса жизни" и от "противного сора противной земли" находит единственное убежище в галлюцинациях, производимых отравой:

Прощай... но если бы удары
Судьбы жестокой на тебя
Обрушились и жизнь твоя
Нежданным горем омрачилась,
Припомни, что со мной случилось...
Алла могуч – гашиша дым
Для счастья нищих создан им.

Но если полудикий туркестанец от жизненной тоски не находит другого прибежища, кроме гашиша, то и образованному русскому, пожалуй, придется искать спасения в чем-нибудь подобном: так выходит, по крайней мере, если согласиться с изображением нашей жизни в отрывке "Скука" (1875 года):

И мрак, и сон – терпенья нет!

.....
Под вечер, сладостно зевая,
Мы завтра ничего не ждем,
И скука – скука роковая
Одна над всем царит кругом!

88

Автор, который через семь лет напишет вполне серьезно апофеоз смерти, теперь дает полусерьезный, полуиронический апофеоз скуки. Должно заметить, что дар иронии и сатиры свойствен нашему поэту в очень слабой степени, и

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
читатель готов видеть подлинное выражение его настроения в следующих
стихах:

Всепобеждающая скука,
Ты стала общей госпожой!
Плач совести, сомнений мука
Давно покорены тобой.
В тебе одной вся правда ныне;
Ты - жизни цель и идеал (?)
Объемлешь, как самум в пустыне,
И топишь, как девятый вал!

.....

Священным трепетом объята
Моя душа перед тобой
Я верный раб отныне твой.

Описавши царство скуки в столичной гостиной, поэт переносится мечтою в деревню, к мужикам. Но и там опять скука, хотя "иная":

Я слышал выюги завыванье
Вокруг пустынных деревень,
Я видел томное мерцанье
Лучин сквозь ночи зимней тень;
Холмы и горы снеговые,
Мороз, метель и мрак кругом,
да лица _хмурые, худые_

В убогих хатах пред огнем...
Вот с тяжкою борясь дремотой,
Согнулась баба над работой.

Веретено ее жужжит,
Тоску-печаль наводит _злую_.

Мужик _угрюмо_ чинит сброву,
В качалке детище кричит.

Ползут часы труда и скуки
В молчанье _мертвом_, в дымной мгле,
Но вот и ужин на столе
Явился; трудовые руки
Взялись за ложки... хлеб, вода,

.....

Квас кислый - ужин хоть куда...

И вновь безмолвье, треск лучины,
Докучный шум веретена,
Покой _беспомощной кручины_,
Стенанье ветра у окна,
Мороз и выюга над полями,
Луна средь дымных облаков,
И на дворах за воротами
Унылый лай _голодных_ псов...

89

Я полагаю, что жизнь крестьян вообще достаточно бедственна сама по себе и что нет никакой надобности еще наводить на нее мрачную краску субъективного характера. Почему шум веретена вызывает непременно злую тоску? Почему мужики и бабы неуклонно пребывают в мертвом молчании? Относительно баб это вполне неправдоподобно, да и мужики, если не ошибаюсь, весьма часто нарушают безмолвие более или менее крепкими словами, свидетельствующими о некоторой бодрости духа. Лица у них также бывают всякие, а не одни только хмурые и угрюмые. Я думаю даже, что и собаки деревенские не всегда бывают голодны и лают не всегда уныло, а иногда, напротив, с остервенением. Конец отрывка с полною ясностью показывает, что причина такого преувеличенно-мрачного взгляда находится не в природе вещей, а в болезненно-желчном настроении автора. Когда светская хозяйка просит его написать ей в альбом что-нибудь смешное, он вдруг приходит в совершенно несогласное с обстоятельствами дела ожесточение:

И злобой тайной вдохновенный,
Альбом я в руки смело взял
И в нем красавице надменной
Желанья сердца написал:
"Скучай - ты создана для скуки;
Тебе иного дела нет.
Ломай и голову и руки (?)
Тебе на все один ответ.

.....
Скучай! - С рожденья до могилы
Судьбою путь начертан твой:
По капле ты истратишь силы,
Потом умрешь... и бог с тобой!"

За что же это, однако? Чем виновата эта бедная дама, если, как видно из всего предыдущего, поэт ни в ком и ни в чем, ни вне себя, ни в себе самом, не находит ничего, кроме скуки?

Насколько эта идея скуки не случайна, а укоренилась в настроении и сознании автора, видно из того, что с нее же начинается и следующая пьеса "Старики" {14}, написанная, однако, через два года после предыдущей.

Был долгий мир; мол _было скучно_;
Дремали мы в тоске немой,

Сквозь сон внимая равнодушно—

Европы шум для нас чужой.

Быть может, если бы этот шум Европы,— поднимаемый ведь не из-за одних низших страсти и интересов, но также

90

и из-за высших принципов и идей,— не был для нас таким чужим, то и скучать нам было бы некогда; как бы то ни было, нашлось другое средство против скуки — война. Такое лекарство, однако, кажется нашему поэту хуже самой болезни, и на этот раз он, конечно, прав:

Но бранный призрак дик и страшен;

Вокруг него проклятья, стон.

Как хищник, кровью мерзких брашен

Упитан и обрызган он.

Автор хочет показать ужас войны, представляя его отражение в маленьком уголку мирной жизни. Сюжет рассказа — трагический конец современных Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны {15}: он, отставной военный, воспламеняется бранным пылом, идет на турка и погибает в сражении; она не переносит этого горя и умирает под шум народных ликований по случаю взятия Плевны {16}.

Выл вечер. Плошек красный свет

Сквозь дым пыпал перед домами;

Народ по улицам толпами

Бродил всю ночь, и до утра

Гремели песни и "ура"!

Ура, ура! — и вдруг в полночи

Старуху пробудил тот крик;

Прислушалась, открыла очи...

"Анисья", прошептал язык,

"что там такое?" — "Плевну взяли",

Анисья сонная в ответ

Пробормотала. Станный свет

Мерцал пред окнами; звучали

Лихие песни, смех — и вот

Воскресло в голове сознанье...

убит! раздался стенанье;

Ура! в ответ кричал народ.

Кроме этого прекрасного заключения, весь рассказ, при симпатичном замысле, довольно слаб в художественном отношении.

Если в современной жизни поэт видит только или скуку, или ужас, то едва ли найдет он что-нибудь хорошее в истории. Гр. Кутузов нашел в ней для своего творчества только один сюжет — смерть Святополка Окаянного. Это интересная попытка представить в художественной форме психологию преступника,

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org показать, как совершенное злодеяние объективируется, становится внешнею силою, которая толкает к новым преступлениям. Тем не менее мне кажется непозволительным приписывать историческому лицу, хотя бы даже

91

окаянному, такие преступления, каких он не совершал, особенно же если их и вовсе невозможно было совершить. Гр. Кутузов в своей драматической сцене заставляет Святополка убивать схимонаха Варфоломея, причем выводится также старец Иринарх, строитель скита пустынножителей. Все это принадлежит, очевидно, к монашеству греко-восточному. Между тем действие происходит в 1019 г. в пограничной местности между Польшей и Богемией, т. е. в Силезии или в Моравии, а в этих странах восточное монашество, если бы и успело появиться со всеми своими особенностями в краткое время епископства св. Мефодия (в IX-м веке), то во всяком случае к началу XI века давним-давно исчезло {17}.

Это, конечно, мелочь. Любопытно не то, что автор произвольно и неудачно усугубил окаянство своего героя, а то, что он во всей истории заинтересовался только одним этим окаянным. Такой выбор мрачного злодея в качестве единственного исторического сюжета кажется мне не случайным: он находится в связи – вероятно, невольной и несознанной – с господствующим мировоззрением нашего поэта и с его взглядом на историю. Признавая жизнь бессмыслицей, он в историческом движении человечества видит не только "чужой шум", "лести звук пустой" и "праздных слов игру", но даже какое-то злодеяние. Основной мотив исторического прогресса есть покорение дикой природы человеческим духом. Но именно это кажется поэту чем-то греховным, заслуживающим кары и получающим ее. Такая идея, согласная с общим пессимизмом гр. Кутузова, вдохновила его поэтическую сказку "Лес", содержание которой он нашел в прозе А. Додэ, но взял по праву как свое и претворил в прекрасные стихи {18}.

Есть берег чудесный – морская волна,
К нему подбегая, смолкает;
Там силы дремучей и тени полна,
Кругом вековая царит тишина,
Там лес-богатырь почивает.

Он дремлет, и грезит, и шепчет сквозь сон.
Волшебен и странен тот шепот,
Как темная моль стародавних времен,
Как дальнего веча торжественный звон,
Как моря безбрежного ропот.

В это дремучее царство дикой природы пришли люди, после упорной борьбы с лесом одолели его, выжгли себе место и построили город.

92

То было уж поздней осенней порой,
И лес их оставил в покое.
Гордились люди победой такой
И славили мудрость свою... но весной
Вновь горе постигло их злое.

Лес ожил, набрался дикой силы и задавил человеческую культуру.
И скоро не стало дворцов, площадей,

Все скрылось во мраке мохнатых ветвей,
Лишь крики, проклятья и стоны людей
Носились в дебрях глубоких!

Все реже и глуше звучали они,
Деревья сплетались все гуще;
В вершинах, как в добрые старые дни,
Пернатые хором запели в тени,
А лес разрастался все пуще!

Свершилось! – в живых ни единой души
На месте борьбы не осталось,
И вновь все заснуло средь мертвый тиши;
Людей появление в чудесной глухи
Как сон мимолетный промчалось!

И ныне, как прежде, морская волна
Близ тех берегов умолкает,
Где, силы дремучей и тени полна,
Кругом вековая царит тишина,
Где лес-богатырь почивает.

Сочувствие поэта диким силам природы, беспощадно истребляющим не только дела человеческие, но и самих людей, – довольно характерно. Пускай это сказка; но ведь было действительно время, когда не только тот неведомый берег, но и весь земной шар был покрыт сплошными дремучими лесами. Для появления и развития человеческой жизни необходимо было восстание и борьба против этого дикого царства, т. е. преступление *de l'ese - nature** – с точки зрения нашего поэта, который, чтобы быть последовательным, должен желать и этому всемирно-историческому преступлению такой же кары и такого же конца, какие описаны в его сказке.

Х

Склонный субъективно к отрицательному буддийскому взгляду на мир и жизнь, поэт, естественно, и в предметах своего творчества находит и представляет только подтверждение

* Оскорбление природы (фр.). – Ред.

ждение этого взгляда. Все существующее действует на него особенно своею отрицательною стороною. Жизнь есть бессмысленная тоска, от которой чуждая нам Европа находит развлечение в ненужном шуме так называемых вопросов, а более близкая Азия – в гашише; в самой России царит ничем неодолимая, лишь мгновенно прерываемая ужасами войны скука – скука сырья в столичном обществе, скука голодная – у деревенского люда; такова современность; – поэт с отвращением отводит от нее взор, устремляет его в глубь времен и усматривает там... Святополка Окянного. Положение поистине безвыходное, напоминающее старинную прибаутку: в воде черти, в земле черви, во бору сучки, на Москве крючки.

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Как хорошо, что художественное творчество, даже у поэтов не чужды размышления, как гр. Кутузов, не определяется, однако, всецело общим складом их мысли или их основным настроением,- как хорошо, что поэты непоследовательны. Если бы гр. Кутузов был всегда и во всем верен своему буддийскому взгляду, то его стихи служили бы только к наглядному доведению до абсурда известного ложного жизнепонимания. К счастию, он, по крайней мере в молодые годы, писал нередко в силу непосредственного вдохновения элементарными жизненными мотивами и впечатлениями, откуда вышло много прекрасных лирических и описательных мест в его поэме и несколько отдельных стихотворений несомненного достоинства.

Основные мотивы чистой лирики - любовь и природа. В этой области современному русскому поэту приходится соперничать с Тютчевым и Фетом. Но не останавливаясь на таких предрешающих сравнениях, мы можем отметить у гр. Кутузова несколько очень милых стихотворений, более или менее оригинально варьирующих две вековечные лирические темы {19}. Вот, например:

Прошумели весенние воды,
Загремели веселые грозы,
В одеяньях воскресшей природы
Расцвели гиацинты и розы.
Пронеслись от далеких поморий
Перелетные певчие птицы;
В небесах светлоокие зори
Во всю ночь не смыкают зеницы.
Но и в бледной тиши их сияний
Внятен жизни таинственный лепет,
Внятны звуки незримых лобзаний
И любви торжествующий трепет.

94

две заключительные строфы я пропускаю, что мог бы с успехом сделать и сам автор. Вообще в лирическом стихотворении если есть возможность остановиться на третьей строфе, то непременно нужно этим пользоваться, как это и сделал наш поэт, например, в стихотворении "Снилось мне утро лазурное, чистое". Я думаю, что и лучшее стихотворение гр. Кутузова в этом роде: "Не смолкай, говори" только выиграло бы, если бы из пяти строф оставить следующие три:

Не смолкай, говори... В ласке речи твоей,
в беззаботном веселье свиданья,
Принесла мне с собою ты свежесть полей
И цветов благовонных лобзанья.

.....
Ни движенья, ни звука вокруг, ни души!

Беспредметная даль пред очами,
Мы с тобою вдвоем в полутьме и тиши,
Под лазурью, луной и звездами.

.....
В беспредельном молчанье теней и лучей
Страница 168

Шепчешь ты про любовь и участие...

Не смолкай, говори... В ласке речи твоей

Мне звучит беспределное счастье.

Поэзиею фета навеяны следующие стихи, посвященные этому поэту:

Словно говор листвы, словно лепет ручья,

В душу веет прохладою песня твоя;

Все внимал бы, как струйки дрожат и звучат,

Все впивал бы листов и цветов аромат,

Все молчал бы, поникнув, чтоб долго вокруг

Только песни блуждал торжествующий звук,

Чтоб на ласку его, на призыв и привет

Только сердце б томилось и билось в ответ.

При отрицательном взгляде гр. Кутузова на жизнь как на бессмыслицу и на исторический прогресс как на злодеяние, нельзя ожидать найти в его поэзии так называемых гражданских мотивов. По счастливой непоследовательности, в его сборник попало, однако, одно прекрасное стихотворение, посвященное свободе слова:

для битвы честной и суровой

С неправдой, злобою и тьмой

Мне бог дал мысль, мне бог дал слово,

Свой мощный стяг, свой меч святой.

Я их принял из божьей длани,

Как жизни дар, как солнца свет

И пусть в пылу на поле браны

95

Нарушу я любви завет,

Пусть, правый путь во тьме теряя,

Я грех свершу, как блудный сын,

Господен суд не упреждая,

Да не коснется власть земная

Того, в чем властен бог един!

да,- наложить на разум цепи

И слово может умертвить

Лишь тот, кто властен вихрю в степи

И грому в небе запретить!

Это стихотворение и по мысли, и по тону, и по фактуре весьма напоминает некоторые лирические пьесы гр. А. Толстого, а также одно место в его поэме "Иоанн Дамаскин", которое начинается стихами:

Насилие и гнет,
Она - в душе рожденная свободно
В оковах не умрет...{20}

Прямо ли это подражание или невольное совпадение, оно нисколько не уменьшает внутреннего достоинства этих стихов гр. Кутузова.

Кажется, я указал в сборнике нашего поэта все, что ограничивает мое суждение об основном характере его поэзии, но должен признаться, что и в мелких лирических стихотворениях его гораздо больше таких, которые _подтверждают_ это мое суждение, т. е. выражают то самое буддийское настроение, последнее слово которого сказано в поэме "Рассвет". Вот уже с самого начала:

Тайный полет за мгновеньем мгновенья,
Взор неподвижный на счастье далекое,
Много сомнения, много терпения,
Вот она, ночь моя, ночь одинокая!

В стихотворении "Поэту", автор, перечисливши все, чем красна человеческая жизнь, заключает так:

Но сон тот мчится прочь, сверкнув во тьме улыбкой,
И я прощаюсь с мгновенною ошибкой,
Вновь одиночеством и холодом объят.
Я знаю, не прервет _бесстрастного_ раздумья
Ни лепет в тишине бегущего ручья,
Ни радостный порыв счастливого безумья,
Ни поцелуй любви, ни песня соловья.

Автор постоянно возвращается к этому мотиву безнадежного разочарования:

96

...любуясь красотой,
По сторонам бесстрастно взор блуждает,
И счастлив он окрестной пустотой,
И ничего от тьмы не ожидает.
Безлюдье, тишина, спокойствие и лень,
Таинственный полет полночной птицы,
Вдали сквозь тучу безгромные зарницы,
В природе и в душе ночной тень.

Разочаровавшись в красоте внешней и внутренней, автор, естественно, теряет веру и в свое собственное поэтическое призвание:

Отчего ж ты обманула, буря,
Обернулась в _серое ненастье_,
И стою я, голову понуря,

О мелькнувшем поминая счастье.

Что ты, ветер, плачешь и гуляешь,
Словно пьяный в божье воскресенье,
Не по мне ль поминки ты спроявляешь,
Не мое ль хоронишь вдохновенье!

При миросозерцании автора для вдохновения нет предмета:

Зачем кипит в груди негодованье,
Зачем глаза горючих слез полны,
Когда уста на мертвое молчанье,
Когда мечты на смерть обречены!
Зачем в крови струится жизни сила,
Когда вовек ей не стяжать побед,
Зачем ладья, когда в ней нет ветрила,
Зачем вопрос, когда ответа нет!..

Во внешней природе гр. Кутузов вдохновляется главным образом теми сторонами, которые отвечают его общему мрачному настроению. В этой области он в особенности певец ночи, как в мире человеческом он воспевает смерть.

Вот одно из многихочных стихотворений гр. Кутузова:

Глаз бессонных не смыкая,
Я внимал, как сердце ныло,
Как, всю ночь не умолкая,
Вьюги стон звучал уныло,
Как с тревогою участья
Ночь в окно ко мне стучалась,
Как душа с обманом счастья
И боролась, и прощалась.

Временная ночь привлекательна для нашего поэта, потому что она напоминает ему вечную ночь могилы:

Гаснет дух, слабеют силы,
Жизнь ненастяя холодней,
Уж не краше ль ночь могилы
Этих мрака полных дней?

97

Прямому культу смерти, кроме "Рассвета", посвящено и несколько лирических стихотворений, из которых приведу одно - "Встреча Нового года":

Вином наполнены бокалы,
Смолкают речи, полночь бьет,

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
И вот как с пальмы лист увялый

Отпал прожитый, старый год.
На миг перед живым участем
Смирилась власть враждебной тьмы,
И с новым годом, с новым счастьем
Поздравили друг друга мы.
Но мне какой-то голос странный
Вдруг прошептал привет иной,
Привет таинственный, нежданный,
Неслыханный дотоле мной.
И я взглянул:- в красе бесстрастной,
Сверкая вечной белизной,
Издалека, с улыбкой ясной,
Мне Смерть кивала головой.

Поклоняясь смерти, гр. Кутузов иногда по старой памяти христианских слов говорит о ней, как о переходе к иной, высшей форме бытия, но большою частью, верный своему общему буддийскому мироизречанию, он видит в ней безусловный конец всякого бытия, сон без сновидений и без пробужденья:

Надо мной раскинешь ты свой полог,
Полог тот, как ночь, широк и чуден,
Я усну, и будет сон мой долог.
Будет долог, тих и непробуден.

Придя к обоготовлению смерти, почему же, однако, гр. Кутузов продолжает жить?

Единственно только по малодушию,- отвечает он сам в стихотворении: "Свиданье со смертью", весьма напоминающем известную басню: "Крестьянин и смерть" {21}:

Она ко мне пришла и постучалась в дверь,
И я узнал тот стук, но с холодом испуга
"О, знаю,- я сказал,- я звал тебя, как друга,
И не страшусь тебя - приди, но не теперь".

Смерть оказывается очень покладистой:

...и дверь приотворив,
Она кивнула мне с упреком головою,
И было много так печали и любви
В слетевшем с уст ее участливом: "Живи!"

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org известность автора, не подвергались еще обстоятельной критике; а потому я считаю не лишним дополнить свой разбор несколькими замечаниями касательно формы и внешней технической стороны. Стих нашего поэта, вообще ясный и простой, свободный и изящный, лишен большою частью сжатой, сосредоточенной силы и широкого размаха. Это, конечно, недостаток едва ли устранимый, да в настоящую эпоху, пожалуй, приходится считать его достоинством. Во всяком случае самое слабое и расплывчатое стихотворение нашего автора имеет гораздо более общего с истинною поэзиею, нежели такое, например, размашистое произведение новейшего декадентства:

Как ужасно воют черные собаки
На дворе сегодня! Как ненастна ночь!
.....
Как тревожна ночь и как ужасна мука!
Но безмолвен я, лишь ропщет темнота
И, окаменевши, не рождает звука,
От рыданий грудь, от жалобы уста.
Догорая, гаснут трепетные свечи...
Ночь повита крепом, _мысль как ночь темна_...{22}

Хотя, кроме последнего, совершенно справедливого заявления, все прочее здесь представляет лишь продукт смешения двух различных понятий: поэзии и чепухи, с заменой первого вторым,- однако такое стихотворение не есть ныне что-нибудь исключительное, а представляет целый род литературы, который все более и более становится господствующим у нас, как и во Франции. Гр. Кутузов совершенно уберегся от указанного смешения понятий, что составляет его несомненную заслугу. Но если лирическое одушевление, чтобы оставаться в пределах поэзии, никогда не должно переходить в бессвязный бред, то, с другой стороны, трезвость и ясность мысли никак не должна доходить у поэта до прозаизмов. В этот грех случается иногда впадать нашему автору. Так, напр., он сообщает нам (в стихотворении на открытие памятника Пушкину), что русский народ вспомнил,

Что у него великий есть поэт,
И захотел он вновь перед собою
Его могучий образ воскресить,

99

Почтить певца бессмертною хвалою,
Его вознесть высоко над толпою
И памятник ему соорудить.

Последнее сведение было бы лишним даже в прозе, а в стихах и подавно. Тут же говорится, что

Красы, добра и правды идеалы
Блеснули вновь, как утра чистый свет.

Такая полнота отвлеченных подлежащих допустима только в прозе. Чистейшее прозою начинается послание к А. Н. Майкову по случаю получения им пушкинской премии:

Учитель дорогой! С сердечною отрадой
Тебя приветствую.- Ко мне примчалась весть:
Страница 173

"два мира" почтены достойною наградой,
И славный их певец принял хвалу и честь.

другого рода прозаичностью поражают следующие стихи, касающиеся русско-турецкой войны:

И ночь тиха была, и месяц, _беспристрастно_
На праведных и злых взирая с высоты,
"_Не полно ль убивать друг друга вам напрасно?"
Шептал с _улыбкою добра и красоты_.

Беспристрастие месяца к воюющим сторонам есть вообще антропоморфизм довольно прозаичный, а в настоящем случае и неуместный; ибо если уж дело пошло на олицетворения, то месяц, очевидно, должен быть пристрастным к туркам. Прозаичны и самые слова, которые поэт заставляет его "шептать", и особым комичным прозаизмом отличается последний стих вследствие нескладного и ничем не оправданного соединения таких широких отвлеченных понятий, как добро и красота, с таким тесным представлением, как улыбка, да еще на лице месяца. Лунная улыбка "добра и красоты" - здесь даже странным образом прозаическая сухость граничит с декадентской нелепостью. Напрасно автор напечатал это стихотворение, которое есть лишь весьма неудачное подражание заключительным стихам лермонтовского "Валерика".

Такой же прозаизм представляет следующая строфа в стихотворении "Последним заревом горит закат багряный":

И ничего кругом на мысль ту не ответит,
И будет одинок тот луч в окрестном сне,
Звезда небесная, быть может, лишь заметит
И _прослезится_ в вышине.

100

Конечно, поэт имеет неотъемлемое право заставлять плакать кого и что угодно, - однако под непременным условием показать нам эти слезы. Если он, например, назовет падучие звезды огненными слезами неба, то мы видим, о чем он говорит; но если он ограничится голословным утверждением мнимого факта, будто звезда или какая-нибудь другая вещь прослезилась, то мы, во-первых, ему не поверим, а во-вторых, удивимся, зачем ему понадобилась такая совсем не интересная и нисколько не поэтичная напраслина.

Попадаются у нашего автора и технические промахи, вследствие которых стих в чтении производит впечатление прозы, как, например:

Вы, светлых глаз безумные творцы,
Откинувшие бранные одежды...

Последний стих есть проза, точно так же как и последний из следующих трех:

Замкнулися уста, погасли очи,
Горевшие в потьмах духовной ночи,
Как мысли путеводные огни.

далее:

Его красе нетленной поклониться,
Как свету возвратившейся весны
подчеркнутый стих прозрачен и по бледности образа, и по самой структуре.

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Еще худший грех случился в "Рассвете", где автор забыл непреложный закон о цenzуре при шестистопном ямбе, вследствие чего явился такой невозможный стих:

Когда к потерянному чувству нет возврата...

Едва ли кто станет спорить против того, что славянские формы: _злато_, _вран_ и т. д., вместо: золото, ворон - должны быть изгнаны из современного стиха. Особенно неуместны они вблизи слов вульгарных, пример чего находим у гр. Кутузова. Сказавши, что смерть

Приплясывает с радости, смеется

и хищников сзыает на обед,

он продолжает:

И стаями отвсюду мчатся _враны_.

101

Эти _враны_ необходимы только затем, чтобы рифмовать с _Балканы_ рифма хотя недурная, но и не настолько богатая, чтобы для нее стоило чем-нибудь жертвовать. Рифмы вообще составляют слабую сторону в стихах нашего поэта. Действительно богатых, неожиданных нет почти вовсе; избитых и слабых, вроде: _любовь - кровь_, _ясен - прекрасен_ - очень много, а немало и совсем предосудительных. _Иногда - никогда_, _кров - покров_, _пришла прошла_, _томной - темной_ - после таких рифм остается рифмовать: _смелый не смелый_, _фунта - полфунта_; сюда же принадлежит излюбленная гр. Кутузовым рифма _счастья - участья_; раз согрешить такою жалкою рифмою еще можно, но повторять ее многократно - не годится. Нельзя одобрить: _смерть твердь_, _мощь - дождь_, _язык - миг_; _сознал я - залился_ есть рифма мнимая, ибо слог _ся_ произносится в действительности как _са_; наконец, _ободрясь_ и _тарантас_ почти так же мало похоже на рифму, как _перекрестясь_ и _Стасов_.

Я знаю, что нет у нас поэта безгрешного по части рифм, но если бы такой факт и составлял право, то во всяком случае гр. Кутузов злоупотребляет этим правом; я насчитал у него более трехсот пар неправильных рифм, - для двух маленьких томов это слишком много! И тем более это странно, что в своих критических отзывах о некоторых поэтах он ставит безупречность рифмы как неизбежное условие для достоинства стихотворения. Я не совсем разделяю такую строгость в смысле эстетическом, но зато с точки зрения этической не подлежит никакому сомнению, что писатель непременно должен исполнять сам те требования, которые он предъявляет своим собратьям: _имже бо судом судите_...

XII

Разобрав так подробно сочинения гр. Кутузова и приведя - наряду с несколькими плохими - так много истинно прекрасных стихов, я хотел, между прочим, показать и оправдать высокое мнение, которое я имею о поэтическом таланте этого писателя. Этим объясняется и резкость моей критики: кому много дано, с того много и взывает. Обличение стихотворцев бездарных, - если кому есть охота этим заниматься, - имеет в виду только благо читателей, предохранение их от неприятного чтения. Такой филантропической цели не может быть при указании недостатков

102

и промахов поэта столь талантливого, как гр. Кутузов. Но здесь зато критика может иметь отчасти в виду пользу самого критикуемого автора. Бездарного стихоплета исправит только могила, но талантливый поэт может до некоторой степени быть исправлен и критикою, - разумеется, если он свободен от мелкого самолюбия и тупого самодовольства. Почтенный автор "Рассвета", конечно, выше такой ограниченности. Как бы, впрочем, он ни отнесся к тем или другим моим замечаниям - одного он во всяком случае не может отвергнуть, так как оно не есть мое мнение или вывод, а прямое указание на факт его собственного опыта - разумею тот факт, что основное настроение, вдохновлявшее его поэзию, достигнув своего крайнего выражения в апофеозе смерти, тем самым исчерпало все свое содержание, перестало быть источником

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
новых вдохновений, и муга его прежде временно, в самом цветущем возрасте
захирела, и вот уже двенадцать лет напоминает о себе лишь редкими отзвуками
былого. Поэт не может отрицать той очевидной истины, что в прежнем
направлении, на почве настроения, породившего "Рассвет", ему больше сказать
ничего. Если бы он тем не менее продолжал как ни в чем не бывало сочинять в
изобилии искусственные стихи, лишенные искренности и вдохновения, то нам
пришлось бы признать дело его безнадежным. Но к чести для себя и к утешению
для нас, гр. Кутузов не насищает, вообще говоря, своего таланта и не кривит
душию. Высказав с убеждением, что "прекрасен жизни бред", но что
действительно хороша только смерть, - взгляд, после которого остается только
умереть, а отнюдь не писать стихи, наш поэт хотя, слава богу, не решается
на первое, однако воздерживается и от второго. Так как ему нечего больше
сказать, то он молчит. Такое положение достойно, симпатично и позволяет
надеяться, что для поэта есть еще будущее, что творческий дар его еще может
воздорваться. Из собственного многолетнего опыта поэт должен сделать вывод,
что его прежнее настроение, будучи бесплодным, не может быть истинным. А
отсюда для него должна явиться нравственная необходимость перейти от
отрицательного языческого взгляда к положительному, христианскому - принять
мыслию, чувством и делом ту истину, которую _на словах_ ему уже случалось
изредка исповедовать. Для искренней перемены в этом смысле есть, конечно,
огромное препятствие, поскольку господствующее настроение писателя связано
с самою его натурой. Однако человек вообще, а человек духовно одаренный тем
более не есть только продукт натуры, но также разум, определяющий

103

ся силою истины. К тому же эта истина не исключает никакого естественного
настроения, а лишь вводит каждое в его законные пределы. В частности,
пессимизм, как я раньше сказал, имеет, при правильном применении, свою
относительную истину; лишь бы только он не претендовал быть последним,
решающим словом, лишь бы только он не переходил в кульп смерти и в
проповедь бездушия.

Я не хочу допустить, чтобы внушения эгоистического безучастия и мертвой
косности действительно заглушили в душе нашего поэта голос лучшего
сознания, говорящий о солидарности всех и о том, что жизнь имеет
положительный смысл в свободном движении к совершенной правде, с верою в ее
окончательное торжество. Наш поэт не решится противоречить этому лучшему
сознанию на словах, - отчего же он не проникнется им на деле? Я не теряю
надежды, что последние двенадцать лет были для него пустыми и бесплодными
лишь в смысле видимых обнаружений творчества, но что они не прошли напрасно
для его внутренней душевной работы и что он перейдет, наконец, от религии
смерти к религии воскресения; это было бы началом воскресения и для его
поэтической деятельности.

104

КОММЕНТАРИИ: БУДДИЙСКОЕ НАСТРОЕНИЕ В ПОЭЗИИ

Впервые напечатана в "Вестнике Европы", 1894, № 5, с. 329-346; № 6, с.
687-708.

Статья как бы начинает цикл литературно-критических работ о русских поэтах,
над которым Вл. Соловьев работал до конца жизни. Творчество графа А. А.
Голенищева-Кутузова было интересно для критика возможностью проследить те
изменения, что, при внешнем следовании пушкинской традиции, происходили в
русской поэзии конца XIX в. и, как полагал Соловьев, означали отход от
основных принципов христианской морали. Соловьев хорошо знал
Голенищева-Кутузова, но их отношения не отли

389

чались ровностью. В июле 1893 г. он сообщал брату Михаилу: "Я возобновил
дружеские отношения с Кутузовым, которые были прерваны четыре года тому
назад" (Письма, 4, 127). Мировоззрение Голенищева-Кутузова, эпигона
дворянской усадебной культуры, едва ли имело ту цельность, которую находил
в нем Соловьев. Главный мотив его поэзии - тоска по идеализированному
дворянскому прошлому. Достаточно распространенные в русской культуре
попреформенного времени, эти настроения никак не могут быть отнесены к
нехристианским. Как поэта Соловьев ставил Голенищева-Кутузова достаточно
высоко и не без доли иронии признавал его превосходство над собою: "...мне

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org приходит в голову: философично ли я поступаю, предлагая публике свои стихотворные бусы, когда существуют у нас: алмазы Пушкина, жемчуг Тютчева... бирюза Голенищева-Кутузова" (письма, 1, 226). Следует отметить, что литературно-эстетические требования, предъявляемые критиком к поэзии Голенищева-Кутузова, превышали творческие возможности поэта, второстепенного и не пользовавшегося известностью у читающей публики. Последнее обстоятельство отчасти объясняет пространные выписки, которые делал Соловьев.

{1} Употребляя слово "буддизм" и придавая ему несколько сниженно-ироническое звучание, Соловьев имеет в виду лишь один из аспектов буддийского мировоззрения: стремление к смерти как к торжеству над жизнью. Для Соловьева "буддийское настроение" противоположно христианскому началу.

{2} Соловьев рецензирует и цитирует издание 1894 г. Предыдущие издания: Стихотворения графа А. А. Голенищева-Кутузова. СПб., 1884. 256 с.: Стихотворения графа А. А. Голенищева-Кутузова. 1880-1890. 76 с. Б. м. и г. (Отд. отт. из журнала "Русский вестник", 1891, № 4).

{3} Из стихотворения А. С. Пушкина "Перед гробницею святой..." (1831), посвященного памяти полководца М. И. Кутузова (правильнее Голенищева-Кутузова). У Пушкина:

...сей остальной из стаи славной

Екатерининских орлов.

Соловьев обыгрывает принадлежность поэта к знаменитому роду.

{4} А. С. Пушкин, Евгений Онегин, гл. вторая, строфа I.

{5} _Шакьямуни_ - одно из имен основателя буддизма, индийского царевича Гаутамы, который в поисках истины стал Буддой - Просветленным.

{6} Здесь и далее Соловьев цитирует поэму А. А. Голенищева-Кутузова "Старые речи" (1879).

{7} А. С. Пушкин, Евгений Онегин, глава восьмая, строфа XLVII. Неточная цитата.

{8} А. А. Голенищев-Кутузов, Сказка ночи (1880).

{9} Здесь и далее Соловьев цитирует поэму "Дед простил" (1881).

{10} Поэма "Рассвет", разбираемая ниже, была написана в 1882 г.

390

{11} _Моисей_ - библейский пророк и законодатель, составитель "Пятикнижия". Десять заповедей (Деяния Моисея), сказанные им израильскому народу у горы Синай (Исх. 20, 1 -17), легли в основу христианской нравственности.

{12} Авторская датировка поэмы "В тумане" -1883 г.

{13} Стихотворение "Гашиш" написано в 1875 г.

{14} Небольшая поэма "Старики" была написана в конце 1877 г.

{15} _Афанасий Иванович_ и _Пульхерия Ивановна_ - герои повести Н. В. Гоголя "Старосветские помещики" (1835).

{16} Турецкая крепость Плевна была взята русскими войсками 28 ноября (10 декабря) 1877 г.

{17} Баллада "Смерть Святополка" написана в 1878 г. Ее герой, князь киевский и туровский Святополк Окаянный (ок. 980-1019), совершил, согласно летописному преданию, страшные злодеяния (убийство братьев, измена, клятвопреступления). Сомнения Соловьева неосновательны: в начале XI в. в Моравии вполне мог действовать монах греко-восточной (православной) церкви.

{18} Сказка "Лес" является поэтическим переложением одноименной новеллы А.

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
доде.

{19} Стихотворения "Прошумели весенние воды...", "Снилось мне утро лазурное, чистое...", "Не смолтай, говори...", "для битвы честной и суровой..." и др., цитируемые далее Соловьевым, в Собрании сочинений Голе-нищева-Кутузова не датируются.

{20} А. К. Толстой, "Иоанн Дамаскин" (1858). Здесь, как и во многих других случаях, Вл. Соловьев пренебрегает авторской пунктуацией. В дальнейшем подобные моменты специально не оговариваются.

{21} Басня И. А. Крылова "Крестьянин и смерть" (1808).

{22} из стихотворения К. М. Фофанова "В тяжелую ночь".

391

Лермонтов

Владимир Сергеевич Соловьев

Лермонтов

1899

Произведения Лермонтова, так тесно связанные с его личной судьбой, кажутся мне особенно замечательными в одном отношении. Я вижу в Лермонтове прямого родоначальника того духовного настроения и того направления чувств и мыслей, а отчасти и действий, которые для краткости можно назвать "ницшеанством" - по имени писателя, всех отчетливее и громче выразившего это настроение, всех ярче обозначившего это направление {1}.

Как черты зародыша понятны только благодаря тому определившемуся и развитому виду, какой он получил в организме взрослом, так и окончательное значение тех главных порывов, которые владели поэзией Лермонтова, - отчасти еще в смешанном состоянии с иными формами, - стало для нас вполне прозрачным с тех пор, как они приняли в уме Ницше отчетливо раздельный образ.

Кажется, все уже согласны, что всякое заблуждение, - по крайней мере всякое заблуждение, о котором стоит говорить, - содержит в себе несомненную истину, которой оно есть лишь более или менее глубокое искажение, - этою истиной оно держится, ею привлекает, ею опасно, и через нее же только может оно быть как следует обличено и опровергнуто. Поэтому первое дело разумной критики относительно какого-нибудь заблуждения - найти ту истину, которою оно держится и которую оно извращает.

Презрение к человеку, присвоение себе заранее какого-то исключительного и сверхчеловеческого значения - себе, или как одному я, или Я и К°, - и требование, чтобы это присвоенное, но ничем еще не оправданное величие было признано другими, стало нормою действительности, вот

274

сущность того направления, о котором я говорю, и, конечно, это большое заблуждение.

В чем же та истина, которою оно держится и привлекает умы?

Человек - единственное из земных существ, которое может относиться к самому себе критически, подвергать внутренней оценке не отдельные свои положения и действия (что возможно и для животных), а самый способ своего бытия в целом. Он себя судит, а при суде разумном и беспристрастном - и осуждает. Разум свидетельствует человеку о факте его несовершенства во всех отношениях, а совесть говорит ему, что этот факт не есть для него только внешняя необходимость, а зависит также и от него самого. Человеку естественно хотеть быть больше и лучше, чем он есть в действительности. Если он взаправду этого хочет, то и может, а если может, то и должен. Но не есть ли бессмыслица - быть лучше, выше или больше своей действительности? Да, это есть бессмыслица для животного, так как для него действительность есть то, что его делает, но человек, хотя и есть также произведение уже существующей, данной действительности, но вместе с тем эта

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
его действительность есть, так или иначе, в той или другой мере, - то, что
он сам делает - делает более заметно и очевидно в качестве существа
собирательного, менее заметно, но столь же несомненно и в качестве
существа личного.

Можно спорить о метафизическом вопросе безусловной свободы выбора, но самодеятельность человека, т. е. его способность действовать по внутреннему побуждению, - окончательно по сознанию долга или по совести, - есть не метафизический вопрос, а факт опыта. Вся история состоит в том, что человек делается лучше и больше самого себя, перерастает свою наличную действительность, отодвигая ее в прошедшее, а в настоящее вдвигая то, что еще недавно было противоположным действительности, - мечтою, субъективным идеализмом, утопией.

Внутренний, духовный, самодеятельный рост есть такой же бесспорный факт, как и рост внешний, физический, пассивный, с которым он связан как с своим предположением.

Теперь спрашивается, в каком же направлении, с какой стороны жизни должно совершаться изменение данного человечества в лучшее и высшее - в "сверхчеловечество"? Если человек недоволен собою и хочет быть сверхчеловеком, то ведь тут дело идет, конечно, не о внешней (а также и не о внутренней) форме человеческого существа, а только

275

о плохом функционировании этого существа в этой его форме, что от самой формы не зависит. Мы, например, можем быть недовольны не тем, что у нас два глаза, а лишь тем, что мы ими плохо видим. А чтобы лучше видеть, нет никакой надобности человеку изменять морфологический тип зрительного органа, например, вместо двух иметь множество глаз, потому что при тех же двух глазах могут раскрыться у него "вещие зеницы", - как у испуганной орлицы" {2}. При тех же двух глазах можно стать сверхчеловеком, а при сотне глаз можно оставаться только мухой.

Точно так же и весь прочий организм человеческий ни в какой нормальной черте своего морфологического строения не препятствует нам возвышаться над нашей дурной действительностью и становиться относительно ее сверхчеловеком. Другое дело - сторона функциональная, и притом не только в единичных и частных уклонениях патологических, но и в таких явлениях, которых обычность заставляет многих считать их нормальными. Таково прежде всего и более всего явление смерти и разложения организма. Если чем мы естественно тяготимся, если чем основательно недовольны в своей данной действительности, то, конечно, - этим заключительным явлением нашего видимого существования, этим его наглядным итогом, сводящимся на нет. Человек, думающий только о себе, не может примириться с мыслью о своей смерти; человек, думающий о других, не может примириться со смертью других; значит, и эгоист, и альтруист, - а все люди принадлежат в разных степенях чистоты и смешанности к тому или другому роду, - и эгоист, и альтруист одинаково должны чувствовать смерть как нестерпимое противоречие, т. е. одинаково не могут внутренне принимать этот видимый итог человеческого существования за окончательный. И вот куда должны бы, по логике, с особенным вниманием смотреть люди, желающие подняться выше данной действительности, - желающие стать сверхчеловеками. Потому что, чем же в особенности отличается то человечество, над которым они хотят подняться, как не тем именно, что оно смертно? Человек и смертный синонимы. Уже у Гомера мы находим, что два главные разряда существ - боги и люди - постоянно характеризуются тем, что одни подвержены смерти, а другие нет, :- Theoi te Brotoite. - Хотя и все прочие животные умирают, но никому не придет в голову характеризовать их как смертных, - для человека же этот признак не только принимается как характерный, но и чувствуется еще в выражении "смертный" какой-то грустный упрек себе. Чувствуется, что человек, сознавая

276

неизбежность смерти, как центральной особенности своего действительного состояния, решительно не хочет с нею мириться, николько не успокаивается на этом сознании ее неизбежности в данных условиях. И в этом, конечно, он прав, потому что, если смерть совершенно необходима в этих наличных условиях, то кто же сказал, что эти условия неизменны и неприкосновенны? Теперь ясно, что ежели человек есть прежде всего и в особенности

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
смертный, т. е. подлежащий смерти, побеждаемый, преодолеваемый ею, то сверхчеловек должен быть прежде всего и в особенности победителем смерти, т. е. освобожденным (освободившимся?) от существенных условий, делающих смерть необходимую, и, следовательно, исполнить те условия, при которых возможно или вовсе не умирать, или, умерши, воскреснуть. Положим, такая победа над смертью не может быть достигнута сразу, что совершенно несомненно. Положим, также, - а это уже сомнительно, потому что не может быть доказано, - что такая победа, при теперешнем состоянии человека, не может быть достигнута вообще в пределах единичного существования, - пусть так, но путь-то, к ней ведущий, приближение к ней по этому пути, совершенствующееся, хотя бы и далекое от совершенства, исполнение тех условий, полнота которых требуется для достижения цели, для победы и одоления над смертью, - это-то ведь возможно и существует. Условия, при которых смерть забирает над нами силу и побеждает нас, достаточно хорошо нам известны; так должны быть известны и противоположные условия, при которых мы забираем силу над смертью и, в конце концов, можем победить ее. Хотя бы и не было перед нами настоящего сверхчеловека, но _есть_ сверхчеловеческий _путь_, которым шли, идут и будут идти многие, на благо всех, и, конечно, важнейший наш интерес в том, чтобы побольше людей на него наступали, прямее и дальше по нем проходили.

И вот настоящий критерий для оценки всех дел и явлений жизни человеческой, а в особенности справедливо и полезно прилагать этот критерий в тех случаях, когда люди, сверх общего уровня одаренные, чувствующие истинную цель и смысл нашего существования, способные, а следовательно, и призванные, т. е. обязанные более прочих к ней приблизиться и других приблизить, превращают эту общую цель в личное и бесплодное притязание, заранее отвергая необходимое условие для ее достижения.

Лермонтов, несомненно, был гений, т. е. человек, уже от рождения близкий к сверхчеловеку, получивший задатки

277

для великого дела, способный, а следовательно, обязанный его исполнить.

В чем заключалась особенность его гения?

Как он на него смотрел?

Что с ним сделал? - Вот три основные вопросы, которыми мы теперь займемся.

Относительно Лермонтова мы имеем то преимущество, что глубочайший смысл и характер его деятельности освещается с двух сторон - писаниями его ближайшего преемника Ницше и фигурую его отдаленного предка.

В пограничном с Англиею краю Шотландии, вблизи монастырского города Мельроза, стоял в XIII веке замок Эрсильдон, где жил знаменитый в свое время и еще более прославившийся впоследствии рыцарь Томас Лермонт. Славился он как ведун и прозорливец, смолоду находившийся в каких-то загадочных отношениях к царству фей и потом собиравший любопытных людей вокруг огромного старого дерева на холме Эрсильдон, где он прорицательствовал и между прочим предсказал шотландскому королю Альфреду III его неожиданную и случайную смерть. Вместе с тем эрсильдонский владелец был знаменит как поэт, и за ним осталось прозвище стихотворца, или, по-тогдашнему, рифмача - *Thomas the Rhymer*; конец его был загадочен: он пропал без вести, уйдя вслед за двумя белыми оленями, присланными за ним, как говорили, из царства фей. Через несколько веков одного из прямых потомков этого фантастического героя, певца и прорицателя, исчезнувшего в поэтическом царстве фей, судьба занесла в прозаическое царство московское. Около 1620 года "пришел с Литвы в город Белый из Шотской земли выходец знаменитый человек Юрий Андреевич Лермонт и просился на службу великого государя, и в Москве свою охотою крещен из кальвинской веры в благочестивую. И пожаловал его государь царь Михаил Федорович восемью деревнями и пустошами Галицкого уезда, Заблоцкой волости. И по указу великого государя договаривался с ним боярин князь И. Б. Черкасский, и приставлен он, Юрий, обучать рейтарскому строю новокрещеных немцев старого и нового выезда, равно и татар". От этого ротмистра Лермента в восьмом поколении происходит наш поэт, связанный и с рейтарским строем, подобно

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
этому своему предку XVII в., но гораздо более близкий по духу к древнему
своему предку, вещему и демоническому фоме Рифмачу, с его любовными
песнями, мрачными пред

278

сказаниями, загадочным двойственным существованием и роковым концом {3}.

Первая и основная особенность лермонтовского гения - страшная напряженность и сосредоточенность мысли на себе, на своем я, страшная сила личного чувства. Не ищите у Лермонтова той прямой открытости всему задушевному, которая так чарует в поэзии Пушкина. Пушкин когда и о себе говорит, то как будто о другом; Лермонтов когда и о другом говорит, то чувствуется, что его мысль и из бесконечной дали стремится вернуться к себе, в глубине занятая собою, обращается на себя. Нет надобности приводить этому примеры из произведений Лермонтова, потому что из них немного можно было бы найти таких, где бы этого не было. Ни у одного из русских поэтов нет такой силы личного сочувствия, как у Лермонтова. На Западе это не было бы отличительной чертой. Там не меньшую силу субъективности можно найти у Байрона, пожалуй, у Гейне, у Мюссэ. У наших же, где эта черта особенно ярко выражена, она есть подражание. Отличие же Лермонтова здесь в том, что он не был подражателем Байрона, а его младшим братом, и не из книг, а разве из общего происхождения получил это западное наследие, с которым ему тесно было в безличной русской среде. И не одною позой или праздной фантазией были чувства, выраженные им в раннем юношеском стихотворении - "Зачем я не птица, не ворон степной":

На запад, на запад помчался бы я,
Где цветут моих предков поля,
Где в замке пустом на туманных горах
Их забвенный покоится прах.

.....
Меж мной и холмами отчизны моей
Расстилаются волны морей.

Последний потомок отважных бойцов
Увядает средь чуждых снегов {4}.

Сильнейшее развитие личного начала есть условие для наибольшей сознательности жизненного содержания, но этим не дается само это содержание жизни, и при его отсутствии сильное я остается пустым. Оставаться совершенно пустым колossalное я Лермонтова не могло, потому что он был поэт божией милостью, и, следовательно, все им переживаемое превращалось в создания поэзии, давая новую пищу его я. А самым главным в этом жизненном материале лермонтовской поэзии, без сомнения, была личная любовь. Но любовные мотивы, решительно преобладавшие в произведениях Лермонтова, как видно из них же самих, лишь отчасти

279

занимали личное самочувствие поэта, притупляя остроту его эгоизма, смягчая его жестокость, но не наполняя всецело и не покрывая его я. Во всех любовных темах Лермонтова главный интерес принадлежит не любви и не любимому, а любящему я, - во всех его любовных произведениях остается нерастворенный осадок торжествующего, хотя бы и бессознательного, эгоизма. Я не говорю о тех только произведениях, где, как в "Демоне" и "Герое нашего времени", окончательное торжество эгоизма над неудачной попыткой любви есть намеренная тема. Но это торжество эгоизма чувствуется и там, где оно не имеется в виду, - чувствуется, что настоящая важность принадлежит здесь не любви и не тому, что она делает из поэта, а тому, что он из нее делает, как он к ней относится. Когда огромный глетчер освещается солнцем, то является, говорят, зрелище восхитительное.

Новая эта красота происходит не оттого, чтобы солнце делало что-нибудь
Страница 181

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
новое из глетчера,- оно ведь его и растопить не может,- а только оттого, что глетчер, оставаясь неизменно самим собою, делает из солнечных лучей, различным образом отражая и преломляя их своею поверхностью. Такова же и особенная прелесть лермонтовских любовных стихов,- прелесть оптическая, прелесть миража. Заметьте, что в этих произведениях почти никогда не выражается любовь в настоящем, в тот момент, когда она захватывает душу и наполняет жизнь. У Лермонтова она уже прошла, не владеет сердцем, и мы видим только чарующую игру воспоминания и воображения.

Расстались мы, но твой портрет-

Я на груди моей храню;

Как бледный призрак лучших лет

Он душу радует мою {5}.

Или другое:

Нет, не тебя так пылко я люблю,

Не для меня красы твоей блистанье,

Люблю в тебе лишь прошлое страданье

И молодость погибшую мою.

Когда порой я на тебя смотрю,

В твои глаза вникая долгим взором,

Таинственным я занят разговором,

Но не с тобой - я с сердцем говорю.

Я говорю с подругой юных дней,

В твоих чертах ищу черты другие,

В устах живых уста давно немые,

В глазах - огонь угаснувших очей {6}.

280

И там, где глагол любить является в настоящем времени, он служит только поводом для меланхолической рефлексии:

Мне грустно потому, что я тебя люблю,

И знаю, молодость цветущую твою... - и т. д. {7}

В одном чудесном стихотворении воображение поэта, обыкновенно занятое памятью прошлого, играет с возможностью будущей любви:

Из-под таинственной, холодной полумаски

Звучал мне голос твой отрадный, как мечта,

Светили мне твои пленительные глазки,

И улыбались лукавые уста.

.....
И создал я тогда в моем воображеньи

По легким признакам красавицу мою,

И с той поры бесплодное виденье

Любовь уже потому не могла быть для Лермонтова началом жизненного наполнения, что он любил главным образом лишь собственное любовное состояние, и понятно, что такая формальная любовь могла быть лишь _рамкой_, а не содержанием его _я_, которое оставалось одиноким и пустым. Это одиночество и пустынность напряженной и в себе сосредоточенной личной силы, не находящей себе достаточного удовлетворяющего ее применения, есть первая основная черта лермонтовской поэзии и жизни.

Вторая, тоже от западных его родичей унаследованная черта, - быть может, видоизмененный остаток шотландского двойного зрения - способность переступать в чувстве и созерцании через границы обычного порядка явлений и схватывать запредельную сторону жизни и жизненных отношений.

Эта вторая особенность Лермонтова была во внутренней зависимости от первой. Необычная сосредоточенность Лермонтова в себе давала его взгляду остроту и силу, чтобы иногда разрывать сеть внешней причинности и проникать в другую, более глубокую связь существующего, - это была способность пророческая; и если Лермонтов не был ни пророком в настоящем смысле этого слова, ни таким прорицателем, как его предок Фома Рифмач, то лишь потому, что он не давал этой способности никакого объективного применения. Он не был _занят_ ни мировыми историческими судьбами своего отечества, ни судьбою своих близких, а единственно только своею собственной судьбой, - и тут

281

он, конечно, был более пророк, чем кто-либо из поэтов. Далее я приведу несколько примеров того, как ясна была для Лермонтова его судьба, а теперь укажу лишь на одно удивительное стихотворение, в котором особенно ярко выступает своеобразная способность Лермонтова ко второму зрению, а именно знаменитое стихотворение "Сон" {9}. В нем необходимо, конечно, различать действительный факт, его вызвавший, и то, что прибавлено поэтом при передаче этого факта в стройной стихотворной форме, причем Лермонтов обыкновенно обнаруживал излишнюю уступчивость требованиям рифмы, но главное в этом стихотворении не могло быть придумано, так как оно оказывается "с подлинным верно". За несколько месяцев до роковой дуэли Лермонтов видел себя неподвижно лежащим на песке среди скал в горах Кавказа, с глубокою раной от пули в груди, и видящим в сонном видении близкую его сердцу, но отделенную тысячами верст женщину, видящую в сомнамбулическом состоянии его труп в той долине. - Тут из одного сна выходит, по крайней мере, три: 1) сон здорового Лермонтова, который видел себя самого смертельно раненным, - дело сравнительно обыкновенное, хотя, во всяком случае, это был сон в существенных чертах своих _вещий_, потому что через несколько месяцев после того, как это стихотворение было записано в тетради Лермонтова, поэт был действительно глубоко ранен пулею в грудь, действительно лежал на песке с открытой раной, и действительно уступы скал теснились кругом. 2) Но, видя умирающего Лермонтова, здоровый Лермонтов видел вместе с тем и то, что снится умирающему Лермонтову:

И снился мне сияющий огнями

Вечерний пир в родимой стороне...

Меж юных жен, увенчанных цветами,

Шел разговор веселый обо мне.

Это уже достойно удивления. Я думаю, немногим из вас случалось, видя кого-нибудь во сне, видеть вместе с тем и тот сон, который видится этому вашему сонному видению. Но таким сном (2) дело не оканчивается, а является сон (3):

Но, в разговор веселый не вступая,

Сидела там задумчива одна,

И в грустный сон душа ее младая

Бог знает чем была погружена.

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
И снилась ей долина Дагестана,

Знакомый труп лежал в долине той,
В его груди, дымясь, чернела рана,
И кровь лилась хладеющей струей.

282

Лермонтов видел, значит, не только сон своего сна, но и тот сон, который снился сну его сна - сновидение в кубе.

Во всяком случае остается факт, что Лермонтов не только предчувствовал свою роковую смерть, но и прямо видел ее заранее. А та удивительная фантасмагория, которой увековечено это видение в стихотворении "Сон", не имеет ничего подобного во всемирной поэзии и, я думаю, могла быть созданием только потомка вещего чародея и прорицателя, исчезнувшего в царстве фей. Одного этого стихотворения, конечно, достаточно, чтобы признать за Лермонтовым врожденный, через голову многих поколений переданный ему гений. Теперь нам остается посмотреть, как сам Лермонтов принял этот задаток великой судьбы и что он из него сделал.

В отроческих и ранних юношеских произведениях Лермонтова (которых сохранилось гораздо больше, чем зрелых), почти во всех или прямо высказывается или просвечивает решительное сознание, что он существо избранное и сильное, назначенное совершить что-то великое. В чем будет состоять и к чему относиться это великое, он еще не может и намекнуть. Но что он призван совершить его - несомненно. На семнадцатом году он говорит:

Я рожден, чтоб целый мир был зритель
Торжества иль гибели моей {10}.

Подобных этому заявлений у начинающего поэта не оберешься, и было бы слишком долго их приводить. Мы могли бы смеяться над самоуверенной заносчивостью мальчика, если бы он действительно не обнаружил несколько лет спустя чрезвычайных сил ума, воли и творчества. А так как он их обнаружил, то в этих ранних заявлениях о своем будущем величии мы должны признать не пустую претензию и не начало мании, а лишь верное самочувствие, или инстинкт самооценки, который дается всем избранным людям. Отличие Лермонтова здесь в том, что эта высокая самооценка уже от ранних лет связана у него с слишком низкой оценкой других, - всего света, оценкой, заранее составленной, выражавшей черту характера, а не результат какого-нибудь действительного опыта. В том же стихотворении, где достойным зрителем своей великой судьбы он признает только целый мир, сейчас же затем следует:

283

Что хвала иль гордый смех людей?
Души их певца не постигали,
Не могли души его любить,
Не могли понять его печали
И его восторгов разделить.

А в другом, также раннем, стихотворении сообщается, что жизнь научила поэта встречать невольно и повсюду "под гордой важностью лица - в мужчине глупого льстеца и в каждой женщине Иуду" {11}. Более замечательна другая черта. Так же часто, как заявления о своем величии и о своем презрении к человечеству, в ранних (а затем также и в позднейших) стихотворениях Лермонтова выражается его явственное предчувствие неизбежной и преждевременной гибели. Некоторая ходульность в обозначении этой гибели могла бы тоже, по крайней мере в ранних стихотворениях, вызвать улыбку, но и охота и право смеяться

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
совершенно исчезают при мысли, что ведь поэт и в самом _деле_
преждевременно погиб. Ясно, что эти две черты лермонтовского самочувствия
прямо вытекают из тех особенностей его гения, о которых я раньше говорил,
т. е. его мизантропия – из сосредоточенности и напряженности в нем личного
начала, а его постоянное и верное предчувствие гибели – из его второго
зрения.

С ранних лет ощущив в себе силу гения, Лермонтов принял ее только как право, а не как обязанность, как привилегию, а не как службу. Он думал, что его гениальность уполномочила его требовать от людей и от бога всего, что ему хочется, не обязывая его относительно их ни к чему. Но пусть бог и люди великодушно не настаивают на обязанности гениального человека. Ведь богу ничего не нужно, а люди должны быть благодарны и за те искры, которые летят с костра, на котором сжигает себя гениальный человек. Пусть бог на небе и люди на земле отпустят ему его медленное самоубийство. Но разве легче от этого третьему обиженному, – самому гению, который попусту сжег и закопал в прах и тлен то, что было ему дано для великого подъема, как могучему вождю людей, на пути к сверхчеловечеству? Но как же он мог кого-нибудь поднимать, когда сам не поднялся? А поднимается человек только по трупам – по трупам убитых им врагов, т. е. злых личных страстей. Можно ли этого требовать? Не от всякого и требуется. Судьба или высший разум ставят дилему: если ты считаешь за собою сверхчеловеческое призвание, исполни необходи

284

мое для него условие, подними действительность, поборовши в себе то злое начало, которое тянет тебя вниз. А если ты чувствуешь, что оно настолько сильнее тебя, что ты даже бороться с ним отказываешься, то признай свое бессилие, признай себя простым смертным, хотя и гениально одаренным. Вот, кажется, безусловно разумная и справедливая дилемма: или стань действительно выше других, или будь скромным. А кто не желает принять этой дилеммы и безумно восстает против таких азбучных требований разума, как против какой-то обиды, – кто не может подняться и не хочет смириться, – тот сам себя обрекает на неизбежную гибель.

Сознавая в себе от ранних лет гениальную натуру, задаток сверхчеловека, Лермонтов также рано сознавал и то злое начало, с которым он должен бороться, но которому скоро удалось, вместо борьбы, вызвать поэта лишь на идеализацию его.

Четырнадцатилетний Лермонтов еще не умеет, как то следует, идеализировать своего демона, и дает ему такое простое и точное описание:

Он недоверчивость вселяет,

Он презрел чистую любовь,

Он все моленья отвергает,

Он равнодушно видит кровь.

И звук высоких ощущений

Он давит голосом страстей,

И муза кротких вдохновений

Страшится неземных очей {12}.

Через год Лермонтов говорит о том же:

Две жизни в нас до гроба есть.

Есть грозный дух: он чужд ему;

Любовь, надежда, скорбь и месть

Все, все подвержено ему.

Он основал жилище там,

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Где можем память сохранять,

И предвещает гибель нам,
Когда уж поздно избежать.
Терзать и мучить любит он;
В его речах нередко ложь...
Он точит жизнь, как скорпион.

_Ему поверил я...{13}

Еще через год Лермонтов, уже юноша, опять возвращается к характеристике своего демона:

К ничтожным, хладным толкам света

Привык прислушиваться он,
Ему смешны слова привета,

285

И всякий верящий смешон.

Он чужд любви и сожаленья,
Живет он пищею земной,
Глотает жадно дым сраженья
И пар от крови пролитой.

.....

И гордый демон не отстанет,
Пока живу я, от меня,
И ум мой озарять он станет
Лучом небесного огня.
Покажет образ совершенства
И вдруг отнимет навсегда,
И, дав предчувствие блаженства,
Не даст мне счастья никогда{14}.

Все эти описания лермонтовского демона можно бы принять за пустые фантазии талантливого мальчика, если бы не было известно из биографии поэта, что уже с детства, рядом с самыми симпатичными проявлениями души чувствительной и нежной, обнаруживались у него резкие черты злобы, прямо демонической. Один из панегиристов Лермонтова, более всех, кажется, им занимавшийся, сообщает, что "склонность к разрушению развивалась в нем необыкновенно. В саду он то и дело ломал кусты и срывал лучшие цветы, усыпая ими дорожки. Он с истинным удовольствием давил несчастную муху и радовался, когда брошенный камень сбивал с ног бедную курицу". Было бы, конечно, нелепо ставить все это в вину балованному мальчику. Я бы и не упомянул даже об этой черте, если бы мы не знали из собственного интимного письма поэта, что взрослый Лермонтов совершенно так же вел себя относительно человеческого существования, особенно женского, как Лермонтов-ребенок – относительно цветов, мух и куриц. И тут опять значительно не то, что Лермонтов разрушал спокойствие и честь светских барынь, – это может происходить и нечаянно, – а то, что он находил особенное наслаждение и радость в этом совершенно негодном деле, так же как он ребенком с истинным удовольствием давил мух и радовался зашибленной камнем курице.

Кто из больших и малых не делает волей и неволей всякого зла и цветам, и мухам, и курицам, и людям? Но все, я думаю, согласны, что услаждаться деланием зла есть уже черта нечеловеческая. Это демоническое сладострастие не оставляло Лермонтова до горького конца; ведь и последняя трагедия произошла оттого, что удовольствие Лермонтова терзать слабые создания встретило, вместо барышни, бравого майора Мартынова, как роковое орудие

286

кары для человека, который должен и мог бы быть солью земли, но стал солью, так жалко и постыдно обувавшую. Осталось от Лермонтова несколько истинных жемчужин его поэзии, попирать которые могут только известные животные; осталось, к несчастью, и в произведениях его слишком много сродного этим самым животным, а главное, осталась обувавшая соль его гения, которая, по слову Евангелия, дана на попранье людям. Могут и должны люди попирать обувавшую соль этого демонизма с презрением и враждою, конечно, не к погившему гению, а к погубившему его началу человекоубийственной лжи. Скоро это злое начало приняло в жизни Лермонтова еще другое направление. С годами демон кровожадности слабеет, отдавая большую часть своей силы своему брату _демону нечистоты_. Слишком рано и слишком беспрепятственно овладел этот второй демон душою несчастного поэта и слишком много следов оставил в его произведениях. И когда, в одну из минут просветления, он говорит о "пороках юности преступной" {15}, то это выражение - увы! - слишком близко к действительности. Я умолчу о биографических фактах, - скажу лишь несколько слов о стихотворных произведениях, внушенных этим демоном нечистоты. Во-первых, их слишком много, во-вторых, они слишком длинны: самое невозможное из них есть большая (хотя и неоконченная) поэма, писанная автором уже совершеннолетним, и, в-третьих, и главное - характер этих писаний производит какое-то удручающее впечатление полным отсутствием той легкой игривости и грации, какими отличаются, например, подлинные произведения Пушкина в этой области. Так как я совершенно не могу подтвердить здесь свое суждение цитатами, то поясню его сравнением. В один пасмурный день в деревне я видел ласточку, летающую над большой болотной лужей. Что-то ее привлекало к этой темной влаге, она совсем опускалась к ней, и казалось, вот-вот погрузится в нее или хоть зачерпнет крылом. Но ничуть не бывало: каждый раз, не коснувшись поверхности, ласточка вдруг поднималась вверх и щебетала что-то невинное. Вот вам впечатление, производимое этими шутками у Пушкина: видишь тинистую лужу, видишь ласточку и видишь, что прочной связи нет между ними, - тогда как порнографическая муза Лермонтова - словно лягушка, погрузившаяся и прочно засевшая в тине.

Или, - чтобы сказать ближе к делу, - Пушкина в этом случае вдохновлял какой-то игривый бесенок, какой-то шутник-гном, тогда как пером Лермонтова водил настоящий демон нечистоты.

287

Сознавал ли Лермонтов, что пути, на которые толкали его эти демоны, были путями ложными и пагубными? И в стихах, и в письмах его много раз высказывалось это сознание. Но сделать действительное усилие, чтобы высвободиться из-под власти двух первых демонов, мешал третий и самый могучий - демон гордости; он нащептывал: "да, это дурно, да, это низко, но ты гений, ты выше простых смертных, тебе все позволено, ты имеешь от рождения привилегию оставаться высоким и в низости..." Глубоко и искренно тяготился Лермонтов своим падением и порывался к добру и чистоте. Но мы не найдем ни одного указания, чтобы он когда-нибудь тяготился взаправду своею гордостью и обращался к смирению. И демон гордости, как всегда хозяин его внутреннего дома, мешал ему действительно побороть и изгнать двух младших демонов, и когда хотел - снова и снова отворял им дверь...

Говоря о гордости и смирении, я разумею нечто вполне реальное и утилитарное. Гордость потому есть коренное зло или главный из смертных грехов, по богословской терминологии, что это есть такое состояние души, которое делает всякое совершенствование или возвышение невозможным, потому что гордость ведь в том и заключается, чтобы считать себя ни в чем не нуждающимся, чем исключается всякая мысль о совершенствовании и подъеме. Смирение потому и есть основная для человека добродетель, что признание своей недостаточности прямо обуславливает потребность и усилие совершенствования. Другими словами, гордость для человека есть первое условие, чтобы никогда не сделаться сверхчеловеком, и смирение есть первое

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
условие, чтобы сделаться сверхчеловеком; поэтому сказать, что _гениальность обязывает к смирению_,- значит только сказать, что гениальность обязывает становиться сверхчеловеком. Лермонтову тем легче было исполнить эту обязанность, что он, при всем своем демонизме, всегда верил в то, что выше и лучше его самого, а в иные светлые минуты даже ощущал над собою это лучшее:

И в небесах я вижу бога... {16}

Это религиозное чувство, часто засыпавшее в Лермонтове, никогда в нем не умирало и, когда пробуждалось,- боролось с его демонизмом. Оно не исчезло и тогда, когда он дал победу злому началу, но приняло странную форму. Уже во многих ранних своих произведениях Лермонтов говорит о высшей воле с какою-то личною обидою. Он как

288

будто считает ее виноватою против него, глубоко его оскорбившею.

В этих ранних произведениях тяжба поэта с богом имеет, конечно, ребяческий характер. Лермонтов упрекает творца за то, что он сделал его некрасивым; за то, что люди и особенно кузины и другие барышни не понимают и не ценят его, и т. п. Но когда, в более зрелом возрасте, после нескольких бесплодных порывов к возрождению,- бесплодных потому, что с детских лет заведенное в его душе демоническое хозяйство не могло быть разрушено несколькими субъективными усилиями, а требовало сложного и долгого подвига, на который Лермонтов не был согласен,- итак, когда, после нескольких бесплодных попыток переменить жизненный путь, Лермонтов перестает бороться против демонических сил и находит окончательное решение жизненного вопроса в _фатализме_ ("Герой нашего времени" и "Валерик"),- он вместе с тем дает новую, ухищренную форму своему прежнему, детскому чувству обиды против провидения,- именно в последней обработке поэмы "демон" {17}. Герой этой поэмы есть тот же главный демон самого Лермонтова - демон гордости, которого мы видели в ранних стихотворениях. Но в поэме он ужасно идеализирован (особенно в последней ее обработке), хотя, несмотря на эту идеализацию, образ его действий, если судить беспристрастно, скорее приличествует юному гусарскому корнету, нежели особе такого высокого чина и таких древних лет. Несмотря на великолепие стихов и на значительность замысла, говорить с полной серьезностью о содержании поэмы "Демон" для меня так же невозможно, как вернуться в пятый или шестой класс гимназии. Но сказать о нем все-таки нужно. Итак,- идеализированный демон вовсе уж не тот дух зла, который такими правдивыми чертами был описан в прежних стихотворениях гениального отрока. Демон поэмы не только прекрасен, он до чрезвычайности благороден и, в сущности, вовсе не зол. Когда-то у него произошло какое-то загадочное недоразумение с всевышним, но он тяготится этой размолвкою и желает примирения. Случай к этому представляется, когда демон видит прекрасную грузинскую княжну Тамару, пляшущую и поющую на кровле родительского дома. По Библии и по здравой логике,- что одно и то же,- увлечение сынов божиих красотою дочерей человеческих есть падение, но для демонизма это есть начало возрождения. Однако возрождения не происходит. После смерти жениха и удаления Тамары в монастырь демон входит к ней, готовый к добру, но, видя ангела, охраняющего

289

ее невинность, воспламеняется ревностью, соблазняет ее, убивает и, не успевши завладеть ее душою, объявляет, что он хотел стать на другой путь, но что ему не дали, и с сознанием своего полного права становится уже настоящим демоном.

Такое решение вопроса находится в слишком явном противоречии с логикою, чтобы стоило его опровергать.

Итак, натянутое и ухищренное оправдание демонизма в теории, а для практики принцип фатализма,- вот к чему пришел Лермонтов перед своим трагическим концом. Фатализм сам по себе, конечно, не дурен. Если, например, человек воображает, что он роковым образом должен быть добрым, и делает добро, и неуклонно следует этому року, то чего же лучше? К несчастью, фатализм Лермонтова покрывал только его дурные пути.

Образ его действий за последнее время я рассказывать не стану: скажу
Страница 188

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
только, что он был не лучше прежнего. Между тем полного убеждения в истине фатализма у Лермонтова не было, и он, кажется, захотел убедиться в нем на опыте. Все подробности его поведения, приведшего к последней дуэли, и во время самой этой дуэли, носят черты фаталистического эксперимента.

На дуэли Лермонтов вел себя с благородством, - он не стрелял в своего противника, - но по существу это был безумный вызов высшим силам, который во всяком случае не мог иметь хорошего исхода. В страшную грозу, при блеске молнии и раскатах грома, перешла эта бурная душа в иную область бытия.

Конец Лермонтова и им самим и нами называется гибелью. Выражаясь так, мы не представляем себе, конечно, этой гибели ни как театрального провала в какую-то преисподнюю, где пляшут черти, ни как совершенного прекращения бытия. О природе загробного существования мы ничего достоверного не знаем, а потому и говорить об этом не будем. Но есть нравственный закон, столь же непреложный, как закон математический, и он не допускает, чтобы человек испытывал после смерти превращения произвольные, не обоснованные его предыдущим нравственным подвигом. Если жизненный путь продолжается и за гробом, то, очевидно, он может продолжаться только в той степени, на которой остановился. А мы знаем, что как высока была степень прирожденной гениальности Лермонтова, так же низка была его степень нравственного усовершенствования. Лермонтов ушел с бременем неисполненного долга - развить тот задаток великолепный и божественный, который он

290

получил даром. Он был призван сообщить нам, своим потомкам, могучее движение вперед и вверх к истинному сверхчеловечеству, - но этого мы от него не получили. Мы можем об этом скорбеть, но то, что Лермонтов не исполнил своей обязанности к нам, - конечно, не снимает с нас нашей обязанности к нему. Прежде чем быть обязанным относительно наших современников - братьев по человечеству и относительно потомства - наших детей по человечеству, мы имеем обязанность к отшедшим - нашим отцам в человечестве, - и, конечно, Лермонтов принадлежит к таким отцам для современного поколения. Так не требует ли от нас обязанность сыновней любви и почтения восхвалять Лермонтова за все то многое в нем, что достойно хвалы, и молчать о другом? Я не так понимаю сыновнюю любовь и ее обязанность. Представьте себе, что видим живого отца, исполненного заслуг и высоких дарований, но в настоящую минуту обремененного какой-нибудь тяжестью душевною или физическою, все равно. Обязанность сыновней любви к такому отцу, конечно, потребует от нас не того, чтобы мы восхваляли его заслуги и дарования, а того, чтобы мы помогли ему снять с себя или, по крайней мере, облегчили удручающее его бремя. Разве не то же и относительно отцов умерших? Облегчить бремя их души - вот наша обязанность. И у Лермонтова с бременем неисполненного призыва связано еще другое тяжкое бремя, облегчить которое мы можем и должны. Облекая в красоту формы ложные мысли и чувства, он делал и делает еще их привлекательными для неопытных, и если хоть один из малых сих вовлечен им на ложный путь, то сознание этого, теперь уже невольного и ясного для него, греха должно тяжелым камнем лежать на душе его. Обличая ложь воспетого им демонизма, только останавливающего людей на пути к их истинной сверхчеловеческой цели, мы во всяком случае подрываем эту ложь и уменьшаем хоть сколько-нибудь тяжесть, лежащую на этой великой душе. Вы мне поверите, что прежде чем говорить публично о Лермонтове, я подумал, чего требует от меня любовь к умершему, какой взгляд должен я высказать на его земную судьбу, - и я знаю, что тут, как и везде, один только взгляд, основанный на вечной правде, в самом деле нужен и современным, и будущим поколениям, а прежде всего самому отшедшему.

291

КОММЕНТАРИИ: ЛЕРМОНТОВ

Впервые напечатана в "Вестнике Европы", 1901, № 2, с. 441-459.

Статья о Лермонтове была задумана Соловьевым в 1898 г. как продолжение начатых "Судьбой Пушкина" размышлений об "истинном поэте". Он писал Стасюлевичу, что начал для "Вестника Европы" статью "о Лермонтове, которая должна раздразнить гусей разной масти еще больше, чем "Судьба Пушкина". Но я думаю, что Вы ничего против этого не имеете" (Письма, 4, 75). В 1899 г. Соловьев прочитал в Петербурге публичную лекцию, в основу которой лег текст статьи.

{1} В статье "Идея сверхчеловека" (1899) Соловьев писал: "Людьми, особенно чуткими к общим требованиям исторической минуты, не владеет одна, а по крайней мере три очередные или, если угодно, модные идеи: экономический материализм, отвлеченный морализм и демонизм "сверхчеловека". Из этих трех идей, связанных с тремя крупными именами (Карла Маркса, Льва Толстого, Фридриха Ницше), первая обращена на текущее и наущное, вторая захватывает отчасти и завтрашний день, а третья связана с тем, что выступит послезавтра и далее. Я считаю ее самой интересной из трех" (IX, 266). Отмечая "дурную сторону ницшеанства", он признавал, что "во всяком случае _есть сверхчеловеческий путь_, которым шли, идут и будут идти многие на благо всех, и, конечно, важнейший наш жизненный интерес - в том, чтобы побольше людей на этот путь вступали, прямее и дальше по нем проходили, потому что на конце его - полная и решительная победа над смертью" (IX, 272). В статье о Лермонтове эта мысль развита с возможной полнотой.

{2} Стока из пушкинского "Пророка".

{3} Соловьев излагает легендарную родословную Лермонтовых.

{4} Строки из стихотворения "Желание" (1831).

{5} Первая строфа стихотворения "Расстались мы, но твой портрет..." (1837).

{6} Соловьев полностью приводит стихотворение "Нет, не тебя так пылко я люблю..." (1841).

{7} Начало стихотворения "Отчего" (1840).

{8} Первая и третья строфы стихотворения "Из-под таинственной, холодной полумаски..." (1841).

{9} "Сон", цитируемый ниже, написан в 1841 г.

{10} Строки стихотворения "К*" ("Мы случайно сведены судьбою..."), 1832.

405

{11} Из стихотворения "Что толку жить!.. Без приключений..." (1832).

{12} Конец стихотворения "Мой демон" (1829).

{13} Из стихотворения "На жизнь надеяться страшась... (Отрывок)" (1830).

{14} Соловьев неточно цитирует вторую и четвертую строфы стихотворения "Мой демон" ("Собранье зол его стихия..."), 1830-1831.

{15} Из стихотворения "Когда надежде недоступный..." (1834-1835).

{16} Из стихотворения "Когда волнуется желтеющая нива..." (1837).

{17} Последняя, восьмая обработка "демона" относится к 1841 г.

Поэзия Ф И Тютчева

Владимир Сергеевич Соловьев

Поэзия Ф.И.Тютчева

Говорят, что в недрах русской земли скрывается много естественных богатств, которые остаются без употребления и даже без описания. Это может, конечно, объясняться огромным объемом страны. Более удивительно, что в небольшой области русской литературы тоже существуют такие сокровища, которыми мы не пользуемся и которых почти не знаем. Самым драгоценным из этих кладов я считаю лирическую поэзию Тютчева. Этого несравненного поэта, которым гордилась бы любая литература, хорошо знают у нас только немногочисленные любители поэзии, огромному же большинству даже "образованного" общества он известен только по имени да по двум-трем (далеко не самым лучшим) стихотворениям, помещаемым в хрестоматиях или положенным на музыку. Я часто слыхал восторженные отзывы о стихотворениях Тютчева от Льва Толстого и от Фета*; Тургенев в своей краткой рецензии называет Тютчева "ве_____".

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
фет выразил свой восторг в послании к "обожаемому поэту" ("Вечерние огни",
вып. I) и в надписи - "На книжке стихотворений Тютчева" ("Вечерние огни",
вып. II):

Вот наш патент на благородство,
Его вручает нам поэт:
Здесь духа мощного господство,
Здесь утонченной жизни цвет.
В сыртах не встретишь Геликона,
На льдинах лавр не расцветет,
У чукчей нет Анакреона,
К зырянам Тютчев не придет.
Но Муза, правду соблюдая,
Глядит: а на весах у ней
Вот эта книжка небольшая
Томов премногих тяжелей.

105

ликим поэтом"; Ап. Григорьев упоминает о нем, говоря о наших поэтах, особенно отзывчивых на жизнь природы; но специального разбора или объяснения его поэзии до сих пор не существует в нашей литературе, хотя прошло уже более двадцати лет с его смерти {1}. Превосходное сочинение И. С. Аксакова есть главным образом биография и характеристика личности и славянофильских взглядов поэта {2}. В настоящем очерке я беру поэзию Тютчева по существу, чтобы показать ее внутренний смысл и значение.

I

Прежде всего бросается в глаза при знакомстве с нашим поэтомозвучие его вдохновения с жизнью природы, - совершенное воспроизведение им физических явлений как состояний и действий живой души. Конечно, все действительные поэты и художники чувствуют жизнь природы и представляют ее в одушевленных образах; но преимущество Тютчева перед многими из них состоит в том, что он вполне и сознательно _верил_ в то, что чувствовал, - ощущаемую им живую красоту принимал и понимал не как свою фантазию, а как _истину_. Эта вера и это понимание стали редки в новое время, - мы не находим их даже, например, у такого сильного поэта и тонкого мыслителя, как Шиллер. В своем знаменитом стихотворении "Боги Греции" он предполагает, что природа только _была_ жива и прекрасна в _воображении_ древних, а на самом деле она лишь мертвая машина. Смерть греческой мифологии была для Шиллера смертью самой природы; вместе с прекрасными богами Греции исчезла и душа мира, оставив только свою тень в художественных памятниках классической древности:

Светлый мир, о, где ты? Как чудесен
Был природы радостный расцвет.
Ах! в стране одной волшебных песен
Не утрачен сказочный твой след.
Загрустя, повымерли долины,
Взор нигде не встретит божества.
Ах! от той живительной картины
Только тень видна едва.

Злым дыханьем севера снесен...

.....
Я ищу по небу, грусти полный,
Но тебя, Силена, нет как нет;
Оглашаю рощи, кличу в волны
Безответен мой привет.

Без сознанья радость расточая,

106

Не провидя блеска своего,
Над собой вождя не сознавая,
Не деля восторга моего
Без любви к виновнику творенья,
Как часы – не оживлен и сир,
Рабски лишь закону тяготенья
Обезбожен служит мир...

.....
Праздно в мир искусства скрылись боги,

Бесполезны для вселенной той,
Что, у них не требуя подмоги,
Связь нашла в себе самой.

да, они укрылись в область сказки,

Унося туда же за собой

Все величье, всю красу, все краски,

А у нас остался звук пустой*.

Тютчев не верил в эту смерть природы, и ее красота не была для него пустым звуком. Ему не приходилось _искать_ душу мира и безответно приветствовать отсутствующую: она сама сходилась с ним и в блеске молодой весны, и в "светlostи осенних вечеров"; в сверканье пламенных зарниц и в шуме ночного моря она сама намекала ему на свои роковые тайны. И без греческой мифологии мир был полон для него и величья, и красы, и красок. В этом нет еще ничего особенного. Живое отношение к природе есть существенный признак поэзии вообще, отличающий ее от двоякой прозы: житейско-практической и отвлеченно-научной. В минуты настоящего поэтического вдохновения и Шиллер забывал, конечно, о часовом механизме и о законе тяготения – и отдавался непосредственным впечатлениям природной красоты. Но у Тютчева, как я уже заметил, важно и дорого то, что он не только _чувствовал_, а и _мыслил_, как поэт, – что он был _убежден_ в объективной истине поэтического воззрения на природу. Как бы прямым ответом на шиллеровский похоронный гимн мнимо умершей природе служит стихотворение Тютчева:

Не то, что мните вы, природа

Не слепок, не бездушный лик:

В ней _есть_ душа, в ней _есть_ свобода,

В ней есть любовь, в ней есть язык.

Вовсе не высшее знание, а только собственная слепота и глухота заставляют людей отрицать внутреннюю жизнь природы:

Они не видят и не слышат,
живут в сем мире, как в потьмах,
для них и солнца, знать, не дышат,

И жизни нет в морских волнах, _____ * "Боги Греции" Шиллера, в переводе фета ("Вечерние огни", вып. I)3.

107

Лучи к ним в душу не сходили,
Весна в груди их не цвела,
При них леса не говорили,
И ночь в звездах нема была;
И языками неземными
Волнуя реки и леса,
В ночи не совещалась с ними
В беседе дружеской гроза...{4}

II

Кто же прав из двух поэтов? Есть жизнь и душа в природе или нет? Или, может быть, существуют две истины: одна для поэзии, а другая - для науки? Но наука тут ни при чем; она не отвечает за те ложные выводы, которые делаются из ее достоверных данных в силу одностороннего направления мысли, возобладавшего в известную эпоху. Наука никогда не доказывала - да по существу дела и не может доказывать, что мир есть только механизм, что природа есть только мертвое вещество. Различные науки исследуют природу по частям и находят между этими частями механическую связь; но такой естественной науки, которая исследовала бы вселенную в ее единстве и целости, вовсе не существует, а логика, обязательная и для наук, не позволяет от анализа частей и их внешней частичной связи делать окончательное заключение о всеобщем характере или смысле целого. Ведь и в теле живого человека все его части и частицы связаны между собою механически, - это не мешает ему, однако, быть одушевленным существом. Никто не решится утверждать, что механическое устройство и действие скелета, сосудистой, мускульной и нервной систем, изучаемое точными науками анатомией и физиологией, - исчерпывают собою весь истинный смысл человеческого существа и существования; напротив, каждый согласится, что весь этот механизм координированных частей имеет смысл только как орудие или средство выражения и осуществления внутренней жизни или души человека*. Точно так же и механизм всей природы есть только слаженная совокупность для проявления и развития всемирной жизни. Точное изучение механизма в высшей степени важно: оно дает человеку возможность в известной мере управлять естественными явлениями, пользоваться ими для своих целей. Но ни теоретический принцип, ни практическая польза такого изучения не составляют еще достаточного основания, чтобы видеть здесь всю истину о природе; это, в сущности, было бы так же _____ * Об отношении жизни к материальной организации тела - см. превосходные рассуждения Клода Вернера в его "Общей физиологии" {5}.

108

странны, как если бы кто-нибудь стал утверждать, что для полного и окончательного познания человека нужно только вскрыть и препарировать его труп.

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Против нашего заключения об одушевленности человеческого тела к одушевленности тела всемирного нельзя приводить то соображение, что живого человека мы действительно видим как замкнутое целое в некотором ощущительном единстве, – природу же воспринимаем всегда лишь по частям. Ясно, что это различие зависит не от существа дела, а от причины совершенно условной – от относительных размеров того и другого предмета. Для микроскопических глаз муhi вовсе не существует целое гармоническое очертание человека или человеческого лица с его выражением, да и для нашего собственного глаза самое прекрасное и одушевленное лицо превратилось бы при микроскопическом исследовании в бесформенную массу грубых тканей и клеток, механически нагроможденных безо всякой законченности и единства. Однако, когда я смотрю на это лицо, как на живое, узнаю в его очертаниях и изменениях следы внутреннего опыта и выражение мыслей, чувств и желаний, вижу через него душу и судьбу этого человека, то я, конечно, вижу несравненно _больше_, чем видит в нем самая наблюдательная муха, и узнаю о нем более полную истину, чем ту, которую мог бы узнать при помощи микроскопа. Никак не те волокна и клетки, а именно большее, содержательное и единое, что я вижу живым взглядом, – оно-то и есть _истина_ или подлинный _смысл_ этого человеческого существа, а то все – только материал, в котором воплощается, посредством которого выражается эта истина или этот смысл.

Как телесная видимость человека, сверх анатомических и физиологических фактов, говорит нам еще своими знаками о его внутренней жизни или душе, так точно и явления всей природы, каков бы ни был их _механический состав_, говорят нам в своей живой действительности о жизни и душе великого мира. Ни логика, ни сама естественная наука, не позволяют нам рассуждать иначе и противопоставлять человека миру как живое мертвому. Для взгляда исключительно аналитического – в самом человеке нет живого и целого существа, а только механическая совокупность материальных частиц; для взгляда же, направленного на полную истину, а не на одну только ее сторону, есть жизнь и во внешней природе. Последовательная мысль должна выбирать между двумя положениями: или ни в чем, даже в человеке, даже в нас самих, нет одушевленной жизни, или – она есть во всей природе, различаясь только по

109

степеням и формам. Ибо нет никакой возможности, оставаясь на научной почве, _отделить_ человека в этом отношении от остального мира. Свою телесную организацией, которой обусловлено развитие его внутренней жизни, человек принадлежит к животному царству, а животных никак нельзя выделить из прочей природы и признать их исключительными носителями жизни. На самом деле животное царство неразрывно связано с растительным, имея с ним первоначально одну общую основу органического бытия, до сих пор еще представляемую такими организмами, которых нельзя отнести ни к животным, ни к растениям. А целый органический мир, при всем своем формальном _отличии_, _нераздельно_ связан, однако, и по составу, и по происхождению, с миром неорганическим. Утверждать безусловную грань между этими двумя мирами так же, в сущности, неосновательно и противно духу науки, как если бы мы признали безусловную разнородность между твердым скелетом имягкими тканями человеческого тела.

Нет во всей вселенной такой пограничной черты, которая делила бы ее на совершенно особенные, не связанные между собою области бытия; повсюду существуют переходные, промежуточные формы, или остатки таких форм, и весь видимый мир не есть собрание деланных вещей, а продолжающееся развитие или рост единого живого существа.

III

Глубокое и сознательное убеждение в действительной, а не воображаемой только одушевленности природы избавляло нашего поэта от того раздвоения между мыслию и чувством, которым с прошлого века и до последнего времени страдает большинство художников и поэтов. Простодушно принимая механическое мировоззрение за всеначальное и единственное научное, а потому несомненное, веря ему на слово, эти служители красоты _не верят в свое дело_. Как художники, они передают нам жизнь и душу природы, но при этом в уме своем убеждены, что она безжизненна и бездушна, что их чувство и вдохновение их обманывают, – что красота есть субъективная иллюзия. А на самом деле иллюзия только в том, что отражение ходячих мнений на поверхности их сознания принимается ими за нечто более достоверное, чем та истина, которая

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org открывается в глубине их собственного поэтического чувства.

Понятно, что при таком неверии самих поэтов в свое дело простые смертные приучаются смотреть на поэзию (и на художественную красоту вообще) как на праздный

110

вымысел, и про всякую идею, возвышающуюся над житейскою плоскостью, говорят: "Это только поэзия!" - разумея: "Это вздор и пустяки!" И кто же, в самом деле, станет придавать серьезное значение тому божеству, в котором сами жрецы видят только приятный вымысел?

Поэты, не верущие в поэзию, у которых ум противоречит вдохновению и которые думают, что истина есть только одна механика,- такие поэты или должны быть неискренни, или же, отдаваясь поэтическому чувству, должны воздерживаться от всякой мысли, что не всегда возможно и не всегда полезно; когда же они начинают рассуждать, у них выходит отвлеченная и мертвая дидактика, вовсе не нуждающаяся в "языке богов". Тютчев был избавлен от такого печального положения. Его ум был вполне согласен с вдохновением, поэзия его была полна сознанной мысли, а его мысли находили себе только поэтическое, т. е. одушевленное и законченное, выражение.

дело поэзии, как и искусства вообще,- не в том, чтобы "украшать действительность приятными вымыслами живого воображения", как говорилось в -старинных этикетах, а в том, чтобы воплощать в _ощущительных_ образах тот самый высший _смысл_ жизни, которому философ дает определение в разумных понятиях, который проповедуется моралистом и осуществляется историческим деятелем, как идея добра. Художественному чувству непосредственно открывается в форме ощущительной красоты то же совершенное содержание бытия, которое философией добывается как истины мышления, а в нравственной деятельности дает о себе знать как безусловное требование совести и долга. Это только различные стороны или сферы проявления одного и того же; между ними нельзя провести разделения, и еще менее могут они противоречить друг другу. Если вселенная имеет смысл, то двух противоречащих друг другу истин поэтической и научной так же не может быть, как и двух исключающих друг друга "высших благ" или целей существования. Следовательно, прав был наш поэт, когда прекрасное он сознательно принимал и утверждал не как вымысел, а как предметную истину, и, чувствуя жизнь природы и душу мира, был убежден в действительности того, что чувствовал.

IV

Убеждение в истинности поэтического воззрения на природу и вытекающая отсюда цельность творчества, гармония между мыслью и чувством, вдохновением и сознанием со

111

ставляет преимущество Тютчева даже перед таким значительным поэтом-мыслителем, как Шиллер; но, разумеется, это не есть _исключительное_ преимущество нашего поэта или специфическая особенность его поэзии. И в новой литературе не все поэты так доверчиво, как Шиллер, приняли механическое мировоззрение, так легко усвоили дуализм Картезия или субъективизм Канта. Многие продолжали и продолжают сознательно верить в действительность жизни и красоты, не видя в этом никакого противоречия с маятником Галилея или законом тяготения Ньютона. Между великими европейскими именами достаточно назвать Шелли в Англии и особенно Гете в Германии. Гете, который был не только поэт и мыслитель, но и великий естествоиспытатель, положивший начало двум интереснейшим наукам - сравнительной анатомии животных и морфологии растений,- лучше, чем кто-либо другой, мог видеть всю недостаточность исключительно механического объяснения вселенной, и в целом ряде великолепных стихотворений, под заглавием "Gott und Welt" {6}, он прославляет душу мира и жизнь природы.

Конечно, Тютчев не рисовал таких грандиозных картин мировой жизни в целом ходе ее развития, какую мы находим у Гете, например, в стихотворении: "Vertheilet euch durch alle Regionen..." {7}. Но и сам Гете не захватывал, быть может, так глубоко, как наш поэт, _темный корень_ мирового бытия, не чувствовал так сильно и не сознавал так ясно ту _тайную основу всякой жизни_, - природной и человеческой,- основу, на которой изждется и смысл

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org космического процесса, и судьба человеческой души, и вся история человечества. Здесь Тютчев действительно является вполне своеобразным и если не единственным, то, наверное, самым сильным во всей поэтической литературе. В этом пункте - ключ ко всей его поэзии, источник ее содержательности и оригинальной прелести.

"Олимпиец" Гете обнимал своим орлиным взглядом величие и красоту живой вселенной. Он знал, конечно, что этот светлый, дневной мир не есть первоначальное, что под ним скрыто совсем другое и страшное, но он не хотел останавливаться на этой мысли, чтобы не смущать своего олимпийского спокойствия. Но при таком одностороннем взгляде смысл вселенной не может быть раскрыт во всей своей глубине и полноте. Наш поэт одинаково чуток к обеим сторонам действительности; он никогда не забывает, что весь этот светлый, дневной облик живой природы, который он так умеет чувствовать и изображать, есть пока лишь "злато

112

тканый покров", расцвеченная и позолоченная вершина, а не основа мироздания:

На мир таинственный духов,
Над этой бездной безымянной
Покров наброшен златотканый
Высокой волею богов.

День - сей блистательный покров
День - земнородных оживленье,
Души болящей исцеленье.
друг человеков и богов!

Но меркнет день, настала ночь,
Пришла - и с мира рокового
Ткань благодатную покрова,
Собрав, отбрасывает прочь.
И бездна нам обнажена,
С своими страхами и мглами,
И нет препяд меж ей и нами:

Вот отчего нам ночь страшна {8}.

"день" и "ночь", конечно, только видимые символы двух сторон вселенной, которые могут быть обозначены и без метафор. Хотя поэт называет здесь темную основу мироздания "бездной _безымянной_", но ему сказалось и собственное ее имя, когда он прислушивался к напевам ночной бури:

О чем ты воешь, ветр ночной,
О чем так сетуешь безумно?
Что значит странный голос твой,
То глухо-жалобный, то шумный?
Понятным сердцу языком
Твердишь о непонятной муке,
И роешь и взрываешь в нем

Порой неистовые звуки.

О, _страшных_ песен сих не пой
Про _древний хаос_, про родимый!
Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!
Из смертной рвется он груди
И с _беспредельным_ жаждет слиться.
О, бурь уснувших не буди:
Под ними хаос шевелится!... {9}

V

Хаос, т. е. отрицательная беспределность, зияющая бездна всякого безумия и безобразия, демонические порывы, восстающие против всего положительного и должно - вот глубочайшая сущность мировой души и основа всего мироздания. Космический процесс вводит эту хаотическую стихию в пределы всеобщего строя, подчиняет ее разумным

113

законам, постепенно воплощая в ней идеальное содержание бытия, давая этой дикой жизни смысл и красоту. Но и введенный в пределы всемирного строя, хаос дает о себе знать мятежными движениями и порывами. Это присутствие хаотического, иррационального начала в глубине бытия сообщает различным явлениям природы ту свободу и силу, без которых не было бы и самой жизни и красоты. Жизнь и красота в природе - это борьба и торжество света над тьмой, но этим необходимо предполагается, что тьма есть действительная сила. И для красоты вовсе не нужно, чтобы темная сила была уничтожена в торжестве мировой гармонии: достаточно, чтобы светлое начало овладело ею, подчинило ее себе, до известной степени воплотилось в ней, ограничивая, но не упраздняя ее свободу и противоборство. Так безбрежное море в своем бурном волнении _прекрасно_*^{*}, как проявление и образ мятежной жизни, гигантского порыва стихийных сил, введенных, однако, в незыблемые пределы, не могущих расторгнуть общей связи мироздания и нарушить его строя, а только наполняющих его движением, блеском и громом:

Как хорошо ты, о, море ночное,
Здесь лучезарно, там сизо-черно!
В лунном сиянии, словно живое,
Ходит и дышит и блещет оно.
На бесконечном, на вольном просторе
Блеск и движение, грохот и гром...
Тусклым сияньем облитое море,
Как хорошо ты в безлюдьи ночном!
Зыбь ты великая, зыбь ты морская!
Чей это праздник так празднуешь ты?
Волны несутся, гремя и сверкая,
Чуткие звезды глядят с высоты {10}.

Хаос, т. е. само безобразие, есть необходимый фон всякой земной красоты, и эстетическое значение таких явлений, как бурное море или ночная гроза,

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org зависит именно от того, что "под ними хаос шевелится". В изображении всех этих явлений природы, где яснее чувствуется ее темная основа, Тютчев не имеет себе равных.

Не остывшая от зною,
Ночь июльская блистала,
И над тусклую землею
Небо полное грозою
От зарниц все трепетало.

Словно тяжкие ресницы, * По Канту, оно не прекрасно, а возвышенно (*erhaben*), но это одна из тех ненужных *distinctiones more scholasticorum* (Схоластических различий (лат.). - Ред.), к каким великий философ имел чрезмерную слабость.

114

Разверзались порою.
И сквозь беглые зарницы
Чьи-то грозные зеницы
Загорались над землею {11}.

Этот поразительный образ гениально заканчивается поэтом в другом стихотворении:

.....
Одни зарницы огневые,
Воспламеняясь чередой,
Как _демоны глухонемые,
Ведут беседу меж собой_,
Как по условленному знаку
Вдруг неба вспыхнет полоса,
И быстро выступят из мраку
Поля и дальние леса.

И вот опять все потемнело,
Все стихло в чуткой темноте,
Как бы _тайинственное дело_
Решалось там на высоте... {12}

VI

Частные явления суть знаки общей сущности. Поэт умеет читать эти знаки и понимать их смысл. "Тайинственное дело", заговор "глухонемых демонов" - вот начало и основа всей мировой истории. Положительное, светлое начало космоса сдерживает эту темную бездну и постепенно преодолевает ее. В последнем, высшем произведении мирового процесса - человеке - внешний свет природы становится внутренним светом сознания и разума, - идеальное начало вступает здесь в новое, более глубокое и тесное сочетание с земной душою; но соответственно этому глубже раскрывается в душе человека и противоположное демоническое начало хаоса. Ту темную основу мироздания, которую он чувствует и видит во внешней природе под "златотканым покровом" космоса, он находит и в своем собственном сознании,

И в чуждом, неразгаданном, ночном

Он узнает наследье роковое {13}.

Главное проявление душевной жизни человека, открывающее ее смысл, есть любовь, и тут опять наш поэт сильнее и яснее других отмечает ту самую демоническую и хаотическую основу, к которой он был чуток в явлениях внешней природы. Этому вовсе не противоречит прозрачный

115

одухотворенный характер тютчевской поэзии. Напротив, чем светлее и духовнее поэтическое создание, тем глубже и полнее, значит, было прочувствовано и пережито то темное, не-духовное, что требует просветления и духовления. Жизнь души, сосредоточенная в любви, есть по основе своей злая жизнь, смущающая мир прекрасной природы:

Что это, друг? Иль злая жизнь не даром,

Та жизнь - увы! - что в нас тогда текла,

Та злая жизнь с ее мятежным жаром

Через порог заветный перешла? {14}

Эта злая и горькая жизнь любви убивает и губит:

О, как убийственно мы любим,

Как в буйной слепоте страстей

Мы то всего вернее губим,

Что сердцу нашему милей {15}.

И это не есть случайность, а роковая необходимость земной любви, ее предопределение:

Любовь, любовь, - гласит преданье,

Союз души с душой родной,

Их съединенье, сочетанье,

И роковое их слиянье,

И поединок роковый. (Опечатка в тексте книги - "ЛИТ")

И чем одно из них нежнее

В борьбе неравной двух сердец,

Тем неизбежней и вернее,

Любя, страдая, грустно млея,

Оно изноет наконец {16}.

VII

"Злая жизнь", превращающая саму любовь в роковую борьбу, должна кончиться смертью. Но в чем же тогда смысл существования? Смысл природы был в создании разумного существа - человека. Но разум в природном человеке оказывается лишь формальным преимуществом; он не в силах овладеть самою жизнью, сделать ее разумной и бессмертной; на зло разуму и на гибель человека поднимается в нем демоническое и хаотическое безумие. Как в мировом процессе природы темное начало хаоса преодолевалось внешним образом, чтобы произвести светлое мироздание, увенчанное явлением человеческого разума, так теперь

та же самая темная основа, открывшаяся в новой, высшей ступени в жизни и сознании человека, должна быть побеждена внутренним образом, в самом человечестве и при его собственном содействии. Достойная и вечная жизнь, которая требуется, но не дается разумом, должна быть добыта духовным подвигом. Носитель мирового смысла не может иметь свой смысл вне себя. Если я, как человек, могу понимать откровение абсолютного совершенства и сознательно стремиться к нему, то зачем же мне переставать быть человеком, чтобы достичнуть этого совершенства? Если мое сознание, как форма, может вместить бесконечное, то зачем же мне искать другой формы? Очевидно, я должен быть не сверхчеловеком, а только совершенным человеком, т. е. соответствующим в действительности идеалу человечности.

Смысл человека есть он сам, но только не как раб и орудие злой жизни, а как ее победитель и владыка. Если загадка мирового сфинкса разрешена явлением природного человека, то загадка нового сфинкса - души и любви человеческой - разрешается явлением духовного человека, действительного и вечного царя мироздания, покорителя греха и смерти. И как первое явление разумного сознания произошло в природе из природы, но не от природы, а от того разума, который изначала устроял саму природу для этого явления и целесообразно направлял естественный ход всемирного процесса, - подобным образом и первое явление совершенной духовной жизни произошло в человечестве и из человечества, но не от человечества, а от Того, Кто изначала вложил в Свой образ и подобие зародыш высшего совершенства и как Грядущий приготовлял через всю историю необходимые условия своего действительного воплощения.

Примкнуть к "Вождю на пути совершенства", заменить роковое и убийственное наследие древнего хаоса духовным и животворным наследием нового человека, или Сына человеческого, - первенца из мертвых, - вот единственный исход из "злой жизни" с ее коренным раздвоением и противоречием, - исход, которого не могла миновать вещая душа поэта:

О, вещая душа моя,
О, сердце, полное тревоги,
О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия!..

Так, ты жилище двух миров,
Твой день - болезненный и страстный,
Твой сон - пророчески-неясный,

117

Как откровение духов...

Пускай страдальческую грудь
Волнуют страсти роковые,
Душа готова, как Мария,
К ногам Христа навек прильнуть...{17}

VIII

"Роковое наследие" темных сил в нашей душе не есть что-нибудь личное, оно одинаково принадлежит всему человечеству, - таково же и духовное наследие Христово: оно явилось не для одиночного утешения отдельного человека, а для спасения всего человечества. Но что такое это человечество, в чем оно реально воплощается, где его действительное единство? На это у Тютчева был определенный ответ, который я здесь только укажу, не оспаривая и не подтверждая его.

Как во всей природе наш поэт признавал живую душу, которою держится
Страница 200

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
единство и целость мира, подобным же образом он признавал и живую душу
человечества и видел ее - в России. Как, по словам одного учителя церкви
{18}, душа человеческая _по природе_ христианка, так Тютчев считал Россию
по природе христианским царством. Так как смысл истории в христианстве, то
Россия, как страна по преимуществу христианская, призвана внутренне
обновить и внешним образом объединить все человечество.

Для Тютчева Россия была не столько предметом любви, сколько веры - "в
Россию можно только верить". Личные чувства его к родине были очень сложны
и многоцветны. Было в них даже некоторое отчуждение, с другой стороны
благовение к религиозному характеру народа: "всю тебя, земля родная,- в
рабском виде Царь Небесный - исходил благословляя", - бывали в них, наконец,
минутные увлечения самым обыкновенным шовинизмом {19}.

Тютчев не любил Россию тою любовью, которую Лермонтов называл почему-то
"странною". К русской природе он скорее чувствовал антипатию. "Север
рековой" был для него "сновиденьем безобразным"; родные места он прямо
называет немилыми:

Итак, опять увиделся я с вами,
Места немилые, хоть и родные,
Где мыслил я и чувствовал впервые.
.....

Ах, нет! не здесь, не этот край безлюдный
Был для души моей родимым краем,

118

Не здесь расцвел, не здесь был величаем
Великий праздник молодости чудной!

Ах, и не в эту землю я сложил
То, чем я жил и чем я дорожил... {20}

Значит, его вера в Россию не основывалась на непосредственном органическом
чувстве, а была делом сознательно выработанного убеждения. Первое, еще
неопределенное, но зато высокопоэтическое выражение этой веры он дал еще в
молодости - в прекрасном стихотворении "На взятие Варшавы" {21}. В своей
борьбе с братским народом Россия руководилась не зверскими инстинктами, а
только необходимостью "державы целость соблюсти", для того, чтобы

Славян родные поколенья
Под знамя русское собрать
И весть на подвиг просвещенья
Единомысленную рать.
И это высшее сознанье
Вело наш доблестный народ
Путей небесных оправданье
Он смело на себя берет.
Он чует над своей главою
Звезду в незримой высоте
И неуклонно за звездою
Идет к таинственной мечте.

Эта вера в высокое призвание России возвышает самого поэта над мелкими и злобными чувствами национального соперничества и грубого торжества победителей. Необычно у патриотических певцов гуманностью дышат заключительные стихи, обращенные к Польше:

Ты ж, братскою стрелой пронзенный,

Судеб свершая приговор,

Ты пал, орел одноплеменный,

На очистительный костер.

Верь слову русского народа:

Твой пепл мы свято сбережем,

И наша общая свобода

Как феникс возродится в нем.

Позднее вера Тютчева в Россию высказывалась в пророчествах более определенных. Сущность их в том, что Россия сделается всемирной христианской монархией,

...и не пройдет вовек,

Как то провидел дух и Даниил предрек {22}.

Одно время условием этого великого события он считал соединение Восточной церкви с Западной через соглашение царя с папой, но потом отказался от этой мысли, находя,

119

что папство несовместимо со свободой совести, т. е. с самою существенною принадлежностью христианства.

Отказавшись от надежды мирного соединения с Западом, наш поэт продолжал предсказывать превращение России во всемирную монархию, простирающуюся по крайней мере до Нила и до Ганга, с Царьградом, как столицей. Но эта монархия не будет, по мысли Тютчева, подобием звериного царства Навуходоносорова, - ее единство не будет держаться насилием. По поводу известного изречения Бисмарка Тютчев противопоставляет друг другу два единства:

"Единство, - возвестил оракул наших дней,

Быть может спаяно железом и лишь кровью";

Но мы попробуем спаять его любовью,

А там увидим, что прочней...{23}

Великое призвание России предписывает ей держаться единства, основанного на духовных началах; не гнилою тяжестью земного оружия должна она облечься, а "чистою ризою Христовою".

Над этой темною толпой

Непробужденного народа

Взойдешь ли ты когда, свобода,

Блеснет ли луч твой золотой?

Блеснет твой луч и оживит,

И сон разгонит и туманы...

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Но старые, гнилые раны,

Рубцы насилий и обид,
Растленье душ и пустота.

Что гложет ум и сердце ноет...

Кто их излечит, кто прикроет?

Ты, риза чистая Христа...

Мне остается только прибавить несколько слов, чтобы из патриотических пророчеств нашего поэта извлечь их окончательный смысл.

Допустим, становясь на точку зрения Тютчева, что Россия – душа человечества. Но, как в душе природного мира, и в душе отдельного человека светлое духовное начало имеет против себя темную хаотическую основу, которая еще не побеждена, еще не подчинилась высшим силам, – которая еще борется за преобладание и влечет к смерти и гибели, – точно так же, конечно, и в этой собирательной душе человечества, т. е. в России. Ее жизнь еще не определилась окончательно, она еще двоится, увлекаемая в разные стороны противоборствующими силами. Воплотился ли уже в ней свет истины Христовой; спаяла ли она единство

120

всех своих частей любовью? Сам поэт признает, что она еще не покрыта ризою Христа. Значит, – можно сказать поэту, – судьба России зависит не от Царьграда и чего-нибудь подобного, а от исхода внутренней нравственной борьбы светлого и темного начала в ней самой. Условие для исполнения ее всемирного призыва есть внутренняя победа добра над злом в ней, а Царьград и прочее может быть только следствием, а никак не условием желанного исхода. Пусть Россия, хотя бы без Царьграда, хотя бы в настоящих своих пределах, станет христианским царством в полном смысле этого слова – царством правды и милости, – и тогда все остальное, – наверное, – приложится ей.

121

КОММЕНТАРИИ: ПОЭЗИЯ Ф. И. ТЮТЧЕВА

Впервые напечатана в "Вестнике Европы", 1895, № 4, с. 735–752.

{1} Картина, рисуемая Соловьевым, в целом верна. Лев Толстой называл Тютчева своим любимым поэтом, внимательно, с карандашом в руках перечитывал его стихотворения. А. А. Фет в 1859 г. поместил в журнале "Русское слово" (№ 2) статью "О стихотворениях Ф. Тютчева", где говорил о нем как о "властелине" поэтической мысли, "лирическая смелость" которого счастливо сочетается с "чувством меры". Фету принадлежат упоминаемые в тексте стихотворения "Ф. И. Тютчеву" ("Мой обожаемый поэт...", 1862) и "На книжке стихотворений Тютчева" (1883). Рецензия И. С. Тургенева "Несколько слов о стихотворениях Ф. И. Тютчева" была напечатана в 1854 г. в "Современнике" (№ 4). Откликаясь на появление сборника стихотворений Тютчева, Тургенев писал: "Мы не могли душевно не порадоваться собранию воедино разбросанных доселе стихотворений одного из самых замечательных наших поэтов, как бы завещанного нам приветом

391

и одобрением Пушкина". Далее он утверждал, что из всех современных поэтов "на одном г. Тютчеве лежит печать той великой эпохи, к которой он принадлежит и которая так ярко и сильно выразилась в Пушкине; в нем одном замечается та соразмерность таланта с самим собою, та соответственность его с жизнью автора, – словом, хотя часть того, что в полном развитии своем составляет отличительные признаки великих дарований". Соловьев верно говорит о Тютчеве как о поэте неизвестном "образованному" обществу. После смерти Тютчев был почти забыт, и лишь в конце XIX в. интерес к его творчеству стали проявлять ранние символисты.

{2} Работа И. С. Аксакова "Биография Федора Ивановича Тютчева" была
Страница 203

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org написана сразу после смерти поэта. Подготовленная в 1874 г. к печати в "Русском архиве", она была запрещена цензурой. Отдельное издание вышло в Москве в 1886 г. Аксакова, женатого на дочери Тютчева Анне, преимущественно занимали политические взгляды поэта, характеризовать которые как "славянофильские" было бы неверно.

{3} "Боги Греции" Шиллера были переведены фетом в 1878 г.

{4} Стихотворение "Не то, что мните вы, природа..." написано не позднее апреля 1836 г. Соловьев приводит его с небольшими неточностями.

{5} "Курс общей физиологии" Клода Бернара, одного из создателей экспериментальной медицины, вышел в русском переводе в 1878 г.

{6} Цикл стихотворений Гете "Бог и мир" создан в 1802–1829 гг.

{7} Гете, "Душа мира" ("Рассейтесь вы везде под небосклоном...", 1802). Русский перевод С. Соловьева.

{8} Соловьев полностью приводит стихотворение Тютчева "день и ночь" (1839). Здесь и далее курсив Соловьева.

{9} Стихотворение "О чем ты воешь, ветр ночной?.." написано в начале 1830-х гг. В цитате неточность: у Тютчева 4-я строка – "То глухо жалобный, то шумно?".

{10} Стrophы стихотворения "Как хорошо ты, о море ночное..." (1865).

{11} Соловьев полностью приводит стихотворение "Не остывшая от зною..." (1851). Его вариант заметно отличен от канонического текста.

{12} Из стихотворения "Ночное небо так угрюмо..." (1865).

{13} Строки из стихотворения "Святая ночь на небосклон взошла..." (между 1848-м и марта 1850 г.).

{14} Из стихотворения "Итальянская villa" (1837).

{15} Первая строфа стихотворения "О, как убийственно мы любим..." (1851).

{16} Стихотворение "Предопределение" (1851 или 1852).

{17} Стихотворение "О вещая душа моя..." (1855).

{18} Имеется в виду знаменитый раннехристианский богослов Тертуллиан (ок. 160–после 220).

{19} Соловьев ссылается на знаменитое тютчевское четверостишие:

Умом Россию не понять,

Аршином общим не измерить:

392

У ней особенная стать

В Россию можно только верить (1866).

далее цитируются последние строки стихотворения "Эти скучные сelenья..." (1855). Политические взгляды Тютчева были консервативны, он убежденно отстаивал идею имперской России, но говорить о его "шовинизме" невозможно.

{20} Строки из стихотворения "Итак, опять увиделся я с вами..." (1849).

{21} Стихотворение, цитируемое ниже, написано в 1831 г.

{22} Неточная цитата из стихотворения "Русская география" (1848 или 1849).

{23} Стrophа из стихотворения "два единства" (1870).

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
{24} Стихотворение "Над этой темною толпой..." (1857).

Поэзия графа А К Толстого

Владимир Сергеевич Соловьев

Поэзия гр.А.К.Толстого

Алексей Толстой, как и Ф. И. Тютчев, принадлежит к числу поэтов-мыслителей; но в отличие от Тютчева - поэта исключительно созерцательной мысли, - гр. А. К. Толстой был поэтом мысли войинствующей поэтом-борцом. Конечно, не в смысле внешней практической борьбы. Всякий истинный поэт невольно повинуется запрету, выраженному Пушкиным: "не для житейского волненья, не для корысти, не для битв" {1}... Но, оставляя в стороне житейские и корыстные битвы, поэт, "рожденный для вдохновенья", может вдохновляться и на борьбу - достойную поэтического вдохновения. Наш поэт борется оружием свободного слова за право красоты, которая есть ощущительная форма истины, и за жизненные права человеческой личности.

Сам поэт понимал свое призвание как борьбу:

Господь, меня готовя к бою,
Любовь и гнев вложил мне в грудь,
И мне десницею святою

Он указал правдивый путь... {2}

Но именно потому, что путь, указанный поэту, был правдивый, и борьба на этом пути была борьбою за высшую правду, за интересы безусловного и вечного достоинства; она возвышала поэта не только над житейскими и корыстными битвами, но и над тою партийною борьбой, которая может быть бескорыстною, но не может быть правдивою, ибо она заставляет видеть все в белом цвете на своей стороне - и все в черном на стороне враждебной; а такого равномерного распределения цветов на самом деле не бывает и не будет - по крайней мере до Страшного суда.

122

По чувству правды, Толстой не мог отдаваться всецело одному из враждующих станов, не мог быть партийным борцом - он сознательно отвергал такую борьбу:

двух станов не боец, но только гость случайный,
За правду я бы рад поднять мой добрый меч,
Но спор с обоими - досель мой жребий тайный,
И к клятве ни один не мог меня привлечь;
Союза полного не будет между нами
Не купленный никем, под чье б ни стал я знамя,
Пристрастной ревности друзей не в силах снести,
Я знамени врага отстаивал бы честь! {3}

II

Для характеристики и оценки поэта очень важен вопрос об отношении его собственной сознательной мысли к его делу: как он понимал и за что принимал поэзию? С этой точки зрения все поэты нашего века (я ограничиваюсь здесь одними русскими и из них только почившими) распределяются на три естественные группы. Первая достаточно обозначается одним именем - Пушкина. Здесь отношение мысли к творчеству - непосредственное, органическое, - в процессе творчества сознание не отделяется от самого дела, - нет никакого раздвоения в поэтической деятельности. Как чистый поэт, поэт-художник по преимуществу, Пушкин прямо дает нам совершенные образцы красоты, не

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
тревожась общим вопросом: что такое поэтическая красота, как она относится к жизни, какое ее место и значение во вселенной? Не то чтобы поэт вовсе не думал и не говорил о своем деле. Но это были случайные, преходящие мысли по поводу поэзии, а не окончательный отчет сознания об ее сущности и значении. Несмотря на свой - правда, поверхностный - байронизм, Пушкин никогда не сомневался в правах красоты и поэтического мировоззрения, а потому и не давал себе ясного отчета об этих правах. Он и не брал совсем этого вопроса в его общности и глубине. Лишь мимоходом указывал он на различные внешние признаки словесного творчества.

Поэтическое вдохновение, по свидетельству Пушкина, есть нечто особенное или исключительное, не сливающееся с повседневной жизнью. Драгоценное показание великого поэта о процессе творчества, важный факт психологического опыта имеем мы в известных стихах: "Пока не требует поэта - К священной жертве Аполлон, - В заботах суетного света - Он малодушно погружен..." - "Но лишь божественный глагол - До слуха чуткого коснется, - душа

123

поэта встрепенется,- Как пробудившийся орел"... {4} Но, принимая это "показание эксперта" во всей его силе и значении, мы не можем, однако, сказать, чтобы здесь выражалась самая сущность поэзии. Не выражается она и в тех стихах, где поэт отвергает ложное в деле поэзии требование практической пользы: "Не для житейского волненья,- Не для корысти, не для битв,- Мы рождены для вдохновенья,- Для звуков сладких и молитв".... Все признаки верные, но слишком широкие и внешние: вдохновение - бывает разное, и не одна поэзия есть плод вдохновения; сладкие звуки - свойственны музыке еще более, чем поэзии; не всякая молитва поэтична, и не всякая поэзия имеет молитвенный характер. Ни каждый из этих признаков в отдельности, ни все они вместе не определяют существа поэзии. Сам Пушкин не принимал своих указаний в слишком строгом смысле и не боялся им противоречить, когда, например, в "Памятнике" он объясняет общественную пользу своей поэзии: "Что чувства добрые он лирой пробуждал,- Что в сей жестокий век я прославлял свободу - И милость к падшим призывал"... {5} И это прекрасно, но опять-таки не в этом собственный смысл поэзии. Для понимания этого смысла лучше нам обращаться к тому, что Пушкин создал в поэзии, чем к тому, что он о ней говорил,- слова его могут иногда вводить в заблуждение, например: "Тьмы низких истин мне дороже - Нас возвышающий обман"....{6} Из этих слов, сказанных по поводу поэтического вымысла, выдававшегося за историческое событие, можно бы, пожалуй, заключить, что поэзия была в глазах Пушкина обманом, хотя возвышающим и дорогим; что он допускал возможность для истины быть низкою, и что он предпочитал обман истине. Но было бы несправедливо искать точных мыслей и определений в случайных заметках поэта, который сам не относился серьезно к своим рефлексиям и не смешивал их с "божественным глаголом". В одном стихотворении он высказывает скептическую мысль, что жизнь есть "дар напрасный, дар случайный", неведомо ком и зачем данный человеку; но когда известный архипастырь основательно опроверг эту мысль - тоже в стихах, Пушкин спешит с раскаянием от нее отказаться и сочиняет другое стихотворение, где признает первое только за "изнеженные звуки безумства, лени и страстей" {7}. Ясно, что по крайней мере одно из этих двух противоречащих друг другу произведений, а вернее - оба созданы поэтом не по требованию Аполлона и не его жертвенника.

Все это не важно, когда дело идет о Пушкине. Он потому

124

и есть несравненный представитель органического творчества среди наших поэтов, что все субъективные грехи его мысли оказались бессильными разложить живую цельность его поэзии. Все это - только посторонняя примесь, которую ничего не стоит отделить от настоящего поэтического дела. Когда высший голос требовал его к священной жертве, он вместе с "заботами суетного дня" бросал и всякую рефлексию. Она не была составной частью его поэтической организации, а скорее ее можно сравнить с теми башмаками, в которых правоверные гуляют по улицам, но оставляют их у входа в храм.

Древние греки и римляне, как известно, раскрашивали свои статуи. Это было довольно безвкусно и во всяком случае излишне, но не изменяло совершенства скульптурной формы; такова же рефлексия - байроническая и иная,- которая, к сожалению, местами окрашивает эту поэзию: наложенная рассудком, эта примесь чужда творческому гению и с годами спадает ветхой чешуей, сохраняя только

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
биографическое и историческое значение. Между тем были и еще встречаются люди, которые из-за этой посторонней примеси кощунственно объяляют саму поэзию Пушкина плоскою и бессодержательною, тогда как другие, напротив, не ограничиваясь справедливым благоговением перед этою поэзией и восхищаясь всякою фразой поэта, признают его за великого мыслителя, каким он никогда не был и по натуре своей быть не мог. На самом деле его рефлексия, это - пыль на чудесном алмазе; она не уменьшает его цены, но все-таки лучшестереть ее, а не восхищаться ею.

Совсем иное значение имеет рефлексия у поэтов второй группы - с Баратынским и Лермонтовым во главе. Здесь рефлексия проникает в самое творчество и как постоянный, пребывающий и преодолевающий элемент в сознании поэта разлагает цельность его воззрения и подрывает его художественную деятельность. Критическое, отрицательное отношение к собственной жизни и к окружающей среде - отношение более или менее справедливое при данных условиях личных и общественных - обманчиво возводится здесь на степень безусловного принципа и становится господствующим настроением самой поэзии. От бессодержательности своей жизни, заключая к жизни вообще, эти поэты находят, что у нее нет смысла и цели; но в таком случае и поэзия, как высший цвет жизни, есть бессмысленный обман, и в конце всего остается только "пустая и глупая шутка" {8}. То, что у Пушкина было выражением мимолетного настроения, от которого он сам был готов сейчас же отказаться, то у Лер

125

монтова принимает вид окончательного убеждения. Его стихотворение: "И скучно и грустно", если смотреть со стороны, конечно, есть только слабое повторение Пушкинской "бутады", но сам Лермонтов придавал содержанию этих посредственных стихов трагическую важность и наверное не отказался бы от них при вмешательстве особ духовного звания.

Если бы отрицательная точка зрения, на которую стали эти поэты разочарования, была окончательным выводом правильного мышления, тогда действительно пришлось бы отказаться от поэзии, как от обмана. На самом деле и Баратынский, и Лермонтов, при весьма значительном, хотя и подорванном рефлексией поэтическом таланте, были не столько мыслителями, сколько резонерами на почве субъективных впечатлений. Но заключение от собственной зубной боли к негодности всего мироздания не оправдывается логикой. Из двух названных поэтов у Баратынского, как ума более развитого и зрелого, разочарование имеет хотя некоторую видимость объективных оснований. Подобно большинству образованных людей нашего века, Баратынский принял материалистические обобщения некоторых научных данных за непреложную истину и, видя противоречие этой "истины" с поэтическим и религиозным воззрением на мир и жизнь, решил, что это воззрение есть иллюзия. Таков, хотя ошибочный, но заслуживающий уважения мотив его тоски - не единственный, но лучший. Лермонтов в свою короткую жизнь не успел додуматься ни до чего подобного, и все его разочарование происходило исключительно из неприятных впечатлений от окружающей действительности, т. е. от светского общества в Петербурге, в Москве и в Пятигорске.

Несмотря на такую свою неосновательность, разочарованная поэзия явилась недаром. Субъективная неудовлетворенность имеет огромное значение, как первый толчок к работе сознания и мышления. Кто доволен, тот не идет дальше; отрицательный момент необходим, ненормальна и бессмысленна только остановка на нем, т. е. удовлетворение своею неудовлетворенностью, - к чему так склонны многие скептики и пессимисты.

Будущность русской поэзии зависела от того, хватит ли у наших поэтов силы мысли, чтобы идти дальше субъективного отрицания. Дорога назад была заказана. Раз мысль возбудилась, вопросы возникли, нельзя уже было просто вернуться к прежней художественной непосредственности, к органическому творчеству Пушкина. Тютчев сказал про него: "Тебя, как первую любовь, России сердце не забу

126

дет" {9}. Именно так: нельзя забыть, но и нельзя повторить!

Невозможно сознанию отказаться от рефлексии, раз она явилась, - нужно только довести ее до конца. Противоречия, возбужденные мыслью, должны быть

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org разрешены ею же; и жизненность русской поэзии доказана тем, что она не остановилась на разочарованности Баратынского и Лермонтова, что после них явились поэты положительной мысли, сознательно понимавшие значение красоты в мире, примирявшие ум с творчеством и оправдывавшие поэзию как выражение истины. Глубокого и своеобразного представителя этого третьего рода, который можно назвать поэзией гармонической мысли, - мы находим у Тютчева; сюда же, несомненно, принадлежит по основе своего миропонимания и Алексей Толстой, присоединяющий к этой общей умственной основе, как свою отличительную особенность, элемент деятельной воли и борьбы, почти отсутствующий в поэтических произведениях Тютчева. Этот боевой элемент в поэзии Толстого действует до некоторой степени в ущерб силе и чистоте творчества, но зато делает его более разнообразным, ярким и доступным.

III

Наш поэт называет себя "певцом, державшим стяг во имя красоты" {10}. Он был не только мирным ее жрецом, но и воинственным рыцарем. Не ограничиваясь спокойным отражением того, что являлось из "страны лучей", его творчество определялось еще движениями воли и сердца как реакция враждебным явлениям:

Воспрянул я, и, негодуя,
Стихи текут. Так в бурный день
Прорезав тучи, луч заката
Сугубит блеск своих огней.
И так река, скалами сжата,
Бежит сердитей и звучней {11}.

Приняв сознательно верою высший смысл жизни, ощущительное выражение которого есть красота, поэт возмущался всем, что отрицало или оскорбляло этот смысл, и смело шел за него против течения:

Правда все та же! Средь мрака ненастного
Верьте чудесной звезде вдохновения,
Дружно гребите во имя прекрасного
Против течения!

.....
127

Други, гребите! Напрасно хулители
Мнят оскорбить нас своею гордынею.
На берег вскоре мы, волн победители,
Выйдем торжественно с нашей святынею,
Верх над конечным возьмет бесконечное,
Верою в наше святое значение
Мы же возбудим течение встречное
Против течения! {12}

Свой идеал поэта Толстой олицетворял в историческом образе Иоанна Дамаскина, которому посвящено его первое значительное произведение. Созданный для жизни духа, Иоанн не выносит мирской суеты, но его духовная потребность влечет его не к созерцанию только, а и к борьбе:

И раздавался уж не раз

Противу ереси безумной,
Что на искусство поднялась
Грозой неистовой и шумной.
Упорно с ней боролся он,
И от Дамаска до Царьграда
Был, как боец за честь икон
И как художества ограда,
Давно известен и почтен {12}.

На первый взгляд может показаться, что Толстой впадает в анахронизм, приписывая Иоанну Дамаскину и его современникам заботы об интересах художества. Но, ставши на точку зрения нашего поэта, мы увидим, что он обнаружил здесь очень верное и глубокое понимание дела. Ведь и собственный его интерес к искусству не был отвлеченно-техническим: и он видел в нем более, чем изящную и приятную внешность. Красота была для него дорога и священна как сияние вечной истины и любви:

Когда Глагола творческая сила
Толпы миров возвала из ночи,
Любовь их все как солнце озарила,
И лишь на землю к нам ее светила
Нисходят порознь редкие лучи.
И, порознь их отыскивая жадно,
Мы ловим отблеск вечной красоты:
Нам вестью лес о ней звучит отрадной,
О ней поток гремит струею хладной
И говорят, качался, цветы {14}.

Вопрос о значении красоты сводится к вопросу: возможно ли полное, окончательное выражение высшего совершенства или реальное, ощутительное воплощение абсолютного в определенных формах? Но это есть тот самый вопрос,

128

которым занимались и на которые отрицательно отвечали иконоборцы. Они говорили, что ощутительное выражение абсолютного невозможно, настаивали на том, что божество неописуемо, и на этом основании отвергали иконы. Здесь, несомненно, отрицался, хотя и бессознательно, самый принцип красоты и истинное значение художества. На той же точке зрения стоят те, которые считают все эстетическое областью вымысла и праздной забавы. Таким образом, Толстой не ошибся: то, за что он боролся против господствовавшего в его время течения, было, в сущности, то самое, за что Иоанн Дамаскин и его сторонники стояли против иконоборчества {15}.

IV

Истинный источник поэзии, как и всякого художества, – не во внешних явлениях и также не в субъективном уме художника, а в самобытном мире вечных идей или первообразов:

Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!

Вечно носились они над землею, незримые оку.

О, окружи себя мраком, поэт, окружися молчаньем,
Будь одинок и слеп, как Гомер, и глух, как Бетховен,
Слух же душевный сильней напрягай и душевное зренье,
И как над пламенем грамоты тайной бесцветные строки
Вдруг выступают, так выступят вдруг пред тобою картины,
Выйдут из мрака все ярче цвета, осязательной формы,
Стройные слов сочетания в ясном сплетутся значенье,
Ты ж в этот миг и внимай, и гляди, притаивши дыханье,
И, созиная потом, мимолетное помни виденье! {16}

Красота в явлениях внешнего мира есть только отражение той самобытной и вечной красоты:

И все сокровища природы,
Степей безбережный простор,
Туманный очерк дальних гор,
И моря пенистые воды,
Земля, и солнце, и луна,
И всех созвездий хороводы,
И синей тверди глубина,
То все одно лишь отраженье,
Лишь тень таинственных красот,
Которых вечное виденье
В душе избранника живет {17}.

Такой избранник может и должен быть слеп для внешнего мира, чтобы тем полнее отдаваться владеющему им духу.

129

Истинный художник не волен над своим творчеством. Причастный божеству, он одинок в толпе и окружен в безлюдье и, как божество, дает всем от избытка внутренней жизни, не ожидая взаимности. Такова идея превосходной по содержанию и только местами несколько растянутой баллады "Слепой".

Князь с дружиной, охотясь в лесу, останавливается для полуденного отдыха и велит позвать из соседней деревни убогого слепого певца. Когда тот приходит, охотники уже отдохнули и уехали; не замечая их отсутствия, слепой вдохновляется и поет до вечера, а когда узнает, что пел один, то нисколько этим не смущается:

Воистину, если б очей моих ночь
Безлюдья от них и не скрыла,
Я песни б не мог и тогда перемочь,
Не мог от себя отогнать бы я прочь,
Что душу мою охватило.

Пусть по следу псы, заливаясь, бегут,
Пусть ловлею князь у доволен;
убогому петь не тяжелый был труд,
А песня ему не в хвалу и не в суд,
Зане он над нею не волен.

.....
Охваченный ею не может молчать,
Он раб ему чуждого духа,
Вожглась ему в грудь вдохновенья печать,
Неволей иль волей – он должен вещать,
Что слышит подвластное ухо.

Не ведает горный источник, когда
Потоком он в степи стремится,
И бьет и кипит его, пенясь, вода,
Придут ли к нему пастухи и стада
Струями его освежиться?..{18}

V

Вдохновенный художник, воплощая свои созерцания в чувственных формах, есть связующее звено или посредник между миром вечных идей или первообразов и миром вещественных явлений. Художественное творчество, в котором упраздняется противоречие между идеальным и чувственным, между духом и вещью, есть земное подобие творчества божественного, в котором снимаются всякие противоположности, и божество проявляется как начало совершенного единства, – "единства себя и своего другого":

Едино, цельно, неделимо,
Полно созданья своего,
Над ним и в нем, невозмутимо,
130

Царит от века Божество.

Осуществилося в нем ясно,
Чего постичь не мог никто:
Несогласимое согласно,
С грядущим прошлое слито,
Совместно творчество с покоем,
С невозмутимостью любовь,
И возникают вечным строем
Ее созданья вновь и вновь.
Всемирным полная движеньем,

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Она светилам кажется путь,

Она нисходит вдохновеньем
В певца восторженную грудь;
Цветами рдея полевыми,
Звучи в паденье светлых вод,
Она законами живыми
Во всем, что движется, живет.
Всегда различна от вселенной,
Но вечно с ней съединена,
Она для сердца несомненна,
Она для разума темна {19}.

"Разумом" называется здесь односторонне-аналитический рассудок. Настоящий, умозрительный разум не находится в противоречии с сердцем. С твердостью мысли, которая сделала бы честь любому метафизику и богослову, наш поэт проводит идею всеединого Божества между Сциллою и Харибою пантеизма и дуализма {20}.

Бог один есть свет без тени,
Нераздельно в нем слита
Совокупность всех явлений,
Всех сияний полноты;
Но струящаясь от Бога
Сила борется со тьмой;
В нем могущества покой,
Вокруг него времен тревога.

Здесь устранена пантеистическая мысль о безразличии всего в Боге; но откуда же эта тьма и эта тревога, вызывающие силу Божью к действию и к борьбе?

Мирозданием раздвинут,
Хаос мстительный не спит:
Искажен и опрокинут,
Божий образ в нем дрожит;
И, всегда обманов полный,
На Господню благодать
Мутно плещущие волны
Он старается поднять.

Такая двойственность, несомненно, есть основной факт мировой жизни; но этим только возбуждается новый вопрос: каким образом действительность злого начала может быть

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
формы:

_И усилиям, духа злого
Вседержитель волю дал_,
И свершается все снова
Спор враждующих начал.
В битве смерти и рожденья
Основало Божество
Нескончаемость творенья,
Мирозданья продолженье,
Вечной жизни торжество.

Торжество вечной жизни над смертью и свободой зла как условие еще большего блага – этим устраняется противоречие двух начал и оправдывается всеединство Божие.

VI

Торжество вечной жизни – вот окончательный смысл вселенной. Содержание этой жизни есть внутреннее единство всего, или любовь, ее форма – красота, ее условие – свобода.

Овладев сердцем поэта, любовь открылась ему как сущность всего существующего.

Меня, во мраке и пыли
Досель влачившего оковы,
Любови крылья вознесли
В отчизну пламени и слова;
И просветлел мой темный взор,
И стал мне виден мир незримый.

И слышит ухо с этих пор,
Что для других неуловимо,
И с горней выси я сошел,
Проникнут весь ее лучами,
И на волнующийся дол
Взираю новыми очами.

И слышу я, как разговор
Везде немолчный раздается,
Как сердце каменное гор
С любовью в темных недрах бьется,
С любовью в тверди голубой
Клубятся медленные тучи,
И под древесною корой,

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Весною свежей и пахучей,

С любовью в листья сок живой
Струей подъемлется певучей.
И веющим сердцем понял я,
Что все, рожденное от Слова,
Лучи любви кругом лия,
К нему вернуться жаждет снова.

132

И жизни каждая струя,
Любви покорная закону,
Стремится силой бытия
Неудержимо к Божью лону.
И всюду звук, и всюду свет,
И всем мирам одно начало,
И ничего в природе нет,
Что бы любовью не дышало {21}.

Но эта стихийная любовь, которою дышит все в природе, есть только стремление, только тяготение к вечному царству любви и красоты. Действительно и окончательно приобщиться к этому царству может только человеческая личность, так как совершенное соединение может быть только при сознательности и свободе. Для того-то и злому началу "Вседержитель волю дал", чтобы через борьбу с ним человек мог свободно достигнуть совершенства.

Без свободы и ясного сознания возможны многие блага для человечества возможна общая сытость, безопасность, всякие материальные наслаждения, - но все это блага низшего разряда, доступные и прочим животным, и довольствоваться ими недостойно человека. Истинно человеческое добро возможно, только когда человек приходит к нему сам, своею волею и сознанием принимает его. Сообщить человеку извне готовую истину, помимо его собственного мышления и опыта, - значило бы отнять внутреннее достоинство и у истины, и у человека. Если бы можно одарить людей как высшим благом готовым, извне обеспеченным благополучием, без их трудов и усилий, то этим бы только обнаружилось, что между счастливым человеком и сытым животным нет существенного различия. Но на самом деле оно есть. "Не влезешь силой в совесть никому, и никого не вгонишь в рай дубиной", - ибо совесть, и рай по принуждению для всякого человека, достойного этого имени, ничем не отличался бы от ада.

Доставить человеку совершенство помимо его собственного, свободного и сознательного участия - никому не возможно. Личная свобода, или свобода самоопределения, есть свойство, которое дает человеку безусловное значение в глазах Высшего существа.

VII

Божество вечно обладает полнотою совершенства, природа в своих формах отражает это совершенство и в своей жизни тяготеет к нему; человек свободным делом достигает его для себя. В этом процессе совершенствования, составляя

133

ющем смысл человеческой жизни, естественно различаются два полюса. Человек есть, во-первых, самостоятельная особь, или индивидуальность, и, во-вторых,

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
нераздельная часть всемирного целого. Соответственно этому единственный
человек может не только совершенствовать самого себя (а через это косвенно и
окружающую среду), но и прямо содействовать общему прогрессу того целого, к
которому он принадлежит, сознательно ставя его предметом своей дея-
тельности. Естественное условие для самосовершенствования есть половая любовь, восполняющая человеческую индивидуальность; реальное побуждение к
участию в деле общего прогресса есть патриотизм (в широком смысле), т. е.
чувство солидарности с известным собирательным целым – гражданскою общиной,
народом, государством, религиозным союзом, – в благе которого исторически
воплощается для отдельного человека благо всемирное.

Не только половая любовь имела свои корни в животном мире, но то же должно
сказать и про патриотизм (у животных общественных и стадных). Судьба
человека и человечества, наше возвышение над животностью зависят главным
образом от очеловечения и одухотворения этих основных фактов жизни, от
перерождения их из слепых инстинктов природы в сознательные принципы
достойного существования. Преобладающая роль в этом деле естественно
принадлежит духовным вождям человечества – поэтам и мыслителям.

В поэзии Алексея Толстого мотивы любви и патриотизма принадлежат к самым
характерным и симпатичным. Только идеальная сторона любви выражена в его
стихотворениях на эту тему. Любовь есть сосредоточенное выражение, – в
личном живом сознании, – всемирной связи и высшего смысла бытия; чтобы быть
верною этому своему значению, она должна быть единою, вечною и неразрывною:

Слиясь в одну любовь, мы цепи бесконечной

Единое звено,

И выше восходить в сияньи правды вечной

На врость не суждено {22}.

Действительные условия земного существования далеко не соответствуют этому
высшему понятию любви; поэт не в силах примирить этого противоречия, но и
не хочет ради него отказаться от своего идеализма, в котором – высшая
правда. Отсюда глубокая грусть, которой отмечены все его любовные
стихотворения, несмотря на общее преобладание бодрого, или, как он
выражается, мажорного, тона в его поэзии. Вполне господствует этот мажорный
тон в его историко-патриотических стихотворениях.

134

VIII

Патриотизм – природное чувство, заставляющее нас жить и действовать для
блага того собирательного целого, к которому мы принадлежим. Само чувство
решает в каждом случае, какое именно из многих собирательных целых, к
которым я так или иначе принадлежу или примыкаю, имеет на меня
преимущественные верховные права. Безусловного правила на этот счет
установить невозможно; как, например, решить, что есть высшее целое для
образованного эльзасца-католика: Франция, германская империя, католическая
церковь или европейская культура? Но при обычных условиях вопрос
фактически решается без затруднений. Для огромного большинства людей нашего
времени собирательное целое, за которым их собственное чувство признает
верховные права, есть отечество, т. е. кристаллизовавшаяся в
государственную форму народность или группа народностей: это целое,
преимущественно перед всеми другими, есть настоящий предмет патриотизма (в
точном смысле слова) и вытекающего из него гражданского долга.

Но если нет для нас сомнений в том, что мы должны жить и действовать для
блага своего отечества, – в нашем случае, России, – то этим еще нисколько не
решается самый главный и важный вопрос: в чем же благо моего отечества и
что я должен делать, чтобы служить ему. Только при крайнем слабоумии и
невежестве или же при крайней недобросовестности можно утверждать, что
естественное стихийное чувство патриотизма само по себе достаточно, чтобы
давать должное направление патриотической деятельности. На самом деле
патриотизм, как и всякое натуральное чувство, может быть источником и
добра, и зла. Вся история свидетельствует, что государства и народы как
спасались патриотами, так от "патриотов" же и погибали. Что может быть
сильнее того патриотизма, который заставлял персидских вельмож чинными

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
рядами бросаться в море, чтобы спасти корабль Ксеркса? Но такой патриотизм,
будучи сопряжен с рабским духом, не спас, а погубил персидское царство.
Разве не патриотизм одушевлял тех парижан, которые ликовали при объявлении
войны Германии и кричали: "а Berlin, а Berlin"? Но этот патриотизм оказался
и предвестием и причиной национального бедствия {24}. _____ * На
Берлин! (фр.) - Ред.

135

Сверх силы непосредственного чувства нужно еще патриотическое сознание,
различающее истинное благо отечества от кажущегося и ложного. Это создание
имеет различные степени, допускающие сравнительно лучшую оценку. Мы можем
сказать, что та степень патриотического сознания, которая выражается у
нашего поэта, до сих пор остается вышею сравнительно с господствующими
чувствами и представлениями.

Истинный патриотизм заставляет желать своему народу не только наибольшего
могущества, но - главное - наибольшего достоинства, наибольшего приближения
к правде и совершенству, т. е. к подлинному, безусловному благу. Это благо,
согласно миросозерцанию нашего поэта, определяется окончательно как
единство в свободной полноте живых сил. Свободное достижение такого
совершенного состояния есть смысл человеческого существования.
Соответственно этому - подвижная прогрессирующая жизнь общества и народа,
основанная на свободе всех положительных сил, в пределах общего
государственного единства, воплощающегося в свободной нравственной личности
государя, - вот патриотический идеал нашего поэта. Прямая противоположность
такому идеалу - насилие, нивелирующее единство, подавляющее всякую
частную особенность и самостоятельность.

Со всею живостью поэтического представления и со всею энергией борца за
идею Толстой славил, в прозе и стихах, свой идеал истинно русской,
европейской и христианской монархии и громил ненавистный ему кошмар
азиатского деспотизма. Начало истинного национального строя он находил в
киевской эпохе нашей истории; осуществление противоположного принципа он
видел в периоде московского государства, к которому относился с яростной
враждой. "Моя ненависть к московскому периоду, - пишет он в одном
письме, есть моя идиосинкразия... Моя ненависть к деспотизму - это я сам"
{25}.

Этот взгляд на двойственность начал в русской истории составлять общий тон
всего, что Толстой написал на исто-рико-патриотические темы. Самое прямое и
цельное выражение своей патриотической идеи он дал в оригинальной балладе
"Змей-Тугарин" (Полное собрание стихотворений, т. II, стр. 234. СПб., 1876)
{26}.

136

IX

Киевский князь Владимир с дружиною и множеством горожан пирует на берегу
Днепра. Он любит слушать песни, и вот на его вызов из задних рядов пирующих
выступает певец чудовищного вида:

Глаза словно щели, растянутый рот,
Лицо на лицо не похоже,
И выдались скулы углами вперед;
И ахнул от ужаса русский народ:
Ай рожа, ай страшная рожа!

Певец начинает песню, в которой пророчит монгольское иго. Владимир и его
гости встречают это пророчество громким смехом:

Певец продолжает: "Смешна моя весть
И вашему уху обидна?
Кто мог бы из вас оскорблению снести!"

Бесценное русским сокровище честь,
Их клятва: да будет мне стыдно!
На вече народном вершится их суд,
Обиды смывает с них поле
Но дни, погодите, иные придут,
И честь, государи, заменит вам кнут,
А вече - каганская воля!"
"Стой,- молвил Илья,- твой хоть голос и чист,
Да песня твоя непригожа!
Был вор-Соловей, как и ты, голосист,
Да я пятерней приглушил его свист
С тобой не случилось бы то же!"
Певец продолжает: "И время придет:
Уступит наш хан христианам,
И снова подымется русский народ,
И землю единый из вас соберет,
Но сам же над ней станет ханом.
И в тереме будет сидеть он своем,
Подобен кумиру средь храма,
И будет он спины вам бить батожьем,
А вы ему стукать да стукать челом
Ой, срама, ой, горького срама!"
"Стой,- молвит Попович,- хоть дюжий твой рост,
Но слушай, поганая рожа:
Зашла раз корова к отцу на погост,
Махнул я ее через крышу за хвост
Тебе не было бы того же!"
Но тот продолжает, осклабивши пасть:
"Обычай вы наш переймете,
На честь вы поруху научитесь класть,
И вот, наглотавшись татарщины всласть,
Вы Русью ее назовете!
И с честной поссоритесь вы стариной,

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Не слушаясь голоса крови родной,

Вы скажете: станем к варягам спиной,
Лицом повернемся к Обдорам!"

При этих словах богатырь добриня узнает в певце поганого Змея-Тугарина и натягивает лук, чтобы выстрелить в него, но тот принимает свой настоящий змеиный вид и уплывает по Днепру.

Смеется Владимир: "Вишишь выдумал нам
Каким угрожать он позором!
Чтоб мы от Тугарина приняли срам!
Чтоб спины подставили мы батогам!
Чтоб мы повернулись к Обдорам!
Нет, шутиши! Живет наша русская Русь,
Татарской нам Руси не надо!
Солгал он, солгал, перелетный он гусь:
За честь нашей родины я не боюсь!
Ой, ладно, ой, ладушко-ладо!
А если б над нею беда и стряслась.
Потомки беду перемогут!
Бывает, - промолвил свет-солнышко князь,
Неволя заставит пройти через грязь,
Купаться в ней свиньи лишь могут!
Подайте же мне чару большую мою,
Ту чару, добытую в сече,
добытую с ханом хозарским в бою
За русский обычай до дна ее пью,
За древнее русское вече!
За вольный, за честный славянский народ,
За колокол пью Новограда,
И если он даже во прах упадет,
Пусть звон его в сердце потомков живет
Ой, ладо, ой, ладушко-ладо!
Я пью за варягов, за дедов лихих,
Кем русская сила подъята,
Кем славен наш Киев, кем грек приутих.
За синее море, которое их,
Шумя, принесло от заката!"
И выпил Владимир, и разом кругом,

Как плеск лебединого стада,
Как летом из тучи удариивший гром,
Народ отвечает: "За князя мы пьем
Ой, ладо, ой, ладушко-ладо!
Да правит по-русски он русский народ,
А хана нам даром не надо!
И если настанет година невзгод,
Мы верим, что Русь их победно пройдет
Ой, ладо, ой, ладушко-ладо!"

138

Ясно, что с исторической точки зрения идея киевского Ормузда и московского Аримана не выдерживает критики {27}. И киевская Русь далеко не была идеальным царством света, и татарско-московский период вовсе не был такою бессмыслицей напастью, такою, неведомо зачем, надвинувшейся тучей, какою представлялся он Толстому. Коренной порок древнего южнорусского строя был виднее автору "Слова о полку Игореве", нежели автору "Змея-Тугарина". Недостаток прочной государственной организации, отсутствие единовластия делало киевскую Русь беззащитной против окружающих диких орд, отнимало у нее историческую жизнеспособность. Народное вече может казаться красивым издали, но на самом деле это было лишь разновидностью междуусобной войны, и поэтичный колокол Новгорода призывал обыкновенно не к гражданским подвигам, а просто к рукопашному бою.

Впрочем, наш поэт в других случаях и сам более правильно относится к киевской Руси. Так, в стихотворении "Чужое горе" {28}, где Россия представляется в виде богатыря, несущего на себе тягость разных исторических грехов, – вместе с "горем" царя Ивана и "татарским горем" поминается также и "Ярославское горе", т. е. именно то горе политической розни и многонаачалия, которое сокрушило киевскую Русь.

Как организм высшего порядка не может, подобно какой-нибудь губке или какому-нибудь моллюску, оставаться без твердой и определенной формы, так великая историческая нация не может обойтись без крепкого объединенного государственного строя. Создание этого строя было делом московского периода, делом совершенно необходимым даже независимо от татар. Татарское нашествие было только окончательным наглядным обличением несостоятельности киевских порядков или беспорядков, а никак не причиной создания московского государства: и хронологически киевская Русь стала приходить в явный упадок и бессилие, и северное единодержавие стало складываться (в суздальской области) – раньше татар.

Московский период вполне оправдывается с исторической точки зрения, но дело в том, что сама эта точка зрения не есть высшая и окончательная. Если я понимаю смысл известного исторического явления, т. е. его необходимость при данных условиях и в данное время, это никак не дает мне права возводить это явление в принцип и в идеал.

139

Против идеализации московского периода, против стремления увековечить его дух – осуждение его нашим поэтом получает во всю силу высшей правды. Оправдывается также и предпочтение киевской Руси – не за ее "вече", конечно, и еще менее за ее "поле", в котором, во-первых, не было ничего хорошего и которое, во-вторых, сохранялось и в московский период (как описывается самим Толстым в "Князе Серебряном"). Но были у киевской Руси действительные преимущества, хотя они и оставались там только в зародыше.

Совершенно независимо от тех обстоятельств, которые принудили Россию перейти от "киевского" строя к "московскому", и вообще независимо от каких бы то ни было политических форм стоит вопрос о тех нравственных началах

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org жизни, в осуществлении которых – окончательный смысл истории. Эти начала вошли в Россию при ее крещении, и спрашивается: где они сильнее чувствовались и вернее понимались: в Киеве X-XII веков или в Москве XVI и XVII? Кто был ближе к идеалу христианского Государя: Владимир Св. и Владимир Мономах, которых совесть не мирилась с казнью преступников, или Иван IV, который так легко совмещал усердное благочестие с массовыми избиениями и утонченными терзаниями невинных людей? Тут дело вовсе не в личной жестокости: ею вовсе не отличались такие цари, как Алексей Михайлович и Федор Алексеевич, однако и при них не прекращались свирепые казни действительных и мнимых преступников (напр., сожжения старообрядцев). Ясно, что московская эпоха, какова бы ни была ее историческая необходимость в других отношениях, сопровождалась полным затемнением нравственного сознания, решительнымискажением духовного образа человеческого, если не в страдательной массе народной, то в верхних слоях, отдавшихся всецело грубому деланию внешней истории. Задача истинного патриотизма – не возвеличивать это тяжелое и мрачное прошлое, а стараться об окончательном искоренении из нашей жизни всех остатков и следов пережитого озверения:

Неволя заставит пройти через грязь,

Купаться в ней – свиньи лишь могут.

Как патриот-поэт, Толстой был вправе избрать не историческую, а пророческую точку зрения. Он не останавливался на материальных необходимостях и условиях прошедшего, а мерял его сверху – нравственными потребностями настоящего и упованиями будущего. И тут он не ошибался. Для

140

нашего настоящего духовного исцеления и для наших будущих задач нужны нам, конечно, не монгольско-византий-ские предания московской эпохи, а развитие тех христианских и истинно национальных начал, что как бы было обещано и предсказано светлыми явлениями киевской Руси.

XI

А. Толстой был поэт-боец. Но это была не та борьба, которая отнимает у человека духовную свободу, делая его рабом какой-нибудь, хотя бы и великой, но все-таки внешней цели. Для кого высшая цель борьбы есть правда Божия, всеобъемлющая и над всем возвышающаяся, тот – свободен возвыситься и над самою борьбою в уверенном сознании окончательного примирения. Наш поэт не раз в своей жизни знал минуты такого высшего успокоения, но с полною ясностью оно далось ему перед концом и выражено в стихотворении, составляющем прекрасный заключительный аккорд всей его деятельности:

Земля цвела. В лугу, весной одетом,

Ручей меж трав катился, молчалив;

Был тихий час меж сумраком и светом,

Был легкий сон лесов, полей и нив;

Не оглашал их соловей приветом;

Природу всю широко осенив,

Царил покой; но под безмолвной тенью

Могучих сил мне слышалось движенье.

Не шелестя над головой моей,

В прозрачный мрак деревья улетали;

Сквозной узор их молодых ветвей,

Как легкий дым, терялся в горней дали;

Лесной чебер и полевой шалфей,

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Блестя росой, в траве благоухали.

И думал я, в померкший глядя свод:
Куда меня так манит и влечет?
Проникнут весь блаженством был я новым,
Исполнен весь неведомых мне сил:
Чего в житейском натиске суровом
Не смел я ждать, чего я не просил
То свершено одним, казалось, словом,
И мнилось мне, что я лечу без крыл,
Перехожу, подъят природой всею,
В один порыв неудержимый с нею!
Но трезв был ум, и чужд ему восторг,
Надежды я не знал, ни опасенья...
Кто ж мощно так от них меня отторг,
Кто разрешил от тягости хотенья?
Со злобой дня души постыдный торг
Стал для меня без смысла и значенья,
Для всех тревог бесследно умер я

141

И ожил вновь в сознанье бытия...
Тут пронеслось как в листьях дуновенье,
И как ответ послышался мне:
Задачи то старинной разрешенье
В таинственном ты видишь полусне!
То творчества с покоем соглашенье,
То мысли пыл в душевной тишине... {29}

XII

Я не имел в виду излагать и разбирать все написанное А. Толстым; я хотел только напомнить в общих чертах существенное содержание его поэзии. О многом хорошем и превосходном (например, "Дракон", "Алхимик", трилогия {30}) я вовсе не упоминал, указывая только главное. При всем различии возможных эстетических оценок, никто не усомнится, я уверен, дать за поэта добрый ответ на вопрос, которым оканчивается одно из последних его стихотворений:

Всему настал покой, прими же его и ты,
Певец, державший стяг во имя красоты!
Проверь, усердно ли ее святое семя
Ты в борозды бросал, оставленные всеми,
—По совести ль тобой задача свершена,

И жатва дней твоих обильна иль скудна?_ {31}

да! задача свершена им по совести, и содержание того, что им оставлено, важно и обильно. Как поэт, Толстой показал, что можно служить чистому искусству, не отделяя его от нравственного смысла жизни, – что это искусство должно быть чисто от всего низменного и ложного, но никак не от идеиного содержания и жизненного значения. Как мыслитель, он дал в поэтической форме замечательно ясные и стройные выражения старому, но вечно истинному платоническо-христианскому миросозерцанию. Как патриот, он горячо стоял за то именно, что всего более нужно для нашей родины, и при этом – что еще важнее – он сам представлял собою то, за что стоял: _живую силу свободной личности_.

У русского народа есть важные добродетели преимущественно перед народами Запада, – это именно те, которые общи нам с близким нам Востоком: созерцательность, покорность, терпение. Этими добродетелями долго держалась наша духовная метрополия – Византия, однако они не могли спасти ее. Значит, одних этих восточных свойств и преимуществ самих по себе – мало. Они не могут уберечь великую нацию, если к ним не присоединится тот другой

142

элемент, который, конечно, не чужд России, как стране европейской и христианской, но по историческим условиям имел доселе у нас (как и в Византии) лишь слабое развитие, – я разумею _сознание безусловного человеческого достоинства, принцип самостоятельной и самодеятельной личности_. Поэт, которого мы теперь помянули, был одним из очень редких у нас носителей этого истинно человеческого жизненного начала, в развитии которого главное условие будущности каждого народа. И с этой стороны его произведения привлекательны и значительны своею искренностью: он стоял в них за то, что было глубоко заложено в нем самом, – так как он сам был сильно и свободно индивидуальностью, человеком внутреннего достоинства, чести и правды прежде всего. Эти качества не суть единственные добродетели, но без них все прочие стоят немного; без них отдельный человек есть только произведение одной внешней среды, а сама такая среда является стадом.

143

КОММЕНТАРИИ. ПОЭЗИЯ ГР. А. К. ТОЛСТОГО

Впервые напечатана в "Вестнике Европы", 1895, № 5, с. 237–259.

Соловьев лично не знал А. К. Толстого, но был дружен с его вдовой Софьей Андреевной, почасту бывал в толстовской усадьбе Пустынька под Петербургом, принимал участие в разборе бумаг поэта. После смерти С. А. Толстой в 1892 г. он настоятельно советовал ее племянникам Д. Н. Цертелеву и С. П. Хитрово подготовить к изданию письма А. К. Толстого. В 1893 г. он писал Цертелеву: "Относительно писем, писанных к Софье Андреевне, выбор был ее дело, и она его в значительной степени исполнила. Сколько раз мне самому приходилось быть при этом исполнительным орудием – таскать в камин пачки писем, и тут же графиня откладывала другие и вырезала из них ножницами кусочки, говоря, что эти письма нужно напечатать, но необходимо уничтожить некоторые собственные имена. Такие письма с вырезанными именами я не могу считать _случайно_ сохранившимися: очевидно, они были прямо предназначены для печати самою графинею. И я полагаю, что С. П. (Хитрово) и ты достаточно были близки к обоим умершим, чтобы взять на себя докончить это дело в желательном смысле без нарушения их воли" (Письма, 2, 267). В 1895 и 1897 гг. значительная часть эпистолярного наследия Толстого была напечатана в "Вестнике Европы" при содействии Соловьева. К поэзии А. К. Толстого Соловьев-критик впервые обратился в 1890 г. в статье "Иллюзия поэтического творчества".

{1} Из стихотворения "Поэт и толпа" (1828).

{2} Начало стихотворения Толстого "Господь, меня готовя к бою..." (1857).

{3} Стихотворение "Двух станов не боец, но только гость случайный..." (1858).

{4} Из стихотворения Пушкина "Поэт" (1827).

{5} Соловьев неточно цитирует строки из стихотворения Пушкина "Я памятник себе воздвиг нерукотворный..." (1836).

{6} Строки из стихотворения Пушкина "Герой" (1830).

393

{7} На стихотворение Пушкина "Дар напрасный, дар случайный..." (1828) московский митрополит Филарет (Дроздов) написал стихотворное возражение "Не напрасно, не случайно...". Пушкинским ответом Филарету можно считать стихотворение "В часы забав иль праздной скуки..." (1830), строки которого приводят Соловьев.

{8} Из стихотворения М. Ю. Лермонтова "И скучно, и грустно" (1840).

{9} Из стихотворения Ф. И. Тютчева "29-е января 1837" (1837).

{10} из стихотворения Толстого "Прозрачных облаков спокойное движенье..." (1874).

{11} Строки из стихотворения "Б. М. Маркевичу" (1856).

{12} из стихотворения А. Толстого "Против течения" (1867).

{13} Строки из поэмы "Иоанн Дамаскин" (1858).

{14} Строфы из стихотворения "Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре..." (1858).

{15} Иконоборчество возникло в Византии VIII - начала IX в. как религиозное и социально-политическое течение. Иконоборцы выступали против почитания икон и, шире, против искусства в целом. Иоанн Дамаскин, богослов и автор церковных песнопений, сурово осуждал истребление икон.

{16} Толстой, "Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель..." (1856).

{17} Из поэмы "Иоанн Дамаскин".

{18} Строки из баллады "Слепой" (1873).

{19} Строки из второй части драматической поэмы Толстого "Дон Жуан" (1859-1860).

{20} Ниже цитируются строки из пролога к "Дон Жуану". В 1883 г. в письме к В. П. Федорову Соловьев сетовал на то, что "русская изящная литература имеет мало общего с философией". Как исключение он называл толстовского "Дон Жуана" и трагедию А. Н. Майкова "Два мира" (Письма, 3, 5).

{21} Соловьев полностью приводит стихотворение Толстого "Меня, во мраке и в пыли..." (1851 или 1852).

{22} Строки из стихотворения "О, не спеши туда, где жизнь светлей и чище..." (1858).

{23} Имеется в виду переправа армии персидского царя Ксеркса через Геллеспонт (Дарданеллы) в 480 г. во время греко-персидской войны.

{24} Речь идет о событиях франко-пруссской войны 1870-1871 гг., приведших к падению режима Наполеона III и поражению Франции.

{25} В письме Толстого к Б. М. Маркевичу от 7 февраля 1869 г. есть следующие строки: "Ненависть моя к _московскому периоду_ - некая идиосинкразия, и мне вовсе не требуется принимать какую-то позу, чтобы говорить - о нем то, что я говорю. Это не какая-нибудь тенденция, это - я сам".

{26} Ниже пространно цитируются (с отдельными неточностями) строфы баллады "Змей Тугарин" (1867). В письме к Стасюлевичу от апреля 1895 г.

Соловьев объяснял обилие выписок: "Вы, может быть, на минуту заподозрите меня в склонности легким способом увеличивать объем статьи, а чтобы избавить Вас от такой несправедливой мысли, предлагаю следующее объяснение: баллада эта есть место, куда прибит заключительный гвоздь статьи, между тем если ограничиться в ней только необходимыми для гвоздя пассажами, то может выйти слишком сильно, единственный способ - цитировать ее если не целиком, то все-таки большими кусками" (Письма, 4, 69).

{27} Ормузд и Аriman - общепринятые в европейских языках имена двух противоположных и противоборствующих начал в религии древних персов: божества, покровительствующего добрым силам, Ахурамазда (Ормузд) и его антипода и врага Анхра-Майнью (Аrimан).

{28} Баллада "Чужое горе" написана в 1866 г.

{29} Стихотворение "Земля цвела. В лугу, весной одетом...", написанное А. К. Толстым в последний год жизни, Соловьев цитирует полностью за исключением двух последних строк.

{30} Имеются в виду поэмы "Дракон" (1875) и "Алхимик" (1867), а также драматическая трилогия "Смерть Иоанна Грозного", "Царь Федор Иоаннович", "Царь Борис", над которой Толстой работал в 1862-1869 гг.

{31} Из стихотворения "Прозрачных облаков спокойное движенье..." (1874).

Поэзия Я П Полонского

Владимир Сергеевич Соловьев

Поэзия Я.П.Полонского

I

Самый вдохновенный из английских поэтов, Шелли, так говорит о начале своего творчества:

Есть Существо, есть женственная Тень,

Желанная в видениях печальных.

На утре лет моих первоначальных

Она ко мне являлась каждый день,

И каждый миг среди лесных прогалин,

Среди завороженных диких гор,

Среди воздушных замков и развалин

Она пленила детский жадный взор.

Меняясь в очертаньях несказанных,

Скользя своей стопой по ткани снов.

Она пришла с далеких берегов,

Из областей загадочно-туманных,

Красавицей нездешних островов,

И в летний день, ликующий и жаркий,

Когда небесный свод огнем блистал,

Она прошла такой чудесно-яркой.

Что я - увы! - ее не увидал.

Но и невидимая в своем собственном образе, она давала себя чувствовать поэту во всем, что было от нее:

В глубокой тишине уединенья,
Среди благоухания цветов.
Под шум ручьев, под звонкое их пенье,
Сквозь гул неумолкающих лесов,
Она со мною тихо говорила,
И все дышало только ей одной,
Река с своей серебряной волной,
И сонмы туч, и дальние светила,
Влюбленный воздух, теплый ветерок,
И дождевой сверкающий поток,

155

И пенье летних птиц, и все, что дышит,
Что чувствует, звучит, живет и слышит.

В словах высоких вымыслов и снов,
И в песнях и в пророчествах глубоких,
В наследии умчавшихся веков,
Отшедших дней и близких, и далеких,
В любви к другим, в желаньи светлым быть,
В сказаньях благородного ученья,
Что нам велит навек себя забыть
И познавать блаженный смысл мученья,
Во всем она сквозила и жила,
В чем правда и гармония была*.

Все истинные поэты так или иначе знали и чувствовали эту "женственную Тень", но немногие так ясно говорят о ней; из наших яснее всех - Я. П. Полонский. Это тем более замечательно, что если мы возьмем совокупность его произведений (хотя бы только стихотворных), то далеко не найдем здесь той полной гармонии между вдохновением и мыслью и той твердой веры в живую действительность и превосходство _поэтической_ истины сравнительно с мертвящею рефлексией,- какими отличаются, например, Гете или Тютчев. Отзывчивый сын своего века, Полонский был впечатлителен и к тем движениям новейшей мысли, которые имели антипоэтический характер; во многих его стихотворениях преобладает рассудочная рефлексия и прозаический реализм. И однако же, никто, после Шелли, не указал с такою ясностью на сверхчеловеческий "запредельный" и вместе с тем совершенно действительный и даже как бы личный источник чистой поэзии:

В дни ребячества я помню
чудный отроческий бред:
Полюбил я Царь-девицу,
Что на свете краше нет.

На челе сияло солнце,
Месяц прятался в косе,
По косицам рдели звезды,
Бог сиял в ее красе.

И жила та Царь-девица
Не доступна никому
И ключами золотыми
Замыкалась в терему.
Только ночью выходила
Шелестеть в тени берез:
То ключи свои роняла,

То роняла капли слез. _____ * Цитирую по прекрасному переводу г. К. Бальмонта (Соч. Шелли, выпуск 4, Москва, 1896).

156

Только в праздники, когда я
Полусонный брел домой,
Из-за рощи яркий, влажный
Глаз ее следил за мной.
И уж как случилось это,
Наяву или во сне?!

Раз она весной, в час утра,
Зарумянилась в окне:
Всколыхнулась занавеска,
Вспыхнул роз маxровых куст,
И, закрыв глаза, я встретил
Поцелуй душистых уст.
Но едва-едва успел я
Блеск лица ее поймать,
Ускользая, гостья ко лбу
Мне прижгла свою печать.
С той поры ее печати
Мне ничем уже не смыть,
Вечно юной Царь-девице
Я не в силах изменить...
Жду, – вторичным поцелуем
Заградив мои уста,

Красота в свой тайный терем

Мне отворит ворота {1}.

Ясно, что поэт здесь искренен, что это его настоящая вера, хотя бы порою он и колебался в ней. Пусть, уступая на минуту ходячему мнению, он называет откровение истины - "бредом", - он "не в силах изменить" тому, что ему открылось в этом бреду. Для его лучшего сознания красота и поэзия не могла уже быть пустым обманом, он, как и Шелли, знал, что это - существо и истинная сущность всех существ, и если она и является как тень, то не от земных предметов. "_Есть_ существо, _есть_ женственная тень...". "Бог сиял в ее красе..." Так ли говорят поэты, не верящие в поэзию? Для блестящего и несчастного Лермонтова она была лишь созданием его мечты.

Люблю мечты своей созданье

С глазами полными лазурного огня,

С улыбкой розовой, как молодого дня

За рощей первое сиянье... {2}

Но если поэтическая истина есть только создание мечты, то вся жизнь есть лишь "пустая и глупая шутка", с которой всего лучше покончить в самом начале. Счастлив поэт, который не потерял веры в женственную Тень Божества, не изменил вечно юной Царь-девице: и она ему не изменит и сохранит юность сердца и в ранние, и в поздние годы.

157

II

Много поэтических мыслей, благородных чувств и чудесных образов внушила неизменившему ей певцу его Царь-девица. Прежде чем отметить и подчеркнуть в отдельности те стихотворения и части стихотворений, на которых особенно видна ее печать, укажу на общую им всем черту, отличающую творчество Полонского сравнительно с другими поэтами, не только уступающими или равными ему, но и превышающими его силой художественного гения. Впрочем, с точки зрения строгой эстетической доктрины эта отличительная черта в поэзии Полонского, может быть, скорее недостаток, чем достоинство, - я этого не думаю, - во всяком случае несомненно, что эта черта оригинальная и в высшей степени пленительная. Ее можно выразить так, что в типичных стихотворениях нашего поэта самый процесс вдохновения, самый переход из обычной материальной и житейской среды в область поэтической истины остается ощущительным: чувствуется как бы тот удар или толчок, тот взмах крыльев, который поднимает душу над землею. Этот переход из одной сферы в другую существует, конечно, для всех поэтов, так как он есть неизбежное условие истинного творчества; но у других поэтов он далеко не так чувствителен, в их произведениях дается уже чистый результат вдохновения, а не порыв его, который остается скрытым, тогда как у Полонского он прямо чувствуется, так сказать, в самом звуке его стихов.

Вот два примера наудачу. Стихотворение "Памяти Ф. И. Тютчева":

Оттого ль, что в Божьем мире

Красота вечна,

У него в душе витала

Вечная весна,

Освежала зной грозою

И сквозь капли слез

В тучах радугой мелькала

Отраженьем грез.

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Оттого ль, что от бездущья,

Иль от злобы дня,
Ярче в нем сверкали искры
Божьего огня,
С ранних лет и до преклонных
Безотрадных лет
Был к нему неравнодушен
Равнодушный свет.

Оттого ль, что не от света
Он спасенья ждал,
Выше всех земных кумиров

158

Ставил идеал,
Песнь его глубокой скорбью
Западала в грудь
И как звездный луч, тянула
В бесконечный путь.

Разве не чувствуется здесь, как тот звездный луч, который тянул Тютчева, тянет и самого Полонского в тот же бесконечный путь вверх от бездущья и злобы дня. В последней строфе, которую не привожу, поэт опять спускается в эту злобу дня и прозу {3}. Внимательный читатель заметит кое-что прозаическое и в трех приведенных строфах, но в такой мере, которая не только не мешает их чарующему впечатлению, а, напротив, входит в его состав: чувствуешь в поэтическом порыве и ту землю, от которой он оттолкнулся.

То не ветер – вздох Авроры
Всколыхнул морской туман;
Обозначились горы
И во мгле Данаев стан... {4}

В этом вздохе Авроры разве не слышится вздох поэзии, всколыхнувший житейский туман в душе поэта? К лучшим стихотворениям Полонского всего более применимо то удивительное определение или описание поэзии, которое дает гениальный лирик фет:

Одним толчком согнать ладью живую
С наглаженных отливами песков,
Одной волной подняться в жизнь иную.
Учуять ветр с цветущих берегов.
Тоскливыи сон прервать единым звуком,
Упиться вдруг неведомым, родным,
дать жизни вздох, дать сладость тайным мукам,
Чужое вмиг почувствовать своим;

Шепнуть о том, пред чем язык немеет,
Усилить бой бестрепетных сердец,
Вот чем певец лишь избранный владеет!
Вот в чем его и признак и венец! {5}

Этот размах и толчок, сгоняющий живую ладью поэзии с гладких песков прозы, почти всегда чувствуется у нашего поэта - чувствуется даже тогда, когда он остался неуспешным, только раскачал, но не сдвинул ладью, - как, например, в юбилейном гимне Пушкину: и здесь ощущителен порыв вдохновения, но без соответствующего результата - само стихотворение неудачно и легко поддается пародии. Но зато как прекрасно юбилейное приветствие, обращенное к Фету:

159

Ночи текли,- звезды трепетно в бездну лучи свои сеали...
Капали слезы,- рыдала любовь,- и алел
Жаркий рассвет,- и те грезы, что в сердце мы тайно лелеяли,
Трель соловья разносила, и бурей шумел
Моря сердитого вал,- думы зрели и - реяли
Серые чайки... Игру эту боги затеяли... {6}

Поэзия есть участие человека в этой игре, затеянной богами; каждый поэт видит ее и участвует в ней по-своему.

III

Область и характер поэзии Полонского как будто заранее очерчены в одном из его первых по времени стихотворений:

Уже над ельником, из-за вершин колючих
Сияло золото вечерних облаков,
Когда я рвал густую сеть плавучих
Болотных трав и водяных цветов.
То окружая нас, то снова расступаясь,
Сухими листьями шумели тростники;
И наш челнок шел, медленно качаясь,
Меж топких берегов извилистой реки.
От праздной клеветы и злобы черни светской,
В тот вечер наконец мы были далеко,
И смело ты могла с доверчивостью детской
Себя высказывать свободно и легко,
И голос твой пророческий был сладок,
Так много в нем дрожало тайных слез,
И мне пленительным казался беспорядок
Одежды траурной и светло-русых кос.
Но грудь моя тоской невольною сжималась,

Я в глубину глядел, где тысячи корней
Болотных трав невидимо сплеталось,
Подобно тысяче живых зеленых змей.
И мир иной мелькал передо мною,
Не тот прекрасный мир, в котором ты жила...
И жизнь казалась мне сурою глубиною
С поверхностью, которая светла {7}.

Спутница поэта в ту минуту - кто бы она ни была и как бы ее ни звали являлась верным прообразом его поэтической деятельности. "Пленительным беспорядком" отличаются его произведения; есть и в них земной траур по мирскому злу и горю, но голова его музы сияет золотистым отражением небесного света; и в ее голосе смешиваются тайные слезы переживаемого горя с пророческою сладостью лучших надежд; чувствительная - быть может даже слишком - к праздности злобе светской, она стремится уйти туда, где за колючими вершинами земли сияет золото вечер

160

них облаков, и там высказывается свободно и легко, с доверчивостью детской.

Полонский, как все истинные поэты и мыслители, ясно видит противоположность между тем прекрасным и светлым миром, в котором живет его муз, и тою сурою и темною глубиною жизни, где сплетаются болотные растения своими змеинymi корнями. Но как же он относится к этой общей и основной противоположности, - в чем особенность его миросозерцания? Для сравнения возьмем двух наиболее родственных ему лириков - Тютчева и фета.

Тютчев, который глубже других поэтов чувствовал и ярче выражал и темную основу всякой жизни, и светлый покров, наброшенный на нее богами, примирял эту коренную противоположность чисто религиозным упнованием на окончательную победу светлого начала в Христе и в будущем христианском царстве. Фет, на которого тьма и тяжесть бытия действовала более своею житейскою стороною, обращенною к практической воле, не думал ни о каком примирении или разрешении, а просто _уходил_ в дрожащие напевы своей поэзии (его собственные слова: "...и отчего в дрожащие напевы я уходил, и ты за мной уйдешь...") {8}. Для фета между двумя мирами нет ничего общего, они исключают друг друга, и если жить и действовать приходится в мире практической воли, себя пожирающей, то петь и творить можно, только совсем забывая об этом злом мире, решительно повертываясь к нему спиной и уходя в область чистого созерцания.

Полонский не остается при этой двойственности и разобщенности; не отворачиваясь безнадежно от темной жизни, не уходя всецело в мир чисто поэтических созерцаний и ощущений, он ищет между этими двумя областями примирения и находит его в той идее, которая уже давно носилась в воздухе, но вдохновляла более мыслителей и общественных деятелей, нежели поэтов. У Полонского она сливаются с его поэзией, входя более или менее явно в его художественное настроение. Это идея _совершенствования_, или прогресса.

Над жизнью земного человека наш поэт не ставит, подобно переводчику Шопенгауэра {9}, надпись из дантовского ада; для него эта жизнь не ад, а только _чистилище_, она возбуждает в нем печаль, но не безнадежность. Хотя он не видит в истории тех ясных идеалов, в которые верил Тютчев, но она не есть для него, как для фета, только торжище развратной толпы, буйной от хмеля преступлений, - он слышит в ней глагол, в пустыне вопиющий, неумолкаемо зовущий:

161

О подними свое чело!
Не верь тяжелым сновиденьям

Чтоб жизнь была тебе понятна,
Иди вперед и невозвратно

Туда, где впереди так много
Сокровищ спрятано у Бога {10}.

Та безмятежная блаженная красота, которая открывается поэтическому созерцанию природы, должна будет открыться и в жизни человечества:

О, в ответ природе

Улыбнись, от века

Обреченный скорби

Гений человека!

Улыбнись природе!

Верь знаменованью:

Нет конца стремленью;

Есть конец страданью! {11}

Сильнее, чем в этих отвлеченных стихах, выражается бодрое чувство надежды на лучшую будущность в стихотворении "На корабле", - прекрасном образчике истинно поэтической аллегории, в которой конкретный частный образ так внутренне связан с более общею идеей, так ясно ее выражает, что вовсе нет надобности в особом указании на нее или в истолковании смысла стихотворения: этот смысл и его конкретное выражение здесь нераздельно слиты.

Стихает. Ночь темна. Свисти, чтоб мы не спали!..

Еще вчерашняя гроза не унялась:

Те ж волны бурные, что с вечера плескали,

Не закачав, еще качают нас.

В безлунном мраке мы дорогу потеряли,

Разбитым фонарем не освещен компас.

Неси огня, звони, свисти, чтоб мы не спали!

Еще вчерашняя гроза не унялась...

Наш флаг порывисто и беспокойно веет;

Наш капитан впотьмах стоит раздумья полн...

Заря, друзья, заря! Глядите, как яснеет

И капитан, и мы, и гребни черных волн.

Кто болен, кто устал, кто бодр еще, кто плачет,

Что бурей сломано, разбито, снесено

Все ясно: Божий день, вставая, зла не прячет...

Но не погибли мы, и много спасено...

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Мы мачты укрепим, мы паруса подтянем,

Мы нашим топотом встревожим праздных лень,
И дальше в путь пойдем и дружно песню грянем:
Господь, благослови грядущий день! {12}

162

Светлых надежд на спасение родного корабля поэт не отделяет от веры в общее всемирное благо. Широкий дух бесчеловечности, исключающий национальную вражду, свойствен более или менее и другим нашим, как и вообще всем истинным, поэтам; но из русских, после Алексея Толстого, он всех решительнее и сознательнее выражается у Полонского, особенно в двух стихотворениях, посвященных Шиллеру и Шекспиру {13}.

С вавилонского столпотворенья
И до наших дней – по всей земле
Дух вражды и дух разъединенья
Держат мир в невежестве и зле.

.....
У разноязычных, у разноплеменных,
У враждебных стран во все века
Только два и было неизменных
Всем сердцам понятных языка:
Не кричит ли миру о союзе кровном
Каждого ребенка первый крик,
Не для всех ли наций в роднике духовном
Черпает силу гения язык?
Не затем ли вся Европа встала,
Засветила тысячи огней
И отпела, и отликовала
Шиллера столетний юбилей.

Полонский, при всей своей неосторожности, свободен от обманов ребяческого оптимизма и не ждет золотого века на завтрашний день; он не думает, как один знаменитый писатель, что еще одно усилие людей благонамеренных и – и на земле водворяется мир, правда и блаженство.

Лучших дней не скоро мы дождемся:
Лишь поэты, вестники богов,
Говорят, что все мы соберемся
Мирно разделять плоды трудов,
Что безумный произвол свобода свяжет,
Что любовь прощеньем свяжет грех,
Что победа мысли смертным путь укажет
К торжеству отрадному для всех...

Путь далек, но вся Европа встала - и т. д.

Прогресс все-таки есть, хотя он меряется не годами, а лишь целыми веками:

Но вперед шагая с каждым веком,

Что мы видим в наш железный век?

Видим,- в страхе перед человеком

163

Опускает руки человек,

В побежденных сила духа воскресает...

Победитель, раздражая свет,

Не затем ли меч свой грозный опускает,

Что его пугает гром побед?

Меч упал, и вся Европа встала - и т. д.

.....

О, Германии поэт всемирный!

для тебя народы все равны,

Откликаюсь я на звон твой лирный

Тихим трепетом одной струны...

Той живой струны, что в глубине сердечной,

Братия, у всех у нас звучит

Всякий раз, когда любви нам голос вечный

Божий голос - громко говорит.

В том же смысле и обращение к Шекспиру:

Европы сын, повитый Альбионом!

Пока растет Европа - ты растешь...

Как Греция прошла на Запад с Аполлоном,

Так ныне на Восток с Европою, с законом

Искусства вечного ты с Запада идешь:

И раздвигается вдоль Севера граница

Так, если некогда китайским языком

Заговорят тобой в мир вызванные лица,

Мы за тобой в Китай с Европою пойдем.

Это было сказано более тридцати лет тому назад и оказалось пророчеством, которое ныне начинает сбываться.

IV

В ранние годы надежды нашего поэта на лучшую будущность для человечества были связаны с его юношеской безотчетною верою во всемогущество науки:

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Царство науки не знает предела,

Всюду следы ее вечных побед
Разума слово и дело,
Сила и свет.

.....

Миру как новое солнце сияет
Светом науки, и только при нем
Муза чело украшает
Свежим венком {14}

Но скоро та же муза разрушила в нашем поэте это наивное поклонение мнимому царству науки, которая на самом деле только познает то, что бывает, а не творит то, что должно быть; он понял, что "мир с могущественной

164

ложью и бессильною любовью" может быть спасен и обновлен лишь иною, вдохновляющею силой - силой нравственной правды и верою "в Божий суд или Мессию":

С той поры, мужая сердцем,
Постигать я стал, о Муза,
Что с тобой без этой веры
Нет законного союза {15}.

Чем более зрею становится поэзия Полонского, тем явственнее звучит в ней религиозный мотив, хотя и в последних стихотворениях выражается более стремление и готовность к вере, нежели положительная уверенность.

жизнь без Христа - случайный сон.

Блажен, кому дано два слуха,
Кто и церковный слышит звон,
И слышит вещий голос духа {16}.

И то и другое слышнее в тихий вечер жизни. Все обмануло, все прошло, остается только вечность и ее земной залог:

На все призывы без ответа
Уходишь ты, мой серый день,
Один закат не без привета,
И не без смысла эта тень.

.....

Я к ночи сердцем легковерней,
Я буду верить как-нибудь,
Что ночь, гася мой свет вечерний,
Укажет мне на звездный путь.
Чу! колокол... душа поэта,

.....

И жизнь и смерти призрак - миру
О чем-то вечном говорят,
И как ни громко пой ты,- лиру
Колокола перезвонят {17}.

Откуда, однако, это соперничество? И зачем подходить слишком близко к колокольне? Пусть поэт слушает колокола на том расстоянии, на котором их звон трогает, а не оглушает, и пусть его лира поет о том же вечном, о чем звенят и они. Между духом, говорящим в лучших произведениях Полонского, и голосом истинной религии, конечно, нет никакого противоречия, и наш славный поэт может с доброй совестью благословлять вечерний звон, с которым так хорошо гармонирует его неослабевающее вдохновение.

165

V

Индивидуальностью у каждого поэта, - как и у всякого другого существа, мы называем то, что свойственно ему исключительно, в чем у него нет ничего общего с другими. Это есть та, совершенно особенная, своеобразная печать, которая налагается существом на все, ему принадлежащее, - у поэта, в частности, - на все, что становится предметом его творчества. Ясно, что в каждом единичном случае, для этого поэта, например, его индивидуальный характер, как не выражющий никакого общего понятия, вовсе не может быть определен словами, точно описан или рассказан. Индивидуальность есть неизреченное, или неказанное, что только чувствуется, но не формулируется. Оно может быть только закреплено собственным именем, и потому первобытная мудрость народов видела в имени выражение самой глубочайшей сущности, самой подлинной истины именуемого предмета.

Поэтому, если говорят, - как это приходится иногда слышать и читать, что задача критики есть воспроизведение индивидуальности разбираемого писателя, то это явное недоразумение. Критика есть во всяком случае рассуждение, а прямым содержанием рассуждения не может быть то, что не выражается в общих понятиях. Воспроизводить индивидуальное само по себе есть дело не критика, а поэта; да и то, если это поэт по преимуществу лирический, то он рискует при этом выразить более свою, нежели чужую, индивидуальность. Так, например, в прекрасном стихотворении Я. П. Полонского о Тютчеве, приведенном в начале моей статьи ("Оттого ль, что в Божьем мире красота вечна..."), хотя чувствуется в некоторой мере индивидуальность Тютчева, но еще более отражается индивидуальность самого Полонского.

Прямая задача критики, - по крайней мере философской, понимающей, что красота есть ощущительное воплощение истины, - состоит в том, чтобы разобрать и показать, что именно из полноты всемирного смысла, какие его элементы, какие стороны или проявления истины особенно захватили душу поэта и по преимуществу выражены им в художественных образах и звуках. Критик должен "вскрыть глубочайшие корни" творчества у данного поэта не со стороны его психических мотивов - это более дело биографа и историка литературы, - а главным образом со стороны объективных основ этого творчества или его идейного содержания.

166

Что же касается до единичной и единственной в своем роде индивидуальности данного поэта, налагающей свою неказанную печать на его творчество, то ее можно только отмечать, указывая на те произведения, в которых эта индивидуальность чувствуется с наибольшою ясностью и полнотою {18}.

Вот, например, "Зимний путь" Полонского:

Ночь холодная мутно глядит

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Под рогожу кибитки моей;

Под полозьями поле скрипит,
Под дугой колокольчик гремит,
А ямщик погоняет коней.

.....

Мне все чудится, будто скамейка стоит,
На скамейке старуха сидит,
До полуночи пряжу прядет,
Мне любимые сказки мои говорит,
Колыбельные песни поет.

Или, например, это ("Качка в бурю"):

.....

Снится мне: я свеж и молод,
Я влюблен, мечты кипят...
От зари роскошный холод
Проникает в сад.
Скоро ночь, - темнеют ели...
Слышу ласково-живой
Тихий лепет: "на качели
Сядем, милый мой!"
Стан ее полу воздушный
Обняла моя рука,
И качается послушно
Зыбкая доска...

.....

Или, наконец, вот это ("Колокольчик"):

Улеглася метелица, путь озарен...
Ночь глядит миллионами тусклых очей.
Погружай меня в сон, колокольчика звон,
Выноси меня, тройка усталых коней!
Мутный дым облаков и холодная даль
Начинают яснеть: белый призрак луны
Смотрит в душу мою и былую печаль
Наряжает в забытые сны.
То вдруг слышится мне, - страстный голос поет,
С колокольчиком дружно звеня:

"Ах, когда-то, когда-то мой милый придет
Отдохнуть на груди у меня!"

167

У меня ли не жизнь! Чуть заря на стекле
Начинает лучами с морозом играть,
Самовар мой кипит на дубовом столе
И трещит моя печь, озаряя в угле
За цветной занавеской кровать...

У меня ли не жизнь! Ночью ль ставень открыт,
По стене бродит месяца луч золотой;
Забушует ли вьюга,- лампада горит.

И, когда я дремлю, мое сердце не спит,
Все по нем изнывая тоской!"

То вдруг слышится мне,- тот же голос поет,
С колокольчиком грустно звеня:
"Где-то старый мой друг? я боюсь,- он войдет
И, ласкаясь, обнимет меня!

Что за жизнь у меня! - И тесна и темна,
И скучна моя горница: дует в окно...

За окошком растет только вишня одна.
да и та за промерзлым окном не видна
И, быть может, погибла давно..."
.....

Всякий согласится, что в этих трех образчиках индивидуальности поэта чувствуется с полною ясностью, что никто, кроме Полонского, не мог бы написать этих стихов,- и, однако, пусть кто-нибудь попробует определить, описать или рассказать эту индивидуальную особенность, которой они запечатлены! Можно, конечно, указать разные признаки, как-то: соединение изящных образов и звуков с самыми прозаическими представлениями; например, в первом стихотворении "рогожа кибитки", а в последнем "дует ветер в окно"; затем - смелая простота выражений, как во втором примере "я влюблен"; далее можно указать, что во всех этих стихотворениях выражаются полусонные, сумеречные, слегка бредовые ощущения. Такие указания будут совершенно верны, но совершенно недостаточны; ибо, во-первых, все эти признаки можно найти и у других поэтов, а, во-вторых, у Полонского найдутся стихотворения также типичные, но в которых эти особенности не замечаются, например:

Пришли и стали тени ночи
На страже у моих дверей,
Смелей глядит мне прямо в очи
Глубокий мрак ее очей - и т. д. {19}.
Или:

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
ты, с которой так много страдания

Терпеливой я прожил душой,
Без надежды на мир и свидание
Навсегда я простился с тобой.
Но боюсь, если путь мой протянется

168

Из родимых полей в край чужой.
Одинокое сердце оглянется
И забывается знакомой тоской - и т. д. {20}.

Можно наконец печать индивидуальности видеть главным образом в преобладании тех или других звуковых сочетаний у данного поэта, но это уже конец критики, и притом конец довольно слабый; ибо ясно, что поэтическая индивидуальность никак не происходит от звукового характера стихов, а, напротив, этот специфический звуковой характер имеет свое внутреннее основание в духовной индивидуальности поэта:

Чу! Поведай чуткий слух:
Ветер это или дух?
Это ветра шум - для слуха...
Это веющий дух - для духа {21}.

Вообще индивидуальность есть нечто первоначальное и неразложимое, и никакие определенные особенности, ни отдельно взятые, ни в соединении, не могут ее составить и выразить. Поэтому для "воспроизведения индивидуальности" поэта критику остается один способ: указывать на нее, так сказать, пальцем, т. е. отмечать и по возможности приводить те произведения, в которых эта индивидуальность сильнее проявилась и легче чувствуется. А затем главная, собственно критическая задача состоит все-таки не в воспроизведении, а в оценке данной поэтической деятельности по существу, т. е. как прекрасного предмета, представляющего в тех или других конкретных формах правду жизни, или смысл мира.

VI

Поэзия, как высший род художества, по-своему заключает в себе элементы всех других искусств. Истинный поэт влагает в свое слово нераздельно с его внутренним смыслом и музыкальные звуки, и краски, и пластичные формы. У различных поэтов легко заметить преобладание того или другого из этих элементов, то или другое их сочетание. В больших вещах Полонского (за исключением безупречного во всех отношениях "Кузнецика-Музыканта") очень слаба архитектура: некоторые из его поэм недостроены, другие загромождены пристройками и надстройками. Пластическая (скульптурная) сторона сравнительно также мало выдается в его стихотворениях. Зато в сильной степени и равной

169

мере обладает поэзия Полонского свойствами музыкальности и живописности. Особенно выступает поэт-живописец в кавказских стихотворениях Полонского. Здесь ему предшествовали Пушкин и Лермонтов, но он не заимствовал от них красок, и его картины Кавказа гораздо ярче и живее, чем у них. Не только Лермонтов, но даже и Пушкин брал Кавказ живьем лишь со стороны внешней природы, а человеческая действительность этого края изображается у него хотя верными, но слишком общими чертами. (Несравненное стихотворение: "Стамбул гяуры нынче славят" не относится сюда.) Напротив, в кавказских стихотворениях Полонского именно местная жизнь схвачена в ее реальных особенностях и закреплена яркими и правдивыми красками. Сравните, например, лермонтовскую легендарную "Тамару", при всем ее словесном великолепии, с историческою "Тамарой" Полонского:

Молодые вожди, завернув в башлыки
Свои медные шлемы, стоят
И внимают тому, что отцы старики
Ей в ответ говорят... {22}

Я не говорю про такое, например, чисто описательное произведение, как "Прогулка по Тифлису", которое можно, пожалуй, упрекнуть в фотографичности, но и чисто лирические стихотворения, вдохновленные Кавказом, насыщены у Полонского настоящими местными красками {23}. Вот, например, "После праздника":

Вчера к развалинам, вдоль этого ущелья
Скакали всадники, и были зажжены
Костры, и до утра был слышен гул веселья,
Пальба и барабан и вой зурны.
Из уст в уста ходила _азарпеша_,
И хлопали в ладоши сотни рук,
Когда ты шла, Майко, сердца и взоры теша,
Плясать по выбору застенчивых подруг.
Сегодня вновь безлюдное ущелье
Глядит пустыней, мирная пальба
Затихла, выспалось похмелье,
И съехала с горы последняя арба...

.....
Что ж, медлю я... Бично! - ты конюх мой проворный,
Коня!.. Ее арбу два буйвола с трудом
Везут,- догоним... Вон, играет ветер горный
Катибы бархатной пунцовыми рукавом.

Сравните благородных, но безымянных черкесов романтической поэзии - с менее благородными, но зато настоящими живыми туземцами, вроде татарина Агбара или героического разбойника Тамур-Гассана.

170

Вставай, привратник, отворяй
Ворота в караван-сарай!
Готовь ночлег для каравана
И в гости жди и угощай
Разбойника Тамур-Гассана!
Далеко слух идет о нем:
Тамур-Гассану нипочем
Отбить быков, связать чабана

дрожит при имени Гассана.

.....
Молва не даром бережет
Его от пули и булата,
Он в трех империях живет
И с каждой в дань себе берет
Коней, оружие и злато.

.....
В народе знают, что Гассан
Хоть и в горах живет скитальцем,
Сам по себе такой же хан,
Возьмет червонцы у армян,
Но бедняка не тронет пальцем.
даст богомольцу золотой
И с Богом в путь его проводит.

Мы помним, каким бесцветным языком изъясняются кавказские героини у Пушкина и Лермонтова. Даже влюбившись в демона, княжна Тамара не находит яких слов и читает стихи точно на уроке из русской словесности:

Отец, отец, оставь угрозы,
Свою Тамару не брани,
Я плачу, видишь эти слезы.
Уже не первые они - и т. д. {24}.

Таких литературных упражнений мы у Полонского не находим. Вот каким настоящим языком говорят у него кавказские женщины:

Он у каменной башни стоял под стеной;
И я помню, на нем был кафтан дорогой,
И мелькала под красным сукном
Голубая рубашка на нем...

.....
Золотая граната растет под стеной;
Всех плодов не достать никакою рукой;
Всех красивых мужчин для чего
Стала бы я привораживать!..
Разлучили, сгубили нас горы, холмы
Эриванские! Вечно холодной зимы
Вечным снегом покрыты они!..

В той стране, милый мой, не забудешь ли ты?

.....
171

Говорят, злая весть к нам оттуда пришла?

За горами кровавая битва была!

Там засада была... Говорят,

Будто наших сарбазов отряд

Истреблен ненавистной изменой... чу!

Кто-то скачет, копыта стучат...

Пыль столбом... Я дрожу и молитву шепчу...

Не бросай в меня камнями!..

Я и так уж ранена...

VII

Кавказская жизнь не была только картиною для молодого поэта; она, по-видимому, сильно задела и его личное существование. Но он сохранил свободу души и ясность поэтического сознания:

Я не приду к тебе... Не жди меня! Недаром,

Едва потухло зарево зари,

Всю ночь зурна звучит за Авлабаром,

Всю ночь за банями поют сазандари.

.....
Не ты ли там стоишь на кровле под чадрою

В сияньи месячном? Не жди меня, не жди!

Ночь слишком хороша, чтоб я провел с тобою

Часы, когда душе простора нет в груди...

Когда сама душа, сама душа не знает,

Какой еще любви, каких еще чудес

Просить или желать, но просит, но желает,

Но молится пред образом небес,

И чувствует, что уголок твой дущен,

Что не тебе моим моленьям отвечать...

Не жди! Я в эту ночь к соблазнам равнодушен,

Я в эту ночь к тебе не буду ревновать.

Неизвестно, как отнеслась прекрасная грузинка к этому простодушно-нелюбезному обращению и чем она его объяснила; но для нас совершенно ясно, что главная причина тут была "Царь-девица" (см. начало статьи), которая напомнила о себе поэту своим отражением в ночном небе и не допустила его погружаться в омут "соблазнов" более, чем следовало.

Как итог всего пережитого им на Кавказе, поэт вынес бодрое и ясное чувство духовной свободы.

Душу к битвам житейским готовую
Я за снежный несу перевал...
Я Казбек миновал, я Крестовую
Миновал, недалеко Дарьял.

Слышу, Терека волны тревожные

172

В мутной пene по камням шумят;
Колокольчик звенит и надежные
Кони юношу к северу мчат.
Выси гор, в облака погруженные,
Расступитесь! Приволье станиц...
Расстилаются степи зеленые...
Я простору не вижу границ.
И душа на простор вырывается
Из-под власти кавказских громад...
Колокольчик звенит - заливается,
Кони юношу к северу мчат.

.....

Все, что было обманом, изменою,
Что лежало на мне словно цепь,
Все исчезло из памяти - с пеной
Горных рек, выбегающих в степь.

Это чувство задушевного примирения, отнимающего у "житейских битв" их острый и мрачный, трагический характер, осталось у нашего поэта на всю жизнь и составляет преобладающий тон его поэзии. Очень чувствительный к отрицательной стороне жизни, к ее злобе и пустоте - он не сделался пессимистом, не впал в уныние, которое есть смертный грех не только для религии и философии, но также и для поэзии. В самые тяжелые минуты личной и общей скорби для него не закрывались "щели из мрака к свету".

Мой ум подавлен был тоской,
Мои глаза без слез горели;
Над озером сплетались ели,
Чернел камыш, - сквозили щели
Из мрака к свету над водой,
И много, много звезд мерцало;
Но в сердце мне ночной мгла
Холодной дрожью проникала,

Мне виделось так мало, мало

Лучей любви над бездной зла {25}.

Но эти лучи никогда не погасали в его душе, они отняли злобу у его сатиры и позволили ему создать его оригинальное произведение "Кузнечик-Музыкант" {26}.

Чтобы ярче представить сущность жизни, поэты иногда продолжают, так сказать, ее линии в ту или другую стороны. Так Данте вымотал человеческое зло в девяти грандиозных кругах своего ада. Полонский стянул и сковал обычное содержание человеческой жизни в тесный мирок насекомых. Данту пришлось над мрачною громадою своего ада воздвигнуть еще два огромные мира - очищающего огня и торжествующего света: Полонский мог вместить очищающий

173

и просветляющий моменты в тот же уголок поля и парка. Пустое существование, в котором все действительное мелко, а все высокое есть иллюзия существование человекообразных насекомых или насекомообразных людей, преобразуется, получает достоинство и красоту силою чистой любви и бескорыстной скорби. Этот смысл, разлитый во всей поэме, сосредоточивается в заключительной сцене - похорон, производящей до известной степени, несмотря на микроскопическую канву всего рассказа, то очищающее душу впечатление, которое Аристотель считал назначением трагедии.

Первостепенное место в русской поэтической литературе было бы обеспечено за Полонским в том случае, если бы он создал только "Кузнечика-Музыканта", подобно тому, как Грибоедов всем своим литературным значением обязан единственно своей знаменитой комедии. Но у Полонского, слава Богу, много и другого богатства, которому мы дали очень неполный инвентарь. Из более крупных жемчужин назовем еще "Кассандру".

Заметим, однако, что она не без изъяна, от которого, впрочем, ее очень легко было бы избавить, - стоит только зачеркнуть четвертую и пятую строфу, не изменяя ни буквы в предыдущем и последующем. Дело в том, что эти две строфы (от стиха "Аполлона жрец суровый" и до стиха "Шла из отчего дворца" включительно) составляют пояснительную вставку, излишнюю для понимания и решительно портящую поэтическое впечатление. Превосходный образ идущей на свидание с Аполлоном пророчицы:

Лишь Кассандра легче тени,

Не спеша будить отца,

Прокользнула на ступени

Златоверхого дворца;

.....

Ей в лицо прохлада дышит.

Ночи темь в ее очах;

Складки длинные колышет

Удаляющийся шаг...

Глухи Гектора чертоги,

Только храмы настежь - там

Только мраморные боги

Предвкушают фимиам...

Этот прекрасный образ и прекрасные стихи вдруг прерываются объяснением закулисной тайны - как и почему жрец Аполлона подстроил это дело:

Трои, замкнутой врагом,

И ей дал благословенье,

174

Сочетаться с божеством;

Скрыв свое негодованье

К назиданиям жреца,

Дочь Приама на свиданье

Шла из отчего дворца...

Это неуместное объяснение, изложенное ужасно прозаическими стихами, сильно портит поэму; а между тем ничто не мешает его выпустить и после мраморных богов, предвкушающих фимиам, прямо продолжать:

Вот уж видны ей: могила,

С новой урной саркофаг,

даль залива, и ветрила,

И костры, и дым в горах...

далее через несколько строф есть еще маленькая вставка, менее портящая дело, но все-таки лишняя и столь же легко устранимая, именно начало речи самой Кассандры:

Полюбила б я, быть может,

да любви мешает стыд...

Участь родины тревожит...

Неизвестность тяготит...

Зачем это флегматическое рассуждение, мало соответствующее обстоятельствам времени, места и образа действия, когда далее следуют такие ясные и сильные стихи:

Ты стрелой сразил Ахилла,

Но Зевес, отец твой, нам

За Ахилла мстит, и сила

Напирает на Пергам.

Я устала ненавидеть,

Я любить хочу, но знай,

Я, любя, хочу предвидеть,

дар предвиденья мне дай!

VIII

В больших поэмах Полонского из современной жизни (человечьей и собачьей), вообще говоря, внутреннее значение не соответствует объему. Нельзя, однако, согласиться с теми критиками, которые отрицают у этих стихотворных повестей всякое поэтическое достоинство и уверяют, что автор писал их стихами только потому, что ему легкодается версификация. Но не менее легко он может писать и прозой, как доказывают его обширные романы {27}. Во всяком случае было бы жалко, если бы он не воспользовался стихом для такого, например,

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
описания (в поэме "Мими"):

175

Вот он плэд свой перекинул
На плечо и, не тревожа
Спящей, темными дверями
Вышел вон дышать цветами
Южной ночи, в этот сад,
В этой трепетной прохладе,
Где богинь немало белых,
Под резцом окаменелых,
В неподвижных покрывающих,
На высоких пьедесталах.

.....
Где из-за горы лесистой,
Озаренное луною,
Светит море золотистой
Уходящей полосою,
И, любовно ласкаясь к сонным
Берегам, загроможденным
Сглаженными валунами,
Лоснящимися волнами
Их зализывает раны
И на отмели песчаны
Точно сыплет жемчугами
Перекатными; и мнится,
_Кто-то ходит и боится
Разрыдаться, только точит
Слезы, в чью-то дверь стучится,
То шурша назад волочит
По песку свой шлейф_, то снова
Возвращается туда же
И затем же... и другого
Ничего нет,- вечно та же
Музыка, пульс жизни вечной
Мировой, земной, сердечной.

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org правдивым поэтическим рассказом "Мечтатель". Смысл его в том, что мистическая мечта рано умершего героя оказывается чем-то очень действительным.

Вообще в последних своих произведениях Полонский заглядывает в самые коренные вопросы бытия. Между прочим, его поэтическому сознанию становится ясною тайна времени - та истина, что время есть только перестановка в разные положения одного и того же существенного смысла жизни, который сам по себе есть вечность. Указания на эту истину я вижу в стихотворении "Аллегория", яснее - в стихотворении "То в темную бездну, то в светлую бездну", и всего яснее и живее сводит поэт концы с концами временного существования в один круг вечности в следующих стихах:

Детство нежное, пугливое,

Безмятежно шаловливое

В самый холод вешних дней

176

Лаской матери пригретое

И навеки мной отпетое

В дни безумства и страстей,

Ныне всеми позабытое,

Под морщинами сокрытое

В недрах старости моей,

Для чего ты вновь встревожило

Зимний сон мой, - словно ожило

И повеяло весной?

.....

- Старче! Разве ты - не я?

Я с тобой навеки связано,

Мной вся жизнь тебе подсказана,

В ней сквозит мечта моя:

Не напрасно вновь являюсь я,

Твоей смерти ожидаюсь я,

Чтоб припомнить и я

То, что в дни моей беспечности

Я забыло в недрах вечности,

То, что было для меня {28}.

Этим прекрасным, оригинальным и глубокомысленным комментарием на евангельский стих: "если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное" {29}- заключу я свой краткий и неполный очерк; моя задача была не исчерпать поэзию Полонского, а только отметить в ней самое ценное, на мой взгляд.

177

КОММЕНТАРИИ: ПОЭЗИЯ Я. П. ПОЛОНСКОГО

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Впервые напечатана в "Литературных приложениях" к журналу "Нива", 1896, № 2, с. 367 - 380; № 6, с. 297-321.

Поэзия Полонского рано вошла в сознание Вл. Соловьева. Я. П. Полонский был соучеником и товарищем С. М. Соловьева по Московскому университету, и в семье Соловьевых его творчество пользовалось всеобщим вниманием. Вл. Соловьев знал поэта и находился с ним в переписке. В 1890 г. Вл. Соловьев написал статью "О лирической поэзии. По поводу последних стихотворений Фета и Полонского", небольшой раздел которой был посвящен сборнику Полонского "Вечерний звон" (СПб., 1890). Соловьев утверждал: "Россия может гордиться своими лирическими поэтами. Из ныне живущих первое место бесспорно принадлежит Фету и Полонскому" (VI, 239). Соловьев-поэт испытал несомненное воздействие Полонского. Стихотворение "На смерть Я. П. Полонского" (19 октября 1898 г.) завершают строки:

Новый путь протянется
Ныне пред тобой,
Сердце все ж оглянется
С тихою тоской.

Соловьев как бы переосмыслил слова Полонского:

Но боюсь, если путь мой протянется
Из родимых полей в край чужой,
Одиночное сердце оглянется
И сожмется знакомой тоской.

("_На пути из-за Кавказа_", 1851).

{1} Соловьев полностью приводит стихотворение "Царь-девица" (1876).

396

{2} Строки стихотворения Лермонтова "Как часто, пестрою толпою окружен..." (1840).

{3} Стихотворение 1876 г. процитировано без последних восьми строк, в которых не одна "злоба дня и проза", но и важный для Полонского вывод:

Оттого ль, что он в народ свой
Верил и - страдал,
И ему на цепи братьев
Издали казал,
Чую: дух его то верит,
То страдает вновь,
Ибо льется кровь за братьев,
Льется наша кровь!..

{4} Начальные строки стихотворения "Кассандра" (1890), которое ниже цитируется в больших отрывках.

{5} Стихотворение Фета "Одним толчком согнать ладью живую..." (1887).

{6} Начальные строки стихотворения "В день пятидесятилетнего юбилея А. А. Фета (1889 г. 28-го января)" (1889).

{7} Стихотворение "Уже над ельником из-за вершин колючих..." (1844) приведено Соловьевым полностью.

{8} Из стихотворения "Теперь" (не позднее 1884 г.)

{9} Имеется в виду А. А. Фет, который перевел, в частности, основное сочинение Шопенгауэра "Мир как воля и представление".

{10} Строки из стихотворения "О, подними свое чело..." (1843).

{11} Последние строки стихотворения "Утро" (1845).

{12} Стихотворение "На корабле", написанное в 1856 г., Соловьев приводит полностью.

{13} Ниже критик делает обширные выписки из стихотворения "Юбилей Шиллера", которое датировано автором 1862 г. Стихотворение "Шекспиру" написано в 1864 г.

{14} Из стихотворения "Царство науки не знает предела..." (1856).

{15} Последняя строфа стихотворения "Письма к музе", письмо 2-е (1878).

{16} Начало стихотворения "15 июля 1888 года. В 900-летний юбилей крещения России".

{17} Соловьев соединяет и неточно цитирует два варианта стихотворения "Вечерний звон" (1890).

{18} Ниже процитированы знаменитые стихотворения Полонского "Зимний путь" (1844), "Качка в бурю" (1850), "Колокольчик" (1854). Последнее приведено почти целиком (без последней строфы).

{19} Первые строки стихотворения "Пришли и стали тени ночи..." (1842).

{20} Неточная цитата из стихотворения "На пути из-за Кавказа" (1851).

{21} Неточно цитируется последняя строфа стихотворения Полонского "Могила в лесу" (1875 - 1876).

{22} Строки стихотворения "Тамара и певец ее Шота Руставель" (1851).

397

{23} Ниже Соловьев приводит (с небольшими неточностями) строки стихотворений, написанных Полонским под впечатлением пребывания в Закавказье: "После праздника" (1849), "Караван. Отрывок из восточной повести" (1851), "Татарская песня" (1846), "Не жди" (1849). "На пути из-за Кавказа".

{24} Начало второй части лермонтовского "Демона".

{25} Соловьев полностью приводит стихотворение "Мой ум подавлен был тоской..." (1874).

{26} Поэма-сказка "Кузнечик-музыкант. Шутка в виде поэмы" была написана в 1859 г.

{27} Полонскому принадлежат поэмы "Келиот", "Братья", "Мими", юмористическая поэма "Собаки", роман в стихах "Свежее преданье", романы в прозе "Дешевый город", "Признания Сергея Чалыгина", "Крутые горки", повести и рассказы. Этой стороны его творчества Соловьев почти не касается.

{28} Строки стихотворения "детство нежное, пугливое..." (1887)

{29} Мф. 18, 3.

Полонский (краткий очерк)

Владимир Соловьев

Полонский (краткий очерк)

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Полонский (Яков Петрович) – один из главных русских поэтов послепушкинской эпохи, родился 6 декабря 1820 г. в Рязани, сын чиновника; учился в местной гимназии, потом в Московском университете, где его товарищами были Фет и С. М. Соловьев. По окончании курса Полонский, в качестве домашнего учителя, провел несколько лет на Кавказе (1846 – 52), где был помощником редактора "Закавказского Вестника" и за границей. В 1857 г. женился, но скоро овдовел; во второй раз в 1866 г. женился на Жозефине Антоновне Рюльман (скульптор-любительница, известная бюстом Тургенева, поставленным в Одессе). По возвращении в Россию он долго служил цензором в комитете иностранной цензуры; с 1896 г. состоит членом совета главного управления по делам печати. В совокупности стихотворений Полонского нет той полной гармонии между вдохновением и размышлением и того убеждения в живой действительности и превосходстве поэтической истины сравнительно с мертвящей рефлексией, каким отличаются, например, Гете, Пушкин, Тютчев. Полонский был очень впечатлителен и к тем движениям новейшей мысли, которые имели антипоэтический характер: во многих его стихотворениях преобладает прозаичность и рассудочность; но там, где он отдается чистому вдохновению мы находим у него образцы сильной и своеобразной поэзии. Типичные стихотворения Полонского имеют ту отличительную черту, что самый процесс вдохновения переход или порыв из обычной материальной и житейской среды в область поэтической истины – остается ощущительным. Обыкновенно в поэтических произведениях дается готовый результат вдохновения, а не сам подъем его, остающийся скрытым, тогда как у Полонского он чувствует иногда в самом звуке его стихов, например:

То не ветер – вздох Авроры

Всколыхнул морской туман...

В одном из первых по времени стихотворений, Полонским как будто заранее очерчены область и характер его поэзии:

Уже над ельником из вершин колючих

Сияло золото вечерних облаков,

Когда я рвал веслом густую сеть пловучих

Болотных трав и водяных цветов...

От праздной клеветы и злобы черни светской

В тот вечер наконец мы были далеко

И смело ты могла с доверчивостью детской

Себя высказывать свободно и легко.

И голос твой пророческий был сладок,

Так много в нем дрожало тайных слез,

И мне пленительным казался беспорядок

Одежды траурной и светло-русых кос.

Но грудь моя тоской невольною сжималась,

Я в глубину глядел, где тысячи корней

Болотных трав невидимо сплеталось

Подобно тысяче живых зеленых змей.

И мир иной мелькал передо мною,

Не тот прекрасный мир, в котором ты жила...

И жизнь казалась мне суровой глубиною

С поверхностью, которая светла.

"Пленительным беспорядком" отличаются произведения Полонского; есть в них и "траур" по мирскому злу и горю, но голова его музы сияет отражением небесного света; в ее голосе смешиваются тайные слезы переживаемого горя с пророческой сладостью лучших надежд; чувствительная - быть может, даже слишком - к суете и злобе житейской, она стремится уйти от них за "колячие вершины любви" "в золотые облака" и там высказывается свободно и легко с доверчивостью детской. Исходя из противоположности между тем прекрасным и светлым миром, где живет его муга, и той "сурою глубиною" действительной жизни, где сплетаются болотные растения зла своими "змеиними корнями", Полонскому не остается (подобно фету) при этом дуализме; не отворачиваясь безнадежно от темной действительности, не уходя всецело в мир чисто поэтических ощущений и созерцаний, он находит примирение между этими двумя областями в той идеи, которая уже давно носилась в воздухе, но вдохновляла более мыслителей и общественных деятелей, нежели поэтов. У Полонского в самое художественное его настроение входит эта идея совершенствования или прогресса. Хотя он не видит в истории тех определенных положительных идеалов (христианского царства), в которые верил Тютчев, но она не есть для него только "торжище развратной толпы", "буйной от хмеля преступлений": он слышит в ней "глагол в пустыне вопиющий, неумолкаемо зовущий: о подними свое чело... чтобы жизнь была тебе понятна, иди вперед и не возвратно... туда, где впереди так много сокровищ спрятано у Бога". Та безмятежно блаженная красота, которая открывается поэтическому созерцанию природы, должна будет открыться и в жизни человечества, как конец ее борьбе и тревогам; "верь знаменованью - нет конца стремлению, есть конец страданью!". Бодрое чувство упования на лучшую будущность внушается Полонскому не одними "знамениями" природы, но и историческими переменами (например, стихотворение "На корабле", написанное в 1856 г.). Надежды на спасение "родного корабля" поэт не отделяет от веры в общее всемирное благо. Широкий дух всечеловечности, исключающей национальную вражду, свойствен более или менее всем истинным поэтам; из русских он всех решительнее и сознательнее выражается, а после А. Толстого, у Полонского, особенно в двух стихотворениях, посвященных Шиллеру (1859) и Шекспиру (1864). Не примыкая к радикальным общественным движениям своего времени, Полонский относился к ним с сердечной гуманностью, особенно к жертвам искреннего увлечения (например, стихотворение "Что она мне - не сестра, не любовница"). Вообще, храня лучшие заветы Пушкина, Полонский "пробуждал лирой добрые чувства" и "милость к падшим призывал". - В ранние годы надежды поэта на лучшую будущность для человечества были связаны с его юношескою безотчетной верой во всемогущество науки:

Царство науки не знает предела,

Всюду следы его вечных побед

Разума слово и дело,

Сила и свет.

Миру как новое солнце сияет

Светоч науки и только при нем

Муга чело украшает

Свежим венком.

Но скоро поэт отказался от культа науки, познающий то, что бывает, а не творящей то, что должно быть; его муга внушила ему, что "мир с могущественной ложью и с бессильною любовью" может быть перерожден лишь "иною, вдохновляющею силой" - силой нравственного труда при вере "в Божий суд или в Мессию":

С той поры, мужая сердцем,

Постигать я стал, о Муга,

Что с тобой без этой веры

Нет законного союза.

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Вместе с тем Полонский решительнее прежнего высказывает убеждение, что настоящий источник поэзии есть объективная красота, в которой "сияет Бог" (стихотворение "Царь-Девица"). Лучшие и наиболее типичные из небольших стихотворений Полонского ("Зимний путь", "Качка в бурю", "Колокольчик", "Возвращение с Кавказа", "Пришли и стали тени ночи", "Мой костер в тумане светит", "Ночью в колыбель младенца" и другие) отличаются не столько идеяным содержанием, сколько силою непосредственного задушевного лиризма. Индивидуальную особенность этого лиризма нельзя определить в понятиях; можно указать только некоторые общие признаки, каковы (кроме упомянутого в начале) соединение изящных образов и звуков с самыми реальными представлениями, затем смелая простота выражений, наконец – передача полусонных, сумеречных, слегка бредовых ощущений. В более крупных произведениях Полонского (за исключением безупречного во всех отношениях "Кузнецика-музыканта") очень слаба архитектура: некоторые из его поэм не достроены, другие загромождены пристройками и надстройками. Пластичности также сравнительно мало в его произведениях. Зато в сильной степени обладают они свойствами музыкальности и живописности, последней – особенно в картинах кавказской жизни (прошлой и настоящей), которые у Полонского гораздо ярче и живее, чем у Пушкина и Лермонтова. Помимо исторических и описательных картин, и собственно лирические стихотворения, вдохновленные Кавказом, насыщены у Полонского настоящими местными красками (например, "После праздника"). Благородные, но безымянные черкесы старинного романтизма бледнеют перед менее благородными, но зато живыми туземцами у Полонского, вроде татарина Агбара или героического разбойника Тамур-Гассана. Восточные женщины у Пушкина и Лермонтова бесцветны и говорят мертвым литературным языком; у Полонского их речи дышат живою художественною правдой:

Он у каменной башни стоял под стеной,

И я помню: на нем был кафтан дорогой,

И мелькала под красным сукном

Голубая рубашка на нем...

Золотая граната растет под стеной;

Всех плодов не достать никакою рукой;

Всех красивых мужчин для чего

Стала б я привораживать!..

Разлучили, сгубили нас горы, холмы

Эриванские! Вечно холодной зимы

Вечным снегом покрыты они!

... Обо мне

В той стране, милый мой, не забудешь ли ты?

Хотя к кавказской жизни относится и личное признание поэта: "Ты, с которой так много страдания терпеливой я прожил душой" и т. д., но, как итог молодости, он вынес бодрое и ясное чувство духовной свободы:

Душу к битвам житейским готовую

Я за снежный несу перевал...

Все, что было обманом, измененою,

Что лежало на мне словно цепь,

Все исчезло из памяти – с пеной

Горных рек, выбегающих в степь.

Это чувство задушевного примирения, отнимающего у "житейских битв" их

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
острый и мрачный характер, осталось у Полонского на всю жизнь и составляет преобладающий тон его поэзии. Очень чувствительный к отрицательной стороне жизни, он не сделался, однако, пессимистом. В самые тяжелые минуты личной и общей скорби для него не закрывались "щели из мрака к свету", и хотя через них иногда виделось "так мало, мало лучей любви над бездной зла", но эти лучи никогда для него не погасали и, отнимая злобность у его сатиры, позволили ему создать оригинальнейшее его произведение: "Кузнецик-музыкант". Чтобы ярче представить сущность жизни, поэты иногда продолжают ее линии в ту или другую сторону. Так, Данте вымотал все человеческое зло в девяти грандиозных кругах своего ада; Полонский, наоборот, стянул и сковал обычное содержание человеческого существования в тесный мирок насекомых. Данту пришлось над мраком своего ада воздвигнуть еще два огромных мира очищающего огня и торжествующего света; Полонский мог вместить очищающий и просветляющий моменты в тот же уголок поля и парка. Пустое существование, в котором все действительно мелко, а все высокое есть иллюзия, - мир человекаобразных насекомых или насекомообразных людей - преобразуется и просветляется силой чистой любви и бескорыстной скорби. Этот смысл сосредоточен в заключительной сцене (похороны бабочки), производящей, несмотря на микроскопическую канву всего рассказа, то очищающее душу впечатление, которое Аристотель считал назначением трагедии. К лучшим произведениям Полонского относится "Кассандра" (за исключением двух лишних пояснительных строф - IV и V, ослабляющих впечатление). В больших поэмах Полонского из современной жизни (человечьей и собачьей), вообще говоря, внутреннее значение не соответствует объему. Отдельные места и здесь превосходны, например: описание южной ночи (в поэме "Мими"), в особенности звуковое впечатление моря:

И на отмели песчаны
Точно сыплет жемчугами
Перекатными; и мнится,
Кто-то ходит и боится
Разрыдаться, только точит
Слезы, в чью-то дверь стучится,
То шурша, назад волочит
По песку свой шлейф, то снова
Возвращается туда же...

В позднейших произведениях Полонского явственно звучит религиозный мотив, если не как положительная уверенность, то как стремление и готовность к вере: "Блажен, кому дано два слуха - кто и церковный слышит звон, и слышит вечный голос Духа". Последнее собрание стихотворений Полонского достойно заканчивается правдивым поэтическим рассказом: "Мечтатель", смысл которого в том, что поэтическая мечта рано умершего героя оказывается чем-то очень реальным. Независимо от стремления к положительной религии, Полонский в своих последних произведениях заглядывает в самые коренные вопросы бытия. Так, его поэтическому сознанию становится ясной тайна времени - та истина, что время не есть создание нового по существу содержания, а только перестановка в разные положения одного и того же существенного смысла жизни, который сам по себе есть вечность (стихотворение "Аллегория", яснее - в стихотворении "То в темную бездну, то в светлую бездну" и всего яснее и живее - в стихотворении "Детство нежное, пугливо"). Кроме больших и малых стихотворений Полонский написал несколько обширных романов в прозе: "Признания Сергея Чалыгина" (СПб., 1888), "Крутые горки" (СПб., 1888), "Дешевый город" (СПб., 1888), "Нечаянно" (М., 1844). Его юмористическая поэма "Собаки" издана в 1892 г. (СПб.). Сборники стихотворений Полонского: "Гаммы" (1844), "Стихотворения 1845 г." (1846), "Сазандар" (1849), "Несколько стихотворений" (1851), "Стихотворения" (1855), "Оттиски" (1860), "Кузнецик-музыкант" (1863), "Разлад" (1866), "Снопы" (1871), "Озими" (1876), "На закате" (1881), "Стихотворения 1841 - 85 г." (1885), "Вечерний звон" (1890). Полное собрание сочинений Полонского издано в 1896 г. в 5 томах. Собрание сочинений изд. в 1869 г. в 3 т., в 1886 г. - в 10 т. Ср. о Полонском Белинский "Сочинения" (том X); Добролюбов (том III); Эдельсон в "Библиотеке для Чтения" (1864, л 6); Арсеньев "Критические этюды" (том II);

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Страхов в "Заре" (1871, л 9); Кельсиев во "Всемирном Труде" (1868, л 9);
"Исторический Вестник" (1887, л 5); вл. Соловьев в "Ниве" (1896, л 2 и 6);
Я.П. Полонский "Рецензент Отечественных Записок и ответ ему" (СПб., 1871,
брошюрка); Евг. Гаршин "Поэзия Я.П. Полонского" (СПб., 1887); Перцов
"Философские течения в русской поэзии".

Умер 18 октября 1898 г.

Русские символисты

Я был очарован этими восхитительно остроумными критическими статьями Соловьева о русских символистах, которые, впрочем, характерны и для других его произведений. Не поленившись отсканировать и распознать (слава, слава, слава Алексею Полозову! - он знает за что), я получил этот текст. Советую прочесть этот глоток классики, ведь не зря же Блок считал, что его символизм вырос именно из пародий Соловьева. Думаю, понравится и Вам. Отсканировано и распознано по книге В. С. Соловьев "Философия искусства и литературная критика". - М.: Искусство. - 1991. - с. 704. Примечания Соловьева: сноски обозначены звездочками. Все остальное - примечания издательства.

Владимир Сергеевич Соловьев

РУССКИЕ СИМВОЛИСТЫ

I

Вып. 1-й. Валерий Брюсов и А. Л. Миропольский. Москва, 1894 (44 с.)

Эта тетрадка имеет несомненные достоинства: она не отягощает читателя своими размерами и отчасти увеселяет своим содержанием. Удовольствие начинается с эпиграфа, взятого г. Валерием Брюсовым у французского декадента Стефана Малларме:

Une dentelle s'abolit dans le doute du jeu suprkte*.

А вот русский "пролог" г. Брюсова:

Гаснут розовые краски В бледном отблеске луны; Замерзают в льдинах сказки О страданиях весны. От исхода до завязки Завернулись в траур сны, И безмолвием окраски Их гирлянды сплетены. Под лучами юной Грэзы Не цветут созвучий розы На кутинах пустоты, А сквозь окна снов бессвязных Не увидят звезд алмазных Усыпленные мечты.

В словах "созвучий розы на кутинах пустоты" и "окна снов бессвязных" можно видеть хотя и символическое, но довольно верное определение этого рода поэзии. Впрочем, собственно русский "символизм" представлен в этом маленьком сборнике довольно слабо. Кроме стихотворений, прямо обозначенных как переводные, и из остальных добрая половина явно внушиена другими поэтами, и притом даже не символистами. Например, то, которое начинается стихами:

Мы встретились с нею случайно, И робко мечтал я о ней,

а кончается:

Вот старая сказка, которой Быть юной всегда суждено,

несомненно происходит от Генриха Гейне, хотя и пересаженного на "кутину пустоты". Следующее:

Невнятный сон вступает на ступени, Мгновенья дверь приотворяет он

есть невольная пародия на Фета. Его же безглагольными стихотворениями внушено:

Звездное небо бесстрастное,

разве только неудачность подражания принять за оригинальность.

Звезды тихонько шептались

опять вольный перевод из Гейне.

Склонися головкой твою idem.

А вот стихотворение, которое я одинаково бы затруднился назвать и оригинальным и подражательным:

Слезами блестящие глазки и губки, что жалобно сжаты, А щечки пылают от ласки И кудри запутанно-смяты, - и т. д.

Во всяком случае, перечислять в уменьшительной форме различные части человеческого организма, и без того всем известные, - разве это символизм? Другого рода возражение имею я против следующего "заключения" г. Валерия Брюсова:

Золотистые феи В атласном саду! Когда я найду Ледяные аллеи? Влюбленных наяд Серебристые всплески, Где ревнивые доски Вам путь заградят. Непонятные вазы Огнем озаря, Застыла заря Над полетом фантазий. За мраком завес Погребальные урны, И не ждет свод лазурный Обманчивых звезд.

Несмотря на "ледяные аллеи в атласном саду", сюжет этих стихов столько же ясен, сколько и предосудителен. Увлекаемый "полетом фантазий", автор засматривался в дощатые купальни, где купались лица женского пола, которых он называет "феями" и "наядами". Но можно ли пышными словами загладить поступки гнусные? И вот к чему в заключение приводит символизм! Будем надеяться по крайней мере, что "ревнивые доски" оказались на высоте своего призыва. В противном случае "золотистым феям" осталось бы только окатить нескромного символиста из тех "непонятных ваз", которые в просторечии называются шайками и употребляются в купальнях для омовения ног. Общего суждения о г. Валерии Брюсове нельзя произнести, не зная его возраста. Если ему не более 14 лет, то из него может выйти порядочный стихотворец, а может и ничего не выйти. Если же это человек взрослый, то, конечно, всякие литературные надежды неуместны. О г. Миропольском мне нечего сказать. Из 10 страничек, ему принадлежащих, 8 заняты прозаическими отрывками. Но читать декадентскую прозу есть задача, превышающая мои силы. "Куртины пустоты" могут быть сносны лишь тогда, когда на них растут "розы созвучий".

II

Вып. 2-й, изд. В. А. Маслова. Москва, 1894 .

Порода существ, именующихся русскими символистами, имеет главным своим признаком чрезвычайную быстроту размножения. Еще летом их было только два, а ныне их уже целых десять. Вот имена их по порядку: А. Бронин, Валерий Брюсов, В. Даров, Эрл. Мартов, А. Л. Миропольский, Н. Нович, К. Созонов, З. Фукс и еще два, из коих один скрылся под буквой М., а другой под тремя звездочками. Я готов бы был думать, что эта порода размножается путем произвольного зарождения (*generatio aequivoса*), но едва ли такая гипотеза будет допущена точной наукой. Впрочем, русский символизм обогащается пока звучными именами более, чем звучными произведениями. Во втором выпуске помещено всего восемнадцать оригинальных стихотворений; при десяти авторах это выходит на каждого по одному стихотворению с дробью (1,8 или 1 4/5). Читатель согласится, что такой мой критический метод пока отличается строго научным характером и приводит к результатам совершенно бесспорным. Я желал бы держаться такого же метода и при оценке качественного достоинства русских символистов, но это уже гораздо труднее: тут одною арифметикою не обойдешься. Необходимо установить общие принципы или нормы художественной деятельности и вытекающими из них постулатами проверить данное произведение. Сожалению, этот единственно научный способ имеет одни неудобство: он потребовал бы от меня многолетних изучений и должен бы быть мною изложен в многотомных сочинениях, а от меня требуется только маленькая рецензия на маленькую тетрадку со стихами проблематического достоинства. От научного метода приходится отказаться, но, с другой стороны, я не хотел бы подвергнуться справедливому упреку в субъективном произволе и тенденциозности. Неужели, однако, между строгою научностью и личным впечатлением нет ничего среднего? Без сомнения, есть. Не восходя до безусловных принципов, можно за норму суждения принять не собственное мнение, а намерение критикуемого автора или художника. Так, например, когда живописец на своей картине собственноручно обозначил: се лев! - а между тем

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
всякий видит на ней дурно нарисованную собаку, причем намерение живописца
изобразить льва в осуществлении своем ограничилось лишь желтым цветом
собачьей шерсти, то всякий свидетель такой неудачи, не впадая в
субъективизм, может признать картину неудовлетворительной; ибо, независимо
от личных мнений, по существу вещей ясно, что ни желтый цвет, ни плохой
рисунок не достаточны сами по себе, чтобы собаку сделать львом. Такой
способ суждения, основанный на объективном различии между двумя
млекопитающими, я называю методом относительно-научным. Применение его к
русским символистам тем легче, что они озабочились самым определенным
образом выразить свое намерение. В предисловии г. В. Брюсов объясняет, что
поэзия, которой он с товарищами служит, есть поэзия намеков. Следуя нашей
относительно-научной методе, посмотрим, насколько в самом деле
стихотворения русских символистов представляют поэзию намеков:

Струны ржавеют Под мокрой рукой, Грезы немеют И кроются мглой.

Такою строфою начинается и повторением ее заканчивается маленькое
стихотворение г. Миропольского, открывшее наш сборник. Здесь с
преувеличенною ясностью указывается на тот грустный, хотя и малоинтересный
факт, что изображаемый автором гитарист страдает известным патологическим
явлением. Ни поэзии, ни намеков тут нет. Первый стих "струны ржавеют"
содержит в себе еще другое указание, но опять-таки ясное указание, а не
намек, - на малограмотность г. Миропольского. Второе стихотворение "Я жду"
почти все состоит из повторения двух стихов: "Сердце звонкое бьется в
груди" и "Милый друг, приходи, приходи!" Что тут неясного, какие тут
намеки? Скорее, можно здесь заметить излишнее стремление к ясности, ибо
поэт поясняет, что сердце бьется в груди, - чтобы кто-нибудь не подумал, что
оно бьется в голове или в брюшной полости. Г. Валерий Брюсов, тот самый,
который в первом выпуске "русских символистов" описывал свое
предосудительное заглядыванье в дамские купальни, ныне изображает свое
собственное купанье. Это, конечно, не беда; но плохо то, что о своем
купанье г. Брюсов говорит такими словами, которые ясно, без всяких намеков
показывают не вполне нормальное настроение автора. Мы предупреждали его,
что повторство низменных страсти, хотя бы и под личиной символизма, не
приведет к добру. Увы! наши предчувствия сбылись раньше ожидания! Посудите
сами:

В серебряной пыли полуночная влага Пленяет отдыхом усталые мечты, И в
зыбкой тишине речного саркофага Великий человек не слышит клеветы.

Называть реку саркофагом, а себя великим человеком есть совершенно ясный
признак (а не намек только) болезненного состояния.

Труп женщины, гниющий и зловонный, Большая степь, чугунный небосвод... И
долгий миг, насмешкой воскрешенный, С укорным хохотом встает. Алмазный
сон... Чертеж вверху зажженный... И аромат, и слезы, и роса... Покинут труп
гниющий и зловонный, И ворон выклевал глаза.

Вот в этом стихотворении, подписанном З. Фукс (будем надеяться, что "З".
означает Захара, а не Зинаиду), можно, пожалуй, найти намек, только не
поэтический, а намек на то, что трое гласных тамбовского земского собрания
были бы, может быть, не совсем правы в своем мнении*, если бы относили
его не к крестьянам, окончившим курс начального образования, а к некоторым
стихотворцам, именующим себя символистами. Впрочем - In jene Sphären wag'
ich nicht zu streben. Я думаю, что г. З. Фукс достаточно наказал сам себя,
выступив печально с таким произведением. Тем не менее впечатление,
произведенное на меня стихотворением этого символиста, так сильно, что у
меня не хватает необходимого спокойствия духа для относительно-научного
разбора прочих символических перлов. Притом на последней страничке наши
символисты объявляют о предстоящих трех новых изданиях, из коих одно
озаглавлено "Lis (?) cshefs (!) d'oeuvre". Отложим свое окончательное
суждение до появления этих "cshefs d'oeuvre", а пока ради справедливости
заметим, что в рассмотренной тетрадке есть одно стихотворение, напоминающее
действительную поэзию:

Дитя, смотри! там при конце аллеи Ночной красавицы раскинулись кусты... Их
образ приняли весенней ночи феи... Моеи тоски не понимала ты! Там солнца
луч с восхода и до ночи Льет чары страстные на сонные цветы... Напрасно
рвется он хоть раз взглянуть им в очи... Моеи тоски не понимаешь ты! В
вечерний час, скрываясь за горою С тоскою жгучею обманутой мечты, В
бессилье видит он лобзанья их с луною... Мою тоску поймешь, наверно, ты!

III

Еще о символистах

Русские символисты. - Лето 1895 года. - Москва, 1895 (52 с.)

В предисловии к этому новому выпуску юные спортсмены, называющие себя "русскими символистами", "сочли необходимым выяснить свое отношение" к критике. По мнению г. Брюсова и К, большинство их критиков были совершенно не подготовлены к этой важной задаче, а те, которые были подготовлены, оказались злоумышленниками. Таков именно рецензент "Вестника Европы". "В свое время, - пишут гг. символисты, - возбудили интерес еще рецензии г. Вл. С. В них действительно попадаются дельные замечания (напр., о подражательности многих стихотворений г. Брюсова в 1-м вып.); но г. Вл. С. увлекся желанием позабавить публику, что повело его к ряду острот сомнительной ценности и к умышленному искажению смысла стихотворений. Говорим - "умышленному": г. Вл. С., конечно, должен легко улавливать самые тонкие намеки поэта, потому что сам писал символические стихотворения, как, напр., "Зачем слова..." ("Вестн. Евр.", 1892, № 10)". Почему, однако, гг. символисты так уверены, что это стихотворение символическое оно или нет - принадлежит автору рецензий? Ведь стихотворение подписано: "Владимир Соловьев", а рецензии обозначены буквами Вл. С., под которыми, может быть, скрывается Владислав Сырокомля или Власий Семенов. Отвечать за г. Владимира Соловьева по обвинению его в напечатании символического стихотворения в "Вестнике Европы" мне не приходится. Но по обвинению меня в злоумышленном искажении смысла стихотворений г. Брюсова и К я, Власий Семенов, имею объяснить, что если бы даже я был одушевлен самою адскою злобой, то все-таки мне бы невозможно искажить смысл этих стихотворений - по совершенному отсутствию в них всякого смысла. Своим новым выпуском гг. символисты поставили дело вне всяких сомнений. Ну, пусть кто-нибудь попробует искажить смысл такого произведения:

Тень несозданных созданий Колыхается во сне, Словно лопасти латаний на эмалевой стене. Фиолетовые руки На эмалевой стене Полусонно чертят звуки в звонко-звукной тишине. И прозрачные киоски В звонко-звукной глубине Вырастают точно блестки При лазоревой луне, Всходит месяц обнаженный При лазоревой луне; Звуки реют полусонно, Звуки ластятся ко мне, Тайны созданных созданий С лаской ластятся ко мне, И трепещет тень латаний на эмалевой стене.

Если я замечу, что обнаженному месяцу всходить при лазоревой луне не только неприлично, но и вовсе невозможно, так как месяц и луна суть только два названия для одного и того же предмета, то неужели и это будет "умышленным искажением смысла"? Ну а этот набор слов:

Сердца луч из серебра волнений Над простором инея встает, И, дрожа, звучит хрусталь молений И, обрызган пеню, плывет. Он плывет... стенящим переливом Лед звезды из бездны он манит... Далека в покое горделивом, Спит звезда... звезда блестит и спит.

Или вот еще:

В воздухе повисли песен колоннады, И кристалл созвучий как фонтан звенит, Замерли в лазури белые громады И в лучах тумана матовый гранит. В мыслях пеной бьется зарево томлений, Молнией мелькают милые черты, К сердцу от чертогов чар и сновидений Перегнулись аркой звонкие мосты, Яркие гирлянды обвили фасады, Мрамора Каррапы ароматный блеск... И звучат победно, тают серенады, И разносит эхо вдохновенный плеск.

Некоторые символисты облегчают себе труд сочинения бессмысленных стихов довольно удачным приемом: написавши один стих, они затем переворачивают его наизнанку - выходит другой:

Над темной равниной, Равниною темной, Нескромной картиной, Картиной нескромной, Повисли туманы, Туманы повисли, Как будто обманы, Обманы без мысли, Без мысли и связи В рассказе бесстрастном. В бесстрастном рассказе, В рассказе неясном, Где бледные краски Развязки печальной Печальны, как сказки О родине дальней.

А вот стихотворение, в котором нет не только смысла, но и рифмы, - оно как

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
будто написано для иллюстрации выражения - *ni rime, ni raison*:

Мертвцы, освещенные газом! Алая лента на грешной невесте! О! мы пойдем целоваться к окну! Видишь, как бледны лица умерших? Это - больница, где в трауре дети... Это - на льду олеандры... Это - обложка Романсов без слов... Милая, в окна не видно луны. Наши души - цветок у тебя в бутоньерке .

Гг. символисты укоряют меня в том, что я увлекаюсь желанием позабавить публику; но они могут видеть, что это увлечение приводит меня только к простому воспроизведению их собственных перлов. Должно заметить, что одно стихотворение в этом сборнике имеет несомненный и ясный смысл. Оно очень коротко - всего одна строчка:

О, закрой свои бледные ноги.

Для полной ясности следовало бы, пожалуй, прибавить: "ибо иначе простудишься", но и без этого совет Г. Брюсова, обращенный, очевидно, к особе, страдающей малокровием, есть самое осмысленное произведение всей символической литературы, не только русской, но и иностранной. Из образчиков этой последней, переведенных в настоящем выпуске, заслуживает внимания следующий шедевр знаменитого Метерлинка:

Моя душа больна весь день, Моя душа больна прощаньем, Моя душа в борьбе с молчаньем, Глаза мои встречают тень. И под кнутом воспоминанья Я вижу призраки охот. Полузабытый след ведет Собак секретного желанья. Во глубь забывчивых лесов Лиловых грез несутся своры, И стрелы желтые - укоры Казнят оленей лживых снов. Увы, увы! везде желанья, Везде вернувшиеся сны, И слишком синее дыханье... На сердце меркнет лик луны.

Быть может, у иного строгого читателя уже давно "залаяла в сердце собака секретного желанья", - именно того желанья, чтобы авторы и переводчики таких стихотворений писали впредь не только "под кнутом воспоминания", а и "под воспоминанием кнута"... Но моя собственная критическая свора отличается более "розвостью", чем "злобностью", и "синее дыхание" символов вызвало во мне только оранжевую охоту к лиловому сочинению желтых стихов, а пестрый павлин тщеславия побуждает меня поделиться с публикою тремя образчиками моего гри-де-перлевого, вер-де-мерного и фель-мортного вдохновения.

I

Горизонты вертикальные В шоколадных небесах, Как мечты полузеркальные В лавровишневых лесах. Призрак льдины огнедышащей В ярком сумраке погас, И стоит меня не слышащий Гиацинтовый Пегас. Мандрагоры имманентные Зашуршали в камышах, А шершаво-декадентные Вирши в вянувших ушах.

II

Над зеленым холмом, Над холмом зеленым, Нам влюбленным вдвоем, Нам вдвоем влюбленным, Светит в полдень звезда, Она в полдень светит, Хоть никто никогда Той звезды не заметит. Но волнистый туман, Но туман волнистый, Из лучистых он стран, Из страны лучистой, Он скользит между туч, Над сухой волною, Неподвижно летуч И с двойной луной.

III

На небесах горят паникадила, А снизу - тьма. Ходила ты к нему иль не ходила? Скажи сама! Но не дразни гиену подозренья, Мышей тоски! Не то смотри, как леопарды мщенья Острят клыки! И не зови сову благоразумья Ты в эту ночь! Ослы терпенья и слоны раздумья Бежали прочь. Своей судьбы родила крокодила Ты здесь сама. Пусть в небесах горят паникадила, В могиле - тьма.

Теперь гг. Брюсов и К имеют по крайней мере право обвинить меня в напечатании символических стихотворений на страницах "Вестника Европы".

* В буквальном переводе это значит: "кружево упраздняется в сомнении высочайшей игры". * См. телеграмму в "Нов. времени" от 16 декабря 1894 г., где сообщалось, что трое гласных названного собрания отстаивали свое мнение о необходимости сохранить телесное наказание 9.

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
847-851. Подпись всех трех рецензий: Вл. С. Вошло в кн.: Соловьев Владимир.
Стихотворения. Изд. 3-е. 1900, с. 193-213, с незначительными сокращениями.
В настоящем издании воспроизводится журнальный текст.

Рецензии Соловьева на выпуски "Русских символистов" сыграли существенную роль в самоопределении раннего русского символизма в целом. Позднее Брюсов писал, что рецензии Соловьева сделали "маленьких начинающих поэтов ..." известными широким кругом читателей" (Брюсов В. Автобиография.- Русская литература XX века. 1890-1910. Т. 1. М., 1914, с. 109). К творчеству и личности самого Соловьева Брюсов неизменно испытывал почтительное уважение. В августе 1900 г. он записал в дневник: "Умер Вл. Соловьев ..." Мы были с П. И. [Бартеневым] на похоронах. Так суждено мне было встретиться с критиком моих первых стихов. А я мечтал - и часто - о личных беседах ..." Я поцеловал в руку своего случайного врага и ценимого мной поэта и мыслителя" (см.: Брюсов В. Дневники 1891- 1910. М., 1927, с. 89-90).

Стихотворение В. Брюсова "Осеннее чувство". Стихотворение В. Брюсова "Заветный сон". Стихотворение В. Брюсова "Самоуверенность".

В. Брюсову в ту пору был 21 год.

А. Л. Митропольский - псевдоним А. А. Ланга, товарища Брюсова по гимназии Креймана.

Отклик Соловьева на второй выпуск привел Брюсова в смятение: "Читал ли "Вестник Европы", статью Соловьева о нем? Боже мой, он так уничтожил нас, что и клочьев не осталось" (Письмо к В. К. Станюковичу от 5 января 1895 Г.-Литературное наследство. Т. 85. М " 1976, с. 733).

В. Брюсов печатал стихотворения под псевдонимом В. Даров, К. Созонтов, З. Фукс и без подписи; Эрл. Мартов - псевдоним А. Бугона; Н. Нович - Н. Н. Бахтина. Стихотворение В. Брюсова "Отверженный герой".

Телеграмма привлекла внимание Соловьева потому, что одним из упомянутых гласных был его приятель кн. Д. Н. Цертелев.- См.: НВ, 1894, № 6753, 15 дек. (У Соловьева ссылка на 16 декабря - либо ошибка, либо опечатка).

"Я не сумею унести в те сферы..." (Гете. фауст, ч. 1. Пер. Б. Пастернака).

Стихотворение подписано: Эрл. Мартов. Стихотворение В. Брюсова "Творчество".

В беседе с корреспондентом газеты "Новости" В. Брюсов возражал критикам: "... какое мне дело до того, что на земле не могут быть одновременно видны две луны, если для того, чтобы вызвать в читателе известное настроение, мне необходимо допустить эти две луны, на одном и том же небосклоне. В стихотворении, о котором идет речь, моей задачей было изобразить процесс творчества" (1895, 18 ноября).

Оба стихотворения подписаны: Эрл. Мартов. Стихотворение без подписи; принадлежит В. Христопопуло. Стихотворение подписано: В. Даров. Перевод В. Брюсова.

Историю создания ставших знаменитыми пародий рассказал А. Ф. Кони. "Однажды ..." он стал говорить об увлечениях некоторых из тогдашних поэтов-символистов ..." Его сердила и вместе смешала составлявшая будто бы сущность символизма погоня за вычурностью языка и за сочинением новых темных словечек и немыслимых сочетаний. "Право,- сказал он,- не так трудно сочинять - именно сочинять - такие стихи. Идя сюда ..." я, чтобы развлечься от усиленного труда, представил себя символистом и придумал следующие стихи" (Кони А. Ф. Собр. соч. в 8-ми т., т. 7. М., 1969, с. 245). Пародии были оценены самим Брюсовым: "Читая его пародии, я искренне восхищался; слабые стороны символизма схвачены верно" (см.: Письма В. Я. Брюсова к П. П. Перцову. М., 1927, с. 44).

Из воспоминаний

Из литературных воспоминаний. Н.Г.Чернышевский

Ясно выступает в моих отроческих воспоминаниях один летний вечер {1}. Мы
Страница 258

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org жили недалеко от Москвы на даче в селе Покровском-Глебове. Отец, работавший летом не меньше, чем зимою, уделял только воскресенья своим друзьям и знакомым, приезжавшим на целый день из Москвы и из ее окрестностей. Но вечер, о котором я вспоминаю, был не воскресный; невзначай после обеда приехали Евгений Федорович Корш* и Николай Христофорович Кетчер**. Я, по своим годам, еще не был в состоянии как следует ценить Корша с его высоким образованием и тонким остроумием, которого впечатление (на взрослых) усиливалось его обычным заиканием. Но я от раннего детства любил Кетчера с его наружностью полудикого плантатора, с остриженными (тогда) под гребенку волосами, его необъятную соломенную шляпу, широчайшие и слишком короткие парусинные панталоны, которые он, кажется, носил и зимою, свирепо-добродушное выражение лица, громкий бодрящий голос и бесцеремонные шутки со всеми, сопровождаемые громким хохотом:

Dulce ridentem Lalagen amabo,

Dulce loquentem***.

Гости что-то рассказали отцу и собрались с ним в его обычную вечернюю прогулку. Я попросился идти вместе с ними, и отец, после некоторого колебания, согласился.

* Библиотекарь Румянцевского музея, одно время редактор "Московских ведомостей" (до Каткова) и "Атенея", переводчик многих важных ученых книг, изданных К. Т. Солдатенковым.

** Московский "штаб-физик", известный переводчик Шекспира.

*** Я буду лалагу любить за сладкий смех

И говор сладкозвучный. (Гораций. Перевод А. Фета.) - Ред.

373

Но мои надежды на веселое собеседование Кетчера не сбылись. Он был мрачен и совсем не хохотал. Оказалось, что он с Коршем приехали передать отцу только что полученное из Петербурга известие о состоявшемся приговоре особого сенатского суда, по которому известный писатель Чернышевский, обвиненный в политическом преступлении, был осужден на каторжные работы в Сибири. Оба гостя имели удрученный вид, а отец, взволнованный, с покрасневшим лицом, говорил каким-то напряженным, негодящим шепотом, время от времени переходившим в крик.

II

Все это не требовало бы никакого объяснения, если бы эти люди принадлежали к одной партии, группе или направлению с осужденным. Но если в первые годы царствования Александра II, когда освободительные реформы еще только подготовлялись, все люди, искренно желавшие этих реформ, составляли одну большую партию, где различия в образе мыслей, насколько они уже успели определиться, намеренно да и невольно сглаживались в виду общей цели, то в то время, которое я теперь вспоминаю, дело стояло уже иначе. Главная насущная цель была достигнута, люди разных принципов и идеалов враждебно столкнулись на дальнейшем пути и, независимо от старинной противоположности "славянофилов и западников", резко обозначилось в самом "западничестве" существенное несогласие между идеалистами-либералами "сороковых годов" и реалистами-радикалами "шестидесятых годов".

Корш и Кетчер были чистейшими правовернейшими "людьми сороковых годов", живыми памятниками знаменитых "кружков in der Stadt Moskau"*. Немецкая философия и Шекспир продолжали быть для них высшими откровениями всемирного смысла; к движению шестидесятых годов они могли относиться только враждебно и нисколько не старались смягчать этой вражды. Особенно Корш всячески изошрялся в более или менее язвительных насмешках над новейшими идеями и "последними словами" радикальной мудрости. Могло, правда, представляться как будто некоторое связующее звено между направлением "отцов" и стремлениями "детей", именно в лице Герцена. Но, во-первых, он был далеко, вне России, и, во-вторых, та умствен-

* В городе Москве (нем..).- Ред.

374

ная подвижность, благодаря которой Герцен самолично пережил всю тридцатилетнюю эволюцию идей от гегельянства до социал-демократии, - эта умственная подвижность Герцена не была уделом его московских друзей; их "эволюция" теоретически остановилась на сороковых годах, а практически завершилась 1861-ым годом, когда они, сочтя главное сделанным, решительно разошлись с своим заграничным другом. А с петербургскими деятелями нового направления они не имели никаких личных связей, которые бы смягчили противоречия в образе мыслей.

Что касается до моего отца, то, как человек с самыми положительными верованиями в области религии и как убежденный "государственник", он, конечно, был еще дальше от господствующего направления 60-х годов.

Почему же печальная судьба Чернышевского - самой значительной головы в этом враждебном и, во всяком случае, чуждом и не сочувственном им лагере, так поразила и возмутила этих людей? Конечно, они были слишком благородны, чтобы радоваться чьему бы то ни было несчастью. Но, если бы они считали это несчастье заслуженным, они могли бы "по человечеству" пожалеть о пострадавшем, указать на какие-нибудь "смягчающие обстоятельства" - и успокоиться. Но откуда это необычайное волнение, почему эти люди выведены из себя?

Отчасти я могу понять причину из тогдашнего разговора, особенно из слов отца, который говорил больше своих собеседников. Впоследствии дело выяснилось для меня вполне.

III

- Что же это такое? - говорил отец, - берут из общества одного из самых видных людей, писателя, который десять лет проповедовал на всю Россию известные взгляды с разрешения цензуры, имел огромное влияние, вел за собою чуть не все молодое поколение, - такого человека в один прекрасный день без всякого ясного повода берут, сажают в тюрьму, держат года, - никому ничего не известно, - судят каким-то секретным судом, совершенно некомпетентным, к которому ни один человек в России доверия и уважения иметь не может и который само правительство объявило никуда не годным*, - и вот, наконец, общество извещается, этот Чернышевский, которого оно знает только как писателя, ссылается на каторгу за политическое преступ

* Судебная реформа была уже в это время делом решенным {2}.

375

ление, - а о каком-нибудь доказательстве его преступности, о каком-нибудь определенном факте нет и помину.

- Как вы странно рассуждаете, - заговорил Е. Ф. Корш, - ну, какие тут доказательства? На какой планете вы живете? Мы - дети, они - отцы, вот и все. И какая у вас черная неблагодарность. Вас избавили от зловредного человека, который чуть-чуть не запер вас в какую-то фаланстерию, а вы требуете каких-то доказательств. Ну, кому же и верить на слово, как не правительству?

- А вот именно потому, - продолжал отец прежним тоном, - что я верю правительству, я и не могу доверять тому суду, который само правительство признало никуда не годным и обреченным на уничтожение. Всем известно, что это за судьи и что им не только судьбы человека, а последней кошки доверить нельзя.

- Ты в самом деле думаешь, - мрачно пробурчал Кет-чер, - что ничего фактического не было?

- Не думаю, а совершенно уверен. Ведь каковы бы ни были эти судьи, не в

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
сумасшедшем же доме они сидят. Сообрази сам, допустим, что в политическом процессе для успешного расследования может требоваться строгая тайна. Но когда дело кончено, виновность доказана и приговор состоялся, то тут из-за чего же секретничать? Я готов даже допустить и такую нелепость, чтобы прятали и самого Чернышевского, боясь, как бы его не освободили. Но вину-то его, вину фактическую, доказанную, зачем прятать? Единственное объяснение, что этой вины нет и что объявлять им нечего.

IV

Собеседники не спорили; разговор продолжался на ту же тему, но я запомнил из него ясно только то, что сейчас передал. Впоследствии, в разных возрастах, мне случалось разговаривать о Чернышевском с моим отцом, который всегда подтверждал свою уверенность в том, что никакого политического преступления Чернышевский не совершил, а был сослан за то, что его писательская (подцензурная) деятельность найдена была опасною для существующего порядка.

Отец имел, хоть и не близкое, личное знакомство с Чернышевским: им пришлось видеться и разговаривать всего два раза с промежутками в несколько лет. В первое свидание (если не ошибаюсь, в конце 1859 г.) Чернышевский очень

376

понравился отцу, во второе (должно быть, в начале 1862 г.) он нашел в нем большую перемену, которую объяснял установившимся идолопоклонническим отношением к Чернышевскому окружавшей его литературной и общественной среды. "Я помнил, — говорил отец, — замечательно умного и толкового собеседника, скромного и любезного, — и вдруг непогрешимый оракул, которого можно только почтительно слушать. Совсем другой человек сделался — узнать было нельзя". Факт перемены в Чернышевском оставил свои следы и в печатных его произведениях; но он допускал, может быть, другое объяснение. Впрочем, и слова отца, помню, были сказаны не столько в упрек Чернышевскому, сколько в обличение незрелости, несерьезности и холопского духа в русском обществе. "Ну, какой тут может быть правильный рост образованности? Третьего дня ты принял за серьезное дело в науке и в литературе, вчера тебя потащили на дельфийский треножник: не нужно, мол, нам твоего умственного труда, давай нам только прорицания; а сегодня, еще не прочувавшись от фимиама, ты уже на каторге: зачем прорицательствовал с разрешения предварительной цензуры".

Отец с своей точки зрения полагал, что Чернышевский, возмужав, сумел бы отделаться от вредного действия общественных поклонений; фимиам передовых кружков испарился бы у него вместе с невинными социалистическими утопиями, и он стал бы настоящим умственным деятелем на пользу России. Тем сильнее было негодование отца на виновников катастрофы: "одни испортили, а другие совсем погубили". Подлинные выражения, которые я хорошо помню, были гораздо резче*.

От этих разговоров с отцом у меня осталось яркое представление о Чернышевском как о человеке, гражданине убитом не за какое-нибудь политическое преступление, а лишь за свои мысли и убеждения. Конечно, обнародо

* Перемена, замеченная отцом в Чернышевском, фактически несомненно произошла, так как можно указать ее прямые проявления и в литературе (напр., в полемическом ответе Юркевичу). Но имела ли она указанную причину или же совсем другие — это остается спорным. Она могла происходить не от самомнения, а от раздражения, вследствие оказавшейся непрочности освободительного движения и появившихся уже в 1861 г. признаков начинаящейся реакции.

377

вание своих мыслей и убеждений в печати есть уже поступок, но если этот поступок совершается с предварительного разрешения правительственной цензуры, казалось бы, ясно, что он не может быть преступлением.

Впоследствии мне случилось ближе познакомиться (по некоторым документам) с делом Чернышевского, и мое прежнее впечатление не только подтвердилось, но

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
стало несомненно и непоколебимо уверенностью. Я укажу здесь в кратких
чертых на главные основания этой уверенности.

Чернышевский был обвиняется, главным образом, на трех основаниях: 1)
преступные сношения его с эмигрантом Герценом, 2) участие в составлении и
напечатании прокламации к крестьянам, и 3) письмо к поэту Плещееву
преступного содержания.

По первому пункту выяснилось, что, когда в 1861 г. журнал "Современник" был
подвергнут непродолжительной приостановке, Герцен обратился через одного
общего знакомого к Чернышевскому с предложением перенести издание за
границу, на что получил решительный отказ {3}. При этом оказалось, что
вообще к замыслам Герцена относительно революционной агитации Чернышевский
относился отрицательно, и поддерживать обвинение по этому пункту найдено
было совершенно невозможным.

Относительно второго основания обвинения обнаружилось одно обстоятельство,
на которое странный суд, разбирая дело, не обратил внимания, хотя при
суде сколько-нибудь правильном этот факт, конечно, решил бы дело в пользу
подсудимого. Случайным образом оказалось, что единственный его обвинитель,
выгораживающий этим обвинением себя самого, - и действительно сейчас же
освобожденный от наказания, к которому он уже был приговорен, этот
единственный обвинитель и доносчик на Чернышевского подкупал как свидетеля
одного пьяницу-мешанина, который затем оказался лицом столь
неблагонадежным, что его пришлось административно выслать в Архангельскую
губернию.

Что касается до третьего основания обвинения, мнимого письма Чернышевского
к Плещееву, то ввиду решительного заявления подсудимого, что он такого
письма никогда не писал и что почерк предъявленного ему документа - не его,
хотя вначале старательно подделан под его руку, - были спрошены в качестве
экспертов... сенатские секретари! Каким образом эта должность и степень
служебной иерархии является вдруг в виде особой профессии - это есть тайна
нашей дороформенной юстиции. Между моими хоро

378

шими знакомыми есть несколько лиц, бывших сенатскими секретарями (один из
них еще до судебного преобразования), но они решительно отрицают
какую-нибудь свою приосновенность к искусству распознавания почерков и
различия поддельного сходства от действительного тождества. Секретари
могли говорить только о явном сходстве почерков, которое необходимо
существует и в подделке. При этом некоторые из них, вероятно более
внимательно рассматривавшие письмо по отдельным буквам, заявили, что только
некоторые буквы схожи способом писания их в признанном письме
Чернышевского, другие же не похожи. Такая экспертиза была сочтена
достаточною для признания подлинности письма и для осуждения Чернышевского!

А между тем помимо такого странного решения вопроса о почерках,
принадлежность Чернышевскому этого письма опровергается и по существу - и
неправдоподобным содержанием письма, и выбором адресата, и выбором
посредника. Поэт тихой грусти, А. Н. Плещеев, был в жизни совершенным
младенцем. В ранней молодости он как-то участвовал в знаменитом деле
Петрашевского, когда несколько молодых людей, в том числе Ф. М. Достоевский
и Н. Я. Данилевский (автор ультранационалистической книги "Россия и
Европа"), оказались виновными в тяжком политическом преступлении: в
домашних разговорах о крепостном праве и в потаенном чтении сочинений
Фурье. Приговоренные за это к смертной казни, они были уже по прочтении
приговора помилованы, т. е. смертная казнь заменена другими наказаниями: от
каторги до высылки в отдаленные города на обязательную государственную
службу. После этого Плещеев никакой политикой не занимался. И ему-то
Чернышевский, очень мало с ним знакомый, написал будто бы письмо о каком-то
их общем революционном предприятии и отправил этот документ с юным
литератором, с которым также вовсе не был близок и который вместо адресата
доставил письмо в III-е Отделение. Очевидно, над изобретением
правдоподобных улик не очень трудились: не считали нужным церемониться. Что
улика была заведомо ложная, яствует из следующего соображения. Ведь при
предположении подлинности письма оно было уликою против Плещеева столько
же, сколько против Чернышевского. Между тем Плещеев никакой ответственности
не подвергся. Ясно, что ни в III-ем Отделении, ни в Сенате подлинности
этого письма не верили {4}.

379

VI

Ясно вместе с тем, что к подобным доказательствам политической преступности Чернышевского никто не стал бы прибегать, если бы были какие-нибудь лучшие. Но ни перед арестом Чернышевского, ни в два года его сидения в крепости никаких доказательств его преступности не удалось найти. Да и чем объяснить это долговременное предварительное заключение при крайней скучности обвинительного материала, как не надеждою судей отыскать какие-нибудь улики, хоть немного более приличные. Но эта надежда оставалась тщетной, никаких правдоподобных улик не являлось, и пришлось наконец осудить его на основании одних вымыслов и подлогов.

Действительно причиною дела были, разумеется, печатные произведения Чернышевского, которые были упомянуты и в опубликованном приговоре. Все они появлялись, как я уже говорил, с разрешения предварительной цензуры. Никаких запрещенных книг или брошюр Чернышевский никогда не издавал. Но вот одно обстоятельство, которое кажется мне очень характерным и любопытным. Из всех сочинений Чернышевского есть только одно, единственное, где можно было бы найти если не основание, то некоторый повод к политической инкриминации, именно знаменитый роман "Что делать?". В конце его попадаются какие-то, правда, очень темные и загадочные, но все-таки будто намеки на желательность и возможность каких-то важных перемен в общественной жизни России. Читатель, знакомый с содержанием сочинений Чернышевского, но не знающий их точной хронологии и особых обстоятельств их появления, может подумать так: "Допустим, что цензор оплошал, пропустив эти страницы, и что формально виноват только он; но по существу дела, раз эти страницы появились, они могли вызвать в "подлежащем ведомстве" искренние опасения каких-то политических замыслов со стороны Чернышевского, - подозрения, которыми если не оправдывался, то извинялся и объяснялся его арест и осуждение". Но такое предположение возможно именно при незнании обстоятельств и уничтожается тем несомненным фактом, что роман "Что делать?" во время ареста и предания суду Чернышевского еще вовсе не существовал, так как автор и начал, и кончил его в крепости, в заключении, причем в редакцию "Современника" рукопись, по мере написания, передавалась через посредство чинов III-го Отделения. Значит, не только нельзя говорить об этом романе, как об основании для возбуждения

380

политического преследования, но и после своего появления он мог служить не к подтверждению, а только к опровержению предполагаемой политической преступности своего автора, так как даже его судьи должны были сообразить, что человек, решительно отрицающий взвешенную на него вину, не станет нарочно создавать и класть в руки своим обвинителям улику против себя. Следовательно, помянутые туманные места в романе, которые сами по себе могли бы быть, но могли бы и не быть поняты в смысле ожидания какого-то государственного переворота, необходимо должны быть относимы лишь к фаланстерианской утопии, которой посвящен и остальной роман безо всякого политического значения.

VII

Неужели, однако, высший трибунал Империи мог совершить такую вопиющую неправду - предать гражданской смерти заведомо невинного человека? Кто предложил бы такой вопрос с серьезным недоумением, обнаружил бы только то свойство, в котором незадолго до своей смерти И. Аксаков упрекал русское общество. Когда с конца 70-ых и особенно с начала 80-ых годов часть русской печати стала усиленно нападать на судебную реформу 1864 г., причем подразумевалась желательность более или менее прямого возврата к старому суду, Аксаков, хорошо знавший этот суд по личному опыту, собрал всю силу нравственного негодования и патриотического чувства, чтобы отогнать этот вызываемый призрак "черной неправды"*. "_Поразительно коротка память у нашего русского общества_... Старый суд! при одном воспоминании о нем волосы встают дыбом, мороз дерет по коже!.. "Мы имеем право так говорить", замечает Аксаков и ссылается на первые, лучшие годы своей молодости, посвященные служебной деятельности в старом суде. Воспитанник училища правоведения, обязательно вступивший на службу по ведомству министерства юстиции еще в сороковых годах, он изведал вдоль и поперек все

* Повторяемые Аксаковым слова из известных стихов, обращенных Хомяковым к дореформенной России:

В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена,
Постыдной лести, лжи тлетворной,
И лени мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна {5}.

381

тогдашнее уголовное правосудие, в провинции и в столице, в канцеляриях и в составе суда... Это была воистину мерзость запустения на месте святе... Со всем пылом юношеского негодования ринулся он вместе с своим товарищем по воспитанию в неравную борьбу с судебною неправдою,- и точно так же, как иногда и теперь, встревоженная этим натиском стая кривосудов поднимала дикий вопль: вольнодумцы, бунтовщики, революционеры!

"Помним, как однажды молодой обер-секретарь" (разумеется, сам Аксаков, служивший обер-секретарем в шестом департаменте сената) - "молодой обер-секретарь, опираясь на забытую и никогда не применявшуюся статью Свода Законов, отказался скрепить истинно неправедное постановление, благоприятствовавшее людям, занимавшим очень видное положение в высшем обществе,- и с каким шумом, с каким гневом встретили сановные старики такое необычайное дерзновение..." "Перед нами,- продолжает Аксаков,- невольно встают воспоминания одно возмутительнее другого. Какие муки, какие терзания испытывала душа, сознавая бессилие помочь истине, невозможность провести правду сквозь путы и сети тогдашнего формального судопроизводства".

Приводя возмутительный во всех отношениях пример судебной неправды и жестокости, Аксаков продолжает: "Мы не можем отаться здесь нашим воспоминаниям; но дел, подобных рассказанному, в течение нашего недолголетнего судебного поприща, было множество. Не всегда неправда была последствием грубо-корыстных побуждений, но очень часто происходила от преступно-небрежного отношения к своим обязанностям, отношения, взлелеянного замкнутостью судилища, где все были свои, где все было по-домашнему, куда не проникал глаз постороннего наблюдателя, где все, даже по закону, ограждалось "канцелярскою тайной" и не опасалось проклятой "гласности".

На этой почве узаконенного неправосудия сложилось отношение народа к суду. "Суд и неправда в глазах народа были синонимами; в заговорах от всякой напасти - изобретались колдовские слова, оберегавшие будто бы даже правого от столкновения с судом... Неправосудие представлялось каким-то неизбежным элементом жизни, чуть не основою русского общежития... Что значит все действительные недостатки новых судов в сравнении с тою сплошною мерзостью, которую мы терпели так долго, даже и не обнаруживая, к стыду нашему, никакой особенной щекотливости и раздражительности?"

382

Главное общее условие этой мерзости Аксаков указывает в том, что интерес правосудия не понимался как самостоятельный и безусловный, уступая или грубо-корыстным побуждениям (преимущественно на низших инстанциях), или сторонним внушениям и усмотрениям (на высших инстанциях). В обоих случаях суд не был независимым. А "суд зависимый,- говорит Аксаков, есть бессмыслица (*contradic-tio in adjecto*) или же чудовищная аномалия: зависимый суд не есть суд" (Сочинения И. С. Аксакова, Москва, 1886, том IV, стр. 652 и след.).

Последним в России ярким проявлением этой, по словам Аксакова, "неправды черной", этой "мерзости запустения", этой "чудовищной аномалии" было дело Чернышевского. Назвать его "судебной ошибкой" было бы совсем не точно, так как для судебной ошибки необходимо, чтобы были две вещи: во-первых, суд и,

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
во-вторых, ошибка, т. е. невольное заблуждение. Но в деле Чернышевского не было ни суда, ни ошибки, а было только заведомо неправое и насильтственное деяние, с заранее составленным намерением. Было решено изъять человека из среды живых, - и решение исполнено. Искали поводов, поводов не нашли, обошлись и без поводов.

Я надеюсь, что мне еще представится возможность более подробно поговорить о Чернышевском и его деле, а пока я хотел только напомнить об этом деле, которое до сих пор остается тайным. Если Чернышевский был осужден справедливо, то что же мешает открыть основания его осуждения, а если его осудили несправедливо, то пора русскому обществу снять с себя обвинение Аксакова, что оно терпит "мерзости, даже и не обнаруживая, к стыду своему, никакой особенной щекотливости и раздражительности".

В заключение я должен сказать, что все сообщения печатные, письменные и устные, которые мне случилось иметь об отношении самого Чернышевского к постигшей его беде, согласно представляют его характер в наилучшем свете. Никакой позы, напряженности и трагичности; ничего мелкого и злобного; чрезвычайная простота и достоинство. В теоретических взглядах Чернышевского (до катастрофы) я вижу важные заблуждения; насколько он их сохранил или покинул впоследствии, я не знаю. Но нравственное качество его души было испытано великим испытанием и оказалось полновесным. Над развалинами беспощадно разбитого существования встает тихий, грустный и благородный образ мудрого и справедливого человека.

14 декабря 1898 г. Москва

383

КОММЕНТАРИИ: ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ. Н. Г. Чернышевский.

Статья писалась в 1898 г. для ашхабадской газеты "Закаспийское обозрение", редактор которой К. М. Федоров в свое время был у Н. Г. Чернышевского в Астрахани переписчиком. В газете не была напечатана по цензурным условиям и хранилась у М. Н. Чернышевского. Печатается по изданию: Письма Владимира Сергеевича Соловьева. СПб., 1908. Т. 1. С. 271-282.

{1} Описываемые события относятся к 1864 г.

{2} Новые судебные уставы были утверждены 20 ноября 1864 г.

{3} "Современник" был временно закрыт летом 1862 г.

{4} Соловьев со знанием подробностей пересказывает "дело" Чернышевского, в то время плохо известное русскому обществу. Источник его осведомленности установить не удалось.

{5} Строки стихотворения Хомякова "России" ("Тебя призвал на брань святыу..."), 1854.

Из воспоминаний, Аксаковы

Владимир Сергеевич Соловьев

Из воспоминаний. Аксаковы

Вспоминается мне большой, просторный дом, - барский оазис среди купеческого Замоскворечья - против Николы, что в Толмочах, близ Ордынки...

- Сегодня у нас вечер с _большими_: дядя Юша и Анна Федоровна Аксакова хотят тебя смотреть; они теперь внизу у бабушки, и будут подниматься не вместе, чтобы не запугать сразу.

"Дядю Юшу", т. е. знаменитого славянофила Юрия Федоровича Самарина, а также и племянника, гр. Федора Львовича Соллогуба - самого своеобразного и привлекательного изо всех людей, каких я только знал, нужно будет когда-нибудь помянуть особо, а теперь я хочу только записать, что осталось в памяти об Аксаковых - Анне Федоровне и Иване Сергеевиче.

Вижу, входит мать моего приятеля, графиня Мария Федоровна Соллогуб (рожденная Самарина) и с нею дама лет 45, невысокого роста, полная и

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
плотная, с очень некрасивым, но оригинальным лицом и, очевидно, давно
оставившая всякое притязание (если только когда-нибудь его имела) быть
женщиной в специфическом светском смысле этого слова. Желание Анны
Федоровны Аксаковой и других лиц "смотреть" меня объясняется некоторым
шумом, донесшим в Москву из Петербурга, где я несколько месяцев перед тем
начал свое поприще магистерским диспутом в университете. Моя юношеская
диссертация, а также вступительная речь на диспуте, резко шли против
господствовавшего у нас в то время позитивистического течения, и,
доставивши мне *succes de scandale** в большой публике и у молодежи,

* Скандалный успех (фр.).- Ред.

365

вместе с тем обратили на себя внимание "старших": Каткова, Кавелина, и
особенно последних представителей коренного славянофильства, к которому в
некоторых пунктах примыкали мои воззрения, хотя и незрелые, но достаточно
определенные в главном. Анна Федоровна начала разговор по-русски с очень
сильным иностранным произношением и скоро перешла на безукоризненный
французский язык. Дочь нашего великого лирика Ф. И. Тютчева, по матери
немка, она воспитывалась в Германии, а затем большую часть жизни провела
при дворе покойной императрицы Марии Александровны, где русский язык еще не
был в большом употреблении. Впрочем, она его основательно знала, очень
хорошо на нем писала и могла говорить грамматически правильно, но только с
резким немецким акцентом; она прекрасно знала также церковнославянский язык
и была начитана в наших богослужебных книгах.

Темою первого разговора послужила, конечно, моя диссертация и ее главное
содержание - критика философии Шопенгауэра и недавно выступившего тогда
Гартмана. Моя собеседница с большим жаром напала на самое понятие
бессознательного духа.

- Бывают душевые состояния, не сознаваемые нами, т. е. мы не всегда
сознаем ясно, что делается в нашей душе, и пожалуй, это можно назвать
бессознательностью души, но какой смысл имеет бессознательный дух, когда
духом называется то, что владеет собою и, следовательно, имеет
самосознание?

Я заметил, что слово *Geist** употреблялось в различных значениях и что у
старших писателей оно относилось не к высшему, а к среднему началу нашей
жизни, связывающему психическое существо с физическим, - *Geist Gas* - как и у
французов в старину *les esprits animaux*** означали что-то полуматерьяльное,
посредствующее между душою и телом.

- Да, но ведь Гартман - не старинный писатель, и терминология у него
теперешняя, а при этом вся его метафизика, основанная на духовном, но
бессознательном начале, есть бессмыслица (*n'est qu'un contresens****).

Впоследствии я встречал многих дам, рассуждающих о философских предметах;
иные предлагали мне на этот счет свои собственные мысли, решительно
превышающие

* дух (нем.).- Ред.

** дух плоти (фр.).- Ред.

*** Бессмыслица (фр.).- Ред.

366

мое разумение, другие более настаивали на требовании, чтобы я сказал им в
двух словах безусловную истину - *la verite absolue*. Но женщина,
рассуждающая о таких вещах толково и с знанием дела, есть величайшая
редкость. С этой стороны я сразу оценил Анну Федоровну и пожелал продолжать
знакомство. В ближайшее воскресенье я отправился на Спиридоновку - кажется,
там жили тогда Аксаковы, - и застал дома обоих хозяев. Скоро потом я поехал
за границу, потом оставил Московский университет и переселился в Петербург.

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Но часто и подолгу бывая в Москве, посещал и Аксаковых, у которых собирались по пятницам разные люди, более или менее примыкавшие к Славянскому комитету, где председательствовал тогда Иван Сергеевич {1}. Не все элементы этих вечерних собраний были одинаково приятны; некоторыми тяготилась и сама хозяйка. Мне было интереснее видеться с Аксаковыми без гостей; я полюбил и мужа и жену, хотя с нею мне было более по себе, между прочим, потому, что в Иване Сергеевиче, при всех его серьезных достоинствах, было всегда что-то условное, был какой-то традиционный панцирь, стягивающий и закрывающий его прекрасную душу. У него не было того, что французы называют *abandon**. У жены его в этом не было недостатка. Унаследовав от своего отца живой и тонкий ум при высоком строе мыслей и при большой чуткости ко всему хорошему, она соединяла с этим недостававшую ее отцу силу характера, германское прямодушие и серьезную добросовестность во всех нравственных вопросах - *den sittlichen Ernst***. Это, вероятно, пришло к ней с материнской стороны. Но другого свойства она не унаследовала от матери, которая, по ее рассказам, была воплощенною кротостью, чего уж никогда нельзя было сказать про саму Анну Федоровну. При большой сердечной доброте она менее всего была похожа на овечку. Я никогда в жизни не видел более раздражительного, резкого и вспыльчивого существа. Она не сердилась, а как-то вдруг вся загоралась и начинала "бросать огонь и пламя", по французскому выражению. Иногда это происходило по совершенным пустякам, но большую частью в основе здесь лежало нравственное негодование. Потому что Анна Федоровна была полна нравственной брезгливости, которую вообще никак не скрывала, а при всяком заметном поводе эта брезгливость выражалась в яростных вспышках.

Дочь и жена славянофилов Анна Федоровна очень

* Небрежение (фр.).- Ред.

** Нравственная серьезность (нем.).- Ред.

367

своеобразно относилась к славянофильству. Западные и южные славяне вызывали в ней глубокое презрение и отвращение. Правда, она их знала лишь по тем образчикам, которые она могла видеть в Славянском Комитете и в кабинете своего мужа, где их понятие о славянской взаимности принимало несколько узкую форму, всецело сосредоточиваясь на испрашивании и получении денежных пособий. Не с таким отвращением и брезгливостью, но все-таки презрительно относилась она к русскому простонародью, которое обвиняла в неисправимом мошенничестве и лживости. Конечно, и тут отрицательная оценка вырастала на почве личного опыта - с русскою прислугою. Самой умной женщине легче понять даже отвлеченные философские идеи, нежели в предметах жизненного интереса отделить общее суждение от единичных конкретных впечатлений.

Когда случалось Анне Федоровне рассказывать в присутствии мужа о каком-нибудь подвиге доверенного домочадца, она обобщала рассказ следующим, например, образом: "Наш такой-то, как неиспорченное дитя того "святого" русского народа, которому поклоняется Иван Сергеевич,- конечно, должен был произвести такое-то мошенничество".- "Ну что ж, этак и я, как русский, должен быть мошенником?" - проворчit, бывало, Иван Сергеевич. "Нет, ты не должен, потому что ты испорчен европейским образованием, которое тебя научило, что народная святость не освобождает от личной честности". На это Иван Сергеевич ничего не возражал. Так же был он уступчив и при "генеральских атаках" своей жены против славянофильства, каким я бывал свидетелем. Вот одна из самых типичных.

II

Разговор, как всегда, шел по-французски. Я перевожу, хорошо помня главные фразы.

- Ну, что, собственно, дало твоё славянофильство русскому обществу? Чем было полезно? какие его результаты? Я вижу только один: что в обществе перестают читать и говорить на иностранных языках. Но ведь это оглупление и одичание! Это бросается в глаза! Сравни только общество, которое мы знали двадцать лет назад, с теперешним!

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Иван Сергеевич пытается возражать: разве славянофильство виновато в том, что теперь нет больше таких людей, как, например, твой отец или Хомяков?

- Ты сам себя опровергаешь,- кричит Анна Федо

368

ровна, разгораясь,- мой отец и Хомяков были прежде всего люди европейски образованные, и если это было нужно для них, то тем более нужно для теперешних, которые без помощи культуры совсем пропадут, делаются такими же животными (brutes), как твои возлюбленные мужики.

Иван Сергеевич кротко и без воодушевления возражает, что значение Хомякова и Тютчева зависит не от их образованности, а от их русских убеждений.

- Неправда, неправда! - прерывает его Анна Федоровна,- никаких русских убеждений нет, а есть только русская дикость. Ты сам если имеешь какое-нибудь достоинство (*quelque valeur*), то не потому, что ты русский, а лишь потому, что ты только наполовину русский. Все, что в тебе есть хорошего, происходит от твоей татарской крови и от твоего немецкого образования! А теперь вот нашим болванам, вместо того чтобы их сколько-нибудь очеловечить, внушают, что они и так хороши, что им нужно оставаться только русскими, что Европа нам совсем ни к чему, что у нас с нею нет ничего общего! Этого, я думаю, ни мой отец, ни Хомяков не предусматривали. Но вот к каким отвратительным глупостям привело ваше славянофильство. Послушайте, что теперь пишут и читают!..

Анна Федоровна быстро берет с соседнего стола известную тогда лишь в славянофильских кругах, но потом довольно популярную книгу крайне националистического направления и начинает ее гневно перелистывать; но негодование мешает ей найти нужное место, и она с шумом бросает книгу {2}.

- И какая глупая, ребяческая вера в пустые слова! Вы думаете, что образование перестает быть образованием оттого, что вы назовете его "европейничаньем"! Как будто существует еще какая-то другая образованность, другая наука, кроме европейской! Если у вас есть свое, не европейское, покажите поскорей. А если ваша самобытная русская образованность состоит только в том, чтобы бранить Европу, то я вам скажу, что это только надувательство и преступление против отечества. Когда вы говорите русским: "Не европейничайте, будьте только русскими", это на самом деле значит: "Откажитесь от образования, останьтесь с вашим самодовольным невежеством, т. е. под предлогом самобытности подражайте китайцам!" Нет, ты мне скажи, пожалуйста: почему подражать немцам или англичанам - дурно, а подражать китайцам - хорошо?

Но Иван Сергеевич прямого ответа не давал, а лишь кротко улыбался и издавал нечленораздельные, но умиро

369

творящие звуки, средние между тихим мычаньем и легким скрипом.

Я мог передать, разумеется, хотя верно, но лишь в сухом скелете живые и остроумные выходки Анны Федоровны, которые меня и интересовали, и забавляли, хотя я и не разделял тогда ее точки зрения, потому что сам был отчасти жертвой того, что она называла в гневе "надувательством" и что в действительности было искренним увлечением умов, невольно поддавшихся стихийной силе национального самолюбия и самомнения.

Что касается до Ивана Сергеевича, то, зная, что и он человек очень вспыльчивый и с довольно развитым знаком "*de la combativite*"*, или "холмом Марса" на руке, я всегда удивлялся невозмутимому благодушию, с которым он принимал все громы своей супруги. Мысленно я называл его за это "добропобедным мучеником".

Должно сказать, что Анна Федоровна громила своего мужа только в глаза; в отсутствие же его она говорила о нем так, как только самая любящая и благородно-самолюбивая жена может говорить о своем муже.

- Иван Сергеевич человек идеальный; его славянофильская публицистика есть с его стороны какой-то подвиг смирения; конечно, при всей антипатичности этих

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
славян, его деятельность имеет большое историческое значение; но я уверена,
что по своим умственным и нравственным силам он был бы способен к делу
гораздо более великому.

Отношение Анны Федоровны к деятельности мужа менялось до некоторой степени. В годы сербской и русско-турецкой войны она была увлечена и гордилась быстро выросшим значением и популярностью Ивана Сергеевича {3}. Но роль публициста, "газетчика", казалась ей решительно ниже его достоинства. Если ему заграждена деятельность государственного человека, то он должен уединиться и посвятить себя большому капитальному сочинению о России, о православии и всех высших вопросах, - труду, который бы "остался" и увековечил его имя. А он вместо этого разменивает свои силы на еженедельные печатные разговоры о текущих дела.

Когда умер Иван Сергеевич, с Анной Федоровной произошел переворот. Всякая тень критического отношения к мыслям и делам покойного исчезла окончательно. Она приняла два решения, в которых видела свой нравственный долг: во-первых, стать настоящей славянофилкою; а во-вторых,

* Склонность к борьбе (фр.).- Ред.

370

собрать и издать все оставшееся от мужа. Вторую задачу она исполнила с поразительным, почти сверхъестественным успехом. В три года (1886-1889) она, больная, приговоренная к смерти, не только собирает из ряда журналов, группирует по предметам и издает множество статей, составивших семь толстейших томов, но еще в то же время разбирает всю обширную переписку покойного, приготовляет ее к печати и начинает печатать.

Первая задача - стать славянофилкою - оказалась труднее. С наивностью, трогательной в такой женщине, она говорила мне:

- Я всячески стараюсь усвоить все идеи и взгляды Ивана Сергеевича - это теперь мой долг и самое горячее желание моего сердца. И я достигла некоторых успехов. Но есть вещи, которые все еще никак в меня не вмещаются. Во-первых, его странное обожание русского народа, - я уже не говорю о других славянах, а потом государственный принцип славянофильства, который мне никак не удается согласовать с здравым смыслом. Это самое большое мое огорчение.

Другое, меньшее, но все-таки серьезное, по-видимому, огорчение причиняло ей я. Об этом после. А теперь я должен сказать о том, что, кроме глубокого и горячего личного чувства, связывало Анну Федоровну с ее мужем и при жизни, и после его смерти и в чем она без усилия могла примыкать к славянофильству.

Это была ее искренняя и восторженная любовь к православию или собственно к православному богослужению. В этом она всегда сходилась с Иваном Сергеевичем, хотя характер их религиозности был различный. Иван Сергеевич был, во-первых, привязан к православию, как к вере отцов, как к родовой святыне, с детства осеняющей русского человека.

Приди ты, немощный,
Приди ты, радостный,
Звонят ко всенощной,
К молитве благостной...
.....

Заутра праздник, вещий день

Ильи, гремящего пророка... {4}

А затем он преклонялся в православии перед самым чистым и полным, по его убеждению, выражением нравственного принципа, жизненной нормы.

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Анна же Федоровна брала православие с его мистической и эстетической стороны, которые сливались в богослужении.

371

Верой, переданной от отцов, или святыней детства православие для нее, собственно, не было: родилась она в Германии, отец ее, особенно в молодости, не был практически религиозен, мать была протестантка, а сама она воспитывалась в католическом пансионе. Православие было для нее религией приобретенной, как отвечающее мистическим потребностям ее природы. Сверхъестественный мир был для нее реальностью, она наполовину жила в мире вещей снов, пророческих видений и откровений. И в моих воспоминаниях Анна Федоровна неизбежно вызывает память о фактах мистических. Пока сообщу только два, имеющие особое значение...

372

= КОММЕНТАРИИ. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ. Аксаковы.

Впервые напечатана в январской книжке "Недели", 1901. В 1889 г. Соловьев принял предложение С. А. Венгерова написать для "Словаря русских писателей" статью об А. Ф. Аксаковой. Начав работу, он вскоре от нее отказался: "...трудность и в непривычной мне форме личных воспоминаний" (Письма, 2, 318). Воспоминания остались неоконченными.

{1} В 1875 г. И. С. Аксаков стал председателем Московского славянского комитета, в котором он и прежде играл главную роль. Славянский комитет объединял русскую общественность, стремившуюся оказать посильное содействие национально-освободительной борьбе славянских народов.

{2} Вероятно, речь идет о книге Н. Я. Данилевского "Россия и Европа".

{3} Война Сербии с Турцией началась в июне 1876 г., а в апреле 1877 г. Россия объявила войну Турции. И. Аксаков и возглавляемый им Славянский комитет получили известность сбором пожертвований и посылкой добровольцев в Сербию.

{4} Неточная цитата из поэмы И. С. Аксакова "Бродяга" (глава "Шоссе"), 1847 - 1850 гг.

Стихи и проза

Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории Со включением краткой повести об антихристе и с приложениями

Посвящается ушедшим друзьям ранних лет
Николаю Михайловичу Лопатину и Александру Александровичу Соколову
ПРЕДСЛОВИЕ

Есть ли зло только естественный недостаток, несовершенство, само собою исчезающее с ростом добра, или оно есть действительная сила, посредством соблазнов владеющая нашим миром, так что для успешной борьбы с нею нужно иметь точку опоры в ином порядке бытия? Этот жизненный вопрос может отчетливо исследоваться и решаться лишь в целой метафизической системе. Начав работать над этим для тех, кто способен и склонен к умозрению, [1] я, однако, чувствовал, насколько вопрос о зле важен для всех. Около двух лет тому назад особая перемена в душевном настроении, о которой здесь нет надобности распространяться, вызвала во мне сильное и устойчивое желание осветить наглядным и общедоступным образом те главные стороны в вопросе о зле, которые должны затрагивать всякого. Долго я не находил удобной формы для исполнения своего замысла. Но весною 1899 года, за границей, разом сложился и в несколько дней написан первый разговор об этом предмете, а затем, по возвращении в Россию, написаны и два другие диалога. Так сама собою явилась эта словесная форма как простейшее выражение для того, что я хотел сказать. Этюю формою случайного светского разговора уже достаточно ясно оказывается, что здесь не нужно искать ни научно-философского исследования, ни религиозной проповеди. Моя задача здесь скорее апологетическая и полемическая: я хотел, насколько мог, ярко выставить связанные с вопросом о зле жизненные стороны христианской истины, на которые с разных сторон напускается туман, особенно в последнее время.

Много лет тому назад прочел я известие о новой религии, возникшей где-то в восточных губерниях. Эта религия, последователи которой назывались вертидырниками или дыромолями, состояла в том, что, просверлив в каком-нибудь темном углу в избе дыру средней величины, эти люди прикладывали к ней губы и много раз настойчиво повторяли: «Изба моя, дыра моя, спаси меня!» Никогда еще, кажется, предмет богочтения не достигал такой крайней степени упрощения. Но если обоготворение обычной крестьянской избы и простого, человеческими руками сделанного отверстия в ее стене есть явное заблуждение, то должно сказать, что это было заблуждение правдивое: эти люди дико безумствовали, но никого не вводили в заблуждение; про избу они так и говорили: изба, и место, просверленное в ее стене, справедливо называли дырой.

Но религия дыромоляев скоро испытала «эволюцию» и подверглась «трансформации». И в новом своем виде она сохранила прежнюю слабость религиозной мысли и узость философских интересов, прежний приземистый реализм, но утратила прежнюю правдивость: своя изба получила теперь название «царства Божия на земле», а дыра стала называться «новым евангелием», и, что всего хуже, различие между этим мнимым евангелием и настоящим, различие совершенно такое же, как между просверленной в бревне дырой и живым и целым деревом, – это существенное различие новые евангелисты всячески старались и замолчать и заговорить.

Я, конечно, не утверждаю прямой исторической или «генетической» связи между первоначальною сектой дыромоляев и проповедью мнимого царства Божия и мнимого евангелия. Это и не важно для моего простого намерения: наглядно показать существенное тождество двух «учений» – с тем нравственным различием, которое я отметил. А тождество здесь – в чистой отрицательности и бессодержательности обоих «мировоззрений». Хотя «интеллигентные» дыромоляи и называют себя не дыромолями, а христианами и проповедь свою называют евангелием, но христианство без Христа – и евангелие, то есть благая весть, без того блага, о котором стоило бы возвещать, именно без действительного воскресения в полноту блаженной жизни, – есть такое же пустое место, как и обыкновенная дыра, просверленная в крестьянской избе. Обо всем этом можно было бы и не говорить, если бы над рационалистическою дырой не ставилось поддельного христианского флага, соблазняющего и сбивающего с толку множество малых сих. Когда люди, думающие и потихоньку утверждающие, что Христос устарел, превзойден или что его вовсе не было, что это – миф, выдуманный апостолом Павлом, вместе с тем упорно продолжают называть себя «истинными христианами» и проповедь своего пустого места прикрывать переиначенными евангельскими словами, тут уже равнодушие и снисходительное пренебрежение более не у места: ввиду заражения нравственной атмосферы систематическую ложью общественная совесть громко требует, чтобы дурное дело было названо своим настоящим именем. Истинная задача полемики здесь – не опровержение мнимой религии, а обнаружение действительного обмана.

Этот обман не имеет извинения. Между мною как автором трех сочинений, запрещенных духовною цензурою, и этими издателями многих заграничных книг, брошюр и листков не может быть серьезного вопроса о внешних препятствиях для полной откровенности по этим предметам. Остающиеся у нас ограничения религиозной свободы – одна из самых больших для меня сердечных болей, потому что я вижу и чувствую, насколько все эти внешние стеснения вредны и тягостны не только для тех, кто им подвергается, но главным образом для христианского дела в России, а следовательно, для русского народа, а следовательно, и для русского государства.

Но никакое внешнее положение не может помешать убежденному и добросовестному человеку высказать до конца свое убеждение. Нельзя это сделать дома – можно за границей, да и кто же более проповедников мнимого евангелия пользуется этой возможностью, когда дело идет о прикладных вопросах политики и религии? А по главному, принципиальному вопросу для воздержания от неискренности и фальши не нужно и за границу ехать, ведь никакая русская цензура не требует заявлять такие убеждения, которых не имеешь, притворяться верящим в то, во что не веришь, любящим и чущим то, что презираешь и ненавидишь. Чтобы держать себя добросовестно по отношению к известному историческому лицу и Его делу, от проповедников пустоты требовалось в России только одно: умалчивать об этом Лице, «игнорировать» Его. Но какая странность! Эти люди не хотят пользоваться по этому предмету ни свободой молчания у себя дома, ни свободой слова за границей. И здесь, и

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
там они предпочитают наружно примыкать к Христову Евангелию; и здесь, и там
они не хотят ни прямо – решительным словом, ни косвенно – красноречивым
умолчанием – правдиво показать свое настоящее отношение к Основателю
христианства, именно что Он им совсем чужд, ни на что не нужен и составляет
для них только помеху.

С их точки зрения, то, что они проповедуют, само по себе понятно,
желательно и спасительно для всякого. Их «истина» держится сама на себе, и,
если известное историческое лицо с нею согласно, тем лучше для него, но это
никак еще не может дать ему значение высшего авторитета для них, особенно
когда то же самое лицо говорило и делало много такого, что для них есть и
«соблазн», и «безумие».

Если даже по немощи человеческой эти люди испытывают неодолимую потребность
опереть свои убеждения кроме собственного «разума» на какой-нибудь
исторический авторитет, то отчего бы им не поискать в истории другого,
более для них подходящего? Да и есть такой давно готовый – основатель
широко распространенной буддийской религии. Он ведь действительно
проповедовал то, что им нужно: непротивление, бесстрастие, неделание,
трезвость и т. д., и ему удалось даже без мученичества «сделать блестящую
карьеру»[2] для своей религии – священные книги буддистов действительно
возвещают пустоту, и для полного их согласования с новою проповедью того же
предмета потребовалось бы только детальное упрощение; напротив того,
Священное Писание евреев и христиан наполнено и насквозь проникнуто
положительным духовным содержанием, отрицающим и древнюю и новую пустоту,
и, чтобы привязать ее проповедь к какому-нибудь евангельскому или
пророческому изречению, необходимо всеми неправдами разорвать связь этого
изречения и с целою книгой, и с ближайшим контекстом, – тогда как
буддийские сутты дают сплошными массами подходящие поучения и легенды, и
ничего нет в этих книгах по существу или по духу противного новой
проповеди. Заменив для нее «галилейского раввина» отшельником из рода
шакьев, мнимые христиане ничего действительного не потеряли бы, а выиграли
бы нечто очень важное – по крайней мере на мой взгляд – возможность быть и
при заблуждении добросовестно мыслящими и в некоторой мере
последовательными. Но они этого не захотят...

Бессодержательность вероучения новой «религии» и ее логические противоречия
слишком бросаются в глаза, и с этой стороны мне пришлось только (в третьем
разговоре) представить краткий, но полный перечень положений, очевидно
уничижающих друг друга и едва ли прельщающих кого-нибудь вне такого
отпетого типа, как мой князь. Но если бы мне удалось раскрыть чьи-нибудь
глаза на другую сторону дела и дать почувствовать иной обманувшейся, но
живой душе всю нравственную фальшь этого мертвящего учения в его
совокупности – полемическая цель этой книжки была бы достигнута.

Впрочем, я глубоко убежден, что слово обличения неправды, до конца
договоренное, если бы оно и совсем ни на кого сейчас же не произвело
доброго действия, все-таки есть, сверх субъективного исполнения
нравственного долга для говорящего, еще и духовно-ощущительная санитарная
мера в жизни целого общества, существенно полезная ему и в настоящем, и для
будущего.

С полемическою задачею этих диалогов связана у меня положительная:
представить вопрос о борьбе против зла и о смысле истории с трех различных
точек зрения, из которых одна, религиозно-бытовая, принадлежащая
прошедшему, выступает особенно в первом разговоре, в речах генерала;
другая, культурно-прогрессивная, господствующая в настоящее время,
высказывается и защищается политиком, особенно во втором разговоре, и
третья, безусловно-религиозная, которой еще предстоит проявить свое
решающее значение в будущем, указана в третьем разговоре в рассуждениях
г[-на] з и в повести отца Пансофия. Хотя сам я окончательно стою на
последней точке зрения, но признаю относительную правду и за двумя первыми
и потому мог с одинаковым беспристрастием передавать противоположные
рассуждения и заявления политика и генерала. Высшая безусловная истина не
исключает и не отрицает предварительных условий своего проявления, а
оправдывает, осмысливает и освящает их. Если с известной точки зрения
всемирная история есть всемирный суд Божий – die Weltgeschichte ist das
Weltgericht, то ведь в понятие такого суда входит долгая и сложная тяжба
(процесс) между добрыми и злыми историческими силами, а эта тяжба для
окончательного решения с одинаковою необходимостью предполагает и
напряженную борьбу за существование между этими силами, и наибольшее их

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
внутреннее, следовательно, мирное развитие в общей культурной среде.
Поэтому и генерал, и политик перед светом высшей истины оба правы, и я
совершенно искренно становился на точку зрения и того и другого. Безусловно
неправо только само начало зла и лжи, а не такие способы борьбы с ним, как
меч воина или перо дипломата: эти орудия должны оцениваться по своей
действительной целесообразности в данных условиях, и каждый раз то из них
лучше, которого приложение уместнее, то есть успешнее, служит добру. И св.
Алексий, митрополит, когда мирно председательствовал за русских князей в
Орде, и Сергий преподобный, когда благословил оружие Дмитрия Донского
против той же Орды, были одинаково служителями одного и того же добра –
многочастного и многообразного.

* * *

Эти «разговоры» о зле, о военной и мирной борьбе с ним должны были
закончиться определенным указанием на последнее, крайнее проявление зла в
истории, представлением его краткого торжества и решительного падения.
Первоначально этот предмет был мною изложен в той же разговорной форме, как
и все предыдущее, и с такою же примесью шутки. Но дружеская критика убедила
меня, что такой способ изложения здесь вдвойне неудобен: во-первых, потому,
что требуемые диалогом перерывы и вставочные замечания мешают возбужденному
интересу рассказа, а во-вторых, потому, что житейский, и в особенности
шутливый тон разговора не соответствует религиозному значению предмета.
Найдя это справедливым, я изменил редакцию третьего разговора, вставив в
него сплошное чтение «краткой повести об антихристе» из рукописи умершего
монаха. Эта повесть (предварительно прочтенная мною публично) вызвала и в
обществе, и в печати немало недоумений и перетолкований, главная причина
которых очень проста: недостаточное знакомство у нас с показаниями Слова
Божия и церковного предания об антихристе.

Внутреннее значение антихриста как религиозного самозванца, «хищением», а
не духовным подвигом добывающего себе достоинства Сына Божия, связь его с
лжепророком-тавматургом, обольщающим людей действительными и ложными
чудесами, темное и специально греховное происхождение самого антихриста,
действием злой силы приобретающего свое внешнее положение всемирного
монарха, общий ход и конец его деятельности вместе с некоторыми частными
чертами, характерными для него и для его лже-пророка, например «сведение
огня с неба», убиение двух свидетелей Христовых, выставление их тел на
улицах Иерусалима и т. д., – все это находится в Слове Божием и в
древнейшем предании. Для связи событий, а также для наглядности рассказа
требовались подробности или основанные на исторических соображениях, или
подсказанные воображением. Чертам последнего рода – каковы
полусpirитические, полуфокуснические проделки всемирного мага с подземными
голосами, с фейерверком и т. п. – я, разумеется, не придавал серьезного
значения и, кажется, вправе был ждать от «критиков» своих такого же
отношения к этому предмету. Что касается до другого, весьма существенного –
характеристики трех олицетворенных исповеданий на вселенском соборе, – она
могла быть замечена и оценена лишь теми, кто не чужд церковной истории и
жизни.

Данный в Откровении характер лжепророка и прямо указанное там назначение
его – морочить людей в пользу антихриста – требуют приписать ему всякие
проделки колдовского и фокуснического свойства. Достоверно известно, dass
sein Hauptwerk ein Feuerwerk sein wird:[3] «И творит знамения великие, так
что и огонь заставляет нисходить с неба на землю перед лицом людей» (Апок
13:13). Магическая и механическая техника этого дела не может быть нам
заранее известна, и можно только быть уверенным, что через два или три века
она уйдет очень далеко от теперешней, а что именно при таком прогрессе
возможно будет для такого чудодея, – об этом я не берусь судить. Некоторые
конкретные черты и подробности моей повести допущены только в смысле
наглядных пояснений к существенным и достоверным отношениям, чтобы не
оставлять их голыми схемами.

Во всем том, что говорится у меня о панмонголизме и азиатском нашествии на
Европу, также следует различать существенное от подробностей. Но и самый
главный факт здесь не имеет, конечно, той безусловной достоверности, какая
принадлежит будущему явлению и судьбе антихриста и его лжепророка. В
истории монгольско-европейских отношений ничто не взято прямо из Св.
Писания, хотя многое имеет здесь достаточно точек опоры. В общем эта
история есть ряд основанных на фактических данных соображений вероятности.
Лично я думаю, что эта вероятность близка к достоверности, и не одному мне

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org так кажется, а и другим, более важным лицам... Для связности повествования пришлось придать этим соображениям о грядущей монгольской грозе разные подробности, за которые я, разумеется, не стою и которыми старался не злоупотреблять. Важно для меня было реальнее определить предстоящее страшное столкновение двух миров – и тем самым наглядно пояснить настоящую необходимость мира и искренней дружбы между европейскими нациями.

Если прекращение войны вообще я считаю невозможным раньше окончательной катастрофы, то в теснейшем сближении и мирном сотрудничестве всех христианских народов и государств я вижу не только возможный, но необходимый и нравственно обязательный путь спасения для христианского мира от поглощения его низшими стихиями.

Чтобы не удлинять и не осложнять своего рассказа, я выпустил из текста разговоров другое предвидение, о котором скажу здесь два слова. Мне кажется, что успех панмонголизма будет заранее облегчен тою упорно и изнурительною борьбою, которую некоторым европейским государствам придется выдержать против пробудившегося Ислама в Западной Азии, Северной и Средней Африке. Большую, чем обыкновенно думают, роль играет здесь тайная и неустанная деятельность религиозно-политического братства Сенусси, имеющего для движений современного мусульманства такое же руководящее значение, какое в движениях буддийского мира принадлежит тибетскому братству Келанов в Хлассе с его индийскими, китайскими и японскими разветвлениями. Я далек от безусловной вражды к буддизму и тем более к исламу, но отводить глаза от существующего и грядущего положения дел – слишком много охотников и без меня. [4]

Историческим силам, царящим над массой человечества, еще предстоит столкнуться и перемешаться, прежде чем на этом раздирающем себя звере вырастет новая голова – всемирно-объединяющая власть антихриста, который «будет говорить громкие и высокие слова» и набросит блестящий покров добра и правды на тайну крайнего беззакония в пору ее конечного проявления, чтобы – по слову Писания – даже и избранных, если возможно, соблазнить к великому отступлению. Показать заранее эту обманчивую личину, под которой скрывается злая бездна, было моим высшим замыслом, когда я писал эту книжку.

* * *

К трем разговорам я прибавил ряд небольших статей, напечатанных в 1897 и 1898 гг. (в газете «Русь»). Некоторые из этих статей принадлежат к наиболее удачному, что когда-либо мною написано. По содержанию же своему они дополняют и поясняют главные мысли трех разговоров.

В заключение я должен выразить сердечную признательность П. Саломону, исправившему и дополнившему мои представления о топографии современного Иерусалима, Н. А. Вельяминову, рассказавшему мне про виденную им в 1877 г. башибузукую «кухню», и М. М. Бибикову, внимательно разобравшему рассказ генерала в первом разговоре и указавшему на ошибки по части военной техники, которые теперь мною и исправлены.

Разнообразные недостатки и в этом исправленном изложении достаточно мне чувствительны, но я не нашел возможным откладывать печатание этой книжки на неопределенные и необеспеченные сроки. Если мне дано будет время для новых трудов, то и для усовершенствования прежних. А нет – указание на предстоящий исторический исход нравственной борьбы сделано мною в достаточно ясных, хотя и кратких чертах, и я выпускаю теперь этот малый труд с благородным чувством исполненного нравственного долга...

Светлое Воскресение 1900 г.

* * *

В саду одной из тех вилл, что, теснясь у подножия Альп, глядятся в лазурную глубину Средиземного моря, случайно сошлись этой весною пятеро русских: старый боевой генерал; «муж совета», отдыхающий от теоретических и практических занятий государственными делами, – я буду называть его политиком; молодой князь, моралист и народник, издающий разные более или менее хорошие брошюры по нравственным и общественным вопросам; дама средних лет, любопытная ко всему человеческому, и еще один господин неопределенного возраста и общественного положения – назовем его г[-н] З. Я безмолвно

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
присутствовал при их беседах; некоторые показались мне занимательными, и я
тогда же по свежей памяти записал их. Первый разговор начался в мое
отсутствие по поводу какой-то газетной статьи или брошюры насчет того
литературного похода против войны и военной службы, что по следам гр.
Толстого ведется ныне баронессою Зуттнер и м-ром Стэдом. «Политик» на
вопрос дамы, что он думает об этом движении, назвал его благонамеренным и
полезным; генерал вдруг на это рассердился и стал злобно глумиться над теми
тремя писателями, называя их истинными столпами государственной
премудрости, путеводным созвездием на политическом небосклоне и даже тремя
китами русской земли, на что политик заметил: ну и другие рыбы найдутся.
Это привело почему-то в восхищение г[-на] Z, который заставил, по его
словам, обоих противников единомысленно исповедать, что они действительно
считают кита за рыбу, и даже будто бы дать сообща определение тому, что
такое рыба, а именно: животное, принадлежащее частью к морскому ведомству,
частью же к департаменту водяных сообщений. Думаю, впрочем, что это выдумал
сам г[-н] Z. Как бы то ни было, мне не удалось восстановить как следует
начало разговора. Сочинять из своей головы по образцу Платона и его
подражателей я не решился и начал свою запись с тех слов генерала, которые
я услышал, подходя к беседующим.

РАЗГОВОР ПЕРВЫЙ

Audiatur et prima pars. [5]

ГЕНЕРАЛ (взволнованный, говорит, вставая и снова садясь и с быстрыми
жестами). Нет, позвольте! Скажите мне только одно: существует теперь или
нет христолюбивое и достославное российское воинство? или нет?

ПОЛИТИК (растянувшись на шезлонге, говорит тоном, напоминающим нечто
среднее между беззаботными богами Эпикура, прусским полковником и
Вольтером). Существует ли русская армия? Очевидно, существует. Разве вы
слышали, что она упразднена?

ГЕНЕРАЛ. Ну, не притворяйтесь же! Вы отлично понимаете, что я не про это
говорю. Я спрашиваю, имею ли я теперь право по-прежнему почитать
существующую армию за достославное христолюбивое воинство, или это название
уже более не годится и должно быть заменено другим?

ПОЛИТИК. Э... так вот вы о чем беспокоитесь! Ну, с этим вопросом вы не туда
адресовались: обратитесь лучше в департамент герольдии – там ведь разными
титулами заведуют.

Г[-н] Z. (говорит как будто с затаенною мыслью). А департамент герольдии на
такой запрос генерала ответит, вероятно, что употребление прежних титулов
законом не возбраняется. Разве последний принц Лузиньян не назывался
беспрепятственно королем Кипрским, хотя он не то что Кипром управлять, а и
вина-то кипрского пить не мог по своему телесному и имущественному
состоянию? Так почему же и современной армии не титуловать христолюбивым
воинством?

ГЕНЕРАЛ. Титуловаться! Так белое и черное – титул? Сладкое и горькое –
титул? Герой и подлец – титул?

Г[-н] Z. Да ведь я это не от себя, а от лица мужей, блюдущих законы.

ДАМА (к политику). Зачем вы останавливаетесь на выражениях? Наверное,
генерал хотел что-нибудь сказать своим «христолюбивым воинством».

ГЕНЕРАЛ. Благодарю вас. Я хотел и хочу сказать вот что. Спокон веков и до
вчерашнего дня всякий военный человек – солдат или фельдмаршал, все равно –
знал и чувствовал, что он служит делу важному и хорошему – не полезному
только или нужному, как полезна, например, ассенизация или стирка белья, а
в высоком смысле хорошему, благородному, почетному делу, которому всегда
служили самые лучшие, первейшие люди, вожди народов, герои. Это наше дело
всегда освящалось и возвеличивалось в церквах, прославлялось всеобщею
молвою. И вот в одно прекрасное утро мы вдруг узнаем, что все это нам нужно
забыть и что мы должны понимать себя и свое место на свете Божием в
обратном смысле. Дело, которому мы служили и гордились, что служим,
объявлено делом дурным и пагубным, оно противно, оказывается, Божиим
заповедям и человеческим чувствам, оно есть ужаснейшее зло и бедствие, все
народы должны против него соединиться, и его окончательное уничтожение есть

КНЯЗЬ. Неужели вы, однако, раньше не слыхали никаких голосов, осуждающих войну и военную службу как остаток древнего людоедства?

ГЕНЕРАЛ. Ну как не слыхать? И слыхал, и читал на разных языках! Но ведь все эти ваши голоса были для нашего брата – извините за откровенность – не из тучи гром: услышал и забыл. Ну а теперь дело совсем другого рода: мимо не пройдешь. Так вот я и спрашиваю, как нам теперь быть? Чем я, т. е. всякий военный, должен себя почтать и как на самого себя смотреть: как на настоящего человека или как на изверга естества? Должен ли я себя уважать за свою посильную службу добруму и важному делу или ужасаться этого своего дела, каяться в нем и смиренно умолять всякого штатского простить мне мое профессиональное окаянство?

ПОЛИТИК. Что за фантастическая постановка вопроса! Как будто от вас стали требовать чего-то особенного. Новые требования обращены не к вам, а к дипломатам и другим «штатским», которые очень мало интересуются вашим «окаянством», как и вашею «христолюбивостью». А к вам, как прежде, так и теперь, – только одно требование: исполнять беспрекословно приказания начальства.

ГЕНЕРАЛ. Ну, так как вы не интересуетесь военным делом, то натурально и имеете о нем, по вашему выражению, «фантастическое» представление. Вы не знаете, как видно, и того, что в известных случаях приказание начальства только в том и состоит, чтобы не ждать и не спрашивать его приказаний.

ПОЛИТИК. А именно?

ГЕНЕРАЛ. А именно, представьте себе, например, что я волею начальства поставлен во главе целого военного округа. Значит, мне тем самым приказано всячески руководить вверенными мне войсками, поддерживать и укреплять в них известный образ мыслей, действовать в определенном направлении на их волю, настраивать на известный лад их чувства – одним словом, воспитывать их, так сказать, в смысле их назначения. Прекрасно. Для этой цели мне предоставлено, между прочим, отдавать по войскам моего округа общие приказы от моего имени и под мою личною ответственностью. Ну, так если бы я отнесся к высшему начальству с тем, чтобы оно диктовало мне мои приказы или хоть предписывало, в каком направлении мне их писать, так разве не получил бы я на это в первый раз «старого дурака», а во второй – чистой отставки? Это значит, что я сам должен действовать на свои войска в известном духе, который, предполагается, заранее и раз навсегда одобрен и утвержден высшим начальством, так что и спрашивать об этом было бы или глупостью, или дерзостью. А вот теперь-то этот самый «известный дух», который был в сущности один и тот же от Саргона и Ассурбанипала до Вильгельма II, – он-то вдруг и оказывается под сомнением. До вчерашнего дня я знал, что я должен поддерживать и укреплять в своих войсках не другой какой-нибудь, а именно боевой дух – готовность каждого солдата бить врагов и самому быть убитому, для чего непременно нужна полная уверенность в том, что война есть дело святое. И вот у этой-то уверенности отнимается ее основание, военное дело лишается своей, как это говорят по-ученому, «нравственно-религиозной санкции».

ПОЛИТИК. Это все ужасно преувеличено. Никакого такого радикального переворота во взглядах не замечается, с одной стороны, и прежде всегда все знали, что война есть зло и что чем меньше ее, тем лучше, а с другой стороны, все серьезные люди и теперь понимают, что это есть такого рода зло, которого полное устранение в настоящее время еще невозможно. Значит, дело идет не об уничтожении войны, а об ее постепенном и, может быть, медленном введении в теснейшие границы. А принципиальный взгляд на войну остается тот же, что и был всегда: неизбежное зло, бедствие, терпимое в крайних случаях.

ГЕНЕРАЛ. И только-то?

ПОЛИТИК. Только.

ГЕНЕРАЛ (вскакивая с места). А что, вы в святы заглядывали когда-нибудь?

ПОЛИТИК. То есть в календарь? Приходилось справляться, например, насчет именинниц и именинников.

ГЕНЕРАЛ. А заметили вы, какие там святые помещены?

ПОЛИТИК. Святые бывают разные.

ГЕНЕРАЛ. Но какого звания?

ПОЛИТИК. И звания разного, я думаю.

ГЕНЕРАЛ. Вот то-то и есть, что не очень разного.

ПОЛИТИК. Как? Неужели только одни военные?

ГЕНЕРАЛ. Не только, а наполовину.

ПОЛИТИК. Ну, опять какое преувеличение!

ГЕНЕРАЛ. Мы ведь не перепись им поголовную делаем для статистики. А я только утверждаю, что все святые собственно нашей русской церкви принадлежат лишь к двум классам: или монахи разных чинов, или князья, то есть по старине, значит, непременно военные, и никаких других святых у нас нет – разумею святых мужского пола. Или монах, или воин.

ДАМА. А юродивых вы забыли?

ГЕНЕРАЛ. Нисколько не забыл! Но юродивые – ведь это своего рода иррегулярные монахи. Что казаки для армии, то юродивые для монашества. А затем, если вы мне найдете между русскими святыми хоть одного белого священника, или купца, или дьяка, или приказного, или мещанина, или крестьянина – одним словом, какой бы то ни было профессии, кроме монахов и военных, – берите себе все то, что я в будущее воскресенье привезу из Монте-Карло.

ПОЛИТИК. Спасибо. Оставляю вам ваши сокровища и вашу половину святцев, а то и все целиком. Но только объясните мне, пожалуйста, что же, собственно, вы хотели вывести из вашего открытия или наблюдения? Неужели то, что одни монахи и военные могут быть нравственными образцами?

ГЕНЕРАЛ. Не совсем угадали. Я сам знал высокодобротельных людей и между белыми священниками, и между банкирами, и между чиновниками, и между крестьянами, а самое добродетельное существо, которое я могу припомнить, была няньшка у одного из моих знакомых. Но мы ведь не об этом. Я к тому о святых сказал, что каким бы образом могло туда попасть столько воинов наряду с монахами и предпочтительно перед всеми мирными, гражданскими профессиями, если бы всегда смотрели на военное дело как на терпимое зло вроде питейной торговли или чего-нибудь еще худшего? Ясно, что христианские народы, по мысли которых святы – делались (ведь не у одних русских так, а приблизительно то же и у других), не только уважали, но еще особенно уважали военное звание и изо всех мирских профессий только одну военную считали воспитывающей, так сказать, своих лучших представителей для святости. Вот этот-то взгляд и несовместим с теперешним походом против войны.

ПОЛИТИК. Да я разве говорил, что нет никакой перемены? Некоторая желательная перемена происходит несомненно. Религиозный ореол, который окружал войны и военных в глазах толпы, теперь снимается – это так. Но ведь к этому дело шло уже давно. И кого же это практически-то задевает? Разве духовенство, так как изготовление ауреолов в его ведомстве. Ну, придется кой-что почистить с этой стороны. Чего нельзя похерить, истолкуют в смысле иносказательном, а прочее подвергнут благоумлечанию и благозабвению.

КНЯЗЬ. да уж и начались благоприспособления. Я для своих изданий слежу за нашей духовной литературой. Так уж в двух журналах имел удовольствие прочесть, что христианство безусловно осуждает войну.

ГЕНЕРАЛ. Не может быть!

КНЯЗЬ. Я и сам глазам не верил. Могу показать.

ПОЛИТИК (к генералу). Вот видите! Ну а для вас-то тут какая забота? Вы ведь люди дела, а не благоглаголания. Профессиональное самолюбие, что ли, и

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
тщеславие? Так ведь это нехорошо. А практически, повторяю, все для вас остается по-прежнему. Хотя система милитаризма, от которой вот уж тридцать лет никому вздохнуть нельзя, должна теперь исчезнуть, но войска в известных размерах остаются; и поскольку они будут допущены, т. е. признаны необходимыми, от них будут требоваться те же самые боевые качества, что и прежде.

ГЕНЕРАЛ. Да, уж вы мастера просить молока от мертвого быка! Кто же вам даст эти требуемые боевые качества, когда первое боевое качество, без которого все другие ни к чему, состоит в бодрости духа, а она держится на вере в святость своего дела. Ну, а как же это может статься, если будет признано, что война есть злодейство и губительство, лишь по неизбежности терпимое в крайних случаях?

ПОЛИТИК. Но ведь от военных такого признания вовсе и не требуется. Пусть считают себя первыми людьми в свете, какое кому до этого дело? Ведь уж вам объясняли, что принцу Лузиньяну позволено признавать себя королем Кипрским, лишь бы он у нас денег на кипрское вино не просил. Не покушайтесь только на наш карман больше, чем следует, а затем будьте в своих глазах солью земли и красою человечества – кто вам мешает?

ГЕНЕРАЛ. «Будьте в своих глазах»! да что мы, на луне, что ли, разговариваем? В торричеллиевой пустоте, что ли, вы будете держать военных людей, чтоб до них не доходили никакие посторонние влияния? И это при всеобщей-то воинской повинности, при краткосрочной-то службе, при дешевых-то газетах! Нет, дело уж слишком ясно. Раз военная служба стала вынужденной повинностью для всех и каждого и раз во всем обществе, начиная с представителей государства, как вот вы, например, устанавливается новый, отрицательный взгляд на военное дело, этот взгляд непременно уж будет усвоен и самими военными. Если на военную службу все, начиная с начальства, станут смотреть как на неизбежное покуда зло, то, во-первых, никто не станет добровольно избирать военную профессию на всю жизнь, кроме разве какого-нибудь отребья природы, которому больше деваться некуда; а во-вторых, все те, кому поневоле придется нести временную военную повинность, будут нести ее с теми чувствами, с которыми каторжники, прикованные к своей тачке, несут свои цепи. Извольте при этом говорить о боевых качествах и о военном духе!

Г[-н] Z. Я всегда был уверен, что после введения всеобщей воинской повинности упразднение войск, а затем и отдельных государств есть только вопрос времени, и времени, не слишком уже отдаленного при теперешнем ускоренном ходе истории.

ГЕНЕРАЛ. Может быть, вы правы.

КНЯЗЬ. А я даже полагаю, что вы наверное правы, хотя это мне до сих пор не приходило в голову в таком виде. Но ведь это превосходно! Подумайте только: милитаризм порождает как свое крайнее выражение систему всеобщей воинской повинности, и вот благодаря именно этому гибнет не только новейший милитаризм, но и все древние основы военного строя. Чудесно.

ДАМА. У князя даже лицо повеселело. Это хорошо. А то ходил все такой угрюмый – совсем не подобает «истинному христианину».

КНЯЗЬ. да уж слишком много грустного кругом; одна вот только радость остается: мысль о неизбежном торжестве разума наперекор всему.

Г[-н] Z. Что милитаризм в Европе и в России съедает самого себя – это несомненно. А какие отсюда произойдут радости и торжества – это еще увидим.

КНЯЗЬ. Как? Вы сомневаетесь в том, что война и военщина – безусловное и крайнее зло, от которого человечество должно непременно и сейчас же избавиться? Вы сомневаетесь, что полное и немедленное уничтожение этого людоедства было бы во всяком случае торжеством разума и добра?

Г[-н] Z. да, я совершенно уверен в противном.

КНЯЗЬ. То есть это в чем же?

Г[-н] Z. да в том, что война не есть безусловное зло и что мир не есть безусловное добро, или, говоря проще, что возможна и бывает хорошая война,

КНЯЗЬ. А! Теперь я вижу разницу между вашим взглядом и взглядом генерала: он ведь думает, что война всегда хорошее дело, а мир – всегда дурное.

ГЕНЕРАЛ. Ну, нет! И я отлично понимаю, что война может быть иногда очень плохим делом, именно когда нас бьют, как, например, под Нарвой или Аустерлицем, и мир может быть прекрасным делом, как, например, мир Ништадтский или Кучук-Кайнарджийский.

ДАМА. Это, кажется, вариант знаменитого изречения того кафра или готтентота, который говорил миссионеру, что он отлично понимает разницу между добром и злом: добро – это когда я уведу чужих жен и коров, а зло – когда у меня уведут моих.

ГЕНЕРАЛ. Да ведь это мы с африканцем-то вашим только сострили: он нечаянно, а нарочно. А вот теперь хотелось бы послушать, как умные люди вопрос о войне с нравственной точки зрения обсуждать будут.

ПОЛИТИК. Ах! Лишь бы только наши «умные люди» не примешали какой-нибудь схоластики и метафизики к такому ясному, исторически обусловленному вопросу.

КНЯЗЬ. Ясному с какой точки зрения?

ПОЛИТИК. Моя точка зрения – обыкновенная, европейская, которую, впрочем, теперь и в других частях света усвояют понемногу люди образованные.

КНЯЗЬ. А сущность ее, конечно, в том, чтобы признавать все относительным и не допускать безусловной разницы между должно и недолжно, хорошим и дурным. Не так ли?

Г[-н] Z. Виноват. Это пререкание для нашего вопроса, пожалуй, бесполезно. Я вот, например, вполне признаю безусловную противоположность между нравственным добром и злом, но вместе с тем мне совершенно ясно, что война и мир сюда не подходят, что окрасить войну сплошь одною черною краскою, а мир – одною белою никак невозможно.

КНЯЗЬ. Но ведь это же внутреннее противоречие! Если то, что само по себе дурно, например убийство, может быть хорошо в известных случаях, когда вам угодно называть его войною, то куда же денется безусловное-то различие добра и зла?

Г[-н] Z. Как это просто: «Всякое убийство есть безусловное зло: война есть убийство; следовательно, война есть безусловное зло». Силлогизм – первый сорт. Только вы забыли, что обе ваши посылки, и большая и малая, еще должны быть доказаны, а следовательно, и заключение еще висит пока на воздухе.

ПОЛИТИК. Ну разве я не говорил, что мы попадем в схоластику?

ДАМА. Да про что, собственно, они толкуют?

ПОЛИТИК. Про какие-то большие и малые посылки.

Г[-н] Z. Простите! Мы сейчас к делу подойдем. Так вы утверждаете, что во всяком случае убить, то есть отнять жизнь у другого, есть безусловное зло?

КНЯЗЬ. Без сомнения.

Г[-н] Z. Ну а быть убитым – безусловное это зло или нет?

КНЯЗЬ. По-готтентотски – разумеется, да. Но ведь мы говорили про нравственное зло, а оно может заключаться лишь в собственных действиях разумного существа, которые от него самого зависят, а не в том, что с ним случается помимо его воли. Значит, быть убитым – все равно как умереть от холеры или от инфлюэнзы: не только не есть безусловное зло, но даже вовсе не есть зло. Этому нас еще Сократ и стоики научили.

Г[-н] Z. Ну, за людей столь древних я не берусь отвечать. А ваша-то вот безусловность при нравственной оценке убийства как будто хромает: ведь, по-вашему, выходит, что безусловное зло состоит в причинении другому

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
чего-то такого, что вовсе не есть зло. Воля ваша, а тут что-то хромает.
Однако мы эту хромоту бросим, а то, пожалуй, в самом деле в схоластику
залезем. Итак, при убийстве зло состоит не в физическом факте лишения
жизни, а в нравственной причине этого факта, именно в злой воле убивающего.
Так ведь?

КНЯЗЬ. Ну конечно. Да ведь без этой злой воли и убийства не бывает, а
бывает или несчастье, или неосторожность.

Г[-н] Z. Это ясно, когда воли убивать вовсе не было, например при неудачной
операции. Но ведь можно представить и другого рода положение, когда воля
хотя и не имеет своей прямой целью лишить жизни человека, однако заранее
соглашается на это как на крайнюю необходимость, – будет ли и такое
убийство безусловным злом, по-вашему?

КНЯЗЬ. Да, конечно, будет, раз воля согласилась на убийство.

Г[-н] Z. А разве не бывает так, что воля, хотя и согласна на убийство, не
есть, однако, злая воля и, следовательно, убийство не может здесь быть
безусловным злом даже с этой субъективной стороны?

КНЯЗЬ. Ну, это уже совсем что-то непонятное... А! Впрочем, догадываюсь: вы
разумеете тот знаменитый случай, когда в пустынном месте какой-нибудь отец
видит разъяренного мерзавца, который бросается на его невинную (для
большего эффекта прибавляют еще малолетнюю) дочь, чтобы совершить над нею
гнусное злодеяние, и вот несчастный отец, не имея возможности иначе
защитить ее, убивает обидчика. Тысячу раз слыхал этот аргумент!

Г[-н] Z. Замечательно, однако, не то, что вы тысячу раз его слыхали, а то,
что никто ни одного раза не слыхал от ваших единомышленников дельного или
хоть сколько-нибудь благовидного возражения на этот простой аргумент.

КНЯЗЬ. Да на что же тут возражать?

Г[-н] Z. Вот, вот! Ну, если не хотите в форме возражения, то докажите
каким-нибудь прямым и положительным образом, что во всех случаях без
исключения, следовательно, и в том, о котором у нас речь, воздержаться от
сопротивления злу силою, безусловно, лучше, нежели употребить насилие с
риском убить злого и вредного человека.

КНЯЗЬ. Да какое же тут может быть особое доказательство для единичного
случая? Раз вы признали, что вообще убийство есть в нравственном смысле
зло, то ясно, что и во всяком единичном случае оно будет также зло.

ДАМА. Ну, это слабо.

Г[-н] Z. Это даже очень слабо, князь. Ведь о том, что вообще лучше не
убивать, чем убивать, – об этом нет спора, в этом все согласны. А вопрос
именно только об единичных случаях. Спрашивается: есть ли общее или
общепризнанное правило не убивать – действительно безусловное и,
следовательно, не допускающее никакого исключения, ни в каком единичном
случае и ни при каких обстоятельствах, или же оно допускает хоть одно
исключение и, следовательно, уже не есть безусловное?

КНЯЗЬ. Нет, я не согласен на такую формальную постановку вопроса. И к чему
это? Положим, я допущу, что в вашем исключительном случае, нарочно
выдуманном для спора...

ДАМА (укоризненно). Ай-ай!

ГЕНЕРАЛ (иронически). О-го-го!

КНЯЗЬ (не обращая внимания). Допустим, что в вашем выдуманном случае убить
лучше, чем не убивать, – в самом деле я этого, конечно, не допускаю, но
положим, что вы тут правы; положим даже, что ваш случай не выдуманный, а
действительный, но, как и вы согласитесь, совершенно редкий,
исключительный. А ведь у нас дело идет о войне – явлении общем, всемирном;
и не станете же вы утверждать, что Наполеон, или Мольтке, или Скобелев
находились в положении сколько-нибудь похожем на положение отца,
принужденного защищать от покушений изверга невинность своей малолетней
дочери?

ДАМА. Вот это лучше прежнего. Bravo, mon prince!

Г[-н] Z. Действительно, ловкий скачок от неприятного вопроса. Но не позволите ли вы мне, однако, установить между этими двумя явлениями – единичным убийством и войною – их логическую, а вместе и историческую связь. А для этого сначала опять возьмем наш пример, но только без тех частностей, которые как будто усиливают, а на самом деле ослабляют его значение. Не нужно тут ни отца, ни малолетней дочери, так как при них вопрос сейчас же теряет свое чисто этическое свойство, из области разумно-нравственного сознания переносится на почву натуральных нравственных чувств: родительская любовь, конечно, заставит этого отца убить злодея на месте, не останавливаясь на обсуждении вопроса, должен ли он и имеет ли право это сделать в смысле высшего нравственного начала. Итак, возьмем не отца, а бездетного моралиста, на глазах которого чужое и незнакомое ему слабое существо подвергается неистовому нападению дюжего злодея. Что же, по-вашему, этот моралист должен, скрестя руки, проповедовать добродетель в то время, как осатаневший зверь будет терзать свою жертву? Этот моралист, по-вашему, не почувствует в себе нравственного побуждения остановить зверя силою, хотя бы и с возможностью и даже вероятностью убить его? И если он вместо того допустит злодеянию совершившись под аккомпанемент его хороших слов, что же, по-вашему, совесть не будет упрекать его и не будет ему стыдно до отвращения к самому себе?

КНЯЗЬ. Может быть, все, что вы говорите, будет ощущаться моралистом, не верящим в действительность нравственного порядка или забывшим, что Бог не в силе, а в правде.

ДАМА. И это очень хорошо сказано. Ну, что-то вы теперь ответите?

Г[-н] Z. Я отвечу, что желал бы, чтобы это было сказано еще лучше, а именно проще и ближе к делу. Вы ведь хотели сказать, что моралист, действительно верящий в правду Божию, должен, не останавливая злодея силою, обратиться к Богу с молитвою, чтобы злое дело не совершилось: или через чудо нравственное – внезапное обращение злодея на путь истинный, или через чудо физическое – внезапный паралич, что ли...

ДАМА. Можно и без паралича: разбойник может быть чем-нибудь испуган или вообще как-нибудь отвлечен от своего замысла.

Г[-н] Z. Ну, это-то все равно, потому что чудо ведь не в самом происшествии, а в целесообразной связи этого происшествия, будь то телесный паралич или душевное какое-нибудь волнение, с молитвою и ее нравственным предметом. Во всяком случае предлагаемый князем способ помешать злому делу сводится все-таки к молитве о чуде.

КНЯЗЬ. Ну... то есть... почему же к молитве... и к чуду?

Г[-н] Z. А то к чему же?

КНЯЗЬ. Но раз я верю, что мир управляет добрым и разумным началом жизни, я верю и тому, что в мире может происходить только то, что согласно с этим, то есть с волею Божией.

Г[-н] Z. Виноват! Вам сколько лет?

КНЯЗЬ. Что значит этот вопрос?

Г[-н] Z. Ничего обидного, уверяю вас. Лет тридцать-то будет?

КНЯЗЬ. Ну, побольше будет.

Г[-н] Z. Так вам, наверное, приходилось видеть, а не видеть, так слыхать, а не слышать, так читать в газетах, что злые-то или безнравственные дела совершаются все-таки на сем свете.

КНЯЗЬ. Ну?

Г[-н] Z. Ну так как же? Значит, «нравственный порядок», или правда, или воля Божия, очевидно, сами собою в мире не осуществляются...

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
ПОЛИТИК. Вот наконец на дело похоже. Если зло существует, то значит, боги или не могут, или не хотят ему помешать, а в обоих случаях богов, как всемогущих и благих сил, вовсе нет. Старо, но верно.

ДАМА. Ах, что это вы!

ГЕНЕРАЛ. Вот ведь до чего договорились. «Пофилофофствуй, ум вскружится!»

КНЯЗЬ. Ну, это плохая философия! Как будто Божья воля связана с какими-нибудь нашими представлениями о добре и зле!

Г[-н] Z. С какими-нибудь представлениями не связана, но с истинным понятием добра связана теснейшим образом. Иначе если добро и зло вообще безразличны для божества, то вы сами себя опровергли окончательно.

КНЯЗЬ. Почему это?

Г[-н] Z. Да ведь если, по-вашему, для божества все равно, что сильный мерзавец под влиянием зверской страсти истребляет слабое существо, то ведь и подавно божество ничего не может иметь против того, чтобы под влиянием сострадания кто-нибудь из нас истребил мерзавца. Ведь не станете же вы защищать такую нелепость, что только убийство слабого и безобидного существа не есть зло перед Богом, а убийство сильного и злого зверя есть зло.

КНЯЗЬ. Это вам кажется нелепостью, потому что вы не туда смотрите, куда следует: нравственно важно не то, кто убит, а то, кто убивает. Ведь вот вы сами назвали злодея зверем, то есть существом без разума и совести, – какое же может быть нравственное зло в его действиях?

ДАМА. Ай-ай! да разве тут про зверя в буквальном смысле? Это все равно как если бы я сказала своей дочери: «Какие ты говоришь глупости, ангел мой!», а вы бы стали на меня кричать: «Что с вами? Разве ангелы могут говорить глупости?» Ай-ай, какой плохой спор!

КНЯЗЬ. Извините, я отлично понимаю, что злодей назван зверем метафорически и что у этого зверя нет хвоста и копыт; но ясно, что про неразумность и бессовестность здесь говорится в буквальном смысле: не может же человек с разумом и совестью совершать такие дела!

Г[-н] Z. Новая игра словами! Конечно, человек, поступающий по-зверски, теряет разум и совесть в том смысле, что перестает слушаться их голоса; но чтобы разум и совесть вовсе в нем не говорили, – это еще вам нужно доказать, а пока я продолжаю думать, что зверский человек отличается от нас с вами не отсутствием разума и совести, а только своей решимостью действовать им наперекор, по прихотям своего зверя. А зверь такой же точно и в нас сидит, только мы его обыкновенно на цепи держим, ну а тот человек, значит, спустил его с цепи и сам тянется за его хвостом; а цепь-то и у него есть, только без употребления.

ГЕНЕРАЛ. Вот именно. А если князь с вами не согласен, бейте его скорее его собственным прикладом! Да ведь если злодей есть только зверь без разума и совести, так ведь убить его все равно что убить волка или тигра, бросившихся на человека, – это, кажется, и Обществом покровительства животных еще не запрещено.

КНЯЗЬ. Но вы опять забываете, что, каково бы ни было состояние этого человека – полная ли атрофия разума и совести или сознательная безнравственность, если такая возможна, дело ведь не в нем, а в вас самих: у вас-то разум и совесть не атрофированы, и притом вы не хотите сознательно нарушать их требования, – ну так вы и не убьете этого человека, каков бы он ни был.

Г[-н] Z. Конечно, не убил бы, если бы разум и совесть мне это безусловно запрещали. Но представьте себе, что разум и совесть говорят мне совсем другое, и, кажется, более разумное и добросовестное.

КНЯЗЬ. Это любопытно. Послушаем.

Г[-н] Z. И прежде всего разум и совесть умеют считать по крайней мере до трех.

ГЕНЕРАЛ. Ну-тка, ну-тка!

Г[-н] Z. А потому разум и совесть, если не хотят фальшивить, не станут говорить мне два, когда на деле – три...

Генерал (в нетерпении). Ну-ну!

КНЯЗЬ. Ничего не понимаю.

Г[-н] Z. Да ведь, по-вашему, разум и совесть говорят мне только обо мне самом да о злодее, и все дело, по-вашему, в том, чтобы я его как-нибудь пальцем не тронул. Ну а ведь по правде-то тут есть и третье лицо, и, кажется, самое Главное, – жертва злого насилия, требующая моей помощи. Ее-то вы всегда забываете, ну а совесть-то говорит и о ней, и о ней прежде всего, и воля Божия тут в том, чтобы я спас эту жертву, по возможности щадя злодея; но ей-то я помочь должен во что бы то ни стало и во всяком случае: если можно, то увещаниями, если нет, то силой, ну а если у меня руки связаны, тогда только тем крайним способом – крайним сверху, – который вы прежде временно указали и так легко бросили, именно молитвою, то есть тем высшим напряжением доброй воли, что, я уверен, действительно творит чудеса, когда это нужно. Но какой из этих способов помочь нужно употребить, это зависит от внутренних и внешних условий происшествия, а безусловно здесь только одно: я должен помочь тем, кого обзывают. Вот что говорит моя совесть.

ГЕНЕРАЛ. Прорван центр, ура!

КНЯЗЬ. Ну, я от такой широкой совести отошел. Моя говорит в этом случае определенее и короче: не убий! – вот и все. А впрочем, я и теперь не вижу, чтобы мы сколько-нибудь подвинулись в нашем споре. Если бы я опять согласился с вами, что в том положении, которое вы выставляете, всякий, даже нравственно развитой и вполне добросовестный человек, мог бы под влиянием сострадания и не имея достаточно времени, чтобы дать себе ясный отчет о нравственном качестве своего поступка, мог бы допустить себя до убийства, – то что же опять-таки отсюда следует для главного-то нашего вопроса? Разве, повторяю, Тамерлан, или Александр Македонский, или лорд Кичинер убивали и заставляли убивать людей для защиты слабых существ от покушавшихся на них злодеев?

Г[-н] Z. Хотя сопоставление Тамерлана с Александром Македонским есть плохое предвзятие для наших исторических вопросов, но так как вы вот уже второй раз нетерпеливо переходите в эту область, то позвольте мне сделать историческую ссылку, которая действительно поможет нам связать вопрос о личной защите с вопросом о защите государственной. Дело было в двенадцатом столетии, в Киеве. Удельные князья, уже тогда, по-видимому, державшиеся ваших взглядов на войну и полагавшие, что ссориться и драться можно только «chez soi», [6] не соглашались идти в поход против половцев, говоря, что им жалко подвергать людей бедствиям войны. На это великий князь Владимир Мономах держал такую речь: «Вы жалеете смердов, а о том не подумаете, что вот придет весна, выедет смерд в поле...»

ДАМА. Пожалуйста, без дурных слов!

Г[-н] Z. Да ведь это из летописи.

ДАМА. А вы ее все равно наизусть не помните, так говорите своими словами. А то выходит как-то глупо: «придет весна» – ждешь: «зацветут цветы, запоют соловьи», и вдруг какой-то «смерд»!

Г[-н] Z. Ну, хорошо. «Придет весна, выедет крестьянин в поле с конем, землю пахать. Приедет половчин, крестьянина убьет, коня уведет; наедут потом половцы большою толпой, всех крестьян перебьют, жен с детьми в полон заберут, скот угонят, село выжгут. Что же вы в этом-то людей не жалеете? Я их жалею, для того и зову вас на половцев». На этот раз пристыженные князья послушались, и земля отдохнула при Владимире Мономахе. Ну а потом они вернулись к своему миролюбию, избегавшему внешних войн, чтобы на досуге дома безобразничать, и кончилось для России монгольским игом, а для собственных потомков этих князей – тем угощением, которое поднесла им история в лице Ивана Четвертого.

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
князь. Ничего не понимаю! То вы мне рассказываете такое происшествие, которое никогда ни с кем из нас не случалось и, наверное, не случится, то поминаете какого-то Владимира Мономаха, которого, может быть, вовсе не существовало и до которого нам, во всяком случае, нет никакого дела...

ДАМА. Parlez pour vous, monsieur! [7]

Г[-н] Z. Да вы, князь, из Рюриковичей?

КНЯЗЬ. Говорят; так что же, по-вашему, не интересоваться ли мне Рюриком, Синеусом и Трувором?

ДАМА. По-моему, не знать своих предков – это все равно как маленькие дети, которые думают, что их в огороде под капустой нашли.

КНЯЗЬ. Ну а как же быть тем несчастным, у которых нет предков?

Г[-н] Z. Есть у всякого по крайней мере два великих предка, оставивших в общее пользование свои подробные и очень поучительные записки: отечественную и всемирную историю.

КНЯЗЬ. Но не могут ли эти записи решать для нас вопрос о том, как нам теперь быть, что мы должны теперь делать! Пусть Владимир Мономах существовал действительно, а не в воображении только какого-нибудь мниха Лаврентия или Ипатия; пусть даже он был превосходнейшим человеком и искренне жалел «смердов». В таком случае он был прав, что воевал с половцами, потому что в те дикие времена нравственное сознание еще не возвысилось над грубым византийским пониманием христианства и позволяло ради кажущегося добра убивать людей. Но как же нам-то это делать, раз мы поняли, что так как убийство есть зло, противное воле Божией, запрещенное издревле заповедью Божиеву, то оно ни под каким видом и ни под каким именем не может быть нам позволительно и не может перестать быть злом, когда вместо одного человека убиваются под названием войны тысячи людей. Это есть прежде всего вопрос личной совести.

ГЕНЕРАЛ. Ну, если дело в личной совести, так позвольте вам доложить вот что. Я человек в нравственном смысле – как и в других, конечно, – совсем средний: не черный, не белый, а серый. Ни особенной добродетели, ни особенного злодейства не проявлял. И в добрых-то делах всегда есть загвоздка: никак не скажешь наверно, по совести, что тут в тебе действует, настоящее ли добро или только слабость душевная, привычка житейская, а иной раз и тщеславие. Да и мелко все это. Во всей моей жизни был только один случай, который и мелким назвать нельзя, а главное, я наверное знаю, что тут уже никаких сомнительных побуждений у меня не было, а владела мною только одна добрая сила. Единственный раз в жизни испытал я полное нравственное удовлетворение и даже в некотором роде экстаз, так что и действовал я тут без всяких размышлений и колебаний. И осталось это доброе дело до сих пор, да, конечно, и навеки останется, самым лучшим, самым чистым моим воспоминанием. Ну-с, и было это мое единственное доброе дело – убийством, и убийством немалым, ибо убил я тогда в какие-нибудь четверть часа гораздо более тысячи человек...

ДАМА. Quelles blagues! [8] А я думала, что вы – серьезно.

ГЕНЕРАЛ. Да, совершенно серьезно: могу свидетелей представить. Ведь не руками я убивал, не моими грешными руками, а из шести чистых, непорочных стальных орудий, самою добродетелью, благотворною картечью.

ДАМА. Так в чем же тут добро?

ГЕНЕРАЛ. Ну конечно, хоть я не только военный, а по-нынешнему и «милитарист», но не стану же я называть добрым делом простое истребление тысячи обыкновенных людей, будь они немцы или венгерцы, англичане или турки. А тут было дело совсем особенное. Я и теперь не могу равнодушно рассказывать, так оно мне всю душу выворотило.

ДАМА. Ну, рассказывайте скорей!

ГЕНЕРАЛ. Так как я об орудиях упомянул, то вы, конечно, догадались, что было это в последнюю турецкую войну. Я был при кавказской армии. После 3-го октября...

ДАМА. ЧТО ТАКОЕ 3-Е ОКТЯБРЯ?

ГЕНЕРАЛ. А это было сражение на Аладжинских высотах, когда мы в первый раз «непобедимому» Гази-Мухтар-паше все бока обломали... Так после 3-го октября мы сразу продвинулись в эту азиатчину. Я был на левом фланге и командовал передовым разведочным отрядом. Были у меня нижегородские драгуны, три сотни кубанцев и батарея конной артиллерии. – Страна невеселая – еще в горах ничего, красиво, а внизу только и видишь, что пустые, выжженные села да потоптанные поля. Вот раз – 28 октября это было – спускаемся мы в долину, и на карте значится, что большое армянское село. Ну конечно, села никакого, а было действительно порядочное, и еще недавно: дым виден за много верст. А я свой отряд стянул, потому что, по слухам, можно было наткнуться на сильную кавалерийскую часть. Я ехал с драгунами, казаки впереди. Только вблизи села дорога поворот делает. Смотрю, казаки подъехали и остановились как вкопанные – не двигаются. Я поскакал вперед; прежде чем увидел, по смраду жареного мяса догадался: бashiбузуки свою кухню оставили. Огромный обоз с беглыми армянами не успел спастись, тут они его захватили и хоронили. Под телегами огонь развели, а армян, того головой, того ногами, того спиной или животом привязавши к телеге, на огонь свесили и потихоньку поджаривали. Женщины с отрезанными грудями, животы вспороты. Уже всех подробностей рассказывать не стану. Только одно вот и теперь у меня в глазах стоит. Женщина навзничь на земле за шею и плечи к тележной оси привязана, чтобы не могла головы повернуть, – лежит не обожженная и не ободранная, а только с искривленным лицом – явно от ужаса померла, – а перед нею высокий шест в землю вбит, и на нем младенец голый привязан – ее сын, наверное, – весь покерневший и с выкатившимися глазами, а подле и решетка с потухшими углями валяется. Тут на меня сначала какая-то тоска смертельная нашла, на мир Божий смотреть противно, и действую как будто машинально. Скомандовал рысью вперед, въехали мы в сожженное село – чисто, ни кола ни двора. Вдруг, видим, из сухого колодца чучело какое-то карабкается... Вылез, замазанный, ободранный, упал на землю ничком, причитает что-то по-армянски. Подняли его, расспросили: оказался армянин из другого села; малый толковый. Был по торговым делам в этом селе, когда жители собрались бежать. Только что они тронулись, как нагрянули бashiбузуки, – множество, говорит, сорок тысяч. Ну, ему, конечно, не до счету было. Притаился в колодце. Слышал вопли, да и так знал, чем кончилось. Потом, слышит, бashiбузуки вернулись и на другую дорогу переехали. Это они, говорит, наверное, в наше село идут и с нашими то же делать будут. Ревет, руки ломает.

Тут со мною вдруг какое-то просветление сделалось. Сердце будто растаяло, и мир Божий точно мне опять улыбнулся. Спрашиваю армянина, давно ли черти отсюда ушли? По его соображению – часа три.

- А много ли до вашего села конного пути?
- Пять часов с лишком.
- Ну, в два часа никак не догонишь. Ах ты, Господи! А другая-то дорога к вам есть, короче?
- Есть, есть. – А сам весь встрепенулся. – Есть дорога через ущелье. Совсем короткая. Немногие и знают ее.
- Конному пройти можно?
- Можно.
- А орудиям?
- Трудно будет. А можно.

Велел я дать армянину лошадь, и со всем отрядом – за ним в ущелье. Как уж мы там в горах карабкались – я и не заметил хорошенко. Опять машинальность нашла; но только в душе легкость какая-то, точно на крыльях лечу, и уверенность полная: знаю, что нужно делать, и чувствую, что будет сделано.

Стали мы выходить из последнего ущелья, после которого наша дорога на большую переходила, – вижу, армянин скакет назад, машет руками: тут, мол, они! Подъехал я к передовому разъезду, навел трубку: точно – конницы видимо-невидимо; ну, не сорок тысяч, конечно, а тысячи три-четыре будет,

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
если не все пять. Увидали чертобы дети казаков – поворотили нам навстречу –
мы-то им в левый фланг из ущелья выходили. Стали из ружей палить в казаков.
Ведь так и жарят, азиатские чудища, из европейских ружей, точно люди! То
там, то тут казак с лошади свалился. Старший из сотенных командиров
подъезжает ко мне:

– Прикажите атаковать, ваше превосходительство! Что ж они, анафемы, нас,
как перепелок, подстреливать будут, пока орудия-то устанавливают. Мы их и
сами разнесем.

– Потерпите, голубчики, еще чуточку, говорю. Разогнать-то, говорю, вы их
разгоните, а какая ж в том сладость? Мне Бог велит прикончить их, а не
разгонять.

Ну, двум сотенным командирам приказал, наступая врассыпную, начать с
чертями перестрелку, а потом, ввязавшись в дело, отходить на орудия. Одну
сотню оставил маскировать орудия, а нижегородцев поставил уступами влево от
батареи. Сам весь дрожу от нетерпения. И младенец-то жареный с выкаченными
глазами передо мной, и казаки-то падают. Ах ты, Господи!

ДАМА. Как же кончилось?

ГЕНЕРАЛ. А кончилось по самому хорошему, без промаха! Ввязались казаки в
перестрелку и сейчас же стали отходить назад с гиком. Чертово племя за ними
– раззадорились, уж и стрелять перестали, скачут всей оравой прямо на нас.
Подскакали казаки к своим саженям на двести и рассыпались горохом кто куда.
Ну, вижу, пришел час воли Божией. Сотня, раздайся! Раздвинулось мое
прикрытие пополам – направо-налево – все готово. Господи благослови!
Приказал пальбу батарее.

И благословил же Господь все мои шесть зарядов. Такого дьявольского визга я
отродясь не слыхивал. Не успели они опомниться – второй залп картечи.
Смотрю, вся орда назад шарахнулась. Третий – вдогонку. Такая тут кутерьма
поднялась, точно как в муравейник несколько зажженных спичек бросить.
Заметались во все стороны, давят друг друга. Тут мы с казаками и драгунами
с левого фланга ударили и пошли крошить как капусту. Немного их ускакало –
которые от картечи увернулись, на шашки попали. Смотрю, иные уж и ружья
бросают, с лошадей соскаивают, амана запросили. Ну, тут я уж и не
распоряжался – люди и сами понимали, что не до амана теперь, – всех казаки
и нижегородцы порубили.

А ведь если бы эти безмозглые дьяволы после двух первых-то залпов, что были
им, можно сказать, в упор пущены – саженях в двадцати-тридцати, – если бы
они вместо того, чтобы назад кинуться, на пушки посакали, так уж нам была
бы верная крышка – третьего-то залпа уж не дали бы!

Ну, с нами Бог! Кончилось дело. А у меня на душе – светлое Христово
Воскресение. Собрали мы своих убитых – тридцать семь человек Богу душу
отдали. Положили их на ровном месте в несколько рядов, глаза закрыли. Был у
меня в третьей сотне старый урядник, Одарченко, великий начетчик и
способностей удивительных. В Англии был бы первым министром. Теперь он в
Сибирь попал за сопротивление властям при закрытии какого-то раскольнического
монастыря и истреблении гроба какого-то их почитаемого старца. Кликнул я
его. «Ну, – говорю, – Одарченко, дело походное, где нам тут в аллилуиях
разбираться, будь у нас за попа – отпевай наших покойников». А для него,
само собой, первое удовольствие. «Рад стараться, ваше превосходительство!»
А сам, бестия, даже просиял весь. Певчие свои тоже нашлись. Отпели
чин-чином. Только священнического разрешения нельзя было дать, да тут его и
не нужно было: разрешило их заранее слово Христово про тех, что душу свою
за други своя полагают. Вот как сейчас мне это отпевание представляется.
День-то весь был облачный, осенний, а тут разошлись тучи перед закатом,
внизу ущелье чернеет, а на небе облака разноцветные, точно Божьи полки
собрались. У меня в душе все тот же светлый праздник. Тишина какая-то и
легкость непостижимая, точно с меня вся нечистота житейская смыта и все
тяжести земные сняты, ну, прямо райское состояние – чувствуя Бога, да и
только. А как стал Одарченко по именам поминать новопреставленных воинов,
за веру, царя и отечество на поле брани живот свой положивших, тут-то я
почувствовал, что не многоглаголение это официальное и не титул какой-то,
как вот вы изволили говорить, а что взаправду есть христолюбивое воинство и
что войны, как была, так есть и будет до конца мира великим, честным и
святым делом...

КНЯЗЬ (после некоторого молчания). Ну а когда вы похоронили своих в этом светлом настроении, неужели совсем-таки не вспомнили о неприятелях, которых вы убили в таком большом количестве?

ГЕНЕРАЛ. Ну, слава Богу, что мы успели двинуться дальше прежде, чем эта падаль не стала о себе напоминать.

ДАМА. Ах, вот и испортили все впечатление. Ну, можно ли это?

ГЕНЕРАЛ (обращаясь к князю). Да чего бы вы, собственно, от меня хотели? Чтобы я давал христианское погребение этим шакалам, которые не были ни христиане, ни мусульмане, а черт знает кто? А ведь, если бы я, сойдя с ума, велел бы их в самом деле вместе с казаками отпевать, вы бы, пожалуй, стали меня обличать в религиозном насилии. Как же? Эти несчастные милашки при жизни черту кланялись, на огонь молились, и вдруг после смерти подвергать их суеверным и грубым лжехристианским обрядам! Нет, у меня тут другая была забота. Позвал сотников и есаулов и велел объявить, чтобы никто из людей не смел на три сажени к чертовой падали подходить, а то я видел, что у моих казаков давно уж руки чесались пощупать их карманы, по своему обычаю. А ведь кто их знает, какую бы чуму тут напустили. Пропади они совсем!

КНЯЗЬ. Так ли я вас понял? Вы боялись, чтобы казаки не стали грабить трупы бashiбузуков и не перенесли от них в ваш отряд какой-нибудь заразы?

ГЕНЕРАЛ. Именно этого боялся. Кажется, ясно.

КНЯЗЬ. Вот так христолюбивое воинство!

ГЕНЕРАЛ. Казаки-то!... Сущие разбойники! Всегда такими и были.

КНЯЗЬ. Да что мы, во сне, что ли, разговариваем?

ГЕНЕРАЛ. Да и мне что-то кажется неладно. Никак в толк не возьму, о чем вы, собственно, спрашиваете?

ПОЛИТИК. Князь, вероятно, удивляется, что ваши идеальные и чуть не святые казаки вдруг, по вашим же словам, оказываются сущими разбойниками.

КНЯЗЬ. Да; и я спрашиваю, каким же это образом война может быть «великим, честным и святым делом», когда, по-вашему же, выходит, что это борьба одних разбойников с другими?

ГЕНЕРАЛ. Э! Вот оно что. «Борьба одних разбойников с другими». Да ведь то-то и есть, что с другими, совсем другого сорта. Или вы в самом деле думаете, что пограбить при оказии – то же самое, что младенцев в глазах матерей на угольях поджаривать? А я вам вот что скажу. Так чиста моя совесть в этом деле, что я и теперь иногда от всей души жалею, что не умер я после того, как скомандовал последний залп. И ни малейшего у меня нет сомнения, что умри я тогда – прямо предстал бы перед Всевышним со своими тридцатью семью убитыми казаками, и заняли бы мы свое место в раю рядом с добрым евангельским разбойником. Ведь недаром он там в Евангелии стоит.

КНЯЗЬ. Да. Но только вы уж, наверное, не найдете в Евангелии, чтобы добром разбойнику могли уподобляться только наши единоземцы и единоверцы, а не люди всех народов и религий.

ГЕНЕРАЛ. Да что вы на меня, как на мертвого, несете! Когда я различал в этом деле народности и религии? Разве армяне мне земляки и единоверцы? И разве я спрашивал, какой веры или какого племени то чертова отродье, которое я разнес картечью?

КНЯЗЬ. Но вы вот и до сих пор не успели вспомнить, что это самое чертово отродье – все-таки люди, что во всяком человеке есть добро и зло и что всякий разбойник, будь он казак или бashiбузук, может оказаться добрым евангельским разбойником.

ГЕНЕРАЛ. Ну, разбери вас тут! То вы говорили, что злой человек есть то же, что зверь безответственный, то теперь, по-вашему, бashiбузук, поджаривающий младенцев, может оказаться добрым евангельским разбойником! И все это единственno для того, чтобы как-нибудь зла пальцем не тронуть. А по-моему,

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
важно не то, что во всяком человеке есть зачатки и добра и зла, а то, что из двух в ком пересилило. Не то интересно, что из всякого виноградного сока можно и вино, и уксус сделать, а важно, что именно вот в этой-то бутылке заключается – вино или уксус. Потому что если это уксус, а я стану его пить стаканами и других угождать под тем же предлогом, что это из того же материала, что и вино, то ведь, кроме порчи желудков, я этой мудростью никакой услуги никому не окажу. Все люди – братья. Прекрасно. Очень рад. Ну а дальше-то что? Ведь братья-то бывают разные. И почему же мне не поинтересоваться, кто из моих братьев Каин и кто Авель? А если на моих глазах брат мой Каин дерет шкуру с брата моего Авеля и я именно по неравнодушию к братьям дам брату Каину такую затрецию, чтобы ему больше не до озорства было, – вы вдруг меня укоряете, что я про братство забыл. Отлично помню, поэтому и вмешался, а если бы не помнил, то мог бы спокойно мимо пройти.

КНЯЗЬ. Но откуда же такая дилемма: или мимо пройти, или затрецию дать?

ГЕНЕРАЛ. Да третьего-то исхода чаще всего и не найдете в таких случаях. Вот вы предлагали было молиться Богу о прямом вмешательстве, чтобы Он, значит, мгновенно и собственно десницей всякого чертова сына в разум привел, – так вы сами, кажется, от этого способа отказались. А я скажу, что этот способ при всяком деле хорош, но никакого дела заменить собою не может. Ведь вот благочестивые люди и перед обедом молятся, а жевать-то жуют сами, собственными челюстями. Ведь и я не без молитвы конною артиллерией-то командовал.

КНЯЗЬ. Такая молитва, конечно, есть кощунство. Нужно не молиться Богу, а действовать по-божьи.

ГЕНЕРАЛ. То есть?

КНЯЗЬ. Кто в самом деле исполнен истинным духом евангельским, тот найдет в себе, когда нужно, способность и словами, и жестами, и всем своим видом так действовать на несчастного темного брата, желающего совершить убийство или какое-нибудь другое зло, – сумеет произвести на него такое потрясающее впечатление, что он сразу постигнет свою ошибку и откажется от своего ложного пути.

ГЕНЕРАЛ. Святые угодники! Это перед башибузуками-то, что младенцев поджаривали, я, по-вашему, должен был проделывать трогательные жесты и говорить трогательные слова?

Г[-н] Z. Слова-то по дальности расстояния и по взаимному незнанию языков были бы тут, пожалуй, вполне неуместны. А что касается до жестов, производящих потрясающее впечатление, то лучше залпов картечи, воля ваша, для данных обстоятельств ничего не придумаешь.

ДАМА. В самом деле, на каком языке и с помощью каких инструментов объяснялся бы генерал с башибузуками?

КНЯЗЬ. Я вовсе не говорил, чтобы вот они могли действовать по-евангельски на башибузуков. Я только сказал, что человек, исполненный истинного евангельского духа, нашел бы возможность и в этом случае, как и во всяком другом, пробудить в темных душах то добро, которое таится во всяком человеческом существе.

Г[-н] Z. Вы в самом деле так думаете?

КНЯЗЬ. Нисколько в этом не сомневаюсь.

Г[-н] Z. Ну а думаете ли вы, что Христос достаточно был проникнут истинным евангельским духом или нет?

КНЯЗЬ. Что за вопрос!

Г[-н] Z. А то, что если я желаю знать: почему же Христос не действовал силою евангельского духа, чтобы пробудить добро, скрытое в душах Иуды, Ирода, еврейских первосвященников и, наконец, того злого разбойника, о котором обыкновенно как-то совсем забывают, когда говорят о его добром товарище? Для положительного-то христианского воззрения непреодолимой трудности тут нет. Ну а вам чем-нибудь из двух уж непременно тут нужно

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
пожертвовать: или ваше привычкой ссылься на Христа и на Евангелие как на высший авторитет, или вашим моральным оптимизмом. Потому что третий, довольно-таки изъезженный путь – отрицание самого евангельского факта как позднейшей выдумки или «жреческого» истолкования – в настоящем случае для вас совершенно закрыт. Как бы вы ни искали и ни обрубали для своей цели текст четырех евангелий, главное-то в нем для нашего вопроса останется все-таки бесспорным, а именно, что Христос подвергся жестокому преследованию и смертной казни по злобе своих врагов. Что Он сам оставался нравственно выше всего этого, что Он не хотел сопротивляться и простили своих врагов – это одинаково понятно как с моей, так и с вашей точки зрения. Но почему же, прощая своих врагов, Он (говоря вашими словами) не избавил их душ от той ужасной тьмы, в которой они находились? Почему Он не победил их злобы силой своей кротости? Почему Он не пробудил дремавшего в них добра, не просветил и не возродил их духовно? Одним словом, почему Он не подействовал на Иуду, Ирода, иудейских первосвященников так, как Он подействовал на одного только доброго разбойника? Опять-таки – или не мог, или не хотел. В обоих случаях выходит, по-вашему, что Он не был достаточно проникнут истинным евангельским духом, а так как дело идет, если не ошибаюсь, о Евангелии Христовом, а не чьем-нибудь другом, то у вас оказывается, что Христос не был достаточно проникнут истинным духом Христовым, с чем я вас и поздравляю.

КНЯЗЬ. Ну, соперничать с вами в словесном фехтовании я не стану, как не стал бы состязаться с генералом в фехтовании на «христолюбивых» шпагах...

(Тут князь встал с места и хотел, очевидно, сказать что-то очень сильное, чтобы одним ударом, без фехтования, сразить противника, но на ближней колокольне пробило семь часов).

ДАМА. Пора обедать! И нельзя второпях оканчивать такой спор. После обеда наша партия в винт, но завтра непременно, непременно должен продолжаться этот разговор. (К политику.) Вы согласны?

ПОЛИТИК. На продолжение этого разговора? А я так обрадовался его концу! Ведь спор решительно принимал довольно неприятный специфический запах религиозных войн! Совсем не по сезону. А мне моя жизнь все-таки всего дороже.

ДАМА. Не притворяйтесь. И вы непременно, непременно должны принять участие. А то что это: растянулись каким-то действительным тайным Мефистофелем!

ПОЛИТИК. Завтра, пожалуй, я согласен разговаривать, но только с условием, чтобы религии было поменьше. Я не требую, чтобы ее изгнать совсем, так как это, кажется, невозможно. Но только поменьше, ради Бога, поменьше!

ДАМА. Ваше «ради Бога» в этом случае очень мило!

Г[-н] Z. (к политику). Но ведь лучшее средство, чтобы религии было как можно меньше, – это вам говорить как можно больше.

ПОЛИТИК. И обещаюсь! Хотя слушать все-таки приятнее, чем говорить, особенно в этом благородстворении воздухов, но для спасения нашего маленького общества от междуусобной брани, что могло бы отразиться пагубным образом и на винте, готов на два часа пожертвовать собою.

ДАМА. Отлично! А послезавтра – конец спора о Евангелии. Князь успеет приготовить какое-нибудь совсем непобедимое возражение. Только и вы должны присутствовать. Нужно же немного к духовным предметам приучаться.

ПОЛИТИК. Еще и послезавтра? Ну нет! Так далеко мое самопожертвование не идет, к тому же мне нужно послезавтра ехать в Ниццу.

ДАМА. В Ниццу? Какая наивная дипломатия! Ведь это бесполезно: ваш шифр давно разобран, и всякий знает, что когда вы говорите: «Нужно в Ниццу», то это значит: «Хочу кутить в Монте-Карло». Что ж? Послезавтра обойдемся и без вас. Погрязайте в матери, если не боитесь, что сами через несколько времени духом станете. Ступайте в Монте-Карло. И пусть Провидение воздаст вам по вашим заслугам!

ПОЛИТИК. Ну, заслуги мои касаются не Провидения, а только проведения необходимых мероприятий. А вот удачу и маленький расчет – это я допускаю –

ДАМА. Только завтра-то уж мы непременно должны собраться все вместе.

РАЗГОВОР ВТОРОЙ

Audiatur et altera pars.[9]

На другой день, в назначенный предобеденный час, я был вместе с прочими за чайным столом под пальмами. Недоставало только князя, которого пришлось подождать. Не играя в карты, я вечером же записал весь этот второй разговор с самого начала. «Политик» говорил на этот раз так много и так «протяженно-сложено ткал» свои фразы, что записать все с буквальною точностью было невозможно. Я привел достаточное количество его подлинных изречений и старался сохранить общий тон, но, разумеется, во многих случаях мог лишь передать своими словами сущность его речи.

ПОЛИТИК. Давно уж я замечал одну странность: люди, сделавшие себе особого конька из высшей какой-то морали, никак не могут овладеть самою простою и необходимою, а по-моему, даже единственно необходимою добродетелью – вежливостью. Поэтому остается только благодарить Создателя, что у нас сравнительно так мало лиц, одержимых этой идеей высшей морали – говорю идеей, потому что действительности-то я никогда не встречал и не имею никакой причины верить в существование подобной вещи.

ДАМА. Ну, это старо, а вот о вежливости есть правда в том, что вы сказали. Попробуйте-ка, покуда не пришел *le sujet en question*,[10] доказать, что вежливость – единственная необходимая добродетель, – так, слегка доказать, как пробуют инструменты в оркестре перед началом увертюры.

ПОЛИТИК. Да, в таких случаях раздаются только отдельные звуки. Такая монотонность будет и теперь, потому что едва ли кто станет защищать другое мнение, т. е. до прихода князя, ну а при нем говорить о вежливости было бы сегодня не совсем вежливо.

ДАМА. Конечно. Ну а ваши доказательства?

ПОЛИТИК. Вы согласитесь, я думаю, что можно отлично существовать в таком обществе, где нет ни одного целомудренного, ни одного бескорыстного, ни одного самоотверженного человека. Я, по крайней мере, всегда недурно устраивался в таких компаниях...

ДАМА. Например, в Монте-Карло.

ПОЛИТИК. И в Монте-Карло, и во всех других местах. Нигде не ощущается потребности хотя бы в едином представителе высшей добродетели. Ну а попробуйте-ка прожить в таком обществе, где не было бы ни одного вежливого человека.

ГЕНЕРАЛ. Не знаю, про какие компании вы изволите говорить, но вот в хивинской кампании или в турецкой едва ли можно было обойтись без некоторых других добродетелей, помимо вежливости.

ПОЛИТИК. Еще бы вы сказали, что для путешествующих через Среднюю Африку нужна не одна вежливость. Я ведь говорю о правильной повседневной жизни в культурном человеческом обществе. Вот для нее никаких высших добродетелей и никакого так называемого христианства не нужно. (К г[-ну] Z.) Вы качаете головой?

Г[-н] Z. Я вспомнил об одном печальном происшествии, о котором меня на днях известили.

ДАМА. Что такое?

Г[-н] Z. Мой друг N внезапно умер.

ГЕНЕРАЛ. Это известный романист?

Г[-н] Z. Он самый.

ПОЛИТИК. Да, об его смерти в газетах писали как-то глухо.

Г[-н] Z. То-то и есть, что глухо.

ДАМА. Но почему же вы именно в эту минуту вспомнили? Разве он умер от чьей-нибудь невежливости?

Г[-н] Z. Наоборот, от своей собственной чрезмерной вежливости и больше ни от чего.

ГЕНЕРАЛ. Вот и по этому пункту единомыслия у нас, как видно, не оказывается.

ДАМА. Расскажите, если можно.

Г[-н] Z. Да, тут скрывать нечего. Мой друг, думавший также, что вежливость есть хотя и не единственная добродетель, но во всяком случае первая необходимая ступень общественной нравственности, считал своею обязанностью строжайшим образом исполнять все ее требования. А сюда он относил, между прочим, следующее: читать все получаемые им письма, хотя бы от незнакомых, а также все книги и брошюры, присылаемые ему с требованием рецензий; на каждое письмо отвечать и все требуемые рецензии писать; старательно вообще исполнять все обращенные к нему просьбы и ходатайства, вследствие чего он был весь день в хлопотах по чужим делам, а на свои собственные оставлял только ночи; далее – принимать все приглашения, а также всех посетителей, заставших его дома. Пока мой друг был молод и мог легко переносить крепкие напитки, каторжная жизнь, которую он себе создал вследствие своей вежливости, хотя и удручила его, но не переходила в трагедию: вино веселило его сердце и спасало от отчаяния. Уже готовый взяться за веревку, он брался за бутылку и, потянувшись из нее, бодрее тянул и свою цепь. Но здоровья он был слабого и в 45 лет должен был отказаться от крепких напитков. В трезвом состоянии его каторга показалась ему адом, и вот теперь меня извещают, что он покончил с собою.

ДАМА. Как! Из-за одной только вежливости?! да он был просто сумасшедший.

Г[-н] Z. Несомненно, что он потерял душевное равновесие, но думаю, что слово «просто» тут менее всего подходит.

ГЕНЕРАЛ. Да, и я такие случаи сумасшествия видел, что ежели их хорошенъко разобрать, то сам, пожалуй, с ума сойдешь, – так оно не просто.

ПОЛИТИК. Но во всяком случае ясно, что вежливость-то тут ни при чем. Как испанский престол не виноват в сумасшествии титуллярного советника Поприщина, так обязанность вежливости не причастна сумасшествию вашего друга.

Г[-н] Z. Конечно, да я ведь не против вежливости, а только против ее возведения в какое-то абсолютное правило.

ПОЛИТИК. Абсолютное правило, как и всякий абсолют, есть только выдумка людей, лишенных здравого смысла и чувства живой действительности. Никаких абсолютных правил я не принимаю, а принимаю только правила необходимые. Я, например, отлично знаю, что если я не буду соблюдать правила опрятности, то это будет гадко и мне самому, и другим. Не желая испытывать и возбуждать неприятных ощущений, я ненарушино держусь правила каждый день умываться, менять белье и т. п. не потому, что это принято другими или мною самим или составляет что-нибудь священное, что нарушать – грех, а просто потому, что нарушение этого правила было бы *ipso facto*[11] материально неудобно. Точно то же и о вежливости вообще, куда, собственно, входит и опрятность как часть. Мне, как и всякому, гораздо удобнее исполнять, чем нарушать, правила вежливости – я их и исполняю. Новольно же было вашему другу воображать, что вежливость требует от него отвечать на все письма и просьбы без разбора удобств и выгод, – это уж не вежливость, а какое-то нелепое самопожертвование.

Г[-н] Z. Непременно развитая совестливость перешла у него в манию, которая и погубила его.

ДАМА. Но это ужасно, что человек погиб из-за такой глупости. Неужели вы не могли его образумить?

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Г[-н] З. Старался всячески и имел очень сильного союзника в одном афонском страннике, полууродивом, но очень замечательном. Мой друг его очень уважал и часто советовался с ним по духовным делам. Тот сразу заметил, в чем тут корень зла. Я хорошо знаю этого странника, и мне иногда случалось присутствовать при их беседах. Когда мой друг начинал сообщать ему свои нравственные сомнения – прав ли он был в этом, не погрешил ли в том, Варсонофий сейчас прерывал его: «Э-е, насчет грехов своих сокрушаешься – брось, пустое! Вот как я тебе скажу: в день 539 раз греши, да, главное, не кайся, потому согрешить и покаяться – это всякий может, а ты греши постоянно и не кайся никогда; потому ежели грех – зло, то ведь зло помнить – значит быть злопамятным, и этого никто не похвалит. И самое что ни на есть худшее злопамятство – свои грехи помнить. Уж лучше ты помни то зло, что тебе другие сделают, – в этом есть польза: вперед таких людей осторегаться будешь, а свое зло – забудь о нем и думать, чтобы вовсе его не было. Грех один только и есть смертный – уныние, потому что из него рождается отчаяние, а отчаяние – это уже, собственно, и не грех, а сама смерть духовная. Ну а какие еще там грехи? Пьянство, что ли? Так ведь умный человек пьет, поколику вмещает, он безместно пить не будет, а дурак – тот и ключевою водой обольется, значит, тут сила не в вине, а в безумии. Иные по безумию и сгорают от водки, не то что одним нутром, а так, что и снаружи весь почертнеет, и огоньки по нему пойдут, – сам своими глазами видел, – так тут уж о каком грехе говорить, когда из тебя сама геенна огненная воочию проступает. – Насчет этих разных нарушений седьмой заповеди по совести скажу: судить мудрено, а похвалить никак невозможно. Нет, не рекомендую! Конечно, оно удовольствие пронзительное – это что и толковать, – ну а наконец того – унылое и жизнь сокращает. Ежели мне не веришь, посмотри вот, что ученый немецкий доктор пишет». – И Варсонофий брал с полки книгу старинного вида и начинал ее перелистывать. «Одно, брат, заглавие чего стоит! Ма-кро-би-отика Гу-фе-ланда! Вот смотри-ка тут на странице 176...» – и он с расстановками прочитывал страницу, где немецкий автор усердно предостерегает от нерасчетливой тряты жизненных сил. «Вот видишь! Так из-за чего же умному человеку в убыток-то входить? В молодую-то, несмысленную пору оно, конечно, и невесть что мерещится; ну а потом – нет! себе дороже. А чтобы, значит, прежнее все вспоминать да сокрушаться: зачем, мол, я, окаянный, невинности своей лишился, чистоту душевную и телесную потерял? – так это, я тебе скажу, одна чистая глупость, это значит себя прямо-таки дьяволу в шуты отдавать. Ему-то, конечно, лестно, чтобы твоя душа вперед и вверх не шла, а все бы на одном грязном месте топталась. А вот тебе мой совет: как начнет он тебя этим самым раскаянием смущать, ты плюнь да разотри – вот, мол, и все мои грехи тяжкие – так они для меня необыкновенно важны! Небось, отстанет! – по опыту говорю... Ну а еще там какие за тобой беззакония? Воровать, чай, не станешь? А ежели и украл – невелика беда: ныне все воруют. Так, значит, ты об таких пустяках и не думай, а берегись только одного – уныния. Придут мысли о грехах, что, мол, не обидел ли кого чем, так ты в театр, что ли, сходи, или в компанию какую-нибудь веселую, или листы какие-нибудь скоморошеские почитай. А хочешь от меня непременно правила, так вот тебе и правило: в вере будь тверд не по страху грехов, а потому, что уж очень приятно умному человеку с Богом жить, а без Бога-то довольно пакостно; в слово Божие вникай, ведь его если с толком читать, что ни стих – как рублем подарит; молись ежедневно хоть раз или два с чувством. Умываться-то, небось, не забываешь, а молитва искренняя для души лучше всякого мыла. Постись для здоровья желудка и прочих внутренностей – теперь все врачи советуют после сорока лет; о чужих делах не думай и благотворительностью не занимайся, если свое дело есть; а встречным бедным давай, не считая; на церкви и монастыри тоже жертвуй без счета – там уж в небесном контроле все сами подсчитывают, – ну, и будешь ты здрав и душою, и телом, а с ханжами какими-нибудь, что в чужую душу залезают, потому что в своей пусто, – с такими ты и не разговаривай». Подобные речи производили хорошее действие на моего друга, но не могли до конца одолеть наплыва гнетущих впечатлений, да в последнее время он редко и видался с Варсонофием.

ПОЛИТИК. А ведь этот ваш странник по-своему говорит в сущности почти то же, что и я.

ДАМА. Тем лучше. Но какой удивительный в самом деле моралист! Греши и, главное, не кайся, – мне это очень нравится.

ГЕНЕРАЛ. Ведь, я думаю, не всем же он это говорит. Какого-нибудь душегубца или пакостника, наверно, в другом тоне поучает.

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Г[-н] Z. Ну, конечно. Но как только заметит нравственную мнительность, сейчас философом становится и даже фаталистом. Одну очень умную и образованную старушку он привел в восхищение. Она была хоть и русской веры, но заграничного воспитания и, много наслышавшись о нашем Варсонофии, отнеслась было к нему как бы к *directeur de conscience*, [12] но он ей не дал много говорить о своих душевных затруднениях. «да из-за чего ты этакую дрянью себя беспокоишь! Кому это нужно? Вот и мне, простому мужику, скучно тебя слушать, а неужто ты думаешь, что Богу-то интересно! И о чем тут толковать: ты стара, ты слаба и никогда лучше не будешь». Она мне это со смехом и со слезами на глазах рассказывала; впрочем, она пробовала ему возражать, но он ее окончательно убедил одним рассказом из жизни древних отшельников – Варсонофий и нам с Н часто его рассказывал. Хороший рассказ, только, пожалуй, долго будет теперь его передавать.

ДАМА. А вы расскажите коротко.

Г[-н] Z. Постараюсь. В Нитрийской пустыне спасались два отшельника. Пещеры их были в недалеком расстоянии, но они никогда не разговаривали между собою, разве только псалмами иногда перекликаются. Так провели они много лет, и слава их стала распространяться по Египту и по окрестным странам. И вот однажды удалось диаволу вложить им в душу, обоим зараз, одно намерение, и они, не говоря друг другу ни слова, забрали свою работу – корзинки и постилки из пальмовых листьев и ветвей – и отправились вместе в Александрию. Там они продали свою работу и затем три дня и три ночи кутили с пьяницами и блудницами, после чего пошли назад в свою пустыню. Один из них горько рыдал и сокрушался:

– Погиб я теперь совсем, окаянный! Такого неистовства, такой скверны ничем не замолиши. Пропали теперь даром все мои посты, и бдения, и молитвы – зараз все безвозвратно погубил!

А другой с ним рядом идет и радостным голосом псалмы распевает.

– Да что ты, обезумел, что ли?

– А что?

– Да что ж ты не сокрушаешься?

– А о чём мне сокрушаться?

– Как! А Александрия?

– Что ж Александрия? Слава Всевышнему, хранящему сей знаменитый и благочестивый град!

– Да мы-то что делали в Александрии?

– Известно, что делали: корзины продавали, святому Марку поклонились, прочие храмы посещали, в палаты к благочестивому градоправителю заходили, с монахолюбивою домною Леониллою беседовали...

– Да ночевали-то мы разве не в блудилище?

– Храни Бог! Вечер и ночь проводили мы на патриаршем дворе.

– Святые мученики! Он лишился рассудка... Да вином-то мы где упивались?

– Вина и яств вкушали мы от патриаршей трапезы по случаю праздника Введения во храм Пресвятая Богородицы.

– Несчастный! А целовался-то с нами кто, чтобы о горшем умолчать?

– А лобзанием святым почтил нас на расставании отец отцов, блаженнейший архиепископ великого града Александрии и всего Египта, Ливии же и Пентаполя и судия вселенной, Кир-Тимофей, со всеми отцами и братиями его богоизбранного клира.

– Да что ты, насмехаешься, что ли, надо мной? Или за вчерашние мерзости в тебя сам диавол вселился? С блудницами скверными целовался ты, окаянный!

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
– Ну, не знаю, в кого вселился диавол: в меня ли, когда я радуюсь дарам Божиим и благоволению к нам мужей священноначальных и хвалю Создателя вместе со всею тварью, или в тебя, когда ты здесь беснуешься и дом блаженнейшего отца нашего и пастыря называешь блудилищем, а его самого и боголюбезный клир его – позоришь, яко бы сущих блудниц.

– Ах ты, еретик! Ариево отродье! Аполлинария мерзкого всеклятые уста!

И сокрушавшийся о своем грехопадении отшельник бросился на своего товарища и стал изо всех сил его бить. После этого они молча пошли к своим пещерам. Один всю ночь убивался, оглашая пустыню стонами и воплями, рвал на себе волосы, бросался на землю и колотился об нее головой, другой же спокойно и радостно распевал псалмы. Наутро кающемуся пришла в голову мысль: так как я долголетним подвигом уже стяжал особую благодать Святого Духа, которая уже начала проявляться в чудесах и знамениях, то после этого, отдавшись плотской мерзости, я совершил грех против Духа Святого, что, по слову Божию, не прощается ни в сем веке, ни в будущем. Я бросил жемчужину небесной чистоты мысленным свиниям, т. е. бесам, они потоптали ее и теперь, наверное, обратившись, растерзают меня. Но если я во всяком случае окончательно погиб, то что же я буду делать тут, в пустыне? И он пошел в Александрию и предался распутной жизни. Когда же ему понадобились деньги, то он, в сообщничестве с другими такими же гуляками, убил и ограбил богатого купца. Дело открылось, он был подвергнут градскому суду и, приговоренный к смертной казни, умер без покаяния. А между тем его прежний товарищ, продолжая свое подвижничество, достиг высшей степени святости и прославился великими чудесами, так что по одному его слову многолетне бесплодные женщины зачинали и рожали детей мужского пола. Когда пришел день его кончины, изможденное и засохшее его тело вдруг как бы расцвело красотою и молодостью, просияло и наполнило воздух благоуханием. По смерти над его чудотворными мощами создался монастырь, и имя его перешло из Александрийской церкви в Византию, а оттуда попало в киевские и московские святцы. «Вот, значит, и правду я говорю, – прибавлял Варсонофий, – все грехи не беда, кроме одного только – уныния: прочие-то все беззакония они совершали оба вместе, а погиб-то один, который унывал».

ГЕНЕРАЛ. Видите: и для монахов бодрость духа нужна, а теперь вот хотят на военных уныние напускать.

Г[–н] З. Вот мы, значит, от вопроса о вежливости хотя удалились, зато к главному-то нашему предмету опять приблизились.

ДАМА. А кстати, наконец и князь идет. Здравствуйте! А мы без вас о вежливости говорили.

КНЯЗЬ. Извините, пожалуйста, никак нельзя было раньше выбраться. Получил целую кипу разных бумаг от наших и разные издания, потом покажу.

ДАМА. Ну хорошо, а я вам потом расскажу священный анекдот о двух монахах, которым мы тоже утешались в ваше отсутствие, а теперь слово принадлежит нашему действительному тайному монтекарлиству. Ну, излагайте, что вы после вчерашнего разговора скажете о войне.

ПОЛИТИК. Из вчерашнего разговора у меня осталось в памяти вот их ссылка на Владимира Мономаха да военный рассказ генерала. Это пусть и будет исходною точкой для дальнейшего обсуждения вопроса. – Невозможно спорить против того, что Владимир Мономах хорошо делал, когда громил половцев, и что генерал хорошо сделал, что перебил башибузуков.

ДАМА. Значит, вы согласны?

ПОЛИТИК. Я согласен с тем, о чем вот и имею честь вам докладывать, а именно, что и Мономах, и генерал действовали так, как в данном положении им должно было действовать; но что же отсюда следует для оценки самого этого положения, или для оправдания иувековечения войны и милитаризма?

КНЯЗЬ. Вот именно я это и говорю.

ДАМА. Теперь уж вы, значит, с князем согласны?

ПОЛИТИК. Если вы мне позволите объяснить мой взгляд на предмет, то само собою будет видно, с кем и в чем я согласен. Мой взгляд есть только

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
логический вывод из несомненной действительности и фактов истории. Разве можно спорить против исторического значения войны как главного, если не единственного средства, которым создавалось и упрочивалось государство? Укажите мне хоть одно такое государство, которое было бы создано и закреплено помимо войны.

ДАМА. А Северная Америка?

ПОЛИТИК. Спасибо за отличный пример. Я ведь говорю о создании государства. Конечно, Северная Америка как европейская колония была создана, подобно всем прочим колониям, не войной, а мореплаванием, но как только эта колония захотела быть государством, так ей пришлось долголетнею войною добывать свою политическую независимость.

КНЯЗЬ. Из того, что государство создавалось посредством войны, что, конечно, неоспоримо, вы, по-видимому, заключаете о важности войны, а по-моему, из этого можно заключать только о неважности государства – разумеется, для людей, отказавшихся от поклонения насилию.

ПОЛИТИК. Сейчас и поклонение насилию! Зачем это? А вы лучше попробуйте-ка устроить прочное человеческое общежитие вне принудительных государственных форм или хоть сами на деле откажитесь от всего, что на них держится, – тогда и говорите о неважности государства. Ну а до тех пор государство и все то, чем мы с вами ему обязаны, остается огромным фактом, а ваши нападения на него остаются маленькими словами. – Итак, повторяю: великое историческое значение войны как главного условия при создании государства – вне вопроса; но я спрашиваю: самое это великое дело созидания государства разве не должно считаться завершенным в существенных чертах? А подробности, конечно, могут быть улажены и без такого героического средства, как война. В древности и в средние века, когда мир европейской культуры был лишь островом среди океана более или менее диких племен, военный строй требовался прямо самосохранением. Было нужно всегда быть наготове к отражению каких-нибудь орд, устремлявшихся неведомо откуда, чтобы потоптать слабые ростки цивилизации. Но теперь островами можно назвать только неевропейские элементы, а европейская культура стала океаном, размывающим эти острова. Наши ученые, авантюристы и миссионеры весь земной шар обшарили и ничего грозящего серьезно опасностью для культурного мира не нашли. Дикие варвары, как турки или японцы, цивилизуются и теряют свою воинственность. Между тем объединение европейских наций в общей культурной жизни...

ДАМА (вполголоса). Монте-Карло...

ПОЛИТИК. В общей культурной жизни так усилилось, что война между этими нациями прямо имела бы характер междуусобия, во всех отношениях непростительного при возможности мирного улажения международных споров. Решать их войною в настоящее время было бы так же фантастично, как приехать из Петербурга в Марсель на парусном судне или в тарантасе на тройке, хотя я совершенно согласен, что «белеет парус одинокий» и «вот мчится тройка удалая» гораздо поэтичнее, чем свистки парохода или крики «en voiture, messieurs!». [13] Точно так же я готов признать эстетическое преимущество и «стальной щетины» и «колыхаясь и сверкая, движутся полки» перед портфелями дипломатов и суконными столами мирных конгрессов, но серьезная постановка такого жизненного вопроса, очевидно, не должна иметь ничего общего с эстетической оценкой той красоты, которая принадлежит ведь не реальной войне, – это, уверяю вас, вовсе не красиво, – а лишь ее отражению в фантазии поэта или художника; и раз все начинают понимать, что война при всей своей интересности для поэзии и живописи – они ведь могут и прошедшиими войнами довольствоваться – вовсе теперь не нужна, потому что невыгодна, так как это слишком дорогое, да и рискованное средство для таких целей, которые могут быть достигнуты дешевле и верней иным путем, – то, значит, военный период истории кончился. Говорю, разумеется, en grand. [14] О каком-нибудь немедленном разоружении не может быть и речи, но я твердо уверен, что ни мы, ни наши дети больших войн – настоящих европейских войн – не увидим, а внуки наши и о маленьких войнах – где-нибудь в Азии или Африке – также будут знать только из исторических сочинений.

Так вот мой ответ насчет Владимира Мономаха: когда приходилось ограждать будущность новорожденного русского государства от половцев, потом от татар и т. д., война была самым необходимым и важным делом. То же до некоторой степени можно сказать про эпоху Петра Великого, когда нужно было обеспечить

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org будущность России как державы европейской. Но затем значение войны становится все более и более подлежащим вопросу, и в настоящее время, как я сказал, военный период истории кончился в России, как и везде. Ведь то, что сейчас было мною сказано о нашем отечестве, применимо – конечно, *mutatis mutandis*[15] – и к другим европейским странам. Везде война была некогда главным и неизбежным средством для ограждения и упрочения государственного и национального бытия, – и везде с достижением этой цели она теряет смысл.

Сказать в скобках, меня удивляет, что некоторые современные философы трактуют о смысле войны безотносительно ко времени. Имеет ли смысл война? *C'est selon.*[16] Вчера, может быть, имела смысл везде, сегодня имеет смысл только где-нибудь в Африке или в Средней Азии, где еще остались дикари, а завтра не будет иметь смысла нигде. – Замечательно, что параллельно потере своего практического смысла война теряет, хотя и медленно, свой мистический ореол. Это видно даже у такого отсталого в массе своей народа, как наш. Посудите сами: вот генерал намедни с торжеством указывал, что все святые у нас если не монахи, то военные. Но я вас спрашиваю: к какой именно исторической эпохе относится вся эта военная святость или святая военщина? Не к той ли самой, когда война действительно была необходимейшим, спасительным и, если хотите, святым делом? Наши святые воители были все князья киевской и монгольской эпохи, а генерал-лейтенантов или даже генерал-поручиков между ними я что-то не припомню. Что же это значит? Из двух знаменитых военных, при одинаковых личных правах на святость, за одним она признана, за другим – нет. Почему? Почему, я спрашиваю, Александр Невский, бывший ливонцев и шведов в тринадцатом веке, – святой, а Александр Суворов, бывший турок и французов в восемнадцатом, – не святой? Ни в чем, противном святости, Суворова упрекнуть нельзя. Он был искренно благочестив, громогласно пел на клиросе и читал с амвона, жизнь вел безупречную, даже ничьим любовником не был, а юродства его, конечно, составляют не препятствие, а скорее лишний аргумент для его канонизации. Но дело в том, что Александр Невский сражался за национально-политическую будущность своего отечества, которое, разгромленное уже наполовину с востока, едва ли бы устояло при новом разгроме с запада, – инстинктивный смысл народа понимал жизненную важность положения и дал этому князю самую высокую награду, какую только мог представить, причислив его к святым. Ну а подвиги Суворова, хотя несравненно более значительные в смысле военном, – особенно его Аннибаловский поход через Альпы – не отвечали никакой настоящей потребности, – спасать Россию ему не приходилось, ну, он и остался только военною знаменитостью.

ДАМА. А вот полководцы двенадцатого года хотя и спасали Россию от Наполеона, однако в святые тоже ведь не попали?

ПОЛИТИК. Н-но, спасение России от Наполеона – это патриотическая риторика. Не съел бы он нас, да и не собирался съесть. Что мы под конец одолели его – это, разумеется, показало нашу народно-государственную силу и высоко подняло наше национальное самочувствие, но чтобы в 12-м году война вызывалась какою-нибудь настоящей необходимостью, с этим я никогда не соглашусь! Отлично можно было столкнуться с Наполеоном – ну а дразнить его, конечно, нельзя было без большого риска, а хотя риск вышел удачен и конец войны был очень лестным для нашего национального самолюбия, но дальнейшие ее последствия едва ли можно признать действительно полезными. Если два силача ни с того, ни с сего подерутся между собою и один одолеет другого не без вреда для обоюдного здоровья, то я хотя и скажу про победителя: молодец! – но необходимость именно такого проявления молодечества останется для меня темною. Слава 12-го года, проявленные тогда национальные доблести остаются при нас, каковы бы ни были причины войны.

Еще двенадцатого года
Была жива святая быль...

Прекрасно для поэзии: «святая быль»! Но я смотрю на то, что из этой были вышло, и вижу: архимандрита Фотия, Магницкого, Аракчеева, с одной стороны, заговор декабристов – с другой, и *en somme*[17] тот тридцатилетний режим запоздалого милитаризма, что привел к севастопольскому погрому.

ДАМА. А Пушкин?

ПОЛИТИК. Пушкин?... Почему Пушкин?

ДАМА. А я недавно прочла в газетах, что национальная поэзия Пушкина порождена военною славой 12-го года.

Г[-н] З. Не без особого участия артиллерии, как видно из фамилии поэта.

ПОЛИТИК. Да, разве что так. Продолжаю. В последующие времена бесполезность, ненужность наших войн становится все яснее и яснее. Крымскую войну у нас очень ценят, так как думают, что ее неудачный исход вызвал освобождение крестьян и прочие реформы Александра II. Если и так, то ведь благие последствия войны неудачной, и именно только как неудачной, не составляют, конечно, апологии войны вообще. Если я без достаточной причины стану прыгать с балкона и вывихну себе руку, а этот вывих вовремя удержит меня от подписания разорительного векселя, то я потом буду рад, что так случилось, но не стану утверждать, что вообще нужно прыгать с балкона, а не сходить с него по лестнице. Ведь при неповрежденной-то голове нет надобности в повреждении руки, чтобы не подписывать разорительных сделок: одно и то же благоразумие предохранит зараз и от нелепых скачков с балкона, и от нелепых подписей. Я думаю, что и без Крымской войны реформы Александра II были бы, вероятно, произведены, и, пожалуй, более прочным и многосторонним образом. Но доказывать этого не стану, чтобы не удаляться от нашего предмета. Во всяком случае политические деяния нельзя оценивать по их косвенным и непредвиденным последствиям, сама же по себе Крымская война, т. е. начало ее, наступление нашей армии на Дунай в 1853 г., не имеет разумного оправдания. Я не могу назвать здравою политикой такую, что сегодня спасает Турцию от разгрома Мехмет-Али-пашой египетским, препятствуя таким образом раздвоению мусульманского мира около двух центров, Стамбула и Каира, в чем для нас, кажется, очень большой беды не было бы, а на другой день собирается разгромить ту же, спасенную и усиленную Турцию с риском наткнуться на европейскую коалицию. Это не политика, а донкихотство какое-то. Не иначе назову я — прошу прощения у генерала — и нашу последнюю турецкую войну.

ДАМА. А бashiбузуки армянские? Вы же одобрили генерала, что он их истребил.

ПОЛИТИК. Виноват! Я утверждаю, что война в настоящее время стала бесполезною, и давешний рассказ генерала служит тому лучшею иллюстрацией. Я понимаю, что, очутившись по долгу службы деятельным участником войны и наткнувшись на иррегулярные турецкие войска, производящие возмутительные зверства над мирным населением, всякий... (смотрит на князя) всякий человек, свободный от предвзятых «абсолютных принципов», должен был и по чувству, и по обязанности беспощадно их истребить, как сделал генерал, а не думать об их нравственном перерождении, как говорит князь. Но я спрашиваю, во-первых, кто же был настоящею причиной всего этого безобразия и, во-вторых, что же достигнуто военным вмешательством? На первый вопрос я по совести могу ответить лишь указанием на ту дурную воинствующую политику, которая, возбуждая страсти и притязания турецкой райи, дразнила турок; болгар ведь стали резать тогда, когда Болгария наполнилась революционными комитетами и туркам пришлось бояться иностранного вмешательства и распадения своего государства. То же самое и в Армении. А на второй вопрос — что из этого вышло? — ответ дан вчерашними событиями такой наглядный, что всякому бросается в глаза. Смотрите сами: в 1877 году наш генерал истребляет несколько тысяч бashiбузуков и спасает этим, может быть, несколько сотен армян; а в 1895 г. в тех же местах такие же бashiбузуки вырезывают уже не сотни, а тысячи и, может быть, даже десятки тысяч населения. Если верить разным корреспондентам (хотя я, впрочем, верить им не советую), перерезано было чуть не полмиллиона людей. Ну, это басни. Однако во всяком случае эта армянская резня была значительно грандиознее прежней болгарской. И вот благие результаты нашей патриотической и филантропической войны.

ГЕНЕРАЛ. Ну, пойми, кто может! То дурная политика виновата, а то патриотическая война. Подумаешь, что князь Горчаков и г[-н] Гире были военные или что Дизраэли и Бисмарк были русские патриоты и филантропы.

ПОЛИТИК. Неужели мое указание не ясно? Я имею в виду совершенно несомненную связь, — и не отвлеченнную какую-нибудь или идеальную, а вполне реальную, прагматическую связь между войною 1877 г., которая сама была следствием нашей дурной политики, и недавними избиениями христиан в Армении. Вам, может быть, известно, а если нет, то полезно будет узнать, что после 1878 г. Турция, увидавши из Сан-Степанского договора свои будущие перспективы в Европе, решилась хорошенько обеспечить свое существование, по крайней мере в Азии. Прежде всего она заручилась на Берлинском конгрессе английской гаранциею; но, справедливо полагая, что «на Англию надейся, а сам не плошай», турецкое правительство занялось в Армении усилением и устройством

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
своих иррегулярных войск, т. е. более или менее тех самых «чертей», с
которыми имел дело генерал. Это оказалось весьма основательным: всего через
пятнадцать лет после того, как Дизраэли в обмен на остров Кипр гарантировал
Турции ее азиатские владения, английская политика вследствие изменившихся
обстоятельств стала антитурецкою и армянофильскою, и английские агитаторы
появились в Армении, как некогда славянофильские в Болгарии. А вот тут-то
знакомые генералу «чертей» оказались, что называется, людьми положения и
самым исправным образом скушали самую большую порцию христианского мяса,
какая только когда-нибудь попадала им в зубы.

ГЕНЕРАЛ. Слушать противно! И какая же тут война виновата? Побойтесь Бога!
Ведь если бы в 1878 г. государственные мужи так же хорошо кончили свое
дело, как военные – свое, то ведь ни о каком усилении и устройстве
иррегулярных войск в Армении, а следовательно, и ни о каких избиениях и
помину не могло бы быть.

ПОЛИТИК. То есть вы разумеете окончательное разрушение Турецкой империи?

ГЕНЕРАЛ. Да! Хоть я от души люблю и уважаю турок – прекраснейший народ,
особенно по сравнению со всеми этими эфиопами разношерстными, – а все-таки,
я полагаю, давно пора покончить с этой самою Турецкою империей.

ПОЛИТИК. Я бы ничего не имел против этого, если бы на ее месте эфиопы-то
ваша могли образовать свою собственную эфиопскую какую-нибудь империю, а то
ведь они умеют только драться между собой, и турецкое правительство так же
для них необходимо, как присутствие турецких солдат в Иерусалиме необходимо
для мира и благосостояния разных христианских исповеданий в тех местах.

ДАМА. Ну, я того и ждала, что вы и гроб Господень навсегда туркам отдать
хотите.

ПОЛИТИК. И вы, конечно, думаете, что это вследствие моего безбожия или
равнодушия?! А между тем на самом деле я желаю пребывания турок в
Иерусалиме единственно только в силу маленькой, но неистребимой искры
религиозного чувства, которая осталась у меня от детства. Я наверное знаю,
что в минуту удаления турецких солдат с иерусалимских караулов все
христиане там перережут друг друга, предварительно истребивши все
христианские святыни. Если мои впечатления и заключения кажутся вам
подозрительными, спросите у тех паломников, которым доверяете, а то, всего
лучше, посмотрите сами.

ДАМА. Ехать в Иерусалим? Ах, нет! Что еще там увидишь... Нет, боюсь, боюсь!

ПОЛИТИК. Вот видите!

ДАМА. Но как странно! Вы с генералом спорите, а оба турок превозносите.

ПОЛИТИК. Генерал ценит их, вероятно, как бравых солдат, а я – как стражей
мира и порядка на Востоке.

ДАМА. Хорош мир и порядок: вдруг несколько десятков тысяч человек
перерезать! По-моему, уж лучше какой-нибудь беспорядок.

ПОЛИТИК. Как я уже докладывал, избиения были вызваны революционной
агитацией. Почему же требовать от турок той высокой степени христианского
незлобия и всепрощения, которой не требуют ни от какой другой нации, хотя
бы и христианской? Назовите мне, в самом деле, ту страну, где вооруженное
восстание усмирялось без жестоких и несправедливых мер. Это во-первых:
зачинщиками избиения были не турки; во-вторых, собственно турки в них мало
и участвовали, действуя в большинстве случаев лишь руками генеральских
«чертей», ну а в-третьих, я согласен, что, давая волю этим «чертям»,
турецкое правительство на этот раз пересолило, как пересолили у нас Иван IV,
потопивши 10 тысяч мирных новгородцев, как пересаливали комиссары
французского конвента своими «ноядами» и «фузильями» или англичане в
Индии при усмирении восстания в 1857 году. И все-таки нельзя сомневаться,
что если бы разных единоверных и единоплеменных эфиопов, как говорит
генерал, предоставить самим себе, то произошло бы гораздо больше резни, чем
при турках.

ГЕНЕРАЛ. Да разве я хочу эфиопов на место Турции поставить? Кажется, дело
просто: взять нам Константинополь, взять Иерусалим и вместо Турецкой

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
империи учредить несколько русских военных губерний, как в Самарканде или Асхабаде, – турок, значит, когда положат оружие, всячески ублаготворить и насчет религии, и насчет всего прочего.

ПОЛИТИК. Ну, надеюсь, вы это несерьезно говорите, а то мне пришлось бы усомниться в вашем... патриотизме; ведь если бы мы начали войну с подобными радикальными намерениями, то это, наверное, вызвало бы опять европейскую коалицию, к которой бы под конец пристали и наши эфиопы, освобожденные или намеченные к освобождению. Ведь они хорошо понимают, что под русской властью им не очень-то будет вольготно проявлять «свою национальную физиономию-ту», как говорят болгары. Ну и кончилось бы тем, что вместо разрушения Турецкой империи повторился бы для нас, *en grand*, севастопольский погром. Нет, хоть мы нередко вдавались в дурную политику, но я все-таки уверен, что такого безумия, как новая война с Турцией, мы не увидим; а если бы увидели, то всякому патриоту пришлось бы с отчаянием сказать про Россию: *quem Deus vult perdere, prius dementat*.

ДАМА. Что это значит?

ПОЛИТИК. Это значит: кого Бог хочет погубить, сперва лишит разума.

ДАМА. Ну, история не по вашему разуму делается: вы вот, вероятно, и за Австрию стоите так же, как за Турцией?

ПОЛИТИК. Об этом мне не приходится и распространяться, потому что более меня компетентные люди – национальные вожди Богемии – уже давно объявили: «Если бы Австрии не было, ее надо было бы выдумать». Недавние парламентские побоища в Вене служат прекрасною иллюстрацией этого афоризма и миниатюрным прообразом того, что должно произойти в этих странах с исчезновением империи Габсбургов.

ДАМА. Ну а что вы скажете о франко-русском союзе? Вы всегда об этом как-то помалчиваете.

ПОЛИТИК. Да я и теперь в подробности этого щекотливого вопроса входить не намерен. Вообще же могу сказать, что сближение с такою прогрессивною и богатою нацией, как Франция, во всяком случае для нас выгодно, а затем ведь этот союз есть, конечно, союз мира и предосторожности: так, по крайней мере, он понимается в тех высоких местах, где его заключали и поддерживают.

Г [-н] Z. Что касается до моральных и культурных выгод от сближения двух наций – это дело сложное и для меня пока темное. Но со стороны собственно политической не кажется ли вам, что, присоединяясь к одному из двух враждебных лагерей на континенте Европы, мы теряем выгоду своего свободного положения как третьего беспристрастного судьи, или арбитра, между ними, теряем свою сверхпартийность. Пристав к одной стороне и тем уравновесив силы обеих, не создаем ли мы возможность вооруженного столкновения между ними? Ведь одна Франция не могла бы воевать против Тройственного союза, а вместе с Россией – может.

ПОЛИТИК. То, что вы говорите, было бы совершенно верно, если бы у кого-нибудь была охота затевать европейскую войну. Но смею вас уверить, что этого никому не хочется. И во всяком случае для России гораздо легче удержать Францию на пути мира, нежели для Франции – увлечь Россию на путь войны, в сущности одинаково нежелательный для обеих. Всего успокоительнее то, что современные нации не только не хотят, но, главное, перестают уметь воевать.

Возьмите хоть последнее столкновение – испано-американское. Ну что же это за война? Нет, я вас спрашиваю: что это за война? Кукольная комедия какая-то, сражение Петрушки Уксусова с квартальным! «После продолжительного и горячего боя неприятель отступил, потерявши одного убитого и двух раненых. С нашей стороны потерпеть не было». Или: «Весь неприятельский флот после отчаянного сопротивления нашему крейсеру „Money enough“ сдался ему безусловно. Потерпеть убитыми и ранеными с обеих сторон не было». И в этом роде вся война. Меня поражает, что все так мало поражены этим новым характером войны, ее, можно сказать, бескровностью. Ведь превращение совершилось на наших глазах: мы же все помним, какие бывали бюллетени и в 1870, и в 1877 годах.

ГЕНЕРАЛ. Погодите поражаться; пусть столкнутся две настоящие военные нации,
Страница 299

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
и вы увидите, какие опять пойдут бюллетени!

ПОЛИТИК. Не думаю. Давно ли и Испания была первостепенною военною нациею? Прошлого, слава Богу, не вернешь. Мне представляется, что все равно как в теле ненужные органы атрофируются, так и в человечестве: воинственные качества стали не нужны, вот они и исчезают. А если бы вдруг опять появились, я так же удивился, как если бы у летучей мыши вдруг оказались бы орлиные глаза или у людей стали опять рости хвосты.

ДАМА. А как же вы сами сейчас турецких солдат хвалили?

ПОЛИТИК. Я их хвалил как стражей порядка внутри государства. В этом смысле военная сила, или, как говорится, «военная рука» – *manus militaris*, еще надолго будет необходима для человечества, но это не мешает тому, что воинственность в смысле склонности и способности к войнам международным, эта, так сказать, национальная драчливость, должна совершенно исчезнуть и уже исчезает на наших глазах, вырождаясь в ту бескровную, хотя и не безувечную форму, какую представляют парламентские потасовки. И так как склонность к таким проявлениям, вероятно, останется, пока существуют враждующие партии и мнения, то для их обуздания необходимо останется в государстве и *manus militaris*, когда внешние войны – международные или международные – уже давно будут лишь историческим воспоминанием.

ГЕНЕРАЛ. Это, значит, вы полицию с хвостцовою косточкою сравнили, которая остается у человека после того, как о хвосте одни киевские ведьмы напоминают. Это остроумно, только не слишком ли вы торопитесь нашего брата к исчезнувшему хвосту приравнять? Из того, что та или другая нация прокисла и плохо дерется, по-вашему, выходит, что уж во всем мире военные качества пропали. Пожалуй, какими-нибудь «мероприятиями» да «системами» можно и русского солдата в киселя превратить, – ну да Бог не выдаст.

ДАМА (к политику). А вы все-таки не объяснили, каким же способом без войны должны решаться такие исторические вопросы, как вот восточный. Как бы ни были плохи христианские народы на Востоке, но если у них явилось желание непременно быть самими по себе, а турки их за это резать будут, так неужели нам на это сложа руки смотреть? Положим, вы прежние войны хорошо критиковали: но я скажу, как князь, хоть не в его смысле: теперь-то вот что нам делать, если опять начнутся где-нибудь избиения?

ПОЛИТИК. А теперь, пока они еще не начались, нам нужно взяться за ум поскорее и вместо своей дурной вести хоть и немецкую, да хорошую политику: турок не дразнить, о водружении крестов на мечетях – в пьяном виде не кричать, а потихоньку и дружелюбно культивировать Турцию для обоюдной пользы – и нашей, и ее собственной. Ведь прямо от нас зависит, чтобы турки поскорее поняли, что вырезывать население в своей стране есть дело не только дурное, но – главное – ни к чему не нужное, совершенно невыгодное.

Г[-н] з. Ну, в этих вразумлениях, связанных с железнодорожными концессиями и всякими торговыми и промышленными предприятиями, немцы уж нас, наверное, предупредят, [18] и тягаться нам с ними тут – дело безнадежное.

ПОЛИТИК. Да и зачем тягаться? Если кто-нибудь вместо меня какую-нибудь тяжелую работу сделает, то ведь я только радоваться и благодарить буду. А если я, напротив, стану за это на него сердиться: зачем, мол, он, а не я, то ведь это совсем недостойно порядочного человека. И точно так же недостойно такой нации, как Россия, уподобляться собаке, которая на сене лежит, – и сама не ест, и другим не дает. Если другие своими средствами лучше и скорее нас сделают то добroе дело, которого и мы желаем, то тем выгоднее для нас. Я вас спрашиваю: из-за чего велись наши войны с Турцией в XIX веке, как не из-за того, чтобы оградить человеческие права турецких христиан? Ну а что, если эту самую цель немцы вернее достигнут мирным путем, культивируя Турцию? Ведь, если бы в 1895 году они были так же прочно устроены в Азиатской Турции, как англичане в Египте, то уж, конечно, ни о каких армянских избиениях не пришлось бы толковать.

ДАМА. Так, значит, и по-вашему, с Турцией нужно покончить, только вы вот почему-то хотите, чтобы ее съели немцы.

ПОЛИТИК. Но я потому и признал немецкую политику мудрою, что она вовсе не хочет есть таких неудобоваримых предметов; ее задача более тонкая: ввести Турцию в среду культурных наций, помочь туркам образоваться и стать

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org способными справедливо и гуманно управлять теми народами, которые по взаимной дикой вражде не в состоянии мирно управиться со своими делами.

ДАМА. Ну что вы сказки рассказываете! Отдавать христианский народ в вечное управление туркам – разве это возможно? Мне самой турки во многом нравятся, но все-таки они варвары, и последнее слово у них всегда будет насилие. А европейская цивилизация только их испортит.

ПОЛИТИК. То же самое можно было сказать и про Россию при Петре Великом, да и гораздо позднее. «Турецкие зверства» мы помним, а давно ли в России, да и в прочих странах, собственные «турецкие зверства» исчезли? «Несчастные христиане, стонущие под мусульманским игом»? Ну а те, что стонали у нас под игом дурных помещиков, – кто они были: христиане или язычники? А те солдаты, что стонали под игом шпицрутена? Однако ведь справедливым ответом на эти стоны русских христиан была только отмена крепостного права и шпицрутена, а не разрушение Российской империи. Так почему же на болгарские и армянские стоны должно непременно отвечать упразднением того государства, где эти стоны раздаются, но могут и не раздаваться?

ДАМА. Это совсем не одно и то же, когда происходят какие-нибудь безобразия внутри христианского государства, которое легко может быть преобразовано, или когда христианский народ притесняется нехристианским.

ПОЛИТИК. Невозможность преобразования Турции есть только враждебный предрассудок, который немцы стали опровергать на наших глазах, как они же в свое время способствовали устраниению предрассудка о врожденной дикости русского народа. Что же касается до ваших «христиан» и «нехристиан», то для жертв всяких зверств *la question manque d'intérêt*, [19] если с меня кто-нибудь дерет шкуру, я ведь не стану обращаться к нему с вопросом: а какого вы, милостивый государь, вероисповедания? – и я не буду нисколько утешен, если окажется, что терзающие меня люди не только весьма неприятны и неудобны для меня, но, сверх того, в качестве христиан крайне гнусны и для своего собственного Бога, над повелениями которого они глумятся. А, говоря объективно, неужели не ясно, что «христианство» Ивана IV, или Салтычихи, или Аракчеева есть не преимущество, а лишь такая глубина безнравственности, какая в других религиях даже невозможна. Вот вчера генерал рассказывал про злодейства диких курдов и, между прочим, об их чертопоклонстве упомянул. Действительно, очень дурно поджаривать на медленном огне как младенцев, так и взрослых; я готов назвать такие поступки дьявольскими. Известно, однако, что Иван IV особенно любил именно поджаривать людей на медленном огне, и даже своим посохом уголья подгребал. А он был не дикарь и не чертопоклонник, а человек острого ума и обширного по своему времени образования, притом богослов, твердый в правоверии. Да, чтоб неходить так далеко в историю, разве какой-нибудь болгарский Стамбулов или сербский Милан – турки, а не представители так называемых христианских народов? Так что же такое это ваше «христианство», как не пустая кличка, которая совсем ни за что не ручается?

ДАМА. Такие суждения хоть бы князю в уста!

ПОЛИТИК. Когда дело идет об очевидной правде, то я не только с нашим почтеннейшим князем, но и с Валаамовою ослицей готов быть в единомыслии.

Г[-н] Z. Однако ваше высокопревосходительство благоизволили принять первенствующее участие в сегодняшнем разговоре не в том, кажется, намерении, чтобы трактовать о христианстве или о библейских животных. У меня и сейчас еще звучит в ушах ваш вчерашний крик сердца: «Только религии поменьше, ради Бога, религии поменьше!» Так не благоугодно ли вам возвратиться к предмету разговора и разъяснить мне одно мое недоумение. А именно: если, как вы справедливо изволили заметить, мы должны не разрушать Турецкую империю, а «культтивировать» ее и если, с другой стороны, как вы также основательно допустили, культурным прогрессом Турции гораздо лучше нас будут заниматься – и уже занимаются – немцы, то в чем же, собственно, по-вашему, состоит особая задача русской политики в восточном вопросе?

ПОЛИТИК. В чем? Кажется, ясно, что ни в чем. Ведь под особою задачею русской политики вы разумеете такую, которая и ставилась бы, и разрешалась Россией отдельно и наперекор стремлениям всех прочих европейских наций. Но я вам скажу, что такой особой политики никогда, собственно, и не бывало. Бывали у нас некоторые уклонения в эту сторону, вот хоть в 50-х, а потом в 70-х годах, но эти печальные уклонения, составляющие именно то, что я

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org называю дурною политикою, сейчас же приносили с собою свое возмездие в виде более или менее крупных неудач. Вообще же говоря, русскую политику в восточном вопросе нельзя признать обособленною, или изолированною. Ее задача с XVI и, пожалуй, до конца XVII века состояла в том, чтобы вместе с Польшей и Австрией оборонять культурный мир от опасного в то время турецкого нашествия. Так как в этой обороне приходилось (хоть бы и без формальных союзов) действовать сообща и с поляками, и с цесарцами, и с венецианской республикой, то ясно, что это была политика общая, а не особенная какая-то. Ну, и в XIX, а тем более в наступающем XX столетии этот общий ее характер остается прежним, хотя и цель, и средства по необходимости изменились. Теперь приходится не Европу защищать от турецкого варварства, а самих турок европеизировать. Для прежней цели нужны были средства военные, для нынешней – мирные. Но сама задача-то и в первом, и во втором случае – общая для всех: как прежде, европейские нации были солидарны в интересе военной обороны, так теперь они солидарны в интересе культурного расширения.

ГЕНЕРАЛ. Однако прежняя-то военная солидарность Европы не мешала Ришелье и Людовику XIV заключать союзы с Турцией против Габсбургов.

ПОЛИТИК. Дурная бурбонская политика, которая, вместе с их бессмысленною внутреннею политикой, в свое время получила должное возмездие от истории.

ДАМА. Вы называете это историей? Кажется, прежде это называлось *régicide*.[20]

Г[-н] Z. Да ведь именно это и значит попасть в скверную историю.

ПОЛИТИК (к даме). Дело не в словах, а в том факте, что никакая политическая ошибка не проходит даром. И пусть желающие усматривают в этом что-то мистическое. Для меня его тут так же мало, как и в том, что ежели, например, я в моем возрасте и положении, вместо того чтобы есть простоквашу, начну, как молодой человек, ежедневно пить шампанское стаканами, то я непременно заболею, а ежели стану упорствовать в этом *ancien régime*,[21] то и совсем умру, подобно Бурbonам.

ДАМА. Согласитесь, что ваша политика простокваша à la longue[22] становится скучной.

ПОЛИТИК (обиженно). Если бы меня не прерывали, я давно бы уж исчерпал предмет и уступил бы слово более занимательному собеседнику.

ДАМА. Ну, не обижайтесь. Я пошутила. Напротив, по-моему, вы даже очень остроумны... для вашего возраста и положения.

ПОЛИТИК. Так я сказал, что теперь мы солидарны с прочею Европой в задаче культурного преобразования Турции и что никакой особой политики у нас тут нет и быть не может. Приходится, к сожалению, прибавить, что, вследствие нашей сравнительной отсталости в гражданском, промышленном и торговом отношениях, доля участия России в этом общем деле цивилизования Турецкой империи не может быть пока очень значительной. То первостепенное значение, которое принадлежало нашему отечеству как государству военному, не может, конечно, сейчас же оставаться за нами. Оно не дается даром, его нужно заслужить. Свою военную значительность мы заслужили не хвастливыми словами, а действительными походами и битвами; так и культурную свою значительность мы должны заслужить действительными трудами и успехами на мирных поприщах. Если турки уступали нашим военным победам, то на почве мирной цивилизации они, конечно, уступят тем, которые в этом всех сильнее. И что же нам тут делать? Та степень слабоумия, которая позволяет действительным, трудовым преимуществам немцев противопоставлять воображаемый крест на Ая-Софии, едва ли и встречается теперь где-нибудь.

ГЕНЕРАЛ. Да вот в том-то и дело, чтобы крест этот не был воображаемым.

ПОЛИТИК. Так кто же вам его материализует? А пока вы такого медиума не нашли, единственное, что требуется нашим национальным самолюбием, – в тех разумных пределах, в каких это чувство вообще допустимо, – удвоить усилия, чтобы скорее догнать другие нации, в чем мы от них отстали, и наверстать время и силы, потерянные на разные славянские комитеты и прочие вредные пустяки. Притом если в Турции мы пока бессильны, то нам можно уже теперь играть первостепенную культурную роль в Средней Азии и особенно на дальнем

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Востоке, куда, по-видимому, всемирная история переносит свой центр тяжести. По географическому положению и другим условиям Россия может здесь сделать больше, чем все другие нации, за исключением, конечно, Англии. Значит, задача нашей политики с этой стороны состоит в постоянном и искреннем соглашении с англичанами, чтобы наше культурное сотрудничество с ними никогда не превращалось в бессмысленную вражду и недостойное соперничество.

Г[-н] Z. К несчастью, такое превращение и у людей, и у народов всегда происходит как будто роковым образом.

ПОЛИТИК. Да, это бывает. Однако, с другой стороны, ни в жизни людей, ни в жизни народов я не знаю ни одного случая, чтобы враждебное и завистливое отношение к своим сотрудникам в общей работе делало кого-нибудь сильнее, богаче или счастливее. Этот всеобщий опыт, из которого нет ни одного исключения, принимается к сведению людьми умными, и я думаю, что им наконец воспользуется и такой умный народ, как русский. Враждовать с англичанами на дальнем Востоке – ведь это было бы верхом безумия, не говоря о том, что и неприлично поднимать домашние свары перед чужими. Или вы, может быть, думаете, что мы более свои желтолицым китайцам, нежели соотечественникам Шекспира и Байрона?

Г[-н] Z. Ну, это вопрос щекотливый.

ПОЛИТИК. Так оставим его пока. Но вы обратите внимание вот на что. Если стать на мою точку зрения и признать, что в настоящее время политика России должна иметь только две задачи: во-первых, поддержание европейского мира, так как всякая европейская война на теперешней ступени исторического развития была бы безумным и преступным междуусобием, а во-вторых, культурное воздействие на варварские народы, находящиеся в сфере нашего влияния, – то обе эти задачи, помимо внутреннего своего достоинства, удивительным образом поддерживают друг друга, взаимно обуславливая свое существование. Ясно в самом деле, что, добросовестно трудясь над культурным прогрессом варварских государств, в чем заинтересована и прочая Европа, мы стягиваем узы солидарности между нами и другими европейскими нациями, а укрепление этого европейского единства в свою очередь усиливает наше действие на варварские народы, отнимая у них самую мысль о возможности сопротивления. Вы думаете, если бы желтый человек знал, что за Россией стоит Европа, был бы нам в Азии какой-нибудь запрет? Ну а если бы он, наоборот, увидел, что Европа стоит не за Россией, а против России, то он, конечно, и о вооруженном нападении на нашу границу стал бы подумывать, и нам пришлось бы обороняться на два фронта на расстоянии десять тысяч верст. Я не верю в пугало монгольского нашествия, потому что не допускаю возможности европейской войны, а при ней, конечно, и монголов пришлось бы бояться.

ГЕНЕРАЛ. Вот вам европейская война и нашествие монголов кажутся такою невероятностью, а мне в вашу «солидарность европейских наций» и в наступающий «мир всего мира» совсем не верится. Ненатурально это, неправдоподобно как-то. Ведь недаром о Рождестве в церквях поется: «На земле мир, в человеческом благоволение». Это значит, что мир на земле будет только тогда, когда между людьми будет благоволение. Ну а где же оно? Видели вы его, что ли? Ведь, правду сказать, и мы с вами искреннее-то, настоящее благоволение только к одной европейской державе и чувствуем – к княжеству Монако. С ним у нас и мир ненарушимый. Ну а чтобы немцев или англичан прямо-таки своими считать и в душе чувствовать, что вот их польза – наша польза, их удовольствие – наше удовольствие, – такой, как вы это называете, «солидарности» с европейскими нациями у нас, наверно, никогда не будет.

ПОЛИТИК. Как же это не будет, когда уже есть, когда она лежит в природе вещей? Мы солидарны с европейцами по той весьма простой причине, что мы сами европейцы. Это с XVIII века est un fait accompli,[23] и ни дикость народных масс в России, ни печальные химеры славянофилов этого уже не переменят.

ГЕНЕРАЛ. Ну а европейцы-то между собою солидарны, французы с немцами, например, англичане и с теми, и с другими? Слышно, что даже шведы с норвежцами свою солидарность где-то потеряли!

ПОЛИТИК. Какой сильный, по-видимому, аргумент! Жаль только, что вся его сила держится одним дефективным основанием – забвением исторического

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
положения. А я вас спрошу: была бы солидарна Москва с Новгородом при Иване III или при Иване IV? Так что ж, вы станете отрицать и теперешнюю солидарность Московской и Новгородской губерний в общих государственных интересах?

ГЕНЕРАЛ. Нет, я скажу только: подождемте объявлять себя европейцами хоть до того исторического момента, когда европейские нации будут так же крепко сплочены между собою, как сплотились наши области в государстве Российском. А то не разрываться же нам на части в своей солидарности с европейцами, когда они между собою на ножах.

ПОЛИТИК. Ну уж и на ножах! Будьте покойны! Не только между Швецией и Норвегией, но даже между Францией и Германией вам не придется разрываться на части, потому что до разрыва они и между собою не дойдут. Теперь уж, кажется, это ясно. Ведь это у нас только многие принимают за Францию ничтожную группу авантюристов, которых можно и должно засадить в острог: пусть они там свой национализм проявляют и войну с Германией проповедуют.

ДАМА. Это было бы очень хорошо, если бы всю национальную вражду можно было посадить в острог. Только я думаю, что вы ошибаетесь.

ПОЛИТИК. Ну конечно, я это сказал *cum grano salis*.^[24] Конечно, Европа на видимой поверхности еще не сплотилась в одно целое. Но я стою за свою историческую аналогию. Как у нас, например, в XVI веке хотя сепаратизм областей еще существовал, но уже был при последнем издыхании, а государственное единство далеко не было одною мечтою, а действительно складывалось в определенные формы, так и теперь в Европе хотя национальный антагонизм еще и существует, особенно среди необразованных масс и малообразованных политиков, но бессилен перейти в какое-нибудь значительное действие: европейской войны ему не вызвать, нет! А что вы, генерал, говорите насчет благоволения, так, правду сказать, я его не только между народами, но и внутри отдельной нации и даже отдельных семей мало что-то замечаю. Когда и есть, так до первой кости. Что ж отсюда следует? Не есть же это резон для междуусобной войны и для братоубийства? Так и в интернациональном отношении. Пусть французы и немцы не благоволят друг к другу, лишь бы драки между ними не было. Уверен, что и не будет.

Г[-н] Z. Это весьма вероятно. Но если и признать Европу за одно целое, то из этого, конечно, не следует, чтобы мы-то были европейцами. Вы знаете, существует у нас и довольно распространился в два последние десятилетия такой взгляд, что Европа, то есть совокупность германо-романских народов, есть действительно один солидарный в себе культурно-исторический тип, но что мы-то к нему не принадлежим, а составляем свой особый греко-славянский.

ПОЛИТИК. Слыхал я про эту варьацию славянофильства и даже случалось разговаривать с приверженцами этого взгляда. И вот что я заметил, и это, по-моему, решает вопрос. Дело в том, что все эти господа, перорирующие против Европы и нашего европеизма, никак не могут удержаться на точке зрения нашей греко-славянской самобытности, а сейчас же с головой уходят в исповедание и проповедания какого-то китаизма, буддизма, тибетизма и всякой индийско-монгольской азиатчины. Их отчуждению от Европы прямо пропорционально их тяготение к Азии. Что же это такое? Допустим, что они правы насчет европеизма. Пусть это - крайнее заблуждение. Но откуда же для них такое роковое впадение в противоположную-то крайность, в азиатизм-то этот самый? А? И куда же испарилась у них греко-славянская, православная середина? Нет, я вас спрашиваю, куда она испарилась? А? А ведь в ней-то, казалось бы, самая суть? А? То-то вот оно и есть! Гони природу в дверь, она влетит в окно. А природа-то здесь в том, что никакого самобытного греко-славянского культурно-исторического типа вовсе не существует, а была, есть и будет Россия как великая окраина Европы в сторону Азии. При таком своем окраинном положении отечество наше, естественно, гораздо более прочих европейских стран испытывает воздействие азиатского элемента, в чем и состоит вся наша мнимая самобытность. Ведь и Византия не чем-нибудь своим, а тоже лишь примесью азиатского быта оригинальна, ну а у нас изначала, а особенно со временем Батыя, азиатский элемент в природу вошел, второю душою сделался, так что немцы могли бы про нас со вздохом сказать:

Zwei Seelen wohnen, ach! in ihrer Brust
Die eine will sich von der andern trennen.^[25]

Совсем отделаться от своей второй души нам невозможно, да и не нужно, - мы ведь и ей тоже кое-чем обязаны, - но, чтобы в такой коллизии не разорваться

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
нам на части, как говорит генерал, необходимо было, чтобы решительно одолела и возобладала одна душа, и, разумеется, лучшая, то есть умственно более сильная, более способная к дальнейшему прогрессу, более богатая внутренними возможностями. Так оно и вышло при Петре Великом. А неистребимое, хотя окончательно осиленное душевное сродство наше с Азией и после того вводило некоторые умы в бессмысленные мечтания о каком-то химерическом перерешении бесповоротно решенного исторического вопроса. Отсюда славянофильство, теория самобытного культурно-исторического типа и все такое. На самом же деле мы бесповоротные европейцы, только с азиатским осадком на дне души. Для меня это даже, так сказать, грамматически ясно. Что такое русские – в грамматическом смысле? Имя прилагательное. Ну а к какому же существительному это прилагательное относится?

ДАМА. Я думаю, к существительному человек: русский человек, русские люди.

ПОЛИТИК. Нет, это слишком широко и неопределенно. Ведь и папуасы, и эскимосы – люди; но я не согласен считать своим существительным то, что у меня общее с папуасом и эскимосом.

ДАМА. Однако есть очень важные вещи, которые общи всем людям: например, любовь.

ПОЛИТИК. Ну, это еще шире: как могу я признать своею специфическою сущностью любовь, когда я знаю, что она свойственна и прочим животным, и даже всякой твари?

Г[-н] Z. Да, дело сложное. Я вот человек кроткий, так в любви я гораздо более солидарен с каким-нибудь белым или сизым голубем, нежели с черным мавром Отелло, хоть и он тоже человеком называется.

ГЕНЕРАЛ. Ну, в известном возрасте всякий благоразумный мужчина солидарен с белыми голубями.

ДАМА. Это еще что такое?

ГЕНЕРАЛ. Это каламбур не для вас, а для нас с его высокопревосходительством.

ПОЛИТИК. Оставим это, прошу вас, оставим. *Trêve de plaisanteries*.^[26] Мы ведь здесь не на сцене Михайловского театра. – Я хотел сказать, что настоящее существительное к прилагательному русский есть европеец. Мы русские европейцы, как есть европейцы английские, французские, немецкие. Если я чувствую себя европейцем, то не глупо ли мне доказывать, что я какой-то славяно-ross или греко-славянин? Я так же неоспоримо знаю, что я европеец, как и то, что я русский. Я могу и, пожалуй, должен жалеть и беречь всякого человека, как и всякое животное, – блажен муж иже и скоты милует; но признавать себя солидарным, с в о и м я буду не с какими-нибудь зулусами или китайцами, а только с нациями и людьми, создавшими и хранившими все те сокровища высшей культуры, которыми я духовно питаюсь, которые доставляют мне лучшие наслаждения. Прежде всего нужно было, чтобы эти избранные нации сложились, и окрепли, и устояли против низших элементов, нужна была война, и война была дело святое. Теперь они сложились, окрепли, и им нечего бояться, кроме междуусобных раздоров. Теперь наступает эпоха мира и мирного распространения европейской культуры повсюду. Все должны стать европейцами. Понятие европейца должно совпасть с понятием человека, и понятие европейского культурного мира – с понятием человечества. В этом смысл истории. Сначала были только греческие, потом римские европейцы, затем явились всякие другие, сначала на Западе, потом и на Востоке, явились русские европейцы, там, за океаном, – европейцы американские, теперь должны появиться турецкие, персидские, индийские, японские, даже, может быть, китайские. Европеец – это понятие с определенным содержанием и с расширяющимся объемом. Заметьте притом, какая разница: всякий человек есть такой же человек, как и всякий другой. Поэтому если мы своим существительным признаем это отвлеченнное понятие, то мы должны прийти к эгалитарной безразличности и нацию Ньютона и Шекспира ценить не больше, чем каких-нибудь папуасов. Это прежде всего нелепо, а на практике и пагубно. Ну а если мое существительное – не человек вообще, не это пустое место с двумя ногами, а человек как носитель культуры, то есть европеец, то для нелепой эгалитарности тут нет места. Понятие европеец, или, что то же, понятие культура, содержит в себе твердое мерило для определения сравнительного достоинства или ценности различных рас, наций,

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
индивидуов. Эти различия оценок здравая политика непременно должна принимать в расчет. Иначе, если мы будем ставить на одну доску сравнительно культурную Австрию и каких-нибудь полутих герцоговинцев, это как раз приведет нас к тем нелепым и опасным авантюрам, по которым еще вздыхают последние могиканы нашего славянофильства. *Il y a européen et européen.* [27] даже после наступления того желанного и, надеюсь, близкого часа, когда Европа или культурный мир действительно совпадет по объему со всем населением земного шара, в объединенном и умиротворенном человечестве останутся все те натуральные и закрепленные историей градации и нюансы культурной ценности, которыми должны определяться наши различные отношения к различным народам. И в торжествующем, всеобъемлющем царстве высшей культуры, все равно как и в царстве небесном, — ина слава солнцу, ина слава луне, ина слава звездам, звезда бо от звезды разнствует во славе, — так ведь, кажется, в катехизисе? А? Ну а теперь, когда цель хотя близка, но еще не достигнута, тем более нужно беречься от ошибок безразличной эгалитарности. Вот нынче в газетах стали писать о какой-то распре между Англией и Трансваалем и что будто бы эти африканцы даже войною Англии грозятся, [28] — так уж я теперь вижу, как разные газетчики и политики и у нас, да, пожалуй, на всем континенте, против Англии ополчатся и за бедных этих угнетенных африканцев распинаться будут. А ведь это все равно как если бы на почтеннейшего, заслуженного, всем известного и образованнейшего Федора Федоровича Мартенса, зашедшего по своим делам в соседнюю лавочку, чумазый подросток-сиделец вдруг с кулаками полез: «Лавочка, мол, наша, ты здесь лишний, и, если не уйдешь, я тебя задушу или зарежу», — а там и душить стал. Можно было бы, конечно, пожалеть, что почтенному Федору Федоровичу пришлось в такую нелепую историю попасть, но уж раз это случилось, я бы испытал только чувство нравственного удовлетворения, если бы мой досточтимый друг, надававши бояну хороших тумаков, сдал бы его через полицию в исправительный приют для малолетних преступников. А вместо того разные прилично одетые господа вдруг начинают поощрять и подзадоривать мальчугана: «Молодец! Такой маленький и на такого крупного господина напал! Валяй во всю, голубчик, не выдадим!» Что за безобразие! И еще если бы у этих африканских чумаков и скотоводов достало ума себя по кровному родству прямо за голландцев признать. Голландия — настоящая нация, заслуженная, высококультурная. Куда тут! Они себя самих за особую нацию считают, собственное африканское отчество создают. Ах, каналы!

ДАМА. Во-первых, не бранитесь, а, во-вторых, растолкуйте мне, что это за Трансвааль такой, какие люди там обитают?

Г[-н] З. Там обитает помесь европейцев и негров: они не белы и не черны, а буры.

ДАМА. Это опять, кажется, каламбур?

ПОЛИТИК. И невысокого сорта.

Г[-н] З. Каковы буры, таковы и каламбуры. Впрочем, если этот цвет вам не нравится, там есть еще Оранжевая республика.

ПОЛИТИК. Говоря серьезно, эти буры, конечно, европейцы, но плохие. Отчужденные от своей славной метрополии, они в значительной степени потеряли и свою культурность; окруженные дикарями, сами одичали, загрубели, и ставить их на одну доску с англичанами и даже доходить до того, чтобы желать им успеха в борьбе с Англией, — *cela n'a pas de nom!* [29]

ДАМА. А ведь ваши же европейцы сочувствовали кавказским горцам, когда они воевали с нами за свою независимость. А Россия все-таки гораздо культурнее черкесов.

ПОЛИТИК. Чтобы не распространяться о мотивах этого сочувствия Европы кавказским дикарям, скажу только, что нам должно ассимилировать себе общий европейский ум, а не случайные глупости тех или других европейцев. — Нет, я, конечно, от всей души сожалею, что Англии, как видно, придется для усмирения этих зазнавшихся варваров употребить такое отжившее, осужденное историческим разумом средство, как война. Но если уж она окажется неизбежно вследствие дикости этих зулусов, я хотел сказать — буров, поощряемой неразумною зависимостью континента к Англии, то, разумеется, я буду горячо желать, чтобы эта война поскорее кончилась полным усмирением африканских бояндов, так чтобы про их независимость больше и помину не было. А их успех — тоже возможный по отдаленности тех стран — был бы торжеством

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
варварства над образованностью, и для меня как русского, то есть европейца, это был бы день глубокого национального траура.

Г[-н] Z (тихо к генералу). Ах, хорошо говорят сановники, совсем как тот француз: *ce sabre d'honneur est le plus beau jour de ma vie.* [30]

ДАМА (к политику). Нет, я не согласна. И почему не сочувствовать этим трансбурам? Ведь мы же Вильгельму Теллю сочувствуем.

ПОЛИТИК. Да, вот если бы они свою поэтическую легенду создали, таких художников, как Шиллер и Россини, вдохновили и сами у себя какого-нибудь вроде Жан-Жака Руссо или других писателей и ученых произвели, тогда другой был бы о них и разговор.

ДАМА. Да ведь это все потом вышло, а сначала и швейцарцы ведь тоже пастухи были... Да и кроме них разве американцы когда за независимость против англичан бунтовали, чем-нибудь в образованности отличались? Нет, они были хоть не буры, а краснокожи и волосы с кожей сдирали - у Майн Рида. А ведь им и Лафайет сочувствовал, и был прав, потому что они вот теперь взяли да в Чикаго все религии соединили и выставку из них сделали, чего еще никто никогда не видывал. Вот ведь в Париже хотели для будущей выставки таким же способом все религии собрать, однако ничего не вышло. Очень там старался аббат один, Виктор Шарбоннель. Он и ко мне несколько писем писал - такой симпатичный. Но только все веры отказались. Даже великий раввин объявил: «Для религии у нас есть Библия, а выставка тут ни к чему». Бедный Шарбоннель с отчаяния от Христа отрекся и в газетах напечатал, что он выходит в отставку и очень уважает Ренана. И кончил он, мне писали, совсем как-то нехорошо: не то женился, не то спился. Потом наш Неплюев тоже хлопотал, но и он во всех религиях разочаровался. Он мне писал - такой идеалист, - что полагается на единое только человечество. Но как же единое человечество на выставке в Париже показывать? Я думаю, это фантазия. А вот американцы прекрасно свое дело устроили. Ото всех вер к ним духовные лица приехали. Епископа католического председателем сделали. Он им Отче наш по-английски прочел, а буддийские и китайские жрецы-идолопоклонники учтиво ему отвечают: «Oh yes! All right, Sir!» [31] Мы никому зла не желаем и только об одном просим: чтобы ваши миссионеры уехали от нас куда-нибудь подальше. Потому что ваша религия чрезвычайно как хороша для вас, и, что вы ее исполняете, мы в этом не виноваты, а для нас наша религия всех лучше». И так благополучно все кончилось, ни одной драки не было, все удивлялись. Вот каковы американцы теперь стали. А почем знать, может быть, и из этих нынешних африканцев такие же американцы потом выйдут.

ПОЛИТИК. Конечно, все возможно. И из какого-нибудь гавроша может великий ученый выйти. Но до тех пор все-таки для его собственной пользы не мешает его хорошенько выпороть...

ДАМА. Какие выражения! *Décidément vous vous encanaillez.* И все это из Монте-Карло! Qui est ce que vous fréquentez là bas? Les familles des croupiers sans doute. [32] Впрочем, это ваше дело. А я бы только просила вас сократить вашу политическую мудрость, а то людей с обедом задерживаете. давно пора кончить.

ПОЛИТИК. Да я и хотел резюмировать и свести конец речи с ее началом.

ДАМА. Не верю! Никогда сами не кончите. Нужно, чтобы я вам помогла растолковать вашу мысль. Вы ведь хотели сказать, что времена переменились, что прежде был Бог и война, а теперь вместо Бога - культура и мир. Так ведь?

ПОЛИТИК. Пожалуй, приблизительно так.

ДАМА. Вот и отлично. Что такое Бог - я хоть и не знаю, и объяснить не могу, но чувствую. А насчет этой вашей культуры у меня и чувства никакого нет. Так вот вы мне объясните двумя словами, что это такое?

ПОЛИТИК. Из чего состоит культура, что в ней содержится, - это вы и сами знаете: все те сокровища мысли и гения, которые создавались избранными умами избранных народов.

ДАМА. Да ведь это все не одно, а совсем разное. Тут и Вольтер, и Боссюэ, и Мадонна, и Нана, и Альфред Мюссэ, и Филарет. Как же это все в одну кучу

ПОЛИТИК. Да я и хотел сказать, что о культуре в смысле исторической сокровищницы нам нет заботы. Она создана, существует, и слава Богу. Можно, пожалуй, надеяться, что еще будут новые Шекспиры и Ньютоны, но это не в нашей власти и практического интереса не представляет. Между тем есть в культуре другая сторона, практическая, или, если хотите, нравственная, и это есть именно то, что в частной жизни мы называем вежливостью или учтивостью. Это может казаться маловажным на поверхностный взгляд, но оно имеет огромное и единственное значение именно потому, что оно одно может быть всеобщим и обязательным: нельзя ни от кого требовать ни высшей добродетели, ни высшего ума или гения, но можно и должно требовать от всех учтивости. Это есть тот минимум рассудительности и нравственности, благодаря которому люди могут жить по-человечески. Конечно, вежливость не есть вся культура, но она есть необходимое условие всякой культурности, все равно как грамотность, хотя не исчерпывает умственного образования, но есть его необходимое условие. Вежливость есть культурность а *l'usage de tout le monde*.[33] И вот мы видим в самом деле, что она все более из частных отношений между людьми одного класса распространяется на социальные – между различными классами – и на политические, или международные. Мы помним еще в своем детстве, как люди нашего класса могли быть невежливы с простолюдинами, ну а теперь обязательная, а то и принудительная вежливость эту сословную границу перешагнула и вот готова перешагнуть и границы интернациональные.

ДАМА. Ах, пожалуйста, говорите короче. Вы ведь к тому ведете, что мирная политика то же самое между государствами, что вежливость между людьми.

ПОЛИТИК. Конечно, недаром по-французски *politesse* и *politique*[34] в ближайшем родстве. И заметьте, что для этого вовсе не требуется никаких чувств, никакого этого благоволения, о котором напрасно помянул генерал. Если я на кого-нибудь не бросаюсь и не грызу его голову зубами, то ведь это не значит, чтобы я имел к нему какое-то благоволение. Напротив, я могу питать к нему в своей душе самые злобные чувства, но, как человеку культурному, мне такая грызня прямо гадка, а главное, я понимаю, что ничего, кроме гадостей, из нее и выйти не может, а ежели я от нее воздержусь и обойдусь с этим человеком учтиво, то ничего не потеряю и много выиграю. Точно так же, каковы бы ни были национальные антипатии между двумя народами, на известной степени культуры они никогда не дойдут до *voies de fait*,[35] то есть до войны, во-первых, потому, что самая процедура войны – не так, как она в стихах и на картинах изображается, а как она в действительности существует – все эти мертвые тела, зловонные раны, скопления множества грубых и грязных людей, прекращение нормального порядка жизни, разрушение полезных зданий и учреждений, мостов, железных дорог, телеграфов – все это безобразие культурному народу прямо противно, как нам с вами противны выбитые глаза, свороченные скулы или открученные носы; а во-вторых, на известной степени умственного развития народ понимает, как выгодно быть учтивым с другими нациями и как убыточно с ними драться. Тут, конечно, множество градаций: кулак культурнее зубов, палка культурнее кулака, а символическая пощечина еще культурнее, – точно так же и войны вести можно более или менее диким образом, и европейские войны XIX века более похожи на формально обусловленную дуэль двух порядочных людей, нежели на драку двух пьяных мастеровых, но и это – только переходная ступень. Заметьте, что и дуэль у передовых наций выходит из употребления. Тогда как отсталая Россия оплакивает двух своих лучших поэтов, погибших на поединке, в более культурной Франции дуэль уже давно превратилась в бескровную жертву дурной и мертвой традиции. *Quand on est mort c'est qu'on n'est plus en vie*,[36] сказал бы Г[-н] Де ла Палисс, и, наверное, мы с вами увидим, как дуэль вместе с войною будут навеки похоронены в архиве истории. Тут компромисс не может быть продолжительным. Настоящая культура требует, чтобы всякая драка между людьми и между нациями была вовсе упразднена. Во всяком случае мирная политика есть мерилом и симптомом культурного прогресса. И вот почему, при всем желании быть угодным почтеннейшему генералу, я все-таки остаюсь при своем заявлении, что литературная агитация против войны есть явление весьма отрадное. Она не только предваряет, но и ускоряет окончательное решение назревшей задачи. При всех своих странностях и увлечениях эта проповедь важна тем, что подчеркивает в общественном сознании главную, так сказать магистральную, линию исторического прогресса. Мирное, то есть вежливое, то есть для всех выгодное, уложение всех международных отношений и столкновений – вот незыблемая норма здравой политики в культурном человечестве. – А? (К Г[-ну] З.) Вы что-то хотите

Г[-н] Z. Нет, я насчет того, что вы перед этим изволили заметить, что мирная политика есть симптом прогресса, – так я вспомнил, что в Тургеневском дыме одна особа тоже совершенно правильно говорит: «Прогресс – это симптом!» Так не выйдет ли, что мирная политика есть симптом симптома?

ПОЛИТИК. Да. Так что же? Конечно, все относительно. Но в чем же, собственно, ваша мысль?

Г[-н] Z. Да в том, что ежели мирная политика есть только тень тени, то стоит ли об ней так много толковать? И о ней, и обо всем этом теневом прогрессе? Не лучше ли прямо сказать человечеству то, что отец Варсонофий говорил той благочестивой dame: «Ты стара, ты слаба и никогда лучше не будешь».

ДАМА. Ну, об этом теперь уже поздно. (К политику.) Но заметьте, как подшутила над вами ваша *politique* – *politesse*.

ПОЛИТИК. Что такое?

ДАМА. А то, что в Монте-Карло или *par euphémisme*[37] в Ниццу вы завтра не поедете.

ПОЛИТИК. Это почему?

ДАМА. А потому, что эти господа хотят вам возражать, но вы говорили с такою *prolixité*,[38] что для них времени не оставили, и их возражения нужно отложить на завтра. Но неужели, когда тут культурные люди будут опровергать ваши тезы, вы будете в Монте-Карло предаваться более или менее запрещенным наслаждениям в обществе необразованных крупье и их семейств? Ведь это был бы *comble*[39] неучтивости. Где же тогда ваш «обязательный минимум нравственности»?

ПОЛИТИК. Ну, если так уж вышло, я могу отложить на один день свою поездку в Ниццу. Мне и самому будет любопытно послушать, что можно сказать против моих аксиом.

ДАМА. Отлично. А теперь, я думаю, все ужасно голодны и, если бы не наша «культурность», давно бы уже бросились в столовую.

ПОЛИТИК. *Il me semble du reste que la culture et l'art culinaire se marient très bien ensemble.*[40]

ДАМА. Ой, ой! Зажимаю уши.

И тут мы все, обмениваясь сомнительными остротами, поспешили вслед за хозяйкой к обеденному столу.

РАЗГОВОР ТРЕТИЙ

Audiatur et tertia pars[41]

На этот раз по общему желанию мы собирались в саду раньше обыкновенного, чтобы не торопиться с окончанием разговора. Все были почему-то в более серьезном настроении, чем вчера.

ПОЛИТИК (к Г[-ну] Z). Вы, кажется, хотели что-то возразить или заметить на то, что я давеча говорил?

Г[-н] Z. Да, это насчет вашего определения, что мирная политика есть симптом прогресса, – я еще вспомнил слова одной особы в Тургеневском дыме, что «прогресс – это симптом». Я не знаю, что именно под этим разумела Тургеневская особа, но ведь прямой смысл этих слов совершенно верен. Прогресс действительно есть симптом.

ПОЛИТИК. Чего?

Г[-н] Z. Приятно с умными людьми разговаривать. Именно к этому вопросу я и вел речь. Я думаю, что прогресс, то есть заметный, ускоренный прогресс, есть всегда симптом конца.

ПОЛИТИК. Я понимаю, что если дело идет, например, о прогрессивном параличе, то это есть симптом конца. Но почему же прогресс культуры или культурности непременно должен быть симптомом конца?

Г[-н] Z. Да, это не так очевидно, как в случае паралича, однако это так.

ПОЛИТИК. Что вы в этом уверены – это ясно, но для меня не ясно даже, в чем, собственно, вы уверены. И, во-первых, ободренный вашей похвалой, я и тут возобновлю свой простой вопрос, который вам показался умным. Вы говорите «симптом конца». Конца чего – я спрашиваю.

Г[-н] Z. Да конца того, о чём у нас была речь. Ведь мы толковали об истории человечества, о том историческом «процессе», который несомненно стал идти ускоренным темпом и, как я убежден, приближается к своей развязке.

ДАМА. C'est la fin du monde, n'est ce pas? [42] Это очень любопытно.

ГЕНЕРАЛ. Вот наконец до самого интересного добрались.

КНЯЗЬ. Вероятно, вы и антихриста не оставите без внимания?

Г[-н] Z. Конечно, – ему первое место.

КНЯЗЬ (к даме). Извините, пожалуйста, у меня ужасно много дел совсем неотложных, так что, при всем желании послушать о таких интереснейших вещах, я должен отправиться к себе.

ГЕНЕРАЛ. Как? А винт?

ПОЛИТИК. Я еще третьего дня предчувствовал, что будет какое-нибудь злодейство. Уж раз религия замешалась, не жди добра.

Tantum religio potuit suadere malorum. [43]

КНЯЗЬ. Никакого злодейства не будет – я постараюсь вернуться в девять часов, а теперь решительно некогда.

ДАМА. Но почему такая внезапность? Почему вы не предупредили об этих важных делах? Не верю! Признайтесь, что это антихрист вас вдруг спугнул.

КНЯЗЬ. Я вчера так много наслушался, что учтивость есть самое первое дело, что под этим внушением решил сказать неправду ради учтивости. Теперь вижу, что это очень дурно, и скажу прямо, что хотя у меня действительно много важных дел, но что я ухожу от этого разговора главным образом потому, что считаю непозволительным тратить свое время на рассуждения о таких вещах, которые могут иметь значение разве для папуасов каких-нибудь.

ПОЛИТИК. Ваш тяжкий грех излишней учтивости, кажется, теперь искуплен.

ДАМА. И зачем сердиться? Если мы глупы, просветите нас. Вот я, право, не сержусь, что вы и меня папуаской назвали, – ведь и у папуасов могут быть верные понятия. Бог умудряет младенцев. Но если вам трудно слушать про антихриста, так вот на чем помиримся. Ваша вилла ведь два шага отсюда. Ступайте теперь заниматься, а к концу разговора приходите – после антихриста.

КНЯЗЬ. Хорошо, приду.

(Когда князь отошел от беседующих) ГЕНЕРАЛ (смеясь, заметил). Знает кошка, чье мясо съела!

ДАМА. Как, вы думаете, что наш князь – антихрист?

ГЕНЕРАЛ. Ну, не лично, не он лично: далеко кулику до Петрова дня! А все-таки на той линии. Как еще и у Иоанна Богослова в писании сказано: вы слышали, детушки, что придет антихрист, а теперь много антихристов. Так вот из этих многих, из многих-то...

ДАМА. Во «многие», пожалуй, и нечаянно попадешь. С него Бог не взыщет, его с толку сбили. Он знает, что своего пороху ему не выдумать, а в модном

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
мундире ходить – все-таки почет, будто в гвардию попасть из армейских.
Большому генералу это все равно, а для маленького офицера лестно.

ПОЛИТИК. Это психология верная. Но я все-таки не понимаю, почему он рассердился насчет антихриста. Вот я, например, ни во что мистическое не верю, так оно меня и не сердит, а скорей интересует с точки зрения общечеловеческой. Я ведь знаю, что для многих это дело серьезное; значит, здесь выражается какая-то сторона человеческой природы, которая у меня атрофирована, что ли, но сохраняет свой объективный интерес и для меня. Я вот, например, совсем плох к живописи: и сам ничего не нарисую – даже прямой линии или круга, да и у живописцев не разберу, что хорошо написано, что дурно. Но я и вопросами живописи интересуюсь на почве общеобразовательной и общеэстетической.

ДАМА. На такое безобидное дело нельзя сердиться, а вот религию вы же сами ненавидите и только что привели какое-то латинское ругательство против нее.

ПОЛИТИК. Ну уж и ругательство! Я, как и мой любимый поэт Лукреций, упрекаю религию за кровавые алтари и за вопли человеческих жертв. Отголосок этой кровожадности слышится мне и в мрачно нетерпимых заявлениях покинувшего нас собеседника. А религиозные идеи сами по себе меня очень интересуют, вот, между прочим, и эта идея «антихриста». К сожалению, пришлось об этом предмете прочесть только книгу Ренана, а тот берет дело лишь со стороны исторической учености и все к Нерону сводит. Но этого мало. Ведь идея антихриста была гораздо раньше Нерона у евреев – по поводу царя Антиоха Епифана – и осталась до сих пор у наших раскольников, например. Тут есть какая-то общая мысль.

ГЕНЕРАЛ. Да, хорошо вашему высокопревосходительству о таких вещах рассуждать при ваших-то досугах, – ну а вот бедный князь так поглощен делами евангельской проповеди, что где уж ему о Христе или об антихристе поразмыслять: даже для винта и то не более трех часов в день остается. Человек без фальши, нужно отдать ему справедливость.

ДАМА. Нет, вы к нему слишком строги. Конечно, они все какие-то изломанные, но зато и несчастные такие: нет в них никакой веселости, никакого довольства и благодушия. А ведь в Писании где-то сказано, что христианство есть радость о Духе Святе.

ГЕНЕРАЛ. Положение в самом деле тяжелое: духа Христова не имея, выдавать себя за самых настоящих христиан.

Г[-н] Z. За христиан по преимуществу при отсутствии именно того, что составляет преимущество христианства.

ГЕНЕРАЛ. Но мне думается, что это печальное положение и есть именно положение антихристово, которое для более умных или чутких отягощается сознанием, что ведь в конце концов кривая не вывезет.

Г[-н] Z. Во всяком случае несомненно, что то антихристианство, которое по библейскому воззрению – и ветхозаветному, и новозаветному – обозначает собой последний акт исторической трагедии, что оно будет не простое неверие, или отрижение христианства, или материализм и тому подобное, а что это будет религиозное самозванство, когда имя Христово присвоят себе такие силы в человечестве, которые на деле и по существу чужды и прямо враждебны Христу и Духу Его.

ГЕНЕРАЛ. Ну конечно, дьявол не был бы и дьяволом, если бы в открытую играл!

ПОЛИТИК. Я боюсь, однако, как бы все христиане не оказались самозванцами и, значит, по-вашему, антихристами. Исключение составят разве только бессознательные народные массы, насколько такие еще существуют в христианском мире, да немногие отдельные оригиналы вроде вас, господа. А уж во всяком случае к «антихристам» следует отнести тех людей – и здесь, во Франции, и у нас, – что особенно хлопочут о христианстве, делают из него свое специальное занятие и из христианского имени какую-то свою монополию или привилегию. Такие люди в настоящее время принадлежат к одному из двух разрядов, одинаково чуждых, я надеюсь, духу Христову. Или это живодеры какие-то оголтелые, что сейчас готовы инквизицию восстановить и религиозные массакры устроить – вроде тех «благочестивых» аббатов и «бравых» «католических» офицеров, что выражали недавно свои лучшие чувства по случаю

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
какого-то попавшегося мошенника,[44] или это новые постники и безбрачники,
что открыли добродетель и совесть, как Америку какую-то, а при этом
потеряли внутреннюю правдивость и всякий здравый смысл. От первых
нравственная тошнота делается, а от вторых и физическая зевота одолевает.

ГЕНЕРАЛ. Да. И в давние времена христианство кому было непонятно, кому
ненавистно; но сделать его отвратительным и смертельно скучным – это лишь
теперь удалось. Воображаю, как дьявол себе руки потирал и за живот хватался
при таком успехе. Ах ты, Господи!

ДАМА. Так что ж, это и есть антихрист, по-вашему?

Г[-н] Z. Ну, нет. Некоторые пояснительные намеки на его существо тут даны,
а сам-то еще впереди.

ДАМА. Так разъясните же, как можно проще, в чем тут дело?

Г[-н] Z. Ну, за простоту не могу ручаться. На истинную простоту не сразу
попадешь, а мнимая простота, искусственная, фальшивая – нет ничего хуже ее.
Есть старинное изречение, которое любил повторять один мой умерший
 приятель: многая простота удобопревратна.

ДАМА. Ну, и это не совсем просто.

ГЕНЕРАЛ. Это, вероятно, то же, что и в народной пословице: иная простота
хуже воровства.

Г[-н] Z. Это самое.

ДАМА. Теперь и я понимаю.

Г[-н] Z. Жаль только, что всего антихриста на одних пословицах не
объяснишь.

ДАМА. Ну, объясняйте, как знаете.

Г[-н] Z. Прежде всего скажите мне, признаете ли вы существование и силу зла
в мире?

ДАМА. Не хотелось бы признавать, да приходится поневоле. Одна смерть чего
стоит: уж от этого-то зла не уйдешь. Верю, что «последний враг истребится
смерть», – ну а пока не истребился, ясно, что зло не только сильно, но и
сильнее добра.

Г[-н] Z (к генералу). А вы как думаете?

ГЕНЕРАЛ. Я перед пулями и ядрами глаз не закрывал, так и на более тонкие
вопросы жмуриться не стану. Конечно, зло так же реально существует, как и
добро. Есть Бог, есть и дьявол, – разумеется, пока его Бог терпит.

ПОЛИТИК. Ну а я пока ничего не отвечу. Мой взгляд в корень не идет, а ту
сторону дела, которая мне ясна, я изложил вчера, как мог. Но мне любопытно
познакомиться с чужим взглядом. Образ мыслей князя мне совершенно понятен,
то есть мне понятно, что тут никакой настоящей мысли вовсе нет, а торчит
какая-то голая претензия *qui n'an rime, ni raison*.[45] Ну а положительный
религиозный взгляд, конечно, более содержателен и более меня интересует.
Только я до сих пор был с ним знаком лишь в его казенной форме, которая
меня не удовлетворяет. И мне было бы очень желательно услышать наконец об
этих вещах не благоглаголание благопотребное, а натуральное человеческое
слово.

Г[-н] Z. Изо всех звезд, которые восходят на умственном горизонте человека,
со вниманием читающего наши священные книги, нет, я думаю, более яркой и
поразительной, чем та, которая сверкает в евангельском слове: «думаете ли
вы, что Я мир пришел принести на землю? Нет, говорю вам, – но разделение». Он
пришел принести на землю истину, а она, как и добро, прежде всего
разделяет.

ДАМА. Это нужно объяснить. И почему же Христос называется *prince de la
paix*,[46] и почему Он же сказал, что миротворцы сынами Божиими нарекутся?

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Г[-н] Z. А вы так добры, что желаете и мне получить это высшее достоинство
чрез примирение противоречивых текстов?

ДАМА. Именно.

Г[-н] Z. Так заметьте же, что примирить их можно только чрез разделение между добрым или истинным миром и миром дурным или ложным. И это разделение прямо указано Тем же, кто принес истинный мир и добрую вражду: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам: не так, как мир дает, Я даю вам». – Есть, значит, хороший, Христов мир, основанный на том разделении, что Христос пришел принести на землю, именно на разделении между добром и злом, между истиной и ложью; и есть дурной, мирской мир, основанный на смешении, или внешнем соединении, того, что внутренне враждует между собою.

ДАМА. Как же это вы покажете разницу между хорошим и дурным миром?

Г[-н] Z. Да почти так же, как третьего дня генерал, когда он шутя заметил, что бывает хороший мир, например Ништадтский или Кучук-Кайнарджийский. Под этой шуткой есть более общий и важный смысл. И в духовной борьбе, как и в политической, хороший мир есть тот, который заключают лишь тогда, когда цель войны достигнута.

ДАМА. Но из-за чего же окончательно идет война между добром и злом? Да и нужно ли им, собственно, воевать между собою? Да и возможно ли между ними действительно столкновение – corps a corps?^[47] Ведь на обыкновенной войне, когда одна сторона начнет усиливаться, то и другая, неприятельская, ищет подкреплений; спор должен быть решен настоящими битвами, с пушками и штыками. А в борьбе добра и зла этого нет, а когда добрая сторона усиливается, то дурная сейчас уж и слабеет, и до настоящего сражения между ними дело никогда не доходит, так что все это только в переносном смысле. Значит, нужно только заботиться, чтобы добра в людях было больше, тогда уж само собою зла будет меньше.

Г[-н] Z. То есть вы думаете, что стоит только добрым людям самим становиться еще добнее, чтобы злые теряли свою злобу, пока наконец не сделаются тоже добрыми?

ДАМА. Мне кажется, что так.

Г[-н] Z. Ну а вам известны какие-нибудь случаи, чтобы доброта доброго человека делала злого добрым или, по крайней мере, менее злым?

ДАМА. Нет, сказать правду, я таких случаев не видела и не слыхала... Но постойте: ведь то, что вы теперь сказали, подходит, кажется, к тому, о чем вы третьего дня с князем говорили, что даже Христос при всей Своей доброте ничего хорошего не мог сделать с душой Иуды Искариота или злого разбойника. Так ответ на это остался за князем, вы не забудьте, когда он придет.

Г[-н] Z. Ну, так как я его не считаю антихристом, то и в пришествии его не уверен, а в его богословской находчивости – еще менее. Так, чтобы на нашем разговоре не тяготел этот нерешенный вопрос, я представлю пока то возражение, которое должен был сделать князь с его точки зрения. «Почему Христос не переродил Свою добротою злые души Иуды и К°?» Да просто потому, что время было слишком темное, и только очень немногие души стояли на той степени нравственного развития, на которой внутренняя сила истины может быть ощущительна. А Иуда и К° были еще слишком «неразвиты». Но ведь сам же Христос сказал своим ученикам: «Дела, которые Я творю, и вы сотворите, – и больше этого сотворите». Значит, на высшей ступени нравственного развития в человечестве, какая достигнута в настоящее время, истинные ученики Христовы могут силой своей кротости и непротивления злу творить нравственные чудеса больше тех, что были возможны осьмнадцать веков тому назад...

ГЕНЕРАЛ. Позвольте, позвольте! Если могут творить, так почему же не творят? Или вы эти новые чудеса видали? Ведь вот наш князь и теперь, «после осьмнадцати веков нравственного развития христианского сознания», никак не может просветить мою темную душу: каким я был до него людоедом, таким и сейчас остаюсь и как прежде, так и теперь после Бога и России больше всего на свете люблю военное дело вообще и артиллерийское в особенности. А ведь я не только с одним нашим князем, а и с многими другими непротивленцами, посильней его, встречался.

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Г[-н] Z. Ну зачем же становиться на такую личную почву? И чего вы от меня
желаете? Я вам представил в пользу отсутствующего противника евангельский
текст, о котором он забыл, а затем

Резон ли в этом, или не резон, –
Я за чужой не отвечаю сон.

ДАМА. Ну, теперь уж и я вступлюсь за бедного князя. Если бы он захотел быть
умным, то он отвечал бы генералу так: я и мои единомышленники, с которыми
вы встречались, считаем себя истинными учениками Христа только по
направлению наших мыслей и поступков, а не потому, чтобы мы достигли
большой силы. Но, наверное, есть где-нибудь или скоро будут христиане более
совершенные, чем мы, – они и вашу темную стену пробили бы.

Г[-н] Z. Этот ответ, конечно, был бы практически удобен, так как он
апеллировал бы к неизвестной инстанции. Но это ведь несерьезно. Они,
положим, скажут, должны сказать: мы ничего делать не можем – ни большего,
чем то, что Христос делал, ни равного Еgo делам, ни даже меньшего, но
сколько-нибудь приближающегося к этим делам. Что же можно заключить из
такого признания по здравой логике?

ГЕНЕРАЛ. Кажется, только то, что слова Христовы: «Вы будете творить то, что
я творил, и больше этого» – сказаны были не этим господам, а кому-нибудь
другому, совсем на них не похожему.

ДАМА. Но ведь можно себе представить, что какой-нибудь человек до конца
проводит заповедь Христову о любви к врагам и о прощении обид – и тогда он
через того же Христа получит силу превращать своей кротостью злые души в
добрые.

Г[-н] Z. Был не так давно сделан опыт в этом роде, и не только без успеха,
но он показал прямо обратное тому, что вы предполагаете. Был человек, не
зnavший пределов своей кротости и не только прощавший всякую обиду, но и
отвечавший на всякое новое злодеяние новыми и большими благодеяниями. И что
же? Потряс ли он душу своего врага, переродил ли его нравственно? Увы! Он
только ожесточил сердце злодея и жалостным образом погиб от его руки.

ДАМА. Про что такое вы говорите? Какой это человек? Где и когда он жил?

Г[-н] Z. Не так давно и в Петербурге. Я думал, что вы его знаете. Это
камергер Деларю.

ДАМА. Никогда не слыхала, а, кажется, я весь Петербург по пальцам знаю.

ПОЛИТИК. Я тоже что-то не припоминаю. Но в чем же история этого камергера?

Г[-н] Z. Она прекрасно изложена в одном неизданном стихотворении Алексея
Толстого.

ДАМА. Неизданном? Значит, наверное, фарс. К чему же это при таких серьезных
предметах?

Г[-н] Z. Уверяю вас, что хотя это фарс по форме, но с очень серьезным и,
главное, правдивым реальным содержанием. Во всяком случае действительное
отношение между добротою и злобою в человеческой жизни изображено этими
шуточными стихами гораздо лучше, чем я мог бы его изобразить своею
серьезною прозой. И у меня нет ни малейшего сомнения, что, когда герои иных
всемирно знаменитых романов, искусно и серьезно распахивающих
психологический чернозем, будут только литературным воспоминанием для
книжников, этот фарс, в смешных и дико карикатурных чертах затронувший
подпочвенную глубину нравственного вопроса, сохранит всю свою
художественную и философскую правду.

ДАМА. Ну, я вашим парадоксам не верю. Вы одержимы духом противоречия и
нарочно всегда бравируете общественное мнение.

Г[-н] Z. Я, вероятно, «бравировал» бы его, если бы оно существовало. Но
историю о камергере Деларю я вам все-таки сообщу, так как вы ее не знаете,
а я помню ее наизусть.

Вонзил кинжал убийца нечестивый
В грудь Деларю,

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org

Тот, шляпу сняв, сказал ему учтиво:
«Благодарю».

Тут в левый бок ему кинжал ужасный
Злодей вогнал,

А Деларю сказал: «Какой прекрасный
У вас кинжал!»

Тогда злодей, к нему зашедши справа,
Его пронзил,

А деларю с улыбкою лукавой
Лишь погрозил.

Истыкал тут злодей ему, пронзая,
Все телеса,

А деларю: «Прошу на чашку чая
К нам в три часа».

Злодей пал ниц и, слез проливши много,
Дрожал, как лист,

А деларю: «Ах, встаньте, ради Бога!
Здесь пол нечистъ».

Но все у ног его в сердечной муке
Злодей рыдал,

А деларю сказал, расставя руки:
«Не ожидал!

Возможно ль? Как?! Рыдать с такою силой?
По пустякам!?

Я вам аренду выхлопочу, милый, –
Аренду вам!

Через плечо дадут вам Станислава

Другим в пример.

Я дать совет властям имею право:
Я камергер!

Хотите dochь мою просватать, дуню?

А я за то

Кредитными билетами отслюню

Вам тысяч сто.

А вот пока вам мой портрет на память, –

Приязни в знак.

Я не успел его еще обрамить, –

Примите так!»

Тут ёдок стал и даже горче перца
Злодея вид.

добра за зло испорченное сердце,

Ах! не простит.

Высокий дух посредственность тревожит,

Тем страшен свет.

Портрет еще простить убийца может,

Аренду ж – нет.

Зажглась в злодее зависти отрава

Так горячо,

что, лишь надел мерзавец Станислава

Через плечо, –

Он окунул со злобою безбожной

Кинжал свой в яд

И, к Деларю подкравшись осторожно,

Хвать друга в зад!

Тот на пол лег, не в силах в страшных болях

На кресло сесть.

Меж тем злодей, отняв на антресолях

У дуни честь, –

Бежал в Тамбов, где был, как губернатор,

Весьма любим,

Потом в Москве, как ревностный сенатор,

Был всеми чтим.

Потом он членом сделался совета

В короткий срок...

Какой пример для нас являет это,

Какой урок!

ДАМА. Ах, как мило, я и не ожидала!

ПОЛИТИК. В самом деле превосходно. «Кредитными билетами отслюню!» –
чудесно. «Аренду ж – нет!» и «Бежал в Тамбов!» – deux vrais coups de
maître! [48]

Г[-н] Z. Но правдивость-то какая, вы заметьте. Деларю не та «очищенная добродетель», которой в природе не встречается. Он живой человек со всеми человеческими слабостями – и тщеславием («я камергер!»), и стяжательностью (припасены сто тысяч), а его фантастическая непроницаемость для злодейского кинжала есть лишь очевидный символ его беспредельного добродушия, неодолимого и даже нечувствительного для всяких обид, что все-таки бывает, хотя и очень редко. Деларю не олицетворение добродетели, а натуральный хороший человек, у которого сердечная доброта одолела дурные качества и вытеснила их на душевную поверхность в виде безобидных слабостей. Так же «злодей» – вовсе не ходячий экстракт порока, а обыкновенная смесь добрых и злых качеств; но у него зло зависти засело в самой глубине души и вытеснило все доброе на душевную эпидерму, так сказать, где доброта приняла вид очень живой, но поверхностной чувствительности. Когда на ряд жестоких обид Деларю отвечает учтивыми словами и приглашением на чашку чая, чувствительность нравственной эпидермы у «злодея» сильно затронута этими проявлениями благовоспитанности, и он предается самому экспансивному расказанию. Когда же учтивость камергера переходит в сердечное участие истинно доброго человека, который платит своему врагу за зло не кажущимся только добром вежливых слов и жестов, а действительным и живым добром практической помощи, – когда Деларю входит в житейское положение своего злодея, готов поделиться с ним своим состоянием, устроить его служебные дела и даже его семейное благополучие, – тогда эта действительная доброта, проникая в более глубокие моральные слои злодея, обнаруживает его внутреннюю нравственную негодность и, достигая наконец до дна его души, будит там крокодила зависти. Не доброте Деларю завидует злодей – он ведь сам может быть добрым, – разве он не чувствовал своей доброты, когда «рыдал в сердечной муке», – нет, он завидует именно недостижимой для него бездонности и простой серьезности этой доброты:

Портрет еще простить убийца может,
Аренду ж – нет!

Разве это не реально, разве не так бывает в живой действительности? От одной и той же влаги живительного дождя растут и благотворные силы в целебных травах, и яд – в ядовитых. Так же и действительное благодеяние в конце концов увеличивает добро в добром и зло – в злом. Так должны ли мы, имеем ли даже право всегда и без разбора давать волю своим добрым чувствам? Можно ли похвалить родителей, усердно поливающих из доброй лейки ядовитые травы в саду, где гуляют их дети? дуня-то за что погибла, я вас спрашиваю?

ГЕНЕРАЛ. Вот это верно! Если бы Деларю изрядно накостилял затылок своему злодею и выгнал его из дома, так ведь тому не до антресолей бы было!

Г[-н] Z. В самом деле, пускай он имеет право жертвовать себя своей доброте, пускай, как в старину были мученики веры, так теперь должны быть мученики доброты. Но с дуней-то как быть, я вас спрашиваю? Ведь она глупа и молода и ничего собою доказать не может и не желает. Так неужели ее не жалко?

ПОЛИТИК. Положим, жалко. Но мне еще более жалко, что антихрист-то, кажется, от нас вместе со злодеем в Тамбов убежал.

Г[-н] Z. Поймаем, ваше высокопревосходительство, поймаем! – Вчера вы изволили указать смысл истории в том, что натуральное человечество, состоящее первоначально из множества более или менее диких народов, чуждых друг другу, частью не знающих друг о друге, а частью прямо враждующих между собой, постепенно выделяет из себя лучшую, образованную часть – культурный или европейский мир, который постепенно растет и разрастается и наконец должен охватить и все отставшие в этом историческом движении народы, включая их в одно солидарное и мирное международное целое. Установление вечного международного мира – вот ваша формула, не так ли?

ПОЛИТИК. Да, и эта формула в своей предстоящей и уже недалекой реализации покроет собою гораздо больше существенных культурных успехов, чем может теперь казаться. Вы только подумайте, сколько дурного будет по необходимости атрофировано и сколько хорошего по самой природе вещей возникнет и разовьется. Сколько сил будет освобождено для производительных занятий, как процветут науки и искусства, промышленность и торговля...

Г[-н] Z. Ну а уничтожение болезней и смерти включаете вы в число предстоящих успехов культуры?

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
ПОЛИТИК. Разумеется... до некоторой степени. Уже и теперь много сделано по
части санитарных условий, гигиены, антисептики... органотерапии...

Г[-н] Z. А эти несомненные успехи в положительную сторону разве не
уравновешиваются столь же несомненным прогрессом невропатических и
психопатических явлений вырождения, сопровождающих развитие культуры?

ПОЛИТИК. Ну, на каких же это весах взвешивать?

Г[-н] Z. Во всяком случае бесспорно, что растет плюс, растет и минус, а в
результате получается что-то близкое к нулю. Это насчет болезней. Ну а
касательно смерти, кажется, кроме нуля, ничего и не было в культурном
прогрессе.

ПОЛИТИК. Да разве культурный прогресс ставит себе такие задачи, как
уничтожение смерти?

Г[-н] Z. Знаю, что не ставит, но ведь потому и его самого очень высоко
ставить нельзя. Ну, в самом деле, если бы я знал наверно, что и я сам, и
все, что мне дорого, должно навсегда исчезнуть, не было ли бы для меня все
равно, дерутся ли где-нибудь между собою разные народы или живут в мире,
культурны они или дики, учтивы или неучтивы?

ПОЛИТИК. Да, с личной, эгоистической точки зрения, конечно, это все равно.

Г[-н] Z. Как с эгоистической? Извините, со всякой точки зрения. Смерть все
равняет, и перед нею эгоизм и альтруизм одинаково бессмысленны.

ПОЛИТИК. Пусть так, но ведь бессмысленность эгоизма не мешает быть нам
эгоистами; точно так же альтруизм, насколько он вообще возможен, обойдется
и без разумных оснований, и рассуждение о смерти тут ни при чем. Я знаю,
что мои дети и внуки умрут, но это не мешает мне заботиться об их благе
так, как если бы оно было вечное. Я тружусь для них прежде всего потому,
что люблю их, и отдавать им свою жизнь доставляет мне удовлетворение. «Я
вкус в том нахожу». *C'est simple comme bonjour.*

ДАМА. Да, пока все хорошо идет, хотя и тут мысль о смерти все-таки
приходит. Ну а как с детьми и внуками пойдут разные несчастья? Какое тут
удовлетворение и какой вкус? Это все равно как водяные цветы на трясине:
схватишь и провалишься.

Г[-н] Z. Да и помимо этого о детях и внуках вам можно и необходимо
заботиться quand même, [49] не решая и даже не ставя вопроса о том, могут ли
ваши заботы доставить им действительное и окончательное благо. Вы о них
заботитесь не для чего-нибудь, а потому, что имеете к ним живую любовь; но
такую любовь нельзя иметь к не существующему еще человечеству будущего, и
тут вступает во все свои права вопрос разума об окончательном смысле, или
цели, наших забот, и если этот вопрос в высшей инстанции решается смертью,
если последний результат вашего прогресса и вашей культуры есть все-таки
смерть каждого и всех, то ясно, что всякая прогрессивная культурная
деятельность – ни к чему, что она бесцельна и бессмысленна.

(тут говоривший вдруг остановился, и прочие собеседники повернули головы к
зияющей калитке и несколько мгновений пребывали в изумлении. В сад вошел
и неровными шагами приближался к беседующим – Князь.)

ДАМА. Ах! А мы ведь об антихристе еще и не начинали.

КНЯЗЬ. Это все равно. Я раздумал, и мне кажется, что я напрасно высказал
дурное чувство к заблуждениям моих близких, не выслушав их оправдания.

ДАМА (торжествующим тоном к генералу). Вот видите! Ну что?

ГЕНЕРАЛ (сухо). Ничего.

Г[-н] Z (князю). Вы очень кстати подошли. Речь идет теперь о том, стоит ли
заботиться о прогрессе, если знать, что конец его всегда есть смерть для
всякого человека, дикарь ли он или самый что ни на есть образованный
европеец будущего? Что бы вы сказали по вашей доктрине?

КНЯЗЬ. Истинно христианское учение даже не допускает такой постановки

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
вопроса. Евангельское решение вопроса «с особенной яркостью и силой выражено в притче о виноградарях. Виноградари вообразили себе, что сад, куда они были посланы для работы на хозяина, был их собственностью, что все, что было в саду, сделано для них, и что их дело только в том, чтобы наслаждаться в этом саду своею жизнью, забыв о хозяине и убивая тех, которые напоминали им о хозяине и об обязанностях к нему. Как те виноградари, так и теперь почти все люди живут в нелепой уверенности, что они сами хозяева своей жизни, что она дана им для их наслаждения. А ведь это, очевидно, нелепо. Ведь если мы посланы сюда, то по чьей-нибудь воле и для чего-нибудь. А мы решили, что мы как грибы: родились и живем только для своей радости, и ясно, что нам дурно, как будет дурно работнику, не исполняющему воли хозяина. Воля же хозяина выражена в учении Христа. Только исполняй люди это учение, и на земле установится Царствие Божие, и люди получат наибольшее благо, которое доступно им. В этом все. Ищите Царства Божия и правды его, а остальное приложится вам. Мы ищем остального и не находим его, и не только не устанавливаем Царства Божия, но разрушаем его» разными своими государствами, войсками, судами, университетами, фабриками.

ГЕНЕРАЛ. (в сторону). Ну, завели машину!

ПОЛИТИК (князю) Вы кончили?

КНЯЗЬ. Да.

ПОЛИТИК. Я должен сказать, что ваше решение вопроса кажется мне просто непонятным. Вы как будто рассуждаете, что-то доказываете и разъясняете, в чем-то хотите убедить, а между тем все, что говорите, – ряд произвольных и ничем между собою не связанных утверждений. Например, вы говорите: если мы посланы сюда, то по чьей-нибудь воле и для чего-нибудь. Это, кажется, ваша главная мысль, но что же это такое? Откуда вы взяли, что мы сюда кем-то для чего-то посланы? Кто вам это сказал? Что мы здесь, на земле, существуем – это верно, но чтобы наше существование было каким-то посланничеством – это вы совершенно голословно утверждаете. Когда я, например, был в молодости посланником, то я знал это несомненно, а также кем и зачем послан – знал, во-первых, потому, что у меня были на то бесспорные документы, во-вторых, потому, что я имел и личную аудиенцию у покойного императора Александра Николаевича и лично получил Высочайшие инструкции, а в-третьих, потому, что я каждую треть года получал 10 000 руб. золотом. Ну а если бы вместо всего этого посторонний человек на улице подошел ко мне и объявил, что я посланник и послан туда-то и для того-то, так ведь я стал бы только озираться по сторонам, нет ли поблизости городового, чтобы защитить меня от этого манияка, который может, пожалуй, и на жизнь мою покуситься. А что касается до настоящего случая, то ведь бесспорных документов от вашего предполагаемого хозяина у вас нет, личной аудиенции вы у него не имели, жалованья от него не получаете, какой же вы посланник? А между тем вы не только себя, но и всех прочих не то в посланники, не то в рабочие записали. По какому праву? На каком основании – не понимаю. Мне представляется, что это какая-то риторическая импровизация, *très mal inspirée d'ailleurs*. [50]

ДАМА. Ну, вы опять прикидываетесь. Вы отлично понимаете, что князь вовсе не ваше неверие опровергать хотел, а излагал общий христианский взгляд, что все мы зависим от Бога и обязаны служить Ему.

ПОЛИТИК. Ну, я службы без жалования не понимаю, и, если оказывается, что жалованье тут всем одно – смерть, *je présente mes compliments*. [51]

ДАМА. Но ведь все равно умрете, никто вас спрашивать не будет.

ПОЛИТИК. Вот именно это «все равно» и доказывает, что жизнь не есть служба, и если не требуется моего согласия для моей смерти, как и для моего рождения, то я предпочитаю видеть в смерти, как и в жизни, то, что в них действительно есть, именно необходимость природы, а не выдумывать какую-то службу какому-то хозяину. А заключение мое такое: живи, пока живется, и старайся жить как можно умней и лучше, а условие умной и хорошей жизни есть мирная культура. Впрочем, я полагаю, что и на почве христианского учения мнимое решение вопроса, предложенное князем, не выдерживает критики; но об этом пусть скажут люди, более меня компетентные.

ГЕНЕРАЛ. Да какое же тут решение? Ни решения, ни постановки, а один только словесный обход вопроса. Это все равно как если бы я на плане окружил своими начертанными батальонами начертенную неприятельскую крепость и

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
вообразил бы, что я ее взял. В этом роде ведь случалось, знаете, как в известной солдатской песне поется:

Как четвертого числа
Нас нелегкая несла
Горы занимать,
...
Наезжали князья, графы,
И чертили топографы
На больших листах.
Гладко вышло на бумаге,
да забыли про овраги,
А по ним ходить.
А результат известен:
На Федюхины высоты
Нас пришло всего две роты,
А пошли полки.
КНЯЗЬ. Ничего не понимаю! И это все, что вы можете возразить на то, что я говорил?

ГЕНЕРАЛ. А в том, что вы говорили, мне особенно показалось непонятно насчет грибов, что будто они живут для своей радости. А я всегда полагал, что они живут для радости тех, кто любит грибы в сметане или пироги с грибами. Ну а ежели ваше Царствие Божие на земле оставляет смерть нетронутой, то ведь выходит, что люди поневоле живут и в вашем Царстве Божием будут жить именно как грибы – не выдуманные вами веселые грибы, а действительно грибы, которые на сковороде жарят. Ведь и для людей в нашем земном Царстве Божием все дело будет кончаться тем, что их смерть съест.

ДАМА. Князь этого не говорил.

ГЕНЕРАЛ. Ни этого, ни другого. Какая же причина такого умолчания о самом важном пункте?

Г[-н] Z. Прежде чем поднимать этот вопрос, я желал бы узнать, откуда взята притча, в которой вы, князь, выразили свой взгляд? Или это ваше собственное сочинение?

КНЯЗЬ. Как сочинение? Ведь это же из Евангелия.

Г[-н] Z. Нет, что вы! Ни в каком Евангелии такой притчи не находится.

ДАМА. Бог с вами! Что вы князя с толку сбиваете? Есть ведь притча о виноградарях в Евангелии.

Г[-н] Z. Есть нечто похожее по внешней фабуле, но ведь совсем о другом по содержанию и смыслу, который тут же указан.

ДАМА. Что вы? Полноте! Мне кажется, совсем такая же притча. Да вы что-то мудрите, – я вам на слово не верю.

Г[-н] Z. И не нужно: книжка-то у меня в кармане (тут он вынул Новый Завет малого формата и стал его перелистывать). Притча о виноградарях находится у трех евангелистов: Матфея, Марка и Луки, но сколько-нибудь значительной разницы между тремя вариантами нет. Так довольно будет прочесть в одном Евангелии, более подробном, – у Луки. Это в главе двадцатой, где излагается последняя, заключительная проповедь Христа народу. Дело приблизилось к развязке, и вот рассказывается (конец XIX и начало XX главы), как противники Христа – партия первосвященников и книжников – сделали на Него решительное и прямое нападение, требуя всенародно, чтобы Он представил полномочия своей деятельности, сказал бы, по какому праву, в силу какой власти Он действует. Но позвольте, я уж лучше прочту (читает): «И учил Он каждый день во храме. Первосвященники же и книжники искали погубить Его, да и старейшины народные, но не находили, что бы тут сделать, ибо весь народ неотступно слушал Его. И было в один из тех дней, когда Он учил народ во храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали Ему: „Скажи нам, по какой власти Ты так поступаешь, или кто дал Тебе эту власть?“ – Он же сказал им в ответ: „Спроси и Я вас об одном: крещение Иоанново с небес было или от людей?“ – Они же рассуждали между собою, говоря: если скажем, что с небес, спросит: „Почему вы не поверили ему?“ – а если скажем: от людей, – весь народ побьет нас

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
каменьями, потому что он уверен, что Иоанн – пророк; и отвечали, что не
знают, откуда. И сказал им Иисус: „Так и Я не скажу вам, какою властью это
делаю“...

ДАМА. К чему же вы это читаете? Что Христос не отвечал, когда к Нему
приставали, это хорошо. Но при чем же тут притча о виноградарях?

Г[-н] Z. Подождите, это все к одному. И вы напрасно говорите, что Христос
не отвечал. Он ответил совершенно определенно, и притом вдвойне: указал на
такого свидетеля своих полномочий, которого не решились отвергнуть
спрашивавшие, а затем доказал, что у них самих нет настоящей власти и прав
над Ним, так как они действуют лишь по страху народа, из боязни за жизнь
свою применяясь к мнениям толпы. Но ведь настоящая власть та, которая не
идет за другими, а ведет других за собою. Боясь и слушаясь народа, эти люди
показали, что настоящая власть от них ушла и принадлежит народу. К нему
теперь и обращается Христос, чтобы перед ним обвинить их за сопротивление
Себе. В этом обвинении недостойных национальных вождей еврейства за их
сопротивление Мессии – все содержание евангельской притчи о виноградарях,
как вы сами сейчас увидите (читает): «Начал же к народу говорить притчу
сию. Человек некий насадил виноградник и отдал его виноградарям; и
отлучился на довольно долгое время. И венный срок послал он к
виноградарям раба, чтобы дали ему от плода виноградника. Виноградари же,
побив его, отослали ни с чем. И положил послать другого раба; они же и его,
побив и бесчестив, отослали ни с чем. И положил послать третьего; они же и
того, изранив, выбросили. И сказал хозяин виноградника: «Что мне делать?
Пошлю сына моего возлюбленного: может быть, видя его, устыдятся». Увидя
его, виноградари рассуждали между собою, говоря: «Этот ведь – наследник:
давайте убьем его, чтобы нам досталось наследство». И, выбросив его из
виноградника, убили. Так что же сделает им хозяин виноградника? Придет и
погубит этих виноградарей и даст виноградник другим. – Слышавшие же это
сказали: «да не будет!» – Он же, взглянув на них, сказал: «Так что значит
написанное: камень, тот, что отвергли строители, – он стал во главу угла;
всякий, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того
раздавит». – И хотели первосвященники и книжники наложить на Него руки в
тот час, да побоялись народа; ибо поняли они, что про них сказал Он эту
притчу». Про кого же и про что, я спрашиваю, сказана притча о винограднике?

КНЯЗЬ. Не понимаю, в чем же тут ваше возражение? Иудейские первосвященники
и книжники обиделись потому, что они были и сознавали себя образчиками тех
дурных мирских людей, о которых говорилось в притче.

Г[-н] Z. Но в чем же, собственно, они здесь обличались?

КНЯЗЬ. В неисполнении истинного учения.

ПОЛИТИК. Ясно, кажется: эти негодяи жили, как грибы, для своей радости,
курили табак, пили водку, ели убийну и даже своего бога югощали, притом
женились, председательствовали в судах и участвовали в войнах.

ДАМА. Вы думаете, что глумитесь таким образом прилично вашему возрасту и
положению? – Вы его не слушайте, князь. Мы с вами хотим говорить серьезно.
Скажите мне вот что: ведь в евангельской притче в самом деле виноградари
гибнут потому, что убили хозяйственного сына и наследника, – и это главное дело
по Евангелию, – почему же вы это пропускаете?

КНЯЗЬ. Потому пропускаю, что это относится к личной судьбе Христа, которая,
конечно, имеет свою важность и интерес, но все-таки несущественна для того,
что есть единое на потребу.

ДАМА. То есть?

КНЯЗЬ. То есть для исполнения евангельского учения, которым достигается
Царство Божие и правда Его.

ДАМА. Постойте на минуточку: у меня что-то в голове все запуталось... В чем,
бишь, дело?... да. (К Г[-ну] Z.) У вас Евангелие в руках, – так скажите,
пожалуйста, о чем еще в этой главе говорится, после притчи?

Г[-н] Z (перелистывая книжку). А говорится о том, чтобы отдавать должное
Кесарю, потом о воскресении мертвых, что мертвые воскреснут, потому что Бог
не есть Бог мертвых, но живых, а затем доказывается, что Христос не есть

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
сын Давидов, а Сын Божий, – ну а два последние стиха – против лицемерия и
тщеславия книжников.

ДАМА. Вот видите, князь: ведь и это тоже – евангельское учение: чтобы признавать государство в мирских делах, чтобы верить в воскресение мертвых и что Христос не простой человек, а Сын Божий.

КНЯЗЬ. Но разве можно заключать из одной главы, неизвестно кем и когда составленной?

ДАМА. Ах, нет! Это уж я и без справки знаю, что не одна глава, а во всех четырех Евангелиях очень много и насчет воскресения, и насчет божественности Христа – особенно у Иоанна, его и на похоронах читают.

Г[-н] Z. А насчет того, будто неизвестно, кем и когда составлено, то и свободная немецкая критика теперь уже признала, что все четыре Евангелия – происхождения апостольского, первого века.

ПОЛИТИК. Да и в 13-м издании «*Vie de Jésus*» я заметил будто ретрактацию насчет четвертого Евангелия.

Г[-н] Z. Нельзя же от учителей отставать. Но главная-то беда, князь, в том, что, каковы бы ни были наши четыре Евангелия, когда бы и кем они ни были составлены, другого-то Евангелия, более, по-вашему, достоверного и согласного с вашим «учением», ведь не существует.

ГЕНЕРАЛ. Как не существует? А пятое, где Христа нет, а одно только учение – насчет убийны и военной службы.

ДАМА. И вы тоже? Стыдно! Знайте, что чем больше вы с вашим штатским союзником будете дразнить князя, тем больше я буду на его стороне. Я уверена, князь, что вы хотите брать христианство с самой лучшей стороны и что ваше Евангелие, хотя не есть то же, что наше, но в том роде, как в старину сочиняли книжки *l'esprit de M. de Montesquieu*, *l'esprit de Fénelon*,^[52] так и вы или ваши учителя хотели сочинить *l'esprit de l'Evangile*.^[53] Только жаль, что этого никто из ваших в особой маленькой книжке не сделал, которую так и можно было бы назвать: «дух христианства по учению таких-то». Вам необходимо иметь что-нибудь вроде катехизиса, чтобы мы, простые люди, не теряли нити во всех этих вариациях. То мы слышим, что главная суть – в Нагорной проповеди, то вдруг нам говорят, что прежде всего нужно трудиться в поте лица над земледелием, – хоть этого в Евангелии нет, а есть в Книге Бытия, там же, где в болезнях родить, – но ведь это же не заповедь, а только печальная судьба; то говорят, что нужно все раздать нищим, а то – никому ничего не давать, потому что деньги – зло и нехорошо делать зло другим, а только себе и своей семье, а для других нужно только трудиться; то опять говорят: ничего не делать, а только размышлять; то говорят: призвание женщины – родить как можно больше здоровых детей, – а там вдруг – совсем ничего такого не надо, потом мясного не есть – первая ступень, а почему первая – никому не известно; потом против водки и табака, потом блины; а потом военная служба, что главная беда в ней и главная обязанность христианина есть от нее отказываться, а кого в солдаты не берут, тот, значит, и так свят. Я, может быть, вздор говорю, но не моя вина: никак нельзя во всем этом разобраться.

КНЯЗЬ. Я тоже думаю, что нам необходимо толковое резюме истинного учения, – кажется, его теперь и составляют.

ДАМА. Ну а пока составят, скажите нам теперь в двух словах, в чем же сущность Евангелия, по-вашему?

КНЯЗЬ. Кажется, ясно, что в великом принципе непротивления злу насилием.

ПОЛИТИК. А как же отсюда табак вывести?

КНЯЗЬ. Какой табак?

ПОЛИТИК. Ах, Боже мой! Я спрашиваю, какая связь между принципом непротивления злу и требованиями воздержания от табака, вина, мяса, любовных дел?

КНЯЗЬ. Кажется, связь ясная: все эти порочные привычки одуряют человека –

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
заглушают в нем требования его разумного сознания или совести. Вот почему
солдаты обыкновенно отправляются пьяными на войну.

Г[-н] Z. Особливо на войну неудачную. Но это можно оставить. Правило непротивления злу важно само по себе, оправдывает ли оно или нет аскетические требования. По-вашему, если мы не будем сопротивляться злу силой, то зло сейчас же и исчезнет. Значит, оно держится только нашим сопротивлением или теми мерами, которые мы принимаем против зла, а собственной действительной силы оно не имеет. В сущности зла вовсе нет, оно является только вследствие нашего ошибочного мнения, по которому мы полагаем, что зло есть, и начинаем действовать согласно этому предположению. Так ведь.

КНЯЗЬ. Конечно, так.

Г[-н] Z. Но если зла в действительности нет, то как вы объясняете поразительную неудачу дела Христова в истории? Ведь, с вашей точки зрения, оно совсем не удалось, так что в конце концов из него ничего не вышло, то есть, во всяком случае, вышло гораздо больше дурного, чем хорошего.

КНЯЗЬ. Почему это?

Г[-н] Z. Вот странный вопрос! Ну, если вам это непонятно, разберем по порядку. Христос и по-вашему всех яснее, сильнее и последовательнее проповедовал истинное добро. Так?

КНЯЗЬ. Да.

Г[-н] Z. А истинное добро в том, чтобы не сопротивляться насилием злу, то есть мнимому злу, так как настоящего зла нет.

КНЯЗЬ. Так.

Г[-н] Z. Христос не только проповедовал, но и сам до конца исполнил требования этого добра, подвергшись без сопротивления мучительной казни. Христос, по-вашему, умер и не воскрес. Прекрасно. По Его примеру многие тысячи Его последователей претерпели то же самое. Прекрасно. И что же из этого всего вышло, по-вашему?

КНЯЗЬ. А вы хотели бы, чтобы на этих мучеников ангелы какие-нибудь блестящие венки надели и поместили их где-нибудь под кущами райских садов в награду за их подвиги?

Г[-н] Z. Нет, зачем же так говорить? Конечно, и я, и вы, надеюсь, хотели бы для всех наших близких, и живых, и умерших, всего самого лучшего и приятного. Но ведь дело идет не о ваших желаниях, а о том, что, по-вашему, вышло действительно из проповеди и подвига Христа и его последователей.

КНЯЗЬ. Для кого вышло? Для них?

Г[-н] Z. Ну, для них-то известно, что вышла мучительная смерть, но они, конечно, по своему нравственному героизму подвергались ей охотно и не для того, чтобы получить блестящие венцы себе, а для того, чтобы доставить истинное благо другим, всему человечеству. Так я вот и спрашиваю: какими благами мученический подвиг этих людей одарил других-то, все человечество? По старинному изречению, кровь мучеников была семенем церкви. Это фактически верно, но ведь, по-вашему, церковь была искажением и гибелю истинного христианства, так что оно даже совсем было забыто в человечестве и через осьмнадцать веков потребовалось все сначала восстанавливать без всяких ручательств лучшего успеха, то есть совсем безнадежно?

КНЯЗЬ. Почему безнадежно?

Г[-н] Z. Да ведь вы же не отрицаете, что Христос и первые поколения христиан всю душу свою положили в это дело и отдали за него жизнь свою, и если тем не менее из этого ничего не вышло, по-вашему, то на чем же для вас-то могут основываться надежды иного исхода? Один только и есть несомненный и постоянный конец всего этого дела, совершенно одинаковый и для его начинателей, и для его исказителей и губителей, и для его восстановителей: все они, по-вашему, в прошедшем умерли, в настоящем умирают, в будущем умрут, а из дела добра, из проповеди истины никогда

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
ничего, кроме смерти, не выходит, не выходит и не обещает выйти. Что же это значит? Какая странность: несуществующее зло всегда торжествует, а добро всегда проваливается в ничтожество.

ДАМА. А разве злые не умирают?

Г[-н] Z. И весьма. Но дело в том, что сила зла царством смерти только подтверждается, а сила добра, напротив, опровергалась бы. И в самом деле, зло явно сильнее добра, и если это явное считать единственным реальным, то должно признать мир делом злого начала. А каким образом люди умудряются, стоя исключительно на почве явной, текущей действительности и, следовательно, признавая явный перевес зла над добром, вместе с тем утверждать, что зла нет и что, следовательно, с ним не нужно бороться, – этого я своим разумом не понимаю и жду помощи со стороны князя.

ПОЛИТИК. Ну а сначала вы свой-то выход из этого затруднения укажите.

Г[-н] Z. Кажется, он прост. Зло действительно существует, и оно выражается не в одном отсутствии добра, а в положительном сопротивлении и перевесе низших качеств над высшими во всех областях бытия. Есть зло индивидуальное – оно выражается в том, что низшая сторона человека, скотские и зверские страсти противятся лучшим стремлениям души и осиливают их в огромном большинстве людей. Есть зло общественное – оно в том, что людская толпа, индивидуально порабощенная злу, противится спасительным усилиям немногих лучших людей и одолевает их; есть, наконец, зло физическое в человеке – в том, что низшие материальные элементы его тела сопротивляются живой и светлой силе, связывающей их в прекрасную форму организма, сопротивляются и расторгают эту форму, уничтожая реальную подкладку всего высшего. Это есть крайнее зло, называемое смертью. И если бы победу этого крайнего физического зла нужно было признать как окончательную и безусловную, то никакие мнимые победы добра, в области лично нравственной и общественной, нельзя было бы считать серьезными успехами. В самом деле, представим себе, что человек добра, скажем Сократ, восторговал не только над своими внутренними врагами – дурными страстями, но что ему еще удалось и исправить общественных своих врагов, преобразовать эллинскую политию, – какая польза в этой эфемерной и поверхностной победе добра над злом, если оно торжествует окончательно в самом глубоком слое бытия, над самыми основами жизни? Ведь и исправителю, и исправленным – один конец: смерть. По какой логике можно было бы высоко ценить нравственные победы сократовского добра над нравственными микробами дурных страстей в его груди и над общественными микробами афинских площадей, если бы настоящими-то победителями оказались еще худшие, низшие, грубейшие микробы физического разложения? Тут против крайнего пессимизма и отчаяния не защитит никакая моральная словесность.

ПОЛИТИК. Это уж мы слыхали. А вы-то на что опираетесь против отчаяния?

Г[-н] Z. Наша опора одна: действительное воскресение. Мы знаем, что борьба добра со злом ведется не в душе только и в обществе, а глубже, в мире физическом. И здесь мы уже знаем в прошедшем одну победу доброго начала жизни – в личном воскресении Одного – и ждем будущих побед в собирательном воскресении всех. Тут и зло получает свой смысл или окончательное объяснение своего бытия в том, что оно служит все к большему и большему торжеству, реализации и усилинию добра: если смерть сильнее смертной жизни, то воскресение в жизнь вечную сильнее и того и другого, Царство Божие есть царство торжествующей через воскресение жизни – в ней же действительное, осуществляющее, окончательное добро. В этом вся сила и все дело Христа, в этом Его действительная любовь к нам и наша к Нему. А все остальное – только условие, путь, шаги. Без веры в совершившееся воскресение Одного и без чаяния будущего воскресения всех можно только на словах говорить о каком-то Царствии Божием, а на деле выходит одно царство смерти.

КНЯЗЬ. Как так?

Г[-н] Z. Да ведь вы же не только признаете вместе со всеми факт смерти, т. е. что люди вообще умирали, умирают и еще будут умирать, но вы, сверх того, возводите этот факт в безусловный закон, из которого, по-вашему, нет ни одного исключения, а тот мир, в котором смерть навсегда имеет силу безусловного закона, как же его назвать, как не царством смерти? И что такое ваше Царство Божие на земле, как не произвольный и напрасный эвфемизм для царства смерти?

ПОЛИТИК. И я думаю, что напрасный, потому что нельзя известную величину заменять неизвестною. Бога ведь никто не видал, и что такое может быть Его Царство – никому не известно; а смерть людей и животных все мы видали и знаем, что от нее, как от верховной власти в мире, никому не уйти. Так зачем же вместо этого а мы будем какой-то х ставить? Кроме путаницы и соблазна «малых», этим ничего не произведешь.

КНЯЗЬ. Я не понимаю, о чем тут разговор? Смерть есть явление, конечно, очень интересное, можно, пожалуй, называть ее законом, как явление постоянное среди земных существ, неизбежное для каждого из них; можно говорить и о безусловности этого «закона», так как до сих пор не было достоверно констатировано ни одного исключения, – но какую же все это может иметь существенную жизненную важность для истинного христианского учения, которое говорит нам через нашу совесть только об одном: что мы должны и чего не должны делать здесь и теперь? И ясно, что голос совести может относиться только к тому, что в нашей власти делать или не делать. Поэтому совесть не только ничего не говорит нам о смерти, но и не может говорить. При всей своей огромности для наших житейских, мирских чувств и желаний смерть не в нашей воле и потому никакого нравственного значения для нас иметь не может. В этом отношении – а оно ведь есть единственно важное по-настоящему – смерть есть такой же безразличный факт, как, например, дурная погода. Что я признаю неизбежное периодическое существование дурной погоды и более или менее терплю от нее, так неужели поэтому я должен вместо Царства Божия говорить: царство дурной погоды?

Г[-н] Z. Нет, не должны, во-первых, потому, что она царствует только в Петербурге, а мы вот с вами приехали сюда, к Средиземному морю, и смеемся над ее царством; – а во-вторых, ваше сравнение не подходит потому, что и при дурной погоде можно Бога хвалить и чувствовать себя в Его царстве, ну а мертвые, как сказано в Писании, Бога не хвалят, а потому, как заметил и его высокопревосходительство, этот печальный мир приличнее называть царством смерти, нежели Царством Божиим.

ДАМА. Ну что вы все об названиях, – это скучно! Разве дело в названиях? Скажите лучше, князь, что вы, собственно, разумеете под Царством Божиим и правдой Его?

КНЯЗЬ. Я разумею такое состояние людей, когда они действуют только по чистой совести и таким образом исполняют волю Божию, которая предписывает им одно только чистое добро.

Г[-н] Z. Но притом голос совести, по-вашему, говорит непременно только об исполнении должного теперь и здесь.

КНЯЗЬ. Разумеется.

Г[-н] Z. Ну а разве ваша совесть совсем молчит насчет того недолжного, что вы делали, положим, в отрочестве относительно лиц давно умерших?

КНЯЗЬ. Тогда смысл этих напоминаний в том, чтобы я ничего подобного не делал теперь.

Г[-н] Z. Ну, это не совсем так, но спорить об этом не стоит. Я хочу вам только напомнить другую, более несомненную границу совести. Уже давно моралисты сравнивают голос совести с тем гением, или демоном, который сопровождал Сократа, предостерегая его от недолжных поступков, но никогда не указывая положительно, что ему нужно делать. Совершенно то же можно сказать и про совесть.

КНЯЗЬ. Как же это так? Разве совесть не внушает мне, например, помочь моему ближнему в известных случаях нужды или опасности?

Г[-н] Z. Очень приятно слышать это от вас. Но если вы хорошенько разберете такие случаи, то увидите, что роль совести и здесь оказывается чисто отрицательною: она требует от вас только не оставаться бездейственным или равнодушным перед нуждой ближнего, а что и как именно вы должны для него сделать – этого сама совесть вам не говорит.

КНЯЗЬ. Ну да, потому что это зависит от обстоятельств дела, от положения моего и того ближнего, которому я должен помочь.

Г[-н] Z. Разумеется, а оценка и соображение этих обстоятельств и положений ведь не есть дело совести, а ума.

КНЯЗЬ. Но разве можно отделять разум от совести?

Г[-н] Z. Отделять не нужно, но различать должно именно потому, что в действительности иногда происходит не только отделение, но и противоположение между умом и совестью. Если бы они были одно и то же, то каким образом мог бы ум служить для дел не только посторонних нравственности, но и прямо безнравственных? А ведь это же бывает. Ведь даже помочь может быть подана умно, но бессовестно, если я, например, накормлю, напою и окажу всякие благодеяния нуждающемуся человеку, чтобы сделать из него необходимого мне пособника для удачного совершения какого-нибудь мошенничества или другого дурного дела.

КНЯЗЬ. Ну да, это элементарно. Но что же вы отсюда выводите?

Г[-н] Z. А то, что ежели голос совести, при всем своем значении как предостерегателя и укорителя, не дает положительных и практически определенных указаний для нашей деятельности и наша добрая воля нуждается в уме как служебном орудии, а между тем ум оказывается для нее сомнительным слугою, так как он одинаково способен и готов служить двум господам – и добру и злу, то, значит, для исполнения воли Божией и достижения Царства Божия кроме совести и ума нужно еще что-нибудь третье.

КНЯЗЬ. Что же это такое, по-вашему?

Г[-н] Z. Коротко сказать, вдохновение добра, или прямое и положительное действие самого доброго начала на нас и в нас. При таком содействии свыше и ум и совесть становятся надежными помощниками самого добра, и нравственность, вместо всегда сомнительного «хорошего поведения», становится несомненно жизнью в самом добре – органическим ростом и совершенствованием целого человека – внутреннего и внешнего, лица и общества, народа и человечества, чтобы завершиться живым единством воскрешаемого былого с осуществляемым будущим в том вечном настоящем Царства Божия, которое хотя будет и на земле, но лишь на новой земле, любовно обрученной с новым небом.

КНЯЗЬ. Я ничего не имею и против таких поэтических метафор, но почему же вы думаете, что в людях, исполняющих волю Божию по евангельским заповедям, отсутствует то, что вы называете «вдохновением добра»?

Г[-н] Z. Не только потому, что я не вижу в их деятельности признаков этого вдохновения, свободных и безмерных порывов любви, – потому что ведь не мерою дает Бог духа, – не вижу также радостного и благодушного спокойствия в чувстве обладания этими дарами, хоть бы только начальными, – но главным образом я потому предполагаю у вас отсутствие религиозного вдохновения, что ведь оно, по-вашему, и не нужно. Если добро исчерпывается исполнением «правила», то где же тут место для вдохновения? «Правило» раз навсегда дано, определено и одинаково для всех. Давший это правило давно умер и, по-вашему, не воскрес, и личного живого существования он для нас ведь не имеет, а безусловное, первоначальное добро представляется вам не как отец светов и духов, который мог бы прямо светить и дышать в вас, а как расчетливый хозяин, пославший вас, наемников, на работу в своем винограднике, а сам живущий где-то за границей и посылающий к вам оттуда за своими доходами.

КНЯЗЬ. Как будто мы сочинили произвольно этот образ!

Г[-н] Z. Нет, но вы произвольно видите в нем высшую норму отношений между человеком и Божеством, произвольно выкидывая из евангельского текста самое существо его – указание на сына и наследника, в котором живет истинная норма богочеловеческого отношения. Хозяин, обязанности к хозяину, воля хозяина. А я на это вам вот что скажу: пока ваш хозяин только налагает на вас обязанности и требует от вас исполнения своей воли, то я не вижу, как вы мне докажете, что это настоящий хозяин, а не самозванец.

КНЯЗЬ. Вот это мне нравится! Да если я по совести и разуму знаю, что требования хозяина выражают только чистейшее добро.

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Г[-н] Z. Виноват, я не о том говорю. Я не спорю, что хозяин требует добра от вас; но разве отсюда следует, что он сам добр?

КНЯЗЬ. А то как же!

Г[-н] Z. Странно! Я всегда думал, что доброе качество кого бы то ни было доказывается не тем, чего он от других требует, а тем, что он сам делает. Если это вам не ясно логически, то вот вам наглядный исторический пример. Московский царь Иван IV в известном письме своем требовал от князя Андрея Курбского, чтобы тот проявил величайшее добро, высочайший нравственный геройзм, отказавшись от противления злу и кротко подвергшись мученической смерти за правду. Эта хозяйская воля была волей добра со стороны того, что она требовала от другого, однако она ничуть не доказывала, что хозяин, требовавший такого добра, был добрый. Ясно, что хотя мученичество за правду есть высочайшее нравственное благо, но это ничуть не говорит в пользу Ивана IV, так как он-то ведь был тут не мученик, а мучитель.

КНЯЗЬ. Так что же вы этим хотите сказать?

Г[-н] Z. А то, что покуда вы мне не покажете доброго качества вашего хозяина в его собственных дела, а не в словесных только предписаниях его рабочим, то я останусь при своей уверенности, что этот ваш далекий хозяин, требующий добра от других, но сам никакого добра не делающий, налагающий обязанности, но не проявляющий любви, никогда не показывавшийся вам на глаза, а живущий где-то за границей *incognito*, – что он есть не иной кто, как бог века сего...

ГЕНЕРАЛ. Вот оно, инкогнито проклятое!

ДАМА. Ах, не говорите! Как страшно – с нами крестная сила! (Крестится).

КНЯЗЬ. Можно было заранее предвидеть что-нибудь в этом роде.

Г[-н] Z. Я не сомневаюсь, князь, что вы по искреннему заблуждению принимаете ловкого самозванца за настоящего Бога. Ловкость самозванца есть для вас большое смягчающее обстоятельство; я и сам не сразу разобрал, в чем тут дело; но теперь уже для меня нет никаких сомнений, и вы поймете, с каким чувством я должен смотреть на то, что я считаю обманчивой и соблазнительной личиной добра...

ДАМА. Ну что вы, ведь это обидно!

КНЯЗЬ. Уверяю вас, что я нисколько не обижен. Ведь тут был поставлен общий и довольно интересный вопрос, и мне странно, что мой собеседник, по-видимому, воображает, будто этот вопрос может быть обращен только ко мне, а не к нему также. Вы требуете от меня показать вам собственные добрые дела моего хозяина, свидетельствующие, что он есть начало добра, а не зла. Ну а сами вы какое такое укажете доброе дело вашего хозяина, которое я не мог бы приписать и своему?

ГЕНЕРАЛ. Да ведь уж указано одно дело, которым держится все остальное.

КНЯЗЬ. А именно?

Г[-н] Z. Действительная победа над злом в действительном воскресении. Только этим, повторяю, открывается и действительное Царство Божие, а без этого есть лишь царство смерти и греха и творца их, диавола. Воскресение – только не в переносном смысле, а в настоящем – вот документ истинного Бога.

КНЯЗЬ. Да, если вам угодно верить в такую мифологию! Я ведь у вас спрашиваю фактов, которые можно доказать, а не ваших верований.

Г[-н] Z. Потише, потише, князь! Мы оба исходим из одной веры, или, если хотите, мифологии, только я последовательно провожу ее до конца, а вы вопреки логике произвольно останавливаетесь в начале пути. Силу добра и его будущее торжество на земле вы ведь признаете?

КНЯЗЬ. Признаю.

Г[-н] Z. Что же это: факт или вера?

Г[-н] Z. Посмотрим. Разум, как нас учили в семинарии, требует, между прочим, ничего не допускать без достаточного основания. Скажите же мне, пожалуйста, на каком достаточном основании, признав силу добра в нравственном исправлении и совершенствовании человека и человечества, вы признаете добро бессильным против смерти?

КНЯЗЬ. А я думаю, что вам нужно сказать, почему вы приписываете добру какую-то силу за пределами нравственной сферы?

Г[-н] Z. Я-то скажу. Раз я верю в добро и в его собственную силу и в самом понятии этой добродетели утверждается ее существенное и безусловное превосходство, то я логически признаю такую силу неограниченную, и ничто не препятствует мне верить в истину воскресения, засвидетельствованную исторически. Впрочем, если бы вы с самого начала так прямо сказали, что вам до христианской веры нет дела, что ее предмет для вас – мифология, то я, конечно, воздержался бы от той враждебности к вашему образу мыслей, которой я не мог от вас скрыть; ведь заблуждение или ошибка в фальшив не ставится, и враждовать с людьми из-за их теоретических заблуждений – значит давать себе атtestат слишком малого ума, слишком слабой веры и слишком дрянного сердца. А всякий действительно верующий и тем самым свободный от этих излишеств тупоумия, малодушия и бессердечности должен с искренним расположением смотреть на прямого, откровенного, словом – честного противника и отрицателя религиозных истин. Ведь это по нынешним временам такая редкость, и мне трудно вам передать, с каким особым удовольствием я гляжу на явного врага христианства. Чуть не во всяком из них я готов видеть будущего апостола Павла, тогда как в иных ревнителях христианства поневоле мерещится Иуда-предатель. Но вы, князь, так откровенно высказались, что я решительно отказываюсь причислять вас к бесчисленным ныне Иудам и Иудушкам и уже предвижу ту минуту, когда почувствую к вам то самое доброе расположение, которое вызывают во мне многие отъявленные безбожники и нехристи.

ПОЛИТИК. Ну, так как теперь благополучно выяснилось, что ни эти безбожники и нехристи, ни такие «истинные христиане», как вот князь, не представляют собою антихриста, то пора вам наконец показать его собственный портрет.

Г[-н] Z. Вот вы чего хотели! А разве вы довольны хоть одним из множества изображений Христа, которые делались ведь иногда гениальными живописцами? Я ни одного удовлетворительного изображения не знаю. Полагаю, что такого и не может быть по той причине, что Христос есть индивидуальное, единственное в своем роде и, следовательно, ни на что другое не похожее воплощение своей сущности – добра. Чтобы это изобразить – недостаточно и художественного гения. Но ведь то же должно сказать и об антихристе: это такое же индивидуальное, единственное по законченности и полноте воплощение зла. Портрета его показать нельзя. В церковной литературе мы находим только его паспорт с общими и особыми приметами...

ДАМА. Не нужно его портрета, упаси Господи! А вы лучше объясните, зачем сам-то он нужен, по-вашему, в чем сущность его дела и скоро ли он придет?

Г[-н] Z. Ну, я могу вас удовлетворить лучше, чем вы думаете. Несколько лет тому назад один мой товарищ по академии, потом постриженный в монахи, умирая, завещал мне свою рукопись, которую он очень дорожил, но не хотел и не мог печатать ее. Она называется: «Краткая повесть об антихристе». Хотя под формой вымысла, или в виде заранее воображенной исторической картины, это сочинение дает, на мой взгляд, все то, что по Священному Писанию, церковному преданию и здравому разуму можно сказать наиболее вероятного об этом предмете.

ПОЛИТИК. Да это уж не нашего ли знакомца Варсонофия произведение?

Г[-н] Z. Нет, этого звали еще изысканнее – Пансофий.

ПОЛИТИК. Пан Софий? Поляк?

Г[-н] Z. Нисколько. Из русских поповичей. Если позволите мне на минуту подняться в мою комнату, я принесу и прочту вам эту рукопись. Она не велика.

ДАМА. Идите, идите! Только не пропадайте.

* * *

(Пока г[-н] Z ходил к себе за рукописью, общество поднялось с места и прохаживалось по саду.)

ПОЛИТИК. Не знаю, что это такое: зрение ли у меня туманится от старости, или в природе что-нибудь делается? Только я замечаю, что ни в какой сезон и ни в какой местности нет уж теперь больше тех ярких, а то совсем прозрачных дней, какие бывали прежде во всех климатах. Ведь вот сегодня: ни одного облачка, от моря довольно далеко, а все как будто чем-то подернуто, тонким чем-то, неуловимым, а полной ясности все-таки нет. Вы замечаете, генерал?

ГЕНЕРАЛ. Я уж много лет как заметил.

ДАМА. А я вот с прошлого года стала тоже замечать, и не только в воздухе, но и в душе: и здесь нет «полной ясности», как вы говорите. Все какая-то тревога и как будто предчувствие какое-то зловещее. Я уверена, что и вы, князь, то же самое чувствуете.

КНЯЗЬ. Нет, я ничего особенного не замечал: воздух, кажется, как всегда.

ГЕНЕРАЛ. Да вы слишком молоды, чтобы заметить разницу: сравнивать вам не с чем. Ну а как припомнишь пятидесятые годы, так оно чувствительно.

КНЯЗЬ. Я думаю, что первое предположение верно: это явление ослабленного зрения.

ГЕНЕРАЛ. Что мы стареем – это несомненно; но и земля ведь тоже не молодеет: вот и чувствуется какое-то обоядное утомление.

ГЕНЕРАЛ. А еще вернее, что это черт своим хвостом туман на свет Божий намахивает. Тоже знамение антихриста!

ДАМА (указывая на г[-на] Z, спускающегося с террасы). Вот об этом сейчас что-нибудь узнаем.

(Все сели на прежние места, и г[-н] Z стал читать принесенную им рукопись.)

КРАТКАЯ ПОВЕСТЬ ОБ АНТИХРИСТЕ

Панмонголизм! Хоть имя дико,
Но мне ласкает слух оно,
Как бы предвестием великой
Судьбины Божией полно...
ДАМА. Откуда этот эпиграф?

Г[-н] Z. Я думаю, что это автор повести сам сочинил.

ДАМА. Ну, читайте.

Г[-н] Z (читает):

ХХ век по Р. Х. был эпохой последних великих войн, междуусобий и переворотов. Самая большая из внешних войн имела своею отдаленою причиною возникшее еще в конце XIX века в Японии умственное движение панмонголизма. Подражательные японцы, с удивительною быстротою и успешностью перенявши вещественные формы европейской культуры, усвоили также и некоторые европейские идеи низшего порядка. Узнав из газет и из исторических учебников о существовании на Западе панэллинизма, пангерманализма, панславизма, панисламизма, они провозгласили великую идею панмонголизма, т. е. собрание воедино, под своим главенством, всех народов Восточной Азии с целью решительной борьбы против чужеземцев, т. е. европейцев. Воспользовавшись тем, что Европа была занята последнею решительною борьбою с мусульманским миром в начале ХХ века, они приступили к осуществлению великого плана – сперва занятием Кореи, а затем и Пекина, где они с помощью прогрессивной китайской партии низвергли старую маньчжурскую династию и посадили на ее место японскую. С этим скоро примирились и китайские консерваторы. Они поняли, что из двух зол лучше выбрать меньшее и что свой своему поневоле брат. Государственная самостоятельность старого Китая все равно была не в силах держаться, и неизбежно было подчиниться или

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
европейцам, или японцам. Но ясно было, что владычество японцев, упраздняя
внешние формы китайской государственности, оказавшиеся притом очевидно
никуда не годными, не касалось внутренних начал национальной жизни, тогда
как преобладание европейских держав, поддерживавших ради политики
христианских миссионеров, грозило глубочайшим духовным устоям Китая.
Прежняя национальная ненависть китайцев к японцам выросла тогда, когда ни
те, ни другие не знали европейцев, перед лицом которых эта вражда двух
сродных наций становилась междуусобием, теряла смысл. Европейцы были вполне
чужие, только враги, и их преобладание ничем не могло льстить племенному
самолюбию, тогда как в руках Японии китайцы видели сладкую приманку
панмонголизма, который вместе с тем оправдывал в их глазах и печальную
неизбежность внешней европеизации. «Поймите, упрямые братья, – твердили
японцы, – что мы берем у западных собак их оружие не из пристрастия к ним,
а для того, чтобы бить их этим же оружием. Если вы соединитесь с нами и
примете наше практическое руководство, то мы скоро не только изгоним белых
дьяволов из нашей Азии, но завоюем и их собственные страны и осnuем
настоящее Срединное царство надо всею вселеною. Вы правы в своей народной
гордости и в своем презрении к европейцам, но вы напрасно питаете эти
чувства одними мечтаниями, а не разумною деятельностью. В ней мы вас
опередили и должны вам показывать пути общей пользы. А не то смотрите сами,
что вам дала ваша политика самоуверенности и недоверия к нам – вашим
естественным друзьям и защитникам: Россия и Англия, Германия и Франция чуть
не поделили вас между собою без остатка, и все ваши тигровые затеи показали
только бессильный кончик змеиного хвоста». Рассудительные китайцы находили
это основательным, и японская династия прочно утвердилаась. Первою ее
заботою было, разумеется, создание могучей армии и флота. Большая часть
военных сил Японии была переведена в Китай, где составила кадры новой
огромной армии. Японские офицеры, говорившие по-китайски, действовали как
инструкторы гораздо успешнее отстраненных европейцев, а в бесчисленном
населении Китая с Маньчжурией, Монголией и Тибетом нашлось достаточно
пригодного боевого материала. Уже первый богдыхан из японской династии мог
сделать удачную пробу оружия обновленной империи, вытеснив французов из
Тонкина и Сиама, а англичан из Бирмы и включивши в Срединную империю весь
Индокитай. Преемник его, по матери китаец, соединявший в себе китайскую
хитрость и упругость с японскою энергией, подвижностью и предприимчивостью,
мобилизирует в китайском Туркестане четырехмиллионную армию, и, в то время
как Цун Лиямынь конфиденциально сообщил русскому послу, что эта армия
предназначена для завоевания Индии, богдыхан вторгается в нашу Среднюю Азию
и, поднявши здесь все население, быстро двигается через Урал и наводняет
своими полками всю Восточную и Центральную Россию, тогда как наскоро
мобилизуемые русские войска частями спешат из Польши и Литвы, Киева и
Волыни, Петербурга и Финляндии. При отсутствии предварительного плана войны
и при огромном численном перевесе неприятеля боевые достоинства русских
войск позволяют им только гибнуть с честью. Быстрота нашествия не оставляет
времени для должной концентрации, и корпуса истребляются один за другим в
ожесточенных и безнадежных боях. И монголам это достается не дешево, но они
легко пополняют свою убыль, завладевши всеми азиатскими железными дорогами,
в то время как двухсоттысячная русская армия, давно собранная у границ
Маньчжурии, делает неудачную попытку вторжения в хорошо защищенный Китай.
Оставив часть своих сил в России, чтобы мешать формированию новых войск, а
также для преследования размножившихся партизанских отрядов, богдыхан тремя
армиями переходит границы Германии. Здесь успели подготовиться, и одна из
монгольских армий разбита наголову. Но в это время во Франции берет верх
партия запоздалого реванша, и скоро в тылу у немцев оказывается миллион
вражьих штыков. Попав между молотом и наковалней, германская армия
принуждена принять почетные условия разоружения, предложенные богдыханом.
Ликующие французы, братаясь с желтолицами, рассыпаются по Германии и скоро
теряют всякое представление о военной дисциплине. Богдыхан приказывает
своим войскам перерезать ненужных более союзников, что исполняется с
китайскою аккуратностью. В Париже происходит восстание рабочих sans
patrie,[54] и столица западной культуры радостно отворяет ворота владыке
Востока. Удовлетворив своему любопытству, богдыхан отправляется в
приморскую Булонь, где под прикрытием флота, подошедшего из Тихого океана,
готовятся транспортные суда, чтобы переправить его войска в Великобританию.
Но ему нужны деньги, и англичане откупаются миллиардом фунтов. Через год
все европейские государства признают свою вассальную зависимость от
богдыхана, и, оставив в Европе достаточное оккупационное войско, он
возвращается на Восток и предпринимает морские походы в Америку и
Австралию. Полвека длится новое монгольское иго над Европой. Со стороны
внутренней эта эпоха знаменуется повсюдным смешением и глубоким
взаимопроникновением европейских и восточных идей, повторением en grand

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
древнегоalexандрийского синкретизма; а в практических областях жизни
наиболее характерными становятся три явления: широкий наплыв в Европу
китайских и японских рабочих и сильное обострение вследствие этого
социально-экономического вопроса; продолжающийся со стороны правящих
классов ряд паллиативных опытов решения этого вопроса и усиленная
международная деятельность тайных общественных организаций, образующих
обширный всеевропейский заговор с целью изгнания монголов и восстановления
европейской независимости. Этот колоссальный заговор, в котором принимали
участие и местные национальные правительства, насколько это было возможно
при контроле богдыханских наместников, мастерски подготовлен и удается
блестящим образом. В назначенный срок начинается резня монгольских солдат,
избиение и изгнание азиатских рабочих. По всем местам открываются тайные
кадры европейских войск и по задолго составленному подробнейшему плану
происходит всеобщая мобилизация. Новый богдыхан, внук великого завоевателя,
поспешает из Китая в Россию, но здесь его несметные полчища наголову
разбиты всеевропейскою армией. Их рассеянные остатки возвращаются в глубь
Азии, и Европа становится свободною. Если полуувековое подчинение азиатским
варварам произошло вследствие разъединения государств, думавших только о
своих отдельных национальных интересах, то великое и славное освобождение
достигнуто международною организацией соединенных сил всего европейского
населения. Естественным следствием этого очевидного факта оказывается то,
что старый, традиционный строй отдельных наций повсюду теряет значение и
почти везде исчезают последние остатки старых монархических учреждений.
Европа в XXI веке представляет союз более или менее демократических
государств – европейские соединенные штаты. Успехи внешней культуры,
несколько задержанные монгольским нашествием и освободительною борьбою,
снова пошли ускоренным ходом. А предметы внутреннего сознания – вопросы о
жизни и смерти, об окончательной судьбе мира и человека, – осложненные и
запутанные множеством новых физиологических и психологических исследований
и открытий, остаются по-прежнему без разрешения. Выясняется только один
важный отрицательный результат: решительное падение теоретического
материализма. Представление о вселенной как о системе пляшущих атомов и о
жизни как результате механического накопления мельчайших изменений вещества
– таким представлением не удовлетворяется более ни один мыслящий ум.
Человечество навсегда переросло эту ступень философского младенчества. Но
ясно становится, с другой стороны, что оно также переросло и младенческую
способность наивной, безотчетной веры. Таким понятиям, как Бог, сделавший
мир из ничего и т. д., перестают уже учить и в начальных школах. Выработан
некоторый общий повышенный уровень представлений о таких предметах, ниже
которого не может опускаться никакой догматизм. И если огромное большинство
мыслящих людей остается все же верующими, то немногие верующие все по
необходимости становятся и мыслящими, исполняя предписание апостола: будьте
младенцами по сердцу, но не по уму.

Был в это время между немногими верующими-спиритуалистами один
замечательный человек – многие называли его сверхчеловеком, – который был
одинаково далек как от умственного, так и от сердечного младенчества. Он
был еще юн, но благодаря своей высокой гениальности к тридцати трем годам
широко прославился как великий мыслитель, писатель и общественный деятель.
Сознавая в самом себе великую силу духа, он был всегда убежденным
спиритуалистом, и ясный ум всегда указывал ему истину того, во что должно
верить: добро, Бога, Мессию. В это он верил, но любил он только одного
себя. Он верил в Бога, но в глубине души невольно и безотчетно предпочитал
Ему себя. Он верил в добро, но всевидящее око Вечности зело, что этот
человек преклонится перед злую силой, лишь только она подкупит его – не
обманом чувств и низких страсти и даже не высокою приманкой власти, а чрез
одно безмерное самолюбие. Впрочем, это самолюбие не было ни безотчетным
инстинктом, ни безумным притязанием. Помимо исключительной гениальности,
красоты и благородства, высочайшие проявления воздержания, бескорыстия и
деятельной благотворительности, казалось, достаточно оправдывали огромное
самолюбие великого спиритуалиста, аскета и филантропа. И обвинять ли его за
то, что, столь обильно снабженный дарами Божиими, он увидел в них особые
знаки исключительного благоволения к нему свыше и счел себя вторым по Боге,
единственным в своем роде сыном Божиим. Одним словом, он признал себя тем,
чем в действительности был Христос. Но это сознание своего высшего
достоинства на деле определилось в нем не как его нравственная обязанность
к Богу и миру, а как его право и преимущество перед другими, и прежде всего
перед Христом. У него не было первоначально вражды и к Иисусу. Он признавал
Его мессианское значение и достоинство, но он искренно видел в нем лишь
своего величайшего предшественника, – нравственный подвиг Христа и Его
абсолютная единственность были непонятны для этого омраченного самолюбием

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org ума. Он рассуждал так: «Христос пришел раньше меня; я являюсь вторым; но ведь то, что в порядке времени является после, то по существу первое. Я прихожу последним, в конце истории именно потому, что я совершенный, окончательный спаситель. Тот Христос – мой предтеча, Его призвание было – предварить и подготовить мое явление. И в этой мысли великий человек XXI века будет применять к себе все, что сказано в Евангелии о втором пришествии, объясняя это пришествие не как возвращение того же Христа, а как замещение предварительного Христа окончательным, то есть им самим.

На этой стадии грядущий человек представляет еще не много характерного и оригинального. Ведь подобным же образом смотрел на свое отношение к Христу, например, Мухаммед, человек правдивый, которого ни в каком злом умысле нельзя обвинить.

Самолюбивое предпочтение себя Христу будет оправдываться у этого человека еще таким рассуждением: «Христос, проповедуя и в жизни своей проявляя нравственное добро, был исправителем человечества, я же призван быть благодетелем этого отчасти исправленного, отчасти неисправимого человечества. Я дам всем людям все, что нужно. Христос, как моралист, разделял людей добром и злом, я соединю их благами, которые одинаково нужны и добрым, и злым. Я буду настоящим представителем того Бога, который возводит солнце свое над добрыми и злыми, дождит на праведных и неправедных. Христос принес меч, я принесу мир. Он грозил земле страшным последним судом. Но ведь последним судьею буду я, и суд мой будет не судом правды только, а судом милости. Будет и правда в моем суде, но не правда воздаятельная, а правда распределительная. Я всех различу и каждому дам то, что ему нужно».

И вот в этом прекрасном расположении ждет он какого-нибудь ясного призыва Божия к делу нового спасения человечества, какого-нибудь явного и поразительного свидетельства, что он есть старший сын, возлюбленный первенец Божий. Ждет и питает свою самость сознанием своих сверхчеловеческих добродетелей и дарований – ведь это, как сказано, человек безупречной нравственности и необычайной гениальности.

Ждет горделивый праведник высшей санкции, чтобы начать свое спасение человечества, – и не дождается. Ему уж минуло тридцать лет, проходят еще три года. И вот мелькает в его уме и до мозга костей горячею дрожью пронизывает его мысль: «А если?... А вдруг не я, а тот... галилеянин... Вдруг он не предтеча мой, а настоящий, первый и последний? Но ведь тогда он должен быть жив... Где же Он?... Вдруг Он придет ко мне... сейчас, сюда... Что я скажу Ему? Ведь я должен буду склониться перед Ним, как последний глупый христианин, как русский мужик какой-нибудь, бессмысленно бормотать: «Господи Сусе Христе, помилуй мя грешного», или, как польская баба, растянуться кжижем? Я, светлый гений, сверхчеловек. Нет, никогда!» И тут же на место прежнего разумного холодного уважения к Богу и Христу зарождается и растет в его сердце сначала какой-то ужас, а потом жгучая и все его существо сжимающая и стягивающая зависть и яростная, захватывающая дух ненависть. «Я, я, я не Он! Нет ЕГО в живых, нет и не будет. Не воскрес, не воскрес, не воскрес! Сгнил, сгнил в гробнице, сгнил, как последняя...» И с пенящимся ртом, судорожными прыжками выскакивает он из дома, из саду и в глухую черную ночь бежит по скалистой тропинке... Ярость утихла и сменилась сухим и тяжелым, как эти скалы, мрачным, как эта ночь, отчаянием. Он остановился у отвесного обрыва и услышал далеко внизу смутный шум бегущего по камням потока. Нестерпимая тоска давила его сердце. Вдруг в нем что-то шевельнулось. «Позвать Его, спросить, что мне делать?» И среди темноты ему представился кроткий и грустный образ. «Он меня жалеет... Нет, никогда! Не воскрес, не воскрес!» – И он бросился с обрыва. Но что-то упругое, как водяной столб, удержало его в воздухе, он почувствовал сотрясение, как от электрического удара, и какая-то сила отбросила его назад. На миг он потерял сознание и очнулся стоящим на коленях в нескольких шагах от обрыва. Перед ним обрисовалась какая-то светящаяся фосфорическим туманным сиянием фигура, и из ее глаза нестерпимым острым блеском пронизывали его душу...

Видит он эти два пронзительные глаза и слышит не то внутри себя, не то снаружи какой-то странный голос, глухой, точно сдавленный, и вместе с тем отчетливый, металлический и совершенно бездушный, вроде как из фонографа. И этот голос говорит ему: «Сын мой возлюбленный, в тебе все мое благоволение. Зачем ты не взыскал меня? Зачем почитал того, дурного и отца его? Я бог и отец твой. А тот нищий, распятый – мне и тебе чужой. У меня нет другого сына, кроме тебя. Ты единственный, единородный, равный со мной. Я люблю

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
тебя и ничего от тебя не требую. Ты и так прекрасен, велик, могуч. Делай
твое дело во имя твое, не мое. У меня нет зависти к тебе. Я люблю тебя. Мне
ничего не нужно от тебя. Тот, кого ты считал богом, требовал от своего сына
послушания, и послушания беспредельного – до крестной смерти, и он не помог
ему на кресте. Я ничего от тебя не требую, и я помогу тебе. Ради тебя
самого, ради твоего собственного достоинства и превосходства и ради моей
чистой, бескорыстной любви к тебе – я помогу тебе. Прими дух мой. Как
прежде мой дух родил тебя в красоте, так теперь он рождает тебя в силе». И
с этими словами неведомого уста сверхчеловека невольно разомкнулись, два
пронзительные глаза совсем приблизились к лицу его, и он почувствовал, как
острая ледяная струя вошла в него и наполнила все существо его. И с тем
вместе он почувствовал небывалую силу, бодрость, легкость и восторг. В тот
же миг светящийся облик и два глаза вдруг исчезли, что-то подняло
сверхчеловека над землею и разом опустило в его саду, у дверей дома.

На другой день не только посетители великого человека, но даже его слуги
были изумлены его особенным, каким-то вдохновенным видом. Но они были бы
еще более поражены, если бы могли видеть, с какою сверхъестественною
быстрою и легкостью писал он, запервшись в своем кабинете, свое знаменитое
сочинение под заглавием: «Открытый путь к вселенскому миру и
благоденствию».

Прежние книги и общественные действия сверхчеловека встречали строгих
критиков, хотя это были большей частью люди особенно религиозные и потому
лишенные всякого авторитета, – ведь я о времени пришествия антихриста
говорю, – так что не многие их слушали, когда они указывали во всем, что
писал и говорил «грядущий человек», признаки совершенно исключительного,
напряженного самолюбия и самомнения при отсутствии истинной простоты,
прямоты и сердечности.

Но своим новым сочинением он привлекает к себе даже некоторых из своих
прежних критиков и противников. Эта книга, написанная после приключения на
обрыве, покажет в нем небывалую прежде силу гения. Это будет что-то
всеобъемлющее и примиряющее все противоречия. Здесь соединятся благородная
почтительность к древним преданиям и символам с широким и смелым
радикализмом общественно-политических требований и указаний, неограниченная
свобода мысли с глубочайшим пониманием всего мистического, безусловный
индивидуализм с горячею преданностью общему благу, самый возвышенный
идеализм руководящих начал с полной определенностью и жизненностью
практических решений. И все это будет соединено и связано с таким
гениальным художеством, что всякому одностороннему мыслителю или деятелю
легко будет видеть и принять целое лишь под своим частным наличным углом
зрения, ничем не жертвуя для самой истины, не возвышаясь для нее
действительно над своим я, нисколько не отказываясь на деле от своей
односторонности, ни в чем не исправляя ошибочности своих взглядов и
стремлений, ничем не восполняя их недостаточность. Эта удивительная книга
сейчас будет переведена на языки всех образованных и некоторых
необразованных наций. Тысячи газет во всех частях света будут целый год
наполняться издательскими рекламами и восторгами критиков. Дешевые издания
с портретами автора будут расходиться в миллионах экземпляров, и весь
культурный мир, – а в то время это будет почти значить то же, что весь
земной шар, – наполнится славою несравненного, великого, единственного!
Никто не будет возражать на эту книгу, она покажется каждому откровением
всеселой правды. Всему прошедшему будет воздана в ней такая полная
справедливость, все текущее оценено так беспристрастно и всесторонне, и
лучшее будущее так наглядно и осозательно придинуто к настоящему, что
всякий скажет: «Вот оно, то самое, что нам нужно; вот идеал, который не
есть утопия, вот замысел, который не есть химера». И чудный писатель не
только увлечет всех, но он будет всякому приятен, так что исполнится слово
Христово: «Я пришел во имя Отца, и не принимаете меня, а придет другой во
имя свое, – того примете». Ведь для того, чтобы быть принятым, надо быть
приятным.

Правда, некоторые благочестивые люди, горячо восхваляя эту книгу, станут
задавать только вопрос, почему в ней ни разу не упомянуто о Христе, но
другие христиане возразят: «И слава Богу! – довольно уже в прошлые века все
священное было затаскано всякими непризванными ревнителями, и теперь
глубоко религиозный писатель должен быть очень осторожен. И раз содержание
книги проникнуто истинно христианским духом деятельной любви и
всеобъемлющего благоволения, то что же вам еще?» И с этим все согласятся.–
Вскоре после появления «Открытого пути», который сделал своего автора самым

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
популярным изо всех людей, когда-либо появлявшихся на свете, должно было
происходить в Берлине международное учредительное собрание союза
европейских государств. Союз этот, установленный после ряда внешних и
внутренних войн, связанных с освобождением от монгольского ига и
значительно изменивших карту Европы, подвергался опасности от столкновений
– теперь уже не между нациями, а между политическими и социальными
партиями. Заправили общей европейской политики, принадлежавшие к
могущественному братству франкмасонов, чувствовали недостаток общей
исполнительной власти. Достигнутое с таким трудом европейское единство
каждую минуту готово было опять распасться. В союзном совете или всемирной
управе (Comité permanent universe[55]) не было единодушия, так как не все
места удалось занять настоящими, посвященными в дело масонами. Независимые
члены управы вступали между собою в сепаратные соглашения, и дело грозило
новою войною. Тогда «посвященные» решили учредить единоличную
исполнительную власть с достаточными полномочиями. Главным кандидатом был
негласный член ордена – «грядущий человек». Он был единственным лицом с
великою всемирною знаменитостью. Будучи по профессии ученым-артиллеристом,
а по состоянию крупным капиталистом, он повсюду имел дружеские связи с
финансовыми и военными кругами. Против него в другое, менее просвещенное
время говорило бы то обстоятельство, что происхождение его было покрыто
глубоким мраком неизвестности. Мать его, особа снисходительного поведения,
была отлично известна обоим земным полушариям, но слишком много разных лиц
имели одинаковый повод считаться его отцами. Эти обстоятельства, конечно,
не могли иметь никакого значения для века столь передового, что ему даже
пришлось быть последним. Грядущий человек был выбран почти единогласно в
пожизненные президенты Европейских Соединенных Штатов, когда же он явился
на трибуне во всем блеске своей сверхчеловеческой юной красоты и силы и с
вдохновенным красноречием изложил свою универсальную программу, увлеченное
и очарованное собрание в порыве энтузиазма без голосования решило воздать
ему высшую почесть избранием в римские императоры. Конгресс закрылся среди
всеобщего ликования, и великий избранник издал манифест, начинавшийся так:
«Народы Земли! Мир мой даю вам!» – и кончавшийся такими словами: «Народы
Земли! Свершились обетования! Вечный вселенский мир обеспечен. Всякая
попытка его нарушить сейчас же встретит неодолимое противодействие. Ибо
отныне есть на земле одна срединная власть, которая сильнее всех прочих
властей и порознь, и вместе взятых. Эта ничем не одолимая, все
превозмогающая власть принадлежит мне, полномочному избраннику Европы,
императору всех ее сил. Международное право имеет наконец недостававшую ему
доселе санкцию. И отныне никакая держава не осмелится сказать: „Война“,
когда я говорю: „Мир“. Народы Земли – мир вам!» Этот манифест произвел
желанное действие. Повсюду вне Европы, особенно в Америке, образовались
сильные империалистские партии, которые заставили свои государства на
разных условиях присоединиться к Европейским Соединенным Штатам под
верховною властью римского императора. Оставались еще независимыми племена
и державцы кое-где в Азии и Африке. Император с небольшою, но отборною
армией из русских, немецких, польских, венгерских и турецких полков
совершает военную прогулку от Восточной Азии до Марокко и без большого
кровопролития подчиняет всех непокорных. Во всех странах двух частей света
он ставит своих наместников из европейски образованных и преданных ему
туземных вельмож. Во всех языческих странах пораженное и очарованное
население провозглашает его верховным богом. В один год основывается
всемирная монархия в собственном и точном смысле. Ростки войны вырваны с
корнем. Всеобщая лига мира сошлась в последний раз и, провозгласив
восторженный панегирик великому миротворцу, закрыла себя за ненадобностью.
В новый год своего властования римский и всемирный император издает новый
манифест: «Народы Земли! Я обещал вам мир, и я дал вам его. Но мир красен
только благоденствием. Кому при мире грозят бедствия нищеты, тому и мир не
радость. Придите же ко мне теперь все голодные и холодные, чтобы я насытил
и согрел вас». И затем он объявляет простую и всеобъемлющую социальную
реформу, уже намеченную в его сочинении и там уже пленявшую все благородные
и трезвые умы. Теперь благодаря сосредоточению в его руках всемирных
финансов и колоссальных поземельных имуществ он мог осуществить эту реформу
по желанию бедных и без ощущительной обиды для богатых. Всякий стал
получать по своим способностям, и всякая способность – по своим трудам и
заслугам.

Новый владыка земли был прежде всего сердобольным филантропом – и не только
филантропом, но и филозоем. Сам он был вегетарианцем, он запретил
вивисекцию и учредил строгий надзор за боянями; общества покровительства
животных всячески поощрялись им. Важнее этих подробностей было прочное
установление во всем человечестве самого основного равенства – равенства

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
всеобщей сытости. Это совершилось во второй год его царствования.
Социально-экономический вопрос был окончательно решен. Но если сытость есть
первый интерес для голодных, то сытым хочется чего-нибудь другого.

даже сытые животные хотят обыкновенно не только спать, но и играть. Тем
более человечество, которое всегда post panem требовало circenses.[56]

Император-сверхчеловек поймет, что нужно его толпе. В это время с дальнего
Востока прибудет к нему в Рим великий чудодей, окутанный в густое облако
странных былей и диких сказок. По слухам, распространенным среди
необуддистов, он будет происхождения божественного – от солнечного бога
Сури и какой-то речной нимфы.

Этот чудодей, по имени Аполлоний, человек несомненно гениальный, полуазиат
и полуевропеец, католический епископ *in partibus infidelium*,[57]
удивительным образом соединит в себе обладание последними выводами и
техническими приложениями западной науки с знанием и умением пользоваться
всем тем, что есть действительно солидного и значительного в традиционной
мистике Востока. Результаты такого сочетания будут поразительны. Аполлоний
дойдет, между прочим, до полунаучного, полумагического искусства
притягивать и направлять по своей воле атмосферическое электричество, и в
народе будут говорить, что он сводит огонь с небес. Впрочем, поражая
воображение толпы разными неслыханными диковинками, он не будет до времени
 злоупотреблять своим могуществом для каких-нибудь особенных целей. Так вот,
этот человек придет к великому императору, поклонится ему как истинному
сыну Божию, объявит, что в тайных книгах Востока он нашел прямые
предсказания о нем, императоре, как о последнем спасителе и судии вселенной
и предложит ему на службу себя и все свое искусство. Очарованный им
император примет его как дар свыше и, украсив его пышными титулами, не
будет уже более с ним разлучаться. И вот народы Земли,
благодетельствованные своим владыкой, кроме всеобщего мира, кроме всеобщей
сытости получат еще возможность постоянного наслаждения самыми
разнообразными и неожиданными чудесами и знамениями. Кончался третий год
царствования сверхчеловека.

После благополучного решения политического и социального вопроса поднялся
вопрос религиозный. Его возбудил сам император, и прежде всего по отношению
к христианству. В это время христианство находилось в таком положении. При
очень значительном численном уменьшении своего состава – на всем земном
шаре оставалось не более сорока пяти миллионов христиан – оно нравственно
подобралось и подтянулось и выигрывало в качестве, что теряло в количестве.
Людей, не соединенных с христианством никаким духовным интересом, более уже
не числилось между христианами. Различные вероисповедания довольно
равномерно уменьшились в своем составе, так что между ними сохранялось
приблизительно прежнее словесное отношение; что же касается до взаимных
чувств, то хотя вражда не заменилась полным примирением, но значительно
смягчилась, и противоположения потеряли свою прежнюю остроту. Папство уже
давно было изгнано из Рима и после многих скитаний нашло приют в Петербурге
под условием воздерживаться от пропаганды здесь и внутри страны. В России
оно значительно опростилось. Не изменения существенно необходимого состава
своих коллегий и официй, оно должно было одухотворить характер их
деятельности, а также сократить до минимальных размеров свой пышный ритуал
и церемониал. Многие странные и соблазнительные обычай, хотя формально не
отмененные, сами собою вышли из употребления. Во всех прочих странах,
особенно в Северной Америке, католическая иерархия еще имела много
представителей с твердою волей, неутомимою энергией и независимым
положением, еще сильнее прежнего стянувших единство католической церкви и
сохранявших за нею ее международное, космополитическое значение. Что
касается до протестантства, во главе которого продолжала стоять Германия,
особенно после воссоединения значительной части англиканской церкви с
католической, то оно очистилось от своих крайних отрицательных тенденций,
сторонники которых открыто перешли к религиозному индифферентизму и
неверию. В евангелической церкви остались лишь искренно верующие, во главе
которых стояли люди, соединявшие обширную ученость с глубокою
религиозностью и с все более усилившимся стремлением возродить в себе
живой образ древнего подлинного христианства. Русское православие, после
того как политические события изменили официальное положение церкви, хотя
потеряло многие миллионы своих мнимых, номинальных членов, зато испытало
радость соединения с лучшую частью староверов и даже многих сектантов
положительно-религиозного направления. Эта обновленная церковь, не
возрастая числом, стала расти в силе духа, которую она особенно показала в

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
своей внутренней борьбе с размножившимися в народе и обществе крайними
сектами, не чуждыми демонического и сатанического элемента.

В первые два года нового царствования все христиане, напуганные и утомленные рядом предшествовавших революций и войн, относились к новому повелителю и его мирным реформам частично с благосклонным выжиданием, частично с решительным сочувствием и даже горячим восторгом. Но на третий год, с появлением великого мага, у многих православных, католиков и евангеликов стали возникать серьезные опасения и антипатии. Евангельские и апостольские тексты, говорившие о князе века сего и об антихристе, стали читаться внимательнее и оживленно комментироваться. По некоторым признакам император догадался о собирающейся грозе и решил скорее выяснить дело. В начале четвертого года царствования он издает манифест ко всем своим верным христианам без различия исповедания, приглашая их избрать или назначить полномочных представителей на вселенский собор под его председательством. Резиденция в это время была перенесена из Рима в Иерусалим. Палестина тогда была автономной областью, населенной и управляемой преимущественно евреями. Иерусалим был вольным, а тут сделался имперским городом. Христианские святыни оставались неприкословенными, но на всей обширной платформе Харамэш-Шерифа, от Биркет-Исраин и теперешней казармы, с одной стороны, и до мечети Эль-Акса и «соломоновых конюшен» – с другой, было воздвигнуто одно огромное здание, вмещавшее в себе кроме двух старых небольших мечетей обширный «имперский» храм для единения всех культов и два роскошные императорские дворца с библиотеками, музеями и особыми помещениями для магических опытов и упражнений. В этом полуухраме-полудворце 14-го сентября должен был открыться вселенский собор. Так как евангелическое исповедание не имеет в собственном смысле священства, то католические и православные иерархи, согласно желанию императора, чтобы придать некоторую однородность представительству всех частей христианства, решили допустить к участию на соборе некоторое число своих мирян, известных благочестием и преданностью церковным интересам; а раз были допущены миряне, то нельзя было исключить низшего духовенства, черного и белого. Таким образом, общее число членов собора превышало три тысячи, а около полумиллиона христианских паломников наводнили Иерусалим и всю Палестину. Между членами собора особенно выдавались трое. Во-первых, папа Петр II, по праву стоявший во главе католической части собора. Его предшественник умер по пути на собор, и в Дамаске составился конclave, единогласно избравший кардинала Симоне Барионини, принявшего имя Петра. Происхождения он был простонародного, из Неаполитанской области, и стал известен как проповедник кармелитского ордена, оказавший большие заслуги в борьбе с одною усилившейся в Петербурге и его окрестностях сатаническою сектой, совращавшую не только православных, но и католиков. Сделанный архиепископом могилевским, а потом и кардиналом, он заранее был намечен для тиары. Это был человек лет пятидесяти, среднего роста и плотного сложения, с красным лицом, горбатым носом и густыми бровями. Он был человек горячий и стремительный, говорил с жаром и с размашистыми жестами и более увлекал, чем убеждал слушателей. К всемирному повелителю новый папа выказывал недоверие и нерасположение, особенно после того, как покойный папа, отправляясь на собор, уступил настоянию императора и назначил кардиналом имперского канцлера и великого всемирного мага, экзотического епископа Аполлония, которого Петр считал сомнительным католиком и несомненным обманщиком. Действительным, хотя неофициальным вождем православных был старец Иоанн, весьма известный среди русского народа. Хотя он официально числился епископом «на покое», но не жил ни в каком монастыре, а постоянно странствовал во всех направлениях. Про него ходили разные легенды. Некоторые уверяли, что это воскрес Федор Кузьмич, то есть император Александр Первый, родившийся около трех веков до того. Другие шли дальше и утверждали, что это настоящий старец Иоанн, т. е. апостол Иоанн Богослов, никогда не умиравший и открыто явившийся в последние времена. Сам он ничего не говорил о своем происхождении и о своей молодости. Теперь это был очень древний, но бодрый старик, с желтеющею и даже зеленоющею белизною кудрей и бороды, высокого роста, худой в теле, но с полными и слегка розоватыми щеками, живыми блестящими глазами и умилительно добрым выражением лица и речи, одет он был всегда в белую рясу и мантию. Во главе евангелических членов собора стал ученый немецкий теолог профессор Эрнст Паули. Это был невысокого роста сухой старичок, с огромным лбом, острым носом и гладко выбритым подбородком. Глаза его отличались каким-то особым свирепо-добродушным взглядом. Он ежеминутно потирал руки, качал головой, страшно сдвигал брови и оттопыривал губы; при этом, сверкая глазами, он угремо произносил отрывистые звуки: «So! nun! ja! so also! [58]». Он был одет торжественно – в белом галстуке и длинном пасторском сюртуке с какими-то орденскими знаками.

Открытие собора было впечатляющим. Две трети огромного храма, посвященного «единству всех культов», были уставлены скамьями и другими сиденьями для членов собора, одна треть была занята высокой эстрадой, где, кроме императорского трона и другого — пониже, для великого мага — он же кардинал-имперский канцлер, были ряды кресел сзади для министров, придворных и статс-секретарей, а сбоку более длинные ряды кресел, назначение которых было неизвестно. На хорах были оркестры музыки, а на соседней площади выстроились два гвардейских полка и батареи для торжественных залпов. Члены собора уже отслужили свои богослужения в разных церквях, и открытие собора должно было быть вполне светским. Когда вошел император с великим магистром и свитою и оркестр заиграл «марш единого человечества», служивший имперским международным гимном, все члены собора встали и, махая шляпами, трижды громко прокричали: «*Vivat! Ура! Hoch!*» Император, ставши около трона и с величественною благосклонностью протянувши руку, произнес звучным и приятным голосом: «Христиане всех толков! Возлюбленные мои подданные и братья! От начала моего царствования, которое Вышний благословил такими чудными и славными делами, я ни разу не имел повода быть вами недовольным; вы всегда исполняли свой долг по вере и совести. Но мне этого мало. Моя искренняя любовь к вам, братья возлюбленные, жаждет взаимности. Я хочу, чтобы не по чувству долга, а по чувству сердечной любви вы признали меня вашим истинным вождем во всяком деле, предпринимаемом для блага человечества. И вот, кроме того, что я делаю для всех, я хотел бы оказать вам особые милости. Христиане, чем мог бы я вас осчастливить? Что дать вам не как моим подданным, а как единоверцам, братьям моим? Христиане! Скажите мне, что для вас всего дороже в христианстве, чтоб я мог в эту сторону направить свои усилия?» Он остановился и ждал. По храму носился глухой гул. Члены собора перешептывались между собою. Папа Петр, горячо жестикулируя, толковал что-то своим окружающим. Профессор Паули качал головой и ожесточенно чмокал губами. Старец Иоанн, наклонившись над восточным епископом и капуцином, что-то тихо внушил им. Прождавши несколько минут, император обратился к собору тем же ласковым тоном, но в котором звучала едва уловимая нотка иронии. «Любезные христиане, — сказал он. — Я понимаю, как труден для вас один прямой ответ. Я хочу помочь вам и в этом. Вы, к несчастью, с таких незапамятных времен распались на разные толки и партии, что, может быть, у вас и нет одного общего предмета влечения. Но если вы не можете согласиться между собою, то я надеюсь согласить все ваши партии тем, что окажу им всем одинаковую любовь и одинаковую готовность удовлетворить истинному стремлению каждой. — Любезные христиане! я знаю, что для многих и не последних из вас всего дороже в христианстве тот духовный авторитет, который оно дает своим законным представителям, — не для их собственной выгоды, конечно, а для общего блага, так как на этом авторитете зиждется правильный духовный порядок и нравственная дисциплина, необходимая для всех. Любезные братья-католики! о, как я понимаю ваш взгляд и как бы я хотел опереть свою державу на авторитет вашего духовного главы! Чтобы вы не думали, что это лесть и пустые слова, торжественно объявляем: согласно нашей самодержавной воле, верховный епископ всех католиков, папа римский, восстанавливается отныне на престоле своем в Риме со всеми прежними правами и преимуществами этого звания и кафедры, когда-либо данными от наших предшественников, начиная с императора Константина Великого. — А от вас, братья-католики, я хочу за это лишь внутреннего сердечного признания меня вашим единственным заступником и покровителем. Кто здесь по совести и чувству признает меня таким, пусть идет сюда ко мне». И он указал пустые места на эстраде. И с радостными восклицаниями: «*Gratias agimus! Domine! Salvum fac magnum imperatorem!* [59]» — почти все князья католической церкви, кардиналы и епископы, большая часть верующих мирян и более половины монахов взошли на эстраду и, после низких поклонов по направлению к императору, заняли свои кресла. Но внизу, посередине собора, прямой и неподвижный, как мраморная статуя, сидел на своем месте папа Петр II. Все, что его окружало, было на эстраде. Но оставшаяся внизу поредевшая толпа монахов и мирян сдвинулась к нему и сомкнулась тесным кольцом, и оттуда слышался сдержаный шепот: «*Non praevalebunt, non praevalebunt portae inferni.*» [60]

Взглянув с удивлением на неподвижного папу, император снова возвысил голос: «Любезные братья! Знаю я, что между вами есть и такие, для которых всего дороже в христианстве его священное предание, старые символы, старые песни и молитвы, иконы и чин богослужения. И в самом деле, что может быть дороже этого для религиозной души? Знайте же, возлюбленные, что сегодня подписан мною устав и назначены богатые средства Всемирному музею христианской археологии в славном нашем имперском городе Константинополе с целью

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
собирания, изучения и хранения всяких памятников церковной древности, преимущественно восточной, а вас я прошу завтра же избрать из среды своей комиссию для обсуждения со мною тех мер, которые должны быть приняты с целью возможного приближения современного быта, нравов и обычаев к преданию и установлениям святой православной церкви! Братья православные! Кому по сердцу эта моя воля, кто по сердечному чувству может назвать меня своим истинным вождем и владыкою, пусть взойдет сюда». – И большая часть иерархов Востока и Севера, половина бывших староверов и более половины православных священников, монахов и мирян с радостными кликами взошли на эстраду, косясь на горделиво восседавших там католиков. – Но старец Иоанн не двигался и громко вздохал. И когда толпа вокруг него сильно поредела, он оставил свою скамью и пересел ближе к папе Петру и его кружку. За ним последовали и прочие православные, не пошедшие на эстраду. – Опять заговорил император: «Известны мне, любезные христиане, и такие между вами, что всего более дорожат в христианстве личною уверенностью в истине и свободным исследованием Писания. Как я смотрю на это – нет надобности распространяться. Вы знаете, может быть, что еще в ранней юности я написал большое сочинение по библейской критике, произшедшее в то время некоторый шум и положившее начало моей известности. И вот, вероятно, в память этого здесь на этих днях присыпает мне просьбу Тюбингенский университет принять от него почетный диплом доктора теологии. Я велел отвечать, что с удовольствием и благодарностью принимаю. А сегодня вместе с тем Музеем христианской археологии подписал я учреждение Всемирного института для свободного исследования Священного писания со всевозможных сторон и во всевозможных направлениях и для изучения всех вспомогательных наук, с 1 ½ миллиона марок годового бюджета. Кому из вас по сердцу такое мое душевное расположение и кто может по чистому чувству признать меня своим державным вождем, прошу сюда к новому доктору теологии». – И прекрасные уста великого человека слегка передернуло какой-то странной усмешкой. Больше половины ученых теологов двинулось к эстраде, хотя с некоторым замедлением и колебанием. Все озирались на профессора Паули, который будто прирос к своему сиденью. Он низко опустил голову, согнулся и съежился. Взошедшие на эстраду ученые теологи конфузились, а один вдруг махнул рукой и, соскочив прямо вниз мимо лестницы, прихрамывая, побежал к профессору Паули и оставшемуся при нем меньшинству. Тот поднял голову и, вставши с каким-то неопределенным движением, пошел мимо опустивших скамей, сопровождаемый устоявшими единоверцами, и подсел ближе к старцу Иоанну и папе Петру с их кружками.

Значительное большинство собора, и в том числе почти вся иерархия Востока и Запада, находилась на эстраде. Внизу оставались только три сблизившиеся между собой кучи людей, жавшихся около старца Иоанна, папы Петра и профессора Паули.

Грустным тоном обратился к ним император: «Что еще могу я сделать для вас? Странные люди! Чего вы от меня хотите? Я не знаю. Скажите же мне сами, вы, христиане, покинутые большинством своих братьев и вождей, осужденные народным чувством: что всего дороже для вас в христианстве?» Тут, как белая свеча, поднялся старец Иоанн и кротко отвечал: «Великий Государь! Всего дороже для нас в христианстве сам Христос – Он Сам, а от Него все, ибо мы знаем, что в Нем обитает вся полнота Божества телесно. Но и от тебя, Государь, мы готовы принять всякое благо, если только в щедрой руке твой опознаем святую руку Христову. И на вопрос твой: что можешь сделать для нас, – вот наш прямой ответ: исповедуй здесь теперь перед нами Иисуса Христа, Сына Божия, во плоти пришедшего, воскресшего и паки грядущего, – исповедуй Его, и мы с любовью примем тебя как истинного предтечу Его второго славного пришествия». Он замолчал и уставился взором в лицо императора. С тем делалось что-то недоброе. Внутри его поднялась такая же адская буря, как та, что он испытал в ту роковую ночь. Он совершенно потерял внутреннее равновесие, и все его мысли сосредоточились на том, чтобы не лишиться и наружного самообладания и не выдать себя прежде времени. Он делал нечеловеческие усилия, чтобы не броситься с диким воплем на говорившего и не начать грызть его зубами. Вдруг он услышал знакомый нездешний голос: «Молчи и ничего не бойся». Он молчал. Только помертвевшее и потемневшее лицо его все перекосилось, и из глаз выпадали искры. Между тем во время речи старца Иоанна великий маг, который сидел весь закутанный в свою необъятную трехцветную мантию, скрывавшую кардинальский пурпур, как будто производил под нею какие-то манипуляции, глаза его сосредоточенно сверкали, и губы шевелились. В открытые окна храма было видно, что нашла огромная черная туча, и скоро все потемнело. Старец Иоанн не сводил изумленных и испуганных глаз с лица безмолвного императора, и вдруг он в

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
ужасе отрянул и, обернувшись назад, сдавленным голосом крикнул: «Детушки, антихрист!» В это время вместе с оглушительным ударом грома в храме вспыхнула огромная круглая молния и покрыла собою старца. Все замерло на мгновение, и, когда оглушенные христиане пришли в себя, старец Иоанн лежал мертвый.

Император, бледный, но спокойный, обратился к собранию: «Вы видели суд Божий. Я не хотел ничьей смерти, но мой Отец небесный мстит за своего возлюбленного сына. Дело решено. Кто будет спорить с Всевышним? Секретари! запишите: вселенский собор всех христиан, после того как огонь с небес поразил безумного противника божественного величества, единогласно признал державного императора Рима и всей вселенной своим верховным вождем и владыкой». Вдруг одно громкое и отчетливое слово пронеслось по храму: «*Contradicitur*». Папа Петр II встал и с побагровевшим лицом, весь трясясь от гнева, поднял свой посох по направлению к императору: «Наш единый Владыка – Иисус Христос, Сын Бога живого. А ты кто – ты слышал. Вон от нас, Кайн-братоубийца! Вон, сосуд дьявольский! Властию Христовой я, служитель служителей Божиих, навек извергаю тебя, гнусного пса, из ограды Божией и предаю отцу твоему, Сатане! Анафема, анафема, анафема!» Пока он говорил, великий маг беспокойно двигался под своею мантией, и громче последней анафемы загремел гром, и последний папа пал бездыханным. «Так от руки отца моего погибнут все враги мои», – сказал император. «*Pereant, pereant!*»[61] – закричали дрожащие князья церкви. Он повернулся и медленно вышел, опираясь на плечо великого мага и сопровождаемый всею своею толпою, в двери за эстрадою. В храме остались два мертвеца и тесный круг полу живых от страха христиан. Единственный, кто не растерялся, был профессор Паули. Общий ужас как будто возвудил в нем все силы духа. Он и наружно переменился – принял величавый и вдохновенный вид. Решительными шагами взошел он на эстраду и, сев на одно из опустевших статс-секретарских мест, взял лист бумаги и стал на нем что-то писать. Кончивши, он встал и громогласно прочел: «Во славу единого Спасителя нашего Иисуса Христа. Вселенский собор Божиих церквей, собравшийся в Иерусалиме, после того как блаженнейший брат наш Иоанн, предстоятель восточного христианства, обличил великого обманщика и врага Божия в том, что он есть подлинный антихрист, предсказанный в слове Божием, а блаженнейший отец наш Петр, предстоятель западного христианства, законно и правильно предал его бессрочному отлучению от церкви Божией, ныне перед телами сих двух, убиенных за правду, свидетелей Христовых, постановляет: прекратить всякое общение с отлученным и с мерзким сорищем его и, удалившись в пустыню, ожидать неминуемого пришествия истинного Владыки нашего Иисуса Христа». Одушевление овладело толпой, и раздались громкие голоса: «*Adveniat! Adveniat cito! Komm Herr Jesu, komm!*»[62] Гряди, Господи Иисусе!»

Профессор Паули приписал и прочел: «Приняв единогласно сей первый и последний акт последнего вселенского собора, подписываем свои имена», и он сделал пригласительный знак собранию. Все поспешно всходили на возвышение и подписывались. В конце крупным готическим шрифтом подписался – «*Duorum defunctorum testium locum tenes Ernst Pauli*».[63] «Теперь идем с нашим кивотом последнего завета!» – сказал он, указывая на двух покойников. Тела были подняты на носилках. Медленно, с пением латинских, немецких и церковнославянских гимнов, направились христиане к выходу из Харам-эш-Шерифа. Здесь шествие было остановлено посланным от императора статс-секретарем в сопровождении офицера со взводом гвардии. Солдаты остановились у входа, а статс-секретарь с возвышения прочел: «Повеление божественного величества: для вразумления христианского народа и ограждения его от злонамеренных людей, производящих смуты и соблазны, признали мы за благо трупы двух возмутителей, убитых небесным огнем, выставить публично на улице Христиан (Харет-эн-Насара), у входа в главный храм этой религии, именуемый Гроба Господня, а также Воскресения, чтобы все могли убедиться в их действительной смерти. Упорствующие же их единомышленники, злобно отвергающие все наши благодеяния и безумно закрывающие глаза на явные знамения самого божества, освобождаются нашим милосердием и представительством нашим перед отцом небесным от заслуженной ими смерти через огонь с небес и оставляются на полной своей воле с единственным запрещением, ради общего блага, обитать в городах и других населенных местах, дабы не смущали и не соблазняли они невинных и простодушных людей своими злобными вымыслами». Когда он кончил, 8 солдат, по знаку офицера, подошли к носилкам с телами.

«Да свершится написанное», – сказал профессор Паули, и христиане, державшие носилки, безмолвно передали их солдатам, которые удалились через

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
северо-западные ворота, а христиане, выйдя через северо-восточные, поспешно
направились из города мимо Масличной горы в Иерихон по дороге, которую
предварительно жандармы и два кавалерийских полка очистили от народной
толпы. На пустынных холмах у Иерихона решено было ждать несколько дней. На
следующее утро из Иерусалима прибыли знакомые христианские паломники и
рассказали, что происходило в Сионе. После придворного обеда все члены
собора были приглашены в огромную тронную палату (около предполагаемого
места Соломонова престола), и император, обращаясь к представителям
католической иерархии, заявил им, что благо церкви, очевидно, требует от
них немедленного избрания достойного преемника апостола Петра, что по
обстоятельствам времени избрание должно быть суммарно, что присутствие его,
императора, как вождя и представителя всего христианского мира с избытком
восполнит ритуальные пропуски и что он от имени всех христиан предлагает
Священной Коллегии избрать его возлюбленного друга и брата Аполлония, дабы
их тесная связь сделала прочным и неразрывным единение церкви и государства
для общего их блага. Священная Коллегия удалилась в особую комнату для
конclave и через полтора часа возвратилась с новым папой Аполлонием. А
между тем как происходили выборы, император кротко, мудро и красноречиво
убеждал православных и евангелических представителей, ввиду новой великой
эры христианской истории, покончить старые распри, ручаясь своим словом,
что Аполлоний сумеет навсегда упразднить все исторические злоупотребления
папской власти. Убежденные этой речью, представители православия и
протестанства составили акт соединения церквей, и, когда Аполлоний с
кардиналами показался в палате при радостных кликах всего собрания,
греческий архиерей и евангелический пастор поднесли ему свою бумагу.
«Accipio et approbo et laetificatur cor meum!»[64], – сказал Аполлоний,
подписывая документ. «Я такой же истинный православный и истинный
евангелист, каков я истинный католик», – прибавил он и дружелюбно
облобызлся с греком и немцем. Затем он подошел к императору, который его
обнял и долго держал в своих объятиях. В это время какие-то светящиеся
точки стали носиться во дворце и во храме по всем направлениям, они росли и
превращались в светлые формы странных существ, невиданные на земле цветы
посыпались сверху, наполняя воздух неведомым ароматом. Сверху раздались
восхитительные, прямо в душу идущие и хватающие за сердце звуки неслыханных
дотоле музыкальных инструментов, и ангельские голоса незримых певцов
славили новых владык неба и земли. Между тем раздался страшный подземный
гул в северо-западном углу Срединного дворца под куббет-эль-аруах, т. е.
куполом душ, где, по мусульманским преданиям, вход в преисподнюю. Когда
собрание по приглашению императора двинулось в ту сторону, все ясно
услышали бесчисленные голоса, тонкие и пронзительные, – не то детские, не
то дьявольские, – восклициавшие: «Пришла пора, пустите нас, спасители,
спасители!» Но когда Аполлоний, припавши к скале, трижды прокричал что-то
вниз на неизвестном языке, голоса умолкли и подземный гул прекратился.
Между тем необщая толпа народа со всех сторон окружила Харам-эш-Шериф.
При наступлении ночи император, вместе с новым папой, вышел на восточное
крыльце, подняв «бурю восторгов». Он приветливо кланялся во все стороны,
тогда как Аполлоний из подносимых ему кардиналами-дьяконами больших корзин
непрерывно брал и бросал по воздуху загоравшиеся от прикосновения его руки
великолепные римские свечи, ракеты и огненные фонтаны, то
фосфорически-жемчужные, то ярко-радужные, и все это, достигая земли,
превращалось в бесчисленные разноцветные листы с полными и безусловными
индульгенциями на все грехи прошедшие, настоящие и будущие.[65] Народное
ликование перешло всякие пределы. Правда, некоторые утверждали, что видели
своими глазами, как индульгенции превращались в преотвратительных жаб и
змей. Тем не менее огромное большинство было в восторге, и народные
празднества продолжались еще несколько дней, причем новый папа-чудотворец
дошел до вешей столь диковинных и невероятных, что передавать их было бы
совершенно бесполезно. Тем временем у пустынных высот Иерихона христиане
предавались посту и молитве. Вечером четвертого дня, когда стемнело,
профессор Паули с девятью товарищами на ослах и с телегой пробрались в
Иерусалим и, боковыми улицами мимо Харам-эш-Шерифа, выехали на
Харет-эн-Насара и подошли к входу в храм Воскресения, где на мостовой
лежали тела папы Петра и старца Иоанна. На улице в этот час было безлюдно,
весь город ушел к Харам-эш-Шерифу. Карабульные солдаты спали глубоким сном.
Пришедшие за телами нашли, что они совсем не тронуты тлением и даже не
закоченели и не отяжелели. Подняв их на носилки и закрыв принесенными
плащами, они теми же обходными дорогами вернулись к своим, но, лишь только
они опустили носилки на землю, дух жизни вошел в умерших. Они зашевелились,
стараясь сбросить с себя окутывавшие их плащи. Все с радостными криками
стали им помогать, и скоро оба ожившие встали на ноги целыми и невредимыми.
И заговорил оживший старец Иоанн: «Ну вот, детушки, мы и не расстались. И

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
вот что я скажу вам теперь: пора исполнить последнюю молитву Христову об учениках Его, чтобы они были едино, как Он сам с Отцом – едино. Так для этого единства Христова почтим, детушки, возлюбленного брата нашего Петра. Пускай напоследях пасет овец Христовых. Так-то, брат!» И он обнял Петра. Тут подошел профессор Паули: «*Tu est Petros!*» – обратился он к папе. – «*Jetzt ist es ja gründlich er wiesen und ausser jedem Zweifel gesetzt.*».[66] – И он крепко сжал его руку своею правою, а левую подал старцу Иоанну со словами: «*So also Väterchen – nun sind wir ja Eins in Christo.*»[67] Так совершилось соединение церквей среди темной ночи на высоком и уединенном месте. Но темнота ночная вдруг озарилась ярким блеском, и явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. Явление несколько времени оставалось на месте, а затем тихо двинулось в сторону юга. Папа Петр поднял свой посох и воскликнул: «Вот наша хоругвь! Идем за нею». И он пошел по направлению видения, сопровождаемый обоими старцами и всею толпою христиан, – к Божьей горе, Синаю...

(тут читавший остановился.)

ДАМА. Что же вы не продолжаете?

Г[-н] Z. Да рукопись не продолжается. Отец Пансофий не успел окончить своей повести. Уже больной, он мне рассказывал, что хотел писать дальше – «вот как только выздоровлю». Но он не выздоровел, и конец его повести погребен вместе с ним в Даниловом монастыре.

ДАМА. Но ведь вы же помните, что он вам говорил, – так расскажите.

Г[-н] Z. Помню только в главных чертах. После того как духовные вожди и представители христианства удалились в Аравийскую пустыню, куда изо всех стран стекались к ним толпы верных ревнителей истины, новый папа мог беспрепятственно разворачивать своими чудесами и диковинами всех остальных, не разочаровавшихся в антихристе, поверхностных христиан. Он объявил, что властью своих ключей он отворил двери между земным и загробным миром, и действительно общение живых и умерших, а также людей и демонов сделалось обычным явлением, и развились новые, неслыханные виды мистического блуда и демонолatriи. Но только что император стал считать себя крепко стоящим на почве религиозной и по настоятельным внушениям тайного «отчего» голоса объявил себя единственным истинным воплощением верховного божества вселенной, как пришла на него новая беда, откуда никто ее не ожидал: поднялись евреи. Эта нация, которой численность дошла в то время до тридцати миллионов, была не совсем чужда подготовлению и упрочению всемирных успехов сверхчеловека. Когда же он переселился в Иерусалим, тайно поддерживая в еврейской среде слухи о том, что его главная задача – установить всемирное владычество Израиля, то евреи признали его Мессией, и их восторженная преданность ему не имела предела. И вдруг они восстали, дыша гневом и местью. Этот оборот, несомненно предуказанный и в Писании и в предании, представлялся отцом Пансофием, быть может, с излишне простотою и реализмом. Дело в том, что евреи, считавшие императора кровным и совершенным израильтянином, случайно обнаружили, что он даже не обрезан. В тот же день весь Иерусалим, а на другой день вся Палестина были объяты восстанием. Беспрепедельная и горячая преданность спасителю Израиля, обетованному Мессии сменилась столь же беспредельною и столь же горячою ненавистью к коварному обманщику, к наглому самозванцу. Все еврейство встало как один человек, и врачи его увидели с изумлением, что душа Израиля в глубине своей живет не расчетами и вожделениями Маммона, а силой сердечного чувства – упование и гневом своей вековечной мессианской веры. Император, не ожидавший сразу такого взрыва, потерял самообладание и издал указ, приговаривавший к смерти всех непокорных евреев и христиан. Многие тысячи и десятки тысяч, не успевших вооружиться, беспощадно избивались. Но скоро миллионная армия евреев овладела Иерусалимом и заперла антихриста в Харам-эш-Шерифе. В его распоряжении была только часть гвардии, которая не могла пересилить массу неприятеля. С помощью волшебного искусства своего папы императору удалось проникнуть сквозь ряды осаждающих, и скоро он появился опять в Сирии с несметным войском разноплеменных язычников. Евреи выступили ему навстречу при малой вероятности успеха. Но едва стали сходиться авангарды двух армий, как произошло землетрясение небывалой силы – под Мертвым морем, около которого расположились имперские войска, открылся кратер огромного вулкана, и огненные потоки, слившись в одно пламенное озеро, поглотили и самого

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org императора, и все его бесчисленные полки, и неотлучно сопровождавшего его папу Аполлония, которому не помогла вся его магия. Между тем евреи бежали к Иерусалиму, в страхе и трепете взывая о спасении к Богу Израилеву. Когда святой город был уже у них в виду, небо распахнулось великой молнией от востока до запада, и они увидели Христа, сходящего к ним в царском одеянии и с язвами от гвоздей на распостертых руках. В то же время от Синая к Сиону двигалась толпа христиан, предводимых Петром, Иоанном и Павлом, а с разных сторон бежали еще иные восторженные толпы: то были все казненные антихристом евреи и христиане. Они ожили и воцарились с Христом на тысячу лет.

На этом отец Пансофий хотел и кончить свою повесть, которая имела предметом не всеобщую катастрофу мироздания, а лишь развязку нашего исторического процесса, состоящую в явлении, прославлении и крушении антихриста.

ПОЛИТИК. И вы думаете, что эта развязка так близка?

Г[-н] Z. Ну, еще много будет болтовни и суэтни на сцене, но драма-то уже давно написана вся до конца, и ни зрителям, ни актерам ничего в ней изменять не позволено.

ДАМА. Но в чем же окончательно смысл этой драмы? И я все-таки не понимаю, почему ваш антихрист так ненавидит Бога, а сам он в сущности добрый, не злой?

Г[-н] Z. То-то и есть, что не в сущности. В этом-то и весь смысл. И я беру назад свои прежние слова, что «антихриста на одних пословицах не объяснишь». Он весь объясняется одною, и притом чрезвычайно простоватою, пословицей: Не все то золото, что блестит. Блеска ведь у этого поддельного добра – хоть отбавляй, ну а существенной силы – никакой.

ГЕНЕРАЛ. Но заметьте тоже, на чем занавес-то в этой исторической драме опускается: на войне, на встрече двух войск! Вот и конец нашего разговора вернулся к своему началу. Как вам это нравится, князь?... Батюшки! Да где же князь?

ПОЛИТИК. А вы разве не видели? Он потихоньку ушел в том патетическом месте, когда старец Иоанн антихриста к стене прижал. Я тогда не хотел прерывать чтения, а потом забыл.

ГЕНЕРАЛ. Сбежал, ей-Богу, второй раз сбежал. А ведь как себя пересиливал. Ну а этой марки все-таки не выдержал. Ах ты, Господи!

Полное собрание стихотворений

«Природа с красоты своей...»

Природа с красоты своей
Покрова снять не позволяет,
И ты машинами не вынудишь у ней,
Чего твой дух не угадает.
<1872>

Прометею

Когда душа твоя в одном увидит свете
Ложь с правдой, с благом зло,
И обоймет весь мир в одном любви привете,
Что есть и что прошло;
Когда узнаешь ты блаженство примиренья;
Когда твой ум поймет,
Что только в призраке ребяческого мненья
И ложь, и зло живет,—
Тогда наступит час — последний час творенья.
Твой свет одним лучом
Рассеет целый мир туманного виденья
В тяжелом сне земном:
Преграды рушатся, расплавлены оковы
Божественным огнем,
И утро вечное восходит к жизни новой
Во всех, и все в Одном.

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Август 1874

«Лишь год назад – с мучительной тоскою...»

Лишь год назад – с мучительной тоскою,
С тоской безумною тебя я покидал,
И мнилось мне – навеки я с тобою
И жизнь, и свет, и счастье потерял.
Лишь год прошел – в ничтожестве забвенья
Исчезла ты, как давний, давний сон,
И лишь порой я вспомню на мгновенье
Былые дни, когда мне снился он.

23 декабря 1874

«Как в чистой лазури затихшего моря...»

Как в чистой лазури затихшего моря
Вся слава небес отражается,
Так в свете от страсти свободного духа
Нам вечное благо является.
Но глубь недвижимая в мощном просторе
Всё та же, что в бурном волнении,—
Могучий и ясный в свободном покое,
Дух тот же и в страстном хотении.
Свобода, неволя, покой и волненье
Проходят и снова являются,
А он всё один, и в стихийном стремленье
Лишь сила его открывается.

Март 1875

«В сне земном мы тени, тени...»

В сне земном мы тени, тени...
Жизнь – игра теней,
Ряд далких отражений
Вечно светлых дней.
Но сливаются уж тени,
Прежние черты
Прежних ярких сновидений
Не узнаешь ты.
Серый сумрак предрассветный
Землю всю одел;
Сердцем вешним уж приветный
Трепет овладел
Голос вещий не обманет.
Верь, проходит тень,–
Не скорби же: скоро встанет
Новый вечный день.

9 июня 1875

«Хоть мы навек незримыми цепями...»

Хоть мы навек незримыми цепями
Прикованы к нездешним берегам,
Но и в цепях должны свершить мы сами
Тот круг, что боги очертили нам.
Всё, что на волю высшую согласно,
Свою волей чуждую творит,
И под личиной вещества бесстрастной
Везде огонь божественный горит.
Между 29 июня и 28 октября 1875

«Вся в лазури сегодня явилась...»

Вся в лазури сегодня явилась
Предо мною царица моя,–
Сердце сладким восторгом забилось,
И в лучах восходящего дня
Тихим светом душа засветилась,
А вдали, дрогорая, дымилось
Злое пламя земного огня.

Каир

«У царицы моей есть высокий дворец...»

У царицы моей есть высокий дворец,
О семи он столбах золотых,
У царицы моей семигранный венец,
В нем без счету камней дорогих.
И в зеленом саду у царицы моей
Роз и листий краса расцвела,
И в прозрачной волне серебристый ручей
Ловит отблеск кудрей и чела.
Но не слышит царица, что шепчет ручей,
На цветы и не взглянет она:
Ей туманит печаль свет лазурных очей,
И мечта ее скорби полна.
Она видит далеко, в полночном краю
Средь морозных туманов и вьюг,
С злюю силою тьмы в одиночном бою
Гибнет ею покинутый друг.
И бросает она свой алмазный венец,
Оставляет чертог золотой
И к неверному другу, — нежданный пришлец —
Благодатной стучится рукой.
И над мрачной зимой молодая весна —
Вся сияя, склонилась над ним
И покрыла его, тихой ласки полна,
Лучезарным покровом своим.
И низринуты темные сипы во прах,
Чистым пламенем весь он горит,
И с любовию вечной в лазерных очах
Тихо другу она говорит:
«Знаю, воля твоя волн морских не верней:
Ты мне верность клялся сохранить
Клятве ты изменил, — но изменой своей
Мог ли сердце мое изменить?»
Между концом ноября 1875 и 6 марта 1876

Каир

«Близко, далёко, не здесь и не там...»

Близко, далёко, не здесь и не там,
В царстве мистических грез,
В мире, невидимом смертным очам,
В мире без смеха и слез,
Там я, богиня, впервые тебя
Ночью туманной узнал.
Странным ребенком был я тогда,
Странные сны я видал.
В образе чуждом являлася ты,
Смутно твой голос звучал,
Сметным созданием детской мечты
Долго тебя я считал.
Ныне опять ты являешься мне
С лаской нежданной любви,
Вижу тебя я уже не во сне,
Ясны мне речи твои.
Мне оглушенному в мире чужом
Гулом невнятных речей,
Вдруг прозвучало в привете твоем
Слово отчизны моей.
Голос отчизны в волшебных речах,
В свете лазурных очей,
Отблеск отчизны в эфирных лучах,
В золоте кудных кудрей.
Всё, чем живет мое сердце и ум,
Все, что трепещет в груди,
Все силы чувства, желаний и дум

Отдал я в руки твои.
деспот угрюмый, холодное «я»,
Гибель почуя, дрожит,
Издалека лишь завидел тебя,
Стихнул, бледнеет, бежит.
Пусть он погибнет, надменный беглец;
В вольной неволе и в смерти живой,
Я и алтарь, я и жертва, и жрец,
С мукой блаженства стою пред тобой.
Между концом ноября 1875 и 6 марта 1876

Каир

Песня Офитов

Белую лилию с розой,
С алою розою мы сочетаем.
Тайной пророческой грезой
Вечную истину мы обретаем.
Вещее слово скажите!
Жемчуг свой в чашу бросайте скорее!
Нашу голубку свяжите
Новыми кольцами древнего змея.
Вольному сердцу не больно...
Ей ли бояться огня Прометея?
Чистой голубке привольно
В пламенных кольцах могучего змея.
Пойте про ярые грозы,
В ярой грозе мы покой обретаем...
Белую лилию с розой,
С алою розою мы сочетаем.
Начало мая 1876

VIS EJUS INTEGRA SI VERSA FUERIT IN TERRAM[1]

Истинно тот есть любимец богов, кто жизни весною
Миртом главы не венчал, кого только в грезах манила
Нежной рукой золотая царица Китеры. Дарами
Муз и харит небогатый, пусть древнего Кроноса семя
В сердце глубоко таит он и думой угрюмой питает.
Рано иль поздно пробьется наружу сокрытое пламя,
Молнией вспыхнет и землю широким охватит пожаром.
Всё, что в груди хоронилось, что образа тщетно искало:
Гордого духа порывы и нежность любви беспределной,—
Всё то в одну непреклонную силу сольется, волшебным
Мощным потоком все думы людские обнимет,
Цепь золотую сомкнет и небо с землей сочетает.
16 мая 1876

«Что роком суждено, того не отражу я...»

Что роком суждено, того не отражу я
Бессильной, детской волею своей.
Покинут и один, в чужой земле брожу я,
С тоской по небу родины моей.
Звезда моя вдали сияет одиноко.
В волшебный край лучи ее манят...
Но неприступен этот край далкий,
Пути к нему не радость мне сулят.
Прости ж — и лишь одно последнее желанье,
Последний вздох души моей больной:
О, если б я за горькое страданье,
Что суждено мне волей роковой,
Тебе мог дать златые дни и годы,
Тебе мог дать все лучшие цветы,
Чтоб в новом мире света и свободы
От злобной жизни отдохнула ты!
Чтоб смутных снов тяжелые виденья
Бежали все от солнечных лучей,
Чтоб на всемирный праздник возрожденья
Явилась ты всех чище и светлей.

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Июнь 1875 – 1877

«Взгляни, как ширь небес прозрачна и бледна...»

Взгляни, как ширь небес прозрачна и бледна,
Как тянутся лучи в саду полураздетом...
О, что за чудный час меж сумраком и светом, [2]
Что за святая тишина!
Прислушайся, взглянись... безмолвие и лень!..
Не кажется ль тебе, что мир уж не проснется,
Что солнце из-за туч вовек не вознесется
И что настал последний день?

18 августа 1878

«Газели пустынь ты стройнее и краше...»

Газели пустынь ты стройнее и краше,
И речи твои бесконечно-бездонны –
Туранская Эва, степная Мадонна,
Ты будь у Аллаха заступницей нашей.
И всяк, у кого нечто бьется налево,
Лежит пред тобой, не вставая из праха.
Заступницей нашей ты будь у Аллаха,
Степная Мадонна, Туранская Эва!
Август 1878

Отрывок

Зачем тебе любовь и ласки,
Коль свой огонь в груди горит
И целый мир волшебной сказки
С душой так внятно говорит;
Когда в синеющем тумане
Житейский путь перед тобой,
А цель достигнута заране,
Победа предваряет бой;
Когда серебряные нити
Идут из сердца в область грез...
О, боги вечные! возьмите
Мой горький опыт и верните
Мне силу первых вешних гроз!..
1878

«В былые годы любви невзгоды...»

В былые годы любви невзгоды
Соединяли нас,
Но пламень страсти не в нашей власти,
И мой огонь угас.
Пускай мы ныне в мирской пустыне
Сошли опять вдвоем, –
Уж друг для друга любви недуга
Мы вновь не принесем.
Весна умчалась, и нам осталась
Лишь память о весне
Средь жизни смутной, как сон минутной,
Как счаствие во сне.
1878

«Уходишь ты, и сердце в час разлуки...»

Уходишь ты, и сердце в час разлуки
Уж не звучит желаньем и мольбой;
Утомлено годами долгой муки,
Ненужной лжи, отчаянья и скуки,
Оно сдалось и смолкло пред судьбой.
И как среди песков степи безводной
Белеет ряд покинутых гробов,
Так в памяти моей найдут покой холодный
Гробницы светлых грез моей любви бесплодной,
Невыраженных чувств, невысказанных слов.

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
И если некогда над этими гробами
Нежданно прозвучит призывный голос твой,
Лишь отзвук каменный застывшими волнами
О той пустыне, что лежит меж нами,
Тебе пошлет ответ холодный и немой.
1880

Посвящение к неизданной комедии

Не жди ты песен стройных и прекрасных,
У темной осени цветов ты не проси!
Не знал я дней сияющих и ясных,
А сколько призраков недвижных и безгласных
Покинуто на сумрачном пути.
Таков закон: всё лучшее в тумане,
А близкое иль больно, иль смешно.
Не миновать нам двойственной сей грани:
Из смеха звонкого и из глухих рыданий
Созвучие вселенной создано.
Звуки же смех свободною волною,
Негодования не стоят наши дни.
Ты, муга бедная, над смутною стезею
Явись хоть раз с улыбкой молодою
И злую жизнь насмешкою незлою
Хотя на миг один угомони.

1880

«О, как в тебе лазури чистой много...»

О, как в тебе лазури чистой много
И черных, черных туч!
Как ясно над тобой сияет отблеск бога,
Как злой огонь в тебе томителен и жгуч.
И как в твоей душе с невидимой враждою
Две силы вечные таинственно сошлись,
И тени двух миров, нестройною толпою
Теснясь к тебе, причудливо сплелись.
Но верится: пройдет сверкающий громами
Средь этой мглы божественный глагол,
И туча черная могучими строями
Прорвется вся в опустошенный дол.
И светлою росой она его омоет,
Огонь стихий враждебных утолит,
И весь свой блеск небесный свод откроет
И всю красу земли недвижно озарит.

1881

«В стране морозных вьюг, среди седых туманов...»

В стране морозных вьюг, среди седых туманов
Явилась ты на свет,
И, бедное дитя, меж двух враждебных станов
Тебе приюта нет.
Но не смутият тебя воинственные клики,
Звон лат и стук мечей,
В раздумье ты стоишь и слушаешь великий
Завет минувших дней:
Как древле вышний бог избраннику еврею
Открыться обещал,
И бога своего, молитвой пламенея,
Пророк в пустыне ждал.
Вот грохот под землей и гул прошел далёко,
И меркнет солнца свет,
И дрогнула земля, и страх объял пророка,
Но в страхе бога нет.
И следом шумный вихрь и бурное дыханье,
И рокот в вышине,
И с ним великий огнь, как молнии сверканье,—
Но бога нет в огне.
И смолкло все, укрощено смятенье,
Пророк недаром ждал:

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Вот веет тонкий хлад, [3] и в тайном дуновенье
Он бога угадал.
1882

Три подвига

Когда резцу послушный камень
Предстанет в ясной красоте
И вдохновенья мощный пламень
Даст жизнь и плоть твоей мечте,
У заповедного предела
Не мни, что подвиг совершен,
И от божественного тела
Не жди любви, Пигмалион!
Нужна ей новая победа:
Скала над бездною висит,
Зовет в смятенье Андромеда
Тебя, Персей, тебя, Алкид!
Крылатый конь к пучине прынул,
И щит зеркальный вознесен,
И опрокинут – в бездну канул
Себя увидевший дракон.
Но незримый враг восстанет,
В рог победный не зови –
Скоро, скоро тризной станет
Праздник счастья и любви.
Гаснут радостные клики,
Скорбь и мрак и слезы вновь...
Эвридики, Эвридики
Не спасла твоя любовь.
Но воспрянь! Душой недужной
Не склоняйся пред судьбой,
Беззащитный, безоружный,
Смерть зови на смертный бой!
И на сумрачном пороге,
В сонме плачущих теней
Очарованные боги
Узнают тебя, Орфей!
Волны песни всепобедной
Потрясли Аида свод,
И владыка смерти бледной
Эвридику отдает.
1882

«Под чуждой властью знайной выюги...»

Под чуждой властью знайной выюги,
Виденья прежние забыв,
Я вновь таинственной подруги
Услышал гаснущий призыв.
И с криком ужаса и боли,
Железом схваченный орел –
Затрепетал мой дух в неволе
И сеть порвал, и ввысь ушел.
И на заоблачной вершине
Пред морем пламенных чудес
Во всесияющей святыне
Он загорелся и исчез.
1852

«Бескрылый дух, землею полоненный...»

Бескрылый дух, землею полоненный,
Себя забывший и забытый бог...
Один лишь сон – и снова, окрыленный,
Ты мчишься ввысь от суетных тревог.
Неясный луч знакомого блистанья,
Чуть слышный отзвук песни неземной, –
И прежний мир в немеркнущем сиянье
Встает опять перед чуткою душой.
Один лишь сон – и в тяжком пробужденье

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Ты будешь ждать с томительной тоской
Вновь отблеска нездешнего виденья,
Вновь отзвука гармонии святой.
Июнь 1883

«В тумане утреннем неверными шагами...»

В тумане утреннем неверными шагами
Я шел к таинственным и чудным берегам.
Боролася заря с последними звездами,
Еще летали сны – и, схваченная снами,
Душа молилася неведомым богам.
В холодный белый день дорогой одинокой,
Как прежде, я иду в неведомой стране.
Рассеялся туман, и ясно видит око,
Как труден горный путь и как еще далёко,
далёко всё, что грезилося мне.
И до полуночи неробкими шагами
Всё буду я идти к желанным берегам,
Туда, где на горе, под новыми звездами,
Весь пламенеющий победными огнями,
Меня дождется мой заветный храм.
<1884>

А. А. Фету, 19 октября 1881 г.

Перелетев на крыльях лебединых
Двойную грань пространства и веков,
Подслушал ты на царственных вершинах
Живую песнь умолкнувших певцов.
И приманил твой сладковзвучный гений
Чужих богов на наши берега,
И под лучом воскресших песнопений
Растаяли сарматские снега.
И пышный лавр средь степи нелюдимой
На песнь твою расцвел и зашумел,
И сам орел поэзии родимой
К тебе с высот невидимых слетел. [4]
Октябрь 1884

«От пламени страстей, нечистых и жестоких...»

От пламени страстей, нечистых и жестоких,
От злобных помыслов и лживой суety
Не исцелит нас жар порывов одиноких,
Не унесет побег тоскующей мечты.
Не средь житейской мертвенною пустыни,
Не на распутье праздных дум и слов
Найти нам путь к утраченной святыне,
Напасть на след потерянных богов.
Не нужно их! В безмерной благостиyne
Наш бог земли своей не покидал
И всем единый путь от низменной гордыни
К смиренной высоте открыл и указал.
И не колеблются Сионские твердыни,
Саронских пышных роз не меркнет красота,
И над живой водой, в таинственной долине,
Святая лилия нетленна и чиста.
23 декабря 1884

L'ONDA DAL MAR' DIVISA[5]

Волна в разлуке с морем
Не ведает покою,
Ключом ли бьет кипучим,
Иль катится рекою, –
Всё ропщет и вздыхает,
В цепях и на просторе,
Тоскуя по безбрежном,
Бездонном синем море.
1884

«Пора весенних гроз еще не миновала...»

Посвящается В. Л. Величко
Пора весенних гроз еще не миновала,
А уж зима пришла,
И старость ранняя нежданно рассказала,
Что жизнь свое взяла.
И над обрывами бесцельного блужданья
Повис седой туман.
Душа не чувствует бывалого страданья,
Не помнит старых ран.
И, воздух горный радостно вдыхая,
Я в новый путь готов,
Далёко от цветов увянувшего мая,
От жарких летних снов.
Начало января 1885

«Восторг души расчетливым обманом...»

Восторг души расчетливым обманом
И речью рабскою – живой язык богов,
Святыню муз – шумящим балаганом
Он заменил и обманул глупцов.
Когда же сам, разбит, разочарован,
Тоскуя, вспомнил он святую красоту,
Бессильный ум, к земной пыли прикован,
Напрасно призывал нетленную мечту.
Былой любви пленительные звуки
Вложить в скорбящий стих напрасно он хотел.
Не поднялись коснеющие руки,
И бледный призрак тихо отлетел.
Январь 1885

«Там, под липой, у решетки...»

Там, под липой, у решетки,
Мне назначено свиданье.
Я иду, как агнец кроткий,
Обреченный на закланье.
Всё как прежде: по высотам
Звезды старые моргают,
И в кустах по старым нотам
Соловьи концерт играют.
Я порядка не нарушу...
Но имей же состраданье!
Не томи мою ты душу,
Отпусти на покаянье!
1886

В землю обетованную

Посвящается А.П. Соломону
«Покинь скорей родимые пределы,
И весь твой род, и дом отцов твоих,
И как стрелку его покорны стрелы –
Покорен будь глаголам уст моих.
Иди вперед, о прежнем не тоскуя,
Иди вперед, всё прошлое забыв,
И всё иди, – доколь не укажу я,
Куда ведет любви моей призыв».
Он с ложа встал и в трепетном смущенье
Не мог решить, то истина иль сон...
Вдруг над главой промчалось дуновенье
Нездешнее и снова слышит он:
«От родных многоводных Халдейских равнин,
От нагорных лугов Арамейской земли,
От Харрана, где дожил до поздних седин,
И от Ура, где юные годы текли, –
Не на год лишь один,
Не на много годин,

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
А на вечные веки уйди».

И он собрал дружины кочевую,
И по пути воскреснувших лучей
Пустился в даль туманно-голубую
На мощный зов таинственных речей:
«Веет прямо в лицо теплый ветер морской,
Против ветра иди ты вперед,
А когда небосклон далеко пред тобой
Вод великих всю ширь развернет,—
Ты налево тогда свороти
И вперед поспешай,
По прямому пути,
На пути отдыхай,
И к полудню на солнце гляди,—
В стороне ж будет град или весь,
Мимо ты проходи,
И иди, все иди,
Пока сам не скажу тебе: здесь!
Я навеки с тобой;
Мой завет сохрани:
чистым сердцем и крепкой душой
Будь мне верен в ненастье и в ясные дни;
Ты ходи предо мной
И назад не гляди,
А что ждет впереди —
То откроется верой одной.
Се, я клялся собой,
Обещал я, любя,
Что воздвигну всемирный мой дом из тебя,
Что прославят тебя все земные края,
Что из рода потомков твоих
Выйдет мир и спасенье народов земных».

Январь 1886

«Земля-владычица! К тебе чело склонил я...»

Земля -владычица! К тебе чело склонил я,
И сквозь покров благоуханный твой
Родного сердца пламень ощущил я,
Услышал трепет жизни мировой.
В полуденных лучах такою негой жгучей
Сходила благодать сияющих небес,
И блеску тихому несли привет певучий
И вольная река, и многошумный лес.
И в явном таинстве вновь вижу сочетанье
Земной души со светом неземным,
И от огня любви житейское страданье
Уносится, как мимолетный дым.

Май 1886

«Какой тяжелый сон! В толпе немых видений...»

Какой тяжелый сон! В толпе немых видений,
Теснящихся и реющих кругом,
Напрасно я ищу той благодатной тени,
Что тронула меня своим крылом.
Но только уступлю напору злых сомнений,
Глухой тоской и ужасом объят, —
Вновь чую над собой крыло незримой тени,
Ее слова по-прежнему звучат.
Какой тяжелый сон! Толпа немых видений
Растет, растет и заграждает путь,
И еле слышится далекий голос тени:
«Не верь мгновенному, люби и не забудь!..»

1885, июнь 1886

В Альпах

Мыслей без речи и чувств без названия
Радостно-мощный прибой.
Зыбкую насыпь надежд и желания

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Смыло волной голубой.

Синие горы кругом надвигаются,
Синее море вдали.
Крылья души над землей поднимаются,
Но не покинут земли.
В берег надежды и в берег желания
Плещет жемчужной волной
Мыслей без речи и чувств без названия
Радостно-мощный прибой.
Август 1886

Осеннюю дорогой

Меркнет день Над усталой, поблекшей землей
Неподвижные тучи висят.
Под прощальным убором листвы золотой
И березы, и липы сквозят.
Душу обняли нежно-тосклые сны,
Замерла бесконечная даль,
И роскошно-блестящей и шумной весны
Примиренному сердцу не жаль.
И как будто земля, отходя на покой,
Погрузилась в молитву без слов,
И спускается с неба невидимый рой
Бледнокрылых, безмолвных духов.
Осень 1886

«Бездостной любви развязка роковая...»

Бездостной любви развязка роковая!
Не тихая печаль, а смертной муки час...
Пусть жизнь—лишь злой обман, но сердце, умирая,
Томится и болит, и на пороге рая
Еще горит огнем, что в вечности погас.
1 января 1887

«Друг мой! Прежде, как и ныне...»

Друг мой! прежде, как и ныне,
Адониса отпевали.
Стон и вопль стоял в пустыне,
Жены скорбные рыдали.
Друг мой! прежде, как и ныне,
Адонис вставал из гроба,
Не страшна его святыне
Вражьих сил слепая злоба.
Друг мой! ныне, как бывало,
Мы любовь свою отпели,
А вдали зарею алой
Вновь лучи ее зардели.
3 апреля 1887

«Бедный друг, истомил тебя путь...»

Бедный друг, истомил тебя путь,
Темен взор, и венок твой измят.
Ты войди же ко мне отдохнуть.
Потускнел, догоная, закат.
Где была и откуда идешь,
Бедный друг, не спрошу я, любя;
Только имя мое назовешь —
Молча к сердцу прижму я тебя.
Смерть и Время царят на земле,—
Ты владыками их не зови;
Всё, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви.
18 сентября 1887

«Не по воле судьбы, не по мысли людей...»

Не по воле судьбы, не по мысли людей,
Страница 351

Не по мысли твоей я тебя полюбил,
И любовию вещей моей
От невидимой злобы, от тайных сетей
Я тебя ограждал, я тебя оградил.
Пусть сбираются тучи кругом,
Веет бурей зловещей и слышится гром,
Не страшися! любви моей щит
Не падет перед темной судьбой.
Меж небесной грозой и тобой
Он, как встарь, неподвижно стоит.
А когда пред тобою и мной
Смерть погасит все светочи жизни земной,
Пламень вечной души, как с Востока звезда,
Поведет нас туда, где немеркнуший свет,
И пред богом ты будешь тогда,
Перед богом любви – мой ответ.
1890

EX ORIENTE LUX[6]

«С Востока свет, с Востока силы!»
И, к вседержительству готов,
Ирана царь под Фермопилы
Нагнал стада своих рабов.
Но не напрасно Прометея
Небесный дар Элладе дан.
Толпы рабов бегут, бледнея,
Пред горстью доблестных граждан.
И кто ж до Инда и до Ганга
Стезею славною прошел?
То македонская фаланга,
То Рима царственный орел.
И силой разума и права –
Всечеловеческих начал –
Воздвиглась Запада держава,
И миру Рим единство дал.
Чего ж еще недоставало?
Зачем весь мир опять в крови?
душа вселенной тосковала
О духе веры и любви!
И слово вещее – не ложно,
И свет с Востока засиял,
И то, что было невозможно,
Он возвестил и обещал.
И, разливался широко,
Исполнен знамений и сил,
Тот свет, исшедший от Востока,
С Востоком Запад примирil.
О Русь! в предвиденье высоком
Ты мыслю гордой занята;
Каким же хочешь быть Востоком:
Востоком Ксеркса иль Христа?
1890

«Зной без сияния, тучи безводные...»

Зной без сияния, тучи безводные,
шум городской суеты...
В сердце тоскующем думы бесплодные,
Трепет бескрылой мечты.
Жду, когда новая туча надвинется,
Думы прольются в слезах
И над разбитою скорбью поднимется
Лик твой, как солнце в лучах.
<1890>

«Пусть тучи темные грозящею толпою...»

Пусть тучи темные грозящею толпою
Лазурь заволокли, –
Явижу лунный блеск: он их тяжелой мглою

Пусть тьма житейских зол опять нас разлучила,
И снова счастья нет,—
Сквозь тьму издалека таинственная сила
Мне шлет твой тихий свет.
Края разбитых туч сокрытыми лучами
Уж месяц серебрит.
Еще один лишь миг, и лик его над нами
В лазури заблестит.
7 августа 1891

Кумир Небукаднешара

<Посвящается К. П.<обедоносцеву>
Он кликнул клич: «Мои народы!
Вы все рабы, я – господин,
И пусть отсель из рода в роды
Над вами будет бог один.
В равнину дуры[7] вас зову я.
Бросайте всяк богов своих
И поклоняйтесь, торжествуя,
Сему созданью рук моих».
Толпы несметные кишили;
Был слышен мусикийский гром;
Жрецы послушно гимны пели,
Склоняясь пред новым алтарем.
И от Египта до Памира
На зов сошлись князья земли,
И рукотворного Кумира
Владыкой жизни нарекли.
Он был велик, тяжел и страшен,
С лица как бык, спиной – дракон,
Над грудой жертвенною брашен
Кадильным дымом окружен.
И перед идолом на троне,
Держа в руке священный шар
И в семиярусной короне,
Явился Небукаднешар.
Он говорил: «Мои народы!
Я царь царей, я бог земной.
Везде топтал я стяг свободы, –
Земля умолкла предо мной.
Но видел я, что дерзновенно
Другим молились вы богам,
Забыв, что только царь вселенной
Мог дать богов своим рабам.
Теперь вам бог дается новый!
Его святил мой царский меч,
А для послушников готовы
Кресты и пламенная печь».
И по равнине диким стоном
Пронесся клич. «Ты бог богов!»,
Сливаясь с мусиийским звоном
И с гласом трепетных жрецов.
В сей день безумья и позора
Я крепко к господу возвзвал,
И громче мерзостного хора
Мой голос в небе прозвучал.
И от высот Нахараима
Дохнуло бурною зимой,
Как пламя жертвенника, зrima,
Твердь расступилась надо мной.
И белоснежные метели,
Мешаясь с градом и дождем,
Корою льдистою одели
Равнину дурскую кругом.
Он пал в падении великому
И опрокинутый лежал,
А от него в смятенье диком
Народ испуганный бежал.
Где жил вчера владыка мира,

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
я ныне видел пастухов:
Они творца того кумира
пасли среди его скотов.
Начало ноября 1891

«В час безмолвного заката...»

В час безмолвного заката
Об ушедших вспомяни ты, —
Не погибло без возврата,
Что с любовью пережито.
Пусть синеющим туманом
Ночь на землю наступает —
Не страшна ночная тьма нам:
Сердце день грядущий знает.
Новой славою господней
Озарится свод небесный,
И дойдет до преисподней
Светлый благовест воскресный.
<1892>

«Пусть осень ранняя смеется надо мною...»

.....
Пусть осень ранняя смеется надо мною,
Пусть серебрит мороз мне темя и виски, —
С весенним трепетом стою перед тобою,
Исполнен радости и молодой тоски.
И с милым образом не хочется расстаться,
довольно мне борьбы, стремлений и потерь.
Всю жизнь, с которой так тягостно считаться,
Какой-то сказкой считаю я теперь.
январь 1892

«Был труден долгий путь. Хоть восхищала взоры...»

.....
Был труден долгий путь. Хоть восхищала взоры
Порой природы дивной благодать,
Но неприступные кругом сдвигались горы,
И грудь усталая едва могла дышать.
И вдруг посыпались зарей вечерней розы,
Душа почуяла два легкие крыла,
И в новую страну неистощимой грезы
Любовь-волшебница меня перенесла.
Поляна чистая луною серебрится,
деревья стройные недвижимо стоят,
И нежных эльфов рой мелькает и кружится,
И феи бледные задумчиво скользят.
январь 1892

«Сказочным чем-то повеяло снова...»

Сказочным чем-то повеяло снова...
Ангел иль демон мне в сердце стучится?
Форму принять мое чувство боится...
О, как бессильно холодное слово!
3 января 1892

«Слов нездешних шепот странный...»

Слов нездешних шепот странный,
Аромат японских роз...
Фантастичный и туманный
Отголосок вешних грез.
Между 3 и 15 января 1892

По случаю падения из саней вдвоем

Смеялся солнце над нами,
И ты, мое солнце, смеялась.

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Теперь, разделивши паденье,
Любовь разделить нам осталось.
От грязи тебя уберег я,
Простершись меж ней и тобою:
Так, верь мне, от всяческой злобы
Тебя я, мой ангел, покрою.
У двери меня прогнала ты,
Но в сердце моем ты осталась,
И так же всё было легко мне,
И солнце всё так же смеялось!
26 января 1892

Чем люди живы?

Люди живы божьей лаской,
Что на всех незримо льется,
Божьим словом, что безмолвно
Во вселенной раздается.
Люди живы той любовью,
Что одно к другому тянет,
Что над смертью торжествует
И в аду не перестанет.
А когда не слишком смело
И себя причислить к людям,—
Жив я мыслию, что с милой
Мы навеки вместе будем.
30 января 1892

«Три дня тебя не видел, ангел милый...»

Три дня тебя не видел, ангел милый,—
Три вечности томленья впереди!
Вселенная мне кажется могилой,
И гаснет жизнь в измученной груди,
А я, безумец, пел, что горе пережито,
Что поздняя любовь несет одни цветы...
Поникло разом всё в душе моей убитой,
И крылья вырваны у радужной мечты.
О милая! Всё гордое сознанье,
Все гордые слова твой друг отдать готов
За мимолетный миг хоть одного свиданья,
За звук один возлюбленных шагов.
31 января 1892

«Я был велик. Толпа земная...»

Я был велик. Толпа земная
Кишила где-то там в пыли,
Один я наверху стоял,
Был с богом неба и земли.
И где же горные вершины?
Где лучезарный свет и гром?
Лежу я здесь, на дне долины,
В томленье скорбном и немом.
О, как любовь всё изменила.
Я жду, во прахе недвижим,
Чтоб чья-то ножка раздавила
Меня с величием моим.
Между 31 января и 3 февраля 1892

«Я смерти не боюсь. Теперь мне жить не надо...»

Я смерти не боюсь. Теперь мне жить не надо,
Не нужен я теперь царице дум моих.
Ей смертная любовь не принесет отрады,
И слов ей не дает мой неуклюжий стих.
Зато мой вечный дух, свободный и могучи
К ее груди невидимо прильнет,
Навеет в сердце ей рой сладостных созван?
И светлой грезою всю душу обовьет.
И ни на миг ее он не оставит,

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Любовью вечною ее он озарит,
Стихию темную святым огнем расплавит
И от земных оков без боли разрешит.
3 февраля 1892

Память

Мчи меня, память, крылом нестарающим
В милую сердцу страну.
Вижу ее на пожарище тлеющим
В сумраке зимнем одну.
Горькой тоскою душа разрывается,
Жизни там две сожжены,
Новое что-то вдали начинается
Вместо погибшей весны.
Далее, память! Крылом тиховеющим
Образ навей мне иной...
Вижу ее на лугу зеленеющем
Светлою летней порой.
Солнце играет над дикою Тосною,
Берег отвесный высок...
Вижу знакомые старые сосны я,
Белый сыпучий песок...
Память, довольно! Вся скорбь пережитая
Вновь овладела душой,
Словно те прежние слезы пролитые
Льются воскресшей волной.

29 февраля 1892

Имману-Эль

Во тьму веков та ночь уж отступила,
Когда, устав от злобы и тревог,
Земля в объятьях неба опочила
И в тишине родился с-нами-бог.
И многое уж невозможно ныне:
Цари на небо больше не глядят,
И пастыри не слушают в пустыне,
Как ангелы про бога говорят.
Но вечное, что в эту ночь открылось,
Несокрушимо временем оно,
И Слово вновь в душе твоей родилось,
Рожденное под яслями давно.
да! С нами бог,- не там, в шатре лазурном,
Не за пределами бесчисленных миров,
Не в злом огне и не в дыханье бурном,
И не в уснувшей памяти веков.
Он здесь, теперь - средь суеты случайной,
В потоке мутном жизненных тревог
Владеешь ты всерадостною тайной:
Бессильно зло; мы вечны; с нами бог!
11 марта 1892

«Ветер с западной страны...»

Ветер с западной страны
Слезы навевает;
Плачет небо, стонет лес,
Соснами качает.
То из края мертвцевов
Вопли к нам несутся.
Сердце слышит и дрожит,
Слезы льются, льются.
Ветер с запада утих,
Небо улыбнулось,
Но из края мертвцевов
Сердце не вернулось.
2 июня 1892

«Потому ль, что сердцу надо...»

Потому ль, что сердцу надо
Жить одним, одно любя,
Потому ль, что нет отрады
Не отдавшему себя;
Оттого ли, что судьбою
Наши сблизились пути,
И с тобой, с тобой одною
Мог я счаствие найти,—
Оттого ли, потому ли,—
Но в тебе, в тебе одной
Безвозвратно потонули
Сердце, жизнь и разум мой.
Между 9 и 15 июня 1892

«Там, где семьей столпились ивы...»

Там, где семьей столпились ивы
И пробивается ручей,
По дну оврага торопливо,
Запел последний соловей.
Что это? Радость обновленья,
Иль безнадежное прости?..
А вдалеке неслось движенье
И гул железного пути.
И небо высилось ночное
С невозмутимостью святой
И над любовию земною,
И над темною суетой...
16 июля 1892

«Нет вопросов давно, и не нужно речей...»

Нет вопросов давно, и не нужно речей,
Я стремлюся к тебе, словно к морю ручей
Без сомнений дум милый образ ловлю,
Знаю только одно — что безумно люблю.
В алом блеске зари я тебя узнаю,
Вижу в свете Небес я улыбку твою,
А когда без тебя суждено умереть,
Буду яркой звездой над тобою гореть.
17 июня 1892

«Тесно сердце — я вижу — твое для меня...»

Тесно сердце — я вижу — твое для меня,
А разбить его было б мне жалко.
Хоть бы искру, хоть искру живого огня,
Ты холодная, злая русалка!
А покинуть тебя и забыть мне невмочь:
Мир тогда потеряет все краски
И замолкнут навек в эту черную ночь
Все безумные песни и сказки.
17 июня 1892

«Зачем слова? В безбрежности лазурной...»

Зачем слова? В безбрежности лазурной
Эфирных волнозвучные струи
Несут к тебе желаний пламень бурный
И тайный вздох немеющей любви.
И, трепеща у милого порога,
Забытых грез к тебе стремится рой.
Недалека воздушная дорога,
Один лишь миг — и я перед тобой.
И в этот миг незримого свиданья
Нездешний свет вновь озарит тебя,
И тяжкий сон житейского сознанья
Ты отряхнешь, тоскуя и любя.
Начало сентября 1892

«Мы сошлись с тобой недаром...»

Мы сошлись с тобой недаром,
И недаром, как пожаром,
Дышит страсть моя:
Эти пламенные муки –
Только верные поруки
Силы бытия.
В бездну мрака огневую
Льет струю свою живую
Вечная любовь.
Из пылающей темницы
Для тебя перо Жар-птицы
Я добуду вновь.
Свет из тьмы. Над черной глыбой
Вознестися не могли бы
Лики роз твоих,
Если б в сумрачное лоно
Не впивался погруженный
Темный корень их.
15 сентября 1892

«Я добился свободы желанной...»

Я добился свободы желанной,
Что манила вдали, словно клад, –
Отчего же с тоскою нежданной,
Отчего я свободе не рад?
Ноет сердце, и падают руки,
Всё так тускло и глухо вокруг
С рокового мгновенья разлуки,
Мой жестокий, мой сладостный друг.
3 декабря 1892

Скромное пророчество

Повернуло к лету божье око,
На земле ж всё злей и злей морозы...
Вы со мною холодны жестоко,
Но я чую, чую запах розы.
Я в пророки возведен врагами,
На смех это дали мне прозванье,
Но пророк правдивый я пред вами,
И свершился скоро предсказанье.
Я пророчу, – слушайте, дриада!
Снег растает, и минует холода,
И земля воскреснет, солнцу рада,
И проснется лес, как прежде молод.
Я пророчу, – это между нами, –
Что гулять вы будете по саду
И впивать и носом, и глазами
Майской ночи светлую отраду.
10 декабря 1892

«Милый друг, иль ты не видишь...»

Милый друг, иль ты не видишь,
Что всё видимое нами –
Только отблеск, только тени
От незримого очами?
Милый друг, иль ты не слышишь,
Что житейский шум трескучий –
Только отклик искаженный
Торжествующих созвучий?
Милый друг, иль ты не чуешь,
Что одно на целом свете –
Только то, что сердце к сердцу
Говорит в немом привете?
1892

«Вижу очи твои изумрудные...»

Вижу очи твои изумрудные,
Светлый облик встает предо мной.
В эти сны наяву, непробудные,
Унесло меня новой волной.
Ты поникла, земной паутиною
Вся опутана, бедный мой друг,
Но не бойся: тебя не покину я,—
Он сомкнулся, магический круг.
В эти сны наяву, непробудные,
Унесет нас волною одной.
Вижу очи твои изумрудные,
Светлый облик стоит предо мной.

1892

«День прошел с суетой беспощадною...»

день прошел с суетой беспощадною
Вокруг меня благодатная тишь,
А в душе ты одна, ненаглядная,
Ты одна нераздельно царишь.
Все порывы и чувства мятежные,
Злую жизнь, что кипела в крови,
Поглотило стремление безбрежное
Роковой беззаветной любви.
днем луна, словно облачко бледное,
Чуть мелькнет белизною своей,
А в ночи — перед ней, всепобедною,
Гаснут искры небесных огней.

1892

«О, что значат все слова и речи,...»

О, что значат все слова и речи,
Этих чувств отлив или прибой
Перед тайною нездешней нашей встречи,
Перед вечною, недвижною судьбой?
В этом мире лжи — о, как ты лжива!
Средь обманов ты живой обман.
Но ведь он со мной, он мой, тот миг
счастливый,
Что рассеет весь земной туман.
Пусть и ты не веришь этой встрече,
Всё равно, — не спорю я с тобой.
О, что значат все слова и речи
Перед вечною, недвижною судьбой?

1892

«Милый друг, не верю я нисколько...»

Милый друг, не верю я нисколько
Ни слогам твоим, ни чувствам, ни глазам,
И себе не верю, верю только
В высоте сияющим звездам.
Эти звезды мне стезею млечной
Насыпают верные мечты
И растят в пустыне бесконечной
для меня нездешние цветы.
И меж тех цветов, в том вечном лете,
Серебром лазурным облита,
Как прекрасна ты, и в звездном свете
Как любовь свободна и чиста!

1892

На палубе «Торнео»

Посмотри: побледнел серп луны,
Побледнела звезда Афродиты,
Новый отблеск на гребне волны...
Солнца вместе со мной подожди ты!
Посмотри, как потоками кровь
Заливает всю темнею силу.

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Старый бой разгорается вновь...
Солнце, солнце опять победило!
28 июля 1893

По дороге в Упсалу

Где ни взглянешь, — всюду камни,
Только камни да сосна...
Отчего же так близка мне
Эта бедная страна?
Здесь с природой в вечном споре
Человека дух растет
И с бушующего моря
Небесам свой вызов шлет.
И средь смутных очертаний
Этих каменных высот
В блеске северных сияний
К царству духов виден вход.
Знать, недаром из Кашмира
И с полуденных морей
В этот край с начала мира
Шли толпы богатырей.

2 августа 1893

На палубе «Фритиофа»

Только имя одно я успел прошептать
За звездой, что скатилась в море,
Пожелать не успел, да и поздно желать:
Всё минуло — и счастье и горе.
Берег скрылся давно, занят весь кругозор
Однокой пучиной морскою.
В одинокой душе тот же вольный простор,
Что вокруг предо мной и за мною.

6 августа 1893

Лунная ночь в Шотландии

Памяти гр^αфа Ф. Л. Соллогуба
По долине меж гор
Лунный луч пробрался мне в окно.
Выходи, выходи на простор!
Что за сон, не заснуть всё равно.
Ярче светлого сна, наяву
Вся долина в сиянье лежит.
Никого, никого я с собой не зову,
Пусть один водопад говорит.
Выше, выше, туда, где стоит
Однокая ель над скалой,
Где ручей меж камней невидимкой бежит,
Там, где гномы живут под землей.
Шире, шире растет кругозор,
Всё ясней и ясней при луне
Очертания серые гор,
Отраженных в Ломондской волне.
Отчего ж этой ночи краса,
Словно призрак безмолвный, грустна?
Свет холодный струят небеса,
И земля, как луна, холодна.
Точно светлый простерт балдахин
Над гробами минувших веков,
Точно в лунную ночь на земле я один
Средь незримой толпы мертвцев.
Проникает до самой души
Лунный холод, что льется вокруг...
Что же это в недвижной тиши
Вскользнулось и грянуло вдруг?
Голоса из невидимых стран,
Диких звуков неслыханный ряд,
Воет рог, и гремит барабан,
И неистово флейты визжат.

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Однокая ель ожила
И навстречу ветвями шумит,
Ожила и немая скала,
В тайном трепете мшистый гранит.

.....
Песнь горцев

Слава вождю, что ведет нас к победам!
Он носит на знамени вечнозеленую ель.
Всюду за ней мы, и страх нам неведом,
Клан Альпин – гроза для окрестных земель.

Что нам цветы в их изменчивой славе?
Чем ярче весна, тем их гибель грустней.
Зимней порой ни листочка в Трассахской дубраве:
Тут-то гордимся мы елью зеленою своей.
Корни глубоко в расселины скал запустила,
Зимние бури над ней истощат свои силы,
Чем они крепче, тем крепче срастется с родною горой.
Пусть же Монтэйт с Брэдалбанской землею
Снова и снова гремят ей хвалою:
Родериг Вих-Альпин-дху, го! изрой! [8]
Гордо наш пиброх звучал в Глен-Фруине,
И Баннохар стоном ему отвечал;
Глен-Люсс и Росс-дху дымятся в долине,
Пустыней весь берег Лох-Ломонда стал.
Вдовам и девам саксонским вовек
Памятен будет наш ярый набег,
Страхом и горем они поминать тебя будут, альпийский герой!
В трепете Ленnox и Левенглэн,
Только засыпят вблизи своих стен:
Родериг Вих-Альпин-дху, го! изрой!
Дикие клики звучали победно...
Миг лишь – и снова безмолвье царит.
Призраки звуков замолкли бесследно,
Только ручей под камнями шумит.
Старая ель и холодные скалы,
В мертвом просторе сияет луна.
Песня былого навек отзвучала,
Дикая жизнь – не воскреснет она!
Август 1893

Прощанье с морем

Снова и снова иду я с тоскою влюбленной
Жадно вливаться в твою бесконечность очами,
Нужно расстаться и с этой подругою светло-зеленою.
Вместе, о море, мы ропщем, но влаги соленой
Я не умножу слезами.
В путь одинокий и зимний с собой заберу я
Это движенье живое, и голос, и краски;
В ночи бессонные, дальней красою чаруя,
Ты мне напомнишь свои незабвенные ласки.
1 ноября 1893

С Новым годом (1 января 1894)

Новый год встречают новые могилы,
Тесен для былого новой жизни круг,
Радостное слово прозвучит уныло,—
Всё же: с новым годом, старый, бедный друг!
Власть ли роковая, или немощь наша
В злую страсть одела светлую любовь,—
Будем благодарны, миновала чаша,
Страсть перегорела, мы свободны вновь.
Лишь бы только время, сокрушив неволю,
Не взяло и силы любящих сердец,
Лишь бы только призрак несвершенной доли
Не гляделся в душу, как живой мертвец.
Конец ноября 1893

Если желанья бегут, словно тени,
Если обеты – пустые слова,–
Стоит ли жить в этой тьме заблуждений,
Стоит ли жить, если правда мертва?
Вечность нужна ли для праздных стремлений,
Вечность нужна ль для обманчивых слов?
Что жить достойно, живет без сомнений,
Высшая сила не знает оков.
Высшую силу в себе сознавая,
Что ж тосковать о ребяческих снах?
Жизнь только подвиг,– и правда живая
Светит бессмертьем в истлевших гробах.
<1893>

В окрестностях Або

Не позабуду я тебя,
Краса полуночного края,
Где, небо бледное любя,
Волна бледнеет голубая;
Где ночь безмерная зимы
Таит магические чары,
Чтоб вдруг поднять средь белой тьмы
Сияний вещих пламень ярый.
Там я скитался, молчалив,
Там богу правды я молился,
Чтобы насилия прилил
О камни финские разбился.
Начало января 1894

«Сходня... Старая дорога...»

Сходня... Старая дорога...
А в душе как будто ново.
фон осенний. Как немного
Остается от былого!
21 августа 1894

Монрепо

Серое небо и серое море
Сквозь золотых и пурпурных листов,
Словно тяжелое старое горе
Смолкло в последнем прощальном убore
Светлых, прозрачных и радужных снов.
26 сентября 1894

Колдун-камень

Посвящается Л.М. Лопатину
Эти мшистые громады
Сердце тянут как магнит.
Что от смертного вам надо,
Что за тайна здесь лежит?
Молвит древнее сказанье,
Что седые колдуны
Правым роком в наказанье
За ужасные деянья
В камни те превращены.
Спят в немом оцепененье,
Лишь один, однажды в век,
В свой черед из усыплья
Встанет камень-человек.
Борода торчит седая,
Как у волка, взор горит,
И, дыханье забирая,
Грудь могучая дрожит.
Заклинанье раздается,
Мгла кругом потрясена,

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
И со стоном в берег бьется
Моря финского волна.
Воет буря, гул и грохот,
Море встало, как стена,
И далече слышен хохот
И проклятья колдуна.
Сила адского дыханья
Всю пучину подняла,
Гибнут грешные созданья,
Гибнут грешные дела.
И, свершив предназначенье,
Вещий камень снова спит,
Но над ним – залог прощенья –
Тихо звездочка горит.
Эти мшистые громады
Сердце тянут как магнит.
Что от смертного вам надо,
Что за тайна здесь лежит?
27 сентября 1894

Панмонголизм

Панмонголизм! Хоть слово дико,
Но мне ласкает слух оно,
Как бы предвестием великой
Судьбы божией полно.
Когда в растленной Византии
Остыл божественный алтарь
И отреклися от Мессии
Иерей и князь, народ и царь, –
Тогда он поднял от Востока
Народ безвестный и чужой,
И под орудьем тяжким рока
Во прах склонился Рим второй.
Судьбою павшей Византии
Мы научиться не хотим,
И все твердят льстецы России:
Ты – третий Рим, ты – третий Рим.
Пусть так! Орудий божьей кары
Запас еще не истощен.
Готовит новые удары
Рой пробудившихся племен.
От вод малайских до Алтая
Вожди с восточных островов
У стен поникшего Китая
Собрали тьмы своих полков.
Как саранча, неисчислимы
И ненасытны, как она,
Нездешней силою хранимы,
Идут на север племена.
О Русь! забудь былую славу:
Орел двуглавый сокрушен,
И желтым детям на забаву
Даны клочки твоих знамен.
Смирятся в трепете и страхе,
Кто мог завет любви забыть...
И третий Рим лежит во прахе
А уж четвертому не быть.
1 октября 1894

Сайма

Озеро плещет волной беспокойною,
Словно как в море растущий прибой,
Рвется к чему-то стихия нестройная,
Спорит о чем-то с враждебной судьбой.
Знать, не по сердцу оковы гранитные!
Только в безмерном отраден покой.
Снятся былье века первобытные,
Хочется снова царить над землей.
Бейся, волнуйся, невольница дикая!

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Вечный позор добровольным рабам.
Сбудется сон твой, стихия великая,
Будет простор всем свободным волнам.
3 октября 1894

«Что этой ночью с тобой совершилося...»

Что этой ночью с тобой совершилося?
Ангел надежд говорил ли с тобой?
Или вчерашней грозой истомилося
И отыхаешь пред новой борьбой?
Тихо лепечут струи озаренные,
Тихо сияет небес благодать,
Только вдали дерева обнаженные
Вдруг прошумят и замолкнут опять.
4 октября 1894

«Этот матово-светлый жемчужный простор...»

Посвящается Н.Е. Ауэр
Этот матово-светлый жемчужный простор
В небесах и в зеркальной равнине,
А вдали этот черный застывший узор, —
Там, где лес отразился в пучине.
Если воздух прозрачный доносит порой
Детский крик иль бубенчики стада —
Здесь и самые звуки звучат тишиной,
Не смущая безмолвной отрады.
Так остьаться бы век — и свет то, и тепло
Здесь на чистом нетающем снеге.
Злая память и скорбь — всё куда-то ушло,
Всё расплылось в чарующей неге.
11 октября 1894

«Тебя полюбил я, красавица нежная...»

Тебя полюбил я, красавица нежная,
И в светло-прозрачный, и в сумрачный день.
Мне любы и ясные взоры безбрежные,
И думы печальной суровая тень.
Ужели обман — эта ласка нежданная!
Ужели скитальцу изменишь и ты?
Но сердце твердит: это пристань желанная
У ног безмятежной святой красоты.
Люби же меня ты, красавица нежная,
И в светло-прозрачный, и в сумрачный день.
И пусть эти ясные взоры безбрежные
Всё горе былое развеют как тень.
11 октября 1894

Ночь на Рождество

Посвящается В.Л. Величко
Пусть всё поругано веками преступлений,
Пусть незапятнанным ничто не сбереглось,
Но совести укор сильнее всех сомнений,
И не погаснет то, что раз в душе зажглось.
Великое не тщетно совершилось;
Недаром средь людей явился бог;
К земле недаром небо приклонилось,
И распахнулся вечности чертог.
В незримой глубине сознанья мирового
Источник истины живет не заглушен,
И над руинами позора векового
Глагол ее звучит, как похоронный звон.
Родился в мире свет, и свет отвергнут тьмою,
Но светит он во тьме, где грань добра и зла.
Не властью внешнею, а правдою самою
Князь века осужден и все его дела.
24 декабря 1894

Вся ты закуталась шубой пушистой,
В сне безмятежном, затихнув, лежишь.
Веет не смертью здесь воздух лучистый,
Эта прозрачная, белая тишина.
В невозмутимом покое глубоком,
Нет, не напрасно тебя я искал.
Образ твой тот же пред внутренним оком,
Фея – владычица сосен и скал!
Ты непорочна, как снег за горами,
Ты многодумна, как зимняя ночь,
Вся ты в лучах, как полярное пламя,
Темного хаоса светлая дочь!

Декабрь 1894

«Шум далекий водопада...»

Шум далекий водопада
Раздается через лес,
Веет тихая отрада
Из-за сумрачных небес.
Только белый свод воздушный,
Только белый сон земли.
Сердце смолкнуло послушно,
Все тревоги отошли
Неподвижная отрада,
Все слилось как бы во сне.
Шум далекий водопада
Раздается в тишине.
Конец декабря 1894

Отшедшим

Едва покинул я житейском волненье,
Отшедшие друзья уж собрались толпой,
И прошлых смутных лет далекие виденья
Яснее и ясней выходят предо мной.
Весь свет земного дня вдруг гаснет и бледнеет,
Печалью сладкою душа упоена,
Еще незримая – уже звучит и веет
Дыханье вечности грядущая весна.
Я знаю это вы к земле свой взор склонили,
Вы подняли меня над тяжкой суетой
И память вечного свиданья оживили,
Едва не смытую житейскою волной.
Еще не вижу вас, но в час предназначенья,
Когда злой жизни дань всю до конца отдам,
Вы въявь откроете обитель примиренья
И путь укажете к немеркнущим звездам.
Середина января 1895

Иматра

Шум и тревога в глубоком покое,
Мутные волны средь белых снегов,
Льдины прибрежной пятно голубое,
Неба жемчужного тихий покров.
Жизнь мировая в стремлении смутном
Так же несется бурливой струей,
В шуме немолчном, хотя лишь минутном,
Тот же царит неизменный покой
Страсти волну с ее пеной кипучей
Тщетным желаньем, дитя, не лови:
Вверх погляди на недвижно могучий,
С небом сходящийся берег любви.
Январь 1895

«Опять надвинулись томительные тени...»

Памяти А. Ф. Аксаковой

Опять надвинулись томительные тени
Забытых сердцем лиц и пережитых грез,
Перед неведомым склоняются колени,
И к невозвратному бегут потоки слез.
Не об утраченных, о нет они вернутся,—
Того мгновенья жаль, что сгибло навсегда,
Его не воскресить, и медленно плетутся
За мигом вечности тяжелые года.
Иль эта мысль обман, и в прошлом только тени
Забытых сердцем лиц и пережитых грез?
Перед неведомым склоняются колени,
И к невозвратному бегут потоки слез.

Январь 1895

Сон наяву

Лазурное око
Сквозь мрачно-нависшие тучи...
Ступая глубоко
По снежной пустыне сыпучей,
К загадочной цели
Иду одиноко.
За мной только ели,
Кругом лишь далёко
Раскинулась озера ширь в своем белом уборе,
И вслух тишина говорит мне: нежданное сбудется вскоре.
Лазурное око
Опять потонуло в тумане,
В тоске одинокой
Бледнеет надежда свиданий.
Печальные ели
Темнеют вдали без движенья,
Пустыня без цели,
И путь без стремленья,
И голос всё тот же звучит в тишине без укора:
Конец уже близок, нежданное сбудется скоро.
Январь 1895

Воскресшему

Лучей блестящих полк за полком[9]
Нам шлет весенний юный день,
Но укрепляет тихомолком
Твердыню льда ночная тень.
Земля чернеет меж снегами,
Но этот траур веселит,
Когда победными лучами
Весны грядущей он залит.
Души созревшего расцвета
Не сдержит снег седых кудрей,
Лишь эту смесь зимы и лета
Осветит взор твоих очей.
16 апреля 1895

«Лишь только тень живых, мелькнувши, исчезает...»

Посв<ящается> Н. Е. Ауэр
Лишь только тень живых, мелькнувши, исчезает,
Тень мертвых уж близка,
И радость горькая им снова отвечает
И сладкая тоска.
Что ж он пророчит мне, настойчивый и властный
Призыв родных теней?
Расцвет ли новых сил, торжественный и ясный,
Конец ли смертных дней?
Но что б ни значил он, привет ваш замогильный,
С ним сердце бьется в лад,
Оно за вами, к вам, и по дороге пыльной
Мне не идти назад.
23 апреля 1895

Посв<ящается> кн<язю> А.Д. Оболенскому
Наконец она стряхнула
Обветшалый свой убор,
Улыбнулась и вздохнула
И открыла ясный взор.
Неба пламенные розы
Отражаются в волне,
И разносит дух березы
Лес в прозрачном полусне.
Отчего же день расцвета
Для меня печали день?
Отчего на праздник света
Я несу ночную тень?
С пробудившейся землею
Разлучен, в немой стране
Кто-то с тяжкою тоскою
Шепчет: «Вспомни обо мне!»
28 апреля 1895

«Эти грозные силы, что в полдень гремели...»

Эти грозные силы, что в полдень гремели,
Разошлись, истошились давно
Вот и робкие звезды вверху заблестели
И глядятся тихонько в окно
Но немые зарницы земле утомленной
Всё твердят о грозе прожитой,
И не верит она этой ночью бессонной,
Что настанет желанный покой.

1895

Июньская ночь на Сайме

В эту ночь золотисто-пурпурную,
Видно, нам не остаться вдвоем,
И сквозь розы небес что-то сдержанно-бурно
Уловил я во взоре твоем.
Вот и полночь прошла незаметная...
Всё светлей и светлей над тобой,
Но померкла святыня заветная,
Что царит над моей судьбой.
Не пленяюсь я солнечной силою,
А взглянуться в тебя – холодно!
Но с душою моей унылою
Тайно шепчется слово одно.
Знаю, в утро осеннее, бледное,
Знаю, в зимний закат ледяной
Прозвучит это слово победное,
И его повторишь ты за мной!

17 июня 1896

Гроза утром

Разогнали раскаты громовые
Смутных снов налетевшую стаю.
Перед бездной огнисто-лиловою
Разорвалась завеса до краю
Шумно льются потоки назревшие,
Гром гремит, словно чем-то утешен...
Вижу очи твои потемневшие,
Хоть дождем от тебя занавешен.
Вдруг затихло... Там кто-то прощается,
И просвета лазури открыты...
Но двоится твой взор: улыбается
И темнеет грозой незабытой.
18 июня 1896

На поезде утром

Посвящается В.П. Гайдебурову
Воздух и окошко, добытые с боя...
Желтая береза между темной ели,
А за ними небо светло-голубое
И хлебов грядущих мягкие постели.
С призраком дыханья паровоз докучный
Мчится и грохочет мертвыми громами,
А душа природы с ласкою беззвучной
В неподвижном блеске замерла над нами.
Тяжкому разрыву нет конца ужели?
Или есть победа над враждою мнимой,
И сойдутся явно в благодатной цели
Двигатель бездушный с жизнью недвижимой?
Сентябрь 1896

другу молодости

Князю Д. Н. Цертелеву
Враг я этих умных,
Громких разговоров
И бесплодно-шумных
Бесконечных споров...

.....
Помнишь ли, бывало,—
Ночи те далёко,—
Тишиной встречала
Нас заря с востока.
Из намеков кратких,
Жизни глубь вскрывая,
Поднималась молча
Тайна роковая.
То, чего в то время
Мы не досказали,
Записала вечность
В темные скрижали.
Конец декабря 1896

«Нет, силой не поднять тяжелого покрова...»

Нет, силой не поднять тяжелого покрова
Седых небес...
Всё та же вдали тропинка вьется снова,
Всё тот же лес.
И в глубине вопрос–вопрос единый
Наставил бог.
О, если б ты хоть песней лебединой
Ответить мог!
Весь мир стош застывшую мечтою,
Как в первый день.
Душа одна, и видит пред собою
Свою же тень.
<1897>

Памяти А. А. Фета

Он был старик давно больной и хилый;
Дивились все — как долго мог он жить...
Но почему же с этою могилой
Меня не может время помирить?
Не скрыл он в землю дар безумных песен;
Он всё сказал, что дух ему велел, —
Что ж для меня не стал он бестелесен
И взор его в душе не побледнел?..
Здесь тайна есть... Мне слышатся призывы
И скорбный стон с дрожащою мольбой...
Непримиренное вздыхает сиротливо,
И одинокое горюет над собой.
16 января 1897

Око Вечности

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
«Да не будут тебе бози инии, разве Мене».
Одна, одна над белою землею
Горит звезда
И тянет вдаль эфирною стезею
К себе – туда.
О нет, зачем? в одном недвижном взоре
Все чудеса,
И жизни всей таинственное море,
И небеса.
И этот взор так близок и так ясен, –
Глядись в него,
Ты станешь сам – безбрежен и прекрасен –
Царем всего.
Январь 1897

На смерть А.Н. Майкова

Тихо удаляются старческие тени,
Душу заключавшие в звонкие кристаллы,
Званы еще многие в царство песнопений, –
Избранных, как прежние, – уж почти не стало.
Вещие свидетели жизни пережитой,
Вы увековечили все, что в ней сияло,
Под цветами вашими плод земли сокрытый
Рос, и семя новое тайно созревало.
Мир же вам с любовью, старческие тени!
Пусть блестят по-прежнему чистые кристаллы,
Чтобы звоном сладостным в царстве песнопений
Вызывать к грядущему то, что миновало.

9 марта 1897

А.А. Фету (Посвящение книги о русских поэтах) [10]

Все нити порваны, все отклики – молчанье.
Но скрытой радости в душе остался ключ,
И не погаснет в ней до вечного свиданья
Один таинственный и неизменный луч.
И я хочу, средь царства заблуждений,
Войти с лучом в горнило вещих снов,
Чтоб отблеском бессмертных озарений
Вновь увенчать умолкнувших певцов.
Отшедший друг! Твое благословенье
На этот путь заранее со мной.
Неуловимого я слышу приближение,
И в сердце бьет невидимый прибой.
Июль 1897

Старому другу

А. П. Саломуну
Двадцатый год – веселье и тревоги
Делить вдвоем велел нам вышний рок.
Ужель теперь для остальной дороги
Житейский нас разъединит поток?
Заключены в темнице мира тленной
И дань платя царящей суете,
Свободны мы в божнице сокровенной
Не изменять возвышенной мечте.
Пусть гибнет все, что правды не выносит,
Но сохраним же вечности залог, –
Того, что дух бессмертный тайно просит,
Что явно обещал бессмертный бог.
Июль 1897

«Я озарен осеннею улыбкой...»

Я озарен осеннею улыбкой –
Она милей, чем яркий смех небес.
Из-за толпы бесформенной и зыбкой
Мелькает луч, – и вдруг опять исчез.
Плачь, осень, плачь, – твои отрадны слезы!

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Дрожащий лес, рыданья к небу шли!
Реви, о буря, все свои угрозы,
Чтоб истощить их на груди земли!
Владычица земли, небес и моря!
Ты мне слышна сквозь этот мрачный стоп,
И вот твой взор, с враждебной мглою споря,
Вдруг озарил прозревший небосклон.
26 августа 1897

Родина русской поэзии По поводу элегии «Сельское кладбище»[11]

Посвящается П.В. Жуковскому
Не там, где заковал недвижною бронею
Широкую Неву береговой гранит,
Иль где высокий Кремль над пестрою Москвою,
Свидетель старых бурь, умолкнувший, стоит,
А там, среди берез и сосен неизменных,
Что в сумраке земном на небеса глядят,
Где праотцы села в гробах уединенных[12],
Крестами венчаны, сном утомленных спят,—
Там на закате дня, осеннею порою,
Она, волшебница, явилась на свет,
И принял лес ее опавшую листвою,
И тихо шелестил печальный свой привет.
И песни строгие к укромной колыбели
Неслись из-за моря, с туманных островов,
Но, прилетевши к ней, они так нежно пели
Над вещей тишиной родительских гробов.
На сельском кладбище явилась ты недаром,
О гений сладостный земли моей родной!
Хоть радугой мечты, хоть юной страсти жаром
Пленяла после ты,— но первым лучшим даром
Останется та грусть, что на кладбище старом
Тебе навеял бог осеннею порой.
12 октября 1897

Отзыв на «Песни из уголка»

К. К. Случевскому
дарит меня двойной отрадой
Твоих стихов вечерний свет:
И мысли ясною прохладой,
И тем, чему названья нет.
Какая осень! Странно что-то:
Хоть без жары и бурных гроз,
Твой день от солнцеповорота
Не убывал, а только рос.
Так пусть он блещет и зимою,
Когда ж блестать не станет вмочь,
Засветит вещею зарею,—
Зарей во всю немую ночь.
Январь 1898

Знамение

«Семя жены сотрет главу змия»
(Бытия, III)
«Сотворил Мне величие Сильный, и свято имя ЕГО»
(Еван. Луки, I)
«И явилось на небе великое знамение: жена, облеченнная в солнце; под ногами ее луна, на главе ее венец из двенадцати звезд»
(Апокал., XII)
Одно, навек одно! Пускай в уснувшем храме
Во мраке адский блеск и гром средь тишины,—
Пусть пало всё кругом, — одно не дрогнет знамя,
И щит не двинется с разрушенной стены.
Мы в сонном ужасе к святыне прибежали,
Н гарью душною был полон весь наш храм,
Обломки серебра разбросаны лежали,
И черный дым прильнул к разодранным коврам.
И только знак один нетленного завета

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Меж небом и землей по-прежнему стоял.
А с неба тот же свет и деву Назарета,
И змия тщетный яд пред нею озарял.
8 марта 1898

В Архипелаге ночью

Нет, не верьте обольщенью, —
Чтоб сцепленьем мертвых сил
Гибло божие творенье,
Чтоб слепой нам рок грозил.
Видел я в морском тумане
Всю игру враждебных чар;
Мне на деле, не в обмане
Гибель нес зловещий пар.
Въявь слагались и вставали
Сонмы адские духов,
И пронзительно звучали
Сочетанья злобных слов.
Мир веществен лишь в обмане,
Гневом дышит темный пар...
Видел я в морском тумане
Злую силу вражьих чар.
8–11 апреля 1898

DAS EWIG-WEIBLICHE[13] Слово увещательное к морским чертям

Черти морские меня полюбили,
Рыщут за мною они по следам:
В Финском поморье недавно ловили,
В Архипелаг я — они уже там!
Ясно, что черти хотят моей смерти,
Как и по чину прилично чертям.
Бог с вами, черти! Однако, поверьте,
Вам я себя на съеденье не дам.
Лучше вы сами послушайтесь слова, —
Доброе слово для вас я припас:
Божьей скотинкою сделаться снова,
Милые черти, зависит от вас.
Помните ль вы, как у этого моря,
Там, где стоял Амафунт и Пафос,
Первое в жизни нежданное горе
Некогда вам испытать довелось?
Помните ль розы над пеной белой,
Пурпурный отблеск в лазурных волнах?
Помните ль образ прекрасного тела,
Ваше смятенье, и трепет, и страх?
Та красота своей первою силой,
Черти, не долго была вам страшна;
Дикую злобу на миг укротила,
Но покорить не умела она.
В ту красоту, о коварные черти,
Путь себе тайный вы скоро нашли,
Адское семя растленья и смерти
В образ прекрасный вы сеять могли.
Знайте же: вечная женственность ныне
В теле нетленном на землю идет.
В свете немеркнущем новой богини
Небо слился с пучиною вод.
Всё, чем красна Афродита мирская,
Радость домов, и лесов, и морей, —
Всё совместит красота неземная
Чище, сильней, и живей, и полней.
К ней не ищите напрасно подхода!
Умные черти, зачем же шуметь?
То, чего ждет и томится природа,
Вам не замедлить и не одолеть.
Гордые черти, вы всё же мужчины, —
С женщиной спорить не честь для мужей.
Ну, хоть бы только для этой причины,
Милые черти, сдавайтесь скорей!

Мимо Троады

Что-то здесь осиротело,
Чей-то светоч отсиял,
Чья-то радость отлетела,
Кто-то пел – и замолчал.
Между 11 и 14 апреля 1898

Нильская дельта

Золотые, изумрудные,
Черноземные поля...
Не скуча ты, многотрудная,
Молчаливая земля!
Это лоно плодотворное, –
Сколько дремлющих веков, –
Принимало, всепокорное,
Семена и мертвцевов.
Но не всё тобою взятое
Вверх несла ты каждый год:
Смертью древнею заклятое
Для себя весны всё ждет.
Не Изида трехвенечная
Ту весну им приведет,
А нетронутая, вечная
«Дева Радужных ворот». [14]
14 апреля 1898

Песня моря

А. А. Фету
От кого это теплое южное море
Знает горькие песни холодных морей?..
И под небом другим, с неизбежностью споря,
Та же тень всё стоит над мечтою моей.
Иль ей мало созвучных рывданий пучины
Что из тесного сердца ей хочется слез,
Слез чужих, чьей-нибудь бескорыстной кручины
Над могилой безумно отвергнутых грез...
Чем помочь обманувшей, обманутой доле?
Как задачу судьбы за другого решить?
Кто мне скажет? Но сердце томится от боли
И чужого крушенья не может забыть.
Брызги жизни сливались в алмазные грезы,
А теперь лишь блеснет лучезарная сеть, –
Жемчуг песен твоих расплывается в слезы,
Чтобы вместе с пучиной роптать и скорбеть.
Эту песню одну знает южное море,
Как и бурные волны холодных морей –
Про чужое, далекое, мертвое горе,
Что, как тень, неразлучно с душою моей.
Апрель 1898

Ответ на «Плач Ярославны»

К. К. Случевскому
Всё, изменяясь, изменило,
Везде могильные кресты,
Но будят душу с прежней силой
Заветы творческой мечты.
Безумье вечное поэта –
Как свежий ключ среди руин...
Времен не слушаясь запрета,
Он в смерти жизнь хранит один.
Пускай Пергам давно во прахе,
Пусть мирно дремлет тихий Дон:
Всё тот же ропот Андромахи,
И над Путивлем тот же стон.
Свое уж не вернется снова,

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Немеют близкие слова,—
Но память дальнего былого
Слезой прозрачною жива.
19 июня 1898

На том же месте[15]

И помни весь путь, которым вел тебя Превечный, бог твой, по пустыне, вот уже сорок лег...

Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною...

Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога не пухла, вот уже сорок лет...

(второз., VIII. 2-4)

Ушли двенадцать лет отважных увлечений

И снов мучительных, и тягостных забот,

Осиливших на миг и павших искушений,

Похмелья горького и трезвенных работ.

Хвала превечному! Израиля одежды

В пустыне сорок лет он целыми хранил...

Не тронуты в душе все лучшие надежды,

И не иссякло в ней русло творящих сил!

Владычица-земля! С бывалым умиленьем

И с нежностью любви склоняюсь над тобой.

Лес древний и река звучат мне юным пеньем...

Всё вечное и в них осталось со мной.

Другой был, правда, день, безоблачный и яркий,

С небес лился поток ликующих лучей,

И всюду меж дерев запущенного парка

Мелькали призраки загадочных очей.

И призраки ушли, но вера неизменна...

А вот и солнце вдруг взглянуло из-за туч.

Владычица-земля! Твоя краса нетленна,

И светлый богатырь бессмертен и могуч.

29 июня 1898

11 июня 1898 г.

Стая туч на небосклоне
Собралася и растет...
На земном иссохшем лоне
Всё живое влаги ждет.
Но упорный и докучный
Ветер гонит облака.
Зной всё тот же неотлучный,
Влага жизни далека.
Так душевые надежды
Гонят прочь житейский шум,
Голос злобы, крик невежды,
Вечный ветер праздных дум.
Май или июнь 1898

Три свидания (Москва – Лондон – Египет. 1862–75–76) Поэма

Заранее над смертью торжествую
И цепь времен любовью одолев,
Подруга вечная, тебя не назову я,
Но ты почуешь трепетный напев...
Не веря обманчивому миру,
Под грубою корою вещества
Я осязал нетленную порфиру
И узнавал сиянье божества...
Не трижды ль ты далась живому взгляду –
Не мысленным движением, о нет! –
В предвестие, иль в помощь, иль в награду
На зов души твой образ был ответ.

1

И в первый раз, – о, как давно то было! –
Тому минуло тридцать шесть годов,
Как детская душа нежданно ощущила
Тоску любви с тревогой смутных снов.
Мне девять лет, она... [16] ей – девять тоже.

«Был майский день в Москве», как молвил фет.

Признался я. Молчание. О, боже!

Соперник есть. А! он мне даст ответ.

дузель, дузель! Обедня в Вознесенье

Душа кипит в потоке страстных мук

Житейское... отложим... попеченье –

Тянулся, замирал и замер звук.

Алтарь открыт... Но где ж священник, дьякон?

И где толпа молящихся людей?

Страстей поток, – бесследно вдруг иссяк он,
лазурь кругом, лазурь в душе моей.

Пронизана лазурью золотистой,
В руке держа цветок нездешних стран,

Стояла ты с улыбкою лучистой,

Кивнула мне и скрылася в туман.

И детская любовь чужой мне стала,

Душа моя – к житейскому слепа...

А немка-бонна грустно повторяла:

«Володинька-ах! слишком он глупа!»

2

Прошли года. Доцентом и магистром
Я мчуся за границу в первый раз.

Берлин, Ганновер, Кельн – в движенье быстром
Мелькнули вдруг и скрылись из глаз.

Не света центр, Париж, не край испанский,
Не яркий блеск восточной пестроты, –

Моей мечтою был Музей Британский,
И он не обманул моей мечты.

Забуду ль вас, блаженные полгода?

Не призраки минутной красоты,

Не быть людей, не страсти, не природа –

Всей, всей душой одна владела ты.

Пусть там снуют людские мириады

Под грохот огнедышащих машин,

Пусть зиждутся бездушные громады, –

Святая тишина, я здесь один.

Ну, разумеется, cum grano salis:[17]

Я одинок был, но не мизантроп;

В уединении и люди попадались,

Из коих мне теперь назвать кого б?

Жаль, в свой размер вложить я не сумею

Их имена, не чуждые молвы...

Скажу: два-три британских чудодея

да два иль три доцента из Москвы.

Всё ж больше я один в читальном зале;

И верьте иль не верьте, – видит бог,

что тайные мне силы выбирали

Всё, что о ней читать я только мог.

Когда же приходи греховные внушали

Мне книгу взять «из оперы другой» –

Такие тут истории бывали,

Что я в смущенье уходил домой.

И вот однажды – к осени то было –

Я ей сказал: «О божества расцвет!

Ты здесь, я чую, – что же не явила

Себя глазам моим ты с детских лет?»

И только я помыслил это слово, –

Вдруг золотой лазурью всё полно,

И предо мной она сияет снова –

Одно ее лицо – оно одно.

И то мгновенье долгим счастьем стало,

К земным делам опять душа слепа,

И если речь «серъезный» слух встречала,

Она была невнятна и глупа.

3

Я ей сказал: «Твоё лицо явилось,

Но всю тебя хочу я увидеть.

Чем для ребенка ты не поскупилась,

В том – юноше нельзя же отказать!»

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
«В Египте будь!»— внутри раздался голос.
В Париж!— и к югу пар меня несет.
С рассудком чувство даже не боролось:
Рассудок промолчал, как идиот.
На Лyon, Турин, Пьяченцу и Анкону,
На фермо, Бари, Бриндизи — и вот
По синему трепещущему лону
Уж мчит меня британский пароход.
Кредит и кров мне предложил в Каире
Отель «Аббат», — его уж нет, увы!
Уютный, скромный, лучший в целом мире...
Там были русские, и даже из Москвы.
Всех тешил генерал — десятый номер —
Кавказскую он помнил старину...
Его назвать не грех — давно он помер,
И лихом я его не помяну.
То Ростислав Фаддеев был известный,
В отставке воин и владел пером.
Назвать кокотку иль собор поместный —
Ресурсов тьма была сокрыта в нем.
Мы дважды в день сходились за табльдотом;
Он весело и много говорил,
Не лез в карман за скользким анекдотом
И философствовал по мере сил.
Я ждал меж тем заветного свиданья,
Н вот однажды, в тихий час ночной,
Как ветерка прохладное дыханье:
«В пустыне я — иди туда за мной».
Иди пешком (из Лондона в Сахару
Не возят даром молодых людей, —
В моем кармане — хоть кататься шару,
И я живу в кредит уж много дней).
Бог весть куда, без денег, без припасов,
И я в один прекрасный день пошел, —
Как дядя Влас, что написал Некрасов.
(Ну, как-никак, а рифму я нашел).
Смеялась, верно, ты, как средь пустыни
В цилиндре высочайшем и в пальто,
За черта принятый, в здоровом бедуине
Я дрожь испуга вызвал и за то
Чуть не убит, — как шумно, по-арабски
Совет держали шейхи двух родов,
Что делать им со мной, как после рабски
Скрутили руки и без лишних слов
Подальше отвели, преблагородно
Мне руки развязали — и ушли.
Смеюсь с тобой: богам и людям сродно
Смеяться бедам, раз они прошли.
Тем временем немая ночь на землю
Спустилась прямо, без обиняков.
Кругом лишь тишину одну я внемлю
Да вижу мрак средь звездных огоньков.
Прилегши наземь, я глядел и слушал...
Довольно гнусно вдруг завыл шакал;
В своих мечтах меня он, верно, кушал,
А на него и палки я не взял.
Шакал-то что! Вот холодно ужасно...
должно быть, нуль, — а жарко было днем.
Сверкают звезды беспощадно ясно;
И блеск, и холод — вражде со сном.
И долго я лежал в дремоте жуткой,
И вот повеяло: «Усни, мой бедный друг!»
И я уснул; когда ж проснулся чутко, —
Дышали розами земля и неба круг.
И в пурпуре небесного блистания
Очами, полными лазурного огня, [18]
Глядела ты, как первое сиянье
Всемирного и творческого дня.
Что есть, что было, что грядет вовеки —
Всё обнял тут один недвижный взор...
Синеют подо мной моря и реки,

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
и дальний лес, и выси снежных гор.
Всё видел я, и всё одно лишь было –
один лишь образ женской красоты...
Безмерное в его размер входило, –
Передо мной, во мне – одна лишь ты.
О лучезарная! тобой я не обманут:
я всю тебя в пустыне увидал...
В моей душе те розы не завянут,
Куда бы ни умчал житейский вал.
один лишь миг! видение сокрылось –
и солнца шар всходил на небосклон
в пустыне тишина. Душа молилась,
и не смолкал в пей благовестный звон.
Дух бодр! Но всё ж не ел я двое суток,
И начинал тускнеть мой высший взгляд.
Увы! как ты ни будь душою чуток,
А голод ведь не тетка, говорят.
На запад солнца путь держал я к Нилу
и вечером пришел домой в Каир.
Улыбки розовой душа следы хранила,
на сапогах – виднелось много дыр.
Со стороны всё было очень глупо
(Я факты рассказал, виденье скрыв).
В молчанье генерал, поевши супа,
Так начал важно, взор в меня вперив:
«Конечно, ум дает права на глупость,
Но лучше сим не злоупотреблять:
Не мастерица ведь людская тупость
виды безумья точно различать.
А потому, коль вам прослыть обидно
Помешанным иль просто дураком, –
об этом происшествии постыдном
Не говорите больше ни при ком».
И много он острил, а предо мною
Уже лучился голубой туман
И, побежден таинственной красою,
Вдаль уходил житейский океан.

Еще невольник суетному миру,
Под грубою корою вещества
Так я прозрел нетленную порфиру
И ощущил сиянье божества.
Предчувствием над смертью торжествуя
И цепь времен мечтою одолев,
Подруга вечная, тебя не назову я,
А ты прости нетвердый мой напев!
26–29 сентября 1898

Примечание. Осенний вечер и глухой лес внушили мне воспроизвести в шутливых стихах самое значительное из того, что до сих пор случилось со мною в жизни два дня воспоминания и созвучия неудержимо поднимались в моем сознании, и на третий день была готова эта маленькая автобиография, которая понравилась некоторым поэтам и некоторым дамам.

На смерть Я. П. Полонского

Света бледно-нежного
догоревший луч,
Ветра вздох прибрежного,
Край далеких туч...
Подвиг сердца женского,
Тень мужского зла,
Солнца блеск вселенского
И земная мгла...
Что разрывом тягостным
Мучит каждый миг –
Всё ты чувством благостным
В красоте постиг.
Новый путь протянется
Ныне пред тобой,
Сердце всё ж оглядывается –

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
С тихою тоской. [19]
19 октября 1898

«Лишь забудешься днем иль проснешься в полночи...»

Лишь забудешься днем иль проснешься в полночи—
Кто-то здесь... Мы вдвоем, —
Прямо в душу глядят лучезарные очи
Темной ночью и днем.
Тает лед, расплюются хмурые тучи,
Расцветают цветы...
И в прозрачной тиши неподвижных созвучий
Отражаясь ты.
Исчезает в душе старый грех первородный:
Сквозь зеркальную гладь
Видишь, нет и травы, змей не виден подводный,
да и скал не видать.
Только свет да вода. И в прозрачном тумане
Блещут очи одни,
И слились давно, как роса в океане,
Все житейские дни.
21 ноября 1898

Две сестры из исландской саги

Посвящается А. А. Луговому
Плещет Обида крылами
Там, на пустынных скалах...
Черная туча над нами,
В сердце — тревога и страх.
Стонет скорбящая дева,
Тих ее стон на земле,—
Голос грозящего гнева
Вторит ей сверху во мгле.
Стон, повторенный громами,
К звездам далеким идет,
Где меж землей и богами
Вечная кара живет.
Там, где полночных сияний
Яркие блещут столбы, —
Там она, дева желаний,
дева последней судьбы.
Чаша пред ней золотая;
В чашу, как пар от земли,
Крупной росой упадая,
Слезы Обиды легли.
Тихо могучая дева —
Тихо, безмолвно сидит,
В чашу грозящего гнева
Взор неподвижный глядит.
Черная туча над нами,
В сердце — тревога и страх...
Плещет Обида крылами
Там, на пустынных скалах.
3 апреля 1899

У себя

Дождались меня белые ночи
Над простором густых островов.
Снова смотрят знакомые очи,
И мелькает былое без слов.
В царство времени все я не верю,
Силу сердца еще берегу,
Роковую не скрою потерю,
Но сказать «навсегда» — не могу.
При мерцании долгом заката,
Пред минутной дремотою дня,
Что погиб его свет без возврата,
В эту ночь не уверишь меня.
Июнь 1899

Белые колокольчики

...И я слышу, как сердце цветет.
фет
Сколько их расцветало недавно,
Словно белое море в лесу!
Теплый ветер качал их так плавно
И берег молодую красу.
Отцветает она, отцветает,
Потемнел белоснежный венок,
И как будто весь мир увядает...
Средь гробов я стою одинок.
«Мы живем, твои белые думы,
У заветных тропинок души
Бродишь ты по дороге угрюмой,
Мы недвижно сияем в тиши.
Нас не ветер берег прихотливый,
Мы тебя сберегли бы от выюг.
К нам скорей, через запад дождливый,
для тебя мы – безоблачный юг.
Если ж взоры туман закрывает
Иль зловещий послышался гром, –
Наше сердце цветет и вздыхает...
Приходи – и узнаешь, о чем».

15 августа 1899

«Мирный сон снится вам...»

Мирный сон снится вам,
Мы уж не верим снам:
Всюду лишь бранный клик,
Смерть иль победы миг.
<1890-е годы>

«Непроглядная темень кругом...»

Непроглядная темень кругом,
Слышны дальнего грома раскаты,
Нет и просвета в небе ночном,
Звезды скрылись – не жди их возврата.
<1890-е годы>

LES REVENANTS[20]

Тайною тропинкою, скорбною и милою,
Вы к душе пробралися, и – спасибо вам!
Сладко мне приблизиться памятью унылою
К смертью занавешенным, тихим берегам.
Нитью непонятною сердце всё привязано
К образам незначащим, к плачущим теням.
Что-то в слово просится, что-то недосказано,
Что-то совершается, но – ни здесь, ни там.
Бывшие мгновения поступью беззвучною
Подошли и сняли вдруг покрывала с глаз.
Видят что-то вечное, что-то неразлучное
И года минувшие – как единый час.
16 января 1900

Дракон

Зигфриду
Из-за кругов небес незримых
Дракон явил свое чело, –
И мглою бед неотразимых
Грядущий день заволокло.
Ужель не смолкнут ликованья
И миру вечному хвала,
Беспечный смех и восклицанья:
«Жизнь хороша, и нет в ней зла!»
Наследник меченосной рати!

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Ты верен знамени креста,
Христов огонь в твоем булате,
И речь грозящая свята.
Полно любовью божье лоно,
Оно зовет нас всех равно...
Но перед пастию дракона
Ты понял: крест и меч – одно.
24 июня 1900

Вновь белые колокольчики

В грозные, знойные
Летние дни –
Белые, стройные
Те же они.
Призраки вешние
Пусть сожжены, –
Здесь вы нездешние,
Верные сны.
Зло пережитое
Тонет в крови, –
Всходит омытое
Солнце любви.
Замыслы смелые
В сердце больном, –
Ангелы белые
Встали кругом.
Стройно-воздушные
Те же они –
В тяжкие, душные,
Грозные дни.
8 июля 1900

Мудрый осенью Элегия, с персидского

Не говори: зачем цветы увяли?
Зачем так в небе серо и темно?
Зачем глядит, исполненный печали,
Поблекший сад к нам в тусклое окно?
Не говори: зачем в долине грязно?
Зачем так скользко под крутой горой?
Зачем гудит и воет неотвязно
Холодный ветер позднею порой?
Не говори: зачем под лад природы
Твоя подруга злится и ворчит?
Слова бесплодны: мудрый в час невзгоды
Пьет с ромом чай и с важностью молчит.
Июнь 1879

Таинственный гость

Поздно ночью раненый
Он вернулся и
Семь кусков барабанины
Скушал до зари.
На рассвете тяжкую
Рану он обмыл,
Медленно фуражкою
Голову покрыл,
Выходя осмотрительно,
Он в кибитку влез
И затем стремительно
Вместе с ней исчез.
<Конец 1870-х – начало 1880-х годов>

Читательница и анютины глазки

Она ходила вдоль по саду
Среди пионов и лилей
Уму и сердцу на усладу
Иль напоказ всего скорей.

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Она в руках держала книжку
И перевертывала лист,
На шее ж грязную манишку
Имела. Мрачный нигилист,
Сидевший тут же на скамейке
И возмущенный всем, что зрел,
Сказал садовнику: «Полей-ка
Анютин глаз, чтоб он созрел».
<Конец 1870 х – начало 1880-х годов>

Эпиграммы

1

Благонамеренный
И грустный анекдот!
Какие мерини
Пасут теперь народ!

2

Протяжено-сложенное слово
И гнусливо-казенный укор
Заменили тюрьму и оковы,
Дыбу, сруб и кровавый топор.
Но с приятным различьем в манере
Сила та же и тот же успех,
И в сугубой свершается мере
Наказанье за двойственный грех.
Январь 1885

Пророк будущего

Угнетаемый насилием
Черни дикой и тупой,
Он питался сухожилием
И яичной скорлупой.
Из кулей рогожных мантию
Он себе соорудил
И всецело в некромантию
Ум и сердце погрузил.
Со стихиями надзвездными
Он в сношение вступал,
Проводил он дни над безднами
И в болотах ночевал.
А когда порой в селение
Он задумчиво входил,
Всех собак в недоумение
Образ дивный приводил.
Но, органами правительства
Быв без вида обретен,
Тотчас он на место жительства
По этапу водворен.[21]
<1886>

Видение Сочинено в состоянии натурального гипноза

По небу полуночи лодка плывет,
А в лодке младенец кричит и зовет.
Младенец, младенец, куда ты плывешь?
О чём ты тоскуешь? Кого ты зовешь?
Напрасно, напрасно! Никто не придет...
А лодка, качаясь, всё дальше плывет,
И звезды мигают, и месяц большой
С улыбкою странной бежит за ладьей...
А тучи в лохмотьях томятся кругом...
Боюсь я, не кончится это добром!
<1886>

Таинственный пономарь Баллада

двенадцать лет граф Адальберт фон Краин
Страница 380

Вестей не шлет;
Быть может, труп его на поле браны
Уже гниет?..
Графиня Юлия тоскует в божьем храме,
Как тень бледна;
Но вдруг взглянула грустными очами –
И смущена.
Кругом весь храм в лучах зари пылает,
Блестит алтарь;
Священник тихо мессу совершает,
С ним пономарь.
Графини взгляд весьма обеспокоен
Пономарем:
Он так хорош, и стан его так строен
Под стихарем...
Обедня кончена, и панихида спета;
Они – вдвоем,
И их уносит графская карета
К графине в дом.
Вошли. Он мрачен, не промолвит слова.
К нему она:
«Скажи, зачем ты так глядишь суроно?
Я смущена...
Я женщина без разума и воли,
А враг силен...
Граф Адальберт уж не вернется боле...»
– «Веррнулся он!
Он беззаконной отомстит супруге!»
Долой стихарь!
Пред нею рыцарь в шлеме и кольчуге, –
Не пономарь.
«Узнай, я граф, – граф Адальберт фон Крани;
Чтоб испытать,
Верна ль ты мне, бежал я с поля браны –
Верст тысяч пять...»
Она: «Ах, милый, как ты изменился
В двенадцать лет!
Зачем, зачем ты раньше не открылся?»
Он ей в ответ:
«Молчи! Служить я обречен без срока
В пономарях...»
Сказал. Исчез. Потрясена глубоко,
Она в слезах...
Прошли года. Граф в храме честно служит
два раза в день;
Графиня Юлия всё по супруге тужит,
Бледна как тень, –
Но не о том, что сгиб он в поле браны,
А лишь о том,
Что сделался граф Адальберт фон Крани
Пономарем.
<1886>

Осеннняя прогулка рыцаря Ральфа Полубаллада

Рыцарь Ральф, женой своею
Опозоренный, на шею
Навязал себе, бледнея,
Шарф большой,
И из жениной уборной,
Взяв под мышку зонтик черный,
Устремился он проворно
В лес глухой.
Ветер дул, уныло воя;
Зонт раскрыв над головою,
Неизвестною тропою
Рыцарь шел.
Сучья голые чернели,
Листья желтые летели,
Рыцарь Ральф шел еле-еле,
Рыцарь Ральф в душе и теле

Ревматические боли
Побеждают силу воли,
И, пройдя версту иль боле,
Рыцарь молвил: «Стоп».
Повернул назад и скоро,
Выходя из глухого бора,
Очутился у забора
Замка своего.
Обессилен, безоружен,
Весь промочен и простужен,
Рыцарь молча сел за ужин,
С ним жена его.
«Рыцарь Ральф! – она сказала. –
Я Вас нонче не узнала,
Я такого не видела
Шарфа никогда».
«Этот шарф был очень нужен, –
Молвил рыцарь Ральф, сконфужен, –
Без него б я был простужен
Раз и навсегда».
<1886>

Полигам и пчелы Басня

В одной стране помещик-полигам
Имел пятнадцать жен, которые ужасно
Друг с другом ссорились и поднимали гам.
Все средства он употреблял напрасно,
Чтоб в разум их привесть, но наконец прекрасный
Вдруг способ изобрел:
Взяв пчельника Антипа,
Он в сад его привел
И говорит: «Вот липа!
И не одна, – здесь много лип;
Вон розан там – а тут, гляди, Антип! –
Сколько много сладостных жасминов и сиреней,
Сбирать свой мед без всяких затруднений
Здесь пчелы, думаю, могли бы...
Итак, Антип, скажу я толком:
я буду чрезвычайно рад,
Когда внушишь своим ты пчелкам,
Чтобы они в прекрасный этот сад
За взятками с цветов летели».
Антип от старости ходил уж еле-еле,
Но все-таки на пчельник поспешил
(Хоть пчельник сам, на пчельнике он жил),
И пчелам там не без труда внушил
Помещика прекрасную идею;
А тот немедленно лакею
Велел весь мед собрать
И, разложив в пятнадцать чаш, подать
Пятнадцати супругам,
Которые в тот день чуть не дрались друг с другом.
Наш Полигам мечтал, что мед,
Быть может, ссоры их уймет;
Но жены хоть не бросили ругаться,
Однако же от меду отказаться
Из них не захотела ни одна.

Мораль сей басни не совсем ясна,
Но, может быть, читатель, в час досуга
Прочтя ее, постигнет вдруг,
Что для него одна супруга
Приятней множества супруг.
<1886>

<На Т. И. Филиппова>

Ведь был же ты, о Тертий, в Палестине,
И море Мертвое ты зрел, о епитроп,

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Но над судьбами древней мерзостины[22]
Не размышлял твой многохитрый лоб.
И поддержать содомскую идею
Стремишься ты на берегах Невы...
Беги, безумец, прочь! Беги, беги скорее,
Не обращай преступной головы.
Огнем и жупелом внезапно опаленный,
Уже к теням в шеол содомский князь летит,
Тебя ж, о епитроп, боюсь, что не в соленый,
А в пресный столб суд божий превратит.
Октябрь 1886

Своевременное воспоминание

Израиля ведя стезей чудесной,
Господь зараз два дива сотворил:
Отверз уста ослице бессловесной
И говорить пророку запретил.
далекое грядущее таилось
В сих чудесах первоначальных дней,
И ныне казнь Моаба совершилась,
Увы! над бедной родиной моей.
Гонима, Русь, ты беспощадным роком,
Хотя за грех иной, чем Билем,
Заграждены уста твоим пророкам
И слово вольное дано твоим ослам.
<1887>

«Каюсь, древняя ослица...»

Каюсь, древняя ослица,
Я тебя обидел дерзко,
Ведь меж нашими ослами
Говорит и князь Мещерский.
Говорит такие речи,
Что, услышав их, от срама
Покраснела бы в Шеоле
Тень ослицы Билема.
<1887>

«Ах, далеко за снежным Гималаем...»

Ах, далеко за снежным Гималаем[23]
Живет мой друг,
А я один, и лишь собачьим лаем[24]
(Вариант: горячим чаем, холодным)
Свой тешу слух
(Вариант: нежу дух),
да сквозь века монахов исступленных
Жестокий спор
Н житие мошенников священных
Следит мой взор.
Но лишь засну - к тибетским плоскогорьям,
Душа, лети!
И всем попам, Кириллам и Несторьям,
Скажи: прости!
Увы! Блаженство кратко в сновиденье!
Исчезло вдруг,
Н лишь вопрос о предопределенье
Томит мой дух.
Начало января 1887

«Люблю я дам сорокалетних...»

Люблю я дам сорокалетних,
Люблю я старое вино,
Мне зимний сад дороже летних,
И разноцветное окно
Полуразрушенной светлицы
Мне так же много говорят,
Как сердцу трепетной девицы

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Большого бала первый вид.
Март 1887

«Город глупый, город грязный...»

Город глупый, город грязный!
Смесь Каткова и кутыи,
Царство сплетни неотвязной,
Скуки, сна, галиматыи.
Нет причин мне и немножко
Полюбить тебя, когда
даже милая мне ножка
Здесь мелькнула без следа.

4 апреля 1887

Знаменитому гражданину

1 Ода

О ты, средь невского содома
Хранящий сердце в чистоте!
Твою мудростью блюдома,
Русь шествует к своей мете.
И скоро, скоро заблужденья
Она отраву изблюет
Н на руинах просвещенья
Благонамеренно заснет.
И если сон сей величавый
И посетят еще мечты,—
О, не страшись: в сиянье славы
Ей будешь сниться только ты.

19 апреля 1887

2 Гимн

Содома князь и гражданин Гоморры
Идет на Русь с «газетою большой».
О боже! суд свой праведный и скорый
Яви, как встарь, над гнусностью такой.
Август 1887

<На А.А. Фета>

1

Поговорим о том, чем наша жизнь согрета:
О дружбе Страхова, о камергерстве фета.
2

Жил-был поэт,
Нам всем знаком,
Под старость лет
Стал дураком.
Конец февраля 1889

Размышление о неизменности законов природы

Дела пожарного служитель
Горе над прахом вознесен
И, как орел — эфира житель,
Всезрящим оком наделен
Он одинок на сей вершине,
Он выше всех, он бог, он царь...
А там внизу, в зловонной тине,
Как червь, влечится золотарь,—
Для сердца нежного ужасен
Контраст клоаки и депа...
Смирись! Закон природы ясен,
Хоть наша мудрость и слепа.
Заходит солнце, солнце всходит,
Века бегут, а все, как встарь,

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
На вышке гордый витязь ходит
И яму чистит золотарь.
Середина апреля 1889

Молодой турка

В день десятый магаремма
У папа в саду
Встретил я цветок гарема
И с тех пор все жду,
Жду в саду нетерпеливо
Я мою газель...
Но папа блудет ревниво
Всех своих мамзель.
Знать, недаром евнух старый
Шилом ковырял
И к мешку тяжелых пару
Камней привязал.
Надо мне осторегаться...
Лучше я уйду.
Этак можно и оставаться
В папином пруду!
да! папа – весьма упорный
Старый ретроград,
И блудет евнух проворный
Папин вертоград.
Середина апреля 1889

Из письма

Во-первых, объявлю вам, друг прелестный,
Что вот теперь уж более ста лет,
Как людям образованным известно,
Что времени с пространством вовсе нет;
Что это только призрак субъективный,
Иль, попросту сказать, один обман.
Сего не знать есть реализм наивный,
Приличный ныне лишь для обезьян.
А если так, то, значит, и разлука,
Как временно-пространственный мираж,
Равна нулю, а с ней тоска и скуча,
И почему всему оценка та же...
Сказать по правде: от начала века
Среди толпы бессмысленной земной
Нашлось всего два умных человека –
Философ Кант да прадедушка Ной.
Тот доказал методом априорной,
Что, собственно, на все нам наплевать,
А этот – эмпирически бесспорно:
Напился пьян и завалился спать.
1890

Привет министрам

Горемыкин веселеющий
И Делянов молодеющий,
Бедоносцев хорошеющий,
Муравьев-жених
Собрались снова вместе, и
Порешили эти бестии,
Что вся сила – в них.
Врете, курицыны дети!
Вот ужо за речи эти
Быть, мерзавцы, вам в ответе,
Будет вам допрос!
И синклиту безволосому,
Да и ю~~льи~~чу безносому
Уж натянут нос!
Ждет засуха семилетняя...
Что и зимняя, и летняя...
Хоть солому жрать, да нет ее!

С голодухи люди кроткие
Разевают свои глотки и
Черт им сам не брат.
Тут сюда-туда вы кинетесь,
Либералами прикинетесь,
Вверх ногами опрокинетесь,
Подожмете хвост.
Но дела все ваши взвешены,
Да и сами вы повешены, –
Вот конец и прост!
Начало сентября 1891

<На К.П. Победоносцева>

На разных поприщах прославился ты много:
Как евнух ты невинностью сиял,
Как пиетист позорил имя бога
И как юрист старушку обобрал.
<1892>

«Душный город стал несносен...»

Душный город стал несносен.
Взявши саквояж,
Скрылся я под сенью сосен
В сельский пейзаж.
У крестьянина Сысоя
Нанял я избу.
Здесь мечтал, вкусив покоя,
Позабыть борьбу.
Ах, потерянного рая
Не вернет судьба.
Ждет меня беда другая,
Новая борьба.
Поднялись на бой открытый
Целые толпы –
Льва Толстого фавориты, [25]
Красные клопы.
Но со мною не напрасно
Неба лучший дар –
Ты, очищенный прекрасно,
Галльский скипидар.
Ты римлянкам для иного
Дела мог служить, [26]
Мне ж союзников Толстого
Помоги сразить.
Я надеялся недаром:
В миг решился бой,
Спасовал пред скипидаром
Весь толстовский строй.
О любимец всемогущий
Знатных римских дам,
Я роман Толстого лучший
За тебя отдам.
От романов сны плохие,
Аромат же твой
Прогоняет силы злые
И дарит покой.
Но покой, увы, не долог.
Вижу, новый враг.
Изо всех щелей и щелок
Повалил прусак.
Ах, и мне воинским жаром
Довелось гореть
И французским скипидаром
Прусаков огреть.
Все погибли смертью жалкой
Кончилась борьба.
Терпентином и фиалкой
Пахнет вся изба.

Эпитафия

Владимир Соловьев
Лежит на месте этом.
Сперва был философ,
А ныне стал скелетом.
Иным любезен быв,
Он многим был и враг;
Но, без ума любив,
Сам ввергнулся в овраг.
Он душу потерял,
Не говоря о теле:
Ее диавол взял,
Его же собаки съели.
Прохожий! Научись из этого примера,
Сколько пагубна любовь и сколько полезна вера.

15 июня 1892

«Не боюся я холеры...»

Не боюся я холеры,
Ибо принятые все меры,
Чтоб от этого недуга
Сбереглась сия округа.
Но болезни любовной[27]
Я страдаю безусловно,
И не вижу «сильной власти»
Против сей зловредной страсти.
Мой микроб – большого роста,
И хоть я не слишком прост, а
Перед ним умом слабею
И лишь млею, млею, млею.
В диагнозе нет сомненья,
Нет в прогнозе утешенья:
Неизбежный и печальный,
Ждет меня исход летальный.[28]
Начало сентября 1892

<Акростихи> <Цикл второй: Матрена>

1

Мадонной была для меня ты когда-то:
Алмазною радугой лик твой горел,
Таинственно всё в тебе было и свято,
Рыдал я у ног твоих тысячекрат и
Едва удавиться с тоски не успел,
Но скрылся куда-то твой образ крылатый,
А вместо него я Матрену узрел.

2

Майская роза давно уж отпета,
Август... И август исчез.
Только как лысина старого фета,
Роща твоя так печально раздета,
Елью одною красуется лес...
Новой природе сочувственно вторя,
Ах, ты Матреною сделалась с горя.
Начало сентября 1892

<С. М. Мартыновой >

«Соловьева в Фиваиде»
Вам списали в лучшем виде
В черную тетрадь.
Я хотел приехать в Сходню,
Чтобы завтрашнему ко дню
Вам ее послать.
Но меня брали в строго

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Вы за то, да и немного
дней осталось ждать.
Начало сентября 1892

<Князю Д.Н. Цертелеву>

Увы, мой друг! Крепчайшими цепями
Прикован я к московским берегам.
Жду худшего: сидеть мне в темной яме
И там вздыхать по милым Липягам.
Но если бы и я был на свободе –
Могу ли голым ехать в дальний край?
Сие противно северной природе,
Да и жандарм в земной не верит рай.
А потому, покорствуя судьбине,
Здесь остаюсь покуда недвижим,
Но октября, надеюсь, в половине
Воспользуюсь призывом я твоим.
Осень 1892

«Вы были для меня, прелестное созданье...»

Вы были для меня, прелестное созданье,
Что для скульптора мрамора кусок,
Но сломан мой резец в усиленном старанье,
А глыбы каменной он одолеть не мог!
Любить Вас tout de me me? [29] Вот странная затея!
Когда же кто любил негодный матерьял?
О светлом божестве, любовью пламенея,
О светлом божестве над вами я мечтал.
Теперь утешу Вас! Пигмалионы редки,
Но есть каменотес в примете у меня:
Из мрамора скамью он сделает в беседке
И будет отдыхать от трудового дня.
Март 1893

«Цвет лица геморроидный...»

Цвет лица геморроидный,
Волос падает седой,
И грозит мне рок обидный
Преждевременной бедой.
Я на все, судьба, согласен,
Только плешию не дари:
Голый череп, ах! ужасен,
Что ты там ни говори.
Знаю, безволосых много
Средь святых отцов у нас,
Но ведь мне не та дорога:
В деле святости я – пасс.
Преимуществом фальшивым
Не хочу я щеголять
И к главам мироточивым
Грешный череп причислять.
Поправка

Ах, забыл я, – за святыми
Боборыкина забыл!
Позабыл, что гол, как вымя,
Череп оный вечно был.
Впрочем, этим фактом тоже
Обнадежен я, – ибо
Если не святой я божий,
То ведь и не Пьер Бобо?
Октябрь 1893

<Н.Я. Грату>

Скоро, скоро, друг мой милый,
Буду выпущен в тираж
И возьму с собой в могилу

Не блистательный багаж.
Много дряни за душою
Я имел на сей земле
И с беспечностью большою
Был нетверд в добре и зле.
Я в себе подобье божье
Непрерывно оскорблял,—
Лишь с общественною ложью
В блуд корыстный не впадал.
А затем, хотя премного
И беспутно я любил,
Никого зато, ей-богу,
Не родил и не убил.
Вот и все мои заслуги,
Все заслуги до одной.
А теперь прощайте, други!
Со святыми упокой!
Начало ноября 1893

Метемпсихоза Сочинено во время холерных судорог

Подсолнечник желтый
Цветет в огороде,
А сердце открыто
Любви и природе.
В холерное время,—
Недавно здоровый,—
Лежу без движенья,
Зелено-лиловый.
Подсолнечник желтый
Поблек в огороде.
В тревоге родные,
Печальна прислуга,
Пришли издалёка
Два старые друга:
Один пьет как губка,
Другой — сумасшедший,
Но вспомнили оба
О дружбе прошедшей.
Подсолнечник желтый
Увял в огороде,—
И сердце закрылось
Любви и природе.
И в гроб положили.
Снесли на кладбище!..
Довольны ль вы, черви,
Присвоенной пищей?
Подсолнечник желтый
Погиб в огороде.
Из праха и тлена
Цветок вырастает,
К забытой могиле
Пчела прилетает...
Сидит на балконе
Прелестная дева;
Сияет красою
И справа, и слева.
Подсолнечник желтый
Расцвел в огороде.
На блюдечке меду
Приносят той деве.
И вдруг я очнулся
В прелестнейшем зеве!
Но будь он стократно
Прелестен, а всё же
Мое помещенье
С могилою схоже!
И мрачно, и сыро,
И скользко! О горе!..
Но с крошечкой воска
Я выплюнут вскоре!

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Подсолнечник желтый
Цветет в огороде.
О счастье, о радость!
Я вновь на свободе.
Вновь сердце открылось
Любви и природе!
Подсолнечник желтый
Цветет в огороде...
Лето 1894

<М. С. Соловьеву>

Жди, аспид, змий и свиния,
Меня у пруда ночью звездной,
Хотя в трудах по горло я
И d'inachevé[30] зияет бездна.
Но не изменится мой рок
И d'inachevé не станет делом,
Какую б я из всех дорог
Ни выбрал сердцем охладелым.
Любовный пыл совсем остыл,
Лишь в дружбе я ищу опоры,
А потому, о Михаил,
С тобой увидимся мы скоро.
Лето 1894

<Н.Я. Гроту и Л.М. Лопатину>

Редакторы и друзья!
Вас ругать намерен я.
Сказал мне Радлов, вам знакомый,
Что, духом новшества влекомый,
Ты, Грот, решил Сатурна бег
Ускорить, – дерзкий человек!
Но не удастся и вдвоем
Ноябрь вам сделать октябрем.

я клянуся сей бумагой
И чернильницею сей:
Вам редакторской отвагой
Не смутить души моей.
Вдохновляемый Минервой,
Отшлю статью вам я
Лишь тогда, как ляжет первый
Снег на финские поля.
Съезжу санною дорогой
По озерам, по рекам,
И тогда на суд ваш строгий,
Лишь тогда статью отдам.

«На берегу пустынных» вод
Мне музая финская явилась:
Я только вежлив был – и вот
Злодейка тройней разродилась.
Иных покуда нет грехов,
Ничто страостей не возбуждает,
И тихий рой невинных снов
Прозрачный сумрак навевает.
Живу, с заботой незнаком,
Без утомления и усилия,
Питаюсь только молоком,
Как Педро Гомец, «Лев Кастильи».

Годится ли, или негодно –
Кто для меня теперь решит?
Хоть Сайма очень многоводна,
Но про свое лишь говорит.
Кругом собаки, овцы, крысы –
Не вижу судей никаких,
Чухонцы, правда, белобрысы,
Но им невнятен русский стих.

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Пишу. Глядят в окошки ели,
Морозец серебрит пути...
Стихи, однако, надоели,
Пора и к прозе перейти.
1-3 октября 1894

Признание

Посвящается гг. Страхову, Розанову, Тихомирову и Ко
я был ревнитель правоверия,
И съела бы меня свинья,
Но на границе лицемерия
Поворотил оглобли я.
Душевный опыт и история,
Коль не закроешь ты очей,
Тебя научат, что теория
Не так важна, как жизнь людей,
Что правоверие с безверием
Вспоило то же молоко
И что с холодным лицемерием
Вещать анафемы легко.
Стал либерал такого сорта я,
Таким широким стал мой взгляд,
Что снять ответственность и с черта я,
Ей-богу, был бы очень рад.
Он скверен, с гнусной образиною,
Неисправим – я знаю сам.
Что ж делать с эдакой скотиною?
Пускай идет ко всем чертям!
Октябрь 1894

Поэт и грачи Краткая, но грустная история

Осень

По сжатому полю гуляют грачи,
Чего-нибудь ищут себе на харчи.
Гуляю и я, но не ради харчей,
И гордо взираю на скромных грачей...
Зима

Морозная выюга, в полях нет грачей,
Сижу и пишу я в каморке своей.
Весна

Ласкается небо к цветущей земле,
Грачи прилетели, а я – на столе.
Октябрь 1894

Эфиопы и бревно

В стране, где близ ворот потерянного рая
Лес девственный растет,
Где пестрый леопард, зрачками глаз сверкая,
Своей добычи ждет,
Где водится боа, где крокодил опасен
Среди широких рек,
Где дерево, и зверь, и всякий гад прекрасен,
Но гадок человек,–
Ну, словом, где-то там, меж юга и востока,
Теперь или давно,
На улицу села с небес, по воле рока,
Упало вдруг бревно...
Бревно то самое, что возле Мамадыша
Крестьянин Вахромей
В пути от кабака, не видя и не слыша,
С телеги стрясл свой.
Лежит себе бревно. Народ собрался кучей,
Дивится эфиоп,
И в страхе от беды грозящей, неминучей
Трясет уж их озnob!

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Бревно меж тем лежит. Вот в трепете великом
Ничком к нему ползут!
Бревно лежит бревном. И вот, в восторге диком,
Уж гимн ему поют!
«Могучий кроткий бог! Возлюбленный, желанный!»
Жрецы уж тут как тут:
Уж льют на край бревна елей благоуханный,
Коровьим калом трут... [31]
И скоро весть прошла о новом чудном боже,
Окрест по всем странам.
Богослуженья чин установился строгий,
Воздвигнут пышный храм.
Из Явы, из Бурмы, Гоа, Джеллалабада
Несут к нему дары.
Бревну такая жизнь, что помирать не надо,
Живет до сей поры!..
Урок из басни сей для всех народов ровный –
Глуп не один дикарь:
В чести большой у нас у всех бывают бревна
Сегодня, как и встарь.
Между 3 и 13 октября 1894

<Н.Я. Гrotу>

О Гrot сверхвременный, пещера созерцаний!
Увы! не упразднил ты времени полет [32]
Как встарь, оно – предмет скорбей и ожиданий,
Без устали бежит и нас с собой влечет.
26 декабря 1894

<Автопародия>

Нескладных виршей полк за полком
Нам шлет Владимир Соловьев,
И зашибает тихомолком
Он гонорар набором слов.
Вотще! Не проживешь стихами,
Хоть как свинья будь плодовит!
Торгуй, несчастный, сапогами
И не мечтай, что ты пиишь.
Нам все равно – зима иль лето, –
Но ты стыдись седых волос,
Не жди от старости расцвета
И петь не смей, коль безголос!
Между 14 и 23 апреля 1895

<Пародии на русских символистов>

1

Горизонты вертикальные
В шоколадных небесах,
Как мечты полузеркальные
В лавровишневых лесах.
Призрак льдины огнедышащей
В ярком сумраке погас,
И стоит меня не слышащий
Гиациントовый пегас.
Мандрагоры имманентные
Зашуршали в камышах,
А шершаво-декадентные
Вирши в вянущих ушах.
2

Над зеленым холмом,
Над холмом зеленым,
Нам влюбленным вдвоем,
Нам вдвоем влюбленным
Светит в полдень звезда,
Она в полдень светит,
Хоть никто никогда

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Той звезды не заметит.
Но волнистый туман,
Но туман волнистый,
Из лучистых он стран,
Из страны лучистой,
Он скользит между туч,
Над сухой волною,
Неподвижно летуч
И с двойной луною.
3

На небесах горят паникали,
А снизу – тьма.
Ходила ты к нему иль не ходила?
Скажи сама!
Но не дразни гиену подозренья,
Мышей тоски!
Не то смотри, как леопарды мщенья
Острят клыки!
И не зови сову благоразумья
Ты в эту ночь!
Ослы терпенья и слоны раздумья
Бежали прочь.
Своей судьбы родила крокодила
Ты здесь сама.
Пусть в небесах горят паникали, –
В могиле – тьма.
Лето – осень 1895

<Я. П. Полонскому>

С жизнью алмазная свадьба поэта!
Боги – хранители прочных союзов!
Дайте увидеть ему вслед за этой
Свадьбу алмазную с верною музой.
4 декабря 1895

«Вы – стадо баранов! Печально...»

Вы – стадо баранов! Печально...
Но вот что гораздо больней:
На стадо баранов – нахально
Набросилось стадо свиней!
1895

<М.М. Стасюлевичу>

Михал Матвеич, дорогой!
Пишу Вам из казармы,
Согбен от недуга дугой
И полон всякой скверны.
Забыты сладкие труды
И Вакха, и Киприды;
Давно уж мне твердят зады
Одни геморроиды.
Брега пустынные Невы
Коснеют в скуке дикой,
Виновен в том не я, не вы,
А разве Петр Великий.
В столице ни души живой,
Как бы в степи безводной.
Исчез Делянов молодой
И Ратьков благородный.
В печати трепет и застой
И новостями бедно,
Брошюру издал Лев Толстой
О том, что пьянство вредно.
Гуревич Люба гонорар
У Зиночки стянула,
Волынского задел комар,
И он упал со стула.

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Июль 1896

Михаилу Матвеевичу <Стасюлевичу> в день чуда Арх^{ангела} Михаила в Хонех

Недаром в Хонех натворил
Чудес Ваш омоним небесный:
Хоть не архангел Михаил –
Вы также Михаил чудесный.

.....
Низвергнул он уже давно
Дракона гордого и злого, –
И Вам, я верю, суждено
Низвергнуть Ратькова-Рожнова.

.....
A suivre[33]
Конец августа 1896

<Л.М. Лопатину>

Неврон финляндский, страждущий невритом,
Привет свой шлет московскому неврону!
Всё бытие земное – что ни ври там –
Всё в реку брошено (в реку времен) – не в Рону!

.....
И, с каждым годом подбавляя ходу,
Река времен несется всё быстрей,
И, чуя издали и море, и свободу,
Я говорю спокойно, панта рэй!
Но мне грозит Левон неустрешимый –
Субстанций динамических мешок
Свести к реке и массою незримой
Вдруг запрудить весь Гераклитов ток.
Левон, Левон! Оставь свою затею
И не шути с водою и огнем...
Субстанций нет! Прогнал их Гегель в шею;
Но и без них мы славно заживем!

12 ноября 1896

«Эти финские малютки...»

Эти финские малютки
Бесконечно белокуры!
Хоть попробовать для шутки
Им всерьез устроить куры?
От меня седых бы зайцев
Родили они, наверно.
Мяса я не ем, и был бы
Им папаша я примерный.
Пустяки! На белом свете
Проживу без белых финок,
А кому угодно зайцев –
Их зимою полон рынок.

12 ноября 1896

<Л.М. Лопатину>

Ты взвел немало небылицы
На друга старого, но ах! –
Такие ветхие мы лица
И близок так могилы прах,
Что вновь воинственное пламя
Души моей уж не зажжет,
И полемическое знамя,
Увы! висит и не встает.
Я слишком стар для игр Арея,
Как и для Вакха я ослаб, –
Заснуть бы мне теперь скорее...
Ах! мне заснуть теперь пора б.
«Феноменизма» я не знаю,
Но если он поможет спать,
Его с восторгом призываю:

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Грядем, возлюбленный, в кровать!
1896

<надпись на книге «Оправдание добра»>

Явился я на свет под знаком Водолея.
Читатель, не страшись и смело воду пей:
Она – не из меня, ее нашел в скале я,
Из камня истины выходит сей ручей.

<1896>

«Уносит всё река времян...»

Уносит всё река времян,
Исчезнут все вельможи;
Победоносцев Дон-Жуан,
Аскет Филиппов – тоже...
И моногамный Муравьев,
И молчаливый Витте,
И сообщительный Хилков, –
Кого ни назовите.
Один несокрушим вовек
Ни смертью, ни фортуной,
Один великий человек:
Делянов – вечно юный.

<1897>

<Л.М. Лопатину>

Левон! ты феномен! Российскому акцизу
Феноменальный ты даешь доход.
Взгляну ли на тебя я сверху или снизу –
Ты феномен... Но феномен и Гrot!
Мы все феномены, всем тварям по закону
Субстанциями быть запрещено, –
Куда б ни метил ты: в корову иль в ворону, –
Субстанцию минуешь всё равно.
Итак, Левон, будь тверд, и царскому акцизу
Потщись доход являемый платить
Не прыгай слишком вверх и не спускайся книзу:
Феномену субстанцией не быть!

<1897>

<Эпиграммы>

1

Придет к нам, верно, из Лесбоса
Решенье женского вопроса.

2

дал вечность Лесбии своей
Катулл, хоть к ней отнесся строго...
Катуллов нет у нас, ей-ей,
Но Лесбий, батюшки, как много!
<1897>

«Некогда некто изрек „Сапоги суть выше Шекспира“..»

Некогда некто изрек «Сапоги суть выше Шекспира».
дабы по слову сему превзойти британца, сапожным
Лев Толстой мастерством занялся, и славы достигнул.
Льзя ли дальше идти, россияне, в искании славы?
Вящую Репин стяжал, когда: «Сапоги, как такие,
Выше Шекспира, – он рек, – сапоги, уснащенные ваксой,
Выше Толстого». И вот, сосуд с блестящим составом
Взявши, Толстого сапог он начал чистить усердно.
<1897>

По поводу стихов Майкова у гробницы Грозного и стихов Фофанова на могиле
Майкова

Когда лукавыми словами
Ты злую силу воспевал,
Не мнил ты, Майков, что меж нами
Уже отмститель восставал!
И он пришел к твоей могиле,
И дикий вой раздался вдруг,
И стало тошно адской сile,
И содрогнулся горний круг.
А там в Архангельском соборе
Прошел какой-то странный гул,
И, несказанным виршам вторя,
Сам Грозный крикнул: «Караул!»
Начало марта 1897

<М.М. Стасюлевичу>

Не болен я и не печален,
Хоть вреден мне климат Москвы:
Он чересчур континентален, –
Здесь нет Галерной и Невы.
Ну, насолил же мне Чичерин,
Самодовольный дворянин, –
Всё переврал, как сивый мерин,
Скopeц тамбовских Палестин.
Вчера прикончил я злодея.
Украл он месяц трудовой.
За это бьют! И не жалея –
Трах, трах! – и в яму головой!
5 октября 1897

<М.М. Стасюлевичу>

Не обманул я Вас, а сам обманут.
Кого я жду – за Альпами пропал!
Надежды скоро Вас увидеть – вянут.
И вот опять я письмописцем стал.
Пишу и Вам, пишу и на квартиру.
А то – за упокой хозяин мой
На проскомидии уж подавал просвиру,
Он человек с чувствительной душой.
А между тем себя я сглазил, видно, –
Неделю целую в недуге я морском
Страдал усиленно, – и скучно, и обидно
Стоять весь день над тазом иль горшком.
Упомяну еще и о неврите...
Но мне уж слышится готовый ваш ответ,
Вы не упустите мне возразить: «Не врите!»
Хотя неврит есть факт, вранья тут нет!
Но про болезни слишком уже много!
Помимо них, я полон юных сил.
Дел и проектов столько, что у бога
Сто сорок лет в аванс бы попросил.
Октябрь 1897

«Отказаться от вина...»

Отказаться от вина –
В этом страшная вина;
Смелее пейте, христиане,
Не верьте старой обезьяне.
1898

«Вчера, идя ко сну, я вдруг взглянул в зерцало...»

Вчера, идя ко сну, я вдруг взглянул в зерцало, –
Взглянул и оробел:
И в длинной бороде седых волос немало,
И ус отчасти бел.
Не смерть меня страшит: я, как Кутузов, [34] смело
Обнять ее готов,

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Почто же трепещу пред каждой нитью белой
Презренных сих власов?
«Иль я славянофил? Отнюдь! Но в глас народный...»

Иль я славянофил? Отнюдь! Но в глас народный
Я верю, как они,
А оный глас – увы! – душе моей свободной
Сулит плохие дни.
«Когда в твоей браде, – я слушаю тревожно, –
Блеснуло серебро,
Душевный мир сберечь тебе уж невозможно:
Ты беса жди в ребро!»
Умолкнул веющий глас. – Тоскою беспредметной,
Как встарь, душа полна.

.....

Не бес один, не пять в моем ребре несчастном,
А легион чертей...
Ужель и мне искать в сем кризисе ужасном
Спасительных свиней?
И вот опять звенит, но не в ушах, а сбоку.
Вот и слова слышны:
«Всего-то отдохнуть тебе мы дали сроку
Одну иль две весны.
А ты уж возомнил, что с тульским архиереем[35]
Сравнялся простотой.
В противном убедить мы средства все имеем...
Любезнейший, постой!»

.....

Что дальше слышал я, что увидал в мечтанье,
Во сне что испытал, –
Рассказывать тебе не стану в назиданье:
Ты сущность угадал.
1890-е годы

<М.А. Кавосу>

дорогой Михал Альбертыч!
Одержим я страшным гриппом;
Хоть ножом в меня теперь тычь,
Не являюсь я с этим хрипом.
А затем, любезный Кавос,
Ехать мне в Москву пора же...
Я схватил бы за бока вас
И умчал бы в те паражи,
Где в рубахах Ганимеды
Угощают всем, что надо,
Где сроднили уж обеды
С радикалом ретрограда.
Но увы! трактиры те же,
да года-то уж иные,
Аппетит приходит реже,
Чаще снятся сны дурные.
Скрылись дни Аранхуэза,
Консул Планк давно уж помер.
Не успеешь оглядеться –
Трах! в тираж попал твой номер.
К Ганимедам бородатым
Ехать вовсе неохота.
Не кутить теперь – куда там,
Лишь кончалась бы работа.
Не оставилши потомка,
Я хочу в потомстве славы,
Объявляю это громко,
Чуждый гордости лукавой.
Но стянула жизнь у славы
Десять лет по крайней мере,
Так теперь я должен, право,
Наверстать сию потерю.
Мысль о пьянстве, о цыганах

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Навсегда я оставляю
И о внутренних органах –
Не трактирных – помышляю.
1890-е годы

«Когда в свою сухую ниву...»

Когда в свою сухую ниву
Я семя истины приял,
Оно взошло – и торопливо
Я жатву первую собрал.
Не я растил, не я лелеял,
Не я поил его дождем,
Не я над ним прохладой веял
Иль ярким согревал лучом.
О нет! я терном и волцами
Посев небесный подавлял,
Земных стремлений плевелами
Его теснил и заглушал.
«Старую песню мне сердце поет...»

Старую песню мне сердце поет,
Старые сны предо мной воскресают,
Где-то далёко цветы расцветают,
Голос волшебный звучит и зовет.
Чудная сказка жива предо мной,
В сказку ту снова я верю невольно...
Сердцу так сладко, и сердцу так больно...
На душу веет нездешней весной.
«Что сталося вдруг с тобой? в твоих глазах чудесных...»

Что сталося вдруг с тобой? в твоих глазах чудесных
Откуда принесла ты этот дивный свет?
Быть может, он зажжен и не в лучах небесных,
Но на земле, у нас, такого тоже нет...
На что ты так глядишь? Что слушаешь так жадно,
Не видя никого и целый мир забыв?
О чем мечтаешь ты то грустно, то отрадно?
Куда тебя унес неведомый призыв?
Но миг – и свет угас! – привычно и послушно
Вступаешь снова ты в начатый разговор, –
И, будто огонек далекий, равнодушно
Едва мерцает нам твой потускневший взор.
«Трепетали и таяли звуки...»

Трепетали и таяли звуки
И в безбрежную даль убегали;
Стихи сердца тревожного муки,
Потонув в беспредметной печали!
Эти звуки с собой уносили
далеко все земные виденья
И рыдали, и тихо просили,
И замолкли в тоскливом волненье.
Ликовали знакомые звуки,
Возвращаясь из сумрачной дали,
За томленье минутной разлуки
Сколько счастья они обещали!
И, нежданные вести встречая,
Сердце в светлые грэзы оделось
И, на райский призыв отвечая,
Чистым пламенем ярко зарделось.
<Эпиграмма на К.П. Победоносцева>[36]

Сановный блюститель
Духовного здравья,
Ты, рабства, бесправья,
Гонений ревнитель,
Кощей православья!
Исполненный лести,
Коварства и злобы,
Наушник без чести,

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Скопец от утробы!
Зачем без нужды себя вновь замарал?
Зачем у старушки ты книгу украл?
Кого обокрал ты?
Не ксендза, не ламу:
Придворную даму!..
И как не пропал ты
От сраму?
Когда в Колывани,
Верны убежденью,
Свершают крещенье
Свое лютеране,
Печать уж заране
Кричит: преступленье!
Всех их в заточенье!
В острог!
Тебе ж комплименты
Строчат рецензенты
За явный подлог.
Крести ты хоть Ригу,
Как крестишь чукчей,
Бурят, лопарей;
Но... крестишь ты книгу
Чужую своей!
Где соль тут? Где перец?
Она - иноверец?
Она - униат?
Иль, мнишь ты, спасенный,
В рай внедит крещенный
Тобой плахиат?
Скажи мне, какой укусил тебя овод?
С какою ты целью?
Иль так, по безделью?
Иль в старости вдруг захотел ты дать повод
Веселью?
И выбрал же время
Ты! В этакий год!
Народ на народ
И племя на племя,
Хлебов недород!
Исполнилась чаша!
Готовится каша:
Политика ваша
Даст плод.
Святитель во фраке!
За подлость и врачи
Пусть спят твои мощи
В осиновой роще -
Не в раке,
Они хоть и тощи,-
Не глядя на это,
В голодное лето
В именье у тещи
Их сгложут собаки
В глухом буераке.
1892

<Эпиграмма на В.В. Розанова>[37]

Затеплю я свою лампаду
И духом в горних воспарю:
Я не убью, я не украду,
Я не прелюбы сотворю...

.....
.....
И, в сонме кротких светлых духов,
Я помолюсь за свой народ,
За растворение воздухов
И за свя-тей-ший пра-ви-тель-ствую-щий Сино-о-о-од!
1890-е годы

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
«я не люблю таких ироний...»

Я не люблю таких ироний,
Как люди непомерно злы!
Ведь то прогресс, что ныне Кони,
Где прежде были лишь ослы!
1890-е годы

АЛЬСИМ

Действующие лица

Альсим – молодой поэт.

Элеонора – трапезундская дева.

Сатана

Профессор

Слуга

Явление первое

Входят Сатана и Профессор.

Сатана

Хозяев нет! Вы, впрочем, не смеяйтесь!
Я в этом доме как в своем.
Спокойно здесь располагайтесь –
Мы побеседуем вдвоем.

Профессор

Я очень рад, любезный Сатана!
Мне есть до вас серьезнейшее дело:
Им вся душа моя теперь полна,
И не одна душа, но даже тело.

Сатана

А, вот и прекрасно! Я сам только что собирался просить
вас оказать мне маленькую услугу.
Сторонник я взаимных одолжений,
Или эквивалентов, так сказать,
А потому прошу без замедлений
Мне ваше дело рассказать.

Профессор

Замыслив совершить полезною аферу,
Я дом свой каменный продал.
Чтоб пошлины не платить чрез меру,
Фиктивною я цену показал.
Дом стоил пятьдесят семь тысяч с половиной,
А в купчей я вписал лишь двадцать пять.
Злодей мой покупщик с довольной миной
Мне поспешил их тотчас же отдать
«А остальные, – я спросил, – когда же?»
Тот изумился вдруг и начал уверять,
Что никогда он и не думал даже
Мне больше двадцати пяти давать.
Тут для меня вселенная сокрылась...
Печальный флер подернул небеса,
Каким-то дымом вся земля покрылась,
Исчезли реки, горы и леса.
Что быть могло, что было, есть и будет –
Слился все в бессмысленный хаос...
Ах! скорбный дух вовеки не забудет,
Что в этот страшный миг он перенес.
Мне стало всё равно, страдать иль наслаждаться,
Гореть враждой иль пламенно любить,
Владеть ли истиной иль только заблуждаться,

Быть битым или самому всех бить;
Как будто звон какой то погребальный
Наполнил сердце бедное мое...
Ах, боже мой! как потекло печально
Мое досель счастливое житье!
Жена скорбит, малютки приуныли,
В прислуге дух анархии возник,
В моей душе страдания открыли
Неиссякаемый и горестный родник.
Помыслить не могу, я о минуте счастья,
Покуда денег всех не получу сполна –
А получить мне их без твоего участья
Надежды нет, любезный Сатана!
Так помоги же мне, тебя я заклинаю
Всем существующим на земле, в водах и в небесах,
Всем, что известно мне, и всем, чего не знаю:
О Сатана, помилуй и спаси!
(падает на колено)

Сатана

(поднимая его)

Охотно вам я помошь окажу,
Тем более, что, другу помогая,
Я и себе тем самым услужу...
Профессор

О, говорите! Я томлюсь и замираю.

Сатана

Видите ли что, любезный мой профессор! Оказать вам прямую денежную помощь для меня невозможно – я и сам живу долгами. Но вы можете получить всё, чего пожелаете, и гораздо больше, если только захотите воспользоваться страстными чувствами, которые вы успели внушить хозяйке этого дома; а я берусь быть между вами посредником.

Профессор

Вы говорите про господина!.. то есть, я хочу сказать, про госпожу Элеонора? Но она видела меня только мельком, когда я приезжал встречать вас на вокзал Курской железной дороги.

Сатана

Да! Но для ее пламенной южной натуры одного взгляда было достаточно, чтобы вспыхнуть, как пороховой ящик, и меня удивляет только, как она не взлетела на воздух. Надеюсь, что она произвела на вас благоприятное впечатление?

Профессор

Как вам сказать? Мне показалось, что у ней вот здесь что то вроде бороды.

Сатана

О, это ничего, это трапезундская мода, в Москве она будет бриться. Но дело не в этом! Важно то, что она единственная наследница одного трапезундского банкира, у которого 11 миллионов капитала и сверх того богатейшие алмазные копи, а с предметом своей страсти она готова поделиться всем своим богатством, разумеется если эта страсть будет разделена.

Профессор

О дорогой мой, бесценнейший господин Сатана! Знаете ли вы, что с самого нежного возраста я люблю только мужественных женщин – женственные женщины всегда были мне только противны. Бессмысленное различие между женщиной и мужчиной возмущает меня до глубины души. Я думаю, что все беспорядки в мире происходят именно от этого. Мой любимейшей героиней во всемирной истории сделалась Орлеанская девственница после того, как новейшие историко-медицинские исследования показали, что она была...

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Сатана

Оставим пока о новейших историко-медицинских исследованиях. Мне сейчас пришло в голову одно затруднение – ведь вы женаты?

Профессор

О, это ничего не значит. Это легко устраниТЬ!

Сатана

То есть так?

(Дотрагиваясь до своего горла.)

Браво!

Профессор

Господин Сатана! Вы меня оскорбляете! Чтобы я, поклонник категорического императива, я, который из нравственного принципа не беру с своих должников более сорока процентов в месяц, чтобы я решился устранить жену свою преступным способом! Никогда! Хоть бы погибла вселенная! Вот мой девиз.

Сатана

Но если не преступным, то каким же другим способом устраниТЬ вы ее, любезный профессор?

Профессор

Способом экономическим.

Сатана

Это что такое?

Профессор

Через сокращение питания. Сначала буду давать ей половину обычного обеда, потом четверть, потом $1/8$, $1/16$, $1/32$ и т. д. По моему расчету, когда дойдет до $1/2048$ обычного обеда, она благополучно скончается сама собой, оставляя меня и свободным, и невинным, ибо экономия законом не воспрещается.

Сатана

Вот и отлично! Значит, по рукам! Часа через два заходите сюда еще, чтобы увидеть прекрасную Элеонору. Я тоже приду. До скорого свиданья, почтеннейший.

Профессор

До свидания, мой драгоценный Сатана! Бесконечно вам обязан. Да вознаградит вас нравственный закон!

(Уходит.)

Сатана

Вот так ловкая штука! Зараз двух зайцев поймал. Эта ученая селедка уморит свою жену экономическим способом и через то окончательно попадет в мои лапы, и вместе с тем, связавшись с трапезундским козлом в юбке, доведет несчастного Альсима до какой-нибудь пакости, а мне именно это и нужно, а то иначе он, пожалуй, ускользнет от меня. Хоть есть у меня на него документ – договор, подписанный кровью, ну, да ведь это одно только суеве- рие. Кто же в наш просвещенный век допускает такие глупости!

(Уходит.)

Явление второе

Кабинет Альсима в Москве

АЛЬСИМ

Исполнились мечтания
о бракосочетании!
О жизнь!.. Существование!..
Любовь!.. Очарование!..
Блаженствуй, о Альсим!
(После паузы)

Сбылося всё, чего душа искала,
Сбылося всё, о чём мой ум гадал,
Сбылося всё, что сердцу оказала
Святая вера в вечный идеал.
да! это так! Сбылись мечты поэта,
И жизни новый свет мне заблистал.
Я сам – досель блуждавшая комета,
Звездою неподвижной стал.
Мои члены у берега: на скалу я
Уж не наткнусь теперь вовек.
Волшебный миг немого поцелуя
Мне показал, что значит человек!
Человек

(показываясь в дверях)

Чего изволите?

АЛЬСИМ

Кто тебя спрашивал? Ступай к черту!

Человек

Чего ходить-то? Сам ведь обещался зайти, нешто не слыхали?

АЛЬСИМ

Что говорит этот невежа?

Человек

Вы бы, сударь, вместо того чтобы зря ругаться, да с чертями дружбу водить, кругом себя хорошенъко б поглядели: на что это похоже?

АЛЬСИМ

Что такое?

Человек

Про супругу говорю. Разве такие барыни бывают! Я вам хоть по пальцам доложу. Первое – насчет табаку. Известно, ежели барыня хочет курить – кури папироску, цигарку кури, ну, а чтобы барыня тютюн из трубки целый день тянула, так этого, к примеру, ежели по всей империи искать, так не найдешь! Второе – водка. Я против водки – ничего! Потому напиток настоящий – как есть в самую пропорцию. Только всякий свою деликатность в раз- мерах должен соблюдать, потому как всякое создание стоит в своем определении. Ежели, к примеру, соседский кучер Обдул пьет штоф, я штофа пить не буду; я выпью полштофа, потому как я в своем звании лакей и должность не имею, чтобы, то есть, стоять на тонкой линии. Ну, а барыня должна пить рюмками, потому как она есть дамского сложения...

АЛЬСИМ

Умолкни, чернь непросвещенная и презираемая мной!

Человек

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Это точно, мы из Черни – Чернского, то есть, уезда, ну, а насчет просвещения, хотя грамоты не сподобились, а всё же довольно хорошо можем понимать, что барыне с рыжей бородой ходить не резон!

АЛЬСИМ

ВОН!

(выталкивает его. После паузы)

Однако грубый сей простолюдин
Смутил мое очарованье,
Чтоб возвратить его, мне способ лишь один,
И способ сей – воспоминанье!
(прохаживается по комнате.)

С Трапезунда к Таганрогу
Незабвенный переход!
Месяц освещал дорогу
Посреди миллиона звезд.
Волны черные кипели,
Воздымалися валы,
А над морем чайки пели
И слетались орлы.
Пароход летел, как птица,
Я на палубе стоял
И души моей царицу
Нежной дланью обнимал.
Трапезунд исчез в тумане...
Вдруг рассеялся туман.
Руку спрятавши в кармане,
Подошел к нам капитан.
«Где Ваш пачпорт?» – Я ответил,
Шляпу сняв: «У Сатаны!»
Он же с дерзостью заметил:
«Вы рассудка лишиены!»
Но, взглянув на Леонору,
Замолчал и прочь пошел
И, в свою залезши нору,
В сне спокойствие нашел.

Элеонора тоже ушла в каюту. Я же не смог спать. Я продолжал стоять на палубе, всматриваясь в фосфоресцировавшее море. И – странное дело! Длинная осенняя ночь пролетела, как полчаса! Эта непонятная быстрота так удивила меня, что на другое утро я решился спросить о ее причинах у капитана, несмотря на его вчерашнюю невежливость. Впрочем, на этот раз он оказался далеко не свирепым и на мой вопрос грустно, но учтиво ответил: «И вы не знаете этого, молодой человек? А между тем это явление коренилось в самой натуре вещей. Ведь мы на море, и натурально, что течение морских волн, присоединяясь к течению времени, производит его ускорение; и это, разумеется, только ночью, потому что днем лучи солнца, расширяющиеся от теплоты, парализуют применение этого закона». Сказав это, капитан удалился, оставил меня в величайшем смущении. Я проклял классицизм филологии, который выбил из головы моей даже столь элементарные истины физической науки. Но вот вошла Элеонора, и радости любви заставили меня забыть мою неудачу на поприще науки. Впрочем, вследствие начавшейся качки и других неудобств, мое блаженство было неполно. Но когда мы вышли на берег, тогда... скромность заставляет меня умолкнуть. В глубине моего сердца должен я заключить восторженные порывы моей души. Но здесь, подобно разгоряченным парам, сдавленным стенками парового котла, мои страстные чувства получают силу неодолимую. Я пламенею... Я задыхаюсь.

Элеонора – да! моя Элеонора!

Она во мне, я в ней – и это не во сне!
О, дайте мне воды, воды, ить очень скоро
Я весь сгорю на собственном огне.
(кричит)

Скорей, скорей воды!
Показывается Сатана, держа в одной руке ведро и лом, а в другой графин с водой.

Сатана

Пожар иль жажда? То иль это?
Огня, однако, не видать,
И потому я без ответа
Могу спокойно наливать.
(Наливает из графина воды в стакан и подносит Альсому.)

Испить воды полезно и приятно,
Тебе же служить и в этом я готов.
(Про себя)

Хоть я совсем не зол, но все-таки занятно
Дурачить эдаких скотов.
(Исчезает.)

Альсим

(выпивает понемногу воду, бросает стакан на пол и в ужасе говорит)

В воде сей яд, отравлен сей напиток:
Лишь только я хлебнул – сомненья родились
И, будто некий мрачный свиток,
Перед душою развились.
(После продолжительной паузы, во время которой различными телодвижениями изображает свои душевные волнения.)

Не борода меня смущает и тревожит...
Что борода? Волос случайный агрегат!
Нет, что мой ум гнетет, что сердце рвет и гложет,
Что гонит сон от глаз, когда все люди спят,
Так это нрав ее презрительный и злобный,
Наклонность бить, и бить по пустякам.
Кто бы думать мог, что с красотой подобной
Совместна страсть к ударам и пинкам!?
(Закрывает лицо руками, затем, став на колени перед образом, произносит следующую молитву)

Морфей, о сладкий бог, в пуховые объятья
Скорей меня приняв, свой тихий сон пошли
И раны все мои, без всякого изъятыя,
Забвенья пластырем покрай и исцели.
Входит Элеонора.

Элеонора

Он только спать умеет, поросенок необразованный. Боги Трапезундские! За что вы меня обманули? Я просила у вас мужчину, а вы мне дали тряпку. Даже и мой новый знакомый профессор, и тот не в пример приятнее. Хоть рожа у него кислая и фигурой он на засохшую селедку похож, да зато хотя солидность есть, говорит внушительно, ну, а этот Альсимка, я уж не знаю, чем только прельстил меня. Разве тем, что у меня борода, а у него нету? А кроме этого в нем ничего не найдешь. И зачем это Сатане его душа понадобилась? Впрочем, в аду и такие годятся: там ими улицу мостят заместо бульвара. Да мне-то каково жить с ним до тех пор! Просто тоска! Хоть спеть что-нибудь, с горя.

(Поет)

Ах, почто за меч воинственный
Я мой посох отдала
И тобою, дуб таинственный,
Очарована была!
Альсим

(просыпается)

Какая песнь? Обидные слова!
Ты не меня ли дубом называешь?
Элеонора

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Тебя, баран, баранья голова,
А что за сим – тотчас же ты узнаешь!
(Бьет его.)

Альсим

Бей меня, о жестокая, но не забывай моего имени! Меня зовут Альсим, Альсим,
а не Зосим.

Элеонора

Какой Зосим? Что ты мелешь такое, мельница без муки?

Альсим

Как? Разве ты не сказала: «А что, Зосим, тотчас же ты узнаешь»?

Элеонора

О, чурка бестолковая!

(Бьет его)

Входят Сатана и Профессор.

Профессор

Обуздываете супруга? Превосходно! Свобода и порядок прежде всего! Таков мой девиз. Вы применяете его вполне и при том следуя великому принципу разделения труда: свобода для вас, порядок для него. Одобряю вполне. Вы достойны быть т-те Роллан будущей умеренной республики в России!

Элеонора

Чрезвычайно вам призательна
Я за этот комплимент.
О профессор увлекательный,
Вам бы прямо в парламент.
Шепчутся между собой, жмут руки и целуются.

Альсим

Как тут быть? Уйти? Зажмуриться?

Показать, что не видал?

Сатана

Черт возьми! Они амурятся!
Признаюсь! Не ожидал!

Профессор

Однако, молодой человек, вы здесь лишний. Я думаю, вам бы лучше было сидеть за Моммсеном или Зибелем, нежели олицетворять собою праздность – мать всех пороков. Я уверен, что вы ничего не знаете, например, из истории. Скажите мне, какие проявления индивидуального духа противодействовали вредному влиянию христианства на нравственность в Средние Века? Вы молчите? Вы не знаете? Так скажите, по крайней мере, к какой породе принадлежат павлины, перья которых употреблялись древними римлянами для искусственного произведения морской болезни?

Альсим

(в смущении)

Г. профессор, я употребляю для этого указательный и средний палец левой руки.

Профессор

Вы отвечаете не на вопрос! Я вижу, что вы лишены не только необходимых сведений, но и способное гипонимания. Но если по этой причине вы не можете предаться наукам, вы могли бы, по крайней мере, заняться каким-нибудь

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
почечным практическим делом, например да- вать деньги в рост.

Сатана

Я имею причины думать, что это благородное художество может совмещаться и с научными занятиями.

Профессор

Теперь, молодой человек, можете идти, и я советую вам не показываться мне на глаза, пока не приобрете того, чего лишены.

Сатана

Если это рога, то он приобретет их довольно скоро. Смелей, дружище, не сомневайся!

Альсим делает умоляющий жест в сторону Элеоноры, та показывает ему кулак. Он хватается за голову и убегает. Сатана стедует за ним. Профессор и Элеонора обнимаются. Занавес.

Альсим

Так вот она – виденье совершенства,
Мой светлый ран, мой чудный идеал.
Альсим, Альсим, ты жаждал лишь блаженства,
А злобный рок тебе мученье дал.
Чего же ждать? К чему еще стремиться?
Чего душою пламенной искать?
Иль дать судьбе спокойно совершиться,
А самому бессильно прозябать?
Или восстать и с гордостью Титана
Смотреть в глаза враждебным небесам?
Иль бросить все и с помощью обмана
Бежать скорей к далеким берегам?
Кто скажет мне, кто даст мне указанье?
Иль нет, постои! помедли! погоди!
Быть может, это только испытанье,
И ждет тебя блаженство впереди?
А если так, к чему же торопиться?
Еще немного можно подождать
Когда ж придет пора на что-нибудь решиться,
Альсим себя сумеет показать!

Между 1876 и 1878

Белая лилия, или Сон в ночь на Покрова Мистерия – шутка в 3-х действиях

Лица:

Кавалер де Мортемир, богатый, но совершенно разочарованный землевладелец.

Халдей, служащий в Азиатское департаменте, практичен.

Инструмент, отставной драгун, обладает физическою силой и готовностью.

Сорвал, молодой человек, говорит и делает большую частью одно вместо другого.

Граф Многоблюдов, страдает размягчением мозга.

Генерал Хлестаков, сочинил все диалоги Платона и был тайною причиной того насморка, который помешал Наполеону разбить русскую армию под Бородином.

Сокрушенный помещик, преданный изучению трансцендентальной физики.

Скептик, служащий по министерству финансов

Неплюй-на-стол, древний мудрец.

Галактея, Альконда, Теребинда – три дамы, приятные со всех сторон

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Солнце, неподвижная звезда третьей величины.

Птицы.

Растения.

Волк.

Львы и тигры

Кроты.

Совы.

Голос из четвертого измерения.

Медведь.

Белая лилия.

Первое действие происходит в Петербурге.

Второе – в неизвестном лесу.

Третье – близ южного Тибета.

действие первое

Зимний сад в доме кавалера де Мортемира. Вечер. Издали слышны музыка и гул разговоров.

Явление первое

Входит Сокрушенный помещик, без галстука и в незастегнутой одежде, и Скептик

Сокрушенный помещик

О четвертом измерении
Размышляя ежечасно,
В совершенном изнурении
Погибаю я напрасно.
То сижу я без движения.
То скитаюсь тенью бледной,
А ведь мог бы я с имения
Получать доход безбедный!
Но, четвертым измерением
Неумеренно плененный,
В самом жалком положении
Я живу, всего лишенный;
И хотя на иждивении
Скоро я умру казенным,
Всё ж вопрос об измерении
Остается нерешенным.
Скептик

О, как вы счастливы в сравнении со мною,
Для помыслов найдя какой-нибудь предмет,
Напрасно я искал, чего б искать душою –
ни цели, ни пути передо мною нет.
И вечером, и утром рано,
И днем, и полночью глухой,
В жару, в мороз, средь урагана,
Я всё качаю головой.
То устремляю взор свой в землю,
То с неба не свожу очей,
То шелесту деревьев внемлю,
Гадая о судьбе своей...
Какую мне избрать дорогу?
Кого любить, чего искать?

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Идти ли в храм молиться богу,
Иль в лес – прохожих убивать?!
Явление второе

Те же и Отчаянный поэт.

Отчаянный поэт

Мне двадцать лет,
И я поэт –
Поэт всемирной скорби-с.
Мой волос сед –
Мышленья след, –
Хожу немного сгорбясь.
И пить, и есть,
И лечь, и сесть
Мне геморрой мешает...
Так жизни цвет,
Под гнетом бед
Зачахнув, увядает.
Мой идеал
давно пропал;
В душе мороз трескучий, –
Лишь в грезах сна
Мелькнет она,
Как радуга над тучей!..
Но лишь проснусь
И оглянусь
Кругом – опять всё скверно:
Печалей рой
И геморрой –
Уж геморрой-то ве-е-ерный!
Так жить нельзя!
Прими меня,
О смерть, в свои объятья!
Хоть я не свят,
Но всё же в ад
Попасть нет вероятъя.
Мне холодно...
Могилы дно
Поэта ожидает.
Спасенья нет!
Гляди же, свет,
Как гений погибает!..
(вынимает из кармана панталон веревку, чтобы удавиться, но при этом на пол падает красненькая бумажка.)

Сокрушенный помещик и Скептик

(Подняв упавшую бумажку и показывая ее поэту, торжественно)

Государственный кредитный сей билет
От погибели спасет нас, о поэт!
Отчаянный поэт

(в экстазе)

Надеждой порою сияет небосклон!
Взошла моя заря в кармане панталон.
(Берет и рассматривает билет.)

Остался он от мзды, что дал книгопродавец...
Идемте ж к Палкину... Нет, в Малый Ярославец!
(Берет под руки Сокрушенного помещика и Скептика и удаляется вместе с ними.)

Явление третье

Входят Галактея и Халдей

Галактея

Вы знаете, он уезжает... Это большой секрет, он просил никому не говорить. Мне грустно... Вы не можете вообразить, как я много геряю. La vie s'en va.[38] ничто больше меня не радует и не занимает.

(Смотрит на него пристально.)

А знаете, у вас очень красивый нос, – я прежде и не замечала.

(Подходит к окну)

Посмотрите, какая восхитительная ночь, как ярко сияют звезды, совсем как в стихах Тютчева.

Халдей

(смотрит через ее плечо)

На звезды глядишь ты, звезда моя светлая...
О, быть бы мне небом, в широких объятиях
держать бы тебя и очей мириадами
Тобой любоваться в безмолвном сиянии...
Галактея

Ага! Вы, кажется, говорите стихами? Я очень люблю стихи насчет моей красоты. Скажите, вы не итальянец?

(в сторону)

Боже, какой у него красивый нос!

Халдей

Нет, я не итальянец, но могу заменить его с успехом.

Галактея

Впрочем, я и забыла, что вы Халдей.

Халдей

О, это не более как каламбур судьбы.

Галактея

Калам-бур? С чего вы это взяли?.. он, напротив, прекрасный колорист. Но какая же ваша нация?

Халдей

Это страшная тайна. А впрочем...

(Говорит ей на ухо)

Я – грузин!

Галактея

(вне себя от восторга)

Грузин!!

(прыгает и бьет в ладоши.)

Он – грузин, он – грузин!

Халдей

(самодовольно)

Я – грузин, я – грузин!

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Это знаю я один.
Галактея

(в экстазе)

Он – грузин, он – грузин!
Это знает он один!..
Берут друг друга за руки и поспешно убегают.

Явление четвертое

Входят Теребинда и Инструмент.

Теребинда

Отчего вы не кирасир?

Инструмент

Через 24 часа я буду кирасиром.

Теребинда

Знаете, чего мне теперь хочется?

Инструмент

Не знаю, но исполню немедленно.

Теребинда

я хотела бы быть закатанной в одеяло, в одно одеяло – понимаете? – и чтобы какой-нибудь ужасно большого роста и ужасно сильный человек, какой-нибудь великан или патагонец, носил меня на руках по большому темному саду...

Инструмент

(вставая)

Я готов-с.

Теребинда

Ха-ха-ха! Разве вы патагонец?

Инструмент

(отирая лицо платком)

Сущий потогонец, как видите-с.

Теребинда

Фу, какие глупости. Но что же это с вами, однако?

Инструмент

Мне жарко-с.

Теребинда

Но отчего?

Инструмент

Мне жарко потому, что я тебя люблю,
Хоть знаю, что вконец себя я погублю,
Но тем не менее, как свечка, я горю.
Как свечка, я горю и таю, как она.
А ты? Ты в ледяной покров облечена,
Как мрамор, ты глуха к отчаянной мольбе!

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Мне жарко потому, что холодно тебе!
Теребинда

О да, я очень холодна. Я холодна, но любопытна. Мне интересно было бы видеть, до чего может дойти ваша пламенная страсть. Donnez-moi le bras.[39]

Уходят

Явление пятое

Входит Альконда и бросается на софу.

Альконда

Боже мой, как я устала! Je n'en puis plus![40] А этот глупый медвежонок. Сорвал, еще отдавил мне ногу. Никогда в жизни не видела я такого идиота.

Явление шестое

Входит Сорвал.

Сорвал

Вы искали уединения? Я – также! И так, уединяясь, мы соединяемся.

(Садится около нее. После некоторого молчания)

Позволите ли слезами отчаяния омочить лоно любви?

Альконда

Ах, что с вами? Сядьте, пожалуйста, немного подальше!

Сорвал

дайте мне вашу руку!

Альконда

Ну, что же дальше?

Сорвал

Я думаю, что если бы эта рука была вашею, то есть я хочу сказать мою, и если бы мое сердце... нет, я не могу больше говорить... Если вы меня не полюбите, я...

(Растопыривает руки и раскрывает рот и глаза.)

Альконда

Полюбить вас?.. Любовь хорошая вещь, но только не здесь, нет, не здесь...

Ах, зачем родилась я девицей
Между этих противных людей,
А не вольной пернатою птицей
Средь простора лесов и полей.
По вершинам зеленых деревьев,
Под навесом тенистых садов,
В одеянье из пуха и перьев
И с обедом из свежих плодов –
Вот как жить и любить я б желала,
Вот когда б я душой расцвела!
Как изящно тогда б я летала,
Как искусно гнездо бы вила! ..
А здесь у нас, среди этой мебели, в этих домах и на этих улицах...

Сорвал

Зачем же на улице?!

Dieu, qui 'il est be te.[41] И потом вы знаете, я не выношу ничего, противного эстетике, ничего грубого, а у вас, я слышала, ужасно грубые привычки. Мой дядя, Многоблюдов, сам видел, как вы рыбу с ножа и дичь – руками!..

Явление седьмое

Граф Многоблюдов появляется в дверях.

Граф Многоблюдов

да, молодой человек, я говорил и утверждаю, что вы не умеете есть!

(проходит.)

Явление восьмое

Сорвал

О, если дело только за этим, то я совсем не буду есть ни рыбы, ни дичи. Охотно приношу мою любовь на алтарь этих животных, то есть я хотел сказать наоборот, но это всё равно... Альконда! Пока мы одни, я должен заплатить дань своим восторгам! (Хочет обнять ее.)

Альконда

(отталкивая его)

Вы, кажется, совсем с ума сошли?

Сорвал

Как хотите, но моя любовь требует пищи.

(Хватает ее за ногу и, сняв башмак, поспешно сует его себе в рот, но давится высоким каблуком и падает на пол в конвульсиях.)

Альконда

Несчастный! Кто же так делает? Нужно начинать с носка!

Явление девятое

Граф Многоблюдов появляется в дверях.

Граф Многоблюдов

я говорил, что он не умеет есть!

(проходит.)

Явление десятое

Альконда и Сорвал, в судорогах катящийся на полу.

Альконда

Однако он может тут умереть! кто там! Скорей, скорей, au secours, au secours![42] Соли, соли!

Явление одинадцатое

С разных сторон сбегаются: слуга с солонкой на подносе, генерал Хлестаков, Халдей и Галактея, Инструмент и Теребинда.

Генерал Хлестаков

Ну вот, ну вот! Извольте полюбоваться! Вот оно – наше молодое поколение! Дамский башмак проглотить не может! Подавился, ей-богу, подавился! Как вам

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
это покажется? А я бывало по дюжине ботфортов со шпорами глотал – и ничего!
Только в животе позвякивало.

Все

(становятся вокруг Сорвала и поют хором)

Ах, несчастный Сорвал!
Он башмак засовал
В глотку.
Может он умереть,
Его нужно тереть
Водкой!

(вытаскивают башмак изо рта Сорвала и приводят его в чувство.)

Сорвал

Не успевши удавиться,
Я желал бы удалиться!
Все

(предупредительно)

С удовольствием уйдем
И оставим вас вдвоем.
Все уходят в одну сторону, Сорвал с Алькондою в другую. Сцена остается
несколько времени пустою.

Явление двенадцатое

Входит кавалер де Мортемир в дорожном платье и с чемоданом в руках, который поставил на пол, несколько времени стоит в задумчивости, опустив голову, и затем говорит.

Мортемир

Тяжелой тоской, как цепями окован,
Стую я и в землю гляжу.
Хотя чемодан мой давно упакован,
Но с места я всё не схожу.
Пауза.

Если ветер осенний безжалостно смёл

Всё, чем в жизни душа любовалась,
Если сад твоих грез безвозвратно отцвел,
Если трость твоей веры сломалась...
Явление тринадцатое

Входит Галактея.

Галактея

Когда же, милый друг,
Мы вновь увидим Вас?
Мортемир

(не слыша ее)

да, мой огонь потух,
И пламень мой угас!
Галактея

Скажите же, когда?
Мортемир

Про это знает бог!
Стремлюся я туда,
Откуда нет дорог.
Галактея

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Как? И любовь моя
Тебе уже постыла?
Мортемир

О нет! Но кровь моя
Как будто бы застыла.
Галактея

(иронически)

О, это потому,
что ты любил безмерно!
Мортемир

Корить меня к чему?
И без того мне скверно!
(после паузы)

Я любил, хоть мыслью каждой
Сознавал любви обман,
И ловил с безумной жаждой
Убегающий туман.
Но страстей в позорный свиток
Я слегка лишь заглянул
И отравленный напиток,
Не допивши, оттолкнул.
Галактея

О, боже мой, слегка?!

Где лгать ты научился?

Но вот моя рука –

Со мной ты не простился...

Мортемир

О, не считай меня неблагодарным!
Тебя любил я более других.
Ты метеором лучезарным
Мелькнула в мраке дней моих.
Галактея

Si c'est ainsi,[43] я и еще, пожалуй,
Во мраке дней твоих готова поблистать.
Мортемир

Merci![44] В моей душе, поблекшей и усталой,
Ты новые огни привыкла возбуждать.
(Хочет обнять ее.)

Галактея

(уклоняясь)

Скажи сперва, зачем ты покидаешь
Своих друзей?
Мортемир

Ах, милая! Ты многого не знаешь
В судьбе моей
(Сильно сжимает ее в своих объятиях.)

Голос из четвертого измерения

(одному Мортемиру слышимый)

Сладко извергом быть
И приятно забыть
Бога!
Но тогда нас ждет до-
Вольно скверная до-
Рога!
Мортемир

(отскочив от Галактеи)

Извините, пожалуйста!
Галактея

(относя его слова к себе)

Я вижу, ты со мною лицемеришь,
О Мортемир!
Мортемир

Ах, как мне тошно, ты и не поверишь,
Глядеть на мир!
Галактея

(вынимая из-за корсета три необычайного вида цветка и подавая их Мортемиру)

Вся наша жизнь – обман, томление и слезы,
В конце же – гроб.
Тебе на память, друг, я три волшебных розы
Оставлю, чтоб
В себе хоть призрак сладостных мгновений
Будить ты мог,
Чтоб под тяжелым бременем твой гений
Не изнемог.
Мортемир

Итак, – прощай!
Галактея

...Но что ж сказать мену я
Гостям твоим?
Мортемир

Скажи, что навестить сестру я
Уехал в Крым.
Галактея обнимает его и уходит
Явление четырнадцатое

Мортемир один, подносит к лицу Галактеины розы, нюхает несколько и потом, медленно роняя, говорит.

Мортемир

Приятно пахнут эти розы,
Когда в груди огонь горит
И целый мир волшебной грэзы
С душою внятно говорит;
Когда в синеющем тумане
Житейский путь перед тобой,
А цель достигнута заране –
Победа предваряет бой;
Когда серебряные нити
Идут из сердца в область грэз...
О боги вечные, возьмите
Мой горький опыт и верните
Всю силу первых вешних гроз!

да, знал я вас, златые годы,
Невинно-дерзкие мечты,
Порывы гордые свободы,
Виденья тайной красоты,
Когда далекий звук рояли
Иль шелест платья по песку
В мечты всю душу погружали
И непонятную тоску
Иль сладкий трепет возбуждали.
Где вы, плениительные сны
И беспредметные печали?
Напором жизненной волны

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
далёко вы унесены;
Порывы бурные умчали
Вас, розы первые весны,
И там, где вы погребены,
Цветы другие расцветали
И так же скоро отцвели
Или безвременно увяли.

но пусть будет позабыто
и навеки тьмой скрыто
всё, что было прежде!
место дам надежде.
может белую лилею
я найти еще успею.
и поэтому — вперед,
в мой таинственный поход!
Слышен шум приближающейся толпы

Прощайте все! Вас видеть было б тяжко
дуще моей.
но где моя дорожная фуражка?
Здесь! И перчатки в ней.
(Поспешно уходит.)

действие второе

живописная поляна в неизвестном лесу. Заход солнца.

явление первое

Солнце

я опять захожу
и уныло гляжу
не видал я ее и сегодня.
горе мне! Ее нет,
без нее ж белый свет
для меня не милей преисподней!
(Задергивает лицо тучами и плачет мелким дождем.)

Птицы

мы поем, мы поем,
вместе с солнцем мы ждем
златокудрой царицы явленья;
но не слышит она:
от глубокого сна
не пробудит ее наше пенье.
растения

мы растем и цветем,
Бог поит нас дождем.
ароматы мы льем
и трепещем, и ждем,
чтоб, небесной красою сияя,
как царица цветов,
из обители снов
появилась владычица рая.
волк

я убийца и вор.
кровожаден мой взор,
и труслив я к тому же чрезмерно!
хоть большой я подлец,
но и я, наконец,
тяготиться стал жизни скверной.
хвост поджав, я лежу
и на небо гляжу:
не сойдет ли оттуда царица,
про которую тут
свои песни плетут

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
И цветы, и болтливые птицы.
Хор львов и тигров

Ддааа!

Мы разбоем живем,
С встречных шкуру дерем,
Жрем их прямо сырьем,
Кровь горячую пьем,
Но и мы тоже ждем
Всё чего-то; тайком
По ночам слезы льем
И, махая хвостом,
Помышляем о том,
Чтобы с этим житьем
Нам покончить добром...
Ддааа!

Все

Солнце, солнце! Хоть бы ты
К нам царицу красоты
Силой пламенной своей,
Сетью радужной лучей
Привлекло и заманило!
Больше ждать нам уж невмочь,
Без нее нам всё постыло:
День не в день, и ночь не в ночь,
Без нее весь свет — могила!
Солнце махает рукой и заходит.

Явление второе

Входит кавалер де Мортемир.

Мортемир

Она! везде она! о ней лишь говорят
Все голоса тоскующей природы.
Я не один, — река, и лес, и горы,
деревья, звери, солнце и цветы
Ее, ее зовут и ожидают.
явись она, — и снежные вершины
За облака ушедших гор пред ней
Поникнут разом, пышные цветы
Пред ней ковер широкий развернут,
Кругом нее львы, барсы, носороги
Счастливо и дружно семейство
Все соберутся вместе и служить
Ей будут; быстрые и шумные потоки
Вдруг остановятся. Сам бурный океан
В последний раз вскипит и, весь свой жемчуг
К ногам ей бросивши, утихнет и замрет,
И зеркалом недвижным и прозрачным
Пред нею ляжет, чтобы дивный образ
В немом восторге ясно отражать.
Да, это так! Но, боже мой, когда же?
Когда, когда? В ничтожном этом слове
Отчаянье и радость, жизнь и смерть.
(ложится под дерево)

Явление третье

Кроты

Мы норы роем, роем, роем
И копим на зиму запас.
Вниманья мы не удостоим
Того, что наш не видит глаз.
Про что поют все эти птицы?
О чём цветы здесь говорят?
Краса какой-то царь-девицы!
Ну, этим нас не заманят.

В развалинах замков, в старинных церквях
Гнездиться мы любим, понеже,
Когда все кругом изменилось, они
Одни остаются всё те же.
Мы любим гнилушки, нам плесень мила,
От ржавчины мы в восхищенье,
Лишь к солнца сиянию и к ярким цветам
Питаем мы все отвращенье.
Могилы манят нас, и даже детей
Рожать мы летим на кладбище.
Опавшие листья и высохший мох
Нам служат приправою к пище.
Мы верим в блаженство, но – только для нас,
Для прочих же – адские муки!
Тогда насладимся вполне, а пока
Мы сложим молебны от скучи.
Но в этих занятиях смущает нас весть
Про новую эту царицу,
Которой явленье нахально так ждут
Дневные все звери и птицы.
Явление четвертое

вбегает Халдей с дорожным чемоданом.

Халдей

От возлюбленной прекрасной
я бежал в сей лес ужасный.
Сколько горести напрасной
Перенес я с ней, – несчастный, –
И не перечесть!
Наконец настало время,
И сие мне стало бремя
Не по силам несть
(Замечает Мортемира и подходит к нему.)

Сообщу тебе, как другу:
Я прелестную подругу
Умертвить уж собрался
Но лишь мысль сия возникла,
Уж она в нее проникла –
И я бегству предался.
Явление пятое

Те же и Инструмент

Инструмент

От возлюбленной прекрасной
я бежал в сей лес ужасный etc.
(Замечает Мортемира и Халдея и подходит к ним.)

Сообщу вам по секрету:
Я возлюбленную эту
Собрался уж придушить,
Но потом вдруг стало жалко,
И, схватив суму и палку,
Я пустился во всю прыть.
Явление шестое

вбегает Сорвал без всякого багажа и в ночном костюме.

Сорвал

От возлюбленной ужасной
я бежал в сей лес прекрасный etc.
(Замечает прочих и подходит к ним.)

Сообщу вам для секрета,

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Что она из пистолета
Уж стреляла мне в живот.
Но револьвер дал осечку,
И, сваливши стол и свечку,
Я скорей бежал – и вот
Трое

(вместе)

Мы бежали три дня и три ночи,
Есть так хочется нам, что нет мочи!
Халдей

Но теперь уж опасности нет,
И поэтому вот мой совет.
Вы позвольте нам всем предложить
Выпить водочки и закусить.
(Вынимает из чемодана припасы, и все располагаются под деревом.)

Сорвал и Инструмент

Совет охотно принимаем
И с избавлением поздравляем.
(Чокаются.)

Халдей

От любовниц и от жен
Навсегда освобожден,
Я в присутствии природы
Пью за здравие свободы!
Все

Ура!
Халдей

Но посмотрите: что это за странная фигура к нам приближается?

Сорвал

Судя по костюму, это, должно быть, животное ископаемое.

Инструмент

А судя по носу, это – или монах, или сапожник.

Халдей

Тем лучше, новый собутыльник.

Явление седьмое

Подходит Неплюй-на-стол в необыкновенном полуазиатском костюме и с посохом.

Халдей

Послушайте, почтеннейший! Позвольте вас угостить
закуской и вином.
Сорвал

Хотя ваша одежда показывает, что вы родились до изобретения пищи и пития,
но все-таки, прошу вас, сделайте нам компанию. Для компании, сами знаете,
жид удавился.

Халдей

(наливая водки)

Иль, может быть, вы любите бордо?

Неплюй-на-стол

Я попрошу и водки, и бордо.
Хоть я излишеством гнушаюсь,
Но тем не менее решаюсь
И есть, и пить всё, что дадут.
(Садится и пьет.)

Не ожидал найти я тут –
В лесу глухом – такую встречу!
Халдей

Но кто Вы сами?
Неплюй-на-стол

Я отвечу
Сейчас, но прежде оказать
Вы мне должны одну услугу.
От Куку-Нора чрез Калугу
Я шел затем, чтоб отыскать
Того, чье имя в Кашемире,
Во всём Тибете и Памире
Весьма известно, – говорю
О кавалере Мортемире.
Его Вы знаете?
Все

Вот он!
Неплюй-на-стол

(про себя)

я нетерпением горю
Раскрыть пред ними мой картон.
(Встает и, вынув из-за пазухи завязанный картон, обращается к Мортемиру)

Любезный кавалер! Ты видишь пред собой
По телу дряхлого, но бодрого душой
Служителя науки из наук.
В дорожной мантии и опервшись на сук,
Пришел издалека я, чтобы весть
Тебе нежданную, но добрую принести
Прочти и рассуди! Пергамент сей
Я отыскал в развалинах Пальмиры.
(Разворачивает картон и, взяв оттуда пергамент, подает Мортемиру.)

я изучил его в тиши ночных
И папиросою прожег вот эти дыры.
Мортемир

(читает)

«Аз-буки-ведь, аз-буки-ведь.
Здесь смысл возвышенный и тайный,
Его откроет лишь медведь,
Владея силой чрезвычайной.
Но вечно-женский элемент
Тут не останется без роли:
Когда лазоревый пигмент
Избавит душу от мозоли,
Лилей белой благодать
Везде прольет свою тинктуру,
И род людской, забыв страдать,
Обнимет разом всю натуру;
Повсюду станут лад и мир,
Исчезнут злоба и мученье.
Тогда и ты, о Мортемир,
Найдешь душе успокоенье».
Что ж это значит?
Неплюй-на-стол

Не лукавь!

Я знаю всё. Во сне и въявь
Ты ищешь Белую Лилёю,
А я сказать тебе сумею,
Где можешь ты ее найти
Мне к ней известны все пути,
И я попутчиков сзываю.
Когда, Пальмиру разрывая,
Я сей пергамент отыскал,
Он был длиннее ровно вдвое
И всё, что нужно, содержал
Но, к сожалению – не скрою –
Я половину потерял.
Но я так часто повторял
В уме своем все указанья,
Что хоть сейчас без колебанья
Тебя провесть бы я сумел:
Мои ум остер, и дух мой смел!
(К прочим)

Друзья! и вам я предлагаю:
За мной – к потерянному раю!
Халдей и Инструмент

Что ж, пожалуй! Всё равно деваться некуда!

Сорвал

А что ж такое – эта Белая Лилия, почтеннейший? Женщина?

Неплюй-на-стол

Отчасти в этом роде.

Сорвал

Гм! Женщина. Но – без пистолета?

Неплюй-на-стол

ни пистолета, ни ружья!
В том вас могу уверить я!
Сервал

Ну, так и я согласен. Да здравствует Белая Лилия!

Неплюй-на-стол

(посматривая на вино)

да, Белая Лилия, да!
Так как же теперь, господа?
Все

Идти так идти!
Неплюй-на-стол

Идти нам лучше на рассвете,
А здесь пока бутылки эти
Нам силы новые дадут
И от простуды нас спасут.
Все

Это дело, это дело!
Подождем, чтоб заалело
На востоке, а пока
Подкрепим себя слегка.
(Едят и пьют.)

Халдей

Не спеть ли песню нам, друзья?

Всегда к услугам вашим я.
Инструмент

Халдей, ты первый запевай,
Ну, не ломайся, начинай.
Халдей

(поет)

Я добился свободы желанной,
Что манила вдали, словно клад.
Отчего же с тоскою нежданной,
Отчего ж я свободе не рад?
Сердце ноет и падают руки,
Всё так тускло и глоухо вокруг
С рокового мгновенья разлуки,
Мой жестокий, мой сладостный друг.
Теперь ты спой нам, Инструмент.
Ну, Инструмент!
Инструмент

В один момент.
(поет)

Мы сошлись с тобой недаром,
И недаром, как пожаром,
Дышит страсть моя!
Эти огненные муки –
Только верные пороки
Силы бытия.
В бездну мрака огневую
Льет струю свою живую
Вечная любовь
И из пламенной темницы
Для тебя перо Жар-птицы
Я добуду вновь.
Свет из тьмы. Над черной глыбой
Вознести не могли бы
Лики роз твоих,
Если б в сумрачное лоно
Не впивался погруженный
Темный корень их.
(кончив петь)

Уступим место Мортемиру!
Ну, Мортемир! Бери-ка лиру!
Мортемир

(поет)

Ах! далеко в Тибетском плоскогорий
Живет мой друг.
А здесь один томлюсь в тоске и горе я...
Темно вокруг.
И лишь порой в тумане сновиденья
Я вижу то,
Что видеть мог без всяких затруднений я
Тому лет сто.
Иль, ослабев, умру с тоски и горя я,
Судьбам в укор,
Иль путь найду в Тибета плоскогорие
Чрез Куку-Нор.
Неплюй-на-стол

Ах, молодые люди, молодые люди! Вы всё еще любовью интересуетесь. Совсем
пустое дело, бабье дело!

Халдей

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Почтеннейший! в том нет сомненья,
Что бабы – дрянь! Но дело в том,
Что в настоящем положенье
Без них мы вряд ли проживем.
Чтоб пояснить вам мысль мою,
Еще я песенку спою.
(поет)

Женщин вы читите:
Жизнь человечью
Они украшают!
Шерстью овечьей
Они вышивают
Ковры и подушки
И вяжут чулки;
Они покрывают
Постель одеялом,
А также бывают
для нас идеалом.
Без женщин жизнь наша
была бы лишена
Всего, что высоко и свято.
Текла бы она,
Мелка и ровна,
Без радужно-светлых идей,
Без пламенно-бурных страстей
И без впечатлений богатых.
Мы жили бы одни: без детей,
Без нянек, кормилиц, без прачек и швей,
И не было бы даже мужей
Рогатых!
Инструмент

Чья очередь теперь? Сорвала? Эй!
Сорвал, Сорвал, дурак!
Ну, пой, осел, скорей.
Сорвал, тебя мы ждем!
Тыфу, пропасть! Спит он крепким сном.
(будит его.)

Пой, скот бессмысленный!
Сорвал

(поет)

Солнце ходит низко,
На дворе метель.
друг мой, повернись-ка
И пойдем отсель!
(останавливается и смотрит вопросительно.)

Все

А дальше?
Сорвал

Дальше я забыл.
Халдей

Осел ты есть, каким и был.
Инструмент

Оставь его! Пусть валится под стол!
Ну, ты нам песню спой, Неплюй-на-стол!
Неплюй-на-стол

(поет)

В огромном, дремучем сосновом лесу,
Который растет на Чукотском носу,–
В нем много деревьев, деревья большие,–

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org

Когда-то родился в сей самой глуши я!
Я родился в глуши,
И расцвел я в тиши,
И не ведал губительных гроз.
Проходили года,
Вдруг случилась беда:
Посетил нашу землю мороз!
Посетил нас жестокий мороз, господа!
И вот в самый мороз
Отморозил я нос
На Чукотском носу, господа!
И с тех пор у меня
Он краснее огня,—
Вот что может наделать мороз,
Вот что может наделать жестокий мороз
На Чукотском носу, господа!
Халдей

Ну, нос твой красен не от холоду.
Признайся, много пил ты смолоду?
Неплюй-на-стол

Я пил, и пью, и буду пить!
Здесь высшее предназначенье:
Возможно нас лишить именья,
Рассудка, чести нас лишить,
Но что мной выпито — поверьте —
Оно мое до самой смерти.
Мортемир

Оставим это! В путь пора!
Когда та синяя гора
С вершиной сумрачной своей,
От первых солнечных лучей
Побагровевши, запылает,
Тогда вступить нам подобает
В пределы радужных полей.
Но для успеха предпринять,
В борьбе с враждебною судьбой,
Мы заключим, друзья и братья,
Все, без малейшего изъятия,
Союз навеки меж собой.
Все

Ладно, ладно, по рукам!
Халдей

Только нам
Полагаю б, не мешало
Расспросить его сначала,
Хватит ли ее на всех?
Неплюй-на-стол

На всю природа хватит, милый человек!
На всю природу, ты уж мне поверь!
Все

Ну, так, значит, теперь
Вместе мы, господа,
Поспешаем туда,
Где Лилея цветет
И блаженство нас ждет.
Неплюй-на-стол

Но просить позвольте вас
Мне сказать, сколько нас?
Все

Нас всех пять,
Нас всех пять!
Потрудитесь сосчитать:

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Раз, два, три, четыре, пять!
Сосчитаем опять:
Раз, два, три, четыре, пять!
И т. д. in infinitum.[45]
действие третье

Сцена первая

Большой запущенный сад вблизи южного Тибета. На первом плане вход в обширную пещеру, закрытый пурпуровою занавескою.

Явление первое

Входят кавалер де Мортемир, Неплюй-на-стол, Халдей, Сорвал и Инструмент

Неплюй-на-стол

Вот сюда, вот сюда!
Этот сад, господа,
Есть тот самый, куда
Мы стремились.
Все

да, да!
Но для чего сия пещера?
Неплюй-на-стол

Пещеры нет! То лишь химера,
Иллюзия, обман и сон.
Ей быть здесь вовсе не резон
В пещере может жить дракон,
Медведь иль ящур, но царица –
Я в том готов хоть побожиться –
Живет отнюдь не в сей пещере,
А в замке, иль по крайней мере
В высокой башне.
Халдей

Где ж они?
Неплюй-на-стол

Вон, видите ли, там огни?
Халдей

Что врешь ты! Среди бела дня
Не увидать тебе огня.
Неплюй-на-стол

Вон башня высится, авой
Выходит дама на балкон,
То, верно, фрейлина царицы,
Украшена пером Жар-птицы,
За ней придворные чины,
В мундиры все облечены...
Что вижу? Кушают блины!
Какой прекрасный жирный блин!
Халдей

Он нас морочит, чертов сын!
Инструмент

К нам относится презрительно!
Все

Бить его неукоснительно!
Неплюй-на-стол

Не сердитесь, друзья,
Не судите строго,
Если изредка я
Пошучу немного

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
В этом нет большой беды.

Лучше сядемте сюды,
И коль есть у вас запас,
Мы закусим тот же час.
Халдей, Сорвал и Инструмент

Вот так прекрасно,
Вот это так.
Видим мы ясно:
Он не дурак.
Неплюй-на-стол

(самодовольно)

да, это ясно:
Я не дурак.
Мортемир

Могу ль я пить и есть,
Не зная, где она?
Здесь – вижу – тайна есть,
И даже не одна!
Неплюй-на-стол

Поверьте мне: сии пределы
Она оставила для дела,
Но лишь заблещет луч денницы,
Назад вернется в колеснице.
Мортемир

(изрядно выпив и закусив, встает и, подняв руку к небу)

довольно! Нету сил! Пусть праведный мой гнев
Вас в сердце поразит негодованья жалом!
Ужель мы шли сюда, всё бросив и презрев,
Затем, чтоб пить и есть, подобно каннибалам?
Все

(поспешно доедая и допивая)

Ну-с, мы готовы!
Что ж предпринять?
Мортемир

(мрачно)

Венец терновый
Нужно стяжать.
Халдей

Это конечно!
Но как начать?
Мортемир

Рад бы сердечно
Вам я сказать,
Если бы знать я
Мог это сам...
Из пещеры раздается страшный рев.

Кто там проклятья
Шлет к небесам?
Сомнения нету!
Тайна здесь есть!
В пещеру эту
Должно пролезть.
Неплюй-на-стол

Но прежде нужно
Занавес снять,
Тяните дружно,

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Не отставать!
Все

(Берутся за занавес, но потом Халдей, Инструмент и Неплюй-на-стол отступают и каждый, отвернувшись, поет)

Но я трепет ощущаю,
Потому что – впереди
Что нас ждет, ведь я не знаю.
Дай-ка стану позади.

(Стараются встать каждый сзади всех. Перед занавесом остается Мортемир, погруженный в задумчивость, и Сорвал, с недоумением озирающийся.)

Неплюй-на-стол

друг любезнейший, Сорвал!
Ты бы занавес сорвал!
(Отбегает еще дальше.)

Сорвал

Весьма охотно повинуюсь
И рву его, не обинаясь!
Срывает занавес. Из пещеры выходит большой Медведь и с ревом становится на задние лапы.

Неплюй-на-стол

Ай, ай, ай!
Хватается за живот и падает мертвый Сорвал, Халдеи и Инструмент обнажают шпаги. Медведь поворачивается к ним спиной. Тогда они, скрестивши шпаги, кладут на них труп Неплюя и уносят его, напевая на мотив: «Как я рад, капитан что я Вас увидел».

Халдей, Сорвал, Инструмент

Он погиб, он погиб
Жертвою отваги –
Пусть носилками ему
Служат наши шпаги!
Мудрость с храбростию он
Сочетал искусно,
Но внезапно был сражен
Сей болезнью гнусной!
Он погиб, он погиб
Жертвою отваги –
Пусть носилками ему
Служат эти шпаги.
Явление третье

Мортемир и Медведь

Голос из четвертого измерения

Блаженства дверь
Потом – не теперь –
Откроет зверь.
Люби и верь!
Мортемир

Люблю я и верю
Вот этому зверю.
Голос из четвертого измерения

All right! [46]
Сцена вторая

Явление первое

Несколько недель после первой. Другое место в том же саду. Пещера вдали. На первом плане – высокая могила, около которой в позе отчаяния стоит кавалер

Мортемир

Последний уголек в душе моей остыл!
Как я любил его, и как хорош он был!
Какая грация развалистых движений!
В глазах задумчивых какой светился гений,
Какая мудрость! Я увидел в нем
Последний якорь жизненного судна.
Он говорил на языке своем,
Хотя без слов, но понимать не трудно
Его мне было любящей душой.
И он любил. Мохнатый и большой,
Он ласков был, как маленькие дети.
Как он вертел прекрасной головой!
Увы! Мгновения блаженнейшие эти
Промчались бесследно, как во сне.
Скончался он... И что же делать мне?
А, знаю что! К натуре стану задом,
Кинжал – в живот, и с ним улягусь рядом!
(Хочет заколоться, как вдруг над могилой Медведя появляется Белая Лилия.)

Явление второе

Белая Лилия

От тебя, мой милый,
Я не скрою, что
Под моей могилой
Нету ничего.

Мортемир

Твои черты небесно хороши!
Но где же он, медведь моей души?
Белая Лилия

Медведь живет, – лишь нет медвежьей шкуры
Но не скорби, мой друг! Здесь таинство натуры.
В медведе я была, теперь во мне медведь.
Как некогда его, меня люби ты впредь.
Невидима тогда
Была я, а теперь –
Невидим навсегда
Во мне сокрытый зверь.
Мортемир

(в экстазе)

Теперь блаженства нам
На всю достанет вечность.
Недаром же он сам
Сосал свою конечность.
Обнимаются и, поднявшись на воздух, вдруг переходят в четвертое измерение.
На бывшей могиле медведя вырастают белые лилии и алые розы.

Явление третье

Входят Галактея, Теребинда и Альконда

Галактея, Теребинда и Альконда

(вместе)

Мы устали, мы устали,
Мы блудили, мы блуждали,
Неожиданного ждали,
Небывалого искали –
Всё по пустякам
(Подходят к могиле и любуются цветами)

Эти лилии и розы
Нас уносят в царство грезы,—
Не уснуть ли нам?
Альконда

Не спала я две недели.
Отдохнемте, в самом деле.
Теребинда

От скорбей и от забот
Нас укроет этот грот.
Галактея

да, связавши по букету,
Мы войдем в пещеру эту.
Делают букеты и уходят в пещеру.

Явление четвертое

Входят Халдей, Инструмент и Сорвал.

Халдей

да под кустами-то хорошенъко пошарьте, под кустами пошарьте, говорят вам,
экий бестолковый народ!

Сорвал

да что шарить-то,— я уж и так в кучу неприятностей попал.

Инструмент

Смыло его дождем, должно быть, а то ветром унесло,

Сорвал

Вон что-то белеется.

(Поднимает бумагу и бросает.)

Халдей

Бумажка точно, да не та!
Эх ты, Емеля-простота!
Сорвал

Ан и нашел!
(Поднимает пергамент мудреца Неплюй-на-стол)

Целехонек, смотрите.
Халдей

(берет и читает)

Ну, вот, я говорил, так оно и есть:
«АЗ-буки-ведь, аз-буки-ведь —
Здесь смысл возвышенный и тайный,—
Его откроет нам медведь,
Владея силой чрезвычайной».
Вот видите: медведь. Всё, значит, шло, как нужно, и мы только сдуру
перетрусили, а тот старый шут — пуще всех. Вот у Мортемира-то губа не дура:
он с медведем остался; теперь, наверно, и Белую Лилию заполучил, а мы тут
всё шляемся, как оглашенные.

Инструмент

Отыскать их непременно.

Сорвал

да где ж искать?

Инструмент

Известно где. Вон и пещера та самая.

Халдей

Сорвал, душа моя, сбегай – сделай милость – загляни в пещеру!

Сорвал

С величайшим удовольствием.

(Скрывается в пещере и через несколько минут кричит оттуда)

Эй, эй, Халдей!

Сюда, скорей!

Эй, Инструмент,

Лови момент!

Халдей

Кого нашел там, говори!

Явление пятое

Сорвал выходит из пещеры, за ним Альконда, Галактея и Теребинда.

Сорвал

Лилея белая, смотри:

да не одна, а целых три.

Халдей и Инструмент

Черты знакомые, но с новой красотою.

Халдей

(указывая на Галактею)

я этою пленен!

Инструмент

(указывая на Теребинду)

А я вон тою!

Альконда, Галактея и Теребинда

(подавая каждая свой букет своему респективному кавалеру)

Милый друг, меня узнал ты?

Хоть другую здесь искал ты,

Покорись судьбе.

Халдей, Инструмент и Сорвал

(каждый своей даме)и

я об этом не жалею,

ибо Белую Лилею

Узнаю в тебе.

(Обнимаются попарно и затем, сойдясь все вместе, поют)

Белую Лилию с розой,
С алою розою мы сочетаем –

Сердца пророческой грезой

Вечную истину мы обретаем.

Вещее слово скажите!

Жемчуг свой в чашу бросайте скорее!

Нашу голубку свяжите

Новыми кольцами древнего змея.

Вольному сердцу не больно.

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Ей ли бояться огня Прометея?
чистой голубке привольно
В пламенных кольцах могучего змея.
Пойте про бурные грозы:
В бурной грозе мы покой обретаем.
Белую лилию с розой,
С алою розою мы сочетаем!
Занавес

1878–1880

дворянский бунт Современно-гражданская пьеса с учеными примечаниями и спиритическими явлениями.

Сцена первая

Приемная дворянского банка. Князь Мещерский, окруженный толпою столбовых дворян, имеющих под мышкой свои столбы с целью заложить оные.

Мещерский

(ко всем)

Ликуй, российское дворянство!
Вступи опять во все права гражданства
И с благодарностью читай лишь «Гражданин».
Прошел период оскуденья.
Прошу у вас внимания и бденья!
Вы знаете меня: я чистый дворянин.
Хотя не чист от кой-каких пороков
И даже оными горжусь,
Но в мнении китов, на коих дремлет Русь,
Я самый истинный из всех ее пророков.
Достигнуть я могу всего, за что берусь,
Сочувствует моим стремленьям промысл божий,
И путь к величию – лишь из моей прихожей.
Я – дрожжи для одних, другим я – хлороформ:
Крамола крепко спит, и либералы скисли.
Турецкий мои диван, где я рождаю мысли,
Турецкий мой диван-гнездо благих реформ.
Уж мальчики, резвясь, бросают к черту книжки,
Пример с городовых берет профессора.
Под разгою в руках у земского ярыжки,
Довольный участью, холоп кричит: ура!
Хоть был неурожай – страна весьма богата:
На Невском встретил я сановного кастрата,
Носителя побед:
Уныня прежнего на нем исчез и след:
Уж у него растут усы и блещут очи...
дворяне

(перебивая его)

Нельзя ли покороче!
Мы это всё читали.
О бренном лишь металле,
О займе нам нельзя ли
Немедленно поведать.
Мы все хотим обедать,
Мы все хотим к кюба!
Мещерский

Как? Разве главного я не сказал? А, ба!
Избыток дум рождает многословье.
Благословляй меня, дворянское сословье!
Подписывайся впредь всегда на «Гражданин»:
Врагов я победил, и совершил один,
На что у многих не хватало мочи...
дворяне

(перебивая)

Нельзя ли покороче!
Мы это всё читали.
О бренном лишь металле,
О зайде лишь нельзя ли
Немедленно поведать
Мы все хотим обедать,
Мы все хотим к Кюба!
Мещерский

Извольте! вострублю, как судная труба.
На основанье мудрого решенья
Совета высшего, а также понужденья
Уж состоялось повеленье:
В залог отныне банк берет
Буквально всё: поношенный берет,
Поля от шляп, поля поместий,
Штаны, болота, чувство чести –
Истлевший сей анахронизм, –
Но вот что возбудить должно патриотизм:
Дворянский банк в залог приемлет ваши души!
Отсюда видно вам, сдерем какие куши
Мы с сиволапых мужиков!
Сентиментальность прочь! Святой девиз таков:
Бери, закрыв глаза, заткнув плотнее уши
От либеральной чуши!
Закон прошел с немалым торжеством...
Он, собственно, одобрен меньшинством,
Но это всё равно! Дремали генералы,
С улыбкой жалкою былые либералы
Безмолвно слушали, дрожа за свой оклад,
А некий муж из них, с охотою большою
Загладить прошлое, поправку внес в доклад,
Усильно требуя, чтоб, наравне с душою,
И право на бессмертие в залог
Без всяких оговорок принималось.
для смет строительных то новый был предлог.
Во исполнение закона оставалось,
Чтоб делом увенчать прекрасных слов поток
И поддержать устои вековые, –
для душ устроить кладовые.
И под моим лучом возникла, как цветок
На удобренной почве, лотерея.
Спешите же, господа, спешите поскорее
И души заложить, и всё, car mon avis:[47]
лови, лови часы любви!
Дворяне восторженно благодарят Мещерского и, кланяясь, ударяют своими
столбами по его голове, откуда исходит звук, как бы из медного сосуда,
наполненного торичеллиевою пустотою. Одновременно раздаются трубные звуки.
Атмосфера комнаты постепенно насыщается «духом старины»[48], образовавшиеся
пары сгущаются под потолком в облако, из которого показывается фигура
капитана Борозды[49] и благословляет присутствующих.

Дворяне

Благословил нас Борозда,
Держитесь крепко, дружно.
Мы все – птенцы его гнезда, –
Нам всем лишь денег нужно.[50]
Мужичьих душ лишили нас,
А мы по христианству
Свои отдать хотим сейчас –
Честь русскому дворянству!
В иные, новые бразды
Свое мы семя кинем
И выше знамя Борозды
Над Родиной поднимем
Как обернулася судьба!
Как вывез бог нас русский!
Теперь скорей, скорей к Кюба!
Пора, пора к закуске!

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
Уходят, слегка канканируя. Входит старый сторож. Сперва останавливается в недоумении, потом плюет, крестится и отворяет форточку.

Сторож

Уж где Мещерский побывал –
Святых вон, – а ведь барин!
Такого духу не пущал
И сам Фаддей Булгарин.
Сцена вторая

По прошествии месяца Собрание заемщиков дворянского банка. На эстраде новоназначенный член Совета дворянского Банка А.П. Саломон, имея в левой руке сторублевую бумажку.

Саломон

(читает)

Вследствие представления г. Управляющего Дворянским Банком, гр. Голенищева-Кутузова, за № 10337, г. министр финансов, принимая во внимание, что все кладовые банка переполнены заложенными дворянскими душами, а равно и залоговыми на бессмертие свидетельствами; принимая далее во внимание, что дворянская душа – товар нежный, легко предающийся тлению и приходящий в совершенную негодность, предложил прекратить дальнейший прием душ, а равно и на бессмертие свидетельств; остающуюся в банке свободную личность предоставить г.г. заемщикам как последнюю льготную ссуду без залога и процентов.

Г.г. дворяне! в банке имеется свободного капитала ровно сто рублей кредитных...

Дворяне устремляются к Саломону, чтобы перехватить радужную, но пришедшиими в движение столбами препрятствуют друг другу дорогу и приходят в замешательство. Саломон поспешно убегает, потрясая спасенною сторублевкою. Дворяне бросают столбы и поднимают руки к небу.

Дворяне

Нас вдохновил Мещерский:
Мы стали смелы, дерзки,
И вам, бунтовщики,
Мы не хотим дать спуску:
Кутузова – в кутузку,
Et nous verrons qui – qui.[51]
Мы у него поищем
Рублей за голенищем!
Друзья! нам дан предлог.
Дворяне и дворянки!
Скорее шарить в Банке!
Валяйте! С нами бог!
Дворянин

(восторженный)

Мы тридцать лет терпели!
Теперь совсем у цели!
Держитесь, господа!
Дворянин

(скептик)

Мещерский неужели
И в этом важном деле
Попал, да не туда?
Являются сторожа со швабрами и выгоняют вон всех дворян.

Старый сторож

(solo[52] вздыхая и качая головой)

я богу благодарен

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
За то, что я не барин.
1 сентября 1891

На заре туманной юности...

(Р а з с к а з ъ.)

«Русская Мысль». Май. 1892.

Всю эту ночь я провел без сна. Но больная фантазия не вызывала передо мною, какъ это обыкновенно бываетъ, безсвязные тени былыхъ и небывалыхъ сценъ и событий въ пестрыхъ и неожиданныхъ сочетанияхъ. Этотъ разъ въ моемъ безсонномъ бреде были связь и единство. Все съ большою и большою ясностью вставалъ передо мною непрерывный рядъ подробностей одного дав-няго и, казалось, совершенно забытаго происшествія. Хотя этотъ случай имѣлъ совершенно ничтожное начало, но конецъ его оставилъ глубокій следъ въ моей внутренней жизни. Я радъ, что болезненное воспоминаше возвратило мне теперь все эти подробности, и спешу записать ихъ, пока оне передо мною.

I.

Мне было тогда 19 лѣтъ, это было въ конце мая, я только что перешель на последній курсъ университета и ехалъ изъ Москвы въ Харьковъ, где долженъ быть имѣть чрезвычайно важное объясненіе съ одною своею кузиной, къ которой я уже давно, месяца три или четыре, питалъ нежную и весьма возвышенную любовь. Ради нея я решилъ сделать большой крюкъ, такъ какъ настоящая цель моего путешествія находилась въ киргизскихъ степяхъ, где я намеревался возстановлять кумыснымъ леченіемъ свой организмъ, сильно разстроенный отъ неумеренного употребленія немецкихъ книгъ.

Я сѣлъ въ вагонъ 2-го класса. Въ другомъ углу того же сквозного вагона поместилась молодая белокурая дама въ светло-серомъ дорожномъ платье. Она ласково и весело разговаривала съ тремя провожавшими ее мужчинами, и когда поездъ тронулся, долго кивала имъ изъ окошка и махала платкомъ.

Между смежными отделеніями вагона была только низенькая перегородка, черезъ которую я могъ свободно разглядывать свою vis-a-vis, чемъ я и занялся, такъ какъ ничего более интереснаго въ вагоне не находилось. Она была небольшого роста, худенькая и очень стройная. Лицо у нея было далеко не красиво, съ неправильнымъ носомъ и широкимъ ртомъ. Но когда она ласково взглядала своими светлыми глазами, это некрасивое и простое лицо становилось чрезвычайно привлекательнымъ. Не то, чтобы ея взглядъ былъ особенно выразителенъ, но въ немъ было что-то более глубокое, чѣмъ мысль, какой-то тихій светъ безъ огня и блеска. Эти глаза привлекли и заинтересовали меня съ первого взгляда. Заметилъ я также ея густые пепельные волосы. Мне показалось, что и она часто на меня взглядала съ благосклонною и ободряющею улыбкой, при чѣмъ я, разумеется, принималъ мечтательный и разочарованный видъ. Но заговорить я съ нею не решался, отчасти потому, что и неудобно было черезъ перегородку, а еще более потому, что при всемъ своемъ гордомъ виде былъ до крайности робокъ, и взглядъ любой женщины могъ произвести во мне заміраніе сердца и онеменіе языка.

Къ моей спутнице несколько разъ приходила изъ другого вагона пожилая дама, какъ оказалось потомъ, родственница ея мужа, ехавшая со своимъ семействомъ въ первомъ классе. Оне разговаривали, частію по-французски, о житейскихъ делахъ. Изъ этого разговора я могъ узнать только, что оне москвички и едутъ въ Крымъ.

II.

Эта дама въ серомъ платье решительно мне нравилась. У нея былъ такой тонкій, изящный поворотъ головы, когда она разговаривала, все ея движенія были такъ грацозны и женственны.

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
— А, все-таки, моя Ольга гораздо лучше, — сказал я себе мысленно и, закрывъ глаза, стала думать объ Ольге, о предстоящемъ неожиданномъ для нея свиданії въ Харькове, представляль себе, какъ она вскрикнетъ, увида меня, какъ побледнеетъ и даже, можетъ-быть, упадеть въ обморокъ отъ нечаянной радости, какъ я ее приведу въ чувство и что я ей буду говорить.

Но да не подумаетъ кто-либо, что я ожидалъ обыкновеннаго любовнаго свиданія съ однеми ласками и нежностями. О, нетъ, я былъ далекъ отъ такого легкомыслія. Конечно, я допускалъ и элементъ нежности, но онъ долженъ быть составлять только тень картины, главное же дело было совсѣмъ въ другомъ. Я хотѣль видеться съ Ольгой для того, чтобы „поставить наши отношенія на почву самоотрицаша воли“. По-истине таково было мое намереніе. Я долженъ быть сказать ей приблизительно следующее: —

„Милая Ольга, я люблю тебя и радъ, что ты любишь меня также. Но я знаю, и ты должна это узнать, что вся жизнь, а, следовательно, и цветъ жизни — любовь, есть только призракъ и обманъ. Мы безумно стремимся къ счастію, но въ действительности находимъ одно только страданіе. Наша воля вечно насъ обманываетъ, заставляя слепо гоняться, какъ за высшимъ благомъ и блаженствомъ, за такими предметами, которые сами по себе ничего не стоять; она-то и есть первое и величайшее зло, отъ котораго намъ нужно освободиться. Для этого мы должны отвергнуть все ея внушенія, подавить все наши личныя стремленія, отречься отъ всехъ нашихъ желаній и надеждъ. Если ты, какъ я уверенъ, способна понять меня, то мы можемъ вместе совершить жизненный путь. Но знай, что ты никогда не найдешь со мною такъ называемаго семейнаго счастія, выдуманнаго тупоумными филистерами. Я позналъ истину, и моя цель—осуществить ее для другихъ: обличить и разрушить всемірный обманъ. Ты понимаешь, что такая задача не имеетъ ничего общаго съ удовольствіемъ. Я могу обещать тебе только тяжелую борьбу и страдауше вдвоемъ.“

Вотъ что я намеревался сказать хорошенъкой семнадцатилетней Ольге. Вообще учете о совершенной негодности всего существующего составляло главную тему моихъ разговоровъ съ кузинами, которыхъ у меня было несколько и въ которыхъ я поочередно влюблялся. Зло и ничтожество жизни были, конечно, известны мне отчасти и изъ собственнаго опыта. Я по опыту зналъ, что поцелуи кузинъ недолговечны и что лишний стаканъ вина причиняютъ головную боль. Но если жизненный мой опытъ и не былъ еще достаточно богатъ, зато я очень много читаль и еще больше думалъ, и вотъ годамъ къ восемнадцати я додумался до твердаго убежденія, что вся временная жизнь, какъ состоящая единственно только изъ золь и страданій, должна быть поскорее разрушена совершенно и окончательно. Едва успѣль я дойти до этого собственнымъ умомъ, какъ мне пришлось убедиться, что не я одинъ былъ такого мненія, но что оно весьма обстоятельно развивалось некоторыми знаменитыми немецкими философами. Впрочемъ, я былъ тогда отчасти славянофиломъ и потому хотя допускалъ, что немцы могутъ упразднить вселенную въ теории, но практическое исполненіе этой задачи возлагалъ исключительно на русскій народъ, при чемъ въ душе я не сомневался, что первый сигналъ къ разрушению міра будетъ данъ мною самимъ.

III.

Справедливость требуетъ заметить, что самоотрицаніе воли и необходимость уничтожить вселенную не составляли еще самой мудреной части того ученія, которое я преподавалъ своимъ счастливымъ кузинамъ. За годъ передъ моею поездкой въ Харьковъ, одна изъ нихъ—голубоглазая, но пылкая Лиза, тогдашний предметъ моей страсти—удостоилась въ одинъ прекрасный летній вечеръ быть посвященной въ тайны трансцендентальнаго идеализма.

Гуляя съ нею по аллеямъ запущеннаго деревенскаго парка, я не безъ увлеченія, хотя сбиваясь несколько въ выраженіяхъ, объяснилъ ей, что пространство, время и причинность суть лишь субъективныя формы нашего познанія и что весь міръ, въ этихъ формахъ существующій, есть только наше представленіе, то-есть что его, въ сущности, нетъ совсѣмъ. Когда я дошелъ до этого заключенія, моя собеседница, все время очень серьезно смотревшая своими большими зеленоватыми глазами, улыбнулась и съ явнымъ

лукавствомъ заметила:

— А какъ же вчера ты все говорилъ о страшномъ суде?

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
– О какомъ страшномъ суде?

– Ну, все равно, о томъ, что нужно все уничтожить. Если по-твоему міра нетъ совсѣмъ, то почему же тебе такъ хочется его разрушить?

Это противоречіе смущило меня только на мгновеніе.

– А разве когда тебя давить страшный сонъ или кошмаръ, тебе не хочется отъ него избавиться? –отвечаль я победоносно.

Она вдругъ безъ всякой видимой причины звонко разсмеялась.

– Что такое? –спросиль я съ неудовольствіемъ.

– Ахъ, представь себе, –заговорила она, смеясь и крепко сжимая мою руку, – представь себе, я видела сегодня во сне, будто мой Джемсъ, –такъ звали ея сэттера, –совсѣмъ не собака, а командиръ белорусского гусарского полка, и все наши офицеры должны отдавать ему честь, но только вместо ваше высокоблагородіе обязаны говорить ваше высокоблохородіе.

Это неожиданное сообщете она завершила схоль же неожиданнымъ поцелуемъ и вдругъ убежала, крича мне издали:

– Пойдемъ на грядки клубнику собирать, я видела, ужъ много поспело.

И я пошелъ собирать клубнику, хотя категорическій императивъ, который простолюдины называютъ совѣстю, довольно ясно намекалъ мне, что это было съ моей стороны не самоотрицаніемъ, а совершенно наоборотъ—самоутвержденіемъ воли.

Но веселая Лиза такъ мило наклоняла надъ грядками свою белокурую головку, такъ кокетливо приподнимала платье, сверкая на солнце серебряными пряжками своихъ башмаковъ, что я решительно не имѣлъ никакого желанія избавиться отъ этого пріятнаго кошмара, и еще долго прождала меня въ моей комнатѣ недочитанная глава о синтетическомъ единстве трансцендентальной апперцепціи.

И когда теперь, сидя въ вагоне, я вспомнилъ почему-то этотъ маленький эпизодъ, смутное предчувствіе будущихъ грехопаденій шевельнулось въ моей душѣ.

IV.

Межу темъ, вечерело. Мы подъехали къ какой-то маленькой станціи. Со двора ея раздавалось веселое и нетерпеливое звяканье колокольчика. Таантасъ, запряженный тройкой, очевидно, приехалъ за темъ седьмъ господиномъ съ двумя барышнями, что сошли на платформу со своими вещами и оживленно разговаривають съ начальникомъ станціи.

Я высунулся въ окошко. Изъ густаго садика, примыкавшаго къ станционному дому, сильно пахло сиренью. Крестьянскія девочки предлагали букеты ландышей. Что-то звенело вдали. Въ маленькомъ флигеле играли на фортепіано, а на площадке въ углу садика компанія туземцевъ обоего пола сидела за самоваромъ и весело разговаривала.

Моя дама въ серомъ платье прошлась по платформе и ласково мне улыбнулась. Я смотрѣлъ на нее съ такимъ же спокойнымъ удовольствіемъ, какъ и на все остальное. У меня на душѣ было тихо и хорошо въ этотъ вечеръ. Зло и страданіе бытія такъ глубоко ушли въ самую сущность вещей, что я ихъ совсѣмъ не чувствовалъ, –впрочемъ, можетъ–быть, отъ того, что я совсѣмъ ничего не хотелъ въ эту минуту и во всемъ окружающемъ видѣлъ только пейзажъ.

И когда поездъ тронулся, я съ темъ же тихимъ наслажденіемъ, ни о чёмъ не думая и ничего не желая, взглядался въ густую березовую рощу, которая приветливымъ шепотомъ встретила нашъ поездъ и обняла его съ обеихъ сторонъ, и звала къ себѣ отдохнуть, и кротко улыбалась своими золотыми отъ вечернихъ лучей верхушками.

Однако, это душевное спокойствіе скоро было нарушено самымъ неожиданнымъ

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
образомъ. Когда мы приехали въ Тулу и въ нашемъ вагоне не осталось другихъ пассажировъ, кроме меня и молодой дамы, вдругъ съ крикомъ и шумомъ вошла къ намъ толпа новыхъ путешественниковъ. Это была труппа странствующихъ французскихъ актеровъ, ехавшихъ въ Орель. Впрочемъ, весьма возможно, что это были не актеры, а только акробаты. Ихъ было человекъ семь или восемь, мужчинъ и женщинъ. Мужчины были значительно пьяны и вели себя довольно неприлично. Сначала они хотели играть въ карты, но картъ не нашлось. Тогда, снявши верхнее платье, они предались гимнастическимъ упражненіямъ, вешались на перекладинахъ, раскачивались, кувыркались, а двое покушались даже, хотя и безуспешно, играть въ чехарду.

Дамы ихъ также отличались большою развязностью. Они съ громкимъ смехомъ и вскрикиваниеми перебравливались со своими кавалерами, а одна, сидевшая ближе ко мне, довольно красивая женщина, къ немалому моему смущенію, сняла съ ноги башмакъ и запустила имъ въ одного изъ гимнастовъ, который въ возмездіе схватилъ ее за ногу и намеревался стащить на полъ, но, вместо того, самъ съ размаху упалъ навзничь, возбудивъ своимъ паденіемъ неописанный восторгъ во всей компаніи.

V.

Дама въ серомъ платье, сначала съ некоторымъ любопытствомъ смотревшая на это представлениe, была, повидимому, скандализована последнимъ эпизодомъ. Она встала и подошла ко мне (я сидѣль съ краю диванчика около прохода).

— Можно мне спрятаться за васъ отъ этихъ господъ? Они такіе ужасные.

Я поклонился.

Она села рядомъ со мною, около окошка.

Я радовался въ душе, что мая милая спутница-такъ легко и просто сделала первый шагъ, и вся моя робость пропала совершенно. Черезъ несколько минутъ мы разговаривали, какъ старые знакомые.

Оказалось, что мужа ея я зналъ по имени. У нихъ были маленькия дети.

— Ахъ! какъ это трудно воспитывать детей, когда сама не имеешь совсѣмъ никакого воспитанія. Я долго обѣ этомъ думала и решила оставить ихъ на произволъ судьбы, —пусть себе растутъ и воспитываются, какъ знаютъ, а я, по крайней мере, ничего не испорчу.

Съ важнымъ менторскимъ видомъ, подобающимъ 9-ти-летнему философу, я заметиль, что она могла бы еще заняться своимъ собственнымъ воспитаніемъ.

— Ахъ, что вы! Я такая ленивая. У меня совсѣмъ нетъ никакого характера, ни капельки характера! И потому, где искать образованія? Одни советуютъ одно, другое-другое. Нетъ, ужъ я лучше останусь такъ!

Образованіе моей собеседницы действительно ограничивалось однemi изящными манерами и французскимъ языкомъ.

— Впрочемъ, я читаю иногда Московскія Ведомости и еще романы, только не серьезные... А вы, наверное, хотите сделаться ученымъ? Ахъ, пожалуйста, оставьте это! Это такъ гадко! Ведь, это почти все равно, что быть акробатомъ, вроде этихъ господъ: такъ-же не натурально и только гораздо скучнее. И потому это такъ вредить здоровью. Вотъ вы и теперь какой худой и бледный. Это жаль. Знаете что: пріезжайте къ намъ въ Крымъ. Вамъ необходимы морскія купанья, это укрепляетъ... А какъ тамъ весело! Большое общество, никто ничего не делаетъ, и все довольны. А воздухъ тамъ совсѣмъ какой-то особенный. Я четвертое лето тамъ провожу и каждый разъ влюбляюсь... Вообразите, и въ меня тоже влюбляются, — прибавила она, повидимому, искренно удивляясь этому обстоятельству.

— Вы думаете, я лгу, потому что я такая некрасивая? Право, уверяю васъ, что это правда. Впрочемъ, тамъ все другъ въ друга влюблются. Иные женятся: каждый годъ чья-нибудь свадьба. А то и такъ... Боже мой, я все глупости говорю! Что вы обо мнѣ подумаете!

Я поспешилъ заметить, что хотя любовь есть зло и обманъ, но что, во всякомъ

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
случае, любовь незаконная гораздо извинительнее любви узаконенной. Таково было тогда мое искреннее убеждение. Меня, какъ крайняго пессимиста, бракъ, и особенно бракъ счастливый, возмущаль до глубины души, –ведь, на немъ, главнымъ образомъ, держался весь этотъ міръ, уничтоженіе котораго было вышею целью моихъ стремленій.

Собеседница моя, очевидно, не понимала, что я хочу сказать.

– Горе мое въ томъ, –сказала она, –что меня за что-то очень многіе любятъ, а мне ужасно тяжело обижать и огорчать кого-нибудь, особенно техъ, кто меня любить. Самое ужасное для меня мученіе—въ чемъ-нибудь отказывать. Вообще я хотела бы всехъ любить и всемъ делать все приятное. Но, ведь, это здесь совершенно невозможно. Здесь такъ гадко устроено, что все другъ къ другу ревнуютъ, завидуютъ, все другъ другу мешаютъ. Полюбишь одного, чтобы не огорчать его, – обижаешь этимъ другого. Это просто ужасъ! Потомъ—у меня мужъ, дети. Я решилась никогда не обманывать моего мужа, –правда, онъ немногаго отъ меня и требуетъ. Но бываютъ такие странные люди, которые ничего не хотятъ понимать и требуютъ невозможнаго, точно маленькие дети... Ахъ, я иногда хочу умереть! Только не сейчасъ. Теперь мне весело. Я рада, что съ вами познакомилась.

Она замолчала на минуту.

– Знаете, я иногда думаю о будущей жизни, и мне представляется, что тамъ будетъ совсѣмъ наоборотъ: никто никому мешать не будетъ, и можно будетъ всехъ, всехъ любить, и никому это не будетъ обидно... Ахъ, я такая глупая, я не могу сказать этого какъ следуетъ, но, право, я понимаю, какъ это будетъ.

Она ската голову обеими руками и задумалась.

VI.

Было уже совсѣмъ темно. Въ вагоне стихло. Французы утомились своею возней и улеглись кое-какъ по своимъ местамъ. Изредка раздавались безсвязные возгласы, кто-то бормоталъ во снѣ.

– Вы верно не будете спать, –вдругъ сказала моя спутница.

Я кивнулъ головой.

– Я тоже, будемте разговаривать. Нужно только устроиться покойнее.

Она сняла шляпку и распустила волосы.

Существуютъ въ подлунномъ міре предметы, которые съ ранняго детства оказывали на меня неотразимое действіе; и въ ту эпоху, которую я теперь вспоминаю, при виде этихъ предметовъ, мой пессимизмъ теряль всю свою силу, и моя аскетическая мораль съ постыдною покорностью опускала свои крылья. Распущенные по плечамъ длинные женскіе волосы всегда принадлежали къ числу этахъ магическихъ предметовъ, а такихъ роскошныхъ волосъ, какіе были теперь передъ моими глазами, я еще никогда не видываль. И чемъ больше я на нихъ смотрель, темъ дальше и дальше уходило отъ моего умственного взора различіе между вечною сущностью и преходящимъ явленіемъ, темъ ниже и ниже опускались крылья моей самоотрицающейся воли.

Я взяль густую прядь этахъ светлыхъ душистыхъ волосъ и поднесъ ее къ своимъ губамъ.

Тихая улыбка и молчаніе.

Она опустила руки на колени и наклонила голову. Въ этой позе съ распущенными волосами она была решительно хороша. Я хотель сказать ей это, сказать, что люблю ее, но слова не сходили съ языка. Я только наклонился къ ея опущеннымъ рукамъ и сталъ покрывать ихъ поцелуями.

– Какой вы странный! Кто вамъ позволилъ?

Я подняль голову, шепча наивное извиненіе за этотъ порывъ, и вдругъ почувствовалъ на своихъ губахъ долгій, беззвучный, горячій поцелуй.....

На следующее утро я быль мраченъ и угрюмъ. Различіе добра и зла, о которомъ я ни разу не вспомнилъ въ минувшую ночь, предстало теперь моему уму съ полною ясностью и отчетливостью.

Стыдъ и позоръ! Я—пессимистъ и аскетъ, я—непримиримый врагъ земнаго начала—безъ боя, безъ малейшей попытки сопротивленія—хуже того—съ какою-то радостною готовностью и предупредительностью уступилъ этому земному началу, сразу призналъ его власть и наслаждался своимъ рабствомъ. Я. чуть-ли не съ колыбели познавшій тщету хогенія, обманчивость счастія. иллюзію удовольствій, я, три года работавшій надъ темъ, чтобы эту врожденную мне истину укрепить неприступными стенами трансцендентальной философіи, —я теперь искалъ и могъ хотя на мгновеніе находить блаженство въ объятіяхъ едва знакомой, но, очевидно пустой и совершенно необразованной женщины.

Къ чему, несчастный, я стремился!

Предъ кемъ унизилъ гордый умъ!

Кого восторгомъ чистыхъ думъ

Боготворить не устыдился!

Никогда еще не подвергался я такому униженію. Конечно я и прежде нередко целовался съ своими кузинами. Но это было совершенно другое. Во-первыхъ, дело не въ поцелуяхъ самихъ по себе, а въ интенсивности, а также и экстенсивности; а, во-вторыхъ, кузины были более или менее adeptками моего ученія, и поцелуи я могъ считать лишь внешнимъ выражениемъ внутреннихъ духовныхъ отношеній. Въ новой же своей знакомой я решительно не усматривалъ никакой способности къ высшему философскому пониманію. И, между темъ, для нея я могъ изменить своей Ольге, — Ольге, которая изнывала въ разлуке со мною, которая меня такъ хорошо понимала и должна была пройти со мною рука объ руку тяжелый путь самоотрицанія воли.

Решительно, я чувствовалъ себя скверно. Вероятно, что-нибудь въ этомъ роде испытывалъ нашъ прародитель въ тотъ печальный день, когда въ замену утраченного блаженства его снабдили кожаными одеждами.

VII.

Julie, —такъ моя спутница хотела, чтобы я называлъ ее, — тоже была не весела. Ей нездоровилось. Кажется, она страдала сердцебиеніемъ. Она поминутно закрывала глаза и прижимала руку къ сердцу. Съ болезненно сжатымъ ртомъ, съ закрытыми глазами и съ нездоровыми цветомъ лица она становилась положительно дурною. Я злился на нее. Я обвинялъ ее во всемъ. Изъ-за нея, ведь, я оказался дрянью, тряпкой, изъ-за нея постыдно изменилъ своимъ принципамъ, изъ-за нея осрамился. Въ чорта я тогда не вериль. Значить, виновата Julie. Увы, и въ этомъ отношеніи я вполне уподобился ветхому Адаму, который, согрешивши, оправдывался и сваливалъ вину на слабейшую сторону.

А она, моя бедная Ева, какъ только утихали ея боли, попрежнему, ласково заговаривала со мною. Это раздражало меня еще более. Я готовъ быль возненавидеть ее. Несмотря на свою чрезвычайную необразованность, она, очевидно, любила разсуждать о важныхъ предметахъ. Теперь все, что она говорила, казалось мне или нелепымъ, или тривіальнымъ.

Между прочимъ, она заговорила объ эмансипаціи женщинъ. Я грубо перебилъ ее:

— Мне кажется, что наши женщины и безъ того слишкомъ эмансипированы. Если имъ чего недостаетъ, такъ ужъ, конечно, не свободы, а скорее сдержанности.

Намекъ быдъ ясевъ. Julie едва заметно покраснела и подняла на меня свои большие глаза. Ничего, кроме грустнаго удивленія, не было въ этомъ взгляде. Черезъ минуту она опять ласково заговорила со мною.

Что-то кольнуло мне въ сердце. Мне стало стыдно, что я ее обидель, но я

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
совсемъ не оцениль той кротости, съ которою она перенесла эту обиду. Я не
любиль ее. Я заставилъ себя быть съ нею любезнымъ, чтобы загладить свою
грубость, но эта любезность была очень холодна, и Julie замечала
неискренность моихъ нежныхъ заявлений. Она глядела грустно и грустно
улыбалась.

Въ Курске нужно было менять поездъ. Для Julie было уже заранее взято место
въ первомъ классе. Я взялъ билетъ второго класса. Такимъ образомъ, мы
разлучились. Я притворился огорченнымъ, но въ душе быль доволенъ. Ея
близость меня тяготила; къ тому же, по мере приближенія къ Харькову мои
обязанности относительно понимавшей меня Ольги представлялись мне все съ
большою и большою ясностью.

Проводивши Julie въ ея купе, я съ облегченнымъ сердцемъ и въ хорошемъ
расположеніи духа уселся на свое мѣсто и скоро познакомился съ
ближайшими соседями. Это были: студентъ-медикъ Киевскаго университета,
молодой купецъ изъ Таганрога въ драповомъ пальто и новомъ черномъ картузѣ и
неопределенного званія и возраста брюнетъ съ темно-синимъ подбородкомъ,
какъ оказалось, богатый ростовщикъ, также изъ Таганрога.

Я разговорился съ молодымъ медикомъ. Это быль провинціальный нигилистъ
самаго яркаго оттенка. Онъ сразу призналъ меня за своего, — „по
интеллигентному выражению лица“, какъ объяснилъ онъ впоследствіи, а также,
можеть-быть, по длиннымъ волосамъ и небрежному костюму.

Мы открыли другъ другу всю душу. Мы были вполне согласны въ томъ, что
существующее должно быть въ скорейшемъ времени разрушено. Но онъ думалъ,
что за этимъ разрушениемъ наступить земной рай, где не будетъ бедныхъ,
глупыхъ и порочныхъ, а все человечество станетъ равномерно наслаждаться
всеми физическими и умственными благами въ безчисленныхъ фаланстерахъ,
которые покроютъ земной шаръ, — я же съ одушевлешемъ утверждалъ, что его
взглядъ не достаточно радикаленъ, что на самомъ деле не только земля, но и
вся вселенная должна быть кореннымъ образомъ уничтожена, что если после
этого и будетъ какая-нибудь жизнь, то совершенно другая жизнь, не похожая на
настоящую, чисто-транссцендентная. Онъ быль радикаль-натуралистъ, я быль
радикаль-метафизикъ.

Мы говорили и спорили очень горячо и громко. Одинъ разъ собеседникъ
попробовалъ было обратиться къ мненію нашихъ соседей, но ростовщикъ съ
синимъ подбородкомъ только усмехнулся съ сожаленемъ и махнулъ рукою, а
молодой купецъ пробормоталъ что-то совсѣмъ непоощрительное, вроде „озорники
вы окаянные“, и, повернулся къ намъ спиной.

Въ заключеніе спора мой противникъ заметилъ, что наши теоретический
воззренія могутъ расходиться, но такъ какъ у насъ ближайшія практическія
цели одне и те же, такъ какъ мы оба „честные радикалы“, то и можемъ быть
друзьями и союзниками, и мы съ чувствомъ пожали другъ другу руку.

VIII.

Въ это время дверца вагона отворилась, и у входа показалась Julie. Она
пришла пригласить меня къ себе въ первый классъ. Въ ея купе свободно; тамъ
нетъ никого, кроме нея. Ей скучно одной. Мы можемъ ехать вместе до самаго
Харькова.

Я съ готовностью принялъ предложеніе, но въ душе быль недоволенъ. Въ эту
минуту мой новый другъ и союзникъ интересовалъ меня гораздо более, чемъ
она. „И зачемъ она такъ себя компрометируетъ? Какъ все это глупо!“ —
подумалъ я.

Утомленіе долгой дороги, непривычная волненія прошедшей безсонной ночи,
наконецъ, горячій напряженный разговоръ о самыхъ отвлеченныхъ матеріяхъ,
— все это вместе, должно быть, совсѣмъ разстроило мои нервы. Только что я,
пройдя впереди моей дамы, хотелъ ступить на вторую чугунную доску между
вагонами, какъ вдругъ потерялъ сознание. Я очнулся на площадке своего
вагона. Потомъ мой новый пріятель, видевшій нась чрезъ отворенную дверцу и
поспешившій на помощь, рассказалъ мне, что я, наверное, упалъ бы въ
пространство между вагонами и непременно быль бы раздавленъ поездомъ,
бывшимъ на всемъ ходу, если бы не „эта барынка“, которая схватила меня за
плечи и удержала на площадке.

Это я узналъ потомъ. Тутъ-же очнувшись, я видѣлъ только яркій солнечный светъ, полосу синяго неба, и въ этомъ свете и среди этого неба склонялся надо мною образъ прекрасной женщины, и она смотрела на меня чудными знакомыми глазами и шептала мне что-то тихое и нежное.

Неть сомненія, это Julie, это ея глаза, но какъ изменилось все остальное! Какимъ розовымъ светомъ горитъ ея лицо, какъ она высока и величественна! Внутри меня совершилось что-то чудесное. Какъ будто все мое существо со всеми мыслями, чувствами и стремлениями расплавилось и слилось въ одно безконечное сладкое, светлое и безстрастное ощущеніе, и въ этомъ ощущеніи, какъ въ чистомъ зеркале, неподвижно отражался одинъ чудный образъ, и я чувствовалъ и зналъ, что въ этомъ одномъ было все. Я любилъ новою, всепоглощающею и безконечною любовью и въ ней впервые ощутилъ всю полноту и смыслъ жизни.

Сначала она заботливо усадила меня на мое прежнее место. Мой пріятель медикъ предупредительно уступилъ ей свою половину дивана рядомъ со мною. При первой остановке поезда она перевела меня къ себе.

Мы были вдвоемъ. Я долго не могъ говорить. Я только смотрѣлъ на нее безумными глазами и целовалъ край ея платья, целовалъ ея ноги. Она тоже ничего не говорила и только прикладывала мне къ голове платокъ, намоченный одеколономъ. Наконецъ, безсвязнымъ отрывочномъ шепотомъ я сталъ передавать ей, что делалось со мною, какъ я ее люблю, что она для меня все, что эта любовь меня возродила, что это совсѣмъ другая, новая любовь, въ которой я совершенно забываю себя, что теперь только я понялъ, что есть Богъ въ человѣке, что есть добро и истинная радость въ жизни, что ея цель не въ холодномъ, мертвомъ отрицаніи...

Она слушала съ ясными глазами и счастливою улыбкой. Переворотъ, который во мny совершился, ее радовалъ, но, повидимому, не удивляль. Она меня ни о чёмъ не разспрашивала. Какъ прежде она тихо и безмятежно перенесла мою обиду, такъ и теперь тихо и безмятежно переносила она мое обожаніе.

Когда я несколько пришелъ въ себя, она стала говорить такъ просто и спокойно. Я полюбился ей съ первого взгляда, и она счастлива, что я люблю ее теперь такою хорошею любовью. Она уверена, что между нами могутъ быть настоящія хорошія отношенія. Мы должны встретиться въ Москве. Она познакомить меня съ своимъ мужемъ.

— А въ Крымъ вы лучше не ездите. Я такая безхарактерная. Тамъ мне будетъ страшно и за себя, и за васъ.

Я сказалъ, что буду делать все, что она желаетъ.

Мы не замечали, какъ кончился день, какъ прошелъ вечеръ, и наступилъ часъ разлуки. На Харьковскомъ вокзале я оставался съ нею до послѣдняго звонка. Въ минуту отхода поезда она высунулась въ окно и протянула мне обе руки. Ночь была темна, никто не обращалъ на насъ вниманія. Разве какая-нибудь сантиментальная звездочка пожалела обо мнѣ, заметивъ сверху, какъ обильныя горячія слезы текли изъ моихъ глазъ на эти милыя нежныя руки.

Поездъ давно уже скрылся изъ вида, а я все стоялъ на томъ же месте

IX.

— Что-жъ это вы, батенька, соленою водицей умылись, да въ соляной столбъ превратились? Ну, не горюйте, не на веки разстались, еще увидитесь. А вкусъ одобряю: симпатичнейшая бабенка, чортъ возьми! Въ другую пору и самъ бы втюрился. Ну, идемте, синьоръ!

Я молча последовалъ за честнымъ радикаломъ, и мы наняли извозчика въ гостиницу „Dagmar“.

Моя душа была полна Julie до техъ поръ, пока я не заснулъ; на другой день вся моя встреча представлялась мнѣ какъ что-то совершенно фантастичное и ужасно далекое. Что-то было мною пережито, где-то въ самомъ глубокомъ уголке моей души я чувствовалъ что-то новое, небывалое; но оно еще не слилось съ моею настоящею жизнью. Я зналъ, что все прежнее еще должно продолжаться и

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
идти своимъ чередомъ, какъ будто совсѣмъ ничего не случилось. да и что
такое случилось въ самомъ деле? Субъективная экзальтащя и больше ничего!

Я поехалъ къ Ольге. Разумеется, наше свиданіе произошло вовсе не такъ, какъ я себѣ представлялъ. Начать съ того, что я не засталъ ее дома, что почему-то вовсе не входило въ мои предположенія. Я уехалъ, оставивъ записку. Такимъ образомъ, когда я приехалъ вторично, она уже была предупреждена о моемъ прибытіи—для обморока и другихъ чрезвычайныхъ явленій не было достаточнаго основанія. Она только что вернулась съ загородной прогулки. Я нашелъ въ ней большую перемену. Она была вовсе не похожа на ту нежную, полу воздушную девочку, которая осталась въ моей памяти отъ нашего послѣдняго свиданія въ деревне, когда она выходила изъ купальни въ голубомъ ситцевомъ платье и съ небрежно закинутую за спину темною косой. Теперь это была совсѣмъ взрослая и нарядная девица съ развязными манерами. Она такъ смело и пристально смотрела на меня своими черными, немного покрасневшими отъ солнца и ветра глазами, въ ней было что-то решительное и самостоятельное.

После первыхъ краткихъ разспросовъ о родныхъ, о здоровье и т. п., я приступилъ къ делу. Въ своихъ письмахъ она писала, что любить меня, —я долженъ быть объяснить ей свой взглядъ на наши отношенія. Я говорилъ кратко и неубедительно. Я самъ чувствовалъ, что повторяю какой-то заученный урокъ; каждое слово раздавалось въ моихъ ушахъ какъ что-то чужое и совершенно не интересное. Правду сказать, это были вполне деревянныя слова.

Она слушала съ задумчивымъ видомъ, облокотясь на столъ. Когда я кончилъ свою речь неизбежнымъ приглашеніемъ идти со мною вместе по пути самоотрицанія воли, она еще долго смотрела вдали неподвижными глазами, потомъ вдругъ опустила руку, подняла голову и, остановивъ на мне пристальный взглядъ, произнесла спокойнымъ и твердымъ голосомъ.

— Я не хочу тебя обманывать. Я ошиблась въ своемъ чувствѣ. Ты слишкомъ уменъ и идеаленъ для меня, и я недостаточно тебя люблю, чтобы разделять твои взгляды и навсегда связать свою жизнь съ твою. Вотъ ты отвергаешь всякое удовольствіе, а я одни только удовольствія и понимаю. Я буду всегда любить тебя, какъ родного. Будемъ друзьями.

Спешу заметить, что это былъ мой послѣдній опытъ обращенія молодыхъ девицъ на путь самоотрицания воли. Въ тотъ же вечеръ я уехалъ изъ Харькова, даже не простившись съ новымъ своимъ пріятелемъ—радикаломъ.

Четыре года послѣ того я встретился съ Julie въ Италіи, на Ривьере, но эта была такая встреча, о которой можно рассказывать только любителямъ въ ночь подъ Рождество.

Вл. Соловьевъ.

1

См. "Физиологическое объяснение некоторыхъ элементовъ чувства красоты. Психофизиологический этюдъ" Л. Е. Оболенского. [СПб.], 1878 г. Более притязательно, но зато и менее основательно сочинение г. Вл. Велямовича "Психофизиологические основания эстетики. Сущность искусства, его социальное значение и отношение къ науке и нравственности (Новый опыт философии искусствъ)". Часть первая и вторая. [СПб.], 1878 г. Какъ единственный въ русской литературѣ опытъ систематической эстетики, эта книга заслуживаетъ упоминания, но, впрочемъ, не нуждается въ критике.

2

Въ сущности надъ этимъ воззрениемъ не возвысился, несмотря на свои "трансцендентальный реализмъ", и Эд. Гартман въ своей недавно вышедшей объемистой и многословной "Эстетике".

3

Известно различие, которое немецкая эстетика (особенно со временемъ Канта) полагаетъ между прекраснымъ и возвышеннымъ (*erhabenes*), причемъ звездное небо относится къ этой последней эстетической категории. Намъ кажется, что здесь

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org известный оттенок прекрасного возведен без достаточного основания на степень независимой категории, противопоставляемой прекрасному вообще. Впрочем, нельзя приписывать важного значения этому терминологическому вопросу, а во всяком случае на русском языке мы имеем полное право говорить о красоте звездного неба.

4

Примечание для читателей, беспечных по части логики: из того, что все прекрасные звуки должны быть выражениями внутренней жизни, никак не следует, чтобы все звуковые выражения внутренней жизни были прекрасны.

5

См. пояснение этого указания с богословской (бблейской) точки зрения в моей книге "La Russie et l'Eglise Universelle", 2-me ed. Paris, p. 248-252.

6

Claus: "Зоология" (русск. перев.: Одесса, 1888), том I, стр. 345.

7

Ibid., 315.

8

Claus: "Зоология", 367.

9

Ibid., том II, стр. 1.

10

Ibid., стр. 6.

11

Дарвин. "Происхождение] челов[ека] и полов[ой] подбор". Немецк. перевод Виктора Каруса. Штутгарт, 1871. Том I, стр. 246-247.

12

Agassiz. "De l'Espece et de la Classification", 1869, p. 106.

13

Дарвин. О[p.]с[it].I, стр. 301-303.

14

Там же, стр. 313.

15

Дарв[ин], I, 314

Там же, 323-324.

17

Ibid., 327.

18

Ibid., 331

19

Ibid., 340-341.

20

Ibid., 345

21

дарь[ин], 349.

22

Ibid., стр. 350, 354-357, 359, 362-364, 375, 376.

23

дарв[ин], том II, стр. 6, 7, 11, 12, 13.

24

дарв[ин], стр. 19, 20.

25

Ibid., II, 23.

26

Ibid., 27.

27

Ibid., 48.

28

даРв[ин], 74, 76, 77, 78.

29

Ibid., 83.

30

Ibid., 96.

31

Ibid., 97.

32

Ibid., 105.

1

"Philosophie de l'art" – "философия искусства".

2

Разумею здесь красоту в смысле общем и объективном, именно что наружность человека способна выражать более совершенное (более идеальное) внутреннее содержание, чем какое может быть выражено другими животными.

3

О красоте как идеальной причине существования материи см. в моих статьях о "цельном знании" ("Журн[ал] Мин[истерства] нар[одного] просв[ещения]", 1877 и 1878 гг.).

4

Само собою разумеется, что я говорю здесь о свете не в смысле зрительных ощущений у человека и животных, а в смысле движения невесомой среды, связывающей между собою материальные тела, от чего зависит их субъективное бытие друг для друга независимо от наших субъективных ощущений. Словосветупотребляется для краткости, так как сюда же относятся и прочие динамические явления: теплота, электричество и т.п. Притом нам нет здесь дела до тех или других гипотез физической науки; для нас достаточно несомненного фактического различия между признаками упомянутых явлений и признаками весомого вещества.

5

Обоснование этого утверждения принадлежит к области метафизики, а не эстетики.

6

Различные мыслители с совершенно различных сторон приходят к мысли о существенном тождестве добра и красоты и о нравственном задаче искусства. Своеобразное и талантливое выражение этой мысли находится у недавно умершего французского писателя Гюйо в сочинении "De l'art au point de vue sociologique" ["Искусство с социологической точки зрения"]. Русск. пер. Спб., 1900. См также: Гольцев В. А. Об искусстве. Спб., 1890.]. Взгляд Гюйо изложен Г. Гольцевым в его книжке об искусстве, другие статьи которой также заслуживают внимания.

7

Ложность этого принципа в таком его применении ясно обнаруживается из внутреннего противоречия, в которое он при этом впадает, ибо, становясь исключительным, единство перестает быть безусловным.

8

См. примеры этого в статье "Красота в природе".

9

См. примеры этого в статье "Красота в природе".

10

Разумеется, комизм был бы возможен здесь именно потому, что преступление не было личным намеренным действием. Сознательный преступник, довольный самим собою и своими делами, не трагичен, но отвратителен, а никак не комичен.

11

В литературной критике уже было давно замечено (если не ошибаюсь, еще Белинским), что название "Горе от ума" совсем не соответствует содержанию комедии, так как Чацкий никакого особенного ума не выказывает, а проявляет лишь пустое и мелочное озлобление, горе же его происходит от совершенно внешнего и случайного обстоятельства. Сам Грибоедов мог думать иначе, но от этого сущность дела нисколько не изменяется. Из недавно напечатанных биографических данных яствует, что в создании "Горя от ума" более действовало непосредственное вдохновение, нежели отчетливая работа мысли: Грибоедов видел свою комедию во сне прежде, чем написал ее. Это тем более вероятно, что все прочие его произведения – выдуманные, а не виденные им – совершенно ничтожны, так же как и в самом "Горе от ума" лицо главного героя – очевидно надуманное и потому совершенно безжизненное с его намеренно умными, а в сущности вздорными речами.

12

В области изобразительного искусства историческая живопись соответствует эпосу и отчасти трагедии, жанр – комедии, а портретная живопись, смотря по изображаемым лицам, может иметь и эпическое, и трагическое, и комическое значение.

13

Лицо Христа изображено поэтически только в евангелиях – очевидцами и летописцами, а не художниками.

14

"Alles Vergangliche ist nur ein Gleichniss etc" – Все быстротечное – Символ.

15

das ewig Weibliche" – "Вечная женственность"

16

В третьей части "Божественной комедии" Данте рай изображен чертами, быть может, и верными, но во всяком случае недостаточно живыми и конкретными, – существенный недостаток, который не может быть искуплен и самими благозвучными стихами.

1

Приступ к этому труду напечатан мною в трех первых главах теоретической философии («Вопросы философии и психологии», 1897, 1898 и 1899 гг.).

2

Выражение – не мое.

3

Его шедевр станет фейерверком (нем.); игра слов: главное дело станет огненным делом.

4

Кстати. Мне продолжают приписывать враждебно-обличительные сочинения против основательницы необуддизма, покойной Е. П. Блавацкой. Ввиду этого считаю нужным заявить, что я с нею никогда не встречался, никакими исследованиями и обличениями ее личности и производившихся ею явлений не занимался и ничего об этом никогда не печатал (что касается до «Теософского общества» и его учения, см. мою заметку в Словаре Венгерова и рецензию на книгу Блавацкой «Key to the secret doctrine» в «Русском обозрении»).

5

да будет выслушана и первая часть (лат.).

6

Между собой (фр.).

7

Здесь: что вы на это ответите (фр.).

8

что за шутки! (фр.).

9

да будет выслушана и вторая часть (лат.).

10

Здесь: основной предмет разговора (фр.).

11

В силу самого факта (лат.).

12

духовник (фр.).

13

«По вагонам!» (фр.).

14

15

Внося необходимые изменения (лат.).

16

Это зависит от обстоятельств (фр.).

17

в итоге (фр.).

18

Эти слова, писанные мною в октябре 1899 г., через месяц оправдались
немецко-турецкою конвенцией по малоазиатским делам и Багдадской железной
дороге. – В. С.

19

Здесь: это все равно (фр.).

20

Цареубийство (фр.).

21

Здесь: прежний режим (фр.).

22

Как долгий слог (фр.).

23

Как свершившийся факт (фр.).

24

с крупицей соли (лат.).

25

Ах, две души живут в больной душе моей,
друг другу чужды, – и жаждут разделенья!
(Пер. Н. Холодковского).

26

довольно шуток (фр.).

27

Есть европеец и европеец (фр.).

28

Разговор происходил в апреле.

29

Этому нет названия (фр.).

30

Поединок чести есть самый красивый день в моей жизни (фр.).

31

О да! Хорошо, сэр! (англ.).

32

Решительно, вы связались со всяким сбродом... С кем вы там встречаетесь?
Семейства крупье, вероятно (фр.).

33

В употреблении всего света (фр.).

34

Вежливость и политика (фр.).

35

Насильственные действия (фр.).

36

Где есть смерть, там нет больше жизни (фр.).

37

Как эвфемизм (фр.).

38

Продолжительность (фр.).

39

Верх (фр.).

40

Остается добавить, что культура и кулинарное искусство очень тесно связаны между собой (фр.).

41

да будет выслушана и третья часть (лат.).

42

Это конец света, не так ли? (фр.).

43

Столько зол могла внушить религия (лат.).

44

Очевидно, политик намекает на подпиську в память «самоубитого» Анри, где один французский офицер заявил, что он подписывается с надеждой на новую Варфоломеевскую ночь, другой – что он уповаёт на скорое повешение всех протестантов, франкмасонов и евреев, а один аббат – что он живёт чаянием той светлой будущности, когда из кожи, содранной с гугенотов, масонов и жидов, будут сделаны дешевые ковры, и он, как добный христианин, будет постоянно топтать такой ковер ногами. Эти заявления, среди нескольких десятков тысяч других в том же роде, напечатаны в газете «*Libre Parole*».

45

Которая не имеет ни формы, ни смысла (фр.).

46

Князь мира (фр.).

47

лицом к лицу (фр.).

48

Это достойно мастера! (фр.).

49

Вопреки всему (фр.).

50

К тому же, мало вдохновенная (фр.).

51

Примите мои поздравления (фр.).

52

Дух учения Монтескье, дух учения Фенелона (фр.).

53

Дух евангельского учения (фр.).

54

Здесь: эмигрантов (фр.).

55

Постоянный всемирный комитет (фр.).

56

После хлеба... зреши (лат.).

57

Частично верующий (лат.).

58

Так! Ну! Так-так! (нем.).

59

Благодарим! Господин! Да здравствует великий император! (лат.).

60

да ослабнут врата преисподней (лат.).

61

да погибнут! да погибнут! (лат.).

62

да приидет! да приидет скоро! (лат.) Приди, Иисус, приди! (нем.).

63

Свидетель двух смертей профессор Паули (лат.).

64

Принимаю и одобряю, и да возрадуется сердце мое (лат.).

65

См. сказанное в предисловии по поводу этого места.

66

Теперь это полностью доказано и не подлежит никакому сомнению (нем.).

67

Итак, отцы, отныне мы едины во Христе (лат.).

1

Сила пребудет нераздельной, если обратится в землю (лат.)

2

Стих. Толстого.

3

«Глас хлада тонка» – выражение славянской Библии.

4

А. А. Фет, которого исключительное дарование как лирика было по справедливости оценено в начале его литературного поприща, подвергся затем продолжительному гонению и глумлению по причинам, не имеющим никакого отношения к поэзии. Лишь в последнее десятилетие своей жизни этот несравненный поэт, которым должна гордиться наша литература, снова приобрел благосклонность читателей и критиков. Первым публичным выражением этой перемены в отношении к нему было суждение Академии наук, удостоившей полной Пушкинской премии его переводы из Горация и Гете. Это признание его заслуг имело для Фета особенное значение потому, что было связано с именем богоизбранного им Пушкина (сюда относятся слова «сам орел поэзии родимой»).

5

Волна, разлученная с морем (итал.).

6

Свет с Востока (лат.).

7

Или Деир, по неправильной греческой транскрипции, – равнина в Халдее близ Вавилона. (Примеч. Вл. Соловьева.)

8

Приветственный клич вождю па гээльском языке. Эта песня есть почти буквальный перевод из Вальтера Скотта (Lady of the Lake).

9

Я позволил себе изменить принятые ударения. Ошибки против духа языка тут нет, так как вполне аналогичное слово волк сохраняет ударение на первом слоге и в косвенных падежах. Основание для произношения волком и полком есть единственно только usus – *tyrannis* (обычай – тиран (лат.)). И в этом случае (иначе в каком же?) вступает в свои права *licentia poetica* (поэтическая вольность (лат.)).

10

Книга эта еще готовится к печати.

11

Эта известная элегия (вольный перевод с английского) была написана В. А. Жуковским осенью 1802 г., в селе Мишенском, близ Белева, и напечатана в «Вестнике Европы» Карамзина (ч. 6, № 24, стр. 319). Несмотря на иностранное происхождение и на излишество сентиментальности в некоторых местах, «Сельское кладбище» может считаться началом истинно-человеческой поэзии в России после условного риторического творчества Державинской эпохи.

12

Стих Жуковского.

13

Вечная женственность (нем.).

14

Гностический термин.

15

См. стихотворение «Земля-владычица! к тебе чело склонил я...»

16

Она этой строфы была простою маленькой барышней и не имеет ничего общего с твою ты, к которой обращено вступление.

17

Здесь: с иронией (лат.).

18

Стих Лермонтова.

19

Стихи Полонского:

Но боюсь, если путь мой протянется
Из родимых полей в край чужой,
Одинокое сердце оглядывается
И забывается знакомой тоской.

20

Призраки (франц.)

21

Не скрою от читателя, что цель моего «Пророка»— восполнить или, так сказать, завершить соответствующие стихотворения Пушкина и Лермонтова. Пушкин представляет нам пророка чисто библейского, пророка времен давно минувших, когда, с одной стороны, прилетали серафимы, а, с другой стороны, анатомия, находясь в младенчестве, не препятствовала вырывать у человека язык и сердце и заменять их змеиным жалом и горячим углем, причиняя этим пациенту лишь краткий обморок. Пророк Лермонтова, напротив, есть пророк настоящего, носитель гражданской скорби, протестующий против нравственного упадка общественной среды и ею натурально изгоняемый. Согласно духу современности, в стихотворении Лермонтова нет почти ничего сверхъестественного, ибо хотя и упомянуто, что в пустыне пророка слушали звезды, но отнюдь не говорится, чтобы они отвечали ему членораздельными звуками. Мой пророк, наконец, есть пророк будущего (которое, может быть, уже становится настоящим), в нем противоречие с окружающей общественной средой доходит до полной несоизмеримости. Впрочем, я прямо продолжаю Лермонтова, как и он продолжал Пушкина. Но так как в правильном развитии всякого сюжета третий момент всегда заключает в себе некоторое соединение или синтез двух предшествовавших, то читатель не удивится, найдя в моем,

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org
третьем пророке, мистический характер, импонирующий нам в пророке Пушкина,
в сочетании с живыми чертами современности, привлекающими нас в пророке
Лермонтова. Но пусть дело говорит за себя.

22

Рифма, простительная только в импровизации, но слово недурное.

23

Не следует разуметь буквально.

24

Следует разуметь более чем буквально, кроме собак дворовых имея в виду и
собак духовно-литературных.

25

Смотри статью «Первая ступень в пользу домашних насекомых»

26

По свидетельству древних писателей, римские щеголиши весьма любили
терпентинное масло, придающее запах фиалки таким выделениям организма,
которые натурально этого запаха не имеют.

27

En tout bien tout honneur, honni soit qui mal y pense. (Примеч. Вл.
Соловьева.) – Каждому по заслугам, и да будет стыдно тому, кто плохо об
этом подумает (фр.).

28

От греческого «ληθοξ» или от русского «летать».

29

Все-таки (франц.).

30

Из неоконченного (франц.)

31

Священный обычай у индусов.

32

Это не означает порицания. Статью твою о времени и третью, как вторую, в
общем одобряю. частные возражения сообщу при свидании.

33

Продолжение следует (франц.).

34

Соловьев В. С. Эстетика. О поэтах. Стихи и проза filosoff.org

Под Кутузовым можно разуметь *ad libitum* (по желанию (лат.) покойного фельдмаршала князя Смоленского, а равно нынешнего директора трех банков и певца смерти.

35

Под тульским архиереем сии лукавые и нечистые твари разумеют покойного преосвященнейшего Никандра, который настолько упростил свое миросозерцание, что у всякой женщины осматривал лишь «обыкновенное женское лицо».

36

Приписываемое В.С. Соловьеву

37

Приписываемое В.С. Соловьеву

38

жизнь входит (франц.).

39

дайте мне руку (франц.).

40

я не могу больше (франц.).

41

Боже, какой он дурак (франц.).

42

на помощь, на помощь! (франц.).

43

Если так (франц)

44

Спасибо (франц).

45

до бесконечности (лат.).

46

Отлично! (Англ.)

47

48

В химии сей газ более известен под другим названием.

49

Борозда – гвардии капитан и ересьарх. Неправо мыслил о главной христианской добродетели–любви и о путях оной. Известный стихотворец Пушкин, особливо твердый в истинном доктрине, кратко, но сильно обличил его в пьесе:

Накажи, святой угодник,
Капитана Борозду...

50

Т.е. не нужно даже женщин.

51

И посмотрим, кто кого (франц.).

52

Один (итал.).

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!
<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.
<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!